

Джек ЛОНДОН

МОРСКИЕ ГАНГСТЕРЫ
МОРСКОЙ ВОЛК
РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ



Свыше ста иллюстраций
Антон Отто Фишера
и Рассела Флинта

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Джек Лондон
(1876–1916)

Джек ЛОНДОН

МОРСКИЕ ГАНГСТЕРЫ МОРСКОЙ ВОЛК РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

Перевод с английского
*М. Шишмаревой, Е. Шишмаревой,
З. Вершининой, В. Хинкиса*

Иллюстрации
А. О. Фишера, Р. Флинта



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(7)-4
УДК 821.111(73)-93
Л76

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 блинтов на корешке ручной обработки

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmergo
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирувания
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Л76 **Лондон Джек. Морские гангстеры. Морской волк. Рассказы рыбацкого патруля.** — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2023. — 608 с.: ил.

Сборник включает произведения знаменитого американского писателя Джека Лондона, объединенные морской тематикой. Роман «Морские гангстеры» печатается в переводе Е. М. Шишмаревой и М. А. Шишмаревой, роман «Морской волк» — в переводе З. А. Вершининой. В книгу включены также семь коротких произведений из цикла «Рассказы рыбацкого патруля». Сборник украшают рисунки двух художников: американца Антона Отто Фишера и шотландца Уильяма Рассела Флинта.

ISBN 978-5-9603-0932-5 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0933-2 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2023

**МОРСКИЕ
ГАНГСТЕРЫ**
(Мятеж на «Эльсиноре»)

ГЛАВА I

С самого начала путешествие не предвещало ничего доброго. Поднятый с постели в холодное мартовское утро (на дворе был лютый мороз), я вышел из моего отеля, проехал Балтимор и явился на пристань как раз вовремя. В девять часов катер должен был перевезти меня через бухту и доставить на борт «Эльсиноры», и я, промерзший насквозь, сидел в моем таксомоторе и с возрастающим раздражением ждал. На наружном сиденье ежились от холода, шофер и мой Вада, при температуре, пожалуй, еще на полградуса пониже, чем внутри. А катер все не показывался.

Поссум, щенок фокстерьер, легкомысленно навязанный мне Гольбрэтом, скулил и дрожал под моим теплым пальто и меховым плащом и ни за что не хотел утомиться. Он, не умолкая визжал и царапался, стараясь вырваться на свободу. Но стоило ему высунуть мордочку и почувствовать укусы мороза, как он снова и так же настойчиво принимался визжать и царапаться, заявляя о своем желании вернуться в тепло.

Этот непрекращающийся визг и беспокойная возня действовали отнюдь не успокоительно на мои натянутые нервы. Начать с того, что этот зверек нимало не был мне интересен. Я его не знал и не питал к нему нежных чувств. Несколько раз, утомленный ожиданием, я был уже готов отдать его шоферу. А один раз, когда мимо нас проходили две девочки (должно быть, дочери смотрителя пристани), я потянулся было к дверце мотора, чтобы подозвать их и презентовать им это несносное, скулящее существо.

Этот прощальный подарок Гольбрэта привезен был из Нью-Йорка экспрессом и явился в мой отель сюрпризом накануне ночью. Обычная манера Гольбрэта. Что стоило ему поступить прилично, как все люди, и прислать мне фруктов или... даже цветов. Так нет же: дружеские чувства его любящего сердца непременно должны были выразиться в образе визжащего, твякающего двухмесячного щенка.

Черт бы побрал эту собаку! Черт бы побрал и Гольбрэта! И, замерзая в моем моторе на этой проклятой пристани, открытой всем ветрам, я заодно проклинал и себя, и сумасбродную свою затею объехать на парусном судне вокруг мыса Горн.

Около десяти часов на пристань явился пешком неописуемого вида юноша с каким-то свертком в руках, который через несколько минут был передан мне смотрителем пристани. «Это для лоцмана», — сказал он и дал шоферу указание, как добраться до другой пристани, откуда через неопределенное время меня должны будут доставить на «Эльсинору» другим катером. Это только усилило мое раздражение. Почему же не уведомили меня об этом раньше?

Через час, когда я все еще сидел в автомобиле, но уже на другой пристани, явился наконец лоцман. Я не мог себе представить ничего менее похожего на лоцмана. Передо мной стоял никак уж не сын моря в синей куртке, с обветренным лицом, а сладкоречивый джентльмен, чистейший тип преуспевающего дельца, каких можно встретить в каждом клубе. Он тотчас же представился мне, и я предложил ему место в моем промерзшем моторе рядом с Поссумом и моим багажом. Перемена в расписании произошла по распоряжению капитана Уэста — вот все, что было известно ему. Впрочем, он полагал, что пароходик придет за нами рано или поздно.

И он пришел в час дня после того, как я был принужден прождать на морозе четыре убийственных часа. За это время я окончательно решил, что ненавижу капитана Уэста. Правда, мы с ним ни разу еще не встречались, но его обращение со мной с самого начала было по меньшей мере развязно. Еще в то время, когда «Эльсинора», вскоре по прибытии из Калифорнии с грузом ячменя, стояла в бассейне Эри, я приезжал из Нью-Йорка нарочно, чтобы ознакомиться с судном, которому предстояло много месяцев быть моим домом. Я пришел в восторг и от судна, и от устройства кают. Вполне удовлетворяла меня и предназначенная мне офицерская каюта, оказавшаяся даже просторнее, чем я ожидал. Но когда я заглянул в каюту капитана, то был поражен царившим в ней комфортом — достаточно упомянуть, что дверь из нее открывалась прямо в ванную, и что в числе удобной мебели там стояла большая бронзовая кровать, присутствие которой никак нельзя было подозревать на судне дальнего плавания.

Естественно, я решил, что и эта ванная, и эта чудная кровать должны быть моими. Когда я попросил моих агентов уладить это дело по соглашению с капитаном, они, как мне показалось, смутились и не выразили ни малейшей готовности исполнить мою просьбу.

— Я не имею понятия, во сколько это мне обойдется, но это неважно, — сказал я. — Полтораста долларов или пятьсот — все равно: я готов заплатить, если мне отдадут эту каюту.

Мои агенты Гаррисон и Грэй посоветовались между собою и затем высказались в том смысле, что едва ли капитан Уэст пойдет на эту сделку.

— В первый раз слышу о таком капитане морского судна, который может на это не согласиться, — заявил я с убеждением. — Капитаны всех атлантических линий постоянно продают свои каюты.

— Но капитан Уэст не из тех, которые служат на атлантических линиях, — заметил мягко мистер Гаррисон.

— Не забывайте, что мне придется много месяцев прожить на судне, — возразил я. — Ну, предложите ему тысячу, если нужно.

— Попытаемся, — сказал мистер Грэй. — Но предупреждаем: не слишком полагайтесь на результат наших попыток. Капитан Уэст в данный момент в Сирспорте, и мы сегодня же напишем ему.

Спустя несколько дней мистер Грэй зашел ко мне и сообщил, к моему удивлению, что капитан Уэст отклонил мое предложение.

Через день я получил письмо от капитана Уэста. И почерк, и язык были старомодны, тон — официальный. Он выражал сожаление, что мы с ним до сих пор не встречались, и спешил заверить меня, что лично присмотрит за тем, чтобы мое помещение было удобно. Он уже сделал на этот счет некоторые распоряжения: написал мистеру Пайку, старшему своему помощнику на «Эльсиноре», чтобы тот приказал снять переборку между отведенной мне офицерской каютой и такою же свободной каютой, смежной с ней. Затем — с этого-то и началась моя антипатия к капитану Уэсту — он добавлял, что, если, когда мы выйдем в море, я все-таки буду недоволен моим помещением, он охотно уступит мне свою каюту.

Понятно, после такого отпора я решил, что ничто не принудит меня воспользоваться бронзовой кроватью капитана Уэста. И это был тот самый капитан Уэст, которого я в глаза не видал и который теперь продержал меня на морозе целых четыре невыносимых часа. „Чем меньше будем мы видаться во время плавания, тем лучше“, — думал я. И не без удовольствия вспомнил об огромном числе ящиков с книгами, отправленных мной на «Эльсинору» из Нью-Йорка. Слава Богу, я не зависел ни от каких капитанов: у меня было чем развлечься и без них.

Я передал Поссума Ваде, сидевшему рядом с шофером, и пока матросы перетаскивали на пароходик мой багаж, лоцман повел меня знакомиться с мистером Уэстом. С первого же взгляда мне стало ясно, что он был таким же капитаном, как этот лоцман был лоцманом. Видал я лучших представителей этой породы — капитанов пассажирских пароходов, — и этот походил на них не больше, чем на тех, широколицых, горластых шкиперов, про которых мне случалось читать в книгах. Рядом с ним стояла женщина. Но ее почти не было видно: это был какой-то цветной ком из великолепной теплой шубы, огромной муфты и боа из красной лисицы, в котором она исчезла почти без остатка.

Я бросился к лоцману.

— Господи боже! Его жена! — в ужасе прошептал я. — Едет с нами?

— Это его дочь, — объяснил мне шепотом лоцман, — должно быть, проводить его пришла. Жена его умерла больше года тому назад. Оттого-то, говорят, он вернулся к морю. А то он, знаете, в отставку было вышел.

Капитан Уэст двинулся мне навстречу, и прежде, чем соприкоснулись наши протянутые руки, прежде чем лицо его вышло из состояния покоя и расплылось в любезную улыбку, прежде чем зашевелились его губы, чтобы заговорить, я почувствовал необычайную силу его личности. Высокий, сухощавый,

с породистым лицом, он был холоден, как этот холодный день, самоуверен, как король или император, далек, как самая далекая звезда, бесстрастен, как теорема Эвклида.

И вдруг, за один миг до того, как встретились наши руки, в его зрачках зажглась чуть заметная искорка сдерживаемой веселости, разгладившая мелкие морщинки вокруг глаз; светлая лазурь этих глаз потемнела, словно согретая приливом внутренней теплоты, и все лицо смягчилось: тонкие губы, за секунду перед тем крепко сжатые, разом приняли то милое выражение, какое бывает у Сары Бернар¹, когда она начинает говорить.

Так сильно было первое мое впечатление от наружности капитана Уэста, что я почти ожидал от него каких-то несказанно мудрых и проникновенных слов. Однако не услышал ничего, кроме самых обычных извинений. Он высказал свое сожаление по поводу случившейся задержки, но сказал это таким голосом, который был для меня новым сюрпризом. Голос был низкий и мягкий, почти слишком низкий, но ясный, как звук колокольчика, и чуть-чуть носовой, отдавленно напоминавший говор старинной Новой Англии.

— И в задержке виновата вот эта молодая особа, — закончил он, представляя меня своей дочери. — Маргарет, это мистер Патгерст.

Из лисьего меха быстро высвободилась ручка в перчатке, чтобы пожать мою руку, и я встретился взглядом с парой серых глаз, смотревших на меня пристально и серьезно. Меня смутил этот холодный, пытливый, пронизательный взгляд. Нельзя сказать, чтобы он был вызывающим, но он был оскорбительно деловым. Так смотрят на нового кучера, которого собираются нанять. Я не знал тогда, что она едет с нами, и что поэтому ее желание узнать, каков человек, который в течение полугода будет ее попутчиком, было естественно. Впрочем, она тотчас же поняла неловкость своего поведения, и ее глаза и губы улыбнулись при первых ее словах.

Когда мы поднялись на пароход и направились к каюте, я услышал, что Поссум, слабо подвывавший перед тем, отчаянно визжит, и прошел вперед сказать Ваде, чтобы он прикрыл его потеплее. Ваду я застал хлопочущим около моего багажа: он старался с помощью моей маленькой автоматической винтовки втиснуть мой чемодан между чьими-то сундуками. Я был поражен наваленной на палубе горой вещей, перед которой мой багаж совершенно терялся. «Судовые запасы», — было первой моей мыслью, но, когда я разглядел, какое множество тут было всевозможных сундуков, чемоданов, баулов, картонок и свертков, я должен был отбросить эту мысль. На одной из укладок, подозрительно смахивавшей на картонку для дамских шляпок, мне бросились в глаза инициалы «М.У.». А между тем имя капитана Уэста было Натаниэль. При ближайшем исследовании я нашел на нескольких укладках инициалы «Н.У.», но на всех остальных стояло «М.У.». Тогда я вспомнил, что он назвал ее Маргарет.

¹ Сара Бернар (1844—1923) — знаменитая французская драматическая актриса, известная американцам по ее гастролям в Америке.



Я встретился взглядом с парой серых глаз, смотревших на меня пристально и серьезно.

Это так меня рассердило, что мне не захотелось входить в каюту, и я принялся шагать по палубе взад и вперед, кусая губы с досады. Ведь я, кажется, определенно договаривался с агентами, чтобы с нами в этом плавании не было никакой капитанской жены. Присутствие женщины в корабельных каютах было последней приманкой под солнцем, которая могла бы меня соблазнить. Но мне не приходило в голову, что у капитана может быть дочка. Я почти был готов отказаться от путешествия и возвратиться в Балтимор. Пока я расхаживал по палубе, и встречный ветер, вызванный ходом парохода, пронизывал меня насквозь, я увидел мисс Уэст. Она шла по узкой палубе мне навстречу, и меня невольно поразила ее упругая, живая походка. В ее лице, несмотря на резкие его очертания, было что-то хрупкое, не гармонировавшее с ее крепкой фигурой. Впрочем, прийти к заключению, что у нее крепкое, здоровое тело, можно было только по ее манере ходить, так как контуры тела совершенно исчезли под бесформенной массой мехов.

Я круто повернул в обратную сторону и с мрачным видом погрузился в созерцание горы багажа. Один огромный ящик привлек мое внимание, и я рассматривал его, когда она заговорила у моего плеча.

— Вот из-за этой вещи и вышла задержка, — сказала она.

— А что в этом ящике? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Пианино с «Эльсиноры». Как только я решила схать, я протелеграфировала мистеру Пайку — это, знаете, наш старший помощник, — чтобы он отдал его починить. Он сделал все, что мог. Задержка случилась по вине мастерской. Ну, ничего: сегодня, пока мы ждали, они получили от меня такую нахлобучку, что не скоро забудут.

Она рассмеялась при этом воспоминании и принялась рыться в багаже, видимо, отыскивая что-то. Удостоверившись, что нужная ей вещь на месте, она повернула было обратно, но вдруг остановилась и сказала:

— Отчего вы не спуститесь в каюту? Там тепло. Нам идти еще по крайней мере полчаса.

— Когда вы решили отправиться в это плавание? — спросил я резко.

По быстрому взгляду, который она бросила на меня, я увидел, что она в этот момент поняла мою досаду.

— Два дня назад, — ответила она. — А что?

Ее готовность отвечать на вопросы обезоружила меня, но прежде, чем я успел заговорить, она продолжала:

— Напрасно вы волнуетесь из-за моей поездки, мистер Патгерст. Дальние плаванья мне, вероятно, привычнее, чем вам, и вот увидите — все мы устроимся удобно и весело проведем время. Вы ничем не можете обеспокоить меня, а я обещаю не беспокоить вас. Мне и раньше случалось плавать с пассажирами, и я научилась мириться с такими вещами, с которыми не могли мириться многие из них. Так вот, будем сразу действовать начистоту, тогда нам нетрудно будет и продолжать в том же духе. Я знаю, в чем дело. Вы боитесь, что вам придется занимать меня. Так, пожалуйста, знайте, что мне не нужно, чтобы меня

занимали. Самое длинное путешествие никогда не казалось мне слишком длинным, и даже к концу всегда оказывалось много такого, чего я не доделала в пути. Значит, как видите, во время плавания мне некогда будет скучать.

ГЛАВА II

«Эльсинора», только что нагруженная углем, очень глубоко сидела в воде, когда мы причалили к ней. Я слишком мало понимал в морских судах, чтобы восторгаться ее линиями, да, кроме того, был не в таком настроении, чтобы вообще чем-нибудь восторгаться. Я все еще решал и не мог решить вопроса, не отказаться ли мне от моей затеи и не вернуться ли на берег на пароходике. Из этого, однако, отнюдь не следует, что я был нерешительным человеком. Наоборот.

Все дело было в том, что уже с первого момента, когда у меня мелькнула мысль о путешествии, оно не слишком манило меня. А ухватился я за него потому, что и ничто другое меня не привлекало. С некоторого времени жизнь потеряла для меня свою прелесть.

Коротко говоря, я пускался в это плавание потому, что уехать было легче, чем остаться. Но и все остальное было, на мою погибель, одинаково легко. В этом-то и заключалось проклятие тогдашнего моего настроения. Вот почему, шагая по палубе «Эльсиноры», я уже наполовину решил оставить мой багаж там, где он был, и распрощаться с капитаном Уэстом и его дочерью. Я склонен думать, что решающую роль тут сыграла радушная, приветливая улыбка, какой одарила меня мисс Уэст перед тем, как повернула обратно к каюте, да еще мысль о том, что там, в каюте, должно быть, в самом деле очень тепло.

Мистера Пайка, старшего помощника капитана, я уже видел в первое мое посещение «Эльсиноры», когда она стояла в бассейне Эри. Теперь он улыбнулся мне деревянной, похожей больше на гримасу, улыбкой, точно он с усилием выдавил её из себя. Но он ничем не проявил желания пожать мне руку и тотчас же отвернулся, отдавая приказание десятку полузамерзших с виду людей — взрослых и юношей, — лениво выползавших откуда-то. Мистер Пайк выпил — это было ясно. У него было распухшее, зеленовато-бледное лицо, и его большие серые глаза смотрели мрачно и были налиты кровью. Я все еще колебался, уныло наблюдая, как перетаскивали на борт мои вещи, и браня себя за малодушие, мешавшее мне произнести те несколько слов, которые положили бы конец всей этой канители. Ни один из людей, переносивших вещи в каюту, не отвечал моему представлению о матросах. По крайней мере, на пассажирских судах я не видал никого похожего на них. Один из них, юноша лет восемнадцати, с необыкновенно выразительным лицом, улыбнулся мне своими чудесными итальянскими глазами. Но он был карлик — такой крошечный, что весь исчезал в высоких сапогах и непромокаемой куртке. «Он не чистокровный итальянец», — решил я. Я был тверд в этом уверен,

но все-таки обратился за подтверждением к помощнику капитана, и тот ответил ворчливо:

— Который? Вон тот коротышка?... Да, он полукровок: второй своей половиной японец или малаец.

Один старик — боцман, как мне потом сказали — был такой инвалид, что я подумал, не был ли он искалечен при каком-нибудь несчастном случае. У него было тупое, бычачье лицо. Он с трудом волочил по палубе свои сапожищи и через каждые несколько шагов останавливался, прижимал обе руки к животу и резкими движениями подтягивал его кверху. За многие месяцы нашего плавания я тысячу раз видел, как он проделывал эту штуку, и только позднее узнал, что у него ничего не болело, а просто была такая привычка. Его лицо напоминало дурачка из сказки. И имя было какое-то странное: его звали, как я узнал потом, Сэндри Байерс. И этот-то человек был боцманом прекрасного парусного судна «Эльсиноры», считавшегося одним из лучших среди всех американских парусных судов.

Из всей этой кучки людей — взрослых, пожилых и юношей, — перетаскивавших наш багаж, только один, юноша лет шестнадцати, по имени Генри, хоть в слабой степени приближался, на мой взгляд, к тому представлению, какое я составил себе о моряках.

Большая часть команды еще не прибыла на борт. Ее ожидали каждую минуту, и сердитое ворчанье старшего помощника по поводу этой новой задержки наводило на дурные предчувствия. Те из команды, которые уже явились на судно, были набраны с бору да с сосенки. Это был всякий сброд. Нанялись они еще в Нью-Йорке, и не через посредство какой-либо конторы, а каждый сам по себе. «Бог знает, какой окажется и вся-то команда», — говорил мистер Пайк.

Карлик-полукровок, помесь японца или малайца с итальянцем, по словам того же мистера Пайка, был хороший моряк, хотя раньше он плавал на пароходах, а на парусном судне служил в первый раз.

— Настоящие моряки! Вишь, чего захотели! — фыркнул мистер Пайк в ответ на мой вопрос. — Таких мы не берем. Забудьте и думать о них. У нас береговой народ. В наше время всякий мужик, любой подпасок сойдет за моряка. Их нанимают за настоящих моряков и платят им жалованье. Торговый наш флот пропал — отправился ко всем чертям. Нет больше моряков; все они перемерли давным-давно, еще прежде, чем вы родились.

От дыхания мистера Пайка отдавало свежевыпитым виски. Однако он не шатался и вообще не обнаруживал никаких признаков опьянения. Впоследствии я узнал, что он вообще не отличался болтливостью и только в пьяном виде давал волю своему языку.

— Лучше было бы мне давно умереть, чем дожить до такого позора, — продолжал он. — Каково мне видеть теперь, как и моряки наши и суда все больше отвыкают от моря.

— Но ведь «Эльсинора», кажется, считается одним из лучших судов, — заметил я.

— Да, — по нашему времени. Но что такое «Эльсинора»? Несчастный грузовик. Она строилась не для плаваний, а если бы даже она и годилась для плаваний, так все равно нет моряков, чтобы плавать на ней. О Господи, Господи! Как вспомнишь наши старые клипера!.. «Боевой Петух», «Летучая Рыба», «Морская Волшебница», «Северное Сияние», «Морская Змея»... То-то были суда, не нынешним чета! А взять хоть прежние флотилии клиперов, торговавших чаем, что нагружались в Гонконге и делали рейсы в восточных морях. Это красота была, красота!..

Я был заинтересован. Передо мной был человек, живой человек. И я не торопился вернуться в каюту, — где, я знал, Вада распаковывал мои вещи, — а продолжал ходить по палубе с огромным мистером Пайком. Он был в самом деле великан во всех смыслах: широкоплечий, ширококостный и несмотря на то, что он сильно горбился, был ростом никак не меньше шести футов.

— Вы великолепный экземпляр мужчины, сделал я ему комплимент.

— Был когда-то, — пробормотал он с грустью, и в воздухе разнесся крепкий запах виски.

Я украдкой взглянул на его узловатые руки. Из каждого его пальца можно было бы выкроить три моих; из каждого его кулака — три моих кулака.

— Много ли вы весите? — спросил я.

— Двести десять. А в лучшие мои дни я вытягивал до двухсот сорока.

— Так «Эльсинора», говорите вы, плохо плавает? — сказал я, возвращаясь к той теме, которая так оживила его.

— Готов побиться об заклад на что угодно, от фунта табака до моего месячного жалованья включительно, что она не закончит рейса и в полтора дня, — проговорил он. — А вот в былые дни мы на «Летучем Облаке» в восемьдесят девять дней — в восемьдесят девять дней, сэр! — прошли весь путь от Сэнди-Гука до Фриско. Шестьдесят человек команды — и каких людей! Да еще восемь юнг. И уж летели мы, летели! Триста семьдесят четыре мили в день при попутном ветре, а в шторм не меньше восемнадцати узлов. За восемьдесят девять дней перехода никто не мог нас обогнать. Один только раз, уже спустя девяти лет, нас обогнал «Эндрю Джэксон»... Да, было времечко!

— В каком году вас обогнал «Эндрю Джэксон»? — спросил я, поддаваясь все возрастающему подозрению, что он морочит меня.

— В тысяча восемьсот шестидесятом, — ответил он не задумываясь.

— Вы, значит, плавали на «Летучем Облаке» за девять лет до этого, а теперь у нас тысяча девятьсот тринадцатый год. Стало быть, это было шестьдесят два года тому назад, — высчитал я.

— Да, мне было тогда семь лет. — Он засмеялся. — Моя мать служила горничной на «Летучем Облаке». Я родился в море. Двенадцати лет я уже служил юнгой на «Герольде», когда он сделал круговой рейс в девяносто девять дней. И все это время половина команды была закована: пять человек мы потеряли у мыса Горн; у всех у нас ножи были обломаны; трех человек в один и тот же день пристрелили офицеры; второй помощник был убит наповал, и никто так

и не узнал, чьих рук это была работа. А мы летели и летели вперед. Девяносто девять дней мчались от гавани к гавани, семнадцать тысяч миль отмахали с востока на запад и обогнули Суровый Мыс¹.

— Но ведь тогда выходит, что вам шестьдесят девять лет, — вставил я.

— Да так оно и есть, — подтвердил он с гордостью. — И вот я в мои годы больше похож на мужчину, чем все эти нынешние юнцы. Все их чахлое поколение перемерло бы от первой такой переделки, через какие прошел я. Слыхали вы когда-нибудь о «Солнечном Луче»? Это тот клипер, что был продан в Гаване под перевозку невольников и переменил свое название на «Эмануэлу».

— Вы, значит, плавали в Среднем Проходе? — воскликнул я, припомнив это старое название.

— Да, я был на «Эмануэле» в Мозамбикском канале в то время, когда нас настиг «Быстрый», и в трюме у нас было запрятано девятьсот человек черных. Только ни за что бы ему не нагнать нас, будь он не паровым, а парусным судном.

Я продолжал шагать рядом с этой массивной реликвией прошлого и выслушивать обрывки воспоминаний о добром старом времени, когда жизнь человеческая не ставилась ни во что. С трудом верилось, что мистер Пайк действительно так стар, как он говорил, но когда я внимательно поглядел на его сутулые плечи и на то, как он по-стариковски волочил свои огромные ноги, я должен был поверить, что он не прибавляет себе лет.

Он заговорил о капитане Соммерсе.

— Великий был капитан, — сказал он. — За два года, что я плавал с ним в качестве его помощника, я не пропустил ни одного порта, чтобы не удрать с судна. И пока мы стояли на якоре, я все время прятался и только перед самым выходом в море тайком пробирался опять на судно.

— Отчего же?

— Из-за команды. Матросы поклялись отомстить мне, — грозились убить меня за то, что я учил их по-своему, как надо быть настоящими моряками. А сколько раз меня ловили! Сколько штрафов пришлось уплатить за меня капитану! И все-таки только благодаря моей работе судно приносило огромные барыши.

Он поднял свои чудовищные лапы, и, взглянув на уродливые, исковерканные суставы его пальцев, я понял, в чем состояла его работа.

— Теперь всему этому пришел конец, — проговорил он грустно. — В наше время матрос — джентльмен. Не смеешь даже голос возвысить, а не то, что руку на него поднять.

В эту минуту его окликнул с юта второй помощник, среднего роста, коренастый, гладко выбритый блондин.

— Показался пароход с командой, сэр, — доложил он.

— Ладно, — пробурчал мистер Пайк и добавил: — Сойдите к нам, мистер Меллэр, познакомьтесь с нашим пассажиром.

¹ Кэп Стифф — Суровый Мыс — так называют английские моряки мыс Горн.

Я не мог не обратить внимания на особенную манеру, с какой мистер Меллэр спустился с кормовой лестницы и принял участие в церемонии представления. Он был по-старомодному чрезвычайно учтив, сладкоречив до приторности, и можно было безошибочно сказать, что он уроженец юга.

— Вы южанин? — спросил я его.

— Из штата Джорджия, сэр.

Он поклонился и улыбнулся, как может кланяться и улыбаться только южанин.

Черты и выражение его лица были мягки и симпатичны, но такого жестокого рта я никогда еще не видел на человеческом лице. Это был не рот, а рваная рана. Я не могу придумать лучшего сравнения для этого грубого, бесформенно-

*— Пожалуйста, никому не говорите
о моем возрасте. Я ежегодно убавляю
в договоре мои годы.*



го рта с тонкими губами, так мило произносившего приятные вещи. Невольно взглянул я на его руки. Как и у старшего помощника, они были уродливы, ширококостны, с исковерканными суставами пальцев. Я заглянул в его голубые глаза. Снаружи они были как будто затянуты пленкой мягкого света, говорившего о добродушии и сердечности, но чувствовалось, что за этим внешним лоском не найдешь ни искренности, ни пощады. В глубине этих глаз сидело что-то холодное и страшное, что-то кошачье, враждебное и смертоносное: оно притаилось и ждало, выслеживая добычу. За этой светлой пленкой общительности была своя жизнь, — жестокая жизнь, превратившая этот рот в рваную рану. То, что я увидел в глубине этих глаз, заставило меня содрогнуться от отвращения.

Пока я смотрел на мистера Меллэра, разговаривал с ним, улыбался, и мы обменивались любезностями, у меня было такое чувство, точно я стою в дремучем лесу и знаю, что откуда-то из темноты за мной следят невидимые глаза хищного зверя. Говорю чистосердечно: меня серьезно пугало то, что сидело в засаде в черепе мистера Меллэра. Обыкновенно бывает так, что лицо и вообще всю внешность мы отождествляем с внутренним содержанием человека. Но я не мог этого сделать по отношению ко второму помощнику капитана. Его лицо, его манера держаться, его мягкое обращение — были одно, а за ними скрывался он сам — существо, не имевшее ничего общего с этой внешностью.

Я заметил, что Вада стоит в дверях каюты, очевидно, выжидая момента, чтобы обратиться ко мне за инструкциями. Я кивнул ему и хотел войти за ним в каюту. Но мистер Пайк быстро взглянул на меня и сказал:

— На одну минутку, мистер Патгерст.

Он отдал какие-то приказания второму помощнику, и тот повернулся налево кругом и отошел. Я стоял и ждал, что скажет мне мистер Пайк, но он заговорил только тогда, когда убедился, что второй помощник не может услышать его. Тогда он близко наклонился ко мне и сказал:

— Пожалуйста, никому не говорите о моем возрасте. Я ежегодно убавляю в договоре мои годы. Теперь официально мне пятьдесят четыре года.

— Да вы ни на один день не кажетесь старше, — вставил я из любезности. (Впрочем, я искренно это думал).

— Я и не чувствую себя старше. Я и в работе, и в спорте перещеголяю самого прыткого из нынешней молодежи. Так я очень вас прошу, мистер Патгерст: ради Бога, чтобы никто не знал, который мне год. Шкипера не слишком-то ценят помощников, которым подвалило под семьдесят. Да и владельцы судов тоже. Я возлагал большие надежды на это судно и, вероятно, получил бы его, не вздумай наш старик опять пуститься в море. Очень нужны ему деньги! Старый скряга!

— А он богат? — спросил я.

— Богат?! Да будь у меня десятая часть его денег, я ушел бы на покой. Купил бы себе в Калифорнии хорошенькое ранчо, разводил бы цыплят и жил бы себе припеваючи, — да будь у меня не то, что десятая, а хоть пятидесятая часть тех денег, которые он засаливает впрок! Ведь у него пай во всех торговых судах

Блэквуда, а блэквудским судам всегда была удача, — они неизменно приносят хорошую прибыль. А я старею, и уж пора бы мне быть командиром судна. Так нет же: приспичило этому старому хрену идти в море именно тогда, когда мне очищалось теплое местечко.

Я опять направился было в каюту, и опять он меня остановил.

— Мистер Паттерст! Так вы не проговоритесь насчет моего возраста?

— Нет, мистер Пайк, конечно нет, — будьте покойны, — сказал я.

ГЛАВА III

Продрогнув до костей, я с особенным удовольствием ощутил уют и тепло каюты. Все двери в смежные каюты были открыты, образуя длинную анфиладу¹ комнат. Выход на палубу с левой стороны вел через просторную прихожую, устланную ковром. В эту прихожую с левой ее стороны выходило пять кают: каюта старшего помощника — первая от входа; затем две офицерские каюты, превращенные в одну — для меня; за ними каюта буфетчика и, наконец, последняя в ряду офицерская каюта, отведенная под кладовую для платья и белья.

По другую сторону прихожей тянулся ряд кают, с которыми я еще не успел ознакомиться, хотя и знал, что там столовая, ваннные комнаты, кают-компания, представлявшая обыкновенную просторную жилую комнату, и капитанская каюта. Там же, очевидно, была и каюта, где помещалась мисс Уэст. Было слышно, как она напевала какую-то арию, распаковывая свои вещи. Кладовая буфетчика, отделённая от остального помещения боковыми коридорами и лестницей, выходившей через кормовую палубу в каюту, где хранились морские карты, помещалась в стратегическом центре всех его операций. Так справа от нее были каюты капитана и мисс Уэст, прямо за ней — столовая и кают-компания, а слева ряд кают, уже описанных мной, из коих две занимал я.

Я прошел до конца коридора в сторону кормы и через открытую дверь вошел во внутреннее кормовое помещение судна, представлявшее одну очень большую каюту, не менее тридцати пяти футов от борта до борта и от пятнадцати до восемнадцати футов в длину, и имевшее, разумеется, неправильную форму, согласно очертаниям кормы. По-видимому, эта каюта служила складом судовых принадлежностей. Я заметил несколько кадок для воды, свертки парусины, много ящиков, подвешенные к потолку окорока и сало, лестницу, которая вела на кормовую палубу через маленький люк, и другой люк в полу.

Я заговорил с буфетчиком. Это был старик-китаец с безбородым лицом, удивительно подвижный. Имени его я не запомнил, а его возраст в договоре был обозначен цифрой пятьдесят шесть.

— Что там такое внизу? — спросил я его, указывая на люк в полу.

— Лазарет, — ответил он.

¹ Анфилада — ряд комнат или арок.

— А кто здесь обедает? — и я указал на стол с двумя привинченными к полу стульями.

— Здесь вторая столовая. Второй помощник и плотник едят за этим столом.

Отдав последние распоряжения Ваде насчет расстановки моих вещей, я взглянул на часы. Было еще рано — семь минут четвертого, — и я опять поднялся на палубу посмотреть на прибытие команды.

Собственно, к посадке матросов на судно я опоздал, но, подходя к средней рубке, я столкнулся с несколькими отставшими людьми, еще не успевшими пройти на бак. Все они были пьяны, и более жалких, отвратительных оборванцев мне не случалось видеть даже на самых глухих, самых грязных улицах предместий. Все были в лохмотьях. У всех были опухшие лица, в грязи и кровоподтеках. Не скажу, чтобы они производили впечатление отъявленных негодяев, — нет. Они просто были так грязны, что противно было смотреть на них. Отталкивающими были и внешность их, и манера говорить, и движения.

— Эй, вы! Живее! Живее! Тащите на место ваш скраб!

Мистер Пайк выкрикнул эти слова с верхнего мостика. Изящный, легкий мостик из стальных прутьев и тонких досок тянулся по всей длине судна, начинаясь на корме, проходя над средней рубкой и баком и кончаясь у самого носа судна.

Услышав команду начальника, люди обернулись, подняли головы и с угрюмым видом посмотрели на него. Двое или трое лениво двинулись дальше, исполняя приказание. Остальные прекратили свои пьяные пересуды и продолжали молча смотреть на мистера Пайка. А один, с таким блинообразным лицом, точно какой-то полоумный Бог, создавая его, приплюснул ему нос шутки ради (я узнал потом, что звали его Ларри), громко захохотал и с дерзким вызовом сплюнул на палубу. Затем с величайшей развязностью повернулся к товарищам и хриплым голосом спросил:

— Какого черта торчит там это гнилое полено?

Я видел, как огромное тело мистера Пайка судорожно дернулось помимо его воли и как напряглись мускулы его звериных лап, державшихся за перила. Однако он сдержался.

— Проходите, проходите, — сказал он. — Вы мне не нужны. Ступайте на бак.

Затем, к моему изумлению, он повернулся и пошел по мостику в другую сторону, к тому месту, где причалил пароходик. «Так вот и вся грозная расправа с матросами, которую он так хвастался!» — подумал я. И только потом я припомнил, что, возвращаясь, я видел капитана Уэста: он стоял на корме, облокотившись на перила, и пристально смотрел вперед.

Концы канатов были отданы, и я с интересом следил за маневрированием пароходика, как вдруг в тот момент, когда он, отчалив, задним ходом удалялся от нашего судна, со стороны бака послышался смешанный гул пьяных голосов. В общем гвалте можно было разобрать только три слова: «Человек за бортом». Второй помощник стремглав сбежал с кормовой лестницы и промчался по па-



*Более жалких, отвратительных оборванцев мне не случалось видеть
даже на самых глухих, самых грязных улицах предместий.*

лубе мимо меня. Старший же помощник, все еще стоявший на выкрашенном белой краской легком, как паутина, мостике, удивил меня проворством, с каким он пробежал по мостику до средней рубки, вскочил в подвешенную за бортом, прикрытую брезентом шлюпку и перевесился за борт, чтобы лучше видеть. Прежде чем матросы успели добежать до борта, второй помощник догнал их и первый догадался бросить в воду веревку, свернутую кольцом.

Больше всего меня поразило это умственное и физическое превосходство обоих офицеров. Несмотря на свой возраст — старшему помощнику было шестьдесят девять, а второму по меньшей мере пятьдесят лет, — и ум их и тело действовали с быстротой и точностью стальных пружин. Эти были — сила. Эти были железные. Эти умели видеть, хотеть и действовать. По сравнению с людьми, бывшими у них под командой, они казались существами другой, высшей породы. Пока те, очевидцы случившегося, находившиеся тут же на месте, беспомощно метались и кричали, и неуклюже карабкались на борт, раскидывая неповоротливым умом, что делать дальше, второй помощник успел спуститься с кормы по крутой лестнице, пробежать по палубе расстояние в двести футов, вскочить на перила и, улучшив благоприятный момент, бросить в воду веревку.

Такого же характера и такого же достоинства были и поведение мистера Пайка. И он и мистер Меллэр были полновластными господами этого жалкого сброда в силу поразительной разницы в степени воли и умения действовать. Поистине, по своему развитию они стояли дальше от подчиненных им людей, чем те от готтентотов или даже от обезьян.

Я между тем взобрался на битсы¹, откуда мне был хорошо виден человек в воде. По-видимому, он преспокойно плыл прочь от корабля. Это был очень смуглый человек — должно быть, с побережья Средиземного моря. Его искаженное лицо, насколько позволял судить брошенный мной на него беглый взгляд, было лицом сумасшедшего: черные глаза горели как у маньяка. Второй помощник так ловко бросил свернутую кольцом веревку, что она упала ему через голову прямо на плечи, и с каждым взмахом рук он запутывался в этой веревке. Когда, наконец, ему удалось высвободиться, он принялся выкрикивать что-то дикое, и один раз, когда он поднял руки, потрясая ими в воздухе для пущей убедительности, в его правой руке блеснуло лезвие длинного ножа.

На пароходе ударили в колокол и пустились на выручку утопавшего. Я украдкой бросил взгляд в сторону капитана Уэста. Он перешел на левую сторону кормы и стоял там, заложив руки в карманы и поглядывая то вперед, на плывущего человека, то назад — на догонявший его пароход. Капитан не отдавал никаких приказаний, не проявлял никакого волнения и вообще имел вид самого безучастного из всех зрителей.

Человек в воде теперь силился стащить с себя платье. Я видел, как из воды показалась сперва одна рука, голая до плеча, потом другая, тоже голая. В этой

¹ Битсы — деревянные планки у рей для марса-шкотов, у гафелей — для топсель-шкотов (для закрепления снастей).

возне он иногда исчезал под водой, но всякий раз, как поднимался на поверхность, он размахивал ножом и выкрикивал какую-то бессмыслицу. Он даже попытался уйти от погони, ныряя и плывя под водой.



*Наконец они схватили сумасшедшего и потащили по палубе в каюту средней рубки.
Я не смог не заметить, какую чудовищную силу проявили они оба.*

Я прошел на бак и подоспел как раз вовремя, чтобы видеть, как его поднимали на борт. Он был совершенно нагой, весь залитый кровью, — в припадке бешенства он нанес себе раны в нескольких местах. Из раны на кисти руки кровь брызгала с каждым биением пульса. Это было гнусное, почти нечеловеческое существо. Я как-то видел в зоологическом саду чем-то напуганного орангутана, и — честное слово — этот человеческий экземпляр со звериным лицом, гримасами и бессмысленным лопотаньем напомнил мне того орангутана. Матросы окружили его, старались успокоить, тащили за собой, и все это с хохотом и остротами. Оба помощника расталкивали толпу. Наконец они схватили сумасшедшего и потащили по палубе в каюту средней рубки. Я не смог не заметить, какую чудовищную силу проявили они оба. Я слышал о сверхчеловеческой силе сумасшедших, но этот сумасшедший был как пучок соломы в их руках. Как он ни бился, его все же втокнули в каюту. Когда его уложили на деревянную скамью, мистер Пайк без всякого усилия удерживал его одной рукой, а второго помощника отправил за марлей, чтобы перевязать ему раны.

— Сущий бедлам, — сказал мне с усмешкой мистер Пайк. — Немало видел я на своем веку сумасшедших матросов, но такого еще не встречал.

— Что вы хотите с ним делать? — спросил я. — Ведь он истечет кровью.

— А умрет, — туда ему и дорога, — буркнул мистер Пайк. — С ним теперь не оберешься хлопот. Самое лучшее было бы отделаться от него. Когда он успокоится, я наложу ему швы. А успокоить его очень просто: дать в зубы — только и всего.

Я посмотрел на страшную лапу мистера Пайка и вполне оценил ее успокоительное свойство. Когда я снова вышел на палубу, то увидел на корме капитана Уэста: он стоял, по-прежнему заложив руки в карманы и с равнодушным видом смотрел на северо-восток, где виднелся голубой просвет на облачном небе. Больше, чем оба капитанских помощника, больше, чем этот сумасшедший, больше, чем пьяная грубость команды, дала мне почувствовать эта спокойная, с заложенными в карманы руками фигура, что я попал в новый мир, о котором раньше не имел никакого понятия.

Вада прервал мои размышления, объявив, что его прислала мисс Уэст доложить мне, что в каюте подан чай.

ГЛАВА IV

Когда я вошел в каюту, меня поразил контраст между тем, что происходило на палубе, и тем, что я увидел здесь. Впрочем, все контрасты на «Эльсиноре» обещали быть поразительными. Вместо холодной твердой палубы я почувствовал под ногами мягкий ковер. Вместо мизерной, узкой каюты с голыми железными стенами и полом, где я оставил сумасшедшего, я очутился в чудесном, просторном помещении. В моих ушах еще звучали грубые крики, перед

моими глазами еще стояла отвратительная картина — опухшие от пьянства, грязные лица, — а тут мне улыбалась изящно одетая, с нежным личиком женщина, сидевшая за лакированным столиком в восточном вкусе, на котором был расставлен прелестный чайный сервиз китайского фарфора. Тут была тишина и покой. Буфетчик в мягкой обуви, с ничего не выражающим лицом, ничем не напоминая о своем присутствии, скользил как тень, незаметно появляясь для какой-нибудь услуги и так же незаметно исчезая. Я пришел в себя не сразу, и мисс Уэст, наливая мне чаю, засмеялась и сказала:

— У вас такой вид, точно вы увидели привидение. Буфетчик мне сказал, что там человек упал за борт. Надеюсь, что холодная вода протрезвила его.

Мне не понравился ее равнодушный тон.

— Этот человек — сумасшедший, и ему не место на судне, — горячо сказал я. — Следовало бы поскорее отправить его на берег в больницу.

— Боюсь, что если мы начнем так нянчиться с ними, нам придется отправить на берег две трети нашей команды... Вам один кусочек?

— Да, пожалуй... Но этот человек страшно изранил себя. Он может истечь кровью.

Пока она передавала мне чашку, ее серые глаза смотрели на меня серьезно и пытливо, но вдруг смех заиграл в этих глазах, и она неодобрительно покачала головой.

— Пожалуйста, мистер Паттерст, не начинайте нашего плавания с протестов. Такие вещи случаются на судах сплошь да рядом. Вы привыкнете. Вам, наверно, вспомнились какие-нибудь чудаки, которые бросались в море с судна. А этот человек ведь спасен. Положитесь на мистера Пайка: он умеет перевязывать раны и присмотрит за ним. Я ни разу не плавала с мистером Пайком, но много слышала о нем. Он форменный хирург. В прошлый рейс он, говорят, сделал очень удачную ампутацию¹ и после этого так возомнил о своем искусстве, что обратил свое благосклонное внимание на нашего плотника, который страдал чем-то вроде несварения желудка. Мистер Пайк был так твердо убежден в правильности своего диагноза, что пытался уговорить плотника, чтобы тот позволил удалить свой аппендикс. — Она залилась веселым смехом и потом добавила: — Говорят, будто он предлагал бедняге чуть ли не пятьдесят фунтов табаку, если тот согласится на операцию.

— Но не опасно ли... во время плавания... оставлять на судне сумасшедшего? — нерешительно заметил я.

Она пожала плечами, точно не желая отвечать, но потом все-таки сказала:

— Нет, это пустяки. Среди каждой судовой команды найдется несколько сумасшедших или идиотов. И все они всегда являются на борт насквозь пропитанные виски, в пьяном бреду. Один раз, помню, — это было давно, мы тогда выходили в море из Ситла, — у нас на судне оказался такой безумец. Сначала он не проявлял никаких признаков сумасшествия. Но вдруг подошел к двум

¹ Ампутация — отсечение.

агентам мореходной конторы, схватил их за руки и вместе с ними спрыгнул за борт. Мы в тот же день вышли в море, и я не знаю, нашли ли их тела.

И она опять пожала плечами.

— Что вы хотите? Море сурово, мистер Паттерст. А в нашу команду мы набираем людей самого худшего сорта. Я иной раз удивляюсь, где они выкапывают таких. Мы делаем все, что можем, натаскиваем их по мере наших сил и как-то ухищряемся заставить их помогать нам нести нашу долю труда в этом мире. Но плохи они... очень плохи.

Слушая, я изучал ее лицо, сравнивал ее женственную грацию и ее прелестный костюм с грубыми лицами, размашистыми жестами и лохмотьями тех людей, и не мог в душе не признать, что она стоит на правильной точке зрения. И тем не менее, и даже, думается мне, именно поэтому, меня коробили — сентиментальность, конечно — жестокость и равнодушие, с какими она высказывала свой взгляд.

Именно потому, что она была женщина столь не похожая на тех выроdkов, мне было обидно за нее, — обидно, что она получила такое суровое воспитание в школе жизни моряков.

— Я заметил, и меня поразило хладнокровие вашего отца во время этого происшества, — рискнул я сказать.

— Ни разу не вынул рук из карманов? — подхватила она.

И когда я кивком подтвердил ее замечание, глаза ее весело сверкнули.

— Я так и знала. Это всегдашняя его манера. Я так часто это видела, что уже привыкла. Помню... мне шел тогда тринадцатый год... мы плыли в Сан-Франциско, а мама оставалась дома. Шли мы на «Дикси». Это — большое судно, почти такое же, как «Эльсинора». Дул сильный попутный ветер, и отец решил войти в гавань без буксирного парохода. Мы держали курс через Гольден-Гэт прямо на внутренний рейд Сан-Франциско. Кроме ветра, нас подгоняло быстрое течение, и людям обеих смен было приказано крепить паруса. И вдруг... Виноват был капитан одного парохода. Он не рассчитал, желая перерезать нам путь. Произошло столкновение: «Дикси» врезалась носом прямо в бок пароходу, разворотила корпус и начисто снесла каюты. На пароходе было несколько сот пассажиров — мужчин, женщин и детей. Отец спокойно стоял на палубе, не вынимая рук из карманов. Он послал на бак помощника присмотреть за спасением пассажиров (многие из них уже карабкались на бушприт нашего «Дикси») и таким голосом, точно просил передать ему хлеб и масло, приказал второму помощнику поставить все паруса. Он даже объяснил ему, с каких парусов начинать.

— Зачем же нужны были паруса? — перебил я ее.

— Этого требовало создавшееся положение, и отец это видел. Вы понимаете, пароход был перерезан пополам. Он в один миг пошел бы ко дну, если бы его не удерживал нос нашего судна, врезавшийся ему в бок. И тем, что мы подняли все паруса и шли полным ходом, мы не давали ему освободиться и затонуть. Я страшно испугалась. Люди, спрыгнувшие или упавшие в воду, со всех

сторон тонули на моих глазах, а мы все шли, не убавляя хода. Я взглянула на отца. Он был такой же, каким я его знала: руки в карманах, не спеша, ровным шагом ходит по палубе. Отдаст какое-то приказание рулевому (ему ведь надо было провести «Дикси» между скопившимися в гавани судами), посмотрит на спасшихся пассажиров, толпившихся у нас на палубе, и опять смотрит вперед, выбирая путь между стоящими на якоре судами. А иногда взглянет и на несчастных, тонувших на наших глазах, но без малейшего волнения, совершенно спокойно... Конечно, утонуло много народу, но своим хладнокровием, — вот именно тем, что он держал руки в карманах, — отец спас сотни человеческих жизней. Только тогда, когда на пароходе не осталось ни одного человека (он посылал людей удостовериться в этом), было приказано убрать часть парусов. И пароход тотчас же затонул.

Она замолчала и, ожидая одобрения, смотрела на меня сияющими глазами.

— Да, это было великолепно, — согласился я. — Я преклоняюсь перед спокойствием людей с сильной волей, хотя, признаюсь, такое спокойствие в критических случаях кажется мне чем-то нечеловеческим, противоестественным. Я представляю себя на месте вашего отца и чувствую, что я не мог бы держать себя, как он. Я убежден, например, что пока этот бедняга был в воде, я страдал за него гораздо больше, чем остальные зрители, взятые вместе.

— Отец тоже страдает, только виду не подает, — заступилась она за него, как преданная дочь.

Я молча наклонил голову: я почувствовал, что она не понимает меня.

ГЛАВА V

Когда я после чая вышел из каюты на палубу, буксирный пароход «Британия» был уже хорошо виден. Он должен был вывести нас из Чесапикской бухты в открытое море. Я прошел на бак. Там Сендри Байерс, по своему обыкновению, нежно прижимая обе руки к животу, выгонял матросов на работу. Ему помогал в этом другой человек, и я спросил мистера Пайка, кто это такой.

— Это Нанси, мой боцман. Правда — молодец-мужчина? — последовал быстрый ответ, и по тону мистера Пайка я догадался, что это было сказано в насмешку.

Нанси могло быть лет тридцать, не больше, хотя по его виду можно было подумать, что он живет на свете очень давно. Беззубый, с вялыми движениями усталого человека, с мутными глазами цвета аспидной доски, с бритым, болезненно желтым лицом, узкоплечий, с впалой грудью, с ввалившимися щеками, он имел вид человека в последнем градусе чахотки. Как ни мало жизни проявлял Сендри Байерс, Нанси проявлял ее еще меньше. И это были боцманы, — боцманы прекрасного американского парусника «Эльсиноры»! Ни одна из иллюзий за всю мою жизнь не терпела такого безнадежного крушения.

Мне было ясно, что эти люди, мягкотелые, без капли энергии, должны были бояться тех, над которыми они были поставлены как начальство. А матросы!.. Дорэ не мог бы найти лучших моделей для своего «Ада»! В первый раз я увидел их в полном составе, и не мог осудить боцманов за то, что они боялись этих людей. Матросы не ходили: они тяжело волочили ноги, опутив голову; некоторые даже шатались от слабости или просто оттого, что были пьяны.

Но хуже всего были их лица. Я невольно вспомнил то, что мне только что сказала мисс Уэст, — что среди судовой команды всегда найдется несколько сумасшедших или идиотов. Но эти все казались или сумасшедшими или идиотами. Я, как и мисс Уэст, удивлялся, где могли набрать такое множество человеческого хлама. У каждого был какой-нибудь изъян — скрюченное тело, искаженное лицо, — и почти все без исключения были малорослы. У немногих, оказавшихся хорошего мужского роста, были тупоумные лица. А один высокий человек, несомненно ирландец, был столь же, несомненно, помешанный. Он все время что-то бормотал, разговаривая сам с собой. Другой — маленький, сутулый, кривобокий человечек с кривой шеей, с хитрым, плутоватым лицом и белесыми голубыми глазами — обратился к этому сумасшедшему с каким-то непристойным замечанием, но тот не обратил на него никакого внимания и продолжал бормотать. Вслед за кривобоким человечком из трюма вынырнул великовозрастный толстый балбес, а за ним другой, такой долговязый и развинченный, что оставалось только удивляться, каким чудом мясо держится у него на костях.

Следом за этим ходячим скелетом показалось такое сверхъестественное существо, каких я еще и не видывал. Это была какая-то пародия на человека. Все тело его было скрючено, а лицо искажено, точно от боли. Можно было подумать, что его безостановочно пытали по крайней мере тысячу лет. Это было лицо забитого, слабоумного фавна. Большие черные глаза, горевшие диким огнем, говорили о невыносимом страдании; они вопросительно перебежали с одного лица на другое и так же вопросительно останавливались на всем окружающем. Эти жалкие глаза глядели так пытливо, как будто были обречены судьбой вечно отыскивать ключ к неразрешимой и грозной загадке. Только потом я узнал причину такого странного выражения глаз: человек этот был совершенно глух: у него лопнули барабанные перепонки при взрыве парового котла, искалечившего и все его тело.

Я заметил, что буфетчик стоит в дверях кухни и наблюдает издали за людьми. Глаз отдыхал на его живом, смышленном азиатском лице, так же, как и на подвижном лице «Коротышки», выбежавшего из трюма вприпрыжку, с громким смехом. Но и с ним было не совсем-то ладно. Он был карлик, и, как мне сказали потом, его веселый нрав и слабый ум сделали из него шута.

Мистер Пайк на минуту остановился подле меня, и пока он следил за людьми, я наблюдал его. У него было выражение лица скотопромышленника, и ясно было, что ему внушает отвращение качество приобретенного скота.

— Всех до одного чем-то пришибло от рождения, — пробурчал он.

А они все шли: один — бледный как мертвец, с бегающими глазами, про которого я тотчас же решил, что он отпетый мерзавец; другой — сухонький, сморщенный старикашка с птичьей физиономией и крошечными, как бисеринки, злыми голубыми глазками; третий — небольшого роста, плотный малый, показавшийся мне более нормальным и не таким тупоумным, как все те, что появлялись до сих пор. Но, видно, у мистера Пайка был более наметанный глаз.

— Что такое с тобой? — прорычал он, обращаясь к этому человеку. Разговаривая с матросом, мистер Пайк не говорил, а рычал.

— Ничего, сэр, — ответил тот, тотчас же остановившись.

— Имя твое?

— Чарльз Дэвис, сэр.

— Отчего ты хромаешь?

— Я не хромаю, сэр, — проговорил человек почтительно, и только после того, как начальник отпустил его кивком головы, бодро двинулся дальше, покачивая на ходу плечами.

— Правильный матрос, но я готов прозакладывать фунт табаку и даже месячное жалованье, что с ним что-то неблагополучно, — пробурчал мистер Пайк.

Трюм теперь, по-видимому, опустел, но мистер Пайк вдруг напустился на боцманов со своим обычным рычаньем:

— Какого черта вы торчите тут? Заснули?.. Думаете, здесь санаторий для отдыха, что ли? Марш в бак, и выволакивайте остальных!

Сендри Байерс осторожно подтянул свой живот и продолжал нерешительно топтаться на месте, а Нанси, с выражением упорного, застарелого страдания на лице, неохотно полез в бак. Вслед за тем оттуда посыпалась отборная площадная ругань, и послышался робкий, просительный голос Нанси, на чем-то кротко настаивающий.

Я заметил, какой свирепый, зверский взгляд бросил мистер Пайк в сторону бака, и приготовился увидеть бог знает каких сверхъестественных чудищ, когда матросы покажутся на свет. Вместо этого, к моему изумлению, из бака вышли три парня, казавшиеся неизмеримо выше того сброда, который предшествовал им. Я снова взглянул на мистера Пайка, ожидая увидеть смягчившееся выражение на его лице. Но, наоборот, его голубые глаза сузились и превратились в щелки, а ворчанье его превратилось в рычание собаки, которая собирается укусить.

А те трое... Все они были невысокого роста и молодые — так, между двадцатью пятью и тридцатью годами. На всех было грубое, но приличное платье, а двигавшиеся под платьем твердые мускулы говорили об их хорошем физическом состоянии. Лица у всех были тонко очерченные и интеллигентные. И хоть и чувствовалось в них что-то странное, но что именно — я не мог определить.

Они не были голодными пропойцами, как остальные, которые, пропив последний свой заработок, околевали с голоду на берегу, пока не получили и не пропили денег, выданных им вперед за предстоящее плавание. Эти трое были здоровые парни с гибкими членами, с произвольно быстрыми и точ-

ными движениями. Быть может, то странное, что мне почувствовалось в них, объяснялось тем равнодушным и в то же время испытующим взглядом, каким они смотрели на меня, и от которого, казалось, ничто не ускользало. Слишком самоуверенными, слишком опытными казались они. Я был уверен, что они не моряки, а между тем не мог определить, какое место они могли занимать на суше. Я никогда не встречал людей такого типа. Пожалуй, я дам читателю более верное представление о них, описав то, что произошло. Проходя мимо нас, они окинули мистера Пайка тем же равнодушным, острым взглядом, каким он одарил меня.

— Имя твоё, имя? — рявкнул мистер Пайк на первого из тройки, явно представлявшего собой помесь ирландца с евреем. Нос был, бесспорно, еврейский, и так же бесспорно ирландскими были глаза, нижняя челюсть и верхняя губа.

Все трое сейчас же остановились, и, хотя они не смотрели друг на друга, ясно было, что они о чем-то молча сговариваются между собой. Второй из тройки, в жилах которого текла бог весть какая кровь — еврейская, вавилонская или, может быть, латинская, — подал товарищам предостерегающий сигнал. Он не сделал ничего резкого, вроде подмигивания или кивка головы. Я даже не был уверен, что я перехватил этот сигнал, и тем не менее я твердо знал, что он о чем-то предупредил двух остальных, — то была слабая тень какой-то мысли, промелькнувшая в его глазах. Одним словом, что бы это ни было, а только сигнал был подан и достиг цели.

— Мерфи, — ответил на вопрос мистера Пайка первый из троих.

— Сэр! — поправил мистер Пайк свирепым голосом.

Мерфи пожал плечами в знак того, что он не понимает. Холодная самоуверенность этого человека, самоуверенность всех троих — вот что поразило меня всего больше.

— Когда ты говоришь с офицером нашего судна, ты должен к каждой фразе прибавлять «сэр», — пояснил мистер Пайк тем же свирепым тоном и с таким же свирепым лицом. — Понял?

— Да... сэр, — промямлил Мерфи с умышленной затяжкой, — я понял...

— Сэр! — заорал мистер Пайк.

— Сэр, — повторил Мерфи так тихо и небрежно, что это еще больше разозлило мистера Пайка.

— Так вот что, брат: Мерфи — слишком мудреное имя, — сказал он. — У нас здесь ты будешь прозываться Носатым. Понял?

— Понял... сэр, — последовал ответ, сознательно дерзкий по мягкости и равнодушию тона. — Носатый Мерфи? Что же, идет... сэр.

И он засмеялся — все трое засмеялись, если только можно назвать смехом смех беззвучный и ничем не выражающийся на лице. Смеялись одни лишь глаза, смеялись невесело и хладнокровно.

Уж, разумеется, мистер Пайк не получил большого удовольствия от беседы с этими прожженными молодцами. Он опрокинулся на жоака, на того, кото-

рый подал товарищам предостерегающий сигнал и который производил впечатление ублюдка всех семитических и средиземноморских рас:

— Тебя как зовут?

— Берт Райн... сэр, — ответил этот таким же мягким, небрежным и раздражающим тоном, как и первый.

— А тебя?

Это относилось к третьему, самому молодому, темноглазому малому, с оливкового цвета кожей и поразительно красивым, как на камее, лицом.

«Родившийся в Америке потомок эмигрантов из Южной Италии — из Неаполя или даже из Сицилии», — определил я.

— Твист... сэр, — ответил и этот точь-в-точь таким же тоном, как и двое других.

— Скверное имя, — насмешливо отрезал мистер Пайк. — У нас ты будешь Козленком. Понял?

— Понял... сэр. Козленок Твист... Мне это подойдет... сэр.

— Не Твист, а просто Козленок.

— Козленок так Козленок. Слушаю... сэр.

И опять все трое засмеялись своим беззвучным, невеселым смехом. Между тем мистер Пайк уже дошел до точки кипения, и ярость его искала только предлога, чтобы вылиться наружу.

— А теперь я вам, всей вашей троице, скажу кое-что, что будет полезно для вашего здоровья. — У него срывался голос от сдерживаемого бешенства. — Я знаю вашу братию. Вы — сволочь. Поняли? Сволочь. И на нашем судне с вами будут обращаться как со сволочью. Или вы будете работать, как нужно, или я доберусь до вас. В первый же раз, как вы вздумаете отлынивать от работы или даже будет только похоже на это, — вы получите свое. Поняли?.. А теперь ступайте: марш вперед к брашпилю!

Он повернулся на каблуках и пошел в обратную сторону, а я пошел рядом с ним.

— Что вы хотите с ними сделать? — поинтересовался я.

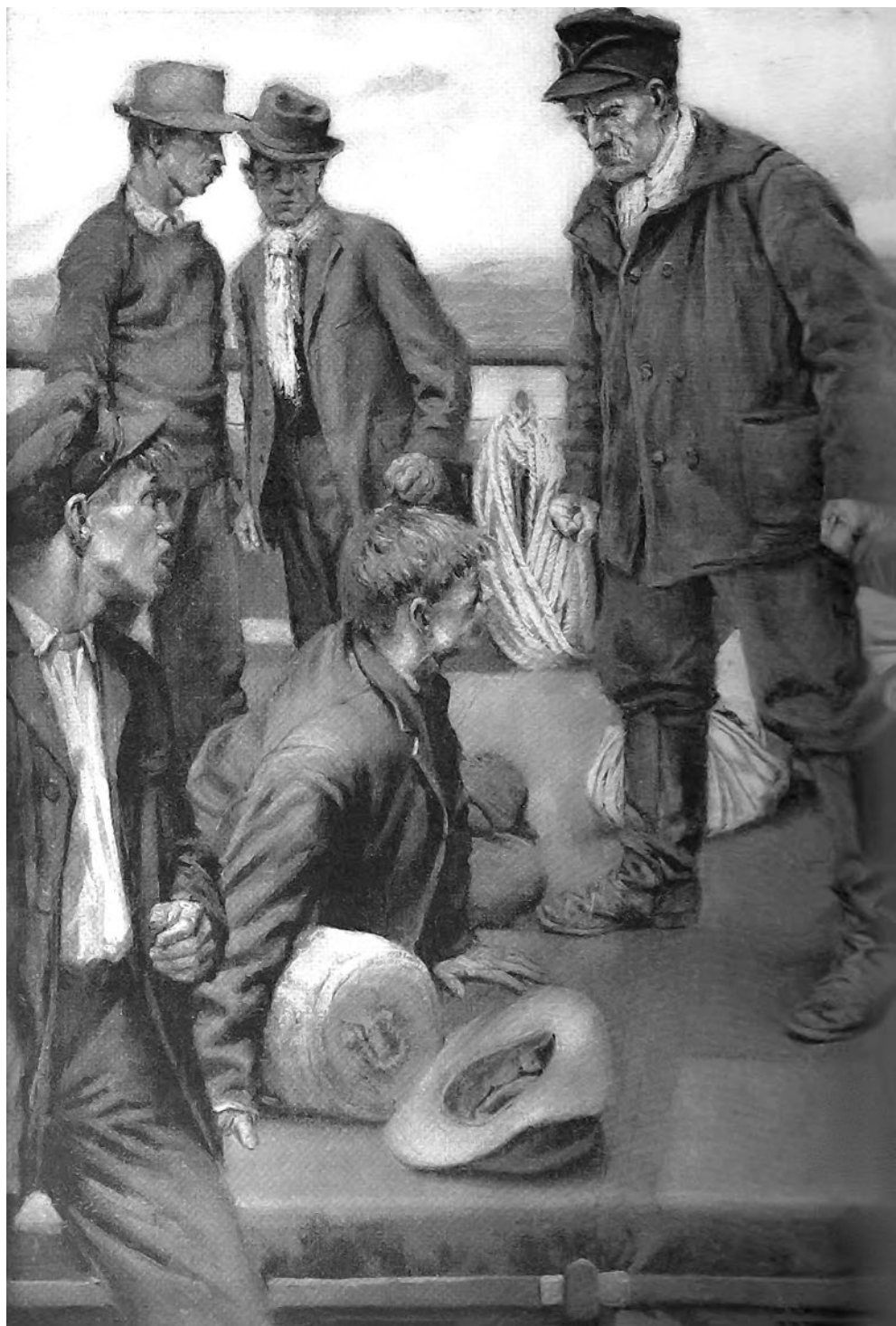
— Осадить, — проворчал он. — Я знаю эту породу. Много будет с ними хлопот. Таким отбросам даже в аду не место...

Тут речь его была прервана зрелищем, ожидавшим нас у люка номер два. На крышке люка лежали враспашку пять или шесть человек, и между ними Ларри, тот самый оборванец, который перед тем обозвал мистера Пайка «гнилым поленом». Ясно было, что этот Ларри не исполнил приказания, так как теперь он полулежал, прислонившись спиной к мешку со своими пожитками, который ему было приказано снести на бак. Кроме того, и он и вся эта компания должны были в эту минуту работать на носу.

Мистер Пайк ступил на крышку люка и подошел вплотную к Ларри.

— Встань! — приказал он.

Ларри сделал движение, чтобы подняться, но застонал и снова опустился на мешок.



— Ну, кто из нас теперь гнилое полено? — спросил он у Ларри.



— Я, сэр, — сокрушенно простонал тот.

— Не могу, — проговорил он.

— Сэр!

— Не могу, сэр. Вчера вечером я был пьян и заснул на Джеферсоновом рынке. А к утру я совсем очоchenел, сэр. Пришлось разминать мне кости, а то я был как деревянный.

— От холода одеревенел, бедняга? — проворчал со злой усмешкой мистер Пайк.

— Верно говорю вам, сэр: совсем как деревянный; не чувствовал ни ног, ни рук.

— Ничего не чувствовал — да? Все равно как «гнилое полено»?

Ларри заморгал с беспокойным видом испуганной обезьяны. Он почуял опасность, но еще не знал, чего бояться. Он понимал лишь, что над ним стоит человек, за которым право и сила.

— Постой же, я тебе покажу, может ли чувствовать гнилое полено, — передразнил его мистер Пайк.

А дальше случилось вот что. Я попрошу читателя припомнить, что я говорил об огромных лапах мистера Пайка. Я говорил, что пальцы этих лап были гораздо длиннее и вдвое толще моих, что руки были огромны, а плечи необыкновенно массивны. И вот теперь он поднял правую руку, и даже не кулаком, а только кончиками пальцев, наотмашь, ударил Ларри по лицу, но так, что тот перекувыркнулся и кубарем перекатился через свой мешок с пожитками. Человек, лежавший рядом с ним, угрожающе зарычал и с воинственным видом подался вперед, собираясь вскочить на ноги. Но он не спел вскочить. Мистер Пайк той же правой рукой ударил его по щеке. Удар прозвучал весьма внушительно. Старший помощник, видимо, обладал чудовищной силой. Казалось, он ударил совсем легко, без всякого усилия, как мог бы ударить, играя, добродушный медведь; но так велик был вес костей и мускулов ударившей руки, что человек повалился на бок и скатился с крышки люка на палубу.

В этот момент на нас набрел слонявшийся по палубе О'Сюлливан. Его бессвязное бормотанье донеслось до ушей мистера Пайка. Мгновенно ошетинившись, как дикий зверь, он уже поднял свою лапу, чтобы ударить его, и выпалил, как из пистолета:

— Чего ты? Как смеешь!.. — Но тут ему бросилось в глаза безумное лицо О'Сюлливана, и он сдержался. — Тоже из бедлама, — пояснил он.

Я невольно стал искать глазами капитана Уэста, ожидая увидеть его на корме, но оказалось, что корму от нас заслоняет средняя рубка.

Не обращая внимания на человека, лежавшего на палубе и стонавшего, мистер Пайк стоял над Ларри, который тоже стонал. Все остальные, валявшиеся раньше на крышке люка, теперь стояли на ногах, почтительные и покорные. Я тоже преисполнился почтения к этой грозной фигуре старика. Заданное им представление окончательно убедило меня в правдивости его рассказов о былых днях жестокой расправы на судах.

— Ну, кто из нас теперь гнилое полено? — спросил он у Ларри.

— Я, сэр, — сокрушенно простонал тот.

— Вставай!

Ларри поднялся без всякого усилия.

— А теперь живо на нос! Марш! И вы все тоже!

И все пошли, — угрюмо, еле волоча ноги, но все же пошли, как укрощенные животные, какими, в сущности, они и были.

ГЛАВА VI

Я поднялся по трапу на нос (где, как оказалось, помещались бак, кухня и каморка с маленьким паровым насосом) и прошел по мостику до фок-мачты, откуда можно было видеть, как поднимают якорь. «Британия» уже причалила к нашему борту, мы готовились к отплытию.

Группа людей ходила по кругу, ворочая брашпиль¹; остальные тоже исполняли какую-то работу на баке. Команда делилась на две смены, по пятнадцати человек в каждой. Кроме этих смен были еще парусники, юнги, боцманы и плотник, — всего около сорока человек. Но что это были за люди! Угрюмые, безжизненные, ленивые, неподвижные! Каждый шаг, каждое движение стоило им усилий, словно это были не живые люди, а поднятые из гробов мертвецы или выгнанные из больниц на работу тяжелобольные. Да это и были больные, отравленные водкой, голодные, ослабевшие от плохого питания. Но что всего хуже — все они были слабоумные или помешанные.

Я взглянул наверх, на сеть переплетающихся снастей, на мачты, поддерживавшие стальные реи и тянувшиеся все выше. Там, наверху, переплетающиеся снасти казались тонким кружевом на фоне неба. Было невероятно, чтобы такая никуда не годная команда могла благополучно провести это великолепное судно через все бури, ночной мрак и опасности, какими грозит море. Я представил себе двух помощников капитана, Меллэра и Пайка, подумал об их умственном и физическом превосходстве и спросил себя, смогут ли два действительно энергичных человека заставить действовать этот человеческий хлам. По крайней мере сами они не сомневались в своих силах. Но море? Кто окажется сильнее — море или они? Если они сумеют справиться с морем, если такой фокус возможен, то ясно, что я не имею никакого представления о море.

Я стал смотреть на уродливых, ковыляющих больных, заморенных людей, тяжело топтавшихся по кругу у брашпиля. Мистер Пайк был прав. Не такими были те живые, сильные, чертовски проворные люди, что управляли судами в былые дни щегольских клиперов, — те, что дрались с офицерами, обламывали в борьбе клинки своих ножей, убивали и сами погибали в драке, но умели работать как настоящие люди. А эти спотыкающиеся скелеты, ворочающие брашпиль... Смотрел-смотрел я на них — и тщетно старался представить их

¹ Брашпиль — ворот для подъема якорей.

себе карабкающимися по мачтам и реям, «вызывающими на поединок судьбу, — как говорит Киплинг, — со складными ножами в зубах». «Отчего они не поют, снимаясь с якоря?» — думал я. В старину, читал я, якорь всегда поднимался под удалые песни истых сынов моря, прирожденных моряков.

Мне надоело смотреть на эту вялую работу, и я отправился на разведку по мостику. Это было прекрасное сооружение, легкое, но крепкое, тремя воздушными скачками пересекавшее судно по всей его длине. Начиналось оно у самого бака, проходило над передней и над средней рубкой и кончалось у кормы. Ют, представлявший, в сущности, крышу или верхнюю палубу, тянувшуюся над всем пространством, отведенным под каюты, и занимавший всю заднюю часть судна, был очень велик. Площадь его пересекалась посередине, у самой кормы, только полукруглой и полуоткрытой будкой для штурвала, командной рубкой и каютой для хранения морских карт. По обе стороны этой каюты были двери, выходившие в маленькую переднюю, откуда лестница вела в нижнее помещение, где были жилые каюты.

Я заглянул в командную рубку, и сидевший там капитан Уэст приветствовал меня улыбкой. Он очень уютно расположился в кресле-качалке, откинув голову на спинку и вытянув ноги на соседнюю конторку. Тут же, на широкой, мягкой кушетке сидел лоцман. Оба курили сигары. Я на минуту остановился в дверях послушать, о чем говорят, и понял из их разговора, что лоцман был раньше капитаном судна.

Когда я спускался вниз, из каюты мисс Уэст доносилось ее мурлыканье и шум какой-то возни: это она разбирала свои вещи. И судя по ее бодрому, веселому голосу, она вкладывала головокружительную энергию в свое занятие. Проходя мимо кладовой, я просунул голову в дверь и поздоровался с буфетчиком, вежливо давая ему знать, что я помню о его существовании. Его крошечные владения были поистине царством действенной воли. Все здесь было в порядке, нигде ни единого пятнышка, и я знаю, что на суше, при всем моем желании, я не нашел бы более бесшумного слуги. На его лице, когда он взглянул на меня, было так же мало или так же много выражения, как на лице сфинкса, но его раскосые черные глазки светились умом.

— Как вы находите нашу команду? — спросил я, чтобы как-нибудь объяснить мое вторжение в его царство.

— Сумасшедший дом, — ответил он быстро, с отвращением качая головой. — Слишком много сумасшедших. Все сумасшедшие. Сами видите. Мало добра. Мусор и гниль. Ни к черту.

Вот и все, что он сказал, но это подтверждало мое собственное впечатление. Быть может, и верно было то, что говорила мисс Уэст, — что в каждой судовой команде найдется несколько сумасшедших и идиотов; но можно было смело заключить, что в нашей команде их было не несколько, а много больше. И действительно, как оно и вышло на поверку, наша команда даже для нынешнего времени выродившегося мореходства была ниже среднего уровня в своей неумелости и полной непригодности к какому бы то ни было труду.

Я пришел в восхищение от моей каюты (собственно, от двух моих кают). Вада распаковал и развесил весь мой гардероб и разложил на бесчисленных полках всю библиотеку, какую я захватил с собой. Все было в полном порядке, на своем месте, начиная с моего бритвенного прибора, уложенного в ящик умывальника, моих непромокаемых брюк и сапог, подвешенных таким образом, чтобы они всегда были под рукой, и кончая моими письменными принадлежностями, аккуратно разложенными на конторке, перед которой стояла, обитая кожей и наглухо привинченная к полу качалка, приглашая меня присесть отдохнуть. Моя пижама и халат лежали наготове, мои туфли стояли на обычном месте у кровати и тоже призывали меня к покою. Здесь, внизу, царил разум и комфорт. А на палубе было то, что я только что описал, — кошмарный подбор низших существ, лишь по виду человеческих, исковерканных духовно и физически, каких-то карикатур на людей. Да, необыкновенная была у нас команда, и я никак не мог допустить, чтобы мистер Пайк с мистером Меллэром сумели обломать этих выроdkов и превратить их в работоспособных людей, необходимых для управления таким огромным, сложным и прекрасным механизмом, как это судно.

Я был совершенно подавлен тем, чему был только что свидетелем на палубе, и когда, вернувшись к себе в каюту, я удобно устроился в своем кресле и раскрыл второй том «Hail Farewell»¹ Джорджа Мура, у меня на минуту мелькнуло что-то вроде предчувствия, что наше плавание будет неблагоприятным. Но когда, оглядев мою каюту и оценив ее простор и комфорт, я подумал, что ни на одном пассажирском пароходе я не мог бы устроиться так удобно, я отогнал мрачные мысли и с удовольствием стал рисовать себе картину, как хорошо и спокойно я проведу несколько месяцев за чтением, которое в последнее время я сильно запустил.

Как-то раз я спросил Ваду, видел ли он команду. Нет, сам он не видел, но буфетчик говорил ему, что за все годы, что он ходит в море, такой плохой команды он еще не знал.

— Он говорит: все безголовые, не моряки, ненадежный народ, — сказал Вада. — Большие дураки, говорит, и много с ними будет хлопот. Вот увидишь, — говорит. А он уже старый человек — пятьдесят пять ему, говорит. Хороший человек, хоть и китаец. Он раньше плавал, но бросил, а теперь идет в море в первый раз. А перед тем вел большое дело в Сан-Франциско. Только вышли у него неприятности с полицией. Говорят, он опиум продавал из-под полы. Ох, много, много неприятностей он нажил. Только он хитрый: нанял хорошего законника и не попал в тюрьму. Но тот законник очень долго копался, а когда все уладилось и все неприятности кончились, тогда он — законник, то есть — забрал в свои руки все его дело, все деньги, все. И вот пришлось ему опять идти в море, как в прежнее время. Он хорошо зарабатывает здесь, получает шестьдесят пять долларов в месяц. Но ему здесь не нравится. Команда

¹ «Прощальный привет».

очень уж плоха. Как только кончится рейс, он уйдет с судна и снова заведет дело в Сан-Франциско.

Некоторое время спустя, когда Вада по моему приказанию открыл один из иллюминаторов, я услышал плеск и бульканье воды за бортом и понял, что мы подняли якорь и идем на буксире у «Британии» по Чесапикской бухте в открытое море. На один миг у меня опять мелькнула мысль, что еще не поздно вернуться. Не отказаться ли в самом деле от дальнейшего путешествия? Ничего не могло быть легче, как пересесть на «Британию», когда она будет уходить от нас, и вернуться в Балтимор. Но тут до меня донеслось звяканье посуды (это буфетчик собирался накрывать на стол), а в каюте было так тепло и уютно, и так увлекателен был Джордж Мур...

ГЛАВА VII

Обед во всех отношениях превзошел мои ожидания, и я отметил про себя, что повар — кто бы он ни был — мастер своего дела. Хозяйничала мисс Уэст, и хотя она с буфетчиком были чужими друг другу, действовали они удивительно согласно. Судя по тому, как гладко проходил обед благодаря расторопности буфетчика, можно было принять этого человека за старого слугу, с давних пор знавшего свою хозяйку и изучившего все ее привычки. Лоцман обедал в капитанской рубке, и здесь нас сидело за столом только четверо постоянных сотрапезников. Капитан Уэст сидел против дочери, а я по правую его руку, лицом к лицу с мистером Пайком. Таким образом место мисс Уэст приходилось справа от меня.

Мистер Пайк в темном сюртуке (он надел его для обеда), морщившемся на выпуклых мускулах его сутулых плеч, совсем не говорил. Но он столько лет обедал за капитанским столом, что не мог не приобрести приличных манер. Сначала мне казалось, что его смущает присутствие мисс Уэст, но потом я решил, что не ее он стесняется, а капитана. Только теперь я заметил, как капитан обращается с ним. Как ни велико было расстояние, отделявшее команду от двух помощников капитана, людей совершенно другой, высшей породы, ничуть не меньше было расстояние между ними и капитаном Уэстом. Он был чистокровный аристократ. С мистером Пайком он не удостоивал говорить даже о судовых делах, а не то что о чем-нибудь постороннем.

Со мной же он обращался как с равным. Но, правда, я ведь был пассажиром. Также обращалась со мной и мисс Уэст. Она и с мистером Пайком держалась проще. А мистер Пайк отвечал ей: «Да, мисс», или: «Нет, мисс», кушал, как благовоспитанный мальчик, и в то же время его серые глаза, блестящие из-под косматых бровей, изучали меня через стол. Я, со своей стороны, тоже изучал его. Несмотря на его бурное прошлое, на его жестокие расправы с людьми в былые времена, мне он нравился. Это был честный, прямой человек. И даже не столько этим привлекал он меня, сколько тем наивным детским смехом,

каким он раздражался всякий раз, как я рассказывал что-нибудь смешное. Так не мог смеяться дурной человек. И я был рад, что он, а не мистер Меллэр, будет сидеть против меня за столом во время нашего плавания. И еще больше был рад, что мистер Меллэр вообще не будет сидеть с нами за одним столом.

Кажется, мы с мисс Уэст одни только и поддерживали разговор. Общительная, живая, находчивая, она задавала тон, и я еще раз обратил внимание на то, что нежный овал ее лица не соответствовал ее крепкой фигуре. Она была здоровой, сильной молодой особой, — не толстой — боже упаси — ее нельзя было назвать даже пухленькой, но очертания ее тела отличались приятной округлостью, какая обыкновенно сопровождает здоровые мускулы. В этом теле чувствовалась сила, а между тем она была худощавее, чем казалась. Помню, что когда мы встали из-за стола, я с удивлением заметил, какая у нее тонкая талия. «Молодая ива», — подумал я в этот момент. И в самом деле, она напоминала иву с гибким станом и тем избытком здоровой растительной жизни, благодаря которому казалась полнее и тяжеловеснее, чем была. Это завидное здоровье заинтересовало меня. Присмотревшись внимательнее к ее лицу, я заметил, что только овал его был нежен. Самое же лицо не было ни нежным, ни хрупким. Ткань кожи была тонка, но плотна, как это было видно при каждом движении крепких мускулов лица и шеи. Шея была прекрасной белой колонной, с тонкой кожей и сильными мускулами. Обратил я внимание и на руки, — не маленькие, но красивой формы, — тонкие, белые, холеные, но сильные руки. Оставалось только прийти к заключению, что она — такая же необыкновенная капитанская дочка, каким необыкновенным капитаном был ее отец. У них и носы были одинаковые: прямые, с легкой горбинкой, говорившие о силе и породе.

Пока мисс Уэст распространялась о том, как неожиданно она решила ехать (ей вдруг пришла такая фантазия, сказала она), и пока она перечисляла все осложнения, какие ей пришлось преодолевать при ее спешных сборах в дорогу, я поймал себя на том, что занимаюсь подсчетом тех людей на борту «Эльсиноры», которые окажутся способными действовать. Такими были капитан Уэст и его дочь, два его помощника, Вада, буфетчик и, разумеется, я, да еще, вне всякого сомнения, повар, в чью пользу красноречиво свидетельствовал обед. Итак, в общем итоге нас, способных действовать, оказалось восемь человек. Но повар, буфетчик и Вада были слуги, а не матросы, а я и мисс Уэст — сверхкомплектные. Стало быть, из сорока пяти человек, составлявших население судна, настоящих работников, имевших прямое касательство к управлению этим судном, было только трое. Наверное, были и еще в этом смысле полезные люди. Очень возможно, что мое первое впечатление от команды обмануло меня. Был еще плотник, и может быть, он был таким же мастером своего дела, как повар. Были еще два матроса, парусники, Правда, я их еще не видал, но, может быть, и они окажутся хорошими работниками. В конце обеда я попробовал навести разговор на занимавшую меня тему. Я рассказал, в какое восхищение привели меня мистер Пайк и мистер Меллэр своим умением обламывать эту распущенную, никуда не годную команду. Для меня это ново, сказал я, но я вполне



— У нас принято за правило, мистер Патгерст, и я попросил бы вас



придерживаться его, — никогда не говорить о нашей команде.

признаю необходимость таких мер. Когда в дальнейшем разговоре я коснулся происхождения на люке номер два и стал рассказывать, как мистер Пайк заставил Ларри подняться одним лишь легким шлепком концами пальцев, я прочел в глазах мистера Пайка предостережение, чуть ли не угрозу. Тем не менее я до сказал все до конца. Когда я кончил, за столом воцарилось молчание. Мисс Уэст углубилась в разливание кофе. Мистер Пайк усердно занялся раскалыванием орехов и, как ни старался, не мог скрыть полуюмористического, полусердитого выражения, промелькнувшего в его глазах. А капитан Уэст смотрел на меня в упор, но — боже! — с какого далекого расстояния, точно я был за миллионы миль от него! Его светлые голубые глаза глядели ясно и спокойно; его голос был тих и мягок, как всегда.

— У нас принято за правило, мистер Патгерст, и я попросил бы вас придерживаться его, — никогда не говорить о нашей команде.

Это был удар прямо в лицо, и, подчеркивая мое сочувствие к оборванцу Ларри, я поспешил ответить:

— В данном случае меня заинтересовал не только вопрос дисциплины, но и способ проявлять свою силу.

— Матросы и так доставляют нам довольно неприятностей, мистер Патгерст, и нам неинтересно слушать про них, — продолжал капитан Уэст таким ровным и невозмутимым тоном, как будто не слышал моих слов. — Я предоставляю моим помощникам управляться с матросами. Это их дело, и им известно, что я не потерплю незаслуженного грубого или чересчур сурового обращения с людьми.

Мистер Пайк упорно рассматривал скатерть, но на его деревянном лице чуть заметно скользнула тень веселой улыбки. Я взглянул на мисс Уэст, в надежде встретить сочувствие. Она откровенно расхохоталась и сказала:

— Как видите, матросы для отца не существуют. И, право, это хороший взгляд на вещи.

— Очень хороший, — пробормотал мистер Пайк.

Тут мисс Уэст дипломатично перевела разговор на другое, вскоре все мы от души смеялись, слушая ее остроумный рассказ о недавнем ее столкновении с бостонским извозчиком.

Обед кончился. Я прошел в мою каюту за папиросами и мимоходом заговорил с Вадой о поваре. Вада был большой любитель собирать всякие сведения.

— Его зовут Луи. — сказал он, — Он тоже китаец, только не совсем китаец: другая половина английская. Как называется этот остров?... Знаете, тот остров, где долго жил Наполеон, там он и умер.

— Остров Святой Елены?

— Да, да. Вот этот самый Луи родился на том острове, очень хорошо говорит по-английски.

В эту минуту с палубы спустился мистер Меллэр, только что сменившийся с вахты. Он прошел мимо меня в большую кормовую каюту, где был уже накрыт второй обеденный стол. Его «Добрый вечер, сэр» было сказано с таким

достоинством и так учтиво, как мог бы это сказать какой-нибудь старосветский джентльмен из южных штатов. И все-таки не нравился мне этот человек. Слишком расходилась его внешность с внутренним содержанием, скрывавшимся за ней. И в ту минуту, когда он поздоровался со мной и улыбнулся, я почувствовал, что что-то, сидящее в его черепе, наблюдает за мной, изучает меня. И не знаю почему, как бы по внезапному наитию, я вспомнил вдруг тех трех странного вида молодцов, вышедших из трюма последними, которым мистер Пайк сделал такое строгое внушение. Такое точно впечатление произвели на меня и они.

За мистером Меллэром со смущенным видом ковылял какой-то субъект, с лицом тупоумного ребенка и с телом великана. Ноги у него были еще больше, чем у мистера Пайка, но руки (я бросил быстрый взгляд на его руки) были не так велики.

Когда они прошли, я вопросительно взглянул на Ваду.

— Это плотник. Обедает за вторым столом. Зовут его Сэм Лавров. Приехал из Нью-Йорка на пароходе. Буфетчик говорит — слишком молод для плотника: двадцать два, двадцать три года.

Когда, подойдя к открытому иллюминатору над моей конторкой, я снова услышал плеск воды, я вспомнил, что наше судно идет. Но так был ровен и бесшумен его ход, что, пока мы сидели за столом, мне в голову не приходило, что мы двигаемся и что вообще мы не на твердой земле. Я всю жизнь плавал на пароходах, привык к пароходам, и мне было трудно сразу приноровиться к отсутствию шума и тряски от вращающегося винта.

— Ну что, нравится тебе здесь? — спросил я Ваду, который, как и я, еще ни разу не плавал на парусном судне.

Он улыбнулся из вежливости.

— Смешной корабль. Смешные матросы. Не знаю, может быть, все будет хорошо. Увидим.

— Ты думаешь, кончится худо? — спросил я напрямик.

— Я думаю, матросы очень уж несуразные. Смешные матросы, — увиливал он от прямого ответа.

ГЛАВА VIII

Закурив папироску, я вышел на палубу и направился к баку, где шла работа. Над моей головой на звездном небе вырисовывались темные очертания парусов. Матросы поднимали паруса и делали это вяло и медленно, насколько мог судить такой новичок в этом деле, как я. Еле различимые силуэты человеческих фигур, выстроившихся в длинную линию, выбирали канаты. Работа шла среди унылого, гробового молчания, если не считать доносившегося со всех сторон рычания вездесущего мистера Пайка, отдававшего приказания или извергавшего проклятия на головы несчастных людей.

Судя по тому, что мне приходилось читать, уж, конечно, в старину ни одно судно не выходило в море так невесело и так неумело. Вскоре к мистеру Пайку присоединился мистер Меллэр для руководства ходом работ.

Еще не было восьми часов, и все руки были за работой. Время от времени, когда не действовали нерешительные внушения боцманов, я видел, как тот или другой из помощников капитана бросался к поручням и сам совал нужную веревку в руки матросам.

«Здесь, внизу, конечно, самые безнадежные из команды, — решил я. (По доносившимся сверху звукам голосов я знал, что на мачтах тоже работают люди.) — Наверное те, что там, наверху, крепят паруса, все-таки больше похожи на моряков».

Но что творилось на палубе! Человек двадцать — тридцать жалких выродков тянули канаты, поднимая рею, — тянули без согласованных усилий, с мучительной медлительностью. «Живее! Живее! Понатужьтесь!» — орал мистер Пайк. Тогда они вытягивали канат на два, на три ярда и опять оставались, как запаленные лошади на подъеме... Но как только кто-нибудь из помощников капитана подбегал к ним и налегал на канат со всей своей силой, канат продвигался дальше уже без остановок. Каждый из этих двух стариков, помощников капитана, по своей физической силе стоил полудюжины тех несчастных калек.

— Вот во что превратились плавания на парусных судах, — рявкнул мне в ухо мистер Пайк во время одной из передышек. — Не дело офицера выбирать фалы, работать, как простой матрос. Но что поделаешь, когда боцманы хуже команды!

— Я думал, матросы поют за работой, — сказал я.

— Конечно, поют. Хотите послушать?

Я почуял злорадство в его тоне, но все-таки ответил, что мне интересно послушать.

— Эй, боцман! — крикнул мистер Пайк. — Проснись! Затяни-ка песню! Про Падди Дойля — ну-ка!

Я мог бы поклясться, что во время наступившей паузы Сендри Байерс подтягивал обеими руками свой живот, а Нанси, с застывшим на лице мрачным отчаянием, облизывал губы языком и прочищал горло, собираясь начать. Затянул песню Нанси, ибо, я уверен, другой смертный не способен был бы издать такие немзыкальные, такие некрасивые, безжизненные, неопишимо заунывные, похоронные звуки.

А между тем, судя по словам, это была веселая, ударная, разбойничья песня! Бедняга Нанси грустно тянул:

Ой, хороши у Падди сапоги!
Убьем за сапоги мы Падди Дойля.
Тяни, тяни, потягивай, тяни!

— Довольно! Будет! — заорал мистер Пайк. — У нас тут не похороны. Неужели не найдется у вас запевалы? Ну-ка, попробуйте еще раз!

Он оборвал на полуслове, подскочил к матросам, выхватил у них из рук канат (они взялись было не за тот, за какой было нужно) и сунул им другой: — Ну-ка, боцманы, другую песню! Валяй!

Тогда в темноте раздался голос Сендри Байерса, разбитый, слабый и, пожалуй, еще более похоронный, чем Нанси:

Взвейся выше, выше, рея!
Виски для Джонни!

Предполагалось, что вторую строчку подхватывает хор, но подтянули два-три человека — не больше. Сендри Байерс срывающимся голосом затянул дальше:

Убил виски мою сестрицу Сью...

Но тут вступил в хор мистер Пайк. Ухватившись обеими руками за канат, он громко, с редким ухарством и шиком пропел:

И старичка он убил. Не беда!
Плесните виски для Джонни.

И он допел до конца эту залихватскую песню, подбодря команду к работе и заставляя ее подхватывать хором припев: «Виски для Джонни».

И под его голос все ожили: тянули канат, подвигались вперед, пели, пока он разом не оборвал, скомандовав:

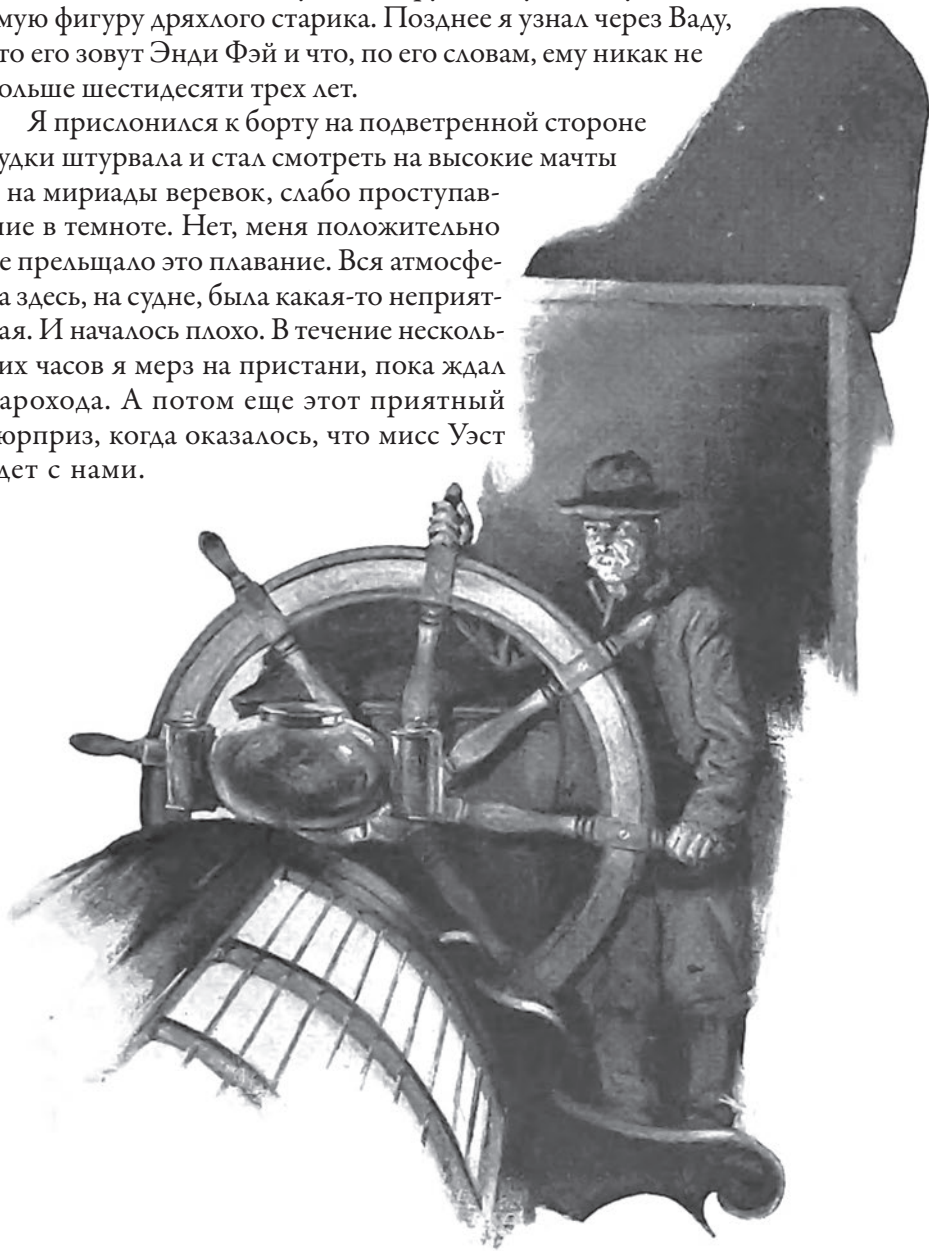
— Крепить снасти!

И тотчас же вся жизнь ушла из этих людей, и снова это были прежние ничемные существа, без толку топчущиеся на месте, спотыкающиеся и натыкающиеся в темноте друг на друга, нерешительно хватющиеся то за одну, то за другую веревку, и неизменно не за ту, за какую надо. Конечно, были между ними и такие, которые сознательно отлынивали от работы, а один раз со стороны средней рубки до меня донеслись звуки ударов, ругань и стоны, и из темноты выскочили два человека, а следом за ними пронесся мистер Пайк, грозя им самыми ужасными карами, если он еще хоть раз поймает их на такой штуке.

Все это действовало на меня так удручающе, что я не мог выдерживать дальше: я повернул назад и поднялся на ют. По подветренной стороне командной рубки тихим шагом ходил взад и вперед капитан Уэст и лоцман. Я прошел дальше к штурвалу и там увидел того самого маленького, сухонького старичка, которого заметил ещё днем. При свете фонаря его маленькие голубые глазки смотрели еще схищнее и злее. Он был такой миниатюрный и сухой, а штурвал — такой большой, что они казались одной вышины. Лицо у него было обве-

тренное, корявое, все в морщинах, и по виду он казался на пятьдесят лет старше мистера Пайка. Меньше всего можно была ожидать встретить в качестве рулевого на одном из наших лучших парусных судов такую ископаемую фигуру дряхлого старика. Позднее я узнал через Ваду, что его зовут Энди Фэй и что, по его словам, ему никак не больше шестидесяти трех лет.

Я прислонился к борту на подветренной стороне будки штурвала и стал смотреть на высокие мачты и на мириады веревок, слабо проступавшие в темноте. Нет, меня положительно не прельщало это плавание. Вся атмосфера здесь, на судне, была какая-то неприятная. И началось плохо. В течение нескольких часов я мерз на пристани, пока ждал парохода. А потом еще этот приятный сюрприз, когда оказалось, что мисс Уэст едет с нами.



*При свете фонаря его маленькие голубые глазки смотрели еще ехиднее и злее.
Позднее я узнал, что его зовут Энди Фэй.*

А эта команда из калек и помешанных!.. «Хотел бы я знать, — думал я, — торчит ли еще тот раненый грек в средней рубке, и зашил ли его мистер Пайк?» Но я твердо знал одно — что я не хотел бы быть пациентом у такого хирурга.

Даже у Вады, никогда не плававшего на парусных судах, были свои сомнения насчет нашего путешествия. Были они и у буфетчика, который большую часть жизни провел на парусных судах. Что касается капитана Уэста, то для него команда не существовала. Ну, а мисс Уэст была так возмутительно нормально здорова, что не могла не быть оптимисткой в такого рода вещах. В ней жизнь была ключом. Ее красная кровь говорила ей, что она будет жить вечно и что ничего дурного не может случиться с ее великолепной особой. О, верьте мне, я знаю, на что способна красная кровь! И таково было мое тогдашнее настроение, что это здоровое полнокровие мисс Уэст было для меня оскорблением, ибо я знал, как неразумна и как порывиста может быть красная кровь. И вот по меньшей мере пять месяцев — недаром же мистер Пайк предлагал держать пари на все его месячное жалованье, что мы не закончим рейса раньше этого срока, — по меньшей мере пять месяцев мне предстоит провести в обществе этой девицы. Как верно то, что космическая пыль есть космическая пыль, так же верно и то, что прежде, чем кончится наше плавание, она начнет преследовать меня своей любовью.

Пожалуйста, не поймите меня превратно. Моя уверенность в этом вытекала отнюдь не из преувеличенно лестного мнения о моей привлекательности для женского пола, а только из моего далеко не лестного мнения о женщинах. Я считаю, что почти все женщины инстинктивно охотятся за мужчинами, — этот инстинкт вложен в них природой. Женщина тянется к мужчине с такой же слепой стихийностью, с какой подсолнечник тянется к солнцу, с какой цепляются усики виноградной лозы за все, за что только могут уцепиться. Можете сказать, что я *blase*¹, — я не обижусь, если под этим словом вы подразумеваете пресыщение жизнью, интеллектуальное и моральное, какое может постигнуть даже молодого, тридцатилетнего человека. Да, мне только тридцать лет, и я устал от жизни, устал и терзаюсь сомнениями. Потому-то я и пустился в это плавание. Мне хотелось уйти от всех этих переживаний, побыть наедине с самим собой и подумать, как жить дальше.

Мне иногда казалось, что пресыщение жизнью и усталость были вызваны успехом моей пьесы, — первой моей пьесы, как это всем известно. Но это был успех такого рода, что в моей душе он поднял сомнения, как поднял их и успех нескольких томиков моих стихотворений. Права ли публика? Правы ли критики? Конечно, назначение художника — живописать жизнь, но что я знал о жизни?

Итак, теперь вы, может быть, начинаете понимать, что я разумею под болезнью, называющейся «пресыщение жизнью», которой я страдал. И я в самом деле страдал, страдал серьезно. Меня преследовали сумасшедшие мысли

¹ *Blase* — по-французски — пресыщенный, равнодушный.

навсегда уйти от мира. У меня в голове даже сложилась была идея отправиться на Молокаи и посвятить остаток моих дней прокаженным. Такая дикая идея у тридцатилетнего человека, здорового и сильного, не пережившего никакой особенной трагедии, обладающего таким огромным доходом, что он не знал, куда его девать, — у человека, чье имя, благодаря его заслугам, было у всех на устах, у человека, доказавшего свое право на внимание общества! И я был этим сумасшедшим человеком, который был готов избрать себе в удел уход за прокаженными.

Могут, пожалуй, сказать, что успех вскружил мне голову. Прекрасно, допустим, что так. Но от чего бы ни происходила моя болезнь, хотя бы даже от успеха, вскружившего мне голову, она была фактом, — неопровержимым фактом. Мне было хорошо известно, что я достиг полного умственного и артистического развития, что я достиг в некотором роде границы своего развития. И я поставил диагноз моей болезни и прописал себе лекарство — путешествие. И вдруг появляется эта возмутительно здоровая и глубоко женственная мисс Уэст и едет с нами. Это был последний из ингредиентов, какой могло прийти мне в голову включить в рецепт прописанного мною лекарства.

Женщины! Женщины! Видит Бог, меня достаточно изводили их преследования, чтобы я мог не знать их. Судите сами: тридцать лет отроду, не совсем урод, занимает видное положение в свете, как интеллигентный человек и художник, и сногшибательный доход, — как же не гоняться за таким человеком! Да будь я горбун, калека, урод, за мной гонялись бы уже из-за одного моего имени, из-за одних моих денег.

Да и любовь! Разве не знал я любви — лирической, страстной, безумной, романтической любви! И это тоже испытал я в свое время. Я тоже трепетал и пел, рыдал и вздыхал. И горе знал, и хоронил своих мертвых. Но это было так давно! Ох, как я был тогда молод! Мне едва исполнилось двадцать четыре года тогда. А после того жизнь преподала мне тяжелый урок, и я понял горькую истину, что даже бессмертное горе умирает. И я опять смеялся и принимал участие в игре в любовь с хорошенькими свирепыми мотыльками, летевшими на свет моего богатства и артистической славы. А потом я с отвращением отвернулся от женских приманок и пустился в новую длительную авантюру ломанья копий в царстве мысли. И вот теперь очутился на борту «Эльсиноры», выбитый из седла столкновением с конченными проблемами жизни, выбывший из строя с проломленной головой.

Пока я стоял у борта, стараясь отогнать мрачные предчувствия насчет нашего плавания, мне вспомнилось, как мисс Уэст энергично хлопотала внизу над разборкой своего багажа и как весело она напевала, устраивая свое гнездышко. А от нее мысль моя перенеслась к извечной тайне женщины. Да, со всем моим футуристическим презрением к женщине, я всегда вновь и вновь поддавался этим чарам, — чарам тайны женщины.

Я не создаю себе иллюзий — боже меня упаси! Женщина, ищущая любви, воительница и победительница, хрупкая и свирепая, нежная и жестокая,

гордая, как Люцифер, и лишенная всякого самолюбия, представляет вечный, почти болезненный интерес для мыслителя. Где источник того огня, что прорывается сквозь все ее противоречия, сквозь ее низменные инстинкты? Откуда эта ненасытная жажда жизни, вечная жажда жизни, — жизни на нашей планете? Иногда мне это кажется чем-то ужасным, бесстыдным и бездушным. Иногда меня это сердит, иногда я преклоняюсь перед величием этой тайны. Нет, не убежать от женщины. Как дикарь всегда возвращается в темный бор, где обитают злые духи, а может быть, боги, так и я все возвращаюсь к созерцанию женщины.

Голос мистера Пайка прервал мои размышления. С бака через все судно неся его рев:

— Эй, вы там! На верхнюю рею!.. А ты смотри: только оборви мне ревант, я тебе башку проломлю.

Он опять закричал, но уже не таким грубым голосом. Теперь он обращался к Генри — тому юноше, который поступил на «Эльсинору» с учебного судна.

— Эй, Генри, на верхнюю рею! — кричал он. — Прочь эти реванты! Закрепи их на рее!

Выведенный таким образом из задумчивости, я решил лечь спать. Я уже взялся за ручку двери рубки, чтобы спуститься вниз, когда мне вслед опять прогремел голос мистера Пайка.

— Ну-ка, молодчики, переодетые дворянские сынки! Проснитесь! Живо наверх!

ГЛАВА IX

Я плохо спал. Сначала зачитался и долго читал в постели. Только в два часа утра я погасил керосиновую лампу, которую Вада достал для меня. Заснул я мгновенно (способность скоро засыпать — самое драгоценное мое свойство), но почти тотчас же проснулся. И с той минуты началось: я беспокойно метался, стараясь заснуть, задремал и вдруг, как от толчка, опять просыпался и наконец бросил пытаться заснуть. Я чувствовал какое-то раздражение по всей коже. Недоставало только, чтобы при моих расстроенных нервах я заболел крапивной лихорадкой, да еще в холодную зимнюю пору.

В четыре часа я зажег лампу, взялся опять за книгу и позабыл про свою раздраженную кожу, увлекшись восхитительными выпадами Вернон Ли против Вильяма Джемса и его «воли к вере». Я был на наветренной стороне судна, и мне слышны были раздававшиеся на палубе над моей головой мирные шаги вахтенного офицера. Это не были шаги мистера Пайка, или мистера Меллэра или лоцмана. «Значит, там наверху кто-то бодрствует, и работа идет своим чередом, — думал я. — За ходом судна бдительно наблюдают и — ясное дело — будут наблюдать каждый час и все часы нашего плавания». В половине пятого я услышал звон будильника, который буфетчик тотчас же остановил. Через

пять минут буфетчик встал. Я поманил его рукой в мою открытую дверь и попросил подать мне кофе. Вада служил у меня уже несколько лет, и я был уверен, что он отдал буфетчику самые точные инструкции на этот счет и передал ему мой кофе и мой спиртовой кофейник. Буфетчик был настоящее золото. Через десять минут он подал мне чашку превосходного кофе. Я читал до самого рассвета, а в половине девятого, позавтракав в постели, был уже на палубе, выбритый и одетый. Дул легкий попутный северный ветер. Мы все еще шли на буксире, но с поднятыми парусами. В командной рубке капитан Уэст и лоцман курили сигары. У штурвала стоял человек, про которого я тотчас же решил, что он настоящий работник. Он был невысок — ниже среднего роста; лицо у него было интеллигентное, с широким умным лбом. Потом мне сказали, что зовут его Том Спинк и что он англичанин. У него были голубые глаза, светлая кожа, в волосах заметно пробивалась седина, и на глаз ему смело можно было дать лет пятьдесят. На мое приветствие он весело ответил: «С добрым утром, сэр» — и, произнося эти простые слова, улыбнулся. Он не был похож на моряка, как Генри, юнга с учебного судна, и все-таки я сразу почувствовал, что он — моряк, и опытный моряк.

На вахте стоял мистер Пайк, и на мое одобрительное замечание о Томе Спинке он ворчливо согласился, что этот человек — «лучший из всего котла».

Из командной рубки вышла мисс Уэст своей живой, эластичной походкой, розовая после сна, и немедленно начала устанавливать свои отношения с внешним миром. Когда на ее вопрос, как я спал, я ответил: «Отвратительно», она потребовала объяснения. Я ей сказал о моей предполагаемой крапивнице и показал волдыри на руках.

— Вам надо очистить кровь, — быстро решила она. — Погодите минутку. Я посмотрю, не найдется ли у меня чего-нибудь для вас.

С этими словами она сбегала вниз и мигом вернулась со стаканом воды, в которой развела чайную ложку кремортарта¹.

— Выпейте! — приказала она безапелляционным тоном.

Я выпил. А в одиннадцать часов (я сидел на палубе) она подошла к моему стулу со второй порцией того же снадобья и, кстати, распекла меня за то, что я позволяю Ваде кормить Поссума мясом. От нее мы с Вадой и узнали, что давать мясо маленьким щенкам — смертный грех. Затем она предписала диету для Поссума и дала на этот счет строгий наказ не только мне и Ваде, но и буфетчику, и плотнику, и мистеру Меллэру. К двум последним она отнеслась особенно подозрительно, так как они обедали за отдельным столом в большой задней каюте, где Поссум часто играл, и, не стесняясь, высказала им свои подозрения прямо в глаза. При этом плотник робким тоном бормотал что-то непонятное на ломаном английском языке, стараясь уверить ее в своей невинности как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем, и со сконфуженным видом топтался перед ней на своих огромных ногах. Оправдания мистера Меллэра были

¹ Кремортартар — белый винный камень.

такого же характера, с той лишь разницей, что произносились с мягкостью и галантностью лорда Честерфильда.

Короче, питание Поссума подняло целую бурю в домашнем обиходе «Эльсиноры», а к тому времени, когда буря улеглась, между мисс Уэст и мной установилась своего рода близость: у меня явилось такое чувство, что мы с ней оба хозяева щенка. Позднее, днем, я заметил, что Вада уже не ко мне, а к мисс Уэст обращается за инструкциями относительно количества теплой воды, каким следует разбавлять сгущенное молоко для Поссума, и так далее. Завтрак, так же, как и обед накануне, заслужил мое полное одобрение и еще более возвысил повара в моих глазах. Перед обедом я прогулялся в кухню, чтобы познакомиться с поваром. Он был несомненно китаец, пока не начинал говорить, а если судить только по его голосу — он был англичанин. Он говорил таким культурным языком, что я не преувеличил бы, если бы сказал, что он говорит как оксфордс. Он был тоже старик, по меньшей мере шестидесятилетний (сам он сознавался в пятидесяти девяти). Самым заметным в его наружности были три вещи: улыбка, освещавшая все его начисто выбритое азиатское лицо и азиатские глаза; ровные, белые, великолепные зубы (я даже думал, что они искусственные, пока Вада не уверил меня, что они настоящие), и его руки и ноги. Руки, до смешного маленькие и очень красивые, заставили меня обратить внимание на его ноги. Ноги были тоже замечательно малы и очень аккуратно, почти щегольски обуты.

В полдень мы высадили лоцмана, но «Британия» вела нас на буксире до самого обеда и отпустила только тогда, когда нас окружал широкий океан, и земля казалась лишь неясным пятнышком на западном горизонте. Собственно, только с того момента, как мы расстались с «Британией», можно было считать, что мы «вышли в море», то есть начали плавание в буквальном смысле, хотя прошли уже весь двадцатичетырехчасовой путь от Балтимора до океана.

Незадолго до того, как мы отпустили буксир, я стоял на корме и смотрел вперед, облокотившись на перила. В это время ко мне подошла мисс Уэст. Она весь день была занята в своей каюте и теперь вышла подышать воздухом, сказала она. Минут пять она с видом опытного моряка осматривала горизонт, затем сказала:

— Барометр стоит очень высоко — 30,60. Этот легкий северный ветер недолго продержится. Он или совсем стихнет или перейдет в северо-восточный шторм.

— Что бы вы предпочли? — спросил я.

— Разумеется, шторм. Он отнесет нас от берега и поможет мне скорее справиться с морской болезнью... О да, — добавила она, — я хороший моряк, но я ужасно страдаю от качки в начале каждого плавания. Теперь вы, вероятно, не увидите меня дня два. Вот почему я так торопилась устроиться в своей каюте.

— Я читал, что лорд Нельсон никогда не мог преодолеть своего отвращения к морю, — сказал я.

— Отца тоже укачивает иногда; мне случалось видеть его в этом состоянии, — сказала она. — Да, даже самые крепкие, самые закаленные моряки часто страдают от качки.

Тут к нам присоединился мистер Пайк, прекратив на минуту свое вечное хождение взад и вперед, и стал рядом с нами, облокотившись на перила. Нам видна была большая часть команды, выбиравшей канаты на главной палубе под нами. На мой неопытный глаз эти люди не внушали никакого доверия.

— Незавидная команда — как вы находите, мистер Пайк? — заметила мисс Уэст.

— Чего уж хуже! — проворчал мистер Пайк. — А я уж, кажется, довольно насмотрелся всяких команд. Теперь мы их учим обращаться с таями.

— У них голодный вид, — вставил я.

— Да так оно и есть: они почти всегда приходят к нам голодными, — отозвалась мисс Уэст, и глаза ее остановились на матросах с тем самым выражением оценивающего скот скотопромышленника, какое я подметил раньше у мистера Пайка. — Но это ничего: от регулярной жизни они скоро растолстеют. Не будут виски пить, будут хорошо питаться — и живо поправятся. Не правда ли, мистер Пайк?

— Конечно. Они всегда поправляются в море. Вот вы увидите, как они оживут, когда мы приберем их к рукам... если нам это удастся. А все-таки преппаршивый народ.

Я взглянул вверх, на широкие полотнища парусов. Наши четыре паруса, казалось, занимали все место, на каком только можно было распустить паруса, а между тем матросы под наблюдением мистера Меллэра натягивали между мачтами еще какие-то треугольные паруса вроде кливеров, и их было так много, что они заходили один на другой. Люди работали так неловко и так медленно, что я спросил:

— А что бы вы делали, мистер Пайк, с этой зеленой командой, если бы вот сейчас налетел шторм на всю паутину из парусов?

Он пожал плечами с таким видом, точно я спросил, что бы он делал, если бы его застигло землетрясение посреди улицы и с двух сторон ему валились бы на голову нью-йоркские небоскребы.

— Что бы мы делали? Убрали бы паруса, — ответила за него мисс Уэст. — О, будьте покойны, мистер Патгерст, это можно сделать со всякой командой. Если бы это было недостижимо, я бы давно уже утонула.

— Так же, как и я. Совершенно верно, — поддержал ее мистер Пайк.

— В критические минуты офицеры делают чудеса с самой плохой командой, — добавила мисс Уэст.

Мистер Пайк снова подтвердил ее слова одобрительным кивком, и я заметил, как его огромные лапы, перед тем свободно лежавшие на перилах, бессознательно напряглись и сжались в кулаки. Заметил я и свежие ссадины на суставах его пальцев. Вдруг мисс Уэст весело рассмеялась, точно вспомнив о чем-то.

— Помню, один раз шли мы из Сан-Франциско с самой безнадежной командой. Это было на «Лалла Рук». Помните вы «Лалла Рук», мистер Пайк?

— Пятое судно под командой вашего отца. Как не помнить? Оно потом погибло на западном берегу во время землетрясения. Его сорвало с якорей и набежавшей волной выкинуло на берег прямо под скалу, и скала обрушилась на него.

— Ну да, вот это самое судно. Ну-с, так состав команды был тогда такой: чернорабочие, каменщики, погонщики скота и бродяги. Больше всего было бродяг. Не могу себе представить, откуда выкопали наши агенты такой сброд. Много было между ними и китайцев. Посмотрели бы вы на них, когда их в первый раз послали на ванты. Клоуны — да и только, лучше всякого цирка. — Она опять рассмеялась. — И как только мы вышли в открытое море, задул жестокий ветер, и пришлось убрать часть парусов. Вот тут-то наши офицеры и показали себя. Как они управились — Бог один знает! Это было какое-то чудо... Помните мистера Гардинга, Сайлеса Гардинга, мистер Пайк?

— Еще бы не помнить! — с восторгом подхватил мистер Пайк. — Человек был, настоящий человек. И ведь уже и тогда был старик.

— Да. Страшный человек, — проговорила она, и добавила почти с благоговением: — Удивительный человек! — Она повернулась ко мне. — Он служил на «Лалла Рук» помощником капитана. Матросы были самые жалкие, неумелые люди — новички. Почти всех укачало. Но мистер Гардинг все же ухитрился убрать паруса... Ах да, я вот что хотела рассказать... Я стояла на корме, вот как сейчас, а кучка этих оборванцев под наблюдением мистера Гардинга устанавливала реванты на марселе. На какой это будет высоте от палубы, мистер Пайк?

— Позвольте... «Лалла Рук»... — Мистер Пайк помолчал, соображая. — Да около ста футов будет, я думаю.

— Мне и самой так казалось. Ну вот, один из новичков, бродяга (должно быть, он уже попробовал тяжелую руку мистера Гардинга) сорвался с марса-реи. Я была тогда еще девочкой, но и я понимала, что это верная смерть, потому что он падал с наветренной стороны судна прямо на палубу. Но он попал на парус, в самую середину, и это ослабило его падение. Он перекувырнулся и стал на палубу на ноги, целый и невредимый. И очутился против мистера Гардинга лицом к лицу. Не знаю, кто из двух больше удивился, но думаю, что мистер Гардинг, потому что он буквально ошеломлен. Он ожидал, что этот человек убьется. А тот... Казалось бы, он должен был совсем растеряться. Не тут-то было: он только взглянул на мистера Гардинга и отскочил, потом, как кошка, стал карабкаться на снасти и мигом взобрался на ту же самую марс-рею.

Мисс Уэст и мистер Пайк, смеялись так громко, что я даже не понимаю, как они расслышали, когда я сказал:

— Удивительно! Воображаю, как должно было подействовать на нервы этого человека, пока он падал, сознание, что его ожидает верная смерть.

— Очевидно, вид мистера Гардинга подействовал на него сильнее, — проговорил мистер Пайк с новым взрывом смеха, к которому присоединилась и мисс Уэст.

Все это было очень хорошо в своем роде. Море есть море, и судно есть судно, и судя по тем экземплярам команды, какие я видел, суровое обращение с ними было необходимо. Но то, что молодая женщина, такая изящная, как мисс Уэст, знала о подобных вещах и была до такой степени поглощена этой стороной судовой жизни, было уже нехорошо. Нехорошо — с моей точки зрения, хотя я, сознаюсь, был заинтересован, и благодаря такому факту мне становилась понятнее реальная жизнь. А все-таки, чтобы мириться с такими вещами, надо было иметь крепкие нервы, и мне неприятно было думать, что мисс Уэст так очерствела.

Я взглянул на нее и не мог еще раз не заметить, как плотна и тонка ее кожа. У нее были темные волосы и темные брови, почти прямые и низко лежавшие над глазами. Глаза были серые, теплого серого цвета, с продолговатым разрезом и со спокойным, открытым выражением — умные и живые глаза. Пожалуй, и вообще самым характерным выражением ее лица было большое спокойствие. Казалось, она не знает волнений и всегда пребывает в согласии с самой собой и с внешним миром. Самым красивым в ее лице были глаза, окаймленные темными, как и брови и волосы, ресницами. Замечательно красив был и ее нос, совершенно прямой, напоминавший нос ее отца. Безукоризненные очертания переносицы и ноздрей бесспорно свидетельствовали о хорошей породе.

Рот у нее был подвижной, с красивым изгибом тонких губ, благородный, выразительный рот, не очень большой, но и не маленький, — я бы сказал — богатый рот, богатый по разнообразию выражений, — выражавший силу в серьезные минуты и умевший хорошо смеяться. Вся ее здоровая, живая натура сказывалась в очертаниях этого рта и в глазах. Когда она улыбалась, зубов не было видно: улыбалась она больше глазами. Но когда она смеялась, вы видели два ряда крепких, ровных белых зубов, не маленьких, как у ребенка, а как раз тех сильных, нормальной величины зубов, какие ожидаешь увидеть у такой здоровой, нормальной женщины, как она.

Я не назвал бы ее красавицей, а между тем она обладала многими данными, делающими женщину красивой. У нее была красота сочетания красок, здоровая белизна кожи, которую подчеркивали темные волосы, темные ресницы и брови. А темные ресницы и брови и белизна кожи только ярче выставляли теплые тона ее серых глаз. Лоб у нее был не слишком широкий и не очень высокий, но совершенно гладкий. На нем не видно было ни одной морщинки, ни намек на излишнюю чувствительность или нервность, ни следа мрачных дней упадка духа и белых, бессонных ночей.

Бесспорно, у нее были все необходимые атрибуты здоровой человеческой самки, не знавшей ни горя, ни тяжелых забот, все признаки нормальной женщины с крепким телом, в котором все процессы совершались автоматически, без всяких трений.

— Сейчас мисс Уэст показала себя в новой роли предсказательницы погоды, — сказал я мистеру Пайку. — Интересно, что вы предскажете насчет ближайшей погоды?



*Казалось, она не знает волнений и всегда пребывает в согласии
с самой собой и с внешним миром.*

— Не удивительно, что мисс Уэст берется предсказывать погоду, — отозвался мистер Пайк, переводя глаза с тихо волнующегося моря на небо. — Она не в первый раз плывет по северной части Атлантического океана зимой. — С минуту он соображал, изучая море и небо. — Принимая во внимание высоту барометра, я бы сказал, что скоро или поднимется небольшой северо-восточный ветер или наступит полный штиль. Но больше шансов в пользу штиля.

Мисс Уэст одарила меня торжествующей улыбкой и вдруг схватилась за перила, так как в этот момент «Эльсинору» подкинуло особенно высокой волной и разом бросило в провал между волнами, так что все паруса ослабли и заполоскались с глухим рокотом.

— Так и есть — штиль, — проговорила мисс Уэст с легкой гримаской. — Если будет так продолжаться, я через пять минут буду лежать пластом на моей койке.

Она отмахнулась от изъявлений моего сочувствия.

— Не беспокойтесь обо мне, мистер Патгерст. Правда, морская болезнь противна и неприятна, как противна всякая грязь или дождливая погода. Но это пройдет. Во всяком случае морскую болезнь я предпочитаю крапивной лихорадке.

Внизу с матросами было что-то неладное: чего-то они не поняли, в чем-то промахнулись — это было ясно, так как мистер Меллэр вдруг повысил голос. У него, как и у мистера Пайка, была манера рычать на людей, что очень неприятно резало ухо.

У многих матросов были на лицах синяки, а у одного так распух глаз, что совсем закрылся.

— Похоже на то, что он впотьмах наткнулся на пиллерс¹, — заметил я.

Как нельзя более красноречив был быстрый взгляд, бессознательно брошенный мисс Уэст на лежавшие на перилах огромные лапы мистера Пайка со свежими ссадинами на суставах пальцев. Это было ударом кинжала мне в сердце: она знала.

ГЛАВА X

В тот вечер нас обедало в столовой только трое: «Эльсинору» раскачивало мертвой зыбью наступившего штиля, заставившей мисс Уэст спрятаться в своей каюте.

— Теперь вы не увидите ее несколько дней, — сказал мне капитан Уэст. — Совершенно то же бывало и с ее матерью. Она была прирожденным моряком, но ее укачивало в начале каждого плавания.

— Это обычная встряска от перемены обстановки.

¹ Пиллерс — стойка под бимсом, поддерживающая палубу судна.

Мистер Пайк удивил меня: еще ни разу я не слышал от него за столом такой длинной фразы.

— Каждый из нас, расставшись с сушей, испытывает эту встряску. Приходится забыть о покойных днях на берегу, обо всех хороших вещах, которые можно получить за деньги, и отстаивать вахту за вахтой — четыре часа на палубе и четыре вниз. Это не легко достается, — нервы натягиваются, и чувствуешь себя очень скверно, пока не привыкнешь к перемене. Приходилось вам, мистер Паттерст, слышать в Нью-Йорке этой зимой Карузо и Бланш Арраль?

Я кивнул, все еще удивляясь такой его многоречивости за столом.

— Ну вот, вы только представьте себе: слушать их всех — и Карузо, и Бланш Арраль, и Уизерспуна, и Амато, — слушать в столице вечер за вечером, а потом распрощаться со всем этим, выйти в море и отбывать вахту за вахтой. Оно не слишком приятно.

— Вы не любите моря? — спросил я.

Он вздохнул.

— Не знаю. Я ведь ничего не знал, кроме моря.

— И музыки, — вставил я.

— Да. Но море и бесконечные плавания лишили меня большей части той музыки, какой я хотел бы наслаждаться.

— Вы, вероятно, слышали Шуман Гейнк?

— Поразительно! Поразительно! — пробормотал он с благоговением и взглянул на меня. В его глазах стоял нетерпеливый вопрос. — Если хотите... у меня есть с полдюжины ее пластинок, а до ночной моей вахты еще далеко. Если капитан Уэст разрешит... — Капитан Уэст кивнул в знак того, что он решает. — Так хотите послушать? У меня довольно хороший граммофон.

Затем, к моему изумлению, как только буфетчик убрал со стола, этот заплеванный старый пережиток былых дней жестокой кулачной расправы с людьми, этот выдавший всякие виды, потрепанный морем обломок вынес из своей каюты граммофон с великолепнейшей коллекцией пластинок и все это расставил и разложил на столе. Открыли настежь широкие двери каюты, образовав таким образом из столовой и задней каюты одну большую комнату. Мы с капитаном Уэстом расположились в широких кожаных креслах в задней каюте, пока мистер Пайк устанавливал граммофон. Его лицо было освещеноися лампами, и каждый оттенок выражения на этом лице был ясно виден мне.

Я ожидал услышать какой-нибудь популярный мотив — и ошибся. Мистер Пайк, очевидно, признавал только серьезную музыку, и его бережное обращение с пластинками уже само по себе было откровением для меня. Каждую пластинку он брал в руки как святыню, с почтительной осторожностью развязывал, развертывал ее и, прежде чем поставить под иголку, обчищал мягкой щеточкой из верблюжьего волоса. В первые минуты я видел только огромные грубые руки грубого человека, с ободранными суставами пальцев, — грубые руки, в каждом движении которых чувствовалась любовь. Каждое прикосновение их к пластинкам было лаской, и пока пластинка звучала, он стоял над ней

в благоговении, уносясь мечтой в какой-то рай небесной музыки, известный ему одному.

Все это время капитан Уэст сидел, откинувшись на спинку кресла, и курил сигару. Его лицо ничего не выражало, музыка его не трогала; по-видимому, он витал где-то далеко. Я склонен думать, что он даже не слышал граммофона. Он не делал никаких замечаний, ничем не проявлял ни одобрения, ни неодобрения исполнявшейся пьесе. Он казался сверхъестественно невозмутимым, сверхъестественно далеким. И наблюдая за ним, я спрашивал себя, в чем состоят его обязанности. Ни разу я не видел, чтобы он что-нибудь делал. Мистер Пайк наблюдал за погрузкой судна. Капитан Уэст явился на борт только тогда, когда судно было готово к отплытию. Ни разу я не слышал, чтобы он отдавал приказания. Выходило так, как будто всю работу делали мистер Пайк и мистер Меллэр. А капитан Уэст только курил сигары, знать не хотел своей команды и пребывал в блаженном неведении того, что творилось на «Эльсиноре».

Когда граммофон кончил хор — «Аллилуйя» из оратории «Мессия» и псалом «Он накормит стадо свое», — мистер Пайк сказал мне почти извиняющимся тоном, что он любит духовную музыку, может быть, потому что, когда он был мальчиком, ему пришлось петь в церковном хоре Сан-Франциско.

— А потом я ударил попа по голове палочкой дирижера. Пришлось удирать, и я опять ушел в море, — заключил он с жестким смехом.

И вслед за тем он опять замечтался над мейерберовским «Царем Небесным» и над «О, покойся во Господе» Мендельсона.

Когда пробило три четверти восьмого, он старательно завернул свои пластинки и унес их вместе с граммофоном к себе в каюту. Я побыл с ним, пока он свертывал себе папиросу в ожидании восьми часов.

— У меня еще много хороших вещей, — сказал он мне конфиденциальным тоном. — Кенена «Придите ко мне», «Распятие» Фора, а потом еще «Поклонимся Господу» и «Свете тихий» для хора. А еще вот «Иисус, возлюбленный души моей». Это такая прелесть! — за сердце хватает. Как-нибудь вечером я вам сыграю все это.

— Вы верующий? — спросил я его.

Это восторженное преклонение перед духовной музыкой и эти грубые руки мясника... Я не мог отделаться от этого впечатления, что и побудило меня задать мой вопрос.

Он заметно колебался, прежде чем ответил:

— Я верю... когда слушаю эти вещи.

* * *

Я опять отвратительно спал ночью. Не выспавшись накануне, я рано закрыл книгу и погасил лампу. Но не успел я задремать, как меня опять разбудил приступ крапивной лихорадки. Весь день она не беспокоила меня, но как только погасил лампу и уснул, опять начался этот проклятый зуд во всем теле. Вада еще не ложился, и я попросил его принести мне порцию кремортартара.

Это не помогло, и в полночь я накинул халат и поднялся на ют. Мистер Меллэр только что начал свою четырехчасовую вахту. Он ходил взад и вперед по левой стороне кормы. Я тихонько пробрался за его спиной мимо рулевого, которого не узнал, и укрылся от ветра на подветренной стороне будки штурвала.

И снова, глядя на смутно проступавшие в темноте сложные сплетения снастей и очертания высоких мачт с поставленными парусами, я вспомнил бестолковую, полоумную команду, и сердце у меня сжалось от предчувствия беды. Можно ли рассчитывать на благополучное плавание с такой командой и на таком огромном судне, как «Эльсинора», представлявшем лишь тонкую полудюймовую стальную скорлупу с грузом угля в пять тысяч тонн весом! Страшно было и думать об этом. Это путешествие не ладилось с самого начала. И в том мучительном, неуравновешенном состоянии, какое вызывается у каждого нормального человека отсутствием сна, я, разумеется, не мог не прийти к заключению, что нашему плаванью не суждено окончиться благополучно.

Но что в действительности готовила нам судьба, о том не могло и пригрезиться не только мне, но даже сумасшедшему.

Я вспомнил мисс Уэст с ее красной кровью, — мисс Уэст, которая всегда жила полной жизнью и не сомневалась, что будет жить вечно. Вспомнил мистера Пайка, любителя музыки, дающего волю рукам. Многие, даже еще более крепкие представители блаженной памяти прошлого выходили в море, не подозревая, что это их последнее плавание. А капитан Уэст?.. Ну, этот не шел в счет. Он был существом слишком нейтральным, слишком далеким, чем-то вроде привилегированного пассажира, на котором не лежало никаких обязанностей, которому предоставлялось безмятежно и пассивно пребывать в некоей нирване собственного его изобретения.

Затем я вспомнил сумасшедшего грека, который изранил себя и которого зашивал мистер Пайк, — вспомнил, что он лежит теперь между стальными стенами средней рубки в безумном бреду. Эта картина почти заставила меня решиться, ибо в моем лихорадочно возбужденном воображении этот грек олицетворял собой все это беспомощное сборище сумасшедших и идиотов. Конечно, я еще мог вернуться в Балтимор. Слава Богу, у меня нет недостатка в деньгах, и я мог позволить себе такую прихоть. Как-то раз мистер Пайк на мой вопрос сказал мне, что, по его подсчету, затраты на содержание «Эльсиноры» составляют около двухсот долларов в день. Ну что ж, я мог заплатить не то, что двести, а хоть тысячу долларов в день за те несколько дней, которые понадобились бы, чтобы доставить меня на берег или на лоцманское судно, или на какое-нибудь судно, идущее к Балтимору.

Я был уже почти готов сойти вниз, подняться с постели капитана Уэста и сообщить ему о принятом мной решении, но тут мне пришло в голову такое соображение: «Так, стало быть, ты, мыслитель и философ, страдающий пресыщением жизнью, боишься утонуть, перестать существовать, погрузиться во мрак небытия?» И вот потому только, что я был горд моим презрением к жизни, капитан Уэст был спасен; его сон не был нарушен. Конечно, сказал я себе, я доведу до

конца эту авантюру, если только можно назвать авантюрой путешествие вокруг мыса Горн на судне, населенном сумасшедшими, и даже хуже, ибо я вспомнил тех трех субъектов вавилоно-палестинского типа, которые вызвали взрыв гнева со стороны мистера Пайка и смеялись таким беззвучным, страшным смехом.

Ночные мысли! Мысли, навеянные бессонницей! Я отогнал их и направился вниз, продрогший до костей. В дверях капитанской рубки я столкнулся с мистером Меллэром.

— Добрый вечер, сэр, — приветствовал он меня. — Досадно, нет ветра, чтобы нас отнесло подальше от берега.

Я помолчал с минуту, потом спросил:

— Какого вы мнения о команде?

Он пожал плечами.

— Я видел в свое время много всяких команд, но такой разнокалиберной, такой несуразной команды никогда не видал. Все какие-то мальчишки или старики или калеки. Видели вы Тони — того сумасшедшего грека, что бросился тогда в воду? И это только начало. Он только образчик многих таких, как он. В моей смене есть один ирландец, огромный детина; так с ним тоже что-то неладно. А заметили вы маленького старикашку-шотландца, сухого, как треска?

— Того, у которого такой сердитый вид? Третьего дня он стоял на руле.

— Да, да, этот самый, Энди Фэй. Так вот этот Энди Фэй только что жаловался мне на О'Сюлливана. Уверяет, что О'Сюлливан грозился убить его, что будто, когда он, Энди Фэй, сменился с вахты в восемь часов, он застал О'Сюлливана за тем, что тот точил бритву. Да лучше я вам все передам словами самого Энди Фэя:

«Говорит мне О'Сюлливан: „Мистер Фэй, я хочу сказать вам два слова“. — „Сделайте милость, — говорю. — Чем могу быть вам полезен?“ — „Продайте мне ваши непромокаемые сапоги, мистер Фэй“, — говорит он, — учтиво так говорит, надо отдать ему справедливость. — „А на что вам мои сапоги?“ — говорю. — „Мне они очень нужны, — говорит, — и вы сделаете мне большое одолжение, если уступите их“. — „Да ведь это единственная моя пара, — говорю, — а у вас есть ваши сапоги“. — „Мистер Фэй, свои я ношу только в дурную погоду“, — говорит он. — „А кроме того, как же вы их купите? Ведь у вас нет денег“, — говорю. — „Я заплачу вам, когда нам выдадут жалованье в Сиэтле“. — „Нет, — говорю, — я несогласен. И потом вы не сказали, что вы думаете с ними делать“. — „Так я вам скажу: я их выброшу за борт“, — говорит. Тут уж я увидел, что с ним не столкнешься, и повернулся уходить, а он и говорит, все так же учтиво, медовым таким голосом, а сам все точит бритву: — „Мистер Фэй, — говорит, — не подойдете ли вы поближе ко мне, чтобы я мог перерезать вам горло?“ Тогда я понял, что жизнь моя в опасности, и вот пришел вам доложить, сэр, что этот человек — буйный сумасшедший».

— Или скоро будет таким, — сказал я. — Я еще вчера его заметил: высокий малый и все бормочет что-то про себя.

— Да, он самый, — подтвердил мистер Меллэр.



— Хирург тут ни при чем. Меня спасла моя живучесть, конечно, и еще... патока.

— И много таких у нас на судне? — спросил я.

— Больше, чем я желал бы.

В эту минуту он закуривал папиросу. Вдруг быстрым движением он сдернул с головы фуражку, наклонил голову и поднял над ней горящую спичку, чтобы мне было виднее.

Я увидел поседевшую голову с почти облысевшей макушкой, лишь местами покрытой редкими длинными волосами. И через все темя, исчезая в более густой бахrome волос над ушами, проходил огромный и глубокий шрам. Я видел его одно лишь мгновение, пока горела спичка, и, может быть, поэтому и еще потому, что этот шрам поразил меня своими размерами, — он показался мне больше, чем был, но я готов поклясться, что в него свободно вошли бы два моих пальца и что шириной он был тоже по меньшей мере в два пальца. Кости в этом месте как будто совсем не было, а была только огромная щель, глубокая впадина, затянутая кожей, и я был уверен, что непосредственно под этой кожей помешается мозг.

Он надел фуражку и засмеялся, очень довольный эффектом своей демонстрации.

— Я этим обязан сумасшедшему повару на одном судне, мистер Патгерст: он рассек мне голову сечкой. Мы были тогда в Южном Индийском океане, за тысячи миль от земли, но этому человеку взбрело в его безумную голову, что мы стоим в Бостонской гавани и я не позволяю ему съехать на берег. В ту минуту я стоял спиной к нему и так и не понял, что свалило меня с ног.

— Но как могли вы оправиться от такой страшной раны? — удивился я.
— Должно быть, вы очень живучи, и, вероятно, у вас на судне был очень хороший хирург.

Он покачал головой.

— Хирург тут ни при чем. Меня спасла моя живучесть, конечно, и еще... патока.

— Патока?

— Да. У нашего капитана было старомодное предубеждение против антисептики. Он всегда употреблял патоку при перевязке свежих ран. Много томительных недель провалялся я на своей койке (переход был длинный), и к тому времени, как мы пришли в Гонконг, рана моя зажила, и не понадобилось никакого хирурга. Я уже начал отбывать мои вахты третьего помощника, — в то время у нас на парусных судах обычно держали трех помощников капитана.

Много долгих дней протекло, прежде чем мне пришлось оценить ту роковую роль, какую сыграл шрам на голове мистера Меллэра в его судьбе и в судьбе «Эльсиноры». Знаю я это в ту минуту, сон капитана Уэста был бы прерван самым необычайным образом, ибо к нему явился бы весьма решительный полуодетый пассажир и поднял бы его с постели диким заявлением, что он готов, если нужно, хоть сейчас купить «Эльсинору» со всем ее грузом, но с условием, чтобы она немедленно вернулась в Балтимор.

Теперь же я только еще раз подивился тому, что мистер Меллэр мог прожить столько лет с такой дырой в голове.

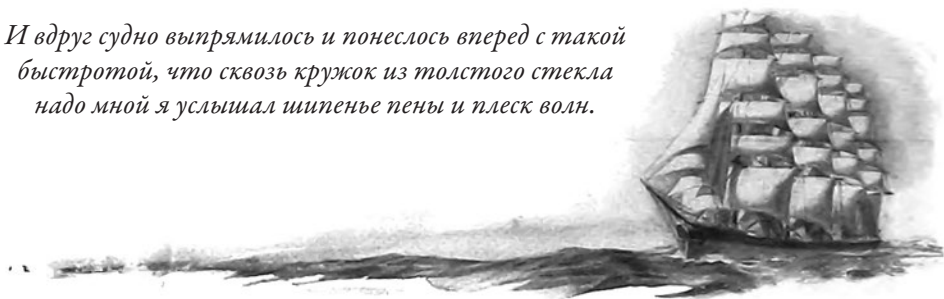
Мы еще немного поболтали. Он рассказал мне подробности этого происшествия, рассказал и о других происшествиях в том же роде, случавшихся в море, и тоже с сумасшедшими, какими, по-видимому, кишит все море.

И все-таки не нравился мне этот человек. Ни к тому, что он говорил, ни к его манере говорить нельзя было придраться. Он казался человеком благородным, с широкими взглядами и для моряка достаточно светским. Я легко прощал ему его чрезмерную сладкоречивость и некоторую манерность в обращении, происходившую от его желания быть учтивым. Не в этом было дело. Но, разговаривая с ним, я все время мучительно и, вероятно, интуитивно чувствовал, хоть и не мог видеть в темноте его глаз, что где-то там, за этими глазами, в глубине его черепа сидит в засаде другое существо, которое наблюдает за мной, изучает, подстерегает меня и говорит одно, а думает другое. Простившись с ним, я сошел вниз с таким чувством, точно только что беседовал с одной половиной некоего двуликого существа. Другая половина молчала. Но я все время ощущал ее присутствие, — я чувствовал, что она все время начеку и шпионит за мной, скрываясь где-то за внешним обликом этого человека.

ГЛАВА XI

И опять я не мог заснуть. Я принял кремортарта и наконец решил, что приступы моей крапивницы вызываются теплотой постели. А между тем, как только я переставал стараться уснуть, как только я зажигал лампу и начинал читать, раздражение кожи уменьшалось, но стоило мне погасить лампу и закрыть глаза, как все тело начинало чесаться. Так проходил час за часом, и в промежутке между тщетными попытками уснуть я успел пробежать много страниц «Отшельника» Рони — занятие, должен сказать, не слишком веселое, ибо произведение это целиком посвящено микроскопическому, утомительно добросовестному исследованию телесных страданий, нервных потрясений и умственных аномалий Ноэля Сервэза. Я наконец бросил книгу, послал к чертям всех французов, питающих пристрастие к анализу, и до известной степени успокоился на более жизнерадостном и циничном Стендале. Над моей головой раздавались мерные шаги мистера Меллэра, ходившего взад и вперед. В четыре часа была смена вахт, и я узнал старчески тяжелую поступь мистера Пайка. Полчаса спустя, как раз в тот момент, когда замолчал будильник буфетчика, мгновенно остановленный этим бессонным азиатом, «Эльсинора» накренилась. Мне было слышно, как мистер Пайк зарычал и залаял, отдавая какие-то приказания, а потом до меня донеслись топот и шарканье нескольких десятков ног: очевидно, команда возилась со снастями. А «Эльсинору» креноло все больше и больше, и наконец через мой иллюминатор я увидел воду. И вдруг судно выпрямилось и понеслось вперед

И вдруг судно выпрямилось и понеслось вперед с такой быстротой, что сквозь кружок из толстого стекла надо мной я услышал шипенье пены и плеск волн.



с такой быстротой, что сквозь кружок из толстого стекла надо мной я услышал шипенье пены и плеск волн.

Буфетчик принес мне кофе. Уже совсем рассвело, а я еще долго читал, пока Вада не подал мне завтрак и не помог мне одеться. Он тоже жаловался, что ему не давали спать. Его поместили вместе с Нанси в одной из кают средней рубки. По его описанию, положение было такое: в крошечной каюте с железными стенками, когда дверь была заперта, было буквально нечем дышать. А Нанси требовал, чтобы дверь была закрыта. И вот мой Вада, занимавший верхнюю койку, задыхался. По его словам, воздуха было так мало, что лампа, как ни выкручивал он фитиль, начинала мигать и наконец совершенно отказывалась гореть. Нанси храпел как ни в чем не, бывало, а он, Вада, не мог сомкнуть глаз.

— Он нечистый, — говорил Вада. — Он свинья. Я больше не буду там спать.

Поднявшись на ют, я увидел, что «Эльсинора» с подобранными парусами несется по бурному морю под низко нависшим, покрытым тучами небом. На вахте был мистер Меллэр, шагавший взад и вперед совершенно так, как он шагал за несколько часов перед тем, и мне понадобилось некоторое усилие, чтобы сообразить, что он сменялся с вахты от четырех до восьми. Но и за такой короткий промежуток он, по его словам, успел поспать с четырех до половины восьмого.

— Да, чем я могу похвастаться, так это способностью спать, мистер Патгерст, — сказал он. — Я сплю как малый ребенок, а это означает чистую совесть, сэр, — да, чистую совесть.

И пока он изрекал эту банальность, у меня было неприятное ощущение, что то постороннее существо внутри его черепа все время неотступно наблюдает за мной.

В кают-компании капитан Уэст курил и читал Библию. Мисс Уэст не показывалась, и я благодарил судьбу за то, что к моей бессоннице не присоединилась еще и морская болезнь.

Ни у кого не спрашивая позволения, Вада устроил себе ночлег в дальнем углу большой задней каюты, загородив этот угол основательно скрепленной веревками стеной из моих сундуков и пустых ящиков из-под книг.

День выдался довольно унылый — без солнца; поминутно брызгал дождь, и не смолкал плеск волн о борта. Я не отрывал глаз от открытой двери ка-

ют-компаний, выходившей на главную палубу, и мне было видно, как несчастных, уже и так насквозь промокших матросов окатывало водой, когда они возились с канатами. Несколько раз я видел, как их валило с ног и швыряло по палубе под брызгами шипящей пены. И среди этих жалких, падавших, цеплявшихся за что попало, перепуганных людей твердыми шагами, ничуть не шатаясь, прямой и спокойный, уверенный в своей силе и своем умении удерживать равновесие, расхаживал или мистер Пайк или мистер Меллэр. Ни того, ни другого ни разу не свалило с ног. Ни тот, ни другой никогда не отскакивали от летевших брызг пены и даже от тяжелой, набежавшей на палубу волны. Эти двое питались другой пищей, были проникнуты другим духом. Эти двое были железные по сравнению с теми несчастными подонками человечества, которых они подчиняли своей воле.

Перед обедом я задремал на полчаса в одном из больших мягких кресел кают-компаний. Если б не сильная качка, я проспал бы несколько часов в этом кресле, так как моя крапивница не мучила меня. Капитан Уэст, в мягких кожаных туфлях, растянулся на диване в той же каюте и спал завидным сном. Но и во сне, по какому-то инстинкту, он держался крепко на месте и не падал на пол. Он даже не выронил недокуренной сигары, которую слегка придерживал двумя пальцами правой руки. Я наблюдал за ним целый час. Я видел, что он крепко спит, и мог только удивляться, как он ухитряется сохранять свое удобное положение на диване и не роняет сигары.

В этот день у нас после обеда не было музыки. Мистер Пайк должен был идти на вторую ночную вахту. И кроме того, как он мне объяснил, нас слишком сильно качало: иголка граммофона шла бы неровно и могла поцарапать столь дорогие его сердцу пластинки.

А я все не спал. Ещё одна томительная бессонная ночь, и еще один печальный, пасмурный день, и свинцовое бурное море. И никаких следов мисс Уэст. Ваду тоже укачало, хотя он геройски оставался на ногах и даже пытался прислуживать мне со стеклянными, невидящими глазами. Я отослал его на койку и читал без конца, час за часом, пока не устали глаза, и мозг от бессонницы и переутомления не отказался служить.

Капитан Уэст неразговорчив. Чем больше я его вижу, больше становлюсь в тупик. Я не нашел еще объяснения тому первому впечатлению, какое он произвел на меня. У него вид и манеры человека, стоящего выше окружающей среды; но, право, я начинаю подозревать, не есть ли это только вид и манера держаться, и ничего больше. Как в первую нашу встречу, прежде чем он заговорил, я ожидал услышать от него слова неизреченной мудрости, проникновенные слова, и не услышал ничего, кроме банальных фраз светского человека, так и теперь я был почти вынужден прийти к заключению, что за всей этой его породистостью, — за его орлиным профилем, говорящим о нравственной силе, за всей его изящной, высокоаристократической внешностью не скрывается ровно ничего.

А с другой стороны, я не нахожу причин отбросить мое первое впечатление. Правда, он еще ничем не проявил своей силы, но ничем не проявил и слабости.

Минутами я дорого бы дал, чтобы узнать, что таится за этими ясными голубыми глазами. Несомненно одно: моя попытка разгадать его со стороны его умственного багажа не удалась. Попробовал я дать ему прочесть Вильяма Джемса. Он пробежал несколько страниц и возвратил мне книгу с откровенным заявлением, что она не интересует его. Своих книг у него нет. Он, очевидно, не любитель чтения. Так что же он такое? Я решился пощупать его со стороны политики. Он вежливо слушал, говорил «да» или «нет», и когда я замолчал, совершенно обескураженный, он не сказал ни слова. Как ни далеки были оба помощника капитана от матросов, еще более далек был от своих помощников капитан Уэст. Я ни разу не слышал, чтобы к мистеру Меллэру, когда они встречались на юте, он обратился хоть с одним словом, кроме: «Доброе утро, сэр». Немногим многословнее были и его разговоры с мистером Пайком, с которым он три раза в день ел за одним столом. Меня даже удивляет то, резко бросающееся в глаза почтение, с каким мистер Пайк относится к своему капитану.

И вот еще что: в чем состоят обязанности капитана Уэста? До сих пор все его занятия заключались в том, что он ел три раза в день, выкуривал много сигар и каждый день отмеривал шагами на юте по меньшей мере милю. Всю работу исполняют помощники, и работу тяжелую — четыре часа на палубе и четыре внизу, днем и ночью, без всяких изменений. Смотрю я на капитана Уэста и изумляюсь. Он способен часами валяться в качалке и смотреть в пространство прямо перед собой. Я выхожу из себя, глядя на него, и меня так и тянет спросить, — о чем он думает? Я даже начинаю сомневаться, думает ли он вообще о чем-нибудь. Нет, Бог с ним, я решительно отказываюсь его понимать. Безнадежно удручающий день: потоки дождя и потоки морской воды, хлещущие через палубу. Теперь я вижу, что провести судно вокруг мыса Горн с грузом угля в пять тысяч тонн — задача много серьезнее, чем я полагал. «Эльсинора» сидит в воде так глубоко, что снаружи ее можно принять за плавающее бревно. Ее высокие, шестифутовые стальные борта не спасают ее от нападения моря. У нее совершенно нет той поворотливости, какую мы привыкли приписывать парусным судам. Напротив, она до того перегружена, что совсем омертвела, и я прихожу в ужас, когда думаю, сколько тысяч тонн кипящей воды Атлантического океана вкатилось в один только сегодняшний день на ее палубу, и какое количество этой воды она выплонула обратно через свои шпигаты и клаузы.

Да, удручающий день. Два помощника аккуратно сменяли друг друга на палубе и на койках. Капитан Уэст дремал на диване в кают-компании или читал Библию. Мисс Уэст все еще страдает от качки. Я дочитался до изнеможения; в голове от бессонницы стоит туман, наводящий на меня меланхолию. Даже Вада представляет далеко не веселое зрелище, когда он выползает со своей койки и смотрит на меня стеклянными большими глазами, стараясь угадать, нуждаюсь ли я в его услугах. Мне почти хочется, чтобы и меня тоже укачало. Я и не воображал, чтобы путешествие по морю могло быть таким беспросветно унылым.



*«Эльсинора» несется на восток,
в самое сердце Атлантики.*

ГЛАВА XII

Еще одно утро с обложенным тучами небом и свинцовым морем. А «Эльсинора» с наполовину подобранными парусами несется на восток, в самое сердце Атлантики. И за всю ночь мне не удалось поспать и получаса. Если так пойдет и дальше, то в очень короткое время я истреблю весь судовой запас кремортартара. Раньше у меня никогда не бывало такой свирепой крапивницы. Понять не могу, с чего она ко мне привязалась, и в чем тут дело. Пока у меня горит лампа, и я читаю, она не беспокоит меня, но как только я гашу свет и начинаю дремать, поднимается зуд во всем теле, и по всей коже вскакивают волдыри.

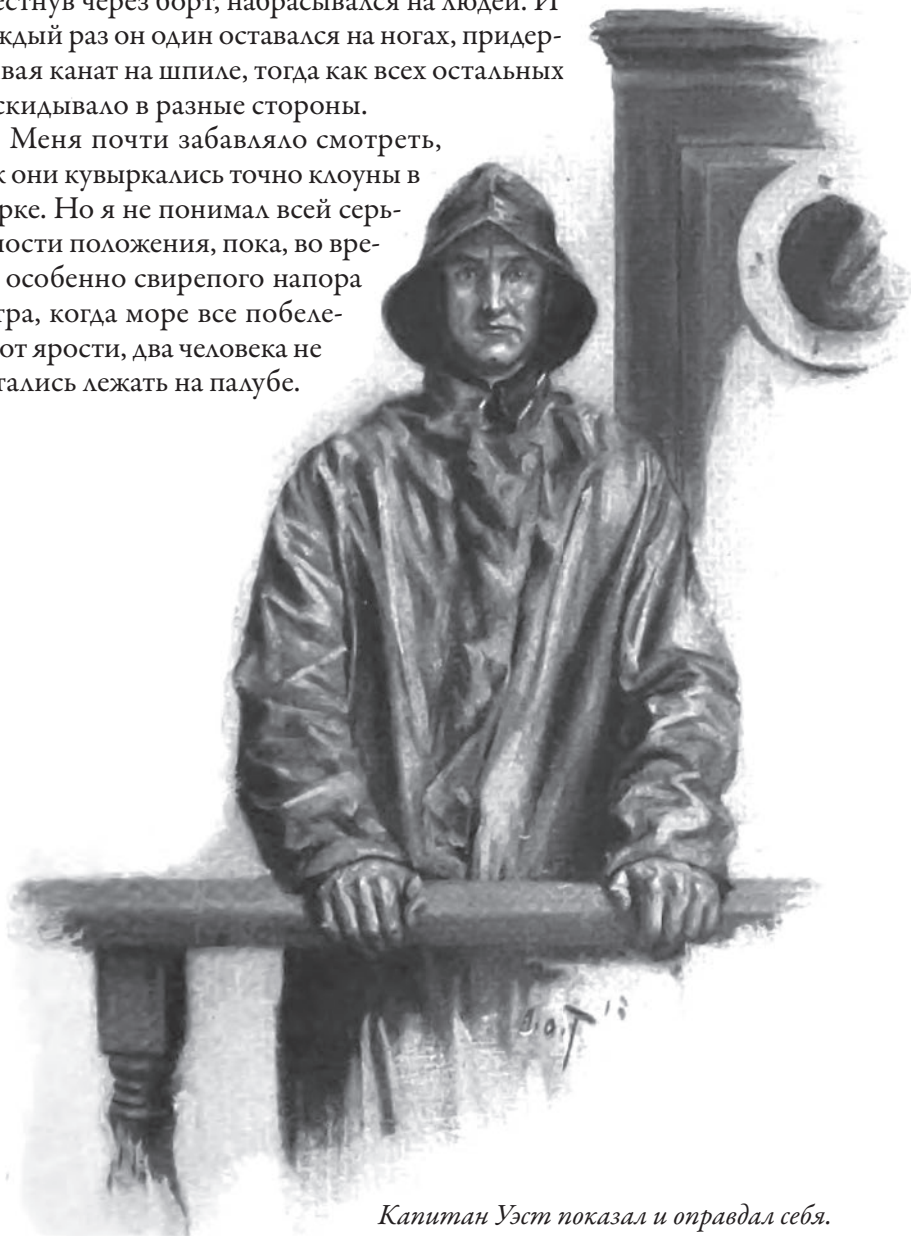
Мисс Уэст, может быть, и страдает от качки, но уже, конечно, не страдает спячкой, так как через короткие промежутки она присылает ко мне буфетчика с новой порцией кремортартара.

Сегодня на меня снизошло откровение: я разгадал капитана Уэста. Он — Самурай. Помните вы самураев, описанных Уэллсом в его «Современной Утопии»? Это высшая порода людей, всеведущих хозяев жизни и по праву властвующих над своими собратьями-людьми в своей сверхблагостной мудрости. Так вот таков и есть капитан Уэст. Сейчас я расскажу все по порядку. Сегодня ветер переменялся. В самый развал юго-западного шквала ветер вдруг повернул к северу на восемь румбов, что равняется четверти круга. Вообразите эту картину. Представьте себе сильнейший ветер, дующий с юго-запада. Представьте себе затем, что еще более свирепый порыв ветра налетает на вас с северо-запада. Капитан Уэст мне объяснил, что мы проходим через циклон, и можно было ожидать еще более сильного ветра, который сделает полный круг.

В непромокаемых сапогах, в кожаных брюках и куртке, я стоял на мостике юта и, перевесившись через перила борта, смотрел, как зачарованный, на горемычных матросов, которых обдавало водой по самую шею и швыряло по палубе точно щепки, в то время, когда они выбирали канаты и крепили паруса, одурелые, ослепленные водой и ветром, перепуганные, исполняя команду мистера Пайка.

Мистер Пайк был среди них, заставлял их работать и работал сам. Он находился в одинаковых с ними условиях, подвергался тем же опасностям, но почему-то его не валило с ног, хотя несколько раз волна накрывала его с головой. Тут было нечто большее, чем простая удача. Два раза я видел его стоящим в голове шеренги матросов, у самого шпилья, и оба раза ревущий Атлантический океан, хлестнув через борт, набрасывался на людей. И каждый раз он один оставался на ногах, придерживая канат на шпиле, тогда как всех остальных раскидывало в разные стороны.

Меня почти забавляло смотреть, как они кувыркались точно клоуны в цирке. Но я не понимал всей серьезности положения, пока, во время особенно свирепого напора ветра, когда море все побелело от ярости, два человека не остались лежать на палубе.



*Капитан Уэст показал и оправдал себя.
В самый критический момент разыгравшегося шторма
он принял на себя ответственность за «Эльсинору».*

Их подняли и унесли — одного со сломанной ногой (это был Ларс Якобсен, слабоумный малый откуда-то из Скандинавии), другого — Кида Твиста — в бессознательном состоянии, с окровавленной головой.

Когда ураган разыгрался вовсю, я на моей высокой позиции, куда волны не достигали, был вынужден крепко держаться за перила, чтобы меня не снесло в море. От ветра у меня болело лицо, и мне казалось, что этим ветром выдувает паутину из моего истощенного бессонницей мозга.

И все это время высокий, стройный, сохраняя свой аристократический вид под развевавшимся от ветра клеенчатым плащом, с равнодушным лицом постороннего зрителя, не отдавая никаких приказаний, без всякого усилия принаравливая свое тело к яростным раскачиваниям «Эльсиноры», расхаживал по мостику капитан Уэст.

Вот в эту-то минуту разыгравшегося шторма он и удостоил объяснить мне, что мы проходим через циклон и что ветер может обойти все направления по компасу. Я заметил, что он все время внимательно всматривался в нависшее, обложенное тучами небо. Наконец, в тот момент, когда ветер задул с такой силой, что, казалось, уже нельзя было дуть сильнее, он, по-видимому, нашел в небе то, что искал. И тут я впервые услышал его голос, — голос повелителя моря, звонкий, как колокол, чистый, как серебро, неизреченно мягкий и звучный. Так должна была звучать труба архангела Гавриила. О, что это был за голос, все собой покрывавший без всяких усилий! Могучие угрозы бури завывали в вантах, трепали канаты о стальные мачты, а там, где сплетались мириады тонких снастей, раздавался дьявольский хор пронзительного визга и свиста. И над всем этим диким хаосом звуков звенел голос капитана Уэста, как голос бесплотного духа, отчетливый, непередаваемо ясный, мягкий, как музыка, и мощный, как голос архангела, зовущий на страшный суд. И этот голос нес указания рулевому и мистеру Пайку, и рулевой и мистер Пайк понимали его и повиновались ему. И мистер Пайк, рыча и лая, передавал приказание несчастным, валившимся с ног людям, и те кое-как поднимались и повиновались ему в свою очередь. И так же, как голос, поражало лицо. Такого лица я никогда не видел раньше. Это было лицо бесплотного духа, безгрешное в своей мудрости, озаренное всем величием силы и спокойствия. Больше всего, может быть, и поражало именно это спокойствие. Это было спокойствие того, кто пронесся сквозь хаос разбушевавшихся стихий, чтобы обрадовать несчастных, побежденных морем людей утешительным словом, что все окончится хорошо. Это не было лицо воителя. Моему взволнованному воображению оно представлялось лицом высшего существа, стоящего вне борьбы враждебных страстей разгоряченной крови.

При блеске молний, под раскаты грома, на крыльях бури прилетел Самурай и взял в свои руки гигантскую, тяжелую, изнемогающую в борьбе «Эльсинору» со всем ее сложным механизмом и подчинил матросов, эти отбросы человечества, своей воле — воле высшей мудрости.

И когда смолк его удивительный голос, и пока подвластные ему существа выполняли его веления, капитан Уэст, спокойный, равнодушный, далекий, как

случайный гость, от всего окружающего, казавшийся еще стройнее и выше, еще изящнее в своем развевающемся плаще, прикоснулся к моему плечу и указал мне на что-то за кормой, в наветренной стороне. Я взглянул и не увидел ничего, кроме вспенившегося моря и гряды темных туч на краю горизонта. И в тот же миг ветер, дувший с юго-запада, прекратился. Не только шквал затих, — затихло всякое движение воздуха, настала полная тишина.

— Что это? — вырвалось у меня, и я чуть не упал, выведенный из равновесия внезапным прекращением ветра.

— Перемена ветра, — отвечал он. — Вот идет новый шквал.

И он пришел с северо-запада, — такой свирепый порыв ветра, такой ошеломяющий атмосферный толчок, что «Эльсинора» опять закачалась и затряслась, протестуя всеми своими снастями. Порывом ветра меня прижало к перилам. Я чувствовал себя какой-то соломинкой. Я стоял лицом к ветру; в мои легкие ворвалась струя воздуха, так что я задохнулся и должен был отвернуться, чтобы перевести дух. Человек у штурвала снова прислушивался к голосу архангела Гавриила; внизу, на палубе, прислушивался к нему и мистер Пайк и повторял веления этого голоса, а капитан Уэст, легко балансируя на ходу, наклоняясь вперед навстречу ветру, спокойно, не спеша шагал по мостику взад и вперед.

Это было великолепно. Теперь впервые я узнал море и людей, повелевавших им. Капитан Уэст показал и оправдал себя. В самый критический момент разыгравшегося шторма он принял на себя ответственность за «Эльсинору», а мистер Пайк стал тем, чем он был в действительности, — застрельщиком в цепи стрелков, погонщиком рабов, служившим существу другого, высшего мира — Самураю.

Еще минуты две капитан Уэст ходил взад и вперед, то слегка наклоняясь навстречу ветру, то выпрямляясь, когда поворачивал назад, а затем направился вниз, в каюту. На секунду он остановился перед рубкой, положив руку на ручку ее двери, и в последний раз окинул испытующим взглядом побелевшее от ярости море и хмурое, гневное небо, побежденные им.

Спустя десять минут я тоже сошел вниз. Проходя мимо открытой двери кают-компаний, я заглянул туда и увидел его. На нем уже не было ни непромокаемых сапог, ни плаща; его ноги в мягких туфлях были вытянуты на циновке; он сидел, откинувшись назад, в кожаном кресле и, ушедший в свои мысли, курил с мечтательным видом — с широко открытыми, невидящими глазами, или если они и видели, то нечто такое, что было вне качающихся стен каюты и вне моего кругозора. Я проникся глубоким почтением к капитану Уэсту, хотя и знал его теперь меньше, чем даже тогда, когда я думал, что совсем его не знаю.

ГЛАВА XIII

Не удивительно, что мисс Уэст еще не оправилась от морской болезни, когда океан превратился в какую-то фабрику, где работают переменные шквалы,

воздвигая целые горы встречных валов. Поразительно стойко борется бедная «Эльсинора», вся, содрогаясь от усилий, зарываясь носом в воду и переваливаясь с боку на бок со своими высокими мачтами и пятью тысячами тонн мертвого груза. Мне она представляется самой неустойчивой посудиною, какую только можно вообразить; но мистер Пайк, которому я теперь часто сопутствую в его прогулках по палубе, уверяет, что уголь — очень хороший груз, и что «Эльсинора» нагружена равномерно, так как за нагрузкой наблюдал он сам.

Иногда он вдруг прерывает свое бесконечное хождение, останавливаясь, чтобы полюбоваться на сумасшедшие проделки «Эльсиноры». Я вижу, что они ему нравятся, потому что глаза его начинают блестеть, и все лицо озаряется внутренним светом, граничащим с экстазом. Я убежден, что «Эльсинора» занимает не последнее место в его сердце. Он говорит, что она ведет себя восхитительно, и в такие минуты чуть ли не в сотый раз повторяет, что за нагрузкой ее присматривал он сам.

Любопытно, до чего этот человек за долгие годы своих скитаний по морям привык угадывать движения моря. В этом хаосе бурных перекрещивающихся волн, несомненно, есть свой ритм. Я чувствую этот ритм, но не могу его уловить. А мистер Пайк знает его. Сегодня, пока мы с ним ходили по палубе и я не ожидал никаких особенных сюрпризов от «Эльсиноры», он несколько раз хватал меня за руку, когда я терял равновесие оттого, что она начинала вдруг крениться и все больше и больше валилась на один борт. Казалось, этому не будет конца, но всякий раз это кончалось неожиданным резким толчком, после чего она начинала валиться в обратную сторону. Я тщетно старался понять, как мистер Пайк предугадывает наступление таких припадков, и в конце концов склонился к такому мнению, что он не предугадывает их сознательно. Он чувствует их, узнает чутьем. Все, что касается моря, впиталось в него.

К концу сегодняшней нашей прогулки я провинился перед ним, нетерпеливо сбросив его лапу, неожиданно схватившую меня за плечо. Перед тем «Эльсинора» целый час не проделывала своих гимнастических упражнений, — по крайней мере я ничего не замечал. Поэтому я и сбросил его руку, подерживавшую меня. Но в следующий момент «Эльсинора» вдруг легла на бок и всем своим десятифутовым правым бортом погрузилась в воду выше перил, а я покатился по палубе и ударился о стенку капитанской рубки. У меня захватило дух от испуга, и до сих пор болят ребра и плечо. Но как он узнал, что это должно случиться?

Сам он никогда не шатается от качки, ему не грозит опасность упасть. Напротив, у него такой избыток уверенности в своем равновесии, что в критические минуты он делится им со мной. Я начинаю все больше проникаться уважением — не к морю, а к морякам, — не к тому мусору человечества, не к тем рабам, которые заменяют матросов на наших судах, к настоящим морякам, стоящим над ними, — к капитану Уэсту, к мистеру Пайку и — да, да, — и к мистеру Меллэру, хотя я его и не люблю.

Уже к трем часам пополудни ветер, все еще дувший с силой шквала, опять переменялся и задул с юго-запада. На вахте стоял мистер Меллэр. Он сошел вниз и доложил капитану Уэсту о перемене ветра.

— В четыре часа мы повернем судно через фордевинд, мистер Патгерст, — сказал он мне. — Это стоит посмотреть: интересный маневр.

— Зачем же ждать до четырех? — спросил я.

— Так приказал капитан, сэр. В четыре часа смена вахт. Нам для работы нужны обе смены, а вызывать сейчас вторую смену неудобно, так как она отдыхает внизу.

И когда обе смены были на палубе, из капитанской рубки вышел, опять в своем клеенчатом плаще, капитан Уэст. Мистер Пайк, стоя на мостике, распоряжался людьми, орудовавшими на палубе и на корме с бизань-брасами, а мистер Меллэр прошел вперед со своей сменой и на работу с фок- и грот-брасами. Это был красивый маневр — игра рычагов, посредством которой ослабляли силу ветра в задней части судна, чтобы всю ее использовать в передней его части.

Капитан Уэст не отдавал никаких приказаний и, судя по его виду, пребывал в полном неведении происходившего. Опять он был привилегированным пассажиром, совершавшим рейс для поправления здоровья. И несмотря на это, я знал, что оба его помощника не совсем приятно чувствуют себя в его присутствии и напрягают внимание, стараясь блеснуть перед ним своим искусством.

Теперь я знаю, какую роль играет капитан Уэст на борту «Эльсиноры». Он — ее мозг. Он главный стратег. Управление судном дальнего плавания требует большего, чем отбывание вахт и отдача приказаний матросам. Матросы — пешки, а два помощника капитана — фигуры, с которыми капитан Уэст ведет игру против моря, ветра, времени года и морских течений. Он тот, кто знает, а они — его язык, с помощью которого он передает свои знания.

Скверная ночь, — одинаково скверная и для меня, и для «Эльсиноры». Ей достается жестокая трепка от бушующего Атлантического океана. Измученный бессонницей, я заснул очень рано, но через час проснулся вне себя от нестерпимого зуда: вся кожа у меня горела и была в волдырях. Опять кремортартар, опять бесконечное чтение, опять тщетные попытки уснуть, и наконец, в конце пятого часа утра, когда буфетчик подал мне кофе, я завернулся в халат и, как неотпетая душа, переключался в кают-компанию. Там я задремал было в мягком кресле и был выброшен сильным размахом неожиданно накренившегося судна. Я попробовал прилечь на диван и мгновенно заснул, но также мгновенно очутился лежащим на полу. Я убежден, что, когда капитан Уэст спит на диване, он спит только наполовину, иначе — как мог бы он удержаться в таком непрочном положении? Или он, как и мистер Пайк, весь пропитался жизнью моря?

Я переключался в столовую, уселся поплотнее на привинченный к полу стул и заснул, положив голову на руки, а руки на стол. В четверть восьмого буфетчик разбудил меня, прикоснувшись к моему плечу: пора было накрывать на стол.

Отяжелевший от слишком короткого, не вовремя прерванного сна, я оделся и выполз на корму в надежде, что ветер прочистит мои мозги. Мистер Пайк был

на вахте и ходил взад и вперед своими твердыми, старчески тяжелыми шагами. Это не человек, а какое-то чудо природы: шестьдесят девять лет, вся жизнь прошла в тяжелом труде, а силен, как лев. За одну только прошлую ночь вот сколько часов он был на работе: с четырех до шести пополудни на палубе, с восьми до двенадцати и с четырех до восьми утра опять на палубе. Через несколько минут он должен был смениться, но в полдень будет опять там дежурить.

Я облокотился на перила и стал смотреть вперед вдоль палубы, представлявшей довольно унылую картину. Все шпигаты и клаузы были открыты, чтобы ослабить напор океана, поминутно заливавшего палубу. Между потоками воды виднелись полосы ржавчины. На правом борту сорвало деревянный шпиль, на котором держались бизань-ванты, а по палубе катался огромный клубок перепутавшихся талей. Тут спорадически работало, распутывая эти тали и ежеминутно рискуя жизнью, с полдюжины людей, и в том числе Нанси.

Терпеливое страдание было написано на его лице, и всякий раз, как высокая стена воды, перехлестнув через борт, низвергалась на палубу, он первый бросался к спасательной веревке, протянутой через все судно от носа до кормы. Не отставали от него и остальные: всякий раз, как их накрывало волной, они бросали работу и хватались за веревку — ради безопасности, если можно считать себя в безопасности, когда ты держишься обеими руками за веревку, а ноги уезжают из-под тебя, и ты ложишься врастающую, обдаваемый шипящей пеной ледяной воды. Неудивительно, что эти люди имели жалкий вид.

Уж, кажется, в достаточно плохом состоянии были они, когда вступили на борт «Эльсиноры», теперь же, после нескольких дней тяжелой работы, когда они часами мокли и замерзали на ветру, они были окончательно ни на что не похожи.

Иногда мистер Пайк, как бы заканчивая свой круг, на минуту останавливался и, прежде чем повернуть обратно, издавал что-то вроде сардонического фыркания по адресу несчастных матросов, копошившихся внизу. У этого человека черствое сердце. Сам он железный, ему все нипочем, и у него нет сострадания к этим обойденным судьбой жалким существам, которым недостает его железной силы.

Между ними я заметил и того глухонемого скорченного малого, лицо которого я описал, сравнивая его с лицом пришибленного, слабоумного фавна. Его блестящие, прозрачные глаза выражали последнюю степень страдания; его измученное, худое лицо еще больше осунулось и похудело. Но вместе с тем лицо это дышало избытком нервной энергии и трогательного желания угодить своей работой. Я не мог не заметить, что, несмотря на свое безнадежное слабоумие и исковерканное, тщедушное тело, он работал больше всех, всегда последним хватался за спасательную веревку, первым бросал ее и по колено или по пояс в бурлящей воде гонялся за огромным клубком спутанных талей, и через силу тащил эту страшную тяжесть куда-нибудь на свободное место.

Я сказал мистеру Пайку, что, по-моему, люди еще больше похудели и ослабели с того дня, как пришли на судно. Он на минуту прекратил свою прогулку,



*Всякий раз, как их накрывало волной, они бросали работу и хватались за веревку.
Неудивительно, что эти люди имели жалкий вид.*

посмотрел на них своим оценивающим взглядом скотопромышленника и проговорил с отвращением:

— Конечно, и похудели, и ослабели. Лядащий народ — что и говорить! В чем только душа держится. Ни капли жизненной силы. На такого дунь, и он свалится с ног. Наш брат в мое время разжирел бы на такой работе. Но мы-то не жирели, — мы работали вовсю и не успевали жиреть. Мы всегда держали себя в полной боевой готовности. Ну, а эти подонки, — на что они годны?.. Помните вы, мистер Патгерст, того человека, с которым я заговорил в первый раз нашего плавания? Он еще сказал тогда, что его зовут Чарльз Дэвис.

— Это тот, про которого вы подумали, что с ним что-то неблагополучно? — спросил я.

— Да, да. Так оно и оказалось. Теперь он в соседней рубке вместе с сумасшедшим греком. За все плавание он не прикоснется к работе. Это форменный клинический случай, я вам скажу. Говорят, можно изрешетить человека пулями, и он останется жив. А в этом малом такие дыры, что можно засунуть кулак. Я уж и не знаю, что у него — сквозные ли язвы, рак или раны от пушечных ядер. И у него хватает наглости уверять, будто с ним это случилось уже после того, как он поступил к нам на судно.

— А у него и раньше были эти раны?

— Давным-давно были. Поверьте моему слову, мистер Патгерст, он болен уже много лет. Но это удивительный парень. Первые дни я следил за ним: посылал его и на ванты, и в трюм убирать уголь, — словом, всячески испытывал его, и он, не сморгнув, исполнял все, что ему было приказано. И только после того, как он несколько дней пробыл в воде по самую шею, он, наконец, не выдержал и слег. А теперь он освобожден от работы на все время плавания. И за все время получит жалованье и будет спокойно спать всю ночь и палец о палец не ударит. О, это, должно быть, продувной малый, если он нас провел, как последних дураков. А в результате на «Эльсиноре» еще одним матросом меньше.

— Еще одним? — воскликнул я. — Разве тот грек умирает?

— И не думает. Через несколько дней он будет стоять у штурвала. Я говорю о тех двух других хулиганах. Из дюжины таких, как они, не выкроить и одного настоящего человека. Я говорю это не затем, чтобы пугать вас, потому что в этом нет ничего страшного, а только чтобы сказать, что в это плавание у нас здесь будет сущий ад. — Он помолчал, задумчиво разглядывая свои искалеченные суставы, как будто высчитывал, много ли еще в них осталось боевой энергии, потом вздохнул и добавил: — Ну, словом, я вижу, на мою долю достанется довольно работы.

Выражать сочувствие мистеру Пайку бесполезно; он от этого становится еще мрачнее. Я было пробовал, и вот что он на это сказал:

— Посмотрели бы вы на того болвана с искривленным хребтом, что дежурит в смене мистера Меллэра. Он совершенный олух и не нюхал моря, и весу-то в нем не больше ста фунтов; да и стар уже, — ему по крайней мере пятьдесят лет, — вдобавок калека, с искривленной спиной. А на «Эльсиноре» — как вам

нравится! — он сходит за опытного моряка. Но что всего хуже — он лезет вам в нос, грубит или подлизывается. Это — ехидна, оса. Он ничего не боится, потому что знает, что ты не смеешь ударить его, чтобы как-нибудь не сломать. О, это такое золото!.. Другой такой гадины днем с огнем не сыскать. Если вы не узнаете его по всем этим признакам, так знайте, что зовут его Муллиган Джэкобс.

После завтрака, во время вахты мистера Меллэра, я опять вышел на палубу и открыл еще одного настоящего работника. Он стоял на руле. Это был маленький стройный человек лет сорока пяти, с крепкими мускулами, смуглый, с черными, сидящими на висках волосами, с большим орлиным носом и живыми, умными черными глазами.

Мистер Меллэр подтвердил мое впечатление, сказав, что это лучший матрос в его смене, настоящий моряк. Говоря о нем, он сказал: «этот мальтийский кокни», и когда я спросил, почему — мальтийский, он ответил:

— Во-первых, потому, что он мальтиец, а во-вторых, он говорит как подлинный кокни, точно он родился в самом сердце Лондона. И уж поверьте, он знал, где раки зимуют, еще прежде, чем пролепетал свое первое слово.

— А что, купил О'Сюлливан сапоги у Энди Фэя? — спросил я.

В эту минуту на юте появилась мисс Уэст, всё такая же розовая, полная жизни, и уж конечно, если она и страдала морской болезнью, то теперь от этой болезни не оставалось и следов. Когда она подходила ко мне, чтобы поздороваться, я не мог еще раз не заметить, как свободны и эластичны все ее движения и какая у нее чудесная, здоровая кожа. Ее шея, выступавшая из свободного матросского воротника и открытого спереди джерсея¹, моим помутневшим от бессонницы глазам показалась даже чересчур крепкой. Ее тщательно причесанные волосы лежали гладким бандо² под белой вязаной шапочкой. И вообще вся она производила впечатление такой заботливости о своей внешности, какой никак нельзя было ожидать от дочери морского волка, а тем более от женщины, только что поднявшейся с постели после приступа морской болезни. Жизненная сила — вот разгадка этой натуры, а основной ее тон — жизненная сила и здоровье. Готов побиться об заклад, что в этой практичной, уравновешенной, умной головке никогда не зарождалось ни одной болезненной мысли.

— Ну что, как вы себя чувствуете? — спросила она и, прежде чем я успел ответить, весело затараторила: — А я отлично спала эту ночь. Я еще вчера была совсем здорова, но решила еще денек поваляться и хорошенько отдохнуть. Десять часов спала, не просыпаясь. Недурно? Как вы думаете?

— Я был бы очень рад, если бы мог то же самое сказать о себе, — ответил я с кислым видом, балансируя на ходу рядом с ней, так как она выказала решительное намерение прогуливаться.

— А-а, так значит вас тоже укачало?

¹ Джерсей — род лифа в обтяжку из вязаной материи.

² Бандо — женская прическа в виде плоских, лентообразных начесов на лоб и уши.

— Вовсе нет. Уж лучше бы укачало, — проговорил я сухо. — Я и пяти часов не спал с того дня, как поднялся на судно. Эта проклятая крапивница...

И я показал ей мою покрытую волдырями руку. Она взглянула, остановилась и, ловко приноравливаясь к качке, взяла мою руку в обе свои и принялась внимательно разглядывать ее.

— Ах, боже мой! — воскликнула она и вдруг начала хохотать.

У меня было двойное чувство. Ее смех звучал восхитительно, — в нем было столько мягкости, столько искренности и здорового веселья. Но с другой стороны — ведь смеялась она над моим несчастьем, и это выводило меня из себя. Должно быть, на моем лице было написано недоумение, потому что, когда она перестала смеяться и взглянула на меня уже с серьезным видом, на нее вдруг опять напал приступ неудержимого смеха.

— Ах вы, бедное дитя! — еле выговорила она сквозь смех. — И подумать только, какую уйму кремортартара я извела на вас!

С ее стороны немножко смело было говорить мне «бедное дитя», и я решил использовать уже имевшиеся у меня данные, чтобы с точностью установить, на сколько лет она моложе меня. Она сказала мне, что ей было двенадцать лет в то время, когда «Дикси» столкнулось с речным пароходом в бухте Сан-Франциско. Прекрасно: стало быть, мне оставалось только узнать, в каком году случилось это несчастье, и она у меня в руках. Но пока что она хохотала надо мной и над моей крапивницей.

— Может быть, это и смешно с какой-нибудь точки зрения, — сказал я довольно сурово, и тут же убедился, что суровость в применении к мисс Уэст не приводит ни к каким результатам, ибо мои слова вызвали только новый взрыв смеха.

— Вам нужно наружное лечение, — объявила она, продолжая смеяться.

— Чего доброго, вы еще скажете, что у меня корь или ветряная оспа, — запротестовал я.

— Нет. — Она торжественно качнула головой и снова залилась веселым хохотом. — Вы были жертвой жестокого нападения...

Она многозначительно замолчала, глядя мне прямо в глаза.

— Нападения клопов, — dokonчила она. И затем с полной серьезностью продолжала, как настоящая практичная особа: — Но мы это живо уладим. Я переверну вверх дном все кормовое помещение «Эльсиноры», хотя ни в каюте отца, ни в моей, я знаю, нет клопов. И хоть это — первое мое плавание с мистером Пайком, но я знаю, что он слишком старый боевой моряк (тут уж я засмеялся ее невольному каламбуру), чтобы не заботиться о чистоте своей каюты. Ваши клопы (я замер от страха: а вдруг она скажет, что это я занес их на судно)... ваши, вероятно, напоздали к вам с бака. Там у них всегда есть клопы... А теперь, мистер Паттерст, я иду вниз и сейчас же займусь вашей каютой. А вы скажите вашему Ваде, чтобы он приготовил вам все нужное для бивачной жизни. Одну или две ночи вам придется провести в кают-компании или в рубке. Да не забудьте распорядиться, чтобы Вада убрал из вашей каюты все серебря-

ные и вообще все металлические вещи, а то они потускнеют. У нас начнется теперь генеральная чистка: будем окуривать каюты, отдирать деревянную обшивку и прибивать ее наново. Положитесь на меня. Я знаю, как надо обращаться с этими зловредными насекомыми.

ГЛАВА XIV

Вот это так чистка! Все перевернули вверх дном. Две ночи — одну в капитанской рубке, другую в кают-компании на диване — я упивался сном; я так много и крепко спал, что совсем одурел. Земли не видно: она ушла куда-то вдаль. Странно: у меня такое чувство, точно прошли недели или месяцы с тех пор, как я выехал из Балтимора в то морозное мартовское утро. А между тем прошло немногим больше недели. Тогда было двадцать восьмое марта, а теперь только первая неделя апреля.

Оказывается, я не ошибся в своей первой оценке мисс Уэст. Я никогда еще не встречал такой способной, такой практически умелой женщины. Что произошло между нею и мистером Пайком — я не знаю, но что бы это ни было, она осталась при своем убеждении, что в истории с клопами он не при чем. По какой-то странной случайности только две мои каюты были наводнены этими подлыми насекомыми. Под наблюдением мисс Уэст все деревянные предметы — скамьи, табуретки и ящики — были вынесены, полки сняты, и ободрана вся деревянная обшивка стен. По ее приказанию, плотник проработал с утра до поздней ночи. Ночью каюты окуривали серой, а затем два матроса с помощью скипидара и белил закончили чистку. Теперь плотник вновь обивает деревом стены. Потом пойдет окраска, и через два-три дня, надеюсь, мне можно будет снова водвориться в моём помещении.

Всех людей, присланных для побелки кают, было четверо. Двоих мисс Уэст быстро спровадила, как непригодных для этой работы. Один из них — Стив Робертс — так он мне назвал себя — интересный субъект. Я успел побеседовать с ним, прежде чем мисс Уэст его забраковала, заявив мистеру Пайку, что ей нужен настоящий матрос.

Стив Робертс раньше никогда не видел моря. Как случилось, что ему пришлось перекочевать из западных скотопромышленных штатов в Нью-Йорк, он мне не объяснил, как не объяснил и того, каким образом он попал на «Эль-синору». Но так или иначе, он — ковбой — очутился здесь на судне. Он маленького роста, но очень крепкого сложения. У него широкие плечи, и под рубашкой выступают развитые мускулы. И, однако, он сухощав, тонок в талии, а лицо у него совсем худое с запавшими щеками. Но это у него не от болезни и не от слабого здоровья. Хотя на море и новичок, этот Стив Робертс очень сметливый, проворный малый... ну, и хитер. У него манера, когда он говорит, смотреть вам прямо в глаза с самым простодушным видом, а между тем именно в такие минуты я не могу отделаться от впечатления, что с этим человеком

надо держать ухо востро. Но в случае беды на него можно рассчитывать. Судя по всем его повадкам, у него есть что-то общее с той неприятной тройкой, которую сразу так невзлюбил мистер Пайк, — с Кидом Твистом, с Нози Мерфи и с Бертом Райном. И я еще раньше заметил, что во время ночных вахт Стив Робертс водит с ними компанию.

Второй матрос, которого отвергла мисс Уэст после пятиминутного безмолвного наблюдения за его работой, оказался тем самым Муллиганом Джэкобсом, «ехидной» с искривленным хребтом, о котором говорил мне мистер Пайк. Но прежде, чем его прогнали с работы, случилась одна вещь, отчасти касавшаяся и меня. Я был в каюте, когда Муллиган Джэкобс явился на работу, и сейчас же заметил, с каким изумлением и с какими жадными глазами он смотрит на мои полки с книгами. Он подходил к ним, как может подходить только грабитель к тайному хранилищу сокровищ; и как скупец любит свое золото, лаская его взглядом, так любовался Муллиган Джэкобс заголовками книг.

И какие у него глаза! Вся горечь, весь яд, какие мистер Пайк приписывает этому человеку, выливаются в выражении его глаз. Это маленькие, бледно-голубые, острые, как буравчики, горящие глаза. Воспаленные веки только подчеркивают горькое, холодно-ненавистническое выражение зрачков. Этот человек по природе своей ненавистник, и мне вскоре пришлось убедиться, что он ненавидит все на свете, кроме книг.

— Хотите, я вам дам почитать что-нибудь? — спросил я радушно.

Выражение нежной ласки, с какой он смотрел на книги, разом потухло, когда он повернул голову и взглянул на меня, и прежде, чем он заговорил, я уже знал, что он и меня ненавидит.

— Не возмутительно ли? Вы — человек со здоровым телом, и все эти сотни фунтов книг за вас таскают ваши слуги, а я, с моей кривой спиной — что я могу, когда у меня весь мозг горит от адской боли?

Как передать ту ядовитую язвительность, с какой были произнесены эти слова! Знаю только, что, увидав в открытую дверь шагающего по коридору своей шаркающей походкой мистера Пайка, я почувствовал облегчение от сознания своей безопасности. Остаться в каюте наедине с этим человеком было приблизительно то же самое, что сидеть в запертой клетке вдвоем с тигром. Дьявольская злоба, а главное — жгучая ненависть, с какой он смотрел на меня и говорил со мной, была в высшей степени неприятна. Клянусь, я испугался. Это не была обдуманная осторожность перед опасностью, это не была робкая боязнь, — это был слепой, панический, не рассуждающий ужас. Озлобленность этого человека заставляла стечь кровь, она не нуждалась в словах для проявления, — она выпирала из него, выливалась из его воспаленных, горящих глаз, читалась на его изможденном, сморщенном лице, сидела в его скрюченных, с обломанными ногтями руках. И в то же время, в самый момент моего инстинктивного испуга и отвращения, у меня было сознание, что мне ничего не стоит схватить одной рукой за горло этого бессильного калеку и вытряхнуть из него его неудавшуюся жизнь.

Но в этой мысли мало было утешения — не больше, чем было бы его у человека, попавшего в нору гремучих змей или стоножек, потому что, прежде чем он успел бы их раздавить, они впустили бы в него свой яд. Вот то же чувствовал я в присутствии Муллигана Джэкобса. Я боялся его, потому что боялся быть отравленным его ядом. Я не мог отделаться от этого страха. Мне живо представлялось, как торчащие у него во рту черные, обломанные зубы впиваются в мое тело, разъедают его своим ядом, отравляют, убивают меня.

Одно было не ясно: у него не было страха. Он абсолютно не знал страха. Он был так же чужд этому чувству, как зловонная слизь, на которую иногда наступал в кошмаре. Вот что такое этот человек — кошмар!..

— Вы сильно страдаете? — спросил я его, призывая на помощь сострадание к ближнему для того, чтобы легче было справиться с собой.

— У меня такое ощущение, точно мозг мой рвет железными крюками, раскаленными крюками, и он горит и горит, — был ответ. — Но по какому проклятому праву у вас такая куча книг и сколько угодно времени на чтение, так что вы можете читать и наслаждаться хоть всю ночь напролёт, а у меня огонь в мозгу, и я должен отбывать вахту за вахтой, и из-за сломанной спины мне не снести и сотой части тех книг, какие я хотел бы иметь?..

«Еще один сумасшедший», — подумал я, но тотчас же принужден был изменить мое мнение. Думая пошутить, я спросил его, какие книги у него есть с собой и каких авторов он предпочитает. И он сказал, что в его библиотеке, в числе других книг, имеется, во-первых, весь Байрон. Затем, весь Шекспир и весь Браунинг в одном томе. Да еще на баке у него лежит с полдюжины томов Ренана, разрозненный том Лекки, «Мученичество человека» Виндвуда Рида, несколько книжек Карлейля и томов восемь-десять Золя. Он не устал восхищаться Золя, но главным его любимцем был Анатоль Франс¹.

Он, может быть, и сумасшедший, но не такой сумасшедший, каких мне приходилось встречать до сих пор, — таково было мое изменившееся мнение о нем. Мы еще долго беседовали о книгах и о писателях. У него были самые универсальные познания в литературе и очень разборчивый литературный вкус. Ему нравился О. Генри. Джордж Мур был паразит и бахвал. «Анатомия отрицания» Эдгара Салтуса, по его мнению, глубже Канта. Метерлинк — пропитанная мистицизмом старая ведьма. Эмерсон — шарлатан. «Привидения» Ибсена хорошая вещь, хотя Ибсен, говоря вообще, блюдолиз буржуазии. Гейне — неподдельный добротный товар. Флобера он предпочитал Мопассану, и Тургенева Толстому, но из русских лучше всех был Горький. Джон Мейсфилд знал, что он хочет сказать, а Джозеф Конрад так зажирел от хорошей жизни, что уже не мог разбираться в своем материале.

¹ Джек Лондон подчас злоупотребляет иностранными словами и собственными именами ученых, писателей и пр. Снабдить примечаниями все эти слова невозможно без того, чтобы не затруднять чтение многих страниц Лондона до степени перевода с подстрочником. Поэтому мы останавливали внимание читателя на объяснении преимущественно только тех слов, понимание которых помогает точнее или полнее раскрыть мысль автора.

И он продолжал в том же духе! Я в первый раз слышал такие удивительные комментарии к произведениям литературы. Я был страшно заинтересован и решил пощупать его по части социологии. Да, он красный и знал Кропоткина, но он не анархист. А с другой стороны, политическая агитация — тот же тупик, заканчивающийся реформизмом и квиетизмом. Политический социализм окончательно провалился, и логическим завершением марксизма может быть только индустриальный унионизм. Он за прямую активную борьбу. Самое действенное средство — массовые забастовки. Лучшее оружие — саботаж, не только как воздержание от работы, но и как действенная политика уничтожения прибылей. Он, разумеется, верит в пропаганду действия, но глупо кричать об этом на всех перекрестках. Надо действовать и держать язык за зубами, а чтобы действовать с пользой, надо уметь замечать следы. Правда, сам он говорит, но что же из этого? Он — калека со сломанной спиной. Ему все равно, поймают его или нет, но горе тому, кто попробует его поймать.

И говоря со мной, он все время меня ненавидел. Казалось, он ненавидит даже то, о чем говорит, даже те идеи, которые защищает. Я решил, что он ирландец по крови, и было ясно, что он самоучка. Когда я спросил его, как ему пришлось в голову поступить на судно, он ответил, что раскаленные крюки везде одинаково рвут его мозг. Затем он удостоил сообщить мне, что в ранней молодости он был атлетом и профессиональным скороходом в восточной Канаде. А там начался его недуг, и около четверти столетия он был простым бродягой. Он как будто даже чванился своим близким знакомством с таким количеством городских тюрем, о каком и понятия не имел ни один смертный.

На этом месте нашего разговора мистер Пайк просунул голову в дверь. Он ничего мне не сказал, но одарил меня сердитым взглядом: он не одобрял меня. Лицо мистера Пайка почти окаменело. От всякой перемены выражения оно как будто раскалывается, за исключением выражения неудовольствия, ибо когда мистер Пайк хочет казаться сердитым, он достигает этого без всякого труда. На этом лице с грубой кожей и твердыми мускулами как будто навсегда застыла злоба. Очевидно, ему не понравилось, что я заставляю Муллигана Джэкобса даром тратить время. Ему он сказал со своим обычным рычаньем:

— Ступай, займись своим делом. Не все еще тряпки перебрали вы в вашей смене.

Вот тут-то и показал себя Муллиган Джэкобс! Написанная на его лице ядовитая ненависть, уже замеченная мной раньше, была ничто в сравнении с тем, что оно выражало теперь. Я невольно подумал, что, если бы дотронуться до него в эту минуту, из него посыпались бы искры, как от кошки, когда ее погладишь в темноте.

— Пошел ты к черту, гнилое полено! — сказал он мистеру Пайку.

Если когда-нибудь глаза человека грозили убийством, то я прочел такую угрозу в глазах старшего помощника капитана. Он ринулся в каюту с поднятым для удара кулаком. Один удар этой медвежьей лапы, и Муллиган Джэкобс со всей своей жгучей ненавистью, со всем своим ядом погрузился бы в вечный

мрак. Но он не испугался. Как прижатая в угол крыса, как преследуемая гремучая змея, не сморгнув, насмешливо ослабившись, он посмотрел прямо в глаза разъяренному великану. Более того: он даже подался вперед и вытянул голову на скрюченной шее навстречу удару.

Это было уже слишком даже для мистера Пайка: невысказанно было ударить это бессильное, искалеченное, отвратительное существо.

— Да, ты — гнилое полено, и я не боюсь тебе это сказать, — повторил Муллиган Джэкобс.

— Я не Ларри. Ну, что ж, ударь меня! Отчего ты меня не бьешь?



— Марш на работу! — приказал он. — Плавание только что началось, Муллиган, и ты еще попробуешь моего кулака, прежде чем оно кончится.

Но мистер Пайк был так ошеломлен, что не ударил его. Он, чья жизнь на море была жизнью погонщика скота на мясном рынке, не смел ударить этот исковерканный обломок человека. Готов поклясться, что он боролся с собой, убеждая себя, что надо ударить. Я видел это.

Но он не смог.

— Марш на работу! — приказал он. — Плавание только что началось, Муллиган, и ты еще попробуешь моего кулака, прежде чем оно кончится.

Физиономия Муллигана Джэкобса на скрюченной шее подвинулась еще на дюйм ближе к начальнику. Казалось, его сосредоточенная ненависть дошла до белого каления. Так сильна, так необузданна была сжигающая его ярость, что он не находил слов, чтобы выразить ее. Он мог только издавать какие-то хриплые звуки, словно в горле у него что-то переливалось; я не удивился бы, если бы он выхаркнул яд прямо в лицо мистеру Пайку.

И мистер Пайк круто повернулся и вышел из каюты побежденный, безуловно побежденный.

Не могу забыть этой сцены. Эта картина — старший помощник и калека, стоящие друг против друга — все время у меня перед глазами. Это не похоже ни на то, что мне приходилось читать, ни на то, что я знаю о жизни. Это — откровение. Жизнь — поразительная вещь. Откуда эта горечь, этот огонь ненависти, что горит в Муллигане Джэкобсе? Как осмеливается он, без всяких расчетов на какие-нибудь выгоды, — он, не герой, не провозвестник далекой мечты и не мученик христианства, а просто злая, мерзкая крыса, — как он осмеливается, спрашиваю я, держать себя так вызывающе, так бесстрашно глядеть в глаза смерти? Думая о нем, я начинаю сомневаться в учениях всех метафизиков и реалистов. Никакая философия не выдерживает критики, если она не может объяснить психологию Муллигана Джэкобса. И сколько бы ни жег я керосина, читая по ночам философские книги, это мне не поможет понять Муллигана Джэкобса... если только он не сумасшедший. Но даже и этого я не знаю.

Бывал ли когда-нибудь на море груз таких человеческих душ, как те, с которыми свела меня судьба на «Эльсиноре»?

А теперь в моих каютах, промазывая стены белилами и скипидаром, работает другой тип. Я узнал: зовут его Артур Дикон. Это тот самый бледнолицый человек с бегающими глазами, которого я заметил еще в первый день нашего плавания, когда матросов выгоняли с бака вертеть брашпиль, — тот, про которого я сразу подумал, что он любит выпить. У него, бесспорно, такой вид. Я спросил мистера Пайка, что он думает об этом человеке.

— Маклак по торговле белыми рабами, — ответил он. — Должен был бежать из Нью-Йорка, чтобы спасти свою шкуру. Будет под паром тем трем молодцам, которым я дал почувствовать мой характер.

— Ну, а про тех, что вы скажете?

— Готов прозакладывать мое месячное жалованье на фунт табаку, что какой-нибудь судейский крючок или комитет сыщиков, осведомляющих нью-йоркскую полицию, разыскивает их в эту минуту. Хотел бы я иметь столько

денег, сколько кто-то получил в Нью-Йорке за то, что дал им улизнуть на нашем судне. О, знаю я эту породу!

— Комиссионеры по запрещенным товарам? — спросил я.

— Вот именно. Но я вычищу их грязные шкуры. Я им покажу!.. Мистер Паттерст, наше плавание только начинается, а старому гнилому полю не пришел еще конец. Я проманежу их за их деньги! Я похоронил за бортом этого судна людей получше, чем лучший из них. И похороню еще кое-кого из тех, что обзывают меня старым поленом.

Он замолчал и с полминуты смотрел на меня торжествующим взглядом.

— Мистер Паттерст, вы пишете, я слышал. Когда мне сказали в агентстве, что вы едете с нами пассажиром, я решил непременно сходить посмотреть вашу пьесу. Ну, о пьесе вашей я ничего не скажу — ни хорошего, ни худого. Я хотел только сказать вам, что вы, как писатель, соберете грудку материалов за это плавание. У нас тут разыграется адская катавасия, будьте уверены, и перед вами то самое старое полено, которое сыграет в ней не последнюю роль. Многие на своей спине испытают, умеет ли еще орудовать старое полено.

ГЛАВА XV

Ох, как я спал! Какое это восхитительное ощущение — восстановление нормального сна! И этим я обязан мисс Уэст. Но почему ни капитан Уэст, ни мистер Пайк — оба люди опытные — не могли определить моей «болезни»? Не мог и Вада. И дело не обошлось без мисс Уэст. И опять я становлюсь в тупик перед загадкой — женщиной. Случай со мной — один из миллиона случаев, приковывающих внимание мыслителя к женщине. Поистине женщина — мать и охранительница рода.

Сколько бы я ни иронизировал насчет красной крови мисс Уэст и ее привязанности к жизни, я должен поклониться ей в ножки за то, что она вернула меня к жизни. Ее практичность, рассудительность, упорство остаются при ней; она — устроительница гнезда; она любит комфорт, обладает всеми приводящими в отчаяние атрибутами слепоинстинктивной матери рода, и все-таки я глубоко признателен провидению за то, что она едет с нами. Не будь ее на «Эльсиноре», я к этому времени так извелся бы от недостатка сна, что готов был бы кусаться и быть не хуже любого из тех сумасшедших, коими переполнено наше судно. И вот мы вновь приходим к тому же — к известной тайне — женщине. Не всякий, может быть, способен уживаться с ней, но ясно, как оно было и встарь, нельзя прожить без нее. Что же касается мисс Уэст, то меня поддерживает одна горячая надежда, а именно — что она не суфражистка. Это было бы уж слишком.

Капитан Уэст может быть Самураем, но в то же время он — человек. При всей своей сдержанности и умении владеть собой, он с искренним огорчением говорил о нападении на меня проклятых насекомых. По-видимому, он отличается живым чувством гостеприимства, — он понимает, что на «Эльсиноре»

я его гость; и, хотя он безразлично относится к нуждам команды, это не мешает ему заботиться о моих удобствах. Из немногих сказанных им по этому поводу слов видно, что он не может себе простить того небрежного легковерия, с каким он принял ошибочный диагноз моей «болезни». Да, капитан Уэст настоящий человек. Недаром же он — отец своей жизнерадостной дочки с ее крепким телом и нежным лицом.

— Ну, слава Богу, значит, все в порядке! — воскликнула мисс Уэст сегодня поутру, когда мы с ней встретились на юте, и я сказал ей, как чудесно я спал.

И непосредственно вслед за этим, отбросив в сторону кошмарный эпизод с клопами, как окончательно ликвидированный с практической точки зрения, она сказала:

— Пойдемте смотреть цыплят.

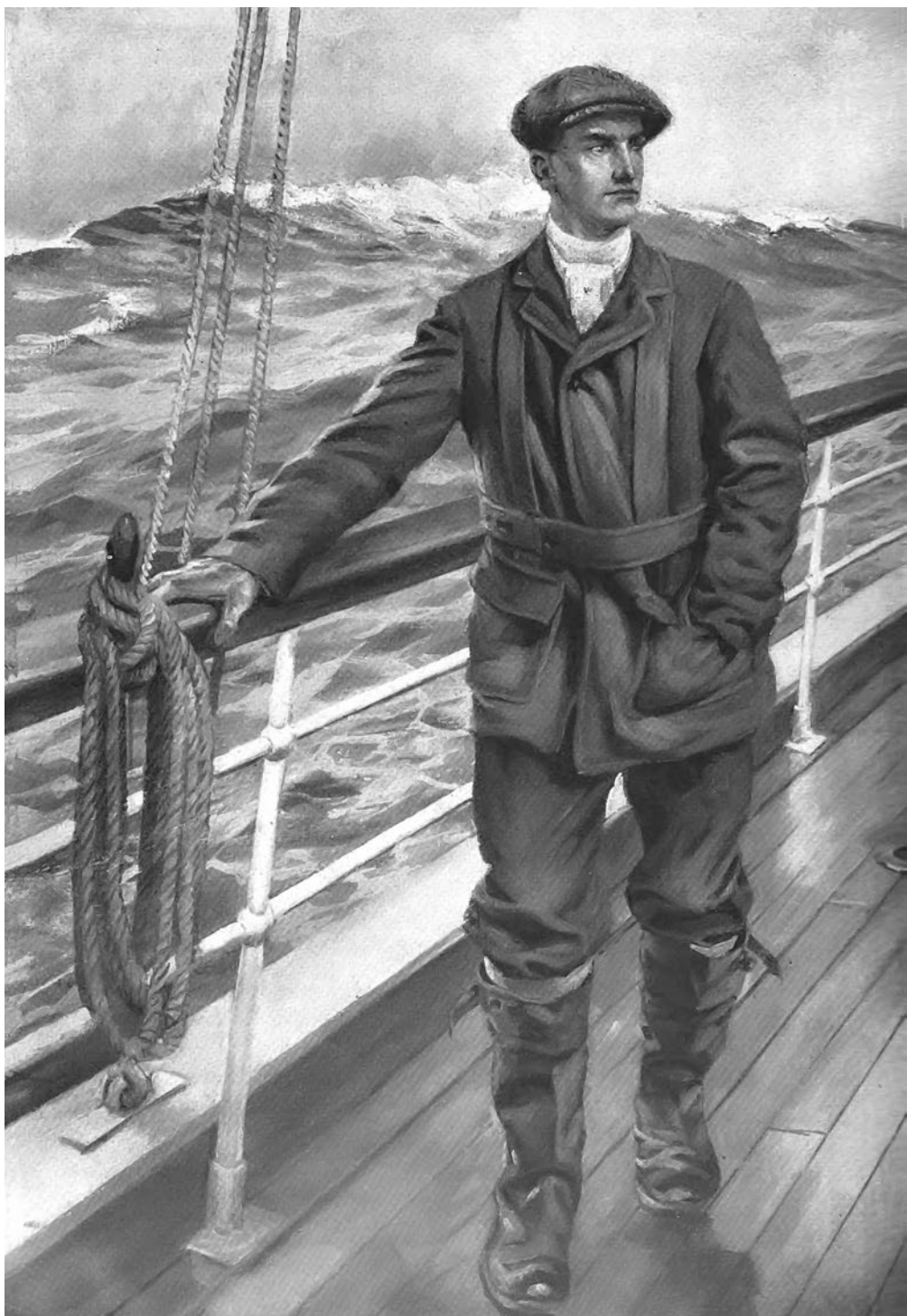
И я направился следом за ней по паутинному мостику к средней рубке, смотреть на петуха и на четыре дюжины откормленных кур, сидевших в устроенном на крыше рубки курятнике.

Пока она шла впереди, и я любовался ее живой, эластичной походкой, мне вспомнилось, как, переезжая со мной на пароходике из Балтимора, она обещала ничем не беспокоить меня и уверяла, что не нуждается в том, чтобы ее занимали.

«Пойдемте смотреть цыплят!» О, сколько чисто женской властности в этом простом приглашении! Что может превзойти в дерзости ту наивную властность, которая сидит в каждой свивающей себе гнездышко человеческой самке — женщине? «Пойдемте смотреть цыплят!» Есть моряки — старые воробы, выдавшие всякие виды, но да было бы известно мисс Уэст, что есть на «Эльсиноре» один пассажир мужского пола, неженатый и решивший никогда не жениться, который тоже пускался во всякие авантюры на матримониальном море: он тоже старый воробей, и его не проведешь на мякине. Перебирая мысленно перечень моих романтических походов, я вспоминаю несколько женщин с большими данными, чем у мисс Уэст, которые пели мне свою песню пола и однако не принудили меня к капитуляции.

Перечитывая только что написанное, я вижу, как сильно мои мыслительные процессы пропитались морской терминологией. Я невольно пользуюсь морскими словечками. И еще одно наблюдение: я начал злоупотреблять превосходными степенями. Но, впрочем, все на «Эльсиноре» в превосходных степенях. Я постоянно ловлю себя на старании очистить мой словарь, подыскать для всех понятий точные, подходящие выражения. И постоянно сознаю, что это мне не удастся. Так, например, никакие слова, ни в каких словарях не могут дать даже приблизительного представления о том леденящем ужасе, какой наводит на меня Муллиган Джэкобс.

Но вернемся к цыплятам. Было видно, что, несмотря на все предосторожности, им недешево достались последние бурные дни. Видно было и то, что мисс Уэст не забывала о них даже в то время, когда страдала морской болезнью. По ее приказанию буфетчик установил в курятнике маленькую керосиновую печку,



— Ну, слава Богу, значит, все в порядке! — воскликнула мисс Уэст



сегодня поутру, когда мы с ней встретились на юте.

и теперь, когда он по дороге на кубрик проходил мимо нас, она подозвала его, чтобы дать ему дальнейшие указания насчет кормления цыплят.

Где же отруби? Им необходимы отруби. Он этого не знал. Мешок с отрубями был заложен где-то между другими запасами, но мистер Пайк обещал отрядить двух матросов с приказанием разыскать этот мешок.

— Побольше золы, помните, — сказала буфетчику мисс Уэст. — Курятник надо чистить ежедневно, и, если он когда-нибудь окажется невычищенным, доложите мне. И корм давайте только чистый. Никаких остатков — слышите? Сколько яиц было вчера?

У буфетчика заблестели глаза, когда он с гордостью ответил, что накануне он вынул девять яиц, а завтра рассчитывает на целую дюжину.

— Бедняжки! Вы не можете себе представить, как дурно отзывается ненастная погода на кладке яиц, — сказала она мне; потом повернулась к буфетчику. — Следите за теми курами, которые не несутся, и таких режьте первыми. И всякий раз спрашивайте меня, прежде чем резать.

Пока мисс Уэст говорила о цыплятах с этим экс-контрабандистом, я чувствовал себя заброшенным, но зато это доставило мне случай рассмотреть ее. Длинный разрез ее глаз подчеркивает пристальность ее взгляда, чему помогают темные ресницы и брови. Я еще раз отметил теплый колорит ее серых глаз. И я начал определять ее, разбирать по всем статьям. Физически — она представительница лучшего типа женщин старинной Новой Англии. Природа была щедра к ней: не худая, но и не полная, она в меру плотна и крепка, хотя ее и нельзя назвать богатыршей. Самое верное сказать про мисс Уэст, что она — воплощение жизненности.

Мы вернулись на ют, и когда мисс Уэст ушла в каюту, я обратился к мистеру Меллэру с всегдашней своей шуткой:

— Ну что, купил наконец О'Сюлливан сапоги у Энди Фэя?

— Нет, не купил, — отвечал он, — но сегодня утром они чуть не достались ему. Пойдемте, сэр, я кое-что покажу вам.

И без дальнейших объяснений, он повел меня по мостику вперед. Мы прошли среднюю и потом переднюю рубку. Взглянув вниз, я увидел двух японцев. Они сидели на крышке люка номер один и толстыми иглами зашивали какой-то тюк, завернутый в парусину, — несомненно заключавший человеческое тело.

— О'Сюлливан пустил в ход свою бритву, — сказал мне мистер Меллэр.

— Так это Энди Фэй? — воскликнул я.

— Нет, сэр, не Энди. Это один голландец. В списках он значится Христианом Иесперсеном. Он попался на дороге О'Сюлливану, когда тот шел за сапогами. Это и спасло Энди Фэя. Энди оказался проворнее. Иесперсен был увалень и не сумел увернуться от О'Сюлливана. Вон Энди сидит.

Я проследил глазами за взглядом мистера Меллэра и увидел загорелого, пожилого шотландца маленького роста. Он сидел, скорчившись, на деревянном бруссе и сосал трубку. Одна рука была у него на перевязи, и на голове была

повязка. Рядом с ним сидел в такой же позе Муллиган Джекобс. Их была пара: глаза у обоих были голубые, и у обоих злые. И оба казались одинаково истощенными. Не трудно было заметить, что уже с самого начала плавания они — оба озлобленные, насквозь пропитанные горечью — почувствовали сродство душ. Энди Фэю, я знал, было шестьдесят три года, хотя по виду ему можно было дать и сто; но Муллиган Джекобс, которому было только около пятидесяти лет, восполнял разницу в годах белокалийным жаром ненависти, горевшей в его лице и в глазах. «Интересно, подсел он к этому раненому из сочувствия или затем, чтобы в конце концов слопать его», — подумал я.

Из-за угла рубки показался Коротышка и послал по моему адресу свою неизменную клоунскую улыбку. У него одна рука была тоже перевязана.

— Задали они, однако, работы мистеру Пайку, — заметил я.

— Да, все часы своей вахты, с четырех до восьми, он зашивал этих калек, — сказал мистер Меллэр.

— Как?! Разве есть еще раненые?

— Еще один, сэр, — еврей. Я раньше даже не знал, как его зовут, но мистер Пайк сказал мне: его зовут Исаак Шанц. Всю жизнь, кажется, плаваю, а никогда еще не видел такого множества евреев, как теперь у нас на «Эльсиноре». Евреи, говоря вообще, не любители моря. А у нас их больше, чем нужно. Этот Шанц ранен легко, но, если бы вы слышали, как он хныкал!

— А где же О'Сюлливан? — спросил я.

— В средней рубке с Дэвисом, — цел и невредим, — хоть бы одна царапина. Мистер Пайк разнимал их и уложил его спать кулаком по скуле. Теперь он лежит связанный и бредит. Дэвиса он до полусмерти напугал. Дэвис сидит на своей койке со свайкой в руках, грозит разmozжить ему голову, если только он попробует освободиться, и жалуется на непорядки в нашем лазарете. Ему, видно, нужны палаты с обитыми войлоком стенами, смирительные рубашки, дневные и ночные сиделки, усиленная охрана и для выздоравливающих на корме помещение в стиле королевы Анны.

— О Господи! — вздохнул мистер Меллэр. — Никогда еще не бывал я в таком рискованном плаваньи и такой дикой команды никогда не видал. Это не кончится добром — и слепому видно. Мы будем огибать мыс Горн в самый развал зимы, а на баке у нас полно сумасшедших и калек. Кто же будет работать?.. Взгляните вы вон хоть на этого. Совсем сумасшедший! Каждую минуту того и жди, что он прыгнет за борт!

Я взглянул, куда он указывал, и увидел того самого грека Тони, который бросился в море в первый день нашего плавания. Он только что вышел из-за угла рубки; если не считать, что одна рука у него была на перевязи, он казался совершенно здоровым. Он шел свободным, твердым шагом, — доказательство хороших результатов примитивной хирургии мистера Пайка.

Мой взгляд помимо моей воли поминутно возвращался к завернутому в парусину телу Христиана Иесперсена и к двум японцам, зашивавшим бечевками его матросский саван. У одного из них вся правая рука была обмотана бинтами.

— А этот тоже ранен? — спросил я.

— Нет, сэр. Это наш парусник. Они оба парусники. А этот очень хороший работник. Его зовут Ятсуда. Но у него было заражение крови, и он полгода пролежал в больнице Нью-Йорка. Он решительно отказался от ампутации. Теперь он поправился, но рука почти омертвела: действуют только большой и указательный пальцы, и вот он учится шить левой рукой. Другого такого искусного парусника, пожалуй, не найдется на наших судах.

— Однако, сумасшедший и бритва — довольно опасная комбинация, — заметил я.

— Да, пять человек выведены из строя, — вздохнул мистер Меллэр. — Во-первых, сам О'Сюлливан, потом Христиан Иесперсен (этот уже вовсе вычеркнут из списков), потом Энди Фэй и Коротышка, и, наконец, тот еврей. А плавание, можно сказать, еще не началось. А тут еще Ларс сломал ногу, и Дэвис лежит все равно что без ноги. Так-то, сэр! Скоро у нас будет такая нехватка в людях, что, когда понадобится ставить паруса, придется вызывать наверх обе смены.

Пока я беседовал с мистером Меллэром, и он спокойно излагал мне факты, я не мог отделаться от неприятного чувства. Не то меня смущало, что наше судно посетила смерть. Я слишком долго имел дело с философией, чтобы меня могли смутить убийство и смерть. Меня смущала в этой истории полнейшая ее бессмысленность. Я могу понять даже убийство — убийство, имеющее основания. Можно понять, что люди убивают друг друга, ослепленные страстью — любовью или ненавистью, — или из чувства патриотизма или из религиозной вражды. Но тут было совершенно другое. Тут было убийство без всякой причины, какая-то оргия слепого зверства, чудовищно бессмысленная вещь.

В тот же день позднее, гуляя с Поссумом по главной палубе и проходя мимо открытой двери лазарета, я услышал бормотанье О'Сюлливана и заглянул в дверь. Он лежал на спине, привязанный к нижней койке, дико поводил глазами и бредил. Над ним на верхней койке лежал Чарльз Дэвис и спокойно посасывал трубку. Я поискал глазами свайку. Оказалось, что она лежит на койке возле него, чтобы быть под рукой на всякий случай.

— Ну, не адская ли это жизнь, сэр? — встретил он меня. — Скажите сами, можно ли сомкнуть глаза, когда эта обезьяна все время лопочет? Он ни на секунду не умолкает. Как заведет свою шарманку, так и не жди конца, даже во сне говорит — во сне еще хуже. А как зубами скрипит — просто слушать страшно! Ну, сами посудите, сэр: справедливо ли помещать такого сумасшедшего вместе с больным человеком? А я ведь больной человек.

Пока он говорил, мимо меня промелькнула массивная фигура мистера Пайка и остановилась так, что лежавший на койке человек не мог ее видеть. Дэвис продолжал говорить:

— По всем правам мне следовало бы получить нижнюю койку. Мне вредно карабкаться наверх. Это просто бесчеловечно — иначе этого нельзя назвать. А между тем в наше время закон лучше, чем раньше защищает права матросов в плавании. Я вызову вас свидетелем в суд, когда мы придем в Сиэтл.

Мистер Пайк вошел в дверь.

— Замолчи ты, проклятый законник! — зарычал он. — Мало тебе, что ты сыграл с нами такую подлую штуку, явившись на судно в таком состоянии. А если ты еще будешь тут разглагольствовать, так я...

Он был так разозлен, что не мог закончить угрозы. Сплюнув на пол, он все-таки сделал попытку договорить.

— Т-ты... мне надоел, — слышал?

— Я знаю законы, сэр, — сейчас же огрызнулся Дэвис. — Я исполнял на вашем судне всю работу по положению: вся команда может это подтвердить. С первого же дня я лазал на мачты. Да, сэр, и днем и ночью я мок в соленой воде по самую шею. И в трюм вы меня посылали уголь убирать. Я делал все, что полагается, и даже больше, пока на меня не напала эта болезнь.

— Ты уже насквозь прогнил задолго до того, как в первый раз увидел это судно, — перебил его мистер Пайк.

— Суд нас разберет, сэр, — ответил Дэвис невозмутимо.

— А если ты будешь продолжать разводить бобы насчет законов, я вышвырну тебя отсюда и покажу тебе, какая бывает настоящая работа, — сказал мистер Пайк.

— И заставите владельцев судна заплатить хорошенький штраф, когда мы придем в порт, — усмехнулся Дэвис.

— Да, если раньше я не похороню тебя в море, — был быстрый зловещий ответ. — Да будет тебе известно, Дэвис: ты не первый законник из тех, которых я спустил за борт с мешком угля.

И с заключительным: «Проклятый законник!» — мистер Пайк вышел и зашагал по палубе. Я вышел вслед за ним. Вдруг он остановился и повернулся ко мне.

— Мистер Паттерст!

На этот раз он обращался ко мне не как офицер к пассажиру, — тон был повелительный, и я насторожился.

— Мистер Паттерст! С этого дня чем меньше вы будете видеть, что делается у нас на судне, тем будет лучше. Вот и все.

Он круто повернулся и пошел своей дорогой.

ГЛАВА XVI

Нет, море не мать, а злая мачеха. Отчего все моряки такой суровый народ? Конечно, от суровой жизни. Понятно, что капитан Уэст не хочет знать о существовании своей команды; понятно, что мистер Пайк и мистер Меллэр никогда не обращаются к матросам иначе, как с приказаниями. Но и мисс Уэст, такой же пассажир, как и я, игнорирует этих людей. Выходя утром на палубу, она никогда не скажет даже рулевому «доброе утро». Ну, как ей угодно, а я буду здороваться, по крайней мере хоть с рулевым. Я ведь только пассажир.

Собственно говоря, я не пассажир с формальной точки зрения. «Эльсинора» не имеет разрешения возить пассажиров, и в списках я значусь третьим помощником на жалование в тридцать пять долларов в месяц. Вада записан прислугой в каютах, хотя я внес довольно крупную сумму за его проезд, и он — мой слуга.

Немного времени занимают на море похороны умерших. Через час после того, как я видел двух парусников за работой над саваном Христиана Иесперсена, его спустили за борт ногами вперед, привязав к ним для тяжести мешок с углем.

Был тихий, ясный день, и «Эльсинора» лениво тащилась со скоростью два узла и вообще вела себя спокойно. В последний момент капитан Уэст явился на бак с молитвенником в руках, прочел положенную при морских похоронах краткую молитву и тотчас же вернулся на ют. Я в первый раз видел его на баке. Я не стану описывать похороны. Скажу только, что они были так же печальны, как и вся жизнь и смерть Христиана Иесперсена.

А мисс Уэст сидела на юте в кресле и прилежно занималась каким-то дамским рукоделием. Как только Христиан Иесперсен и его мешок погрузились в воду, команда разбрелась по местам: свободная смена спустилась вниз к своим койкам, а очередная осталась на палубе и стала на работу. Не прошло и минуты, как мистер Меллэр уже отдавал приказания, и люди выбирали или травили канаты. А я вернулся на ют и был неприятно поражен безмятежным видом мисс Уэст.

— Ну вот и похоронили, — сказал я.

— Да? — откликнулась она равнодушным тоном и продолжала шить.

Но, должно быть, она почувствовала мое настроение, потому что через минуту опустила свою работу на колени и подняла на меня глаза.

— Вы в первый раз видите похороны на море, мистер Паттерст?

— А на вас смерть на море, по-видимому, не производит впечатления? — сказал я резко.

Она пожала плечами.

— Не больше, чем на суше. Столько народу везде умирает... А когда умирают чужие вам люди, то... Ну, например, если на берегу вы узнаете, что на такой-то фабрике, мимо которой вы проезжаете каждый день по дороге в город, убито несколько человек рабочих, как вы это примете? Ну, то же самое и на море.

— Во всяком случае печально уже то, что у нас одним рабочим стало меньше, — проговорил я не без язвительности.

Мой выстрел попал в цель. С подчеркнутой иронией она ответила:

— Да, это печально. Да еще в самом начале плавания.

Она взглянула на меня, и я не мог удержаться от улыбки. И она тоже улыбнулась в ответ.

— Я отлично знаю, мистер Паттерст, что вы считаете меня бессердечной. Но, это не то, это... это, вероятно, море. И кроме того, я ведь не знала этого человека. Не помню даже, видела ли я его. Теперь, когда наше плавание

только еще начинается, я едва ли узнаю в лицо полдюжины наших матросов. Так с чего же мне огорчаться, что какого-то там дурака, совершенно мне чужого, убил другой чужой человек, такой же дурак? Ведь этак надо умирать от горя всякий раз, как пробегаешь столбцы ежедневной газеты с описанием убийств.

— Ну, это не совсем одно и то же, — возразил я.

— Ничего, вы привыкнете, — проговорила она весело и снова взялась за шитье.

Я спросил ее, читала ли она «Корабль душ» Муди. Она не читала. Я продолжал исследование. Оказалось, что ей нравится Браунинг, в особенности «Кольцо и книга». Это характерно для нее. Ей нравится только здоровая литература, только такая, которая позволяет нам тешить себя иллюзиями, самообманом. Так, например, мое упоминание о Шопенгауэре вызвало у нее только смех. Все философы пессимизма кажутся ей смешными. Ее красная кровь не позволяет ей принимать их всерьез. Чтобы испытать ее, я передал ей разговор, бывший у меня с де Кассером незадолго до моего отъезда из Нью-Йорка. Де Кассер, проследив философическую генеалогию Жюль де Готье вплоть до Шопенгауэра и Ницше, заключил предложением, что из двух формул двух последних философов де Готье построил третью, даже более глубокую формулу. «Воля к жизни» одного и «воля к власти» другого являются, по его мнению, только частями высшей, обобщающей формулы де Готье, а именно — «воли к иллюзии».

Я льщу себя надеждой, что сам де Кассер остался бы доволен моей передачей его аргументации. А когда я кончил, мисс Уэст быстро спросила:

— А разве не бывает, и даже очень часто, что философы-реалисты обманывают себя собственными фразами совершенно так же, как обманываем себя мы, простые смертные, теми иллюзиями, в которых нам и в голову не приходит сомневаться?

Вот к чему привела моя философия! Обыкновенная молодая женщина, никогда не утруждавшая своих мозгов философскими проблемами, в первый раз слышит о таких высоких материях и тотчас же со смехом отмахивается их прочь. Я убежден, что де Кассер согласился бы с ней.

— Верите вы в Бога? — спросил я довольно неожиданно.

Она уронила на колени работу, задумчиво посмотрела на меня, потом перевела глаза на сверкающее море и на лазурный небосвод. И наконец, с истинно женской уклончивостью, ответила:

— Отец мой верит.

— А вы? — не отставал я.

— Право, не знаю. Я никогда не ломаю головы над такими вещами. Я верила, когда была ребенком. А теперь... Впрочем, я, кажется, и теперь верю в Бога, временами совсем даже не думая об этом, я верю, что все устроено к лучшему, и вера моя в такие минуты так же сильна, как вера этого вашего друга-еврея в рассуждения философов. Надо думать, что в конце концов все сводится к вере. Но зачем мучить себя?



— Я отлично знаю, мистер Патгерст, что вы считаете меня бессердечной.
Но, это не то, это... это, вероятно, море.
И кроме того, я ведь не знала этого человека.

— А-а, теперь я знаю, кто вы, мисс Уэст! — воскликнул я. — Вы истинная дочь Иродиады.

— Это как-то некрасиво звучит, — промолвила она с милой гримаской.

— Да оно и на самом деле некрасиво, — подхватил я. — Тем не менее оно верно. Есть такая поэма Артура Симонса — «Дочери Иродиады». Когда-нибудь я вам ее прочту и посмотрю, что вы скажете. Я знаю, вы скажете, что вы тоже часто смотрели на звезды.

Потом мы заговорили о музыке. У нее весьма солидные познания в этой области. Но только что она начала было: «Дебюсси и его школа не особенно прельщают меня», — как послышался отчаянный визг Поссума.

Щенок пробежал вперед до средней рубки, где он, очевидно, пробовал знакомиться с цыплятами, когда с ним случилась беда. Он взвизгнул так пронзительно, что мы оба вскочили. Теперь он со всех ног мчался к нам по мостику, не переставая визжать и поминутно оборачиваясь в сторону курятника.

Я ласково окликнул его и протянул было к нему руку, но в благодарность он только щелкнул зубами, цапнул меня за руку и помчался дальше. Задрав голову, он, не глядя, летел прямо вдоль кормы. Прежде чем я успел сообразить, что ему грозит опасность упасть в море, мисс Уэст и мистер Пайк уже пустились вдогонку за ним. Мистер Пайк был ближе к нему. Гигантским прыжком он очутился у борта как раз вовремя, чтобы перехватить щенка, который слепо летел все вперед и непременно полетел бы в воду. Ловким толчком ноги мистер Пайк отбросил его в сторону, и он, перекувырнувшись, покатился по палубе. Завизжав еще громче, он вскочил на ноги и, шатаясь, направился к противоположным перилам.

— Не трогайте его! — закричал мистер Пайк, когда мисс Уэст нагнулась было, чтобы схватить обезумевшее животное. — Не трогайте! У него припадок.

Но это не остановило ее. Щенок был уже под перилами, когда она поймала его.

Она держала его на весу в вытянутой руке, он лаял и выл, и изо рта у него шла пена.

— Да, это припадок, — сказал мистер Пайк, когда ослабевший зверек уже лежал на палубе, судорожно подергиваясь.

— Может быть, его клюнула курица, — сказала мисс Уэст. — Принесите-ка ведро воды.

— Позвольте, я возьму его, — вызвался я со своими услугами, довольно, впрочем, нерешительно, так как не имел ни малейшего понятия о собачьих припадках.

— Нет, вы не беспокойтесь, я позабочусь о нем, — сказала мисс Уэст. — Холодная вода ему поможет. Наверное, он слишком близко подошел к курятнику, курица клюнула его в нос и от испуга с ним сделался припадок.

— Никогда не слыхал, чтобы у собак делались припадки от испуга, — заметил мистер Пайк, поливая водой Поссума под руководством мисс Уэст. —

Это просто обыкновенный припадок, какие часто бывают у щенят, особенно в море.

— А я думаю, не парусов ли он испугался, — предложил я свое объяснение. — Я заметил, что он боится парусов. Всякий раз, как они захлопают, он сперва присядет в ужасе, а потом пустится бежать. Заметили вы, как на бегу он все время оборачивался?

— У собак бывают припадки и тогда, когда им нет никаких причин пугаться, — стоял на своем мистер Пайк.

— Отчего бы это ни случилось, а у него припадок, — заключила прения мисс Уэст. — А это значит, что его неправильно кормят. С этих пор я буду кормить его сама. Передайте это вашему Ваде, мистер Паттерст. Пусть никто ничего не дает ему без моего разрешения.

В эту минуту показался Вада с маленьким ящиком, в котором Поссум спал, и они с мисс Уэст приготовились нести его вниз.

— Это был подвиг с вашей стороны, мисс Уэст, положительно подвиг, — сказал я ей. — Я не буду даже пытаться вас благодарить. Но знаете что: берите Поссума себе. Теперь это ваша собака.

Она засмеялась и покачала головой, проходя в дверь рубки, которую я открыл перед ней.

— Нет, не надо; но я буду заботиться о нем вместо вас. Пожалуйста, не трудитесь спускаться. Это уж мое дело, а вы будете только мешать. Мне поможет Вада.

Меня самого удивило, когда, вернувшись на свое место и усевшись в кресло, я почувствовал, до чего меня взволновал этот маленький эпизод. Я припомнил, что у меня от волнения усиленно забилося сердце. И теперь, когда я, прислонившись к спинке кресла и закулив сигару, уже спокойно думал об этом, передо мной живо предстала вся необычайная картина нашего плавания. Мы с мисс Уэст философствуем и рассуждаем об искусстве; капитан Уэст мечтает о своем далеком доме; мистер Пайк и мистер Меллэр отбывают свои вахты и рычат на матросов; люди-рабы выбирают канаты; Поссум катается в припадке; Энди Фэй и Муллиган Джэкобс пылают неугасимой ненавистью ко всему живому; миниатюрный полукитаец стряпает на всю братию; Сендри Байерс без усталости подтягивает свой живот; О'Сюлливан бредит в душной стальной каюте средней рубки; Чарльз Дэвис лежит над ним, держа наготове свайку, а Христиан Иесперсен ушел на дно морское с мешком в ногах и остался на много миль позади.

ГЛАВА XVII

Сегодня две недели, как мы вышли в море. Море спокойное, по небу плывут легкие облачка, и мы плавно скользим со скоростью восемь узлов, подгоняемые легким восточным ветром. Капитан Уэст почти уверен, что мы попали в полосу северо-восточного пассата. И еще я узнал, что «Эльсинора», чтобы

не наткнуться на мыс Сан-Рок у берегов Бразилии, должна сначала держать курс на восток почти что к берегам Африки. На этом переходе нам встретятся острова мыса Верде. Не удивительно, что путь от Балтимора до Сизтла определяется в восемнадцать тысяч миль.

Поднявшись сегодня утром на палубу, я застал у штурвала грека Тони. По-видимому, он в здравом уме: на мое приветствие он очень вежливо снял шапку. Больные быстро поправляются — все, кроме Чарльза Дэвиса и О'Сюлливана. О'Сюлливан все еще привязан к койке, а Дэвиса мистер Пайк заставил ухаживать за ним. В результате Дэвис разгуливает по палубе, приносит с кубрика воду и еду для больного и всем и каждому рассказывает о своих обидах.

Вада рассказал мне сегодня престранную вещь. По-видимому, он, буфетчик и оба парусника собираются по вечерам в каюте повара — все пятеро азиаты — и занимаются пересудами домашних дел судна. Им, кажется, решительно все известно, и все это Вада передает мне. Сегодня он мне рассказал о странном поведении мистера Меллэра. Они там обсуждали этот вопрос и решительно не одобряют близости мистера Меллэра с теми тремя хулиганами на баке.

— Да нет же, Вада, не такой он человек, — сказал я, выслушав его. — Он даже груб с матросами. Он обращается с ними, как с собаками, ты же сам знаешь.

— Да, — согласился Вада, — но только не с этими, а с другими. С этими тремя он дружит, а они очень дурные люди. Луи говорит, что место второго помощника — на юте, так же, как и первого помощника и капитана. Не годится второму помощнику водить дружбу с матросами. Нехорошо это для судна. Быть беде — вот увидите. Луи говорит, мистер Меллэр с ума сошел, что вздумал выкидывать такие глупые шутки. Все это побудило меня навести справки. Оказывается, что эти проходимцы — Кид Твист, Нози Мерфи и Берт Райн — сделались какими-то царьками на баке. Они крепко держатся друг за друга, и общими силами установили царство террора и командуют всем баком. Нью-йоркский их опыт, когда они помыкали скотоподобными и слабосильными членами своей шайки, теперь им пригодился. Насколько я мог понять из рассказа Вады, они прежде всего принялись за двух итальянцев, — за Гвидо Бомбини и за Мике Циприани, состоящих в общей с ними смене. Как они этого достигли — я не знаю, но этих двух несчастных они довели до состояния бессловесных, трепещущих перед ними рабов. Да вот хороший пример: вчера ночью, как гласит судовая молва, Берт Райн заставил Бомбини подняться с постели и принести ему напиток.

Исаак Шанц тоже у них под началом, хотя с ним они обращаются лучше. А Герман Лункенгеймер, добродушный, но глуповатый немец, получил от этой милой троицы здоровую трепку за то, что отказался выстирать грязное белье Нози Мерфи. Оба боцмана до смерти боятся этой клики, а она все разрастается: в нее приняты новые члены — Стив Робертс, бывший ковбой, и Артур Дикон, торговец белыми рабами.

На юте я один получаю эти сведения и, признаться, недоумеваю, что мне с ними делать. Мистер Пайк, я знаю, посоветовал бы мне не путаться в чужие дела. О мистере Меллэре не может быть и речи. Для капитана Уэста команда не существует. А мисс Уэст, боюсь, только посмеется надо мной за все мои труды. Да, кроме того, я ведь и сам понимаю, что на каждом судне среди команды всегда найдется какой-нибудь грубый буян или кучка буянов, захватчиков власти, так что, строго говоря, это уж дело команды, не касающееся старшего персонала судна. Работа на судне идет своим порядком. Единственным последствием этой мелкой тирании, по моим соображениям, может быть только то, что еще горше станет жизнь тех несчастных, которым приходится ее терпеть.

Ах да, Вада рассказал мне еще вот что. Эта подлая клика присвоила себе привилегию выбирать лучшие куски солонины из общего котла, так что всем остальным достаются остатки. Но я должен сказать, что, вопреки моим ожиданиям, на «Эльсиноре» по части питания дело поставлено хорошо. Еду дают не порциями; люди едят сколько хотят. На баке всегда стоит открытый бочонок хороших сухарей. Три раза в неделю Луи печет свежий хлеб для команды. Стол, конечно, не изысканный, но разнообразный. Вода для питья дается в неограниченном количестве. И я могу засвидетельствовать, что с тех пор, как настала хорошая погода, люди поправляются с каждым днем.

Поссум совсем болен. Он с каждым днем худеет. Его нельзя даже назвать ходячим скелетом, потому что он так слаб, что не может ходить. В эти чудные теплые дни, по приказанию мисс Уэст, Вада ежедневно выносит его в ящике на палубу и ставит под тентом в каком-нибудь уголке, защищенном от ветра. Она окончательно взяла щенка на свое попечение; по ночам он даже спит в ее каюте. Вчера я застал ее в капитанской рубке за чтением медицинских книг из библиотеки «Эльсиноры». А потом я видел, как она рылась в походной аптечке. Да, она типичная человеческая самка, дающая жизнь и охраняющая жизнь рода. Все ее инстинкты, все стремления направлены на охранение жизни — своей и чужой.

А между тем — и это так любопытно, что я не могу не думать об этом — она не проявляет ни малейшего интереса к больным и раненым матросам. Для нее они — скот, даже хуже скота. Я представлял себе, что, как дающая жизнь и охранительница рода, она должна бы быть чем-то вроде благодетельной феи, регулярно посещающей кошмарное помещение лазарета в средней рубке, наделяющей больных кашей, вносящей солнечный свет в эту душную каюту со стальными стенами и даже раздающей больным душеспасительные книги. Но нет: для нее, как и для ее отца, эти несчастные не существуют. А с другой стороны, когда буфетчик засадил себе под ноготь занозу, она приняла это близко к сердцу, вооружилась щипчиками и вытащила занозу. «Эльсинора» напоминает мне рабовладельческую плантацию до войны за освобождение рабов, и мисс Уэст — владелица плантации, интересующаяся только домашними рабами. Невольники, работающие в поле, не входят в круг ее интересов, а матросы «Эль-

синоры» как раз такие рабы. Да вот еще пример: несколько дней тому назад у Вады была жестокая головная боль, и мисс Уэст очень тревожилась и лечила его аспирином. Вероятно, все эти странности объясняются ее морским воспитанием. Море — суровая школа.

Теперь, в хорошую погоду, во время второй вечерней вахты мы через день слушаем граммофон. В другие вечера мистер Пайк дежурит на палубе. Но когда он свободен, то уже за обедом начинает проявлять плохо сдерживаемое нетерпение. И однако всякий раз он неукоснительно дожидается, чтобы мы спросили, не угостит ли он нас музыкой. Тогда его деревянное лицо озаряется внутренним светом, хотя глубокие складки на нем и не разглаживаются, и, стараясь скрыть свой восторг, он ворчливо, как будто нехотя, отвечает, что, пожалуй, для нескольких вещей найдется время. Итак, через день мы по вечерам наблюдаем, как этот истязатель, этот убийца с ободранными суставами пальцев и с руками гориллы, нежно очищает щеточкой своих любимцев — пластинки, предвкушая ожидаемое наслаждение музыкой и, как он сказал мне в начале нашего плавания, в такие минуты веруя в Бога.

Странные противоречия представляет жизнь на «Эльсиноре». Хоть мне и кажется, что я живу здесь долгие годы, до такой степени я вошел во все интересы нашего маленького кружка, но, сознаюсь, я не мог ориентироваться в этой жизни. Мысль моя постепенно перебегает от непонятного к понятному — от капитана Самурая с чудным голосом архангела Гавриила, звучащем только при раскатах бури, к забитому, слабоумному фавну с блестящими, прозрачными, страдальческими глазами; от трех негодяев, терроризирующих команду и сманивающих в свою шайку второго помощника, к безумно бормочущему, закупоренному в душной норе со стальными стенами О'Сюливану; от надоевшего всем своими жалобами Дэвиса, не расстающегося со свайкой, к Христиану Иесперсену, затерянному где-то среди беспредельного простора океана с мешком угля в ногах. В такие минуты жизнь на «Эльсиноре» кажется мне такой же нереальной, какой представляется философу жизнь вообще.

Я — философ. Следовательно, для меня жизнь «Эльсиноры» нереальна. Но кажется ли она нереальной господам Пайку или Меллэру? Или тем идиотам и сумасшедшим и всему бессмысленному стаду на баке? Мне невольно вспоминаются слова де Кассера. Как-то сидели мы с ним у Мукена за бутылкой вина, и он сказал: «Глубочайший инстинкт человека — борьба с правдой, то есть с реальным. С самого детства человек уклоняется от фактов. Жизнь его — вечное уклонение. Чудо, химера, „завтра“, „на той неделе“ — вот чем он живет. Он питается фикцией, мифами... Только ложь делает его свободным. Одним животным дана привилегия приподнимать покрывало Изиды¹; люди не смеют. Животное, в состоянии бодрствования, не может убежать от действительности,

¹ Изида — египетская, а затем и греческая богиня женского плодородия — считалась великой волшебницей, знающей сокровенные вещи и хранящей тайны.

потому что у него нет воображения. Человек, даже когда бодрствует, бывает вынужден искать спасения в надежде, в вере, в басне, в искусстве, в Боге, в социализме, в бессмертии, в алкоголе, в любви. Он убегает от Медузы-Истины и вызывает за помощью к Майе-Лжи¹.

Бен должен согласиться, что я цитирую его добросовестно. И вот я прихожу к заключению, что для рабов «Эльсиноры» действительно есть действительность, потому что они убегают от нее в область фикции. Все до одного они твердо верят, что их действиями управляет их свободная воля. Для меня же действительность нереальна потому, что я сорвал все покрывала фикции и мифов. Когда-то обуревавшее меня желание убежать от действительности, превратив меня в философа, накрепко привязало этим к колесу реального. Я, сверхреалист, оказываюсь единственным отрицателем реальной жизни на «Эльсиноре». И потому-то я, глубже других обитателей «Эльсиноры» проникший в корень вещей, во всех проявлениях ее жизни вижу только фантасмагорию.

Парадоксы? Пусть так, готов допустить. Все глубокие мыслители тонут в море противоречий. Но вся остальная публика «Эльсиноры», плавающая на поверхности этого моря, не тонет, право только потому, что не представляет себе, как оно глубоко. Воображаю, какой практичный, безапелляционный приговор вынесла бы мне мисс Уэст за такие мои рассуждения. Что же, строго говоря, слова вообще ловушки. Я не знаю, что я знаю, и думаю ли я то, что думаю...

Но вот что я знаю: я не могу ориентироваться. Я — самая безумная, самая затерявшаяся в противоречиях душа на борту «Эльсиноры». Возьмите мисс Уэст. Я начинаю восхищаться ею, — почему? — и сам не знаю, разве только потому, что она так возмутительно здорова. А между тем именно ее здоровье, это отсутствие в ней всякого намека на вырождение мешает ей подняться выше посредственности... хотя бы, например, в музыке.

Много раз за это время я спускался в каюту послушать ее игру. Пианино хорошее, и видно, что у нее были хорошие учителя. К моему удивлению, я узнал, что она имеет ученую степень Бриана Моура, и что отец ее много лет назад тоже получил ученую степень от старика Баудуина. И все-таки ее игре чего-то не хватает.

Удар у нее мастерский. У нее твердость и сила мужской игры, и притом без всякой резкости, — сила и уверенность, которых недостает большинству женщин (некоторые женщины сами это осознают). Ни одной ошибки она себе не прощает и повторяет пассаж до тех пор, пока не преодолеет всех его трудностей. И преодолевает она их очень быстро.

¹ Медуза-Истина — образное выражение, означающее, что истина может показаться такой же страшной, как змееволосая Горгона Медуза — мифическое существо, от взгляда которой люди превращались в камень. А ложь сравнивается с Майей, — прекрасной и обольстительной индусской богиней, олицетворяющей обольщения и иллюзии жизни.

Есть в ее игре и темперамент, но нет чувства, нет огня. Когда она играет Шопена, она прекрасно передает всю определенность, всю отчетливость его мелодий. Она вполне овладела техникой Шопена. Но никогда не воспаряет она на те высоты, где витает Шопен. Впрочем, для полноты исполнения ей не хватает очень немногого.

Мне нравится ее исполнение Брамса, и по моей просьбе она несколько раз проиграла мне его «Три рапсодии». Лучше всего выходит у нее третье интермеццо: тут она, можно сказать, на высоте.

— Вот вы заговорили как-то о Дебюсси, — сказала она однажды. — У меня есть тут некоторые его вещи. Но мне он не нравится. Я не понимаю его и думаю, что бесполезно и пытаться понять. По-моему, это не настоящая музыка. Она меня не захватывает, или, может быть, я просто не умею ее оценить.

— Однако вы любите Мак-Доуэлла, — заметил я.

— Д-да, — согласилась она неохотно, — мне нравится его «Идиллии Новой Англии» и «Сказки у домашнего очага». Мне нравятся и некоторые вещи этого финна Сибелиуса, хотя на мой вкус — не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, — слишком уж они нежны, слишком красивы, сладки до приторности.

Как жаль, подумал я, что с этой мужественной, сильной игрой она не понимает глубины музыки. Когда-нибудь я выведаю от нее, что говорят ей Бетховен и Шопен. Она не читала «Вагнеристки» Шоу и даже не слыхала о «Деле Вагнера» Ницше. Она любит Моцарта и старика Боккерини и Леонардо Лео. Очень ценит Шумана, в особенности его «Лесные картины». Его «Мотыльков» она играет блестяще. Я пробовал закрыть глаза, и тогда готов был бы поклясться, что по клавишам бегают пальцы мужчины.

И все же, должен сказать, ее игра, когда долго ее слушаешь, действует на нервы. Все время ждешь чего-то и обманываешься в ожидании. Все кажется — вот-вот сейчас она поднимется на вершину, и всякий раз она чуть-чуть не доходит до нее. Всякий раз, когда я уже предвкушаю достижение кульминационной точки озарения, мне преподносят совершенство техники. Она холодна. Она и должна быть холодна... Или, быть может, — и такое объяснение заслуживает внимания — или она просто слишком здорова.

Непременно прочту ей «Дочерей Иродиады».

ГЛАВА XVIII

Бывало ли еще когда-нибудь подобное плавание? Сегодня утром, поднявшись на палубу, я никого не застал у штурвала. Картина была потрясающая: огромная «Эльсинора», на всех парусах, начиная с бизани и кончая триселями, при попутном ветре скользит по гладкой поверхности моря, и никто не правит рулем.

Никого не оказалось и на юте. Была вахта мистера Пайка, и я пошел вдоль мостика, разыскивая его. Он стоял у люка номер один, делая какие-то указания парусникам. Я выждал минуту, и когда он поднял на меня глаза, поздоровался с ним и спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто из людей стоит сейчас на руле?

— Кто? Тони стоит, тот сумасшедший грек, — помните?

— Ну, так держу пари — месячное жалование за фунт табаку, — что там его нет, — сказал я.

Мистер Пайк быстро взглянул на меня.

— Так кто же на руле?

— Никого.

Его словно ветром подхватило: мистер Пайк начал действовать. Куда девалось старческое шарканье его огромных ног! Его массивная фигура понеслась по палубе с такой быстротой, что ни один человек на борту «Эльсиноры» не перегнал бы его, да, я думаю, немногие и догнали бы. Он взбежал на кормовую лестницу, шагая через три ступеньки, и скрылся за рубкой в направлении штурвала.

Вслед за тем раздался его оглушительный лай: он выкрикнул какое-то приказание, и вся смена бросилась ослаблять брасы на правом борту и натягивать брасы на левом. Мне был уже знаком этот маневр: мистер Пайк поворачивал судно на другой галс.

Когда я возвращался по мостику на ют, из каюты выскочили мистер Меллэр и плотник. Их, очевидно, потревожили за завтраком, так как оба вытирали рты. Тут подошел и мистер Пайк. Он дал инструкции второму помощнику, который тотчас прошел вперед, а плотнику приказал стать на руле.

Дождавшись, чтобы «Эльсинора» сделала полный поворот, мистер Пайк провел ее обратно на некоторое расстояние. Внимательно осмотрев в бинокль поверхность моря, он опустил бинокль и указал мне на открытый люк, служивший входом в большую заднюю каюту: трап исчез.

— Должно быть, этот идиот захватил его с собой, — сказал мистер Пайк.

Из рубки вышел капитан Уэст. Он, как всегда, поздоровался — очень учтиво со мной и сухо-официально с помощником — и направился к штурвалу. Там он остановился, взглянул на нактоуз и не спеша пошел обратно на корму. Дойдя до нас, он добрых две минуты молчал, прежде чем заговорил.

— Что тут случилось, мистер Пайк? Человек упал за борт?

— Так точно, сэр, — ответил мистер Пайк.

— И взял с собой трап от лазарета?

— Да, сэр. Это тот самый грек, который бросился в воду в Балтиморе.

Дело, очевидно, было не настолько серьезно, чтобы стоило принимать на себя роль Самурая. Капитан Уэст закурил сигару и принялся опять ходить. И однако он ничего не пропустил: он заметил даже исчезновение трапа. Мистер Пайк послал по одному матросу на каждую рею, с приказанием смотреть, не видно ли где-нибудь плывущего человека. Между тем «Эльси-

нора» продолжала спокойно скользить вперед. На палубу вышла мисс Уэст и, остановившись возле меня, тоже оглядывала поверхность моря, пока я ей рассказывал то небольшое, что знал. Она не проявляла никакого волнения и даже успокаивала меня, уверяя, что самоубийцы такого типа, как этот грек, очень редко тонут.

— Припадок сумасшествия находит на них всегда в хорошую погоду, когда им не грозит опасность утонуть, — говорила она, улыбаясь, — когда можно спустить шлюпку, или когда поблизости виднеется буксирный пароход. А иногда они даже запасаются спасательным кругом или хоть деревянной лестницей, как сделал этот грек.

Через час мистер Пайк снова повернул «Эльсинору» и взял тот курс, который она должна была держать в то время, когда Тони бросился в воду. Капитан Уэст все еще ходил и курил, а мисс Уэст успела сбежать вниз и отдать Ваде дополнительные распоряжения насчет Поссума. К штурвалу поставили Энди Фэя, а плотник отправился доканчивать свой завтрак.

Все это поражало меня своею грубой бесчувственностью. Никто не волновался за человека, одиноко боровшегося с волнами среди безбрежной пустыни океана. Тем не менее я должен был признать, что для его спасения делалось все возможное. Из моего короткого разговора с мистером Пайком я убедился, что он по-своему все-таки огорчен: он не любил, чтобы работа на судне прерывалась такими сюрпризами.

Точка зрения мистера Меллэра была иная.

— У нас и так не хватает рабочих рук, — сказал он мне, вернувшись на ют. — Мы не можем позволить себе роскошь терять людей, хотя бы даже сумасшедших. Этот человек нам нужен. В свои здоровые часы он — хороший матрос.

В эту минуту послышался крик с бизань-реи. Мальтийский кокни первым увидел в море человека и крикнул об этом вниз. Старший помощник посмотрел в бинокль в подветренную сторону и вдруг опустил бинокль, протер глаза в недоумении и снова стал смотреть. Тогда мисс Уэст взяла другой бинокль, взглянула, вскрикнула от удивления и расхохоталась.

— Что это такое, по-вашему, мисс Уэст? — спросил ее мистер Пайк.

— Он не в воде: он плавает стоямя.

Мистер Пайк кивнул утвердительно.

— Да, да, он стоит на лестнице. Я и забыл, что лестница при нем. В первую минуту я так ошалел, что не сообразил, в чем дело. — Он повернулся ко второму помощнику. — Мистер Меллэр, спустите вельбот и соберите людей, пока я тут управляюсь с грот-реей. Я сам буду править рулем. Да подберите таких из команды, которые умеют грести.

— Поезжайте с ними, — сказала мне мисс Уэст. — Вот вам хороший случай посмотреть снаружи на «Эльсинору», когда она идет под всеми парусами.

Мистер Пайк кивнул мне в знак согласия, и я спустился в лодку и сел рядом с ним на корме. Он правил рулем, а шесть матросов гребли, быстро

приближаясь к самоубийце, так нелепо стоявшему на воде. Мальтийский кокни был загребным¹, а в числе остальных пяти гребцов был норвежец Дитман Олансен (я только недавно узнал, как его зовут). Он состоит в смене мистер Меллэра, и мистер Меллэр сказал мне про него: «Хороший моряк, но с норовом». И когда я спросил, что он хочет этим сказать, он объяснил, что на этого человека из-за всякого пустяка находят приступы слепой ярости, и невозможно предугадать, когда на него это найдет. Насколько я могу судить, Дитман Олансен страдает истерией. А между тем, глядя, как правильно он работал веслом и как спокойно смотрели при этом его светло-голубые, большие, почти бычьи глаза, я говорил себе, что это последний человек в мире, про которого можно было бы подумать, что с ним бывают истерические припадки.

Мы быстро приближались к сумасшедшему греку. Но как только мы подошли к нему вплотную, он начал угрожающе кричать на нас и размахивать ножом. Под тяжестью его тела лестница опустилась, — и он стоял в воде по колено и балансировал на этой плавучей подставке, дико изгибаясь и вскидывая вверх руки. На его лицо, гримасничавшее, как лицо обезьяны, не слишком-то приятно было смотреть. «Однако спасти этого субъекта нелегкая задача», — подумал я, видя, что он продолжает яростно грозить нам ножом. Но я забыл, что в такого рода делах можно смело положиться на мистера Пайка. Он вытащил подножку из-под ног мальтийского кокни и положил ее возле себя, чтобы она была под рукой, потом повернул лодку кормой к сумасшедшему. Ловко увертываясь от ножа, он выжидал, и когда набежавшей волной лодку приподняло, а Тони на своей подставке опустился в образовавшийся провал, для дальнейших действий настал удобный момент. Тут я еще раз имел случай полюбоваться тем молниеносным проворством, с каким этот старый шестидесятидевятилетний человек умел управлять своим телом. Точно рассчитанным, быстрым ударом подножка тяжело опустилась на голову сумасшедшего. Нож упал в воду, и Тони, потеряв сознание, последовал за ним. Мистер Пайк выудил его без всякого видимого усилия и бросил к моим ногам на дно лодки.

В следующий момент люди уже работали веслами, и мистер Пайк правил обратно к «Эльсиноре». Здоровым ударом угостил он бедного грека! Из его рассеченного черепа по мокрым, слипшимся волосам текли струйки крови. В ошеломлении смотрел я на эту кучу бесчувственного мяса, с которой к моим ногам стекала морская вода. Человек, который только что был олицетворенной жизнью и движением и вызывал на бой вселенную, вдруг в одно мгновение стал неподвижным и погрузился в беспросветную пустоту смерти. Любопытный объект наблюдения для философа. А в данном случае все это было проделано так просто, с помощью деревянного бруса, резким движением приведенного в соприкосновение с черепом.

¹ Загребной — первый от кормы гребец.

Если грека Тони можно считать явлением, то чем был он теперь? Исчезновением? И если так, то куда он исчез? И откуда появится он вновь, чтобы занять это тело, когда то, что мы зовем сознанием, вернется к нему? Психологи не сказали не только последнего, но даже и первого слова в ответ на вопрос, что такое личность и сознание.

Размышляя на эту тему, я случайно поднял глаза и был поражен великолепной картиной, которую представляла «Эльсинора». Я так долго был в море и на борту «Эльсиноры», что совсем позабыл, в какой она окрашена цвет. Ее белый корпус так глубоко сидел в воде и казался таким нежным и хрупким, что в высоких, уходящих в небо мачтах и реях с огромными полотнищами распушенных парусов было что-то нелепое, невозможное, чувствовалась какая-то дерзкая насмешка над законами тяготения. Нужно было сделать усилие, чтобы представить себе, что этот изящно изогнутый корпус вмещает в себя и несет над морским дном пять тысяч тонн угля. И каким-то чудом казалось, что муравьи-люди изобрели и построили такое удивительное, величественное сооружение, не боящееся стихий муравьи-люди, в большинстве такие же слабоумные, как этот грек, лежавший у моих ног, и которых, как и его, ничего не стоило пришить простой деревяшкой.

У Тони заклокотало в горле, потом он откашлялся и застонал. Он возвращался из неведомых стран. Я заметил, как мистер Пайк бросил на него быстрый взгляд, как будто опасаясь повторного приступа бешенства, который мог потребовать повторного лечения подножкой. Но Тони только широко раскрыл свои большие черные глаза, с минуту поглядел на меня с бессознательным удивлением и снова опустил веки.

— Что вы думаете делать с ним? — спросил я мистера Пайка.

— Опять поставлю на работу, — был ответ. — На это он годится, — с ним ведь ничего не случилось. Надо же кому-нибудь провести судно вокруг мыса Горн.

Когда мы поднялись на борт «Эльсиноры», мисс Уэст уже не было на палубе: она сошла вниз. В командной рубке капитан Уэст проверял хронометры. Мистер Меллэр тоже спустился в свою каюту, чтобы вздремнуть часа два перед своей полуденной вахтой. Кстати, я забыл сказать: мистер Меллэр спит не в кормовых каютах. Он занимает в средней рубке общую каюту с Нанси из смены мистера Пайка.

Никто не проявил сочувствия к несчастному греку. Его свалили на крышу люка номер два, как какую-нибудь падаль, и оставили там без надзора, предоставив ему прийти в сознание, когда ему вздумается. Да и сам я так свыкся с здешними нравами, что, признаться, не испытывал никакой жалости к этому человеку. Перед глазами у меня все еще стояло чудесное видение — красавица «Эльсинора».

В море черствеешь.



Как только мы подошли к нему вплотную, он начал



угрожающе кричать на нас и размахивать ножом.

ГЛАВА XIX

Мы не боимся пассатных ветров. Вот уже несколько дней, как мы идем, подгоняемые северо-восточным пассатом, и мили убегают назад, а патентованный лаг вертится и позвякивает у бак-борта. Вчера лаг и наблюдения определили наш пробег в двести пятьдесят две мили, третьего дня мы прошли двести сорок миль, а еще днем раньше — двести шестьдесят одну. Но сила ветра не чувствуется. Воздух ароматичен и бодрит, как вино. Я с наслаждением дышу полной грудью и всеми порами тела. И ветер не холодный. В любой час ночи, когда в каюте все спят, я отрываюсь от книги и выхожу на палубу в тончайшей пижаме.

Я не имел понятия о пассатных ветрах. Теперь я упиваюсь ими. По часу и более шагаю я по мостику с тем из помощников, который в это время на вахте. Мистер Меллэр всегда выходит одетый, а мистер Пайк в эти чудные ночи на первую свою ночную вахту является в пижаме. Поразительно, до чего он мускулист. Когда я смотрю на его фигуру, обтянутую, как тонким трико, надетой на голое тело фуфайкой, и на его выступающие под ней массивные кости и богатырские мускулы, я не верю, что ему шестьдесят девять лет. Великолепная фигура мужчины! Нельзя даже представить себе, кем он был во дни цветущей молодости, лет сорок или больше назад.

Заполненные рутиной, без всяких изменений, дни проходят как во сне. Здесь, где время строго размерено и отмечается только сменой вахт, где звон склянок на юте и на баке напоминает о каждом канувшем в вечность часе и получасе, время перестает существовать. Дни бегут за днями, недели за неделями, и по крайней мере я лично никогда не помню, ни какой у нас день недели, ни которое число.

На «Эльсиноре» никогда не бывает, чтобы все спали. День и ночь стоят люди на вахте, караульный на носу, рулевой у штурвала и офицер на мостике. Я лежу в своей каюте на подветренной стороне судна и читаю, и во все долгие часы ночи над моей головой раздаются шаги то одного, то другого помощника, и я отлично знаю, что он, стоя на юте, или смотрит вперед, или идет взглянуть на нактоуз, или подставляет щеку ветру, чтобы определить его силу и направление, или следит за бегущими по небу облаками. Всегда, всегда, во всякий час дня и ночи есть на «Эльсиноре» зоркие, недремлющие глаза.

Вчера ночью или, вернее, нынче утром, часов около двух, я задремал было над развернутой книгой, и был разбужен внезапно раздавшимся надо мной рычаньем мистера Пайка. По голосу я определил, что он стоит на юте у самого края, а рычал он на Ларри, стоявшего, очевидно, на главной палубе под ним. Только тогда, когда Вада подал мне завтрак, я узнал от него, что там у них произошло.

На Ларри, на этого забитого человека с приплюснутым носом, до странности плоским лицом и сердито-жалобными обезьяньими глазами, вдруг нашел злосчастный стих протеста, и он под прикрытием ночной темноты

позволил себе дерзкое замечание по адресу мистера Пайка. Но мистер Пайк, стоя наверху у края юта, безошибочно определил виновного. Тут-то и произошел первый взрыв. Тогда Ларри, полудьявол и полуребенок, окончательно разозлился и ответил ему новой дерзостью. А дальше он помнил только, что мистер Пайк налетел на него ураганом, надел на него наручники и привязал его к бизань-мачте.

Со стороны мистера Пайка это был не только удар по провинившемуся Ларри, но главным образом камень в огород Кида Твиста, Нози Мерфи и Берта Райна. Нелепо было бы думать, что старший помощник боится этих разбойников. Я сомневаюсь даже, испытывал ли он когда-нибудь страх. Это не в его натуре. Но, с другой стороны, я уверен, что он опасается больших неприятностей от этих людей и, чтобы они знали, чего можно от него ожидать, показал пример на Ларри. Ларри не мог выстоять в наручниках больше часа. К концу этого срока его звериная тупость превозмогла всякий страх, и он заорал на корму, чтобы пришли и отвязали его для честного боя. В тот же миг мистер Пайк очутился подле него с ключом от наручников. Мог ли слабосильный Ларри иметь хоть какой-нибудь шанс на победу в борьбе с этим страшным стариком! Вада мне рассказал, что помимо других увечий, он лишился двух передних зубов и на весь день был уложен на койку. В девятом часу, встретив мистера Пайка на палубе, я посмотрел на суставы его пальцев: они подтверждали показание Вады.

Мне самому смешно, с каким живым интересом я отношусь здесь к маленьким происшествиям вроде вышеописанного. Не только время, но и мир перестал существовать для меня. Странно даже подумать, что за все эти недели я не получил ни одного письма, ни одной телеграммы, ни с кем не говорил по телефону, не принимал гостей, ни разу не был в театре, не прочел ни одной газеты. Нет больше ни театров, ни газет. Все это исчезло вместе с исчезнувшим миром. Существует только «Эльсинора» с ее необычайным человеческим грузом и грузом угля, рассекающая пустыню океана с окружающим ее горизонтом, уходящим вдаль на десятки миль.

Мне вспоминается капитан Скотт, замерзший во время экспедиции к Южному полюсу. Целых десять месяцев после его смерти его считали в живых, и пока не узнали, что он умер, в представлении мира он был живым. Не все ли поэтому равно, был ли он на самом деле жив? И не все ли равно для меня здесь, на «Эльсиноре», существует или прекратилась жизнь на берегу? Не может разве быть, что зрачки наших глаз не только центр вселенной, но и сама вселенная? Вполне допустимо, что мир существует только в нашем сознании. «Мир — моя идея», — сказал Шопенгауэр. «Мир — мое изобретение», — говорил Жюль де Готье. Воображение создало действительность — вот его догма. О, я знаю, что практичная мисс Уэст назвала бы мою метафизику нездоровой, наводящей тоску игрой ума.

Сегодня на юте (мы сидели с ней рядом на наших всегдашних местах) я прочел ей «Дочерей Иродиады». Эффект поразительный — именно такой, какого

я ожидал. Пока я читал, она подрубливала тонкий полотняный носовой платок для отца. Как истая устроительница гнезда и домашнего уюта и как типичная охранительница рода, она никогда не сидит сложа руки, и у нее целая груда таких платков для отца.

Когда я прочел:

Они невинно улыбаются и пляшут,
И мысль одна, недремлющая мысль их занимает:
«Не хороша ли я? Не буду ль я любима?»
Будь терпелив: они не понимают
И будут до окончания веков плести
Тенета незаметных козней
Для уловления мужских сердец.

Когда я это прочел, она улыбнулась — как было это определить? — недоверчиво, торжествующе, и вся самоуверенная мудрость всех поколений женщин отразилась в ее продолговатых, теплых серых глазах.

— Да, это так, но ведь мир от этого только выигрывает, — сказала она.

Да, Симонс знал женщин. И она только подтвердила безошибочность его мнения, когда я прочел ей следующее великолепное место:

Нет, не поймут они, что меж землей и солнцем
Есть что-либо желаннее их собственных особ.
Им кажется, что быстрый взгляд мужчины
Был создан зеркалом для них, а не затем, чтоб видеть
Далекое, недостижимое, зловеще-роковое.
«Не нами ль все кончается? — так говорят они.
— Зачем искать чего-то, кроме нас?
Взгляни на небо. Что ты там увидишь? Звезды?
Звездами часто, и мы любовались».

— Да, это правда. Мы тоже часто смотрим на звезды, — сказала она, когда я замолчал, чтобы посмотреть, как она примет эту мысль.

Это было как раз то, чего я ожидал от нее: ведь я ей предсказывал, что она это скажет.

— Постойте, — перебил ее я. — Слушайте дальше.

И я прочел:

Изо всего прекрасного в сем мире
Мы, мы одни реальны, все остальное — сны.
Зачем же вам гоняться за мечтами,
Когда мы ждем вас, и вы можете мечтать о нас,
Наш образ воплощая в ваших грезах...

— Верно, поразительно верно, — пробормотала она, и бессознательная гордость и сознание своей силы засветились в ее глазах. — Удивительная поэма, — согласилась, нет — решительно объявила она, когда я кончил.

— Но неужели вы не видите... — начал было я, думая ее убедить, но тотчас же отказался от этой попытки.

В самом деле, как могла она, будучи женщиной, видеть «далекое, недостижимое, зловеще-роковое», когда она, как и сама с гордостью заявила, тоже часто смотрела на звезды?

Что могла она видеть кроме того, что видят все женщины, — кроме того, что лишь они одни живы и реальны, а все остальное — сны?

— Я горжусь тем, что я дочь Иродиады, — сказала она.

— Значит, мы сходимся во мнениях, — проговорил я сконфуженно. — Помните, я говорил вам как-то, что вы истинная дочь Иродиады.

— Я благодарна вам за этот комплимент, — сказала она, и в ее продолговатых серых глазах всеми красками заиграло все самодовольство, вся самоуверенность, вся снисходительность высшего существа к простым смертным, — все то, что составляет главную часть соблазнительной тайны, окружающей женщину, и ее власти над нами.

ГЛАВА XX

Как хорошо читается на корабле в хорошую погоду! Я так мало двигаюсь, что не испытываю большой потребности в сне, и здесь так мало тех помех, с какими приходится считаться на берегу, что я зачитываюсь буквально до одурения. Я рекомендовал бы путешествие по морю в любое время года всякому, кто запустил свое чтение и хочет наверстать потерянное время. Я теперь наверстываю целые годы. Это какой-то разгул, какая-то оргия чтения. Я убежден, что таким практическим деловым людям, как моряки, я должен казаться не последним чудачком.

Временами я так шалею от чтения, что бываю рад, когда что-нибудь оторвет меня от книги. Я прикажу Ваде достать мою маленькую автоматическую винтовку и попробую учиться стрелять. Я стрелял, когда был мальчишкой.

Помню, что, гуляя по полям и холмам, я вечно таскал с собой ружье. Было у меня и духовое ружье, из которого мне удавалось — правда, очень редко — убить реполова.

Корма достаточно велика для прогулок, но кресла стоят только под тенем, натянутым по обе стороны капитанской рубки и такой же ширины, как рубка. И это пространство опять-таки ограничено в зависимости от положения солнца утром и после полудня, и от свежести ветра. Таким образом место мисс Уэст и мое по большей части оказываются рядом. У капитана Уэста есть свое кресло, но оно редко бывает занято. Он так мало участвует в управлении судном и так быстро заканчивает свои ежедневные наблюдения, что почти никогда не остается подолгу в капитанской рубке. Он предпочитает проводить

время в кают-компании, но не читает и вообще ничего не делает, а только мечтает с широко открытыми глазами, сидя на сквозняке, разгуливающим между открытыми иллюминаторами и дверями.

Мисс Уэст всегда занята. Внизу, в большой задней каюте, она сама стирает свое белье. Никому не позволяет она дотронуться и до тонкого белья своего отца. В кают-компании она поставила свою швейную машину. А всей ручной швейной работой, всякими вышиваниями и изящными рукоделиями она занимается на воздухе, когда мы с ней сидим на юте в наших креслах. Она уверяет, что любит море и атмосферу судовой жизни, и, однако, она взяла с собой в плавание все свои домашние «береговые» вещи, вплоть до хорошенького чайного сервиза китайского фарфора.

Просто поразительно, до чего она — женщина и домовитая хозяйка. Она прирожденный повар. Луи с буфетчиком изобретают самые экстраординарные, изысканные блюда для капитанского стола, но мисс Уэст ухитряется в какой-нибудь один момент сделать их еще вкуснее. Она ни за что не позволит подать на стол кушанье, не обсудив его предварительно с поваром и не отведав. Соображает она быстро, и у нее безошибочный вкус и необходимая твердость в решениях. Ей стоит, кажется, только взглянуть на кушанье, кто бы ни приготовил его, и она сейчас же угадывает, чего в нем не хватает и чего переложено, и прописывает рецепт, превращающий его в нечто совершенно другое и восхитительное. И — боже ты мой — как я ем! Меня самого поражает моя невероятная обжорливость. Я положительно рад, что мисс Уэст едет с нами. Теперь я твердо знаю, что я этому рад.

Она вышла в море «с Востока», как иногда говорит она в шутку, и у нее огромный выбор вкусных, пряных восточных блюд. Луи мастерски приготовляет рис, но по части острых приправ к рису он — неумелый дилетант по сравнению с мисс Уэст. В приготовлении приправ она настоящий гений. Однако как часто наши мысли в море останавливаются на еде!..

Итак, в эти чудные дни пассатных ветров я часто и подолгу вижу мисс Уэст. Я все время читаю, и очень часто читаю ей вслух отрывки из книг и даже целые книги, чтобы узнать, какое они произведут на нее впечатление. Кроме того, такое чтение приводит к спорам, и ни разу еще не сказала она ничего такого, что изменило бы мое первоначальное мнение о ней. Она — родная дочь Иродиады.

А между тем ее нельзя назвать наивной девушкой. Она не девочка, она зрелая женщина со всей свежестью ребенка. У нее склад ума, манера держаться и апломб взрослых женщин, и все-таки никак нельзя сказать, чтобы она была хоть чуточку высокомерна. Она умна, великодушна, внимательна к людям, чутка и избыток в ней жизненности, — той жизненности, которая придает такую красоту ее движениям, ее походке, — умеряет ее кажущуюся зрелость. Иногда ее можно принять за тридцатилетнюю женщину, а иногда, когда она в веселом, смешливом настроении, я не дал бы ей и тринадцати лет. (Непременно спрощу у капитана Уэста, в котором году произошло столкновение «Дикси» с тем речным пароходом в бухте Сан-Франциско). Одним словом, мисс Уэст — самая

нормальная, самая здоровая, самая естественная женщина, какую я когда-либо встречал.

И она женственна; как бы она ни причесалась, ее волосы всегда лежат гладко и, как и все в ней, имеют аккуратный, выхоленный вид. А с другой стороны, эта неизменная заботливость о прическе и костюме умеряется свободными фасонами ее платьев. Она никогда не перестает быть женщиной. Ее пол и приманка ее пола всегда при ней. Может быть, у нее и есть высокие воротнички, но я ни разу не видал на ней такого воротничка за все наше плавание.

Все ее блузки с вырезом у горла дают возможность любоваться ее главной приманкой — мускулистой, правильной шеей с тонкой, гладкой кожей. Мне иной раз становится неловко, когда я ловлю себя на том, что заглядываюсь на эту красивую обнаженную шею и на чуть видный кусочек прекрасного, нежного, но крепкого плеча.

Визиты наши к цыплятам сделались повседневной повинностью. По меньшей мере раз в день мы совершаем путешествие по мостику на крышу средней рубки. Поссум, теперь уже выздоравливающий, сопровождает нас. Буфетчик тоже неукоснительно является туда, когда мы приходим, для получения инструкций и для доклада о кладке яиц и о поведении кур в этом отношении. В настоящее время наши сорок восемь кур приносят по две дюжины яиц в день, что очень радует мисс Уэст.

Большую часть кур она уже окрестила разными именами. Петух, конечно, носит имя Питер. Пеструю курицу зовут Долли Варден. Другую — хорошенькую, изящную курочку, которая ходит по пятам за Питером, — мисс Уэст назвала Клеопатрой. А еще одну, со сравнительно мелодичным голосом, она зовет Сарой Бернар. Я вот что заметил: когда она вдвоем с буфетчиком выносят смертный приговор какой-нибудь из кур, которая не несется (что случается регулярно раз в неделю), мисс Уэст не ест ее мяса, даже когда оно превращено в нечто неузнаваемое при помощи необычайных приправ. В такие дни она приказывает готовить для нее отдельный соус из консервов — омаров, креветок или цыплят.

Ах да, как бы не забыть! Я узнал, что внезапное ее решение ехать с нами было вызвано отнюдь не интересом к мужчине (ко мне, с вашего разрешения). Она пустилась в это плавание из-за отца. С капитаном Уэстом что-то неладно. Несколько раз я замечал, что она смотрит на него с выражением бесконечной тревоги в глазах.

Вчера за завтраком я рассказывал какую-то забавную историю, когда мой взгляд случайно упал на мисс Уэст. Ее вилка с куском мяса застыла в воздухе: с минуту она смотрела на отца. В ее глазах был страх. Она заметила, что я за ней наблюдаю, и с удивительным самообладанием, не торопясь, естественным движением опустила вилку на тарелку, не отрывая глаз от лица отца. Но я видел. Да, я подметил даже больше. Я видел, что лицо капитана Уэста стало вдруг прозрачно-бледным, что веки у него задергались и опустились, а губы беззвучно шевелились. Затем веки приподнялись, губы сжались в привычную суровую

складку, и кровь стала понемногу приливать к лицу. Казалось, он был где-то далеко и только что вернулся.

Но я все видел и разгадал ее тайну.

А между тем семь часов спустя этот самый капитан Уэст сделал выговор мистеру Пайку, унизив его гордый дух моряка. Случилось это в тот же день, во вторую ночную смену. Была темная ночь, и команда выбирала канаты на главной палубе. Я выходил из рубки, когда капитан Уэст, держа руки в карманах, скорым шагом прошел на корму мимо меня.

Вдруг со стороны бизань-мачты послышался треск, и что-то упало в воду. И в тот же миг люди попадали навзничь и покатались по палубе.

Наступило минутное молчание, затем раздался голос капитана Уэста:

— Что там у вас сломалось, мистер Пайк?

— Верхняя рея, сэр, — послышался ответ из темноты.

Новая пауза. И снова голос капитана Уэста:

— В следующий раз не забудьте первым делом ослабить снасти.

Мистер Пайк, бесспорно, превосходный моряк. Но на этот раз он проштрафился. Я теперь достаточно его знаю и легко представляю себе, как была уязвлена его гордость. Мало того, это недобрая, злопамятная, примитивная натура, и хоть он почтительно ответил: «Есть, сэр», — я предугадывал, что в ближайшие ночные его вахты подчиненные ему бедняги не замедлят почувствовать его обиду на своей спине.

Так оно и вышло. Уже сегодня утром у Джона Хаки я заметил подбитый глаз, а у Гвидо Бомбини за одну ночь раздуло щеку. Я спросил Ваду, как было дело, и он сообщил мне все, что знал. Оказывается, на палубе идет регулярный мордобой в часы ночных вахт, когда мы, обитатели юта, мирно спим. Сегодня весь день мистер Пайк ходит мрачнее тучи, больше обыкновенного рычит на людей и холодно вежлив с мисс Уэст и со мной. Когда мы с ним заговариваем, он односложно отвечает на вопросы, и выражение лица у него самое кислое. Мисс Уэст (она не знает о ночном инциденте) смеется и говорит, что у него «морской сплин», — обычное явление, с которым, по ее словам, она хорошо знакома.

Но я изучил мистера Пайка — этого упрямого, заматерелого морского волка. Пройдет дня три, прежде чем он придет в себя. Он страшно гордится своими познаниями в мореходном искусстве, и больше всего его мучит сознание, что он действительно был виноват.

ГЛАВА XXI

Сегодня, на двадцать восьмой день пути, рано утром, когда я пил кофе, мы, все еще под пассатным ветром, пересекли экватор. И это событие ознаменовалось убийством: Чарльз Дэвис убил О'Сюлливана. Бони, худой, как щепка, с дряблой физиономией юноша из смены мистера Меллэра, первый принес эту

новость. Мы с мистером Меллэром тотчас же пошли в лазарет, и вслед за нами туда вошел мистер Пайк.

Кончились невзгоды О'Сюлливана. Человек с верхней койки ударом свайки оборвал последнюю нить печальной жизни этого помешанного.

Я не пойму Чарльза Дэвиса. Он преспокойно сидел на своей койке, когда мы вошли, и прежде, чем ответить мистеру Меллэру, так же спокойно стал раскуривать свою трубку. Он, несомненно, не сумасшедший. Он хладнокровно, с заранее обдуманном намерением убил беззащитного человека.

— Почему ты это сделал? — спросил его мистер Меллэр.

— Потому, сэр, — начал Чарльз Дэвис, поднося вторую спичку к трубке, — потому... пуф, пуф... что он мешал мне спать. — Тут он поймал на себе горящий взгляд мистера Пайка. — Потому... пуф, пуф... что он мне надоел. В следующий раз... пуф, пуф... я надеюсь, прежде чем поместить кого-нибудь в одной каюте со мной, будут выбирать людей осторожнее. Да кроме того... пуф, пуф... верхняя койка мне не подходит. Мне вредно карабкаться наверх, и я... пуф, пуф... займу нижнюю койку, как только уберут О'Сюлливана.

— Да почему же все-таки ты это сделал? — зарычал мистер Пайк.

— Я уже сказал вам; сэр: потому, что он мне надоел. Мне наскучило его бормотанье, и вот нынче утром я выпустил его душу из тела. О чем вы хлопочете? Ведь человек уже мертв. И я убил его из чувства самозащиты. Я знаю законы. Какое право вы имели посадить буйного сумасшедшего со мной — больным, беспомощным человеком?

— Клянусь Богом, Дэвис, ты не дождешься своего жалованья в Сиэтле, — разразился мистер Пайк. — Убить помешанного, связанного, безобидного человека! Я тебе этого не спущу, мой голубчик. Ты полетишь за борт следом за ним.

— А вас за это повесят, сэр, — ответил Дэвис как ни в чем не бывало. Он перевел на меня спокойный взгляд. — Я прошу вас, сэр, запомнить, чем он мне грозил. Вы покажете это на суде. А что он будет висеть — это верно; если только меня спустят за борт. Я знаю все его грешки. Он боится суда. Не один раз его обвиняли в убийствах и в зверском обращении с людьми во время плавания. Я мог бы всю жизнь прожить на покое на одни только проценты с тех штрафов, которые переплатили за него владельцы судов, где он служил.

— Заткни свою глотку, пока я не свернул тебе шею! — заорал мистер Пайк, бросаясь к нему с поднятым кулаком.

Дэвис невольно отшатнулся. Плоть его была слаба, но дух бодр. Он быстро овладел собой и чиркнул новой спичкой.

— Ничего вы со мной не сделаете, сэр, — проговорил он насмешливо под грозящим ему кулаком. — Я не боюсь смерти. Двум смертям не бывать, одной не миновать, и умереть вовсе не такой уж трудный фокус. О'Сюлливан умер поразительно легко. Я, впрочем, и не собираюсь умирать. Я намерен закончить это плавание и подать в суд на владельцев «Эльсиноры», когда мы придем в Сиэтл. Я знаю законы и свои права. И у меня есть свидетели.



— Будьте свидетелем,
сэр, — прохрипел Дэвис.

Я боролся между восхищением перед смелостью этого негодяя и сочувствием к положению мистера Пайка, оскорбляемого больным человеком, которого он не мог себе позволить ударить.

Он все-таки бросился на него с рассчитанной яростью, схватил его за шею и за плечи своими корявыми лапами и беспощадно, изо всей силы тряс его с добрую минуту. Удивительно, как он не свернул ему шею.

— Будьте свидетелем, сэр, — прохрипел Дэвис, как только его отпустили. Он кашлял, давился, ощупывал свою шею и поводил ею, показывая, что она повреждена.

— Через несколько минут выступят синяки, — пробормотал он, вполне удовлетворенный, как только опомнился.

Это было слишком даже для мистера Пайка. Он повернулся и вышел, ворча себе под нос что-то бессвязное. Когда, спустя минуту, я тоже уходил, Дэвис снова набивал свою трубку и говорил мистеру Меллэру, что он вызовет его свидетелем на суд в Сизтле.

Итак, у нас уже вторые похороны в море. Мистер Пайк недоволен слишком быстрым ходом «Эльсиноры», так как, по морским традициям, только при тихом ходе судна можно приличным образом совершить церемонию похорон. Пришлось потерять несколько минут, так как спустили грот-марсель и убавили ход «Эльсиноры» на то время, пока читали молитву и опускали в воду тело с неизбежным мешком угля, привязанным к ногам.

— Надеюсь, уголь выдержит, — сердито пробурчал мистер Пайк.

И вот мы с мисс Уэст сидим на юте за накрытым столом, прихлебываем чай, занимаемся изящными рукоделиями, философствуем, рассуждаем об искусстве, а в нескольких шагах от нас, в этом маленьком плавучем мирке, разыгрывается грязная и печальная трагедия уродливой жизни. А капитан Уэст, отсутствующий, невозмутимый, сидит и грезит в полумраке каюты, обдуваемый сквозняком из открытых иллюминаторов и дверей. Нет у него ни тревоги, ни сомнений. Он верит в Бога. Все для него решено, все понятно, все хорошо устроено. Завидная ясность духа! Но я не могу забыть, каким я видел его в ту минуту, когда жизнь готова была покинуть его, когда углы его губ и веки опустились, и по лицу разлилась восковая бледность смерти. Эта картина все еще стоит у меня перед глазами.

Хотел бы я знать, кто будет следующим вышедшим из игры игроком и отправится в дальний путь с мешком угля...

— О, это пустяки, сэр, — с улыбкой сказал мистер Меллэр по поводу только что окончившихся похорон, когда мы с ним ходили по корме во время первой вахты. — Один раз я был в плавании на эмигрантском пароходе. Мы везли пятьсот человек косоглазых... то бишь китайцев. Это были китайские кули, нанмаившиеся по контракту на полевые работы и возвращавшиеся на родину, отработав свой срок.

Он помолчал, закуривая, потом продолжал.

— И вот на пароходе у нас разразилась холера. Мы спустили за борт больше трехсот человек, сэр, в том числе обоих боцманов, большую часть команды, капитана, старшего и третьего помощников, первого и третьего механиков. Когда мы пришли в порт, внизу оставались только второй помощник да один белый кочегар, и я наверху за капитана. Врачи отказались приехать на пароход. Меня заставили бросить якорь, не входя на рейд, приказали спустить умерших в море. Вот это были похороны, мистер Паттерст! Хоронили без саванов, без угля, без всякого груза. Ничего не поделаешь. Мне никто не помогал. Косоглазые, сидевшие в трюме, ни за что не хотели даже притронуться к мертвецам. Приходилось самому спускаться в трюм, подтаскивать и подвязывать трупы к стропам¹, потом взбираться на палубу и поднимать их лебедкой. После каждого такого похода я опрокидывал стаканчик, и здорово же я налился к окончанию похорон!

— И вы не заразились? — спросил я.

Мистер Меллэр молча поднял левую руку. Я еще раньше заметил, что на ней не хватало указательного пальца.

— Вот только эта беда и приключилась со мной, сэр. У одного старика была собака — фокстерьер вроде вашего. Старик умер, собачонка сильно привязалась ко мне. И вот когда я поднимал мертвое тело, эта собачонка, все время вертевшаяся у меня под ногами, вдруг подпрыгнула и лизнула мою руку. Я повернулся оттолкнуть ее и не заметил, как моя рука попала в привод, и мне оторвало палец.

¹ Стропы — веревки для вешания чего-либо.

— О, Господи, как ужасно! — вырвалось у меня. — Пройти через такое страшное испытание и вдобавок остаться без пальца!

— Да, не слишком приятно, — согласился мистер Меллэр.

— Что же вы сделали?

— Что сделал? Поднял оторванный палец, посмотрел на него, сказал: «Вот горе-то!» — и осушил еще стаканчик.

— У вас и потом не было холеры?

— Нет, сэр. Должно быть, я так пропитался алкоголем, что все холерные бациллы умирали, не успев добраться до нутра. — Он помолчал с минуту, соображая. — Откровенно говоря, мистер Паттерст, я не понимаю этой теории насчет алкоголя. Тот старик и оба помощника умерли в пьяном виде, так же, как и третий механик. А капитан был членом общества трезвости — и тоже умер.

Никогда больше не буду удивляться тому, что море сурово. Я отошел от второго помощника и стал смотреть на великолепную оснастку «Эльсиноры» и на темные изгибы парусов на фоне звездного неба.

ГЛАВА XXII

Что-то случилось. Но ни на корме, ни на баке никто, кроме заинтересованных лиц, не знает — что именно, а они ничего не говорят. Но по всему судну идет шушуканье, передаются слухи и догадки.

Я знаю только вот что: мистер Пайк получил жестокий удар по голове. Вчера я к завтраку пришел последним и, проходя за его стулом, увидел у него на голове огромную шишку. Сижу я против него, и когда я сел, то заметил, что у него какие-то мутные глаза и что они несомненно выражают страдание. Он не принимал участия в разговоре, ел через силу и минутами казался каким-то ошалелым. Было ясно, что он едва владеет собой.

Никто не смеет у него спросить, в чем дело. Про себя лично я знаю, что не решусь спросить, хотя я — пассажир, привилегированная особа. Этот страшный пережиток прошлого внушает мне почтение, граничащее с благоговением, но к которому примешивается и страх.

Судя по всем признакам, у него сотрясение мозга. Что у него что-то болит, это видно не только по его глазам и напряженному выражению лица, но по всему его поведению, когда он думает, что никто за ним не наблюдает. Вчера ночью я на минуту вышел из каюты подышать воздухом и взглянуть на звезды и стоял на главной палубе у кормы. Вдруг прямо над моей головой послышались тихие, протяжные стоны. Заинтересовавшись, я тихонько вернулся в каюту, прошел на корму через среднюю рубку и бесшумно (я был в ночных туфлях) сделал несколько шагов вперед. Стонал мистер Пайк. Он стоял, бессильно свесившись через перила и сжав руками голову, и тихо стонал, давая выход терзавшей его боли.

Шагов за десять, за двенадцать его уже не было слышно. Но, стоя у него за спиной, я хорошо слышал его подавленные стоны, такие размеренные, что их можно было принять за напев. Через определенные промежутки он приговаривал: «Ох, Боже мой! Ох, Боже мой! Ох, Боже мой!» Эта фраза повторялась раз пять, а потом снова начинались стоны. Я прокрался обратно так же тихо, как и подошел.

Но, несмотря ни на что, он храбро отбывает свои вахты и исполняет все обязанности старшего офицера. Ах да, я и забыл: мисс Уэст решила спросить его, что с ним, и он ответил, что у него болит зуб, и что, если боль не утихнет, он вырвет этот зуб.

Вада не смог узнать, что произошло. Свидетелей не было. Он говорит, что клуб азиатов, обсуждая это дело, пришел к заключению, что тут не обошлось без трех висельников. У Берта Райна болит плечо. Нози Мерфи хромот так сильно, точно у него вывихнуто бедро, а Кид Твист так избит, что вот уже два дня не поднимается с койки. Вот и все данные. Что на них построишь? Трое разбойников не разжимают рта, как и мистер Пайк. Клуб азиатов решил, что было покушение на убийство, и что своим спасением старший помощник обязан своему крепкому черепу.

Вчера ночью во вторую смену я получил новое доказательство, что капитан Уэст не так мало, как это кажется, замечает то, что делается на «Эльсиноре». Я прошел по мостику к бизань-мачте и остановился под ней. С главной палубы меня не было видно. Оттуда, из прохода между средней рубкой и бортом доносились голоса Берта Райна, Нози Мерфи и мистера Меллэра. Разговор шел не о служебных делах. Это была просто дружеская мирная беседа, голоса звучали весело; и иногда то тот, то другой, то все трое смеялись. Я вспомнил то, что говорил мне Вада о не принятой у моряков близости второго помощника с тремя проходимцами, и начал вслушиваться в их разговор. Но они говорили пониженными голосами, и все, что я мог уловить, — это дружеский, веселый тон.

Вдруг с кормы раздался голос капитана Уэста. Это не был голос Самурая, прилетевшего под раскаты грома на крылатом коне, это был голос Самурая спокойного и холодного, — чистый, мягкий, мелодичный, как голос самого мелодичного из колоколов, отлитых восточными мастерами древности для призыва верующих на молитву. Легкий мороз пробежал у меня по спине от этого голоса, — так он был сладок и нежен, но и бесстрастен, как звон стали в морозную ночь. И я знаю: на стоявших внизу людей он подействовал точно электрический ток. Я чувствовал, что они, как и я, замерли и похолодели. А между тем он произнес только:

— Мистер Меллэр!

— Здесь, сэр, — отозвался мистер Меллэр после минутного напряженного молчания.

— Подите сюда! — приказал голос.

Мне было слышно, как второй помощник прошел по палубе подо мной и остановился у подножия кормовой лестницы.

— Ваше место на юте, мистер Меллэр, — снова раздался тот же холодный, бесстрастный голос.

— Есть, сэр! — ответил второй помощник.

И все. Больше не было произнесено ни слова. Капитан Уэст продолжал свою прогулку по подветренной стороне кормы, а мистер Меллэр поднялся по трапу и зашагал по другой стороне.

Я прошел по мостику к баку и нарочно пробыл там с полчаса, а потом вернулся в каюту через главную палубу. Хотя я и не анализировал моих побуждений, я понял, что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что я подслушал разговор капитана со вторым помощником.



— Ваше место на юте, мистер Меллэр,
— раздался бесстрастный голос.

Я сделал открытие. Девяносто процентов нашей команды — брюнеты. В кормовом помещении, за исключением Вады и буфетчика, то есть наших слуг, все мы — блондины. К этому открытию привела меня книга Вудреффа «Действие тропического света на белых», которую я теперь читаю. Майор Вудрефф утверждает, что белокожие, голубоглазые арийцы, рожденные, чтобы повелевать и управлять, покидая свою неприветливую, туманную родину, действительно всегда повелевают и управляют миром и всегда погибают от слишком яркого света тропических стран. Гипотеза вполне допустимая, на которой стоит остановиться.

Но вернемся к населению «Эльсиноры». Все мы, представители «юта», сидящие за одним столом на почетных местах — белокурые арийцы. На баке, за вычетом десяти процентов выродившихся блондинов, остальные девяносто процентов работающих на нас невольников — брюнеты. Они не погибнут. Если верить Вудреффу, они унаследуют землю не потому, что они обладают даром повелевать и управлять, а потому, что окраска их кожи помогает им противостоять разрушительному действию солнца.

Взять хотя бы нас четверых, сидящих за одним столом, — капитана Уэста, его дочь, мистера Пайка и меня, — у всех у нас светлая кожа и светлые глаза, и хотя мы и повелители мира, все мы погибнем, как погибли до нас наши предки, и как будут погибать наши потомки, пока наша раса не исчезнет с лица земли. Ну что ж, наша история — благородная история. Пусть мы обречены на вымирание, но в свое время мы попирали ногами все другие народы, давали им чувствовать нашу власть, принуждали их к повиновению и жили во дворцах, которые, по праву сильного, заставляли их строить для нас.

На «Эльсиноре» повторяется в миниатюре та же картина. Лучшая пища, просторное и удобное помещение принадлежат нам. Помещение на баке — свинушник и загон для рабов. Над всеми царит капитан Уэст. Мистер Пайк творит волю своего повелителя. Мисс Уэст — принцесса царской крови. Что же такое я? — Я просто почетный, благородного происхождения пенсионер, живущий плодами трудов и заслуг моего отца, который в свое время заставлял тысячи людей низшего типа создавать материальное благосостояние, каким я теперь пользуюсь.

ГЛАВА XXIII

Северо-западным пассатом нас отнесло почти что в полосу юго-восточных пассатов, а затем несколько дней мы покачивались, не подвигаясь вперед и изнывая от жары. За это время я открыл в себе талант: я оказался хорошим стрелком. Мистер Пайк божился, что у меня, наверно, была многолетняя практика, и, признаюсь, я сам был поражен, как легко мне далось это искусство. Разумеется, во всем нужна сноровка, но, чтобы приобрести сноровку, надо, я думаю, все-таки быть от природы способным на это.

С полчаса простоял я на качающейся палубе, стреляя в брошенные в море бутылки, и к концу получаса я уже с одного раза попадал в каждую бутылку. Мистер Пайк так заинтересовался моими успехами, что когда запас пустых бутылок иссяк, он приказал плотнику напилить для меня маленьких квадратных дощечек из твердого дерева. Это оказалось удобнее. При каждом удачном выстреле дощечку подкидывало вверх, затем она опять падала в воду, и таким образом одна дощечка служила мне целью до тех пор, пока ее не относило слишком далеко. Через час, быстро выпуская заряды в дощечку, я уже попадал девять, а то и десять раз из одиннадцати.

Я не считал бы мою ловкость в стрельбе исключительной, если бы не убедил мисс Уэст и Ваду тоже попытать счастья. Они не могли сравняться со мной. Тогда я стал упрашивать мистера Пайка, чтобы и он попробовал пострелять. Он согласился, но зашел за штурвал, чтобы никто из команды не мог видеть, какой он жалкий стрелок. Он ни разу не попал в цель, и смешно было смотреть, как далеко от дощечки падали его пули.

— Меня никогда не прельщала стрельба из ружья, — заявил он презрительно. — Другое дело стрелять на близком расстоянии из пистолета: тут уж я постою за себя. Пойдите: я сейчас принесу свой пистолет.

Он спустился в каюту и вернулся с огромным автоматическим пистолетом и горстью патронов.

— Поразительно, скажу я вам, мистер Паттерст, что можно сделать с человеком этой штукой, если стрелять на расстоянии десяти-двенадцати шагов, — сказал он. — Но надо целиться справа и всего лучше в живот. В общей свалке ружье бесполезно. Один раз на меня напала целая шайка. Меня сбили с ног, навалились на меня всей кучей, и спас меня вот этот пистолет. И раздела же я их под орех! Под конец все они лежали вразяжку. Один уже наступил мне на голову своими сапожищами, но тут я выстрелил. Пуля скользнула ему по колену, раздробила ключицу и оторвала ухо. Так хорошо она летела, что, пожалуй, и теперь еще летит. У нее хватило силы пронзить тело рослого человека. То-то вот я и говорю: когда дойдет до драки, дайте мне только хороший пистолет, и я постою за себя... А вы не боитесь расстрелять все ваши патроны? — спросил он меня, видя, что я продолжаю забавляться моей новой игрушкой.

Но когда я сказал ему, что Вада захватил для меня пятьдесят тысяч патронов, он успокоился.

В самый разгар нашей стрельбы недалеко от судна показались две акулы. Мистер Пайк сказал, что это крупные акулы, и определил длину каждой в пятнадцать футов. Было воскресное утро, так что вся команда, за исключением людей, обслуживающих судно, была свободна, и вскоре плотник при помощи крепкой веревки вместо лесы с большим железным крюком на конце и насаженным на него куском соленой свинины, величиной с мою голову, поймал одного за другим обоих чудовищ.

Их подняли на палубу. И тут я увидел хорошую иллюстрацию жестокости моря.

Вся команда сбежалась на палубу со складными ножами, с топорами, с дубинами и огромными, взятыми с кубрика, секачами. Не стану описывать подробностей этой сцены, скажу только, что люди ревели и ржали от восторга, упиваясь теми зверствами, которые они проделывали над несчастными рыбами. Наконец, одну акулу выбросили в море, воткнув предварительно ей в пасть заостренную палку так, что одним концом она упиралась в верхнюю, а другим в нижнюю челюсть и не давала акуле закрыть рот. Таким образом, эту акулу ждала неизбежная, медлительная голодная смерть.

— Подите-ка сюда, ребята, я вам кое-что покажу! — закричал Энди Фэй, готовясь приняться за вторую акулу.

Мальтийский кокни показал себя самым умелым церемониймейстером в расправе с акулой. И мне кажется, что ничто так не восстановило меня против этих скотов, как то, что я затем увидел. К концу пытки истерзанная рыба билась на палубе, совершенно выпотрошенная: от нее не оставалось ничего, кроме костей и мяса, и все-таки она не умирала. Поразительно, как держалась в ней жизнь, когда все внутренние органы были удалены. Но то, что было дальше, еще поразительнее.

Муллиган Джэкобс с окровавленными по самые локти руками, как у мясника, не потрудившись даже сказать «если позволите», неожиданно сунул мне в руку какой-то кровавый кусок. Я отскочил в испуге и уронил его на палубу, причем, разумеется, раздался радостный хохот всех сорока человек. Как это ни глупо, но я сконфузился. Эти скоты отнеслись ко мне не слишком почтительно, а человеческая натура, в конце концов, представляет такую странную смесь самых разнородных чувств и побуждений, что даже философу бывает неприятно, когда ему выказывают неуважение животные такой же, как и он, породы.

Я взглянул на предмет, который уронил. Это было сердце акулы, — лежа на раскаленной палубе с выступавшей между досок растопленной смолой, оно на моих глазах пульсировало, как живое.

И я решил. Я не хотел допустить, чтобы эти скоты смеялись над моей брезгливостью. Я нагнулся, поднял сердце и, преодолевая тошноту и стараясь, чтобы этого не заметили, держал его и чувствовал, как оно билось у меня в руке.

Как бы то ни было, а я одержал бескровную победу над Муллиганом Джэкобсом. Он отошел, променяв меня на более интересное развлечение: он снова принялся мучить акулу, не хотевшую умирать. Несколько минут она пролежала неподвижно. Муллиган Джэкобс изо всей силы ударил её по носу топорищем. Это вернуло ее к жизни; она задергалась, и этот ядовитый, злой человечиска завизжал в диком восторге:

— Железные крюки! И ее рвут на части железные крюки! И у нее горит в мозгу!

Он еще долго кривлялся с дьявольским злорадством и еще раз ударил по носу акулу, заставив ее подскочить.

Нет, это было слишком, и я забил отбой, притворившись, разумеется, что мне просто надоело смотреть, и по рассеянности продолжал держать в руке все еще бившееся сердце.

Поднявшись на корму, я увидел, что мисс Уэст выходит из рубки с рабочей корзинкой в руках. Палубные кресла стояли с моей стороны, и я обошел кругом на противоположную сторону, чтобы незаметно выбросить за борт ужасный предмет. Но высохшее сверху от тропической жары и продолжавшее пульсировать сердце прилипло к моей ладони, и я не добросил его. Вместо того, чтобы перелететь через перила, оно ударилось о них и упало на палубу, где и осталось лежать. И когда, спускаясь в каюту вымыть руки, я взглянул на него, оно все еще билось.

Оно продолжало биться и тогда, когда я вернулся. Я услышал громкий всплеск и понял, что выбросили в море остатки акулы. Я не подошел к мисс Уэст, а стоял, как зачарованный, глядя на мертвое сердце, бывшее на тропическом зное.

Шумные возгласы команды привлекли мое внимание. Люди взобрались на реи и следили за чем-то в море. Я посмотрел в ту сторону и увидел любопытную вещь. Выпотрошенная акула была еще жива. Она двигалась, плыла, била хвостом, силясь уйти с поверхности моря в глубину. Иногда она опускалась на пятьдесят, на сто футов, но тотчас же непроизвольно всплывала на поверхность. И каждая неудачная ее попытка скрыться вызывала дикий хохот людей. Чему они смеялись? Картина была ужасна, потрясающая, но уж совсем не смешна. Судите сами. Истерзанное животное беспомощно бьется на поверхности моря, подставляя жгучим лучам солнца зияющую пустоту своего тела, — что же тут смешного?

Я отвернулся, но возобновившийся гвалт снова возбудил мое любопытство. В море показалось с полдюжины акул поменьше двух первых, футов по девяти, по десяти длиной. Все они набросились на своего беспомощного товарища. Они рвали его на части, пожирали, уничтожали его. Я видел, как последние куски его тела исчезли в их пасти. От акулы ничего не осталось, — разорванная на части, она была похоронена в живых телах ее сородичей и уже переваривалась в их желудках. А здесь, в тени борта, все еще билось ее чудовищное живучее сердце.

ГЛАВА XXIV

Наше плавание грозит бедой. Теперь я узнал мистера Пайка и знаю, что если когда-нибудь ему станет известно, кто такой мистер Меллэр, он его убьет. Мистер Меллэр — не Меллэр. Он не из Георгии, он из Виргинии. Его зовут Вальтгэм — Сидней Вальтгэм. Он из семьи виргинских Вальтгэмов — правда, паршивая овца, но все же Вальтгэм. Я в этом так же твердо уверен, как в том, что мистер Пайк убьет его, если узнает, кто он.

Сейчас я расскажу, как я узнал все это. Вчера около полуночи я вышел наверх освежиться. (Сейчас мы идем, подгоняемые юго-восточным пассатом, держа курс круто к ветру, чтобы обогнуть мыс Сан-Рок). На вахте был мистер

Пайк. Мы с ним стали ходить рядом, и он рассказывал мне разные случаи из своей жизни. Он часто рассказывает мне о себе, когда бывает в хорошем настроении, и уже не раз и раньше с гордостью, почти с благоговением упоминал он о капитане, с которым проплавал пять лет. «Старик Соммерс» — так он его называл. «Честнейший был, благороднейший человек, самый лучший из всех капитанов, с какими я служил», — говорил он.

И вот прошлой ночью как-то перешел у нас разговор на мрачные темы, и мистер Пайк, сам далеко не безгрешный, начал распространяться о греховности мира вообще и в частности о подлости человека, убившего капитана Соммерса.

— Он был уже старик, ему за семьдесят перевалило, — говорил мистер Пайк. — В последнее время он, говорят, был в параличе. Сам я не видал его несколько лет. Надо вам сказать, что мне пришлось убраться с берега подальше в глубь страны, во избежание неприятностей, и подлость случилась как раз в мое отсутствие. Его убил второй помощник — сущий дьявол. Напал на него, сонного, ночью и убил. Просто ужасно! Мне потом рассказали, как это было. В самом Сан-Франциско это случилось, в гавани, на борту «Язона Гаррисона», одиннадцать лет назад. И знаете, как поступило правительство? Прежде всего — помиловало преступника, когда его следовало повесить. Смертный приговор был заменен пожизненной ссылкой. Поводом к смягчению приговора послужила его якобы ненормальность, причиной которой был несчастный случай. Такой случай действительно был за много лет до того: сумасшедший повар на одном судне раскроил ему череп. Он пробыл в ссылке семь лет, а потом, по распоряжению губернатора, был освобожден. Он — негодяй, но у него была влиятельная родня. Вальтгэмы — старинный род в Виргинии, я думаю вы о них слышали, — и они нажали все пружины, чтобы вызволить его. Его зовут Сидней Вальтгэм.

В эту минуту пробили склянки — один удар за пятнадцать минут до смены вахт — сперва у штурвала, затем сигнал был повторен караульным на носу. Мистер Пайк в пылу негодования остановился, и мы стояли у края кормы. Случайно мистер Меллэр вышел наверх на четверть часа раньше срока. Он поднялся на корму и остановился возле нас в тот момент, когда мистер Пайк заканчивал свой рассказ.

— Я был спокоен, пока он был в ссылке, — продолжал мистер Пайк. — Правда, его не повесили, — ну, да Бог с ним, думал я. Но, когда, пробыв в ссылке только семь лет, он был освобожден, я поклялся, что доберусь до него. И доберусь. Я не верю ни в Бога, ни в черта. Все в этом проклятом мире прогнило насквозь. Но я верю своему кулаку и знаю, что рано или поздно я до него доберусь.

— Что же вы с ним сделаете? — спросил я.

— Что сделаю? — В голосе мистера Пайка слышалось неподдельное изумление перед моей недогадливостью. — Что сделаю? А что он сделал со стариком Соммерсом? Досадно: вот уже три года, как негодяй куда-то скрылся. О нем ни слуху, ни духу. Но он моряк, он вернется на море, и когда-нибудь...

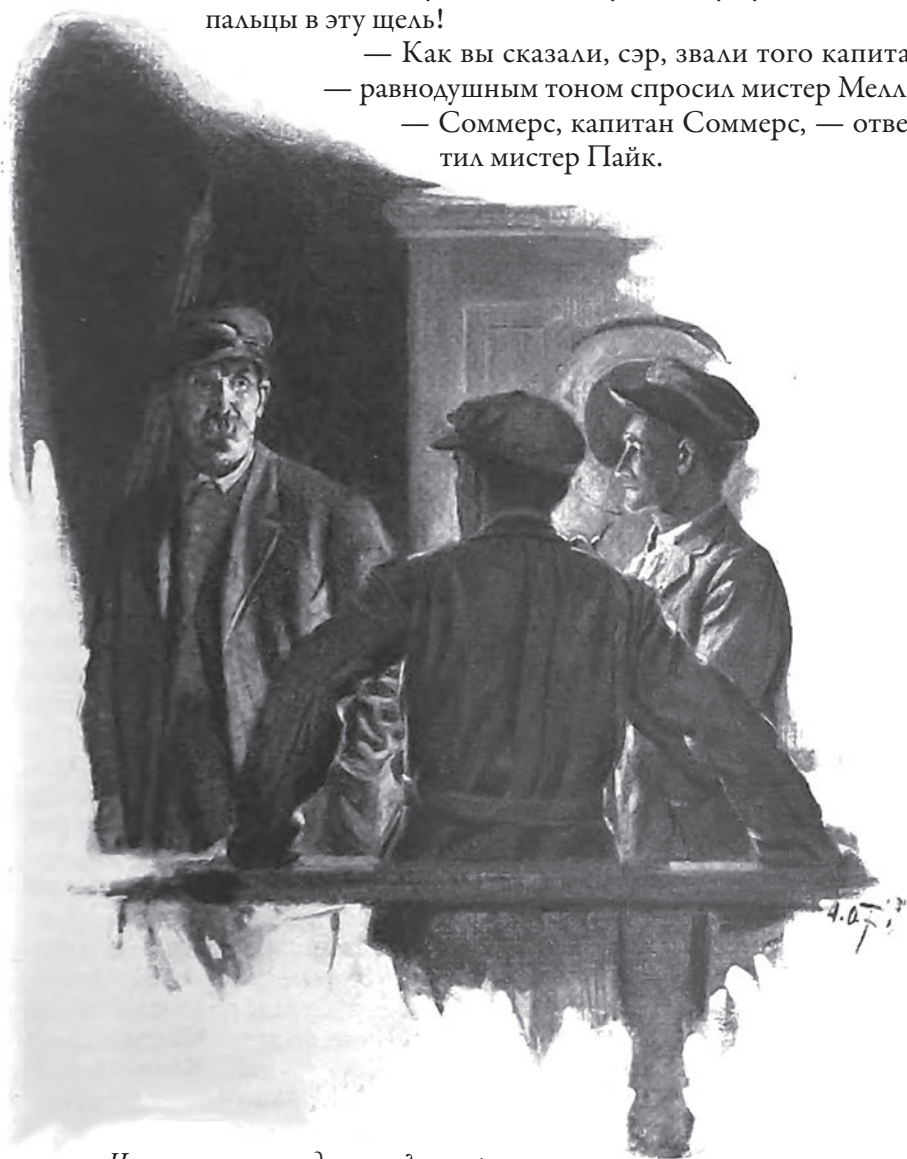
При свете спички, которой второй помощник раскуривал трубку, я увидел, как обезьяньи руки мистера Пайка со сжатыми кулаками поднялись к небу, и лицо исказилось злобой. В тот же короткий миг увидел я, что рука второго помощника, державшая спичку, дрожала.

— Я не знаю его в лицо, никогда не видел даже его фотографической карточки, — добавил мистер Пайк. — Но я знаю приблизительно, каков он из себя, да, кроме того, у него есть безошибочная примета. Я в темноте его узнаю, стоит мне только ощупать его голову. Уж запущу я когда-нибудь пальцы в эту щель!

— Как вы сказали, сэр, звали того капитана?

— равнодушным тоном спросил мистер Меллэр.

— Соммерс, капитан Соммерс, — ответил мистер Пайк.



— Что же вы с ним сделаете? — спросил я.

— Что сделаю? А что он сделал со стариком Соммерсом?

Мистер Меллэр несколько раз повторил эту фамилию вслух, потом опять спросил:

— Не он ли командовал «Ламермуром» тридцать лет назад?

— Он самый.

— Я так и подумал. Я помню его. Мы в то время стояли на якоре в бухте Тэйбл рядом с его судном.

— О подлый, подлый мир! — пробормотал мистер Пайк, отходя от нас.

Я пожелал второму капитану доброй ночи и направился к каютам, как вдруг он тихонько окликнул меня:

— Мистер Паттерст!

Я остановился, и он заговорил сконфуженно и торопливо:

— Простите, сэр, что я вас беспокою, но я... Впрочем, нет, ничего... Я передумал...

Вернувшись к себе, я лег и взялся было за книгу, но почувствовал, что не могу читать. Мысли мои все возвращались к тому, что произошло на палубе, и в голову мне, помимо моей воли, лезли самые мрачные предчувствия. Вдруг ко мне вошел мистер Меллэр. Через люк он спустился в заднюю каюту и оттуда прошел коридором ко мне. Вошел он бесшумно, на цыпочках, предостерегающе прижимая палец к губам. Он заговорил, только подойдя к моей койке, да и то шепотом.

— Прошу прощения, мистер Паттерст... мне очень совестно, сэр... но дело в том, что, проходя мимо, я увидел, что вы не спите, и... и подумал, что, может быть, вам нетрудно будет... Я, видите ли, хотел вас попросить о маленьком одолжении, если, конечно, вы найдете это удобным... Я, сэр...

Я выжидал, что он скажет, и во время наступившей паузы, пока он смачивал языком пересохшие губы, таинственное, страшное существо, сидевшее в засаде в его черепе, вдруг выглянуло из его глаз. Казалось, оно было почти готово выскочить и броситься на меня.

— Так вот, сэр, — начал он снова, на этот раз более связно, — это сущий пустяк. Глупо даже с моей стороны просить вас... Это просто фантазия моя, так сказать. Помните — в начале нашего плавания я показывал вам шрам у меня на голове? Несчастный случай, знаете... Да, впрочем, я вам рассказывал. Пустяк, конечно, но все же это — уродство, и мне неприятно, чтобы об этом знали. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы, например, мисс Уэст узнала о нем. Мужчина есть мужчина, сэр, вы понимаете... Вы ей ничего не говорили?

— Нет, как-то не пришлось, — ответил я.

— И никому другому не говорили? Капитану Уэсту, например, или мистери Пайку?

— Нет, никому не говорил.

Он, видимо, почувствовал облегчение: он даже не мог этого скрыть. Его лицо приняло спокойное выражение, и сидевшее в засаде страшное существо снова спряталось в глубине его черепа.

— Так вот, мистер Патгерст, я хотел просить вас, как об одолжении, никому не рассказывать об этом шраме. Я понимаю (он улыбнулся, и его голос сделался до отвращения сладким)... я понимаю, что это глупая щепетильность с моей стороны, но право...

Я кивнул головой и нетерпеливо подвинул к себе книгу, чтобы показать ему, что я хочу читать.

— Так, значит, я могу положиться на вас, мистер Патгерст?

И голос его и манера держать себя разом изменились. Его вопрос был, в сущности, приказанием, и я почти видел, как то существо, что пряталось за его глазами, угрожающе оскалило клыки.

— Конечно, можете, — ответил я холодно.

— Благодарю вас, сэр, благодарю, — проговорил он и тотчас же вышел на цыпочках из каюты.

Я, разумеется, не читал. Можно ли было читать? Я и спать не мог. Голова моя лихорадочно работала, и только в шестом часу после того, как буфетчик подал мне кофе, я задремал.

Очевидно одно: мистер Пайк и не воображал, что убийца капитана Соммерса в эту минуту на борту «Эльсиноры». Он ни разу не видел страшной трещины на черепе мистера Меллэра — вернее, Сиднея Вальтгэма. А я уж во всяком случае ничего не скажу. Но теперь я знаю, отчего я с первого взгляда невзлюбил второго помощника. И я наконец разгадал то страшное существо, то второе «я», что выглядывает исподтишка из его глаз. Я видел это существо и в глазах тех трех висельников на баке. Видно птиц по полету, и все они четверо — тюремные птицы. Железная дисциплина тюрьмы и необходимость все затаивать в себе вызвали у всех у них к жизни это страшное второе «я».

И еще кое-что очевидно. На этом судне, пересекающем в настоящее время южную часть Атлантического океана для зимнего обхода мыса Горн, имеются все элементы страшной трагедии, которая разыграется в море. Мы нагружены человеческим динамитом, который в любой момент может взорваться и развеять по ветру наш маленький плавающий мирок.

ГЛАВА XXV

Дни бегут. Дует резкий юго-восточный пассат, и в мой открытый иллюминатор часто попадают брызги. Вчера залило каюту мистера Пайка. Это — самое крупное событие за довольно долгое время. Три висельника продолжают царить на баке. У Ларри с Коротышкой вышла драка — правда, довольно безобидная. У Муллигана Джэкобса по-прежнему горит в мозгу, и железные крюки рвут его тело. Чарльз Дэвис живет один в своей стальной камерке и выходит только на кубрик за едой. Мисс Уэст играет и поет, лечит Поссума, а в остальное время занимается изящными рукоделиями. Мистер Пайк аккуратно через день во вторую вечернюю смену заводит граммофон. Мистер Меллэр старательно

прячет свой шрам. Я храню его тайну. А капитан Уэст, отсутствующий больше прежнего, сидит на сквозняке в полумраке каюты.

Вот уже тридцать семь дней, как мы в море, и за все это время до сегодняшнего дня мы не видели ни одного судна. А сегодня с палубы было видно не менее шести судов одновременно. Только увидев эти суда, я ясно представил себе, до чего пустынен океан.

Мистер Пайк говорит, что мы находимся в нескольких сотнях миль от берегов Южной Америки. А между тем, кажется, не дальше, как вчера, мы были на таком же приблизительно расстоянии от африканских берегов. Сегодня утром на судно залетела большая бархатная бабочка, и мы теряемся в догадках по этому поводу. Как могла она попасть к нам из Южной Америки, пролететь сотни миль при сильном ветре?

Южный Крест, разумеется, давно уже виден — по крайней мере несколько недель. Полярная Звезда скрылась за выпуклостью Земли, и Большая Медведица, даже при высшем своем восхождении, стоит очень низко. Скоро и она скроется, и мы будем подходить к Магелланову проливу.

Интересную вещь рассказал мне Вада по поводу драки Ларри с Коротышкой. Мистер Пайк некоторое время молча смотрел, как они дерутся, и, наконец, возмущенный их неумелостью, надавал им обоим пощечин, прекратив таким образом драку и объявив, что пока они не научатся искусству драться, он берет на себя все обязанности по части бития на «Эльсиноре».

Как ни стараюсь, не могу поверить, что ему шестьдесят девять лет. А когда смотрю на его богатырскую фигуру и на его страшные руки, я в своем воображении вижу его мстящим за убийство капитана Соммерса.

Жизнь жестока.

Между пятью тысячами тонн угля на «Эльсиноре» сидят тысячи крыс. Они не могут выбраться из своей железной темницы, так как все вентиляторы в трюме затянуты крепкой проволоочной сеткой. В предыдущее плавание, когда «Эльсинора» была нагружена ячменем, крысы размножились, а теперь они заперты в угле, и между ними неизбежно начнется каннибализм. Мистер Пайк говорит, что, когда мы придем в Сие́та и разгрузимся, в трюме окажется десятка два огромных, самых сильных и свирепых крыс, переживших своих сородичей. Иногда, проходя мимо открытого вентилятора в задней стене командной рубки, я слышу доносящийся из трюма жалобный писк. Некоторые крысы оказались счастливее: они живут на баке, в промежутке между двумя палубами, где хранятся запасные паруса. По ночам они вылезают, бегают по палубе, воруют в кубрике еду и лижут росу, чтобы утолить жажду. Это напомнило мне одну вещь: мистер Пайк возненавидел Поссума. Оказывается, Вада, по его наущению, поймал крысу в каморке, где стоит паровой насос. Вада клянется, что это была родоначальница всех крыс, что по самым точным измерениям в ней было восемнадцать дюймов длины от носа до кончика хвоста. Оказывается также, что мистер Пайк и Вада принесли эту крысу в каюту мистера Пайка и, заперев все двери, стравили ее с Поссумом, и Поссум был

побежден. Им пришлось самим убить крысу, а Поссум после драки катался по полу в припадке.

Мистер Пайк терпеть не может трусов и теперь возненавидел Поссума. Он никогда больше не играет с ним, не заговаривает, и если встречает его на палубе, сердито на него косится.

Я прочел «Руководство к плаванию по Атлантическому океану», и узнал, что мы входим теперь в полосу самых прекрасных солнечных закатов в мире. И уже сегодня вечером мы видели образчик такого заката. Я сидел у себя и разбирал свои книги, как вдруг мисс Уэст крикнула мне с трапа рубки:

— Мистер Паттерст! Идите скорее! Скорее, скорее, а то пропустите!

Половина неба, от самого зенита до западной линии горизонта, была сплошным морем чистого, бледного золота. И сквозь этот золотой щит на краю горизонта просвечивал солнечный диск более темного золота. Золото неба становилось все ярче, потом потускнело на наших глазах и начало принимать красноватый оттенок. Затем все золотое поле неба и горящее желтое солнце стали ярко-красными и заволоклись прозрачным туманом. Сам Тернер¹ не решился бы изобразить эту оргию пылающего красками тумана.

Внезапно по всему горизонту, заполняя все полукружие моря и неба, сплошной грудой поползли облака, и по мере того, как каждое облако принимало определенные очертания, верхние его края окрашивались в розоватый цвет, а пульсирующая середина оставалась голубовато-белой. Я говорю это умышленно: все краски этой картины пульсировали.

Когда сияющий туман начал рассеиваться, все цвета стали ярче: бирюзовый перешел в зеленый, розовый — в кроваво-красный. Пурпурный и темно-синий оттенки морских волн позолотились от буйного разгула красок неба, и по воде, как гигантские змеи, поползли отраженные красные и зеленые полосы. Затем все это великолепие разом потускнело, и нас окутал теплый мрак тропической ночи.

ГЛАВА XXVI

«Эльсинора» — поистине корабль человеческих душ, вселенная в миниатюре. И этот маленький мирок, рассекающий необъятную ширь океана, как другой, большой мир — наша земля — рассекает пространство, постоянно поражает странными контрастами.

Сегодня, например: перед обедом сидим мы на корме — мисс Уэст и я. Мисс Уэст в парусиновом матросском костюме девственной белизны, с вырезом на шее и с черным шелковым галстуком, завязанным морским узлом под широким воротником. Ее чудесные волосы аккуратно приглажены и лишь слег-

¹ Тернер (1775—1851) — знаменитый английский живописец, любивший изображать эффекты воздуха и освещения и передававший их с поразительной силой.

ка выбиваются спереди на ветру. И я — тоже весь в белом, в белых башмаках, в белой шелковой рубашке, такой же безукоризненно чистенький и выхоленный, как и она. Буфетчик только что поставил перед ней хорошенький чайный сервиз; на заднем плане мелькает мой Вада.

Мы философствуем или, вернее, я экзаменую ее. Начав с краткого очерка предсказаний Спинозы относительно современных мировоззрений, перечислив затем спекулятивные комментарии сэра Оливера Лоджа и сэра Вильяма Рамсэя по поводу последних открытий в области физики, я, по обыкновению, дошел до де Кассера и стал цитировать его.

— «В этом взлете в высь чистого познания, достижимого лишь для очень немногих человеческих существ, зарождается созерцательное чувство, — читал я. — Жизнь перестает быть добром или злом. Она становится непрестанной игрой разнородных сил без начала и конца. Освобожденный Разум сливается с Мировой Волей и воспринимает часть ее сущности, которая не есть моральная сущность, но эстетическая»...

В эту минуту раздалось рычанье мистера Пайка, отдававшего приказания команде. И тотчас же матросы бросились на корму и принялись натягивать снасти. Они пробегали мимо нас, работали бок о бок с нами, но не поднимали на нас глаз. Они не удостоивали нас взглядом: слишком далеки мы были от них, слишком им чужды. Этот-то контраст и поразил меня. Тут были рядом высшие и низшие, господа и рабы, красота и безобразие, чистота и грязь. Их босые ноги были перепачканы смолой. На их немых телах мешком висела грязная, рваная, грубая одежда. На каждом было всего по две принадлежности туалета: короткие штаны и засаленная бумажная рубаха. А мы, сидя в наших удобных палубных креслах, с двумя слугами за спиной — воплощенная квинтэссенция элегантного безделья, — прихлебывали дорогой чай из красивых чашечек тонкого фарфора и равнодушно смотрели на этих подневольных людей, чей труд делал возможным путешествие нашего плавучего мирка. Мы не говорили с ними, не замечали их существования, как и они не посмели бы заговорить с нами и не замечали нас.

А мисс Уэст смотрела на них взглядом плантаторши, оценивающей состояние своих рабов.

— Заметили вы, как они вошли в тело? — сказала она мне, когда последние кольца канатов были накручены на шпили, и люди вернулись на бак. — Вот что значит правильный образ жизни, тихая погода, тяжелая работа, свежий воздух, хорошее питание и воздержание от виски. Они продержатся в таком состоянии, пока мы не подойдем к мысу Горн. Тогда вы увидите, как они день ото дня начнут сдавать. Зимний переход вокруг мыса Горн всегда тяжело отзывается на матросах... Но как только мы обойдем мыс Горн и войдем в полосу хорошей погоды в Тихом океане, они опять начнут поправляться с каждым днем. И когда мы придем в Сиэтл, они будут в отличном виде. Но, съехав на берег, они в несколько дней пропьют свое жалованье и явятся на другие суда такими же жалкими идиотами, какими они были, когда мы выходили в море из Балтимора.



А мисс Уэст смотрела на них взглядом плантаторши,



оценивающей состояние своих рабов.

В это время в дверях командной рубки показался капитан Уэст. Он прошелся по палубе, приветливо нам улыбнулся, перекинулся с нами двумя-тремя словами и, окинув все замечающим взглядом небо, судно, паруса, и определив направление ветра и состояние погоды, снова скрылся в рубке — белокурый ариец, господин, царь, Самурай.

А я, допив ароматный, дорогой чай, продолжал читать вслух де Кассера.

— «Инстинкт создает, исполняет работу видов. Разум разрушает, критикует, отрицает и кончает чистым нигилизмом. Инстинкт творит жизнь, бесконечно, слепо, щедрой рукой выбрасывая в мир своих клоунов, своих комиков и трагиков. Разум остается вечным зрителем представления. Он принимает участие в игре, когда ему вздумается, но никогда не отдается всецело наслаждению спортом. Освободившись из тенет личной воли, Разум воспаряет в высшее познание, куда инстинкт следует за ним под тысячью различных личин, стараясь снова и снова притянуть его на землю».

ГЛАВА XXVII

Мы теперь уже южнее Рио и идем все к югу. Мы вышли из широт пассатов, и ветер капризен. Дожди и штормы преследуют «Эльсинору». То мы качаемся почти на месте в мертвой зыби, то через какой-нибудь час несемся со скоростью четырнадцати узлов, убавляя паруса так быстро, как только успевают люди взбираться на мачты и спускаться вниз. Безветренная ночь, когда почти невозможно уснуть в сыром насыщенном электричеством воздухе, неожиданно сменяется жарким солнечным днем и идущей с юга зыбью, предвестницей сильных штормов в той стороне океана, куда мы держим курс. А бывает и так, что целый день «Эльсинора», под обложенным тучами небом, с убранными брамселями и крьюселями, подгоняемая короткими порывами ветра, ныряет и качается на неровных волнах.

И все это задает лишнюю работу людям. Если верить мистеру Пайку, все они народ неумелый, хотя теперь они научились разбираться в снастях. Наблюдая за их работой, он неизменно ворчит и рычит, и фыркает, и издевается над ними. Сегодня к одиннадцати часам утра поднялся такой ветер, дувший порывами, с каждым разом становившимися все сильнее, что мистер Пайк приказал убрать грот. Но очередная смена никак не могла справиться с гротом: тянули, дергали, кричали, пробовали затягивать песню, — ничто не помогало. Пришлось вызвать снизу на подмогу вторую смену.

— О, Господи! — стонал мистер Пайк. — Две смены возьмется с лоскутом, с которым легко управилась бы половина смены настоящих матросов. Вы только взгляните на этого красавца, моего боцмана.

Бедный Нанси! Какой несчастный, жалкий, беспомощный, пришибленный был у него вид! Да и Сендри Байерс был не лучше. Его лицо выражало страдание и полнейшую безнадежность. Подтягивая свой живот, он бесцель-

но слонялся по палубе, выискивая, что бы такое ему сделать, и ничего не находя. Он бездельничал. Он мог стоять и целую минуту глазеть на какой-нибудь трос, следя за ним глазами сквозь запутанную сеть снастей, с напряженным вниманием человека, решающего сложную математическую задачу. Затем, держа руки на животе, он отходил на несколько шагов и выбирал для изучения другую веревку.

— О, Господи, Господи! — вздыхал мистер Пайк. — Ну, как тут управлять судном с такими боцманами и с такой командой! Положим, будь я капитаном, я бы управился с ними. Я показал бы им, как вести судно, если бы даже для этого мне пришлось лишиться кое-кого из них. А что мы станем делать, когда они ослабеют после мыса Горн? Придется все время держать наверху обе смены, и тогда они окончательно свалятся с ног.

Очевидно, зимний обход мыса Горн вполне оправдывал рассказы о нем мореплавателей. Даже такие железные люди, как два капитанских помощника «Эльсиноры», относятся с большим почтением к «Суровому Мысу», как называют они крайнюю южную точку материка Америки.

Кстати, о двух наших помощниках: хоть оба они и железные люди и отчаянно ругаются, но в серьезные минуты оба вызывают к Господу Богу. Забавная вещь!

В часы затишья с большим удовольствием занимаюсь стрельбой. Я расстрелял уже пять тысяч патронов, и теперь начинаю считать себя заправским стрелком. В чем бы ни состояла сноровка в этом деле, я ее приобрел. Когда вернусь домой, непременно буду упражняться в стрельбе в цель. Это приятный спорт.

Поссум боится не только парусов и крыс, он пугается и выстрелов, — при каждом выстреле визжит, убегает вниз и долго там скулит. Просто смешно, с какой ненавистью относится мистер Пайк к бедному щенку. Он даже сказал мне, что, будь это его собака, он бросил бы ее за борт в качестве мишени для стрельбы в цель. А это такой ласковый, такой привязчивый плутишка! Я положительно полюбил его и теперь даже рад, что мисс Уэст от него отказалась. И вообразите — он решительно желает спать со мной, в ногах моей постели, что очень скандализирует старшего помощника.

— Скоро, я думаю, он будет пользоваться вашей зубной щеточкой, — буркнул он, когда я рассказал ему об этом.

Что же мне делать, если щенок любит мое общество и нигде не чувствует себя таким счастливым, как на одной постели со мной! Но и постель моя для него не совсем-то райское убежище, — он страшно пугается, когда мы оказываемся на подветренной стороне, и волны бьются о стекла иллюминатора. Тогда этот негодяй, наэлектризованный страхом до кончика хвоста, начинает дрожать: и то угрожающе рычит на ревущее за бортом чудовище, то жалобно скулит, стараясь умиловить его.

— Отец мой знает море, — сказала мне сегодня мисс Уэст. — Он понимает и любит его.

— Может быть, он просто привык к морю, — позволил я себе сказать. Она покачала головой.

— Тут дело не в привычке. Нет, он знает море. Он любит его. Оттого-то он и вернулся к нему. Все наши предки были моряками. Его дед, Энтони Уэст, сделал сорок шесть плаваний между тысяча восемьсот первым и тысяча восемьсот сорок седьмым годом. А отец его, Роберт Уэст, еще до золотых дней ходил шкипером к северо-западному побережью, а после открытия золотых приисков командовал некоторыми из самых быстроходных клиперов, обигавших мыс Горн. Элия Уэст, прадед отца, служил в военном флоте во время революции и командовал вооруженным бригом «Новая Оборона». А еще раньше отец и дед этого Элии были шкиперами и владельцами купеческих судов дальнего плавания.

Мисс Уэст говорила с возрастающим увлечением:

— Энтони Уэст в тысяча восемьсот тринадцатом и четырнадцатом годах командовал «Давидом Брюсом», имевшим каперское свидетельство. Он был совладельцем этого судна в половинной доле с фирмой «Грэси и Сыновья». Это была шхуна в двести тонн, построенная на Майне. На ней была одна длинная восемнадцатифунтовая пушка, две десятифунтовых и десять шестифунтовых, и летела она, как стрела. Она прорвала блокаду Ньюпорта и ушла в Английский канал, а потом в Бискайский залив. Стоила она всего двенадцать тысяч долларов, но представьте — в Англии она больше трехсот тысяч заработала одними призами. А брат Энтони Уэста служил на «Осе». Как видите, море у нас в крови. Оно — наша мать. Насколько можно проследить нашу родословную, все мы прирожденные моряки.

Она засмеялась и продолжала:

— В нашем роду, мистер Паттерст, есть пираты, настоящие пираты, торговцы невольниками и всевозможные, не слишком почтенные, искатели морских приключений. Езра Уэст — я уж не помню, как давно это было, — был казнен за морские разбои, и в Плимуте висел его труп, закованный в цепи.

Она опять улыбнулась.

— Да, море — в крови отца. Она распознает суда, как мы с вами распознаем собак и лошадей. Каждое судно, на котором он плавает, для него определенная личность. Я наблюдала за ним в критические минуты и знала, о чем он думает. А сколько раз я видела его в такие минуты, когда он не думает, а просто чувствует и знает все. Во всем, что касается моря и судов, он настоящий артист. Другого слова не придумаю.

— Я вижу, вы высоко ставите вашего отца, — заметил я.

— Я не встречала другого такого удивительного человека, — сказала она. — Не забывайте, вы не видели его в лучшее его время. Со смерти матери он ни разу не был самим собой. Если когда-нибудь муж и жена были «плоть едина», так это были они. — Она замолчала и закончила коротко: — Вы не знаете, вы совсем не знаете его.

ГЛАВА XXVIII

— Кажется, сегодня у нас будет хороший закат, — сказал капитан Уэст вчера вечером.

Мы с мисс Уэст в это время играли в криббэдж. Не доиграв роббера, мы оба выбежали наверх. Закат еще не начинался, но все уже готовились к нему. На наших глазах небо собирало все нужные материалы: расставляло облака длинными рядами, громоздило их одно на другое и покрывало свою палитру постепенно разгоравшимися бликами и неожиданными мазками ярких красок.

— Голден-Гейт¹ — смотрите! — воскликнула мисс Уэст, указывая на запад. — Совершенно такое впечатление, как будто мы вошли в гавань. А теперь взгляните-ка на юг. Ну, разве это не Сан-Франциско там, вдали? Вон Коул Билдинг, вон Ферри Тауэр, а вон Фэрмаунт. — Ее взгляд остановился на просвете между грудями облаков, и она захлопала в ладоши, — Ах, Боже мой, закат в закате! Видите? А вон и Фарралоны, освещенные собственным оранжево-красным закатом. Ну, скажите, разве это не Голден Гейт, не Сан-Франциско, не Фарралоны? — повернулась она к мистеру Пайку, который стоял рядом с нами и, облокотившись на перила, то кисло поглядывал вниз на Нанси, бесцельно слонявшегося по главной палубе, то не менее кисло косился на Поссума, вертевшегося на мостике и корчившегося в ужасе всякий раз, как повисший парус громко хлопал над ним.

В ответ на обращение к нему, мистер Пайк повернул голову и удостоил чудную картину неба снисходительным взглядом.

— Не знаю, право, — проворчал он. — Может быть, по-вашему, это и похоже на Фарралоны, а по-моему, оно больше напоминает военное судно, входящее в гавань со скоростью двадцать узлов.

И правда: плававшие в воздухе Фарралоны превратились в гигантское военное судно.

Затем началась вакханалия красок с преобладающими зелеными тонами. Каких только тут не было оттенков зеленого цвета! И голубовато-зеленый ранней весны и желто-зеленый и буро-зеленый осени. Был и зеленовато-оранжевый оттенок, и зеленовато-бронзовый, и золотисто-зеленый. И вся эта гамма оттенков поражала богатством тонов. Не успели мы насмотреться на эту роскошь зелени, как она из серых облаков спустилась на воду, и море приняло прелестный золотисто-розовый оттенок полированной меди, а промежутки между высокими гладкими, атласистыми волнами окрасились в самый нежный бледно-зеленый цвет.

Серые облака растянулись в длинный-длинный рубиновый или гранатовый свиток. Таким цветом, если смотреть его на свет, отликает густое бургундское вино. Такая бездонная глубина была в этом красном цвете! А под этим руби-

¹ Золотые Ворота — пролив, ведущий к бухте Сан-Франциско.



новым свитком, отселённая от него полосой беловатого тумана или, может быть, линией горизонта, тянулась другая струйка темно-красного вина, но поуже.

Я перешел по корме на левый борт.

— Куда вы? Вернитесь. Смотрите, смотрите! — крикнула мне мисс Уэст.

— Зачем? — откликнулся я. — Здесь тоже есть на что посмотреть.

Она перешла ко мне, причем я заметил, что по лицу мистера Пайка промелькнула кислая усмешка.

Действительно, и на восточную сторону неба стоило посмотреть. Она имела вид нежной голубоватой раковины, верхние края которой все время меняли краску, гармонично переходя из бледно-голубого в бледно-розовый, теплый цвет. Отражение этой голубой раковины превращало всю поверхность моря в сверкающий водянистым блеском шелк, отливавший голубым, светло-зеленым и розовым. А бледная луна, точно влажная жемчужина, выглядывала из-за окрашенной всеми цветами радуги дымки, застилавшей внутренность раковины.

Совершенно иной вид имел закат в южной части неба. Тут это был обыкновенный оранжево-красный закат с серыми, низко нависшими облаками, освещенными и окрашенными на нижних краях, но тоже прекрасный в своем роде.

— Ну, что там! — проворчал мистер Пайк, услышав, что мы восхищаемся нашим новым открытием. — Взгляните-ка лучше на север: у меня здесь тоже недурная картина.

И в самом деле, картина была недурная. Вся северная сторона неба

была сплошным хаосом окрашенных облаков, от которых во все стороны — и к зениту, и к горизонту — тянулись завитками перистые розовые полосы. Поразительно: одновременно четыре заката! Каждая сторона неба сверкала, горела и пульсировала своим собственным, особым закатом.

И когда все краски потускнели в надвигавшихся сумерках, луна, все еще затянутая прозрачной дымкой, стала ронять тяжелые, блестящие серебряные слезы в темно-лиловое море. А затем на море спустились мрак и тишина ночи, и, стоя рядом у борта, мы пришли в себя, очнулись от чар, насыщенные красотой, склонившиеся друг к другу.

Я никогда не устаю наблюдать за капитаном Уэстом. Не знаю, в чем, но у него есть сходство с некоторыми портретами Вашингтона. При своих шести футах роста, он аристократически тонок и отличается свободной и величественной грацией движений. Худобу его можно назвать почти аскетической. По наружности своей и по манерам он типичный представитель старинного дворянства Новой Англии.

У него такие же серые глаза, как и у его дочери, но его глаза скорее живые, чем теплые, и так же, как у нее, они умеют улыбаться. Цвет кожи у него темнее, а брови и ресницы светлее, чем у нее. У него вид человека, который не знает страстей, который чужд даже простому энтузиазму. У мисс Уэст твердый характер, но в этой твердости чувствуется теплота. Он мягок и вежлив, но холодно мягок, холодно вежлив. С равными ему по общественному положению он удивительно приветлив, и все же это холодная приветливость, высокомерная, слишком тонкая.

Он — настоящий артист в искусстве ничего не делать. Он ничего не читает, кроме Библии, и никогда не скучает. Я часто смотрю, как он, сидя в кресле на палубе, рассматривает свои безукоризненно отточенные ногти и — я готов поклясться — даже не видит их. Мисс Уэст говорит, что он любит море. А я в тысячный раз задаю себе вопрос: «Но как?» Он не проявляет никакого интереса ни к каким состояниям моря. Правда, он первый обратил наше внимание на только что описанный великолепный солнечный закат, но сам он не остался на палубе, чтобы полюбоваться им. Все это время он просидел внизу в большом кожаном кресле и не читал; даже не дремал, а просто смотрел прямо перед собой в пустое пространство.

Проходят дни, проходят и времена года. Мы вышли из Балтимора в самом конце зимы, пережили на море весну и лето, а теперь приближаемся к осени и продвигаемся к югу, навстречу — зиме мыса Горн. А когда мы обогнем мыс Горн и повернем на север, мы встретим новую весну и новое длинное лето, следуя за солнцем на его пути к северу, и летом же придем в Сиэтл. И все эти времена года чередовались и будут чередоваться на протяжении каких-нибудь пяти месяцев.

Все наши летние белые одежды сданы в архив, и здесь, под тридцать пятым градусом южной широты, мы ходим в костюмах умеренного климата. Я замечаю, что Вада подает мне более теплое нижнее белье, а Поссум по ночам норовит залезть под одеяло. Мы теперь на параллели Ла-Платы, в районе, известном



своими штормами, и мистер Пайк ждет бури. Капитан Уэст, по-видимому, ничего не ждет, но я замечаю, что он проводит больше времени на палубе в те часы, когда небо и барометр становятся угрожающими.

Вчера бурный район Ла-Платы дал нам предостерегающий намек, а сегодня он задал нам жестокую трепку. Намек мы получили вчера вечером перед наступлением темноты. Настоящего, ровного ветра не было; ход «Эльсиноры» поддерживался перемежающимися легкими порывами северного ветра, и она ползла как черепаха по зеркальной поверхности больших отлогих волн мертвой зыби, докатывающейся с юга, как эхо после какого-нибудь только что затихшего шторма.

Впереди, разрастаясь с волшебной быстротой, стояла непроницаемая тьма. Может быть, она образовалась из туч, но была ничуть не похожа на тучи. Это была сплошная чернота, которая поднималась все выше и выше и наконец нависла над нами, распространяясь вправо и влево и захватив половину поверхности моря.

Но легкие порывы ветра с севера продолжали наполнять наши паруса; «Эльсинора» все еще качалась на гладких, отлогих волнах; паруса то надувались, то хлопали с глухим рокотом, и мы медленно продвигались навстречу зловещей черноте. На востоке, в том месте, где уже, несомненно, собиралась грозовая туча, сверкнула молния и на один миг разорвала нависшую над нами черную мглу.

Порывы ветра слабели и наконец совсем прекратились, и в наступившем затишьи, в промежутки между

раскатами грома, голоса людей, работавших на реях, доносились так явственно, как будто люди были тут же, рядом с нами, а не висели в воздухе на высоте нескольких сот футов. По тому, как усердно они работали, было видно, что они достаточно прониклись важностью момента. Работали обе смены под начальством обоих помощников. А капитан Уэст, по своему обыкновению, расхаживал по палубе как посторонний зритель, не отдавая никаких приказаний, и только когда мистер Пайк поднимался на корму посоветоваться с ним, отвечал ему спокойным, тихим голосом.

Мисс Уэст, исчезавшая в каюту на несколько минут, вернулась на палубу заправским моряком — в кленчатом плаще, в кожаной куртке и в высоких непромокаемых сапогах. Безапелляционным тоном она приказала мне последовать ее примеру. Но, боясь пропустить что-нибудь, я не мог решиться уйти с палубы и скомпрометировал себя, приказав Ваде принести мне наверх мой штормовой костюм.

Вырвавшись из тьмы, с молниеносной быстротой налетел на нас ветер. В тот же миг раздался адский удар грома, и полил дождь. И с громом и дождем надвинулась тьма. Она была осязаема. Она проносилась мимо нас вместе с завывающим ветром как что-то вещественное, что можно было ощупать. Эта тьма и этот ветер душили.

— Ну, не красота ли это? — прокричала мне в ухо мисс Уэст. Мы стояли рядом у борта, уцепившись за перила.

— Поразительно красиво! — закричал и я в ответ, приложив губы к ее уху, так что ее волосы защекотали мне лицо.

И — не знаю, как это случилось, — вероятно, непроизвольно с той и с другой стороны, — в этом ревущем мраке наши руки встретились на перилах, — я сжал ее руку, и так мы продолжали стоять, крепко держась за перила и не разжимая рук.

«Дочь Иродиады», — сердито комментировал я про себя этот факт, но моя рука не выпускала ее руки.

— Что такое у нас происходит? — снова прокричал я ей в ухо.

— Мы потеряли курс, — донесся ее ответ. — Нас, кажется, относит назад. Судно не слушается руля.

Раздался трубный глас архангела Гавриила.

— Полный поворот! — мелодичным штормовым голосом крикнул Самурай рулевому.

— Полный поворот, сэр! — слабо донесся ответ рулевого, заглушённый ревом ветра.

Сверкнула молния — одна, другая, третья. Они блистали впереди, за нами, со всех сторон, заливая нас светом в течение нескольких минут. И в то же время нас оглушали непрерывные раскаты грома. Это была сказочная картина. Высоко над нами вздымались черные остовы мачт; пониже — матросы, точно огромные пауки, цеплялись за реи, крепя паруса; еще ниже немногие штормовые паруса, надувшиеся в обратную сторону, белели, как призраки, в этом зло-



*Матросы, точно огромные пауки, цеплялись за реи, крепя паруса;
еще ниже немногие штормовые паруса, надувшиеся в обратную сторону,
белели, как призраки, в этом злобещем освещении.*

вещем освещении, а в самом низу были палуба, мостик, рубки «Эльсиноры», качались спутанные веревки, и копошились кучки шатающихся, хватающихся за канаты людей.

Это был великий решающий момент. Огромный корпус нашего судна со всем его грузом, с бесчисленными снастями, с уходящими в небо над нашими головами двухсотфутовыми мачтами, относило назад. Но под ослепительным сверканием молний стоял наш властелин, стройный, спокойный, невозмутимый, передавая свои веления через двух помощников (из которых один был убийца), а ватага неумелых выроdkов должна была приводить в исполнение его волю — травить, натягивать канаты и простым напряжением мускулов своего тела управлять нашим плавучим мирком так, чтобы он мог противостоять ярости стихий.

Что было дальше — я не знаю; не знаю ничего, кроме того, что время от времени я слышал голос архангела Гавриила. Я ничего не видел, так как нас окутала тьма, и дождь полил косыми, почти горизонтальными струями. Вода попадала мне в рот, и я задыхался, все равно, как если бы упал за борт. Казалось, что дождь льет не только сверху, но и снизу. Вода проникала повсюду; забиралась под клеенчатый плащ, под кожаную куртку, лилась за туго застегнутый воротник, в сапоги. Я был ослеплен, оглушен этим дружным нападением грома, молний, ветра, темноты и воды. И тут же на корме, в нескольких шагах от меня, стоял наш властелин, уверенный и спокойный, и возвещал свою мудрую волю букашкам, которые, повинаясь ему, напрягали грубую силу своих мускулов, натягивая брасы, ослабляя паруса, поднимая и опуская реи — и худо ли, хорошо ли, но все же управлялись с огромными полотнищами парусов.

Опять-таки не знаю, как это случилось, но, стоя рядом, под защитой намокшего тента, и уцепившись за перила, чтобы нас не снесло в море, мы с мисс Уэст прижались друг к другу. Моя рука, обняв ее талию, ухватилась за перила, ее плечо прижалось к моему, и одной рукой она крепко держалась за мой плащ. Час спустя мы пробирались по мостику к рубке, помогая друг другу удерживать равновесие, а «Эльсинора» подпрыгивала и ныряла в разгулявшемся море, зарываясь носом в воду под напором ветра, наполнявшего ее немногие неубранные паруса. Ветер, затихший было после дождя, стал снова налетать порывами и наконец задул с силой шторма. Но благородное судно устояло. Кризис миновал, судно наше было живо, были живы и мы, и очутившись в ярко освещенной рубке, насквозь промокшие, с мокрыми лицами, мы сияющими глазами смотрели друг на друга и смеялись.

— Как можно не любить моря? — восторженно говорила мисс Уэст, выжимая воду из своих волос, распустившихся от дождя и ветра. — И как не любить моряков, повелителей моря? Видели вы моего отца?..

— Он — повелитель, — сказал я.

— Он — повелитель, — повторила она с гордостью.

«Эльсинору» подняло на гребень волны и повалило на бок так неожиданно, что мы налетели друг на друга и, ошеломленные, задыхавшись, отлетели к стене.

Внизу, у трапа, я пожелал мисс Уэст доброй ночи и, проходя мимо открытой двери кают-компания, заглянул туда. Я удивился, увидав там капитана Уэста, — я думал, что он еще наверху. Его штормовой костюм был снят, непромокаемые сапоги заменены туфлями. Он сидел, откинувшись назад, в большом кресле и широко открытыми глазами следил за видениями, являвшимися ему в клубах табачного дыма, на фоне отчаянно раскачивающейся каюты... Жестокая трепка, которую задала нам Ла-Плата, началась с одиннадцати часов утра. Вчера вечером был настоящий шторм, но сравнительно мягкий. Сегодня ожидалось худшее, но разрешилось просто космической шуткой. Ветер за ночь настолько стих, что к девяти утра мы подняли все паруса. В десять часов мы качались в мертвом штиле. Но к одиннадцати в южной стороне неба появились зловещие признаки.

Хмурое небо низко нависло над нами. Казалось, что верхушки наших мачт задевают за тучи. Горизонт придвинулся на расстояние какой-нибудь мили от нас. «Эльсинора» была словно замкнута в маленьком мирке тумана и воды. Молнии играли. Небо и горизонт совсем надвинулись на «Эльсинору», как бы грозя поглотить, всосать ее в себя.

И вдруг все небо от зенита до горизонта прорезала зигзагами длинная молния, и насыщенный парами воздух принял зловещий зеленоватый оттенок. Дождь, начавшийся еще при штиле и сначала небольшой, превратился в поток. Зеленая мгла все сгущалась, и, хотя было двенадцать часов дня, Вада с буфетчиком зажгли в кают-компания лампы. Молнии сверкали ближе и ближе, и наконец судно оказалось запертым в кольце грозы. Зеленая мгла, беспрерывно прорезываемая отдельными вспышками молний, все время дрожала от их мерцающего света. По мере того, как дождь ослабевал, гроза все усиливалась, и мы оказались в самом центре этого электрического шторма, так что невозможно было разобрать, какою молнией вызывается тот или другой удар грома. Вся окружающая атмосфера то загоралась ярким пламенем, то погружалась во тьму. Все кругом трещало, грохотало. Мы каждую минуту ожидали, что молния ударит в «Эльсинору». И никогда я не видал таких оттенков молний. Нас поминутно ослепляли отдельные яркие вспышки, но в промежутках не прекращалась игра более слабого дрожащего света, то голубоватого, то красноватого, переходившего в тысячи оттенков.

А ветра не было — ни малейшего дуновения. И ничего не случилось. «Эльсинора», с подобранными парусами, с оголенными реями, под одними марселями, была готова ко всему. Неубранные паруса, отяжелев от дождя, свисали с мачт и хлопали о них всякий раз, как судно покачивалось. Сгрудившиеся тучи редели, небо прояснялось, зеленая мгла перешла в серый сумрак, молнии блистали реже и слабее, гром рокотал где-то вдали, а ветра все не было. Через полчаса засияло солнце, гром глухо доносился с горизонта, а «Эльсинора» продолжала покачиваться в мертвом штиле.

— Этого нельзя было предвидеть, сэр, — проворчал мистер Пайк, обращаясь ко мне. — Тридцать лет назад у меня на этом самом месте у Ла-Платы сломало мачту порывом ветра, налетевшим после такой же грозы.

Наступило время смены вахт, и мистер Меллэр, поднявшись на корму, чтобы сменить старшего помощника, стоял возле меня.

— Это одно из самых коварных мест океана, — подтвердил он. — Восемнадцать лет назад Ла-Плата и меня хорошо угостила. Мы тогда потеряли половину наших мачт, наш груз съехал к одному борту, судно легло на бок и в конце концов затонуло. Я двое суток проплавал на шлюпке, и, вероятно, мы погибли бы, если бы нас не подобрало английское судно. А из остальных шлюпок ни одной не нашли.

— «Эльсинора» хорошо вела себя вчера ночью, — весело сказал я.

— Ну, разве это буря! Не стоит и внимания, — проворчал мистер Пайк. — Вы подождите, пока не увидите настоящего шторма. Это — премерзкое место; не знаю, как другие, а я буду рад, когда мы выберемся отсюда. Я предпочел бы иметь дело с полдюжиной ревунов мыса Горн, чем с одним здешним. А вы, мистер Меллэр?

— Я тоже, сэр, — отозвался тот. — Те, юго-западные ветры — честные ребята. Знаешь, чего от них ожидать. А тут ничего не поймешь. Самый лучший из капитанов легко может споткнуться у Ла-Платы.

— «Как убедился я без всякого сомненья», — замурлыкал мистер Пайк из «Селесты» Ньюкомба, спускаясь по трапу.

ГЛАВА XXIX

Закаты становятся все причудливее и красивее у берегов Аргентины. Вчера вечером была такая картина: высокие облака белые с золотом, щедро и беспорядочно разбросанные по западной половине неба, а на востоке горит другой закат — вероятно, отражение первого. Но что бы это ни было, только вся восточная часть неба представляла сплошную грядку бледных облаков, от которых во все стороны тянулись нежно-голубые и белые лучи, падавшие на голубовато-серое море.

А накануне мы любовались роскошным пиршеством заката на западе. Начиная от самого моря, груды облаков громоздились друг на друга, разрастаясь вширь и ввысь, и наконец мы увидели Большой Каньон, в тысячи раз превосходивший размерами Каньон Колорадо. Облака приняли очертания таких же слоистых, зазубренных скал, а все впадины заполнялись опаловыми, голубыми и пурпурными тонами.

В «Морском Указателе» сказано, что эти необыкновенные закаты объясняются тонкой пылью, которую поднимают ветры, дующие в пампасах Аргентины, и которая потом долго носится в воздухе.

А сегодняшний закат... Я пишу это в полночь, сидя на койке, закутанный в одеяло и обложенный подушками, пока «Эльсинора» адски качается в огромной мертвой зыби, докатывающейся сюда от мыса Горн, где, по-видимому, никогда не прекращаются штормы. Ах да, я начал о сегодняшнем закате. Тернер

мог бы увековечить его. Вся западная сторона неба имела такой вид, будто живописец шутя раскидал мазки серой краски по зеленому полотну. На этом зеленом фоне неба то сгущались, то расходились облака. Но что за фон! Какое обилие зеленого цвета! Между молочными кудрявыми облаками были решительно все оттенки зеленого, — ни один не был забыт, начиная с цвета нильской воды и кончая голубовато-зеленым, буровато-зеленым, серовато-зеленым и удивительным оливковым, который, потускнев, перешел в богатейший бронзово-зеленый цвет.

В то же время вся остальная часть горизонта расцветилась широкими розовыми, голубыми, бледно-зелеными и желтыми полосами. Позднее, когда солнце уже заходило, на заднем плане клубящихся облаков одно облако зарделось винно-красным светом, который вскоре превратился в бронзовый и окрасил зеленый фон своим кровавым отблеском. А там все облака порозовели, и от них потянулись веером к зениту гигантские бледно-розовые лучи. Потом они вспыхнули розовым пламенем и долго горели в медленно сгущавшихся сумерках.

А несколько часов спустя, когда во мне еще не остыло впечатление от этих чудес природы, я услышал над головой рычанье мистера Пайка и топот, и шарканье ног людей, перебежавших от каната к канату. Очевидно, снова надвигался шторм, и, судя по тому, как спешно работали люди, он был недалеко.

* * *

И однако сегодня на рассвете мы все еще качались в том же мертвом штиле и в той же тошнотворной зыби. Мисс Уэст говорит, что барометр упал, но что прошло слишком много времени после данного нам предостережения, и, вероятно, оно кончится ничем. Шторм Ла-Платы налетает быстро, и хотя «Эльсинора» приготовилась к бою, может вполне случиться, что через какой-нибудь час она снова поставит все свои паруса.

Мистер Пайк был настолько обманут, что и в самом деле приказал поставить марсели, когда на палубу вышел Самурай, прошелся раза два по мостику и что-то вполголоса сказал. Мистеру Пайку это не понравилось. Даже мне, профану, было ясно, что он не согласен со своим командиром. Тем не менее он прорычал людям на реях приказ крепить паруса. И снова закипела работа: взяли паруса на гитовы, спустили верхние реи. Убрали некоторые второстепенные паруса, названий которых я не помню.

С юго-запада потянул ветерок, весело игравший при безоблачном небе. Я видел, что мистер Пайк в душе очень доволен: Самурай ошибся. И всякий раз, когда мистер Пайк поднимал глаза на оголенные реи, я читал его мысли: он думал, что они могли бы без всякого риска продолжать нести паруса.

Я был вполне уверен, что Ла-Плата обманула капитана Уэста. Такого же мнения была и мисс Уэст и, будучи, как я, привилегированной особой, откровенно высказала это мне.

— Через полчаса отец велит поставить паруса, — предсказала она.

Каким высшим чутьём предугадывает погоду капитан Уэст — я не знаю, но знаю, что обладает этим чутьем по праву Самурая. На небе, как я уже сказал, не было ни облачка. Воздух был пронизан солнечным светом. И вот — представьте себе — через каких-нибудь десять минут резкая перемена. Я ненадолго спулся в каюты и только что успел вернуться наверх, а мисс Уэст, поворачивая на глупые шутки Ла-Платы, собралась идти вниз и сесть за швейную машину, как мы услышали тяжкий вздох мистера Пайка. Это был демонстративный, иронический вздох человека, раздосадованного тем, что ему приходится сдаться и признать превосходство своего командира.

— Река Ла-Платы идет на нас всей ратью, — простонал он.

И мы, взглянув на юго-запад, по направлению его взгляда, увидели, что она в самом деле идет. Это была огромная туча, затмившая солнечный свет. Казалось, что она вздувается, растет и перекачивается через самое себя, приближаясь с невероятной быстротой, свидетельствующей о силе ветра, подгонявшего ее сзади. Скорость ее бега была стремительна, ужасающа, а под ней, приближаясь вместе с ней и заволакивая море, надвигалась гряда густого тумана.

Капитан Уэст опять что-то сказал старшему помощнику. Тот прокричал команду, и очередная смена, подкрепленная вызванной наверх второй сменой, принялась карабкаться по вантам и брать на гитовы паруса.

— Лево руля! Полный поворот! — спокойно скомандовал капитан Уэст рулевому.

И огромное колесо обошло полный круг, и нос «Эльсиноры» повернулся таким образом, что ее не могло снести назад порывом ветра.

Катившуюся на нас темноту прорезала молния, и, когда темнота докатилась до нас, прогремел гром.

Полил дождь. Налетел ветер. Нас обступила полная тьма. Молнии сверкали одна за другой. При каждой вспышке я видел людей на нижних реях, но в остальное время их не было видно в темноте. Их было по пятнадцать человек на каждой рее, и они сели убрать паруса, прежде чем налетел шквал. Как они спустились на палубу — я не знаю, не видел, так как «Эльсинора», неся только нижние и верхние паруса, вдруг легла на бок, черпнув воду левым бортом.

Не было никакой возможности без поддержки устоять на ногах на покатой палубе. Все за что-нибудь держались. Мистер Пайк откровенно обеими руками ухватился за перила кормы, а мы с мисс Уэст балансировали, цепляясь за что попало. Но Самурай — я это заметил — стоял в свободной позе, точно птица, готовая взлететь, и только одну руку положил на перила. Он не отдавал никаких приказаний.

Я понял, что в них и не было надобности: ничего нельзя было сделать. Он ждал — и только, спокойно и терпеливо. Положение было ясно: или мачты сломаются, или «Эльсинора» поднимется с уцелевшими мачтами, или не поднимется совсем.

А она лежала как мертвая, почти касаясь воды левыми реями, и море бурлило у ее люков, врываясь через погруженный в воду левый борт.

Минуты казались веками. Наконец нос судна поднялся, оно повернулось кормой вперед и выпрямилось. Как только это случилось, капитан Уэст снова поставил его под ветер. И тотчас же большой фок сорвало со стропов. Последовавший за этим толчок, или, вернее, ряд толчков, жестоко встряхивавших корпус «Эльсиноры», был ужасен. Казалось, судно развалится на куски. Командир и его помощник, когда сорвало фок, стояли рядом, и характерно для обоих было выражение их лиц. Ни то, ни другое лицо не выражало страха. На лице мистера Пайка блуждала кислая, ядовитая усмешка по адресу никуда не годных матросов, не удержавших фок. На лице капитана Уэста было ясное, задумчивое выражение.

Но делать пока было нечего. «Эльсинору» колотило и трепало так жестоко, словно она попала в пасть огромного свирепого зверя, и это продолжалось по крайней мере пять минут, пока не были сорваны последние лоскутья паруса.

— Наш фок отправился в Африку, — со смехом прокричала мне в ухо мисс Уэст.

Она, как и ее отец, не знает страха.

— А теперь мы смело можем сойти вниз и устроиться там по-домашнему, — сказала она спустя пять минут. — Худшее миновало. Теперь будет только дуть, дуть без конца и сильно качать.

Дуло весь день, и развело такое волнение, что поведение «Эльсиноры» стало почти нестерпимым. Единственным спасением было забраться на койку и обложиться подушками, которые Вада подпер со всех сторон пустыми ящиками из-под мыла. Мистер Пайк, проходя по коридору, остановился в дверях моей каюты и, держась за притолоку и широко расставив ноги для большей устойчивости, заговорил со мной.

— Никогда еще на моей памяти не бывало такого странного шторма, — сказал он. — С самого начала все шло наыворот. Шквал налетел не по правилам: для него не было причин.

Он постоял еще немного и, как будто случайно, мимоходом, заговорив сперва о другом (его дипломатические подходы при данных обстоятельствах были до смешного прозрачны), выложил наконец то, что бродило у него в голове.

Он начал с того, что ни к селу ни к городу припелл Поссума, спросив, не проявляет ли он каких-нибудь симптомов морской болезни. Затем облегчил свою душу, излив свое негодование на негодяев матросов, погубивших фок, и выразил свое сочувствие парусникам, на долю которых досталась лишняя работа. Потом он попросил позволения взять у меня книжку почитать, снял с полки, держась за мою койку, «Силу и Материю» Бюхнера и тщательно заложил пустое место сложенным вдвое журналом, употреблявшимся мной для этой цели.

И все-таки не уходил. Подыскивая предлог, чтобы заговорить о чем ему хотелось, он стал распространяться о коварной погоде Ла-Платы. Все это время я недоумевал, что же кроется за всем этим. Наконец выяснилось.

— Кстати, мистер Патгерст, не помните ли, как сказал мистер Меллэр: сколько лет назад их судно потерпело крушение у этих берегов?

Я сразу догадался, куда он гнет.

— Кажется, восемь лет назад, — солгал я.

Он проглотил мое заявление и так медленно переваривал его, что «Эльсинора» успела три раза перевалиться на левый борт и обратно.

— Какое же это судно затонуло у берегов Ла-Платы восемь лет назад? — размышлял он вслух. — Надо будет спросить мистера Меллэра, как оно называлось. Я что-то не припомню такого случая в те годы.

С несвойственной ему любезностью он поблагодарил меня за «Силу и Материю», — из которой, я знал, он не прочтет ни строчки, — и, придерживаясь за мою койку, направился к двери. В дверях он вдруг остановился, как будто пораженный какой-то новой, неожиданно осенившей его мыслью.

— А восемь ли, — не восемнадцать ли лет назад? Как он сказал?

Я покачал головой.

— Нет, восемь лет. Я хорошо это помню, хотя и сам не знаю, право, почему я запомнил. Но только он, наверное, сказал — восемь лет, — добавил я еще увереннее. — Да, восемь, — я отлично помню.

Мистер Пайк задумчиво посмотрел на меня, выждал момент, когда «Эльсинора» выпрямилась, и отошел от двери.

Мне кажется, я проследил весь ход его мыслей. Я давно уже заметил, какая замечательная у него память на все, что касается судов, их грузов, служащих на них офицеров, а также штормов и кораблекрушений. Он — настоящая энциклопедия мореходства. Мне было ясно, кроме того, что он заражен историей Сиднея Вальтгэма, и что ему просто хочется знать, не служил ли мистер Меллэр вместе с этим Вальтгэмом восемнадцать лет назад на том судне, которое погибло у Ла-Платы.

А пока что я не мог не сказать, что мистер Меллэр сделал непростительный промах. Ему следовало бы быть поосторожнее.

ГЛАВА XXX

Ужасная ночь! Удивительная ночь! Спал ли я? Кажется, засыпал на несколько минут, но клянусь, что я слышал каждую склянку вплоть до половины четвертого. Затем стало полегче. Не было больше этой упорной борьбы с ветром. «Эльсинора» двигалась. Я чувствовал, как она скользила по воде, ныряя носом и приподнимаясь на гребнях волн. Раньше она все время норовила лечь на левый борт, теперь она раскачивалась в обе стороны.

Я понял, что произошло. Вместо того, чтобы продолжать лежать в дрейфе, капитан Уэст повернул судно тылом к ветру и теперь уходил от него. А это, я знал, означало серьезную опасность, так как менее всего капитан Уэст хотел держать курс на северо-восток. Как бы то ни было, но раскачиванья судна стали не так резки, и я уснул.

Меня разбудил глухой тихий рокот волн, переклестнувших через борт «Эльсиноры», катившихся по палубе и разбивавшихся о стену моей каюты. В открытую дверь мне было видно, как залило коридор по крайней мере на полфута, а из-под моей койки выкатывалась вода и разливалась по полу всякий раз, как судно переваливалось на правый бок.

Буфетчик подал мне кофе, и я, обложенный подушками и ящиками, сел и, балансируя как эквилибрист, кое-как выпил его. По счастью я допил чашку вовремя, ибо рядом страшнейших толчков с одной из моих полок сбросило все книги. Поссум, лежавший у меня в ногах, пополз ко мне под прикрытием борта моей койки, взвизгивая в ужасе от каждого удара волн о стенку каюты, и окончательно ошалел, когда на нас обрушилась лавина книг. Я невольно улыбнулся, когда меня ударила по голове «Картонная корона», а бедному щенку досталось от честертоновского «Что нехорошо идет на свете?»

— Ну, что вы на это скажете? — спросил я буфетчика, помогавшего мне приводить в порядок книги.

Он пожал плечами, и его быстрые раскосые глазки заблестели, когда он ответил:

— Я много раз видел такое. Я — старый человек. Много раз видал и похуже. Много ветра — много работы. Плохо дело.

Я сообразил, что палуба должна представлять интересное зрелище, и в шесть часов, как только в моих иллюминаторах, в те промежутки, когда они не были под водой, показался серый свет рассвета, я с ловкостью гимнаста перелез через борт моей койки, поймал мои убегающие туфли и задрожал от холода, ступив босыми ногами на их мокрые подошвы. Я не стал тратить времени на одевание. В одной пижаме я пустился в путь, направляясь к корме, провожаемый грустным подвыванием Поссума, укорявшего меня в измене. Пробираясь по узким коридорам было настоящим подвигом. Время от времени я приостанавливался, цепляясь за все, что было под рукой, изо всей силы, так что у меня начали болеть пальцы. Выждав момент сравнительного затишья, я двинулся вперед. Но я плохо рассчитал. Широкий трап капитанской рубки нижним концом выходил в поперечный коридор футов в двенадцать длиной. Вся беда, приключилась от излишней моей самоуверенности и оттого, что «Эльсиноре» вдруг вздумалось выкинуть одну из самых диких ее шуток. Она бросилась на правый борт так неожиданно, что пол убежал у меня из-под ног, и я беспомощно поехал по наклонной плоскости. Я попытался было ухватиться за перила трапа, но успел только вовремя подставить руку, чтобы не удариться о них лицом, и, проделав в высшей степени ловкое сальто-мортале, уже падая, всей своей тяжестью ударился плечом о дверь каюты капитана Уэста.

Молодость всегда возьмет свое. То же можно сказать и о судне в море. Возьмут свое и сто тридцать фунтов человеческого мяса. Изящная, твердого дерева филенка двери раскололась, щеколда отскочила, и я обломал четыре ногтя на правой руке в тщетной попытке ухватиться за убегающую дверь, оставив на

ее полированной поверхности четыре параллельные царапины. И продолжая нестись вперед, я влетел в просторную каюту капитана Уэста с большой бронзовой кроватью.

Мисс Уэст, в теплом шерстяном капоте, с заспанными глазами и на этот раз с непричесанными чудными волосами, уцепившись за косяк двери каюты, выходившей в кают-компанию, ответила на мой испуганный взгляд таким же испуганным взглядом.

Мне было не до извинений. Продолжая мою бешеную скачку, я уцепился за спинку кровати и, описав полукруг, упал ничком на кровать капитана Уэста. Мисс Уэст засмеялась.

— Входите, милости просим, — сказала она.

У меня вертелось на языке десятка два весьма остроумных, но, к сожалению, неподходящих ответов, поэтому я ничего не сказал и удовольствовался тем, что, держась левой рукой за кровать, засунул подмышку правую ноющую руку. Из-за спины мисс Уэст был виден буфетчик, носившийся по полу кают-компании в погоне за Библией капитана Уэста и за тетрадью нот мисс Уэст. А она все смеялась надо мной, и пока я глядел на нее в этой интимной обстановке, в моем мозгу вдруг вспыхнула мысль: «Она — женщина. Она — желанная».



Мисс Уэст, в теплом шерстяном капоте, уцепившись за косяк двери каюты, выходившей в кают-компанию, ответила на мой испуганный взгляд таким же испуганным взглядом.

Почувствовала ли она это мимолетное невысказанное влечение? Не знаю, но она перестала смеяться, и долгая тренировка в понятиях условных приличий сказалась в следующих ее словах:

— Я только что проснулась, услышала, что в каюте отца катаются по полу вещи и подумала, что у него тут, наверное, страшнейший кавардак. Он не ложился всю ночь... Но что с вами? Вы ушиблись?

— Ободрал пальцы — только и всего, — ответил я, глядя на свои обломанные ногти и осторожно поднимаясь на ноги.

— Да-а, хороший был толчок, — сочувственно отозвалась она.

— Я направлялся на палубу и не рассчитывал очутиться на кровати вашего отца, — сказал я. — Боюсь, что я испортил дверь.

Тут «Эльсинору» снова начало трепать. Я опустился на кровать и ухватился за спинку. Мисс Уэст, прочно стоя в дверях, принялась опять смеяться, а за ней по ковру кают-компания пулей пролетел буфетчик, держа в объятиях маленькую конторку, которая, очевидно, сорвалась с подставки, когда он уцепился за нее, ища опоры. Новая партия волн ударилась о наружную стену каюты, и буфетчик, не найдя пристанища, пронесся обратно, продолжая бережно прижимать конторку к груди.

Улучив благоприятный момент, я кое-как вышел из каюты, но как только я добрался до трапа, начался новый ряд жестоких бросков. Держась за перила в ожидании возможности подняться, я не мог не думать о том, что только что видел. Ярким видением вставала передо мной мисс Уэст с заспанными глазами, с распущенными волосами, со всею своей женственной прелестью. «Женщина, желанная», — билось у меня в мозгу.

Но все это выскочило у меня из головы, когда, добравшись уже почти до верхушки трапа, я полетел вверх также стремительно, как обыкновенно падают вниз. Ноги мои сами собой перелетали со ступеньки на ступеньку, спасая меня от падения, и я несся или падал вверх, пока, очутившись на палубе, не уцепился за что-то ради спасения жизни, так как корма «Эльсиноры» летела под небеса на гребне огромной волны.

Как могло такое громадное судно выделять такие гигантские прыжки? Старое, стереотипное слово «игрушка» было бы вполне применимо в данном случае: «Эльсинора» была действительно игрушкой, игрушечной дощечкой в когтях стихий. И все-таки, несмотря на подавляющее чувство своей беспомощности при такой микроскопически малой величине судна, у меня было сознание нашей безопасности. С нами был Самурай. Подчиняясь его мудрой воле, «Эльсинора», я знал, не легко достанется на съедение морю. Все было предусмотрено Самураем, все было под его контролем. Она делала то, что он ей приказывал. Пусть ревут вокруг нее и треплют ее хоть все титаны бури, она будет продолжать делать то, что он ей прикажет.

Я заглянул в капитанскую рубку. Он сидел там на привинченном к полу кресле, откинувшись назад, упираясь ногами в стойку и сохраняя таким образом прочное положение при самой сильной качке. Его черный клеенчатый

плащ сверкал при свете лампы мириадами капель морской воды, свидетельствующими о том, что он только что был на палубе. Его черная блестящая шапка казалась шлемом легендарного героя. Он курил сигару и, увидев меня, приветливо улыбнулся. Он казался очень утомленным, очень старым, но мудрым, а не слабым старцем. Его измученное лицо, с которого сбежали все краски, было прозрачнее прежнего, но никогда еще не было оно таким спокойно-ясным, и никогда он не был таким самодержавным владыкой нашего крошечного, хрупкого мирка. Не годы земной человеческой жизни состарили его. Это не была обыкновенная старость. Он не имел возраста, не знал страстей, он был сверхчеловеком. Никогда не представлялся он мне таким великим, таким далеким, таким бесплотным гостем из нездешнего мира. Серебристо-мелодичным голосом он предостерегал меня и давал мне советы, когда я стал пытаться открыть дверь рубки, чтобы выйти на палубу. Он знал, когда наступит для этого удобный момент, которого я сам ни за что не угадал бы, и объяснил мне, как пробраться на корму.

По всей палубе гуляла вода. «Эльсинора» пробивалась сквозь бурлящий поток. Море пенилось и лизало край кормовой палубы то справа, то слева. Взлетая высоко в воздух, волны гнались за кормой и низвергались на нее, грозя гибелью судну. Воздух был насыщен водяными каплями, как туман или как пена. На корме не было вахтенного офицера. Она была пуста, если не считать двух рулевых в кожаных куртках, с которых струилась вода, — стоявших под сомнительным прикрытием полуоткрытой будки штурвала. Я поздоровался с ними.

Один был Том Спинк, пожилой, но очень живой и надежный английский матрос. Другой — Билль Квигли, один из трех друзей, всегда державшихся вместе на баке, хотя двое остальных — Фрэнк Фицгиббон и Ричард Гилер — были в смене мистера Меллэра. Эта тройка умела работать кулаками и была сильна своей сплоченностью. Она вела правильную войну с шайкой трех висельников и отвоевала себе некоторую независимость. Ни один из них не был матросом в строгом смысле (мистер Меллэр в насмешку называл их «каменщиками»), но они решительно отказались подчиниться тем трем и добились успеха.

Пройти по палубе расстояние от рубки до кормы было нелегкой задачей, но я справился с ней. Я стоял на корме, крепко держась за перила, а ветер больно хлестал меня по лицу полами моего плаща. На один момент «Эльсинора» выпрямилась и рванулась вперед, нырнув в провал между волнами. Вся палуба наполнилась водой от борта до борта. Над этим потоком, по колено в воде, уцепившись за ванты бизань-мачты, стояли мистер Пайк и с полдюжины матросов. В числе их был плотник с двумя своими помощниками.

Следующим валом плеснуло через борт с полтысячи тонн воды; все шпигаты правого борта открылись, вода хлынула из них широкими струями. Затем, когда качнуло в обратную сторону, железные дверцы правых шпигатов со звоном захлопнулись, и сотни тонн воды вылились через левый борт и в открывшиеся дверцы левых шпигатов. Не надо забывать, что все это время «Эльсинора» бешено неслась, взлетая на гребни волн и падая в провалы между ними.

Из парусов были поставлены только три верхних марселя. Мне до сих пор еще не приходилось видеть «Эльсинору» с такой минимальной парусностью, но три узких полоски парусины, казавшиеся железными листами, — так туго они надулись под напором ветра, — гнали ее вперед с невероятной быстротой.

Когда с палубы схлынула вода, матросы принялись за работу. Одна группа, под предводительством страшного мистера Пайка, занялась вылавливанием досок и кусков стали. В ту минуту я не мог понять, что это за обломки. Плотник и еще два человека бросились к люку номер три и торопливо стали работать топорами. И я понял, почему капитан Уэст повернул судно тылом к шторму. Люк номер три был разворочен. В числе других повреждений был сломан большой брус, который называют «твердым хребтом». «Эльсиноре» надо было спастись бегством от шторма, чтобы не затонуть. Прежде чем палубу снова залило водой, я успел разглядеть, какой починкой занимался плотник: он заколачивал новыми досками люк, чтобы тот не пропускал воду.

Когда «Эльсинора» окунулась в море левым бортом, зачерпнув несколько сот тонн воды Атлантического океана, и непосредственно, вслед за тем погрузилась в воду правым бортом и на нее обрушились еще сотни тонн воды, все люди побросали работу и снова уцепились за ванты, спасая свою жизнь. Они скрылись с головой в шипящей пене. Когда они снова показались из воды, я пересчитал их: все были целы. Они выжидали, когда с палубы схлынет вода.

Груда обломков, за которой гонялись мистер Пайк и матросы, пронеслась по палубе к носу, а когда корма «Эльсиноры» нырнула в пропасть, — понеслась обратно и ударилась о стенку рубки. Я признал в этой груде обломки мостика. Не хватало той его части, которая шла от бизань-мачты к средней рубке. Шлюпка у правого борта против средней рубки была разбита в щепы. Следя за усилиями людей поймать сорванную часть мостика, я вспомнил великолепное описание у Виктора Гюго борьбы матросов с корабельной пушкой, сорвавшейся с цепей в бурную ночь. Но это было не совсем то же. Во всяком случае картина, нарисованная Виктором Гюго, волновала меня сильнее, чем эта подлинная борьба, происходившая у меня на глазах.

Я уже не раз повторял, что в море черствеешь. И теперь, стоя на краю юта в своей промокшей и пронизываемой ветром пижаме, я понял, насколько я сам очерствел. Я не испытывал никакого беспокойства за этих людей, представителей бака, с опасностью для жизни барахтавшихся подо мной в тяжелой борьбе. Они не шли в счет. Мне даже любопытно было посмотреть, что произойдет, если лавина воды, обрушившись на судно, захватит их прежде, чем они успеют добежать до спасительных вантов.

И я увидел. Мистер Пайк, разумеется, во главе своей артели, по пояс в бурлящей воде, бросился вперед поймать часть обломков мостика, обмотал их веревкой и закрепил на месте, обернув другой конец веревки вокруг бизань-мачты. «Эльсинора» легла на левый бок, и над бортом поднялась футов на двенадцать огромная зеленая стена. Люди бросились спасаться. Но мистер Пайк, не выпуская веревки, остался на месте и, храбро глядя на эту зеленую стену,

принял ее на себя. Когда вода схлынула, я увидел, что он продолжает стоять с веревкой в руках.

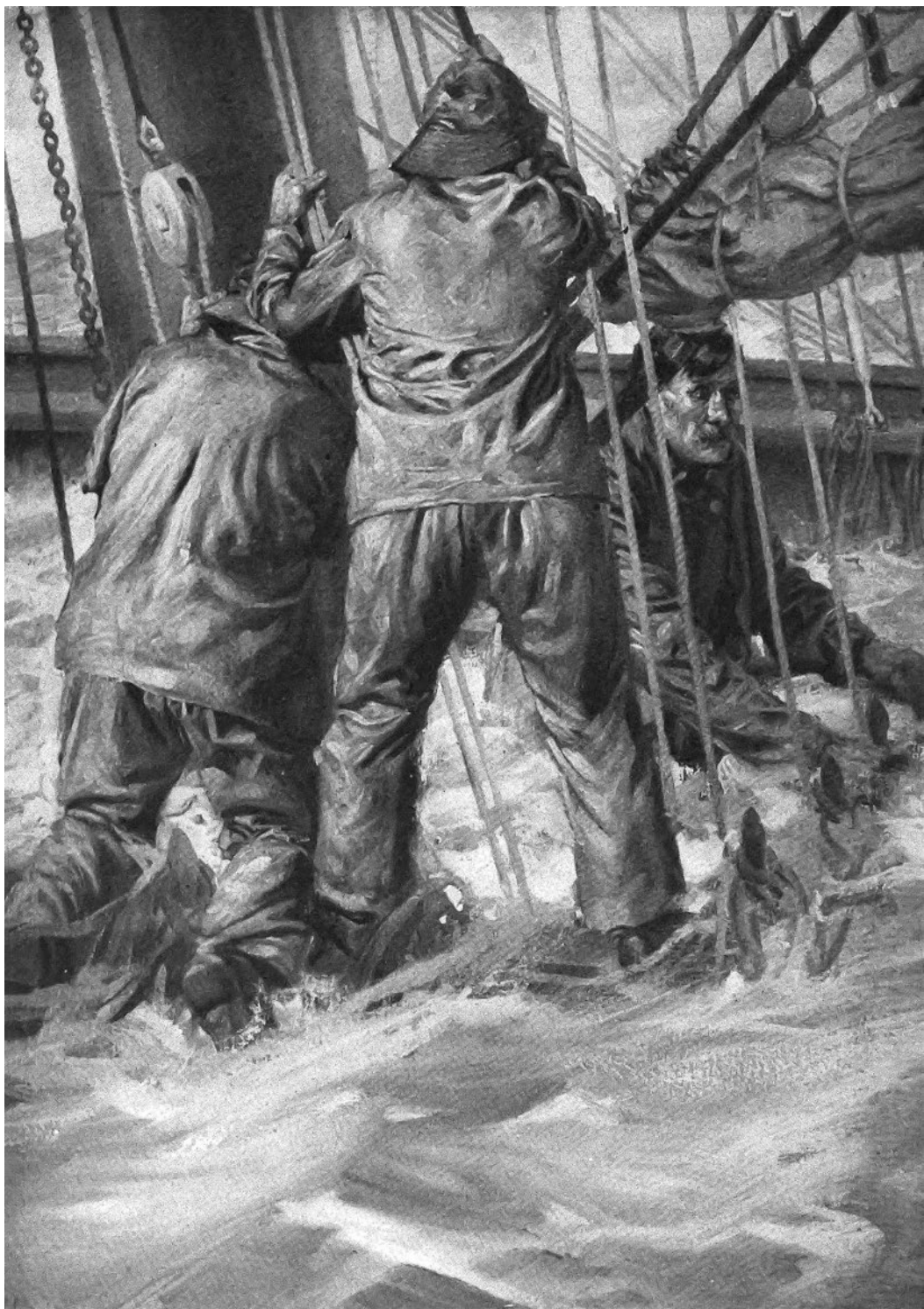
Слабоумный фавн, глухой, как тетеря, первый двинулся на помощь к мистеру Пайку. За ним пошел и Тони, грек-самоубийца, а за Тони и остальные — Коротышка, Генри, юнга с учебного судна; последним, разумеется, Нанси, с таким, лицом, точно его вели на казнь.

Воды на палубе было теперь только по колено, но она бежала со стремительностью горного потока, когда мистер Пайк и шестеро матросов подняли обломки и понесли их к баку. Они шатались, спотыкались, но все-таки шли. Плотник первый заметил новую грозную опасность: на них шла справа огромная гора воды. Я слышал, как он крикнул матросам, прежде чем бросился бежать, потом мистеру Пайку. Но для мистера Пайка и его людей не было спасения. С высоты не менее пятнадцати футов над бортом и двадцати над палубой море ринулось через правый борт по направлению к средней рубке. С крыши рубки точно слизало обломки шлюпки. Волна, ударившись о стену рубки, взметнулась вверх до нижнего рея. И вся эта масса воды вместе с обломками накрыла мистера Пайка и его людей.

Они исчезли. Мостик тоже исчез. «Эльсинора» качнулась влево, и всю палубу залило водой от борта до борта. Затем она зарылась носом, и вся эта масса воды хлынула к носу. Из бурлящей пены показывалась то чья-нибудь рука, то голова, то спина, а острые края сорванных досок и перекрученных стальных прутьев свидетельствовали о том, что в этом водовороте носятся обломки. Я спрашивал себя, кто из матросов оказался под обломками, и с ужасом думал о том, что должны были перенести попавшие туда люди. Но все же не об этих людях беспокоился я. Я чувствовал, что тревожусь только о мистере Пайке. По своему общественному положению он был мне равным: он принадлежал к одному со мной классу, был человеком моей касты. Мы оба занимали на «Эльсиноре» почетное место, ели за одним столом. От всей души я желал, чтобы он не погиб. До остальных мне не было дела. Они не принадлежали моему миру.



Из бурлящей пены показывалась то чья-нибудь рука, то спина, а острые края сорванных досок свидетельствовали о том, что в этом водовороте носятся обломки.



И тут этот невероятный старик, поднялся из воды во весь рост и пошел,



волоча за собой — по одному человеку в каждой руке.

Я думаю, шкиперы блаженной памяти прошлого чувствовали то же самое по отношению к своему грузу невольников, запертых в зловонном трюме.

Нос «Эльсиноры» подскочил вверх, а корма упала в кипящую бездну. Ни один человек не встал на ноги. И обломки мостика и людей понесло назад в мою сторону и прижало к снасти бизань-мачты. И тут этот удивительный, невероятный старик, поднялся из воды во весь рост и пошел, волоча за собой — по одному человеку в каждой руке, — безжизненные тела Нанси и фавна. Сердце чуть не выскочило у меня из груди при виде этой мощной фигуры. Правда, этот человек был истязатель и убийца, но он первый бросился навстречу опасности, подавая пример своим рабам, и он же спас двоих от смерти, ибо они, наверно, захлебнулись бы, если бы не он.

Я почувствовал гордость, почти благоговение, глядя на него. Я был горд сознанием, что и у меня голубые глаза, как у него, что и у меня, как у него, белая кожа, что мое место на юте рядом с ним и с Самураем, — почетное место одного из правящих, из господ. Я чуть не плакал от горделивого чувства, пробежавшего холодной дрожью по моей спине и в моем мозгу. Ну, а остальные — эти вырожденные и отверженцы, эти темнокожие полукровки, ублюдки, остатки давно покоренных рас, — могли ли они идти в счет? У меня не дрогнул ни один мускул, когда они погибали. О Господи! В течение десяти тысяч поколений и веков мы попирали их ногами, поработали, заставляя творить нашу волю.

Опять «Эльсинора» качнулась вправо, потом влево, и пену дохлестнуло до нижних рей, и тысячи тонн Атлантического океана покатались от борта к борту. И опять всех сбило с ног, и они очутились под катившимися над ними обломками досок. И снова этот необыкновенный белокожий гигант вынырнул невредимым, крепко держась на ногах и держа, точно крыс, по человеку-ублюдку в каждой руке. По пояс в воде, он пробился сквозь ревущий поток, сдал свою ношу на попечение плотника и вернулся за Ларри. Он помог ему подняться на ноги и довел его до перил. Когда вода немного спала, Тони сам пополз на четвереньках и в изнеможении упал у перил. Теперь он не проявлял никаких поползновений на самоубийство. Но как он ни старался, он не мог подняться, пока мистер Пайк, схватив его за шиворот одной рукой, не поднял на воздух и не бросил в объятия плотника.

Следующий на очереди был Коротышка. По лицу его текла кровь, одна рука висела как мертвая, сапоги свалились. Мистер Пайк и его сунул к перилам и вернулся за последним потерпевшим. Это был Генри, юнга с учебного судна. Он был недвижим. Я еще раньше заметил, что он не боролся с волнами. Когда палубу заливало водой, он, как утопленник, всплывал на поверхность, а когда вода катилась к корме, его уносило потоком и прибывало к рубке. Мистер Пайк, теперь уже по горло в воде, два раза падал на колени под напором волн, но все-таки поймал бедного малого, взвалил на плечи и донес до бака.

Час спустя я встретил мистера Пайка в каюте: он шел завтракать. Он переоделся и даже побрился. Скажите, можно ли было отдать должное такому герою иначе, чем это сделал я, сказав как будто вскользь:

— А вам пришлось поработать в эту вахту!

— Да, признаюсь, я порядком промок, — ответил он небрежно.

И только. Ему некогда было заметить, что я стоял на корме и видел все. Для него это была повседневная судовая работа, работа человека. Я был единственным из представителей юта, знавшим о его подвиге и знавшим только потому, что случайно был его очевидцем. Не окажись я на юте в этот ранний час, никто так и не узнал бы, на какие великие дела способен этот человек в минуты опасности.

— Никто не пострадал? Все целы? — спросил я.

— Кое-кого из матросов помяло. Но кости у всех целы. Генри полежит денек. Его перевернуло волной, и он ушиб голову. А у Коротышки, кажется, вывихнуто плечо... А знаете, ведь Дэвис-то опять на верхней койке. Его каюту затопило, и ему пришлось перебраться наверх. Лежит теперь мокрый, как мышь. Да так ему и надо; жалею только, что ему еще мало досталось. — Он замолчал и вздохнул. — Старею я — вот мое горе. Надо было свернуть ему шею, да что-то нет охоты. Ну да все равно: уж быть ему за бортом, прежде чем мы придем на место.

— Месячное жалованье на фунт табаку, что он не будет за бортом, — предложил я.

— Нет, будет, — сказал мистер Пайк. — Держу пари хоть на фунт табаку, хоть на все мое месячное жалованье, что я буду иметь удовольствие привязать ему к ногам мешок угля так, что он никогда не отвяжется.

— Идет! — сказал я.

— Идет! — повторил мистер Пайк. — А теперь я, пожалуй, не прочь и поесть малость.

ГЛАВА XXXI

Чем больше я вижу мисс Уэст, тем больше она нравится мне. Объясняйте это постоянным общением, моим одиночеством, — чем хотите. Я, по крайней мере, не берусь объяснить. Знаю только, что она — женщина, и желанная. И я, кажется, даже горжусь тем, что я такой же мужчина, как и всякий другой. Ночные чтения и настойчивое преследование, которому я подвергался в прошлом со стороны женского пола, на мое счастье, не окончательно испортили меня.

Меня преследуют эти слова: женщина — и желанная. Они горят в моем мозгу, заполняют мои мысли. Направляясь на палубу, я часто делаю крюк, чтобы только взглянуть в открытую дверь каюты на мисс Уэст, когда она не знает, что я на нее смотрю. Удивительное создание — женщина! Удивительные женские волосы! В женственной мягкости есть что-то чарующее... О, я знаю, что такое женщины, но именно потому, что я знаю, меня еще сильнее тянет к ним. Я знаю — готов прозакладывать душу, — что мисс Уэст разбирала меня по ста-

тням, как возможного мужа, в тысячу раз чаще, чем я ее как жену, и все же она — женщина, и желанная.

Мне беспрестанно вспоминается неподражаемое четверостишие Ришара Ле Галльена:

Будь я женщиной, я весь день воспевал бы
В святых песнопениях свою красоту,
Пред ней склонялся бы в благоговейном страхе
И «женщина я!» твердил бы весь день.

Советую всем философам, страдающим мировой скорбью, предпринять продолжительное путешествие морем в обществе такой женщины, как мисс Уэст.

Отныне я в этом рассказе не буду больше называть ее «мисс Уэст». Для меня она уже не мисс Уэст. Она — Маргарет. Я больше не думаю о ней как о мисс Уэст, — я думаю о ней как о Маргарет. Это — красивое, женственное имя. Какой поэт придумал его? Я никогда не устаю его повторять. Маргарет! Оно само просится на язык. Маргарет Уэст! Оно околдовывает, это имя, вызывает мечты, оно преисполнено таинственного значения. В нем вся история нашей непостоянной расы. В нем гордость, власть, отвага и победа. Когда я твержу его про себя, предо мной проносятся видения изящных, с изогнутыми носами кораблей, крылатых шлемов, стальных шпор, беспокойных людей, царственных любовников, отважных искателей приключений, смелых бойцов. Да, даже и теперь, в эти дни, когда нас убивает жгучее солнце, мы все-таки сидим на почетных местах правящих и господ.

Кстати — ей двадцать четыре года. Я спрашивал мистера Пайка, в котором году произошло столкновение «Дикси» с речным пароходом в бухте Сан-Франциско. Оказывается, в тысяча девятьсот первом. Маргарет было тогда двенадцать лет, а теперь у нас тысяча девятьсот тринадцатый год. Да будет благословенна умная голова, выдумавшая арифметику. Ей двадцать четыре года, ее зовут Маргарет, и она желанная.

О многом еще придется рассказать. Где и как кончится это сумасшедшее плавание с этой сумасшедшей командой — невозможно предугадать. Но «Эльсинора» подвигается вперед день за днем, и день за днем ее история записывается кровью. А пока здесь совершаются убийства, пока вся эта плавающая драма приближается к холодным широтам Южного океана и к ледяным ветрам мыса Горн, я сижу на почетном месте с господами и — говорю это с гордостью — не боюсь (и опять-таки с гордостью говорю) в экстазе и без конца про себя: «Маргарет — женщина, Маргарет — желанная».

Но возвращаюсь к рассказу. Сегодня первое июня. Со дня шторма прошло десять дней. Как только лок номер три был исправлен, капитан Уэст снова повернул судно по ветру, лег в дрейф и ушел от шторма. С тех пор и в штиль, и в дождь, и в туман, и в бурю мы подвигаемся на юг, и сегодня мы уже почти

поравнялись с Фолклендскими островами. Берега Аргентины остались на западе, далеко за линией горизонта, и сегодня утром мы пересекли пятидесятую параллель южной широты. Отсюда начинается обход мыса Горн — с пятидесятой южной параллели Атлантического океана до пятидесятой параллели Тихого океана, — так определяют его мореплаватели.

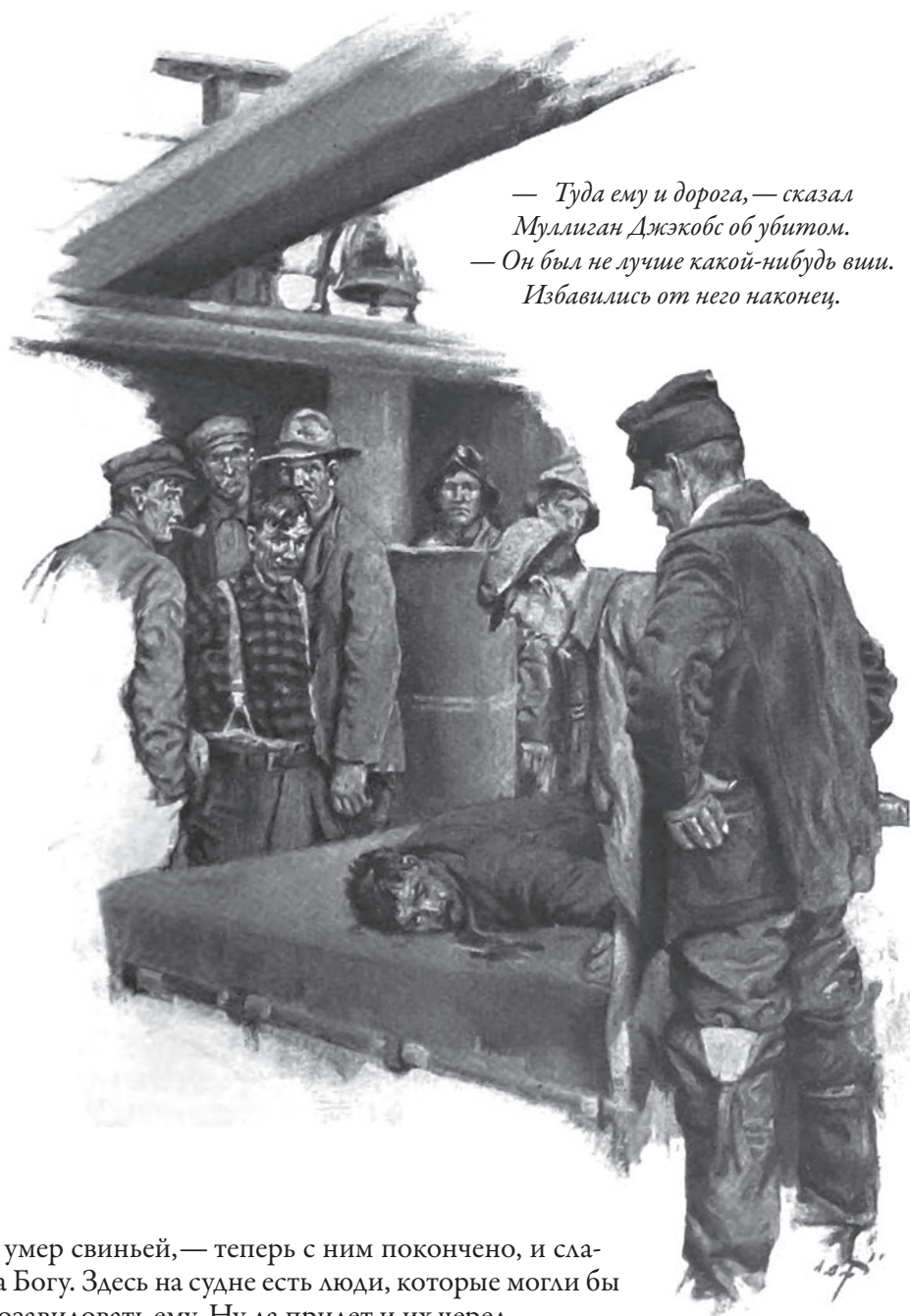
В отношении погоды у нас пока все благополучно. «Эльсинору» мчит попутный ветер. С каждым днем становится холоднее. Большая печь в кают-компании раскалена добела и гудит, и все выходящие сюда двери открыты, так что во всем кормовом помещении тепло и уютно. Но на палубе лютый холод, и мы с Маргарет надеваем теплые перчатки, когда прогуливаемся по корме или идем по исправленному мостику к средней рубке смотреть цыплят. Вот уж подлинно несчастные существа, рабы инстинкта и климата! Приближаясь к южной зиме мыса Горн, когда им нужны все их перья, они начинают линять, потому, надо думать, что на их родине теперь лето. Или, быть может, период линьки обуславливается тем временем года, когда они родились? Надо будет спросить Маргарет, — она должна знать.

Вчера делались зловещие приготовления к обходу мыса Горн. Все брасы были сняты со шпилей главной палубы и приспособлены таким образом, чтобы можно было орудовать ими с крыш всех трех рубок.

Так, фок-брасы проходят теперь к крыше бака, грот-брасы к крыше средней рубки, а бизань-брасы к корме. Очевидно, ожидается, что главную палубу будет часто заливать водой. Так как нагруженное судно глубоко сидит в воде, то на случай сильного волнения от кормы к носу вдоль обоих бортов протянули спасательные веревки на высоте плеч человека. Кроме того, обе железные двери, открывающиеся прямо на палубу на правой и на левой стороне заделаны наглухо. Их откроют только тогда, когда мы войдем в Тихий океан на пути к северу.

А пока мы подходим к самой бурной полосе в мире, готовимся к битве со стихиями, и наше положение на судне становится все мрачнее. Сегодня утром Петро Маринкович, матрос из смены мистера Меллэра, был найден мертвым у люка номер один. На теле было несколько ножевых ран, и горло было перерезано. Вне всякого сомнения, это — дело рук одного или нескольких разбойников с бака, но из них ничего не выжмешь. Виновные, конечно, молчат, а остальные, может быть, и знают, но боятся говорить. Еще до полудня тело спустили за борт с неизбежным мешком угля. Человек был и отошел в прошлое. А те, живые, на баке напряженно чего-то ждут. Перед обедом я ходил на бак и в первый раз заметил определенную враждебность по отношению ко мне. Они хорошо понимают, что я принадлежу к почетной гвардии юта. Ничего не было сказано, но по тому, как все они смотрели на меня или избегали смотреть, можно было с уверенностью сказать, в чем тут дело. Только Муллиган Джэкобс и Чарльз Дэвис снизошли до беседы со мной.

— Туда ему и дорога, — сказал Муллиган Джэкобс об убитом. — Он был не лучше какой-нибудь вши. Избавились от него наконец. Он жил свиньей



— Туда ему и дорога, — сказал
Муллиган Джэкобс об убитом.
— Он был не лучше какой-нибудь вши.
Избавились от него наконец.

и умер свиньей, — теперь с ним покончено, и слава Богу. Здесь на судне есть люди, которые могли бы позавидовать ему. Ну да придет и их черед.

— Вы хотите сказать, что... — начал было я.

— Можете думать все, что вам угодно, — ядовито засмеялся мне в лицо гнусный уродец.

Я заглянул в железную каморку Чарльза Дэвиса, и он тотчас же начал изливаться передо мной.

— Хорошенькое дельце для суда в Сиэтле, — радовался он. — Оно только подкрепит мою жалобу. А вы посмотрите, что будет, когда за мое дело возьмутся репортеры. Они хорошо заработают на нем. «Безобразные порядки на „Эльсиноре“! Возмутительные порядки!» и так далее.

— Я не видел пока никаких безобразий, — проговорил я холодно.

— А вы не видели, как обращаются со мной! Не знаете, в каком аду мне приходится жить?

— Я знаю только, что вы — хладнокровный убийца.

— Это выяснит суд, сэр. Вам придется лишь удостоверить факты.

— Я покажу, что, будь я на месте старшего помощника, я повесил бы вас за убийство.

Его глаза метали искры.

— Я прошу вас, сэр, припомнить этот наш разговор, когда вы будете говорить под присягой! — крикнул он вне себя.

Признаюсь, этот человек внушал мне невольное уважение, почти восхищение.

Я оглядел его убогую железную каморку. Во время шторма ее затопило водой. Белая краска облезла во многих местах, и на обнажившемся железе была ржавчина. Пол был до невозможности грязен. Каюта вся пропиталась зловонным запахом его болезни. На полу стояла кастрюля и прочая немытая после еды посуда. Одеядо его было мокро, платье на нем тоже мокро. В углу валялась куча мокрого грязного белья. Он лежал на той самой койке, на которой он пробил голову О'Сюлливану. Много месяцев прожил он в этой гнусной дыре, и если он хотел жить, ему предстояло провести в ней еще много месяцев. Но хоть я не мог не восхищаться его кошачьей живучестью, сам он был ненавистен и противен мне до тошноты.

— И вы не боитесь? — спросил я его. — Почему вы думаете, что доживете до конца нашего плавания? Вы знаете, состоялось пари по этому вопросу.

Он быстро приподнялся на локте и наострил уши: он, видимо, был задет за живое.

— Вы, конечно, побоитесь сказать мне, кто держал это пари, — усмехнулся он.

— Я лично держу за вас, за то, что вы доживете, — сказал я.

— Это значит, что другая сторона полагает, что я не доживу, — подхватил он с волнением. — А это в свою очередь значит, что здесь, на «Эльсиноре», есть люди, материально заинтересованные в том, чтобы отправить меня на тот свет.

В эту минуту буфетчик, направлявшийся с кубрика на ют, мимоходом остановился в дверях и, ухмыляясь, стал прислушиваться к нашему разговору.

— Ну что же, так и запишем, — продолжал Чарльз Дэвис. — А вас, сэр, я прошу показать на суде в Сиэтле насчет этого пари. Если только вы не солгали беспомощному больному человеку, то, я надеюсь, вы не станете лгать под присягой.

Чарльз Дэвис положительно не угадал своего призвания. Ему следовало бы быть юристом на суше, а не матросом на море. Он добился чего хотел, уязвив меня и заставив ответить:

— Да, я расскажу на суде все, как было. Но, откровенно говоря, я не думаю, чтобы я выиграл пари.

— Вы его наверняка проиграете, — вмешался буфетчик, кивая головой. — Этот парень очень скоро умрет.

— Держите с ним пари, сэр, — подзадорил меня Дэвис. — Ручаюсь, что вы останетесь в барышах.

Положение создавалось достаточно нелепое и смешное, и меня припутали так неожиданно, что я не нашелся, что ответить.

— Деньги верные, — приставал ко мне Дэвис. — Я не умру. Послушайте, буфетчик, — сколько вы предполагаете поставить?

— Пять долларов, десять долларов, двадцать долларов, — ответил буфетчик, презрительно пожимая плечами и давая этим понять, что для него тут дело не в сумме.

— Очень хорошо. Мистер Патгерст принимает пари — скажем, на двадцать долларов. Согласны, сэр?

— Отчего же вы сами не держите с ним пари? — спросил я.

— Я тоже буду держать. Буфетчик, я ставлю двадцать долларов за то, что я не умру.

Буфетчик покачал головой.

— Ну, мои двадцать против ваших десяти, — хотите? — настаивал больной. — Что же вы упираетесь? Чего вы боитесь?

— Ты жив — я проиграл, я плати. Ты умер — я выиграл, а ты мертвый. Кто же будет платить? — объяснил буфетчик.

И он отправился своей дорогой, продолжая ухмыляться и качать головой.

— Все равно, сэр, он будет полезным свидетелем, — засмеялся Дэвис. — А репортеры... Увидите, как жадно они набросятся на мое дело.

Собирающаяся в каюте повара клика азиатов имеет свои подозрения относительно смерти Маринковича, но не высказывает их. Ни от Вады, ни от буфетчика я ничего не мог вытянуть. Оба только покачивают головами и бормочут что-то непонятное. Попробовал я говорить с парусником, но он только жалуется, что у него опять разболелась рука, и говорит, что не дождется, когда мы придем в Сиэтл, и можно будет посоветоваться с врачами. А когда я стал допрашивать его об убийстве, он дал мне понять, что это дело не касается слушающих на судне китайцев и японцев. «А я — японец», — добавил он.

Но Луи, китаец-полукровок с оксфордским произношением, был откровенен. Я поймал его по дороге от кубрика к складу, куда он шел за провизией.

— Мы чужие этим людям, сэр, мы другой расы, и для нас всего безопаснее не вмешиваться в их дела, — сказал он. — Мы много толковали об этом между собой и ничего не можем сказать, сэр, решительно ничего. Войдите в мое положение. Я работаю на баке, я нахожусь в постоянном общении с матросами,

я даже сплю в одном с ними помещении, и я один против многих. Единственный мой соплеменник на судне — буфетчик, но он помещается на юте. Ваш слуга и оба парусника — японцы. Нам они не слишком близкая родня, хоть мы и условились держаться вместе и в стороне ото всего, что бы ни случилось.

— А Коротышка? — сказал я, вспомнив то, что говорил мистер Пайк об его смешанной национальности.

— Мы его не признаем, сэр, — сладко протянул Луи. — Не то он португалец, не то малаец, немножко, правда, японец, но он полукровок, сэр, а полукровок — тот же ублюдок. К тому же он дурачок. Не забывайте, сэр, что нас очень мало я что наше положение вынуждает нас держать нейтралитет.

— У вас, я вижу, мрачный взгляд на вещи, — сказал я. — Но чем же все это кончится, — как вы думаете?

— До Сиэтла-то мы, вероятно, дойдем, по крайней мере некоторые из нас. Но я вам вот что скажу: всю мою долгую жизнь я провел на море, но никогда еще не видал такой команды. Настоящих матросов у нас почти нет, дурных людей много, а остальные — сумасшедшие или что-нибудь еще похуже. Заметьте, сэр, я не называю имен, но есть здесь люди, с которыми я не хотел бы быть во вражде. Я всего только повар Луи. Я делаю свое дело по мере сил и умения — вот и все.

— Ну, а дойдет до Сиэтла Чарльз Дэвис, — как, по-вашему? — спросил я и, меняя тему разговора в знак того, что я признаю за ним право на сдержанность.

— Не думаю, сэр, — ответил он, поблагодарив меня взглядом за внимание. — Буфетчик мне говорил, будто вы держали пари, что он доживет до Сиэтла. Думаю, сэр, что вы проиграете. Нам скоро предстоит обход мыса Горн. Я делал его много раз. У нас теперь середина зимы, и мы идем с востока на запад. Каюта Дэвиса целыми неделями будет под водой, никогда не просыхая. Даже здоровый, крепкий человек не выдержит такой сырости, а Дэвис далеко не здоров. Сказать вам, одним словом, сэр, я знаю, в каком он состоянии: ему совсем плохо. Врачи могут продлить его жизнь, но здесь, в этой мокрой норе, его ненадолго хватит. Много раз приходилось мне видеть, как люди умирают в море. Для меня это не ново, сэр... Прошу прощения, сэр, благодарю вас.

И хитрый китаец-англичанин поспешил ретироваться с низким поклоном.

ГЛАВА XXXII

Дела обстоят хуже, чем я воображал. За последние семьдесят два часа произошло два эпизода. Во-первых, мистер Меллэр спасовал. Он, видимо, не в силах выдерживать то напряженное состояние, в какое приводит его сознание, что на одном с ним судне находится человек, поклявшийся отомстить за убийство капитана Соммерса, тем более что человек этот — грозный мистер Пайк.

Уже несколько дней, как мы с Маргарет обратили внимание на налитые кровью глаза и на измученное лицо второго помощника; нам даже приходило

в голову, не болен ли он. А сегодня секрет вышел наружу. Вада не любит мистера Меллэра, и утром, когда он принес мне кофе, я по его лукаво блестящим раскосым глазам догадался, что он заряжен какой-то свежей сенсационной судовой сплетней.

И я узнал от него, что в течение нескольких дней они с буфетчиком старались раскрыть некую тайну. Из большой жестянки с древесным спиртом, стоявшей на полке в задней каюте, исчезла значительная часть ее содержимого. Поделившись друг с другом своими наблюдениями, они превратились в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Они начали с того, что установили ежедневную убыль спирта. Затем, измеряя количество спирта в жестянке по несколько раз в день, дознались, что убывает он всегда непосредственно после обеда. Это заставило их обратить внимание на двух подозрительных лиц — на второго помощника и на плотника, так как только они двое обедали в задней каюте. Остальное было легко. Всякий раз, как мистер Меллэр приходил к обеду раньше плотника, спирт убывал, а когда они приходили и уходили вместе, он оставался нетронутым. Кроме того, плотник никогда не оставался один в задней каюте. Силлогизм был закончен. И теперь буфетчик прячет спирт у себя под койкой.

Но ведь древесный спирт — смертельный яд. Какой крепкий организм должен быть у этого пятидесятилетнего человека! Не удивительно, что его глаза налились кровью. Остается только удивляться, что эта гадость еще не убила его.

Я ни слова не сказал об этом Маргарет и не скажу. Мне хотелось бы предостеречь мистера Пайка, но я знаю, что разоблачить мистера Меллэра — значит, вызвать новое убийство. А «Эльсинора», подгоняемая ветром, идет все к югу, к негостеприимному концу материка. Сегодня мы уже южнее линии, соединяющей Магелланов пролив с Фолклендскими островами, а завтра, если ветер продержится, мы пройдем побережье Тьерра-дель-Фуэго и поравняемся со входом в пролив Ле-Мэр, через который думает пройти капитан Уэст, если ветер будет благоприятен.

Второй эпизод случился вчера ночью. Мистер Пайк ничего не говорит, но ему известно настроение команды. С некоторых пор, со дня смерти Маринковича, я наблюдаю за ним и знаю наверное, что теперь он никогда не выходит на главную палубу после наступления темноты. Но он держит язык за зубами, никому не поверяет своих мыслей и ведет свою опасную игру как самое обыкновенное дело, входящее в круг его повседневных обязанностей.

А эпизод был такой. Вскоре после второй вечерней вахты я, по поручению Маргарет, ходил к средней рубке посмотреть цыплят. Надо было удостовериться, все ли ее приказания исполнил буфетчик. Он должен был прикрыть курятник парусиновой накидкой, посмотреть, хорошо ли действует вентилятор и не погасла ли керосиновая печка. Убедившись в аккуратности буфетчика, я уже хотел вернуться на ют, когда меня остановили доносившиеся из темноты дикие крики пингвинов и несомненный шум фонтана, выпускаемого китом неподалеку от нашего судна.

Я перешел на левый борт, обошел вокруг подвешенной там шляпки и стоял совершенно скрытый темнотой, как вдруг услышал старческое шарканье ног старшего помощника, шагавшего по мостику от кормы. Была звездная ночь, и «Эльсинора», защищенная от ветра берегами Тьерра-дель-Фуэго, скользила по воде ровным ходом со скоростью восьми узлов.

Мистер Пайк остановился у переднего конца рубки и стоял, прислушиваясь. Снизу, с главной палубы, от люка номер два, доносились голоса. Я различил голоса Кида Твиста, Нози Мерфи и Берта Райна — трех висельников. Но там были и Стив Робертс, ковбой, и мистер Меллэр — оба из другой смены, которой полагалось в этот час отдыхать, так как в полночь она должна была вступить на вахту. Особенно странно было присутствие здесь мистера Меллэра и его дружеская беседа с командой, что было непростительным нарушением судового этикета.

Любопытство всегда было моим пороком. Мне всегда хотелось все знать, а на «Эльсиноре» я уже бывал очевидцем таких сценок, которые являлись поистине алмазами для драматурга. Поэтому я не выдал своего присутствия, а напротив — притаился за шляпкой.

Прошло пять минут. Прошло десять минут. А люди все еще разговаривали. Меня изводили крики пингвинов и этот разыгравшийся кит, подплывший так близко, что брызги от его фонтана почти долетали до судна. Я видел, как голова мистера Пайка повернулась на шум. Он взглянул в мою сторону, но не заметил меня; потом стал снова прислушиваться к доносившимся снизу голосам.

Случайно ли оказался тут Муллиган Джэкобс или он вышел на разведку — я не знаю. Я просто рассказываю то, чему был свидетелем. По стенке средней рубки спускается трап. Джэкобс поднялся по этому трапу так бесшумно, что мне только потому стало известно его присутствие, что я услышал, как мистер Пайк зарычал:

— Какого черта ты тут делаешь?

Тогда я различил в темноте фигуру Джэкобса, стоявшего в двух ярдах от старшего помощника.

— А тебе какое дело? — огрызнулся он.

Голоса внизу умолкли. Я знал, что там каждый наострил уши и слушал. Нет, положительно философы еще не раскусили Муллигана Джэкобса. В нем есть нечто побольше того, что сказало даже последнее слово науки. Несчастный калека, не человек, а бессильный червяк с кривым позвоночником, он стоял в темноте лицом к лицу со страшным мистером Пайком и не боялся.

Мистер Пайк осыпал его ужаснейшей бранью и еще раз спросил, что он тут делает.

— Я забыл здесь мой табак после вахты, — сказал уродец.

Впрочем, нет, не сказал, а выплюнул эти слова, как яд.

— Убирайся прочь, или я вышвырну тебя отсюда вместе с твоим табаком!

— заорал в неистовстве мистер Пайк.



— Старое полено! Старое полено!
Старое полено! — повторял
Муллиган Джэкобс, тоже не находя
слов от душившей его зверской злобы.

Муллиган Джэкобс подобрался к нему еще ближе, и мне было видно в темноте, как он закачался в такт качке у него перед носом.

— Черт бы тебя побрал! — мог только выговорить мистер Пайк.

— Старое полено! — вывалил ему в лицо бесстрашный калека.

Мистер Пайк схватил его за шиворот и поднял на воздух.

— Сойдешь ты вниз, или мне придется сбросить тебя? — прохрипел он.

Их тон не поддается описанию. Это был какой-то рев диких зверей.

— Ну, что же, я еще не пробовал вашего кулака, — слышался ответ.

Продолжая держать Джэкобса на весу, мистер Пайк пытался что-то сказать, но задохнулся в своей бессильной ярости.

— Старое полено! Старое полено! Старое полено! — повторял Муллиган Джэкобс, тоже не находя слов от душившей его зверской злобы.

— Повтори-ка еще раз, и полетишь вниз, — выговорил наконец мистер Пайк сдавленным голосом.

— Старое полено! — прохрипел, задыхаясь, Муллиган Джэкобс.

И он полетел вниз. Сначала он взлетел вверх от силы размаха, а пока падал, все время повторял в темноте:

— Старое полено! Старое полено!

Он упал среди людей, стоявших у люка. Там произошла суматоха, и послышались стоны.

Мистер Пайк зашагал по узкому мостику, скрипя зубами. Потом остановился, оперся обеими руками о перила мостика, опустил на руки голову, постоял так с минуту и застонал:

— Ах, Боже мой, Боже мой, Боже мой!

И все. Затем тихим шагом, волоча ноги, он направился к корме.

ГЛАВА XXXIII

Дни становятся серыми. Солнце утратило свою теплоту, и в полдень оно стоит ниже на северном небе. Все знакомые звезды давно скрылись, и кажется, будто и солнце уходит за ними. Мир — единственный, мне известный, — остался на севере далеко позади; нас разделяет целое полушарие. Печальный, пустынный океан, холодный и серый, кажется концом света, каким-то гиблым местом, где прекращается жизнь. Он становится все холоднее, все мрачнее, несмотря на близость земли. По ночам кричат пингвины, чудовищные амфибии стонут в воде, и большие альбатросы, посеревшие от борьбы со штормами, реют над нами.

«Земля!» — раздался крик сегодня утром. Я задрожал, близко увидев землю, — первую землю с тех пор, как мы вышли из Балтимора века тому назад. Солнце не показывалось, утро было сырое и холодное, с резким ветром, пронизывавшим насквозь. Термометр на палубе показывал тридцать градусов по Фаренгейту, то есть на два градуса ниже точки замерзания, и время от времени налетали легкие снежные шквалы.

Вся видимая земля была одним сплошным снежным полем. Из океана торчала длинная, невысокая гряда скал. Подойдя ближе, мы не открыли никаких признаков жизни, — это была пустынная, дикая, холодная, заброшенная земля. К одиннадцати утра, у входа в Ле-Мэр, шквалы прекратились, установился ровный ветер, и нас несло течением как раз в ту сторону, куда мы и хотели идти.

Капитан Уэст не колебался. Распоряжения, с которыми он обращался к мистеру Пайку, отдавались быстро и спокойно. Рулевой изменил курс, и обе сме- ны выбежали наверх ставить паруса. Тем не менее капитан Уэст ни секунды не заблуждался насчет риска, который он брал на себя, вводя свое судно в эту могилу судов.

Когда мы под всеми парусами, подгоняемые сильным течением, вошли в уз- кий пролив, зазубренные береговые скалы Тьерра-дель-Фуэго побежали назад мимо нас с головокружительной быстротой. Мы были совсем близко к ним и так же близко к скалистому берегу острова Стэтен с противоположной сто- роны. Здесь, в этой коварной ловушке, между двумя стенами черных отвесных утесов, на которых не держался даже снег, капитан Уэст, до сих пор лишь иногда подносивший к глазам свой бинокль, вдруг стал упорно смотреть в одну точку. Я навел и мой бинокль на эту точку и весь похолодел, увидев, что из воды тор- чат четыре мачты большого судна. Это судно было не меньше «Эльсиноры» и затонуло недавно.

— Немецкое судно, с грузом нитроглицерина, — сказал мистер Пайк.

Капитан Уэст кивнул головой, продолжая рассматривать затонувший ко- рабль, потом сказал:

— По-видимому, там нет людей. Но все-таки, мистер Пайк, отрядите на ванты несколько человек из самых дальнзорких: пусть посмотрят, да и вы смотрите. Может быть, на берегу есть уцелевшие люди, которые могут подать нам сигнал;

Мы продолжали путь, но никаких сигналов не видели. Мистер Пайк был в восторге от нашей удачи. Он козырем расхаживал взад и вперед, потирая руки и улыбаясь своим мыслям. С тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года он не бывал, как он мне говорил, в проливе Ле-Мэр. Он сказал мне еще, что он знавал капитанов, которые до сорока раз обходили мыс Горн, и ни одному из них ни разу не посчастливилось пройти этим проливом. Обычный путь лежит значительно дальше к востоку, в обход острова Стэтен, но он сопряжен с укло- нением от западного направления, а здесь, на краю света, где сильный западный ветер, не встречая препятствий, дует непрерывно вокруг узкой полоски земли, приходится бороться миля за милей, дюйм за дюймом, чтобы не уклониться от западного направления. «Руководство к мореплаванию», говоря о мысе Горн, советует капитанам: «Держите на запад во что бы то ни стало».

Когда, вскоре после полудня, мы вышли из пролива, дул тот же ровный ве- тер, и мы делали восемь узлов по гладкой поверхности океана под прикрыти- ем берегов Тьерра-дель-Фуэго, которые тянутся к мысу Горн в юго-западном направлении.

Мистер Пайк не помнил себя от радости. Даже сменившись с вахты, он не мог расстаться с палубой. Он потирал руки, тихонько смеялся и беспрестанно напевал отрывки из «Двенадцатой Мессы». Он стал даже разговорчивым.

— Завтра утром мы подойдем к мысу Горн, — говорил он. — Мы сократили путь на двенадцать, на пятнадцать миль. Вы только подумайте: мы и не заметим,

как проскользнем вокруг него. Никогда еще мне так не везло, как в этот раз; я никак не рассчитывал на такую удачу... Ах ты, моя старушка «Эльсинора»! Гнилая у тебя команда, но, видно, тебя ведет десница господня.

Один раз я с ним столкнулся под тентом. Он что-то бормотал про себя, — кажется, это была молитва.

— Только бы не изменилась погода. Авось, продержится еще денек, — твердил он.

Мистер Меллэр был другого мнения.

— Ну нет, на это не рассчитывайте, — сказал он. — Ни одно судно еще не обходило мыс Горн благополучно. Вот увидите — налетит шквал. Он всегда налетает с юго-запада.

— Но неужели ни одно судно не может рассчитывать здесь на тихую погоду? — спросил я.

— На это очень мало шансов, сэр, — ответил он. — Один шанс на миллион. Я готов держать с вами пари — обычное пари на фунт табаку, — что через двадцать четыре часа мы будем дрейфовать под одними верхними парусами. Я поставлю хоть десять против пяти, что мы и через неделю не обогнем мыс Горн, а так как этот обход определяется от пятидесятой до пятидесятой параллели, я готов поставить двадцать против пяти, что через две недели, считая от этого дня, мы еще не дойдем до пятидесятой параллели Тихого океана.

А капитан Уэст, как только опасности пролива Ле-Мэр остались позади, засел в каюте, вытянув ноги в мягких туфлях, с сигарой во рту. Он не проронил ни слова, хотя мы с Маргарет сияли от радости и распевали дуэты в течение всей второй вечерней вахты.

А сегодня утром, при спокойном море и легком ветерке, на севере вырос мыс Горн, не дальше, чем в шести милях от нас. Итак, мы были у цели, держа правильный курс на запад.

— А в какой цене табак сегодня? — поддразнил я мистера Меллэра.

— Цены на табак растут, — ответил он. — Я был бы рад держать хоть тысячу таких пари, как это.

Я взглянул на море, на небо, мысленно измерил скорость нашего хода, но не увидел ничего такого, что подтверждало бы его слова. Погода была несомненно хорошая, в доказательство чего буфетчик даже пробовал ловить залетевших с мыса Горн голубей при помощи привязанного к бечевке изогнутого гвоздя.

На юте я встретил мистера Пайка, и, к моему удивлению, он поздоровался со мной весьма мрачно.

— Ну что, хорошо мы идем, не так ли? — заговорил я с ним весело.

Он ничего не ответил. Он только повернулся и посмотрел на серый юго-запад с таким кислым лицом, какого я никогда еще у него не видал. Он пробормотал что-то, чего я не разобрал, и когда я переспросил его, он сказал:

— Подлая погода. Разве вы не видите?

Я покачал головой.

— Так отчего же мы убираем паруса — как вы думаете?

Я взглянул вверх. Трюмселя были уже свернуты, люди сворачивали бом-брамсели и опускали брам-реи. А между тем ничто, кажется, не изменилось, только легкий северный ветерок стал еще слабее.

— Воля ваша, я не вижу ничего похожего на шторм, — сказал я.

— Так пойдите взгляните на барометр, — проворчал он и, повернувшись на каблуках, отошел от меня.

В капитанской рубке капитан Уэст натягивал высокие непромокаемые сапоги. Этим одним уже все было сказано, хотя и барометр сам по себе был достаточно красноречив. Накануне он еще показывал 30,10, а теперь опустился до 28. Даже во время последнего шторма он не падал так низко.

— Обычная программа мыса Горн, — улыбнулся капитан Уэст, выпрямляясь во весь рост. Тонкий и стройный, он потянулся за своим клеенчатым плащом.

Но мне все не верилось.

— А далеко еще шторм? — спросил я.

Он, не отвечая, покачал головой и поднял руку, давая мне этим знать, чтобы я прислушался. «Эльсинора» неровно покачивалась, и снаружи доносился глухой, мягкий шум колотившихся о мачты пустых парусов.

Мы не проговорили и пяти минут, как он опять поднял руку. Теперь «Эльсинора» накренилась и не выпрямлялась, а в снастях свистел все крепчавший ветер.

— Начинается, — сказал капитан Уэст, приправив свое заявление принятым у моряков крепким словом.

Тут я услышал рычанье мистера Пайка, отдававшего приказания, и почувствовал возрастающее почтение к мысу Горн — к Суровому Мысу, как называют его моряки.

Час спустя мы лежали в дрейфе на левом галсе под верхними топселями и фоком. Ветер дул с юго-запада, и нас сносило к земле. Капитан Уэст приказал старшему помощнику повернуть судно через фордевинд. Для уборки парусов на палубу были вызваны обе смены.

Поразительно было, до чего быстро началось волнение в такой короткий срок. Ветер превратился в шторм, усиливавшийся с каждым порывом. На сто ярдов кругом ничего не было видно. День из серого стал почти черным. В каютах горели лампы. Великолепен был вид с кормы на огромное судно, пробиравшее себе путь по бурному морю. Волны перехлестывали через борт, и половина палубы была залита, несмотря на выпускавшие воду шпигаты и клюзы.

У двух рубок на корме стояла отдельными группами вся команда «Эльсиноры», все в клеенчатых плащах. На баке распоряжался мистер Меллэр. На попечении мистера Пайка были корма и средняя рубка. Капитан Уэст ходил взад и вперед, все видел и ничего не говорил: распоряжаться было делом старшего помощника. Когда мистер Пайк скомандовал крутой поворот руля, паруса бизани и часть гротов ослабли и были спущены; напор ветра уменьшился. Нижние и верхние топселя были подготовлены для порывов ветра. Все это потребовало довольно много времени. Малосильные люди работали медленно и неумело. Мне

они напоминали неповоротливых волов, — так вяло они двигались и так лениво натягивали канаты. А буря свирепела все больше. Группа людей на крыше передней рубки была мне видна лишь в промежутках между набегавшими волнами. Матросы у средней рубки, прижавшись к ее стене и пригнув головы навстречу ветру, совершенно исчезали за гребнями волн, врывавшихся на палубу, дохлестывавших до нижних рей и катившихся на подветренную сторону. А мистер Пайк, точно огромный паук в раскачиваемой ветром паутине, ходил по легкому мостику, казавшемуся тонкой ниточкой и качавшемуся при каждом порыве ветра.

Так ужасны были эти налетавшие порывы, что «Эльсинора» отказывалась бороться. Она покорно лежала в одном положении; ее швыряло и трепало, но нос ее не поворачивался, и нас продолжало нести к страшным берегам. Все кругом было черно; холод был жестокий. Падавшие на палубу брызги превращались в лед.

Мы ждали. Пригнув головы, съезжившись, ждали группы матросов. Ждал мистер Пайк, беспокойный, сердитый, с холодными, как окружающая стужа, и злыми глазами, с несмолкающим рычаньем, не уступавшим реву стихий, с которыми он боролся! Ждал Самурай, спокойный и далёкий, как случайный гость. Ждал и мыс Горн с подветренной стороны, — ждал костей нашего судна и наших.

Но вот нос «Эльсиноры» повернулся. Направление ветра переменилось, и вскоре мы с ужасающей быстротой неслись прямо по ветру и прямо к невидным нам скалам. Но все сомнения отпали. Успех маневра был обеспечен. Мистер Меллэр, получив приказание от мистера Пайка с посланным им матросом, ослабил передние паруса. Мистер Пайк, не опуская глаз с рулевого и сигнализируя ему рукой свои распоряжения, приказал держать руль влево, чтобы сдерживать бег «Эльсиноры» по ветру, поставив ее на правый галс. Работа кипела. Грот и бизань были поставлены, и перед «Эльсинорой» расстилалась на тысячу миль пустыня Южного океана.

И все это было выполнено в толчее бушующих волн, на краю света, — выполнено горсточкой жалких выроdkов, руководимых двумя сильными людьми, за которыми была спокойная воля Самурая.

Понадобилось тридцать минут, чтобы повернуть судно, и я понял, что даже самый опытный капитан может погубить свое судно без всякой вины со своей стороны. Представьте себе, что «Эльсинора» продолжала бы упорствовать в своем отказе слушаться руля. Представьте себе, что унесло бы в море какую-нибудь нужную снасть. И тут-то на сцену выступает мистер Пайк, ибо его обязанность смотреть, чтобы каждая веревка, каждый блок и мириады всевозможных снастей обширного и сложного снаряжения «Эльсиноры» были в порядке, прочно закреплены, и не могли быть сорваны ни при каком ветре. Властители нашей расы всегда нуждались в таких слугах, как мистер Пайк, и наша раса, по-видимому, щедро поставляла таких слуг. Я уже хотел спуститься в каюту, когда услышал, как капитан Уэст сказал мистеру Пайку, что, пока обе смены наверху, следовало бы взять рифы у парусов. Грот и бизань были убраны, и мне

были видны черные фигуры людей на фок-рее. Я простоял с полчаса, наблюдая за матросами. Работа с рифами не продвигалась.

Мистер Меллэр непосредственно следил за матросами, а мистер Пайк на корме рычал, ворчал и изрыгал проклятия.

— В чем дело? — спросил я его.

— Две смены работают и не могут управиться с лоскутком чуть не в носовой платок! — фыркнул он. — Что ж будет, если мы задержимся здесь на месяц!

— Месяц?! — вырвалось у меня.

— Для Сурового Мыса месяц ничего не значит, — проговорил он угрюмо.

— Я семь недель здесь провертелся однажды, а потом повернул налево кругом и отправился другой дорогой.

— Вокруг света?

— Это был единственный способ добраться до Фриско, — ответил он. — Мыс Горн есть мыс Горн, и по соседству с ним мне что-то не доводилось еще видеть теплых морей.

У меня онемели пальцы, и я промерз насквозь. Бросив последний взгляд на несчастных людей на фок-рее, я пошел в каюту греться.

Немного погодя, направляясь обедать, я выглянул из люка кают-компания и увидел, что люди все еще возились с рифами на обледенелой рее.

Мы четверо сидели за столом, и было очень уютно, несмотря на жестокие толчки, которыми нас угощала «Эльсинора». В каюте было тепло. Штормовые рейки на столе держали блюда на местах. Буфетчик прислуживал и двигался легко и, по-видимому, свободно, хотя я подмечал тревожное выражение в его глазах всякий раз, как он ставил на стол блюдо в тот момент, когда «Эльсинору» швыряло и подкидывало особенно резко.

Но у меня не выходили из головы жалкие выродки на обледенелой рее. Правда, их место было там, по справедливости, как наше — здесь, в этом оазисе судна. Я смотрел на мистера Пайка и говорил себе, что полдюжины таких богатырей, как он, легко управились бы с этими упрямыми рифами. А уж о Самурае и говорить нечего: я был убежден, что он мог выполнить эту задачу один, даже не вставая с места, одним спокойным усилием воли. Зажженные лампы качались и подпрыгивали в своих кольцах, и свет их боролся с пляшущими тенями в сером сумраке каюты. Деревянная обшивка скрипела и стонала. Огромная стальная мачта, пустая внутри, проходившая сквозь пол и потолок каюты, неприятно гудела от ветра. На палубе об нее колотились канаты с такой силой, что она звенела как пустой котел. Снаружи доносился непрерывный шум волн, катившихся по палубе и ударявших о стены каюты, и тысячи снастей уныло завывали и скрипели под жестокими ударами шторма.

Но все это было снаружи. Здесь, за этим прочно укрепленным столом, не чувствовалось ни струйки ветра, не было ни брызг, ни налетавших волн. Мы были в обители блаженного покоя, в центре шторма.

Маргарет была в особенном ударе, и ее чудесный смех звенел не хуже звона мачты. Мистер Пайк был мрачен, но я знал его достаточно хорошо

и не приписывал его мрачности бушующим стихиям, — я знал, что его возмущает неумелость ничтожных людишек, понапрасну мерзнувших на рее. А я... Я смотрел на нас четверых — голубоглазых, сероглазых, светлокожих, царственно белокурых, и мне казалось, что я давным-давно переживал всё это, что здесь со мной и во мне были все мои предки, что их жизнь, их воспоминания были моими, и что все наши теперешние невзгоды — эту борьбу нашего судна с бурным морем — я испытал уже раньше, давно, и не один, а тысячу раз.

ГЛАВА XXXIV

— Хотите прогуляться наверх? — спросила меня Маргарет вскоре после того, как мы встали из-за стола.

Она с вызывающим видом стояла в дверях моей каюты, в клеенчатом плаще, в кожаной куртке и в непромокаемых сапогах.

— Я еще ни разу с тех пор, как мы вышли в море, не видала вас ни на фут выше палубы, — продолжала она. — У вас крепкая голова?

Я заложил закладкой мою книгу, слез с койки, на которой лежал, и хлопнул в ладоши, призывая Ваду.

— Значит, идете? — радостно воскликнула она.

— Да, если вы пустите меня вперед и обещаете крепко держаться, — ответил я важно. — Куда же мы полезем?

— На марс. Это легче всего. Ну, а насчет того, чтобы крепко держаться, я попрошу вас помнить, что мне эти вещи не в диковинку. Если кто из нас двоих и под сомнением, то уж, конечно, вы.

— Очень хорошо. Тогда вы полезайте вперед, а я буду крепко держаться.

— Из наших пассажиров, не моряков, многое срывались на моих глазах, — поддразнивала она меня. — У нас на марсах нет собачьих дыр¹, так что влезать придется снаружи.

— Ну что ж, возможно, что я и сорвусь, — согласился я. — Я никогда в жизни не лазил на мачты, и если нет собачьих дыр, то дело мое плохо.

И пока Вада помогал мне одеваться, она смотрела на меня с сомнением, не зная, верить ли моему признанию в слабости.

На корме было страшно мрачно, но чудесно. Вся вселенная была вокруг нас. Она окутывала нас бушующим ветром, летящими брызгами и мраком. Главная палуба была непроходима, и рулевые сменялись через мостик. Было два часа дня. Уже больше двух часов несчастные люди, замерзая, висели на рее. Они все еще были там, бессильные, измученные, ни на что не годные. Капитан Уэст вышел из командной рубки с подветренной стороны и несколько минут смотрел на них молча, потом сказал мистеру Пайку:

¹ Собачья дыра — отверстием в площадке на марсе, в которое пролезают матросы.

— Придется оставить в покое эти рифы. Приготовьте паруса. Поставьте второй ревант.

И, волоча ноги и часто приостанавливаясь, когда его накрывало гребнем волны, старший помощник направился по мостику к баку изливать свое презрение на команду судна, которая в полном составе двух смен не смогла справиться с фоком.

Эти люди действительно не могли, — не могли при всем своем желании. Я сделал вот какое наблюдение: слабосильные матросы только тогда напрягают все свои силы, когда им приказывают убавлять паруса. Должно быть оттого, что боятся. Им не хватает ни железной воли мистера Пайка, ни железной воли и мудрости капитана Уэста. Я заметил, что на приказание убавить или убрать паруса они отзываются с полной готовностью и со всем проворством, на какое только способны. Потому-то они и сидят на баке, в этом свинушнике, что у них нет железной воли. Одно могу сказать: если бы ничто другое не помешало мне «сорваться» с мачты, как пугала меня Маргарет, то уж одна грустная картина, какую представляли эти безвольные, мягкотелые существа, была бы достаточной гарантией того, что этого не случилось бы. Мог ли я спастись при виде их дряблости, — я, живущий на юте, сидящий на почетном месте?

Маргарет удостоила принять поддержку моей руки, карабкаясь на веревочную нагель под талями. Но с ее стороны это было простой любезностью за любезность, ибо в следующую минуту она высвободила руку, храбро повисла над бортом, качнулась навстречу буре и стала карабкаться выше. Я последовал за ней, почти не сознавая всей трудности такого подвига для новичка, — так подбодрял меня ее пример и презрение к тем слизнякам на рее. Что могут другие, могу и я. Куда взбираются другие, могу взобраться и я. И никакая дочь Самурая не перещеголяет меня. Но дело подвигалось не быстро. Нас раскачивало порывами ветра и прибивало к мачте, беспомощных, как мотыльков. Так силен был напор ветра в такие минуты, что невозможно было шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не было даже надобности держаться. Как я уже сказал, нас держал ветер, прижимая к мачте.

Палуба все удалялась и сквозь начавший идти снег казалась еще дальше. Упасть на палубу — значило бы убиться насмерть или сломать спину; упасть в море — значило утонуть в ледяной воде. А Маргарет поднималась выше и выше. Не останавливаясь, она добралась до площадки марса, уцепилась обеими руками за протянутые над ней снасти, повисла на них и, перекачнувшись, легко и свободно закачалась в такт качке, а затем твердо встала на площадку.

Я полез за нею. Я не шептал молитв, не испытывал страха, даже не ощущал дурноты. Вися на руках, спиной к палубе, и перехватывая выше и выше невидимые снасти, я думал только о том, чтобы покрепче держаться. Я был в экстазе. Я был на все готов. Если бы она вдруг распростерла руки, взлетела на воздух и понеслась вдаль на крыльях бури, я, не колеблясь, бросился бы за ней.

Когда моя голова поднялась над краем площадки, так что я мог видеть эту дочь Самурая, я увидел, что она смотрит на меня сияющими глазами. А когда,

качнувшись на снастях так же легко, как она, я стал рядом с ней, я прочел в этих глазах одобрение, быстро сменившееся выражением веселого задора.

— О, вы меня обманули, вы уже продельвали это раньше, — прокричала она мне, приложив губы к самому моему уху.

Я покачал головой в знак отрицания, и ее глаза опять засияли. Она кивнула мне, улыбнулась и села, свесив с площадки ноги в непромокаемых сапогах и болтая ими в снежном вихре. Я уселся возле нее и заглянул вниз. Падавший снег скрывал палубу, и от этого глубина, из которой мы поднялись, казалась еще внушительнее.

Мы были одни — пара буревестников, примостившихся в воздухе на стальном шесте, внизу выходившем из снега и вверху исчезающем в снегу. Мы добрались до края света и даже этого края не существовало для нас... Впрочем, нет, — из снежной метели с наветренной стороны неподвижно распростертыми крыльями со скоростью восьмидесяти-девяноста миль в час летел огромный альбатрос. В нем было не менее пятнадцати футов от крыла до крыла. Еще прежде, чем мы заметили его, он увидел опасность и, ловко повернув против ветра свое тяжелое тело, спокойно увернулся от столкновения. Его голова и шея побелели от старости или от мороза, — и его блестящий, как бусинка глаз заметил нас, когда он пролетал мимо; описав большой круг, он скрылся за снегом с подветренной стороны.

Рука Маргарет потянулась к моей.

— Ради одного этого стоило взобраться сюда! — воскликнула она.

Тут «Эльсинора» нырнула, рука Маргарет крепче ухватилась за мою, а из невидимой глубины донесся рев нового порыва ветра и рокот катившихся по палубе волн.

Снежный вихрь прекратился так же быстро, как начался, и мы увидели под собой судно во всю его длину, главную палубу, залитую kloчущим потоком, верхушку бака, зарывшуюся в воду, караульного, стоящего у передней рубки, с низко опущенной головой против ветра, и прямо под нами корму со струящейся по ней водой и мистера Меллэра с горсточкой людей, возившихся со снастями. Увидели мы еще, как из командной рубки с подветренной стороны вышел Самурай и, уверенно балансируя на взбесившейся палубе, что-то говорил мистеру Пайку, должно быть, давал ему какие-то инструкции.

Окружавшее нас серое кольцо вселенной раздвинулось на несколько сот ярдов, и теперь мы могли любоваться могучей яростью моря. С наветренной стороны из серой мглы бесконечной процессией один за другим выскакивали седобородые гребни валов футов в шестьдесят вышиной и набрасывались на «Эльсинору», то грозно вздымаясь над ее хрупким телом, то низвергая на ее палубу сотни тонн воды, то проносясь под ней и подкидывая ее вверх, и, пенясь и ворча, скрывались из виду в той же серой мгле с подветренной стороны. А над нами кружили альбатросы, бесстрашно бросаясь в самую гущу шторма, и, величественно повернув в обратную сторону, уносились прочь с такой быстротой, что никакой ветер не мог их догнать.



Она восхитительно засмеялась, и опять закружился над нами снежный вихрь, а мы держались за мачту и неслись в воздухе с головокружительной быстротой.

Маргарет отвела взгляд от палубы. Теперь она смотрела на меня красноречивым, вопрошающим взглядом. Окаменевшими в толстой перчатке пальцами я отодвинул наушник ее меховой шапки и прокричал ей в ухо:

— Все это не ново для меня. Я уже бывал здесь раньше. Я здесь бывал в жизни моих предков. Мороз щиплет мои щеки, морская соль забирается мне в нос, в моих ушах поет ветер, и все это — знакомое, пережитое. Теперь я знаю, что предки мои были викингами. Я — плоть от плоти их. С ними делал я набеги на берега Англии, с ними доходил до Геркулесовых Столбов¹, рыскал по Средиземному морю; с ними сидел на почетном месте правящих слабосильными, разнежившимися на солнце народами. Я — Хенгист и Хорса²; я — один из легендарных героев древности. Я исколесил ледяные моря, и еще до того, как наступил ледниковый период, я прикрывал плечи шкурой оленя, убивал мастодонта, нацарапывал историю своих подвигов на стенах глубоких пещер и сосал волчиц вместе с моими братьями-волчатами, следы чьих клыков остались на моем теле и по сей день.

Она восхитительно засмеялась, и опять закружился над нами снежный вихрь, и «Эльсинора» подпрыгивала и ныряла так глубоко, как будто не намерена была когда-нибудь подняться, а мы держались за мачту и неслись в воздухе с головокружительной быстротой. Маргарет, продолжая смеяться, отняла от мачты руку и отодвинула наушник моей шапки.

— Я ничего об этом не знаю! — прокричала она. — Это уже как будто поэзия. Но я верю. Должно быть, все это так, все это было. Я слышала об этом раньше, в то время, когда люди в звериных шкурах пели, сидя вокруг пылающих костров, отгоняющих от них стужу и ночную тьму.

— А что же книги? — лукаво спросила она, когда мы собрались спускаться.

— А ну их к черту вместе со всеми большими мировой скорбью, глупыми головастиками, которые их написали, — ответил я.

Она опять засмеялась, но ветер далеко отнес ее голос, когда она повисла в пространстве и, укрепившись на руках и нащупав ногами невидимый канат, прочно утвердилась на нем и затем скрылась из моих глаз под площадкой.

ГЛАВА XXXV

— Почем табак? — встретил меня сегодня утром мистер Меллэр, когда я вышел на палубу, разбитый и усталый, с болью во всех костях, во всех мускулах, после шестидесятичасовой трепки.

К утру ветер совершенно стих. Был мертвый штиль, и «Эльсинору» с хлопающими пустыми парусами качало на мертвой зыби хуже прежнего. Мистер Меллэр указал мне вперед и в правую сторону.

¹ Геркулесовы Столбы — пределы древнего мира, название в древности двух гор у Гибралтарского пролива на европейском и африканском берегах.

² Хенгист и Хорса — братья, предводители англосаксонских дружин, начавших завоевание романизированной Британии.

Я различил белый от снега унылый берег с зазубренными скалами.

— Остров Статен, восточная его сторона, — сказал мистер Меллэр.

Я понял, что мы оказались в положении судна, которому предстоит обогнуть остров Стэтэн, прежде чем огибать мыс Горн. А между тем четыре дня назад мы прошли пролив Ле-Мэр и уже подходили к мысу Горн, а три дня назад были против мыса Горн и даже на несколько миль дальше. И вот теперь мы отброшены назад, гораздо дальше, чем были, когда входили в Ле-Мэр, и нам приходится начинать все сначала!..

Состояние команды поистине ужасно. Во время шторма бак был два раза затоплен. А это значит, что там все вещи плавали, и все одежды, все тюфяки и одеяла намокли и не просохнут при таком холоде, пока мы не обогнем мыс Горн и не войдем в теплые широты. То же можно сказать и о средней рубке. Все ее каюты, за исключением кают повара и двух парусников на носу, с выходом в люк номер два, насквозь пропитались водой. И ни в одной нет печки, а следовательно — никакой возможности просушить вещи.

Я заглянул в каюту Чарльза Дэвиса. Она неопишима. Он улыбнулся, увидав меня, и кивнул мне.

— А хорошо все-таки, сэр, что О'Сюлливан вовремя убрался отсюда. Он захлебнулся бы на своей нижней койке, — сказал он. — Да и мне, знаете, пришлось поплавать, прежде чем я взобрался наверх. А соленая вода вредно действует на мои болячки. Не полагалось бы по-настоящему держать меня в такой дыре во время штормов мыса Горн. Взгляните-ка на пол: видите — лед. Здесь и сейчас температура ниже нуля, и мое одеяло хоть выжми. А я больной человек. Это вам всякий скажет, кто не потерял обоняния.

— Если бы вы вели себя прилично со старшим помощником, к вам относились бы лучше, — сказал я.

На это он ничего не ответил, только усмехнулся; потом продолжал:

— Не беспокойтесь, сэр, вы не лишитесь меня. Я могу растолстеть даже в такой обстановке. Одна уже мысль о том, что будет в Сиэтле на суде, не даст мне умереть. И вот вам мой совет, сэр: держите пари с буфетчиком. Вы не проиграете. Я говорю вам это, сэр, из участия к вам, потому что вы похожи на человека. А всякий, кто побьется об заклад, что я окажусь за бортом, наверняка проиграет.

— Как вы решились пуститься в плавание в вашем состоянии? — спросил я.

— В моем состоянии? — переспросил он с хорошо разыгранным невинным видом. — Да отчего же было мне не поступить на судно? Я был совершенно здоров, когда мы выходили в море. Все это случилось потом. Вспомните, сэр: разве вы не видели меня на мачтах и работающим по горло в воде? И уголь убирал я в трюме. Больной не может так работать. И не забудьте, сэр: вы должны будете удостоверить на суде, что в начале плавания я исполнял свои обязанности, пока меня не свалила с ног эта болезнь... Я и сам готов держать с вами пари, если вы думаете, что я собираюсь умирать, — крикнул он мне вдогонку, когда я уходил.

* * *

На матросах уже сказываются тяжелые условия, в которых им приходится жить. Удивительно, до чего они исхудали, и как осунулись их лица за такой короткий срок. Свое белье они просушивают теплотой собственного тела. Совершенно мокро и верхнее их платье под непромокаемыми плащами. А между тем — это кажется чем-то парадоксальным — несмотря на исхудалые, вытянувшиеся лица, они как будто стали крепче. Они переваливаются на ходу и точно стали полнее. А объясняется это очень просто — количеством одежды, которую они навьючивают на себя. Сегодня я нарочно спросил Ларри: оказывается, на нем надето два жилета, две куртки, пальто и поверх всего этого еще непромокаемый плащ. Они теперь напоминают слонов, ибо, вдобавок ко всему прочему, они поверх непромокаемых сапог обертывают ноги рогожей.

Очень холодно, хотя сегодня в полдень наружный термометр стоял на тридцати трех. Я приказал Ваде взвесить одежду, которую я надеваю, выходя на палубу. Вышло восемнадцать фунтов, не считая плаща и сапог. И во всем этом облачении, когда дует ветер, мне несколько не жарко. Не понимаю, как решаются матросы, хоть раз попробовав мыс Горн, снова наниматься на суда, идущие в этот рейс! Это показывает, до чего они тупоумны.

Мне жалко Генри, юнгу с учебного судна. По своему общественному положению он мне ближе, чем остальная команда. Со временем он будет слугой почетной гвардии юта и помощником вроде мистера Пайка. А пока он вместе с Буквитом, другим юношей, который помещается с ним в средней рубке, терпит те же невзгоды, что и остальные. У него светлая, очень нежная кожа, и сегодня, когда он натягивал брасы, я заметил, что пропитанные соленой водой рукава его куртки до такой степени натерли ему руки, что они имеют вид кровавого сырого мяса: кожа с них слезла, и они покрылись болячками. Мистер Меллэр говорит, что через какую-нибудь неделю у всей команды будут на руках такие болячки.

— Как вы думаете, скоро мы опять подойдем к мысу Горн? — невинно спросил я мистера Пайка.

Он повернулся ко мне с таким свирепым видом, как будто я нанес ему оскорбление, и положительно зарычал прямо мне в лицо, прежде чем зашагал прочь, не удостоив меня ответом. Ясное дело: он принимает море всерьез. Потому-то, должно быть, он такой превосходный моряк.

* * *

Дни идут, если только можно назвать днями промежутки серой мглы между рассветом и наступлением полной темноты. Вот уже неделя, как мы не видели солнца. Положение нашего судна в этой пустыне бурного моря гадательно. Один раз мы, считая по лагу, уже доходили почти до самого мыса Горн и были на сто миль южнее его, а там опять налетел юго-западный шквал, сорвавший наш марсель и загнавший нас на сомнительную долготу к востоку от острова Стэтена.

О, теперь я знаю этот Великий Западный Ветер, что непрерывно дует вокруг света к югу от пятьдесят пятой параллели. И знаю, почему составители морских карт пишут его с прописной буквы, как например: «Сила Великого Западного Ветра». Знаю я также, почему «Руководство к мореплаванию» советует: «Держите на запад, во что бы то ни стало держите на запад».

А западный ветер и сила западного ветра не дают «Эльсиноре» держать на запад. Шквал налетает за шквалом, и всегда с запада — и мы идем на восток. А холод жестокий, и каждый шквал служит прелюдией к снежному вихрю. В каютах с утра до ночи горят лампы. Мистер Пайк больше не заводит своего граммофона, и Маргарет не прикасается к пианино. Она жалуется на синяки и на ломоту во всем теле. Меня ударило о стену, и у меня повреждено плечо. Вада и буфетчик хромают. Я чувствую себя спокойно только на своей койке, где я так плотно закупорен ящиками и подушками, что никакие прыжки «Эльсиноры» не могут сбросить меня. Там, за исключением часов еды и небольших прогулок по палубе ради моциона и воздуха, я лежу и читаю по восемнадцать-девятнадцать часов в сутки. Но непрерывное напряжение мозга крайне утомительно.

Представить себе не могу, как должны себя чувствовать те бедняги на баке! Бак уже несколько раз заливало водой, и все там промокло. Вдобавок, люди ослабели, и приходится ставить две смены на работу, которую могла бы выполнить одна нормальная смена. Выходит, таким образом, что они столько же часов проводят на залитой водой палубе и на обледенелых реях, сколько я провожу на моей сухой, теплой койке. Вада говорит, что они никогда не раздеваются и ложатся на свои мокрые койки в плащах, в высоких сапогах и в мокром белье.

Довольно взглянуть на них, когда они ползают по палубе или висят на снастях. Они действительно слабы. У них запавшие щеки, землистый цвет кожи и большие темные круги вокруг глаз. Предсказанная мистером Меллэром новая беда — болячки — уже началась: у всех у них руки от кисти почти до плеча сплошь покрыты болячками. То один, то другой, а то и по несколько человек сразу — из-за ушибов ли во время шторма или от общей слабости — ложатся на койки и не встают дня по два. А это означает лишнюю работу для остальных. Поэтому те, кто еще держится на ногах, относятся к больным весьма нетерпимо, и человек должен серьезно заболеть, чтобы товарищи не выволокли его с койки на работу.

Я не могу не удивляться Энди Фэю и Муллигану Джэкобсу. Просто непостижимо, как такие старые и тщедушные люди могут выносить то, что выносят они. Я не могу даже понять, что заставляет их вообще работать. Не могу понять, почему и тот и другой выбиваются из сил, повинаясь приказаниям в этом ледяном аду мыса Горн. Не из-за страха ли смерти они не бросают работы и не навлекают смерть на всех нас? Или они просто поработанные скоты с психологией рабов и до такой степени привыкли всю жизнь быть погоняемыми своими господами, что им и в голову не приходит возможность неповиновения?

И как это ни странно, но большинство из них через неделю после того, как мы придем в Сиэтл, наймутся на другие суда и опять пойдут к мысу Горн. По

мнению Маргарет, это объясняется тем, что моряки забывчивы. Мистер Пайк согласен с ней. Он говорит, что за неделю юго-восточных пассатов в Тихом океане они позабудут, что когда-нибудь ходили вокруг мыса Горн. Меня это удивляет. Неужели они так глупы? Неужели страдания не оставляют в них по себе никакого следа, и они боятся только непосредственно грозящей опасности? Должно быть, их умственный горизонт не простирается дальше завтрашнего дня. В таком случае — они на своем месте и не заслуживают лучшего.

Они, бесспорно, труссы. Они доказали это с достаточной убедительностью сегодня в два часа ночи. Никогда еще не приходилось мне наблюдать такого панического, глупого, животного страха. Была вахта мистера Меллэра. Случилось как раз, что я читал «Ум первобытного человека» Боа, когда услышал над головой топот ног. «Эльсинора» в это время лежала в дрейфе на левом галсе, со свернутыми парусами. Я недоумевал, что могло вызвать на корму всю смену, как вдруг опять раздался наверху топот бегущей второй смены. Не слышно было, чтобы люди возились со снастями, и у меня мелькнула мысль о мятеже.

Но не было никакой суматохи, и, подстрекаемый любопытством, я напялил высокие сапоги, надел меховую куртку и перчатки, накинул плащ, шапку и вышел на палубу. Мистер Пайк, уже одетый, опередил меня. Капитан Уэст, который в бурную погоду ночует в командной рубке, стоял с подветренной стороны в дверях рубки, откуда свет от лампы падал на испуганные лица людей.

Обитатели средней рубки отсутствовали, но люди с бака все (кроме Энди Фэя и Муллигана Джэкобса, как я потом узнал) бросились бежать на корму. Энди Фэй, принадлежавший к неочередной смене, спокойно остался лежать на своей койке, а Муллиган Джэкобс воспользовался случаем пробраться на бак и набить себе трубку.

— Что случилось, мистер Пайк? — спросил капитан Уэст.

Но прежде, чем успел ответить старший помощник, Берт Райн сказал, усмехаясь:

— Черт забрался на судно, сэр.

Но его усмешка была явно лишь старанием показать, что он этому не верит, хотя в действительности было как раз наоборот. Чем больше я об этом думаю, тем больше удивляюсь, что такие пройдохи, как эти три негодяя, могли испугаться того, что произошло. Но не подлежит сомнению, что они испугались все трое, иначе они не соскочили бы со своих коек и не пожертвовали бы несколькими драгоценными минутами своего короткого отдыха.

Ларри с перепугу что-то лопотал, гримасничал, как обезьяна, и работал локтями, сясь выбраться из темноты к полосе света, падавшего из рубки. Не лучше был и грек Тони: он тоже что-то бормотал про себя и поминутно крестился. В этом его поддерживали, как запевалу вторые голоса, оба итальянца — Гвидо Бомбини и Мике Циприани. Артур Дикон был почти в обмороке, и они с евреем Шанцем откровенно держались друг за друга, чтобы не упасть. Боб, толстый, огромного роста детина, рыдал, а другой юноша, Бонн Сплинтер, дрожал и щелкал зубами. И даже два лучших матроса — Том Спинк и мальтий-

ский кокни, стоявший на заднем плане — повернулись спиной к темноте и, судя по их лицам, всеми своими помышлениями тянулись к свету.

Из всех противных вещей, какие существуют на свете, я больше всего ненавижу и презираю истеричность в женщине и трусость в мужчине. Первое превращает меня в кусок льда. При виде истерических припадков я не испытываю никакой жалости. Вторая действует мне на желудок. Когда я вижу проявление трусости у мужчины, меня положительно тошнит. И, глядя на эту кучку ошалевших от страха животных, топчущихся на качающейся палубе, я чувствовал, что тошнота подступает мне к горлу. Право, будь я богом в тот момент, я без всякого сожаления уничтожил бы всю эту кучку... Впрочем, пожалуй, нет, — я пощадил бы одного из них — фавна. Его прозрачные, страдальческие, вопрошающие глаза с мучительной тревогой перебегали с одного лица на другое, стараясь понять. Он не знал, что случилось, и по своей глухоте подумал, что все бросились на корму в ответ на вызов к работе всех рук.

Я обратил внимание на мистера Меллэра. Он убийца и боится мистера Пайка, но уж во всяком случае не боится сверхъестественного. В присутствии двух начальников, хоть это была его вахта, ему нечего было делать. Он покачивался на ногах в такт резким толчкам «Эльсиноры» и осматривался кругом с насмешливым, циничным выражением.

— А скажи-ка, братец, каков из себя этот черт? — спросил Берта Райна капитан Уэст.

Тот молчал, робко улыбаясь.

— Отвечай капитану! — прикрикнул на него мистер Пайк.

Угроза смертью выглянула на один миг из глаз этого парня в ответ на окрик старшего помощника. Потом он спокойно ответил капитану Уэсту:

— Я не успел рассмотреть его, сэр. Только ростом он будет с кита.

— Так точно, сэр, и уж никак не меньше слона, — вмешался Билль Квигли.

— Я видел его лицом к лицу. Он чуть не схватил меня, когда я выбежал с бака.

— О господи! — застонал Ларри. — Если бы вы слышали, сэр, как он дубасил к нам в стену, словно на страшный суд призывал.

— Ну, брат, твоя теология немножко хромает, — спокойно улыбнулся капитан Уэст.

Но я не мог не заметить, какое измученное было у него лицо, и какими усталыми казались его удивительные глаза Самурая. Он повернулся к старшему помощнику.

— Мистер Пайк, пожалуйста, сходите на бак и поймайте этого черта. Да свяжите его покрепче, а завтра я приду взглянуть на него.

— Есть, сэр, — отозвался мистер Пайк, и мне вспомнились строки Киплинга:

Мужчина ль, женщина ль,
сам Бог или сам дьявол —
На свете есть ли что-нибудь такое,
Что испугало б нас?..

И когда я вслед за мистером Пайком и мистером Меллэром направился по воздушному обледелому мостику к баку сквозь непроницаемую стену ночной темноты, ни один человек не отважился последовать за нами. И в голове у меня промелькнули другие строки — из «Каторжника»:

Наши склады ломились от хлопка,
И в золоте мачты стояли.
Мы везли богатейший товар,
Везли мы невольников в трюме.
И дальше:
Клянусь клеймом, горящем на моем плече,
И ранами, мне нанесенными звенящей сталью,
Клянусь рубцами от бичей, что никогда не заживут...
И еще:
Помятые жизнью невольники долга,
Обломки поседелые годов, давно минувших...

И перед моим умственным взором в лучезарном ореоле встала фигура мистера Пайка, этого каторжника нашей расы, погонщика людей, действующего по приказу тех, кто выше его, верного подначального, искусного моряка, помятого жизнью и поседелого, битого и клейменного слуги того, кто покори́л море. Теперь я знаю его и никогда больше не буду на него обижаться. Я все ему прощаю — и запах виски изо рта в тот день, когда я вступил на судно в Балти-море, и его ворчливость в бурную погоду, и жестокость в обращении с людьми, и его рычание и злую усмешку.

На крыше средней рубки мы приняли такой душ, что я дрожу, как только вспоминаю о нем. Я одевался на скорую руку и не застегнул как следует плаща у шеи, так что вымок насквозь. Следующий пролет мостика мы прошли под фонтанами пены и были на крыше передней рубки, как вдруг что-то плававшее по палубе удари́лось об ее стену с ужасающим треском.

— Вот это-то, должно быть, и сошло у них за черта, — прокричал мне в ухо мистер Пайк, направляя на неизвестный предмет свет электрического фонарика, который он держал в руке.

Луч света побежал по белой от пены воде, заливавшей палубу.

— Вот оно! — вскрикнул мистер Пайк, когда «Эльсинора» нырнула носом, и вода покати́лась через бак.

Но свет погас, когда мы все трое ухватились за что попало и присели под потоками воды, хлынувшей через борт. Когда вода сбегала, мы слышали страшнейший грохот, доносившийся со стороны бака. Затем, когда нос поднялся, перед глазами у меня на один миг в скользнувшем и тотчас же убежавшем луче света мелькнули смутные очертания какого-то черного предмета, катившегося по наклонной палубе там, где уже не было воды. Куда он девался потом — мы не могли разглядеть.

Мистер Пайк спустился на палубу в сопровождении мистера Меллэра. И вот, когда «Эльсинора» опять зарылась носом, и с кормы к баку хлынула вода, я увидел, что таинственный черный предмет катится прямо на двух помощников. Они успели отскочить, но свет опять погас, когда через борт на палубу обрушилась новая ледяная волна.

Некоторое время мне не видно было ни того, ни другого. Затем при мелькнувшем на секунду свете фонарика я разглядел, что мистер Пайк гоняется за черным предметом. Он, очевидно, догнал его у снастей правого борта и успел обмотать свободным концом троса. Когда судно накренилось в правую сторону, я услышал там какую-то возню. Второй помощник бросился на помощь к старшему, вдвоем при помощи веревок они задержали убегавший предмет.

Я тоже сошел вниз взглянуть, в чем дело. При свете фонарика мы увидели большую, всю обросшую раковинами, бочку.

— Она плавает, по крайней мере, сорок лет, — решил мистер Пайк. — Взгляните, какие огромные раковины и какие у нее бакенбарды.

— Она не пустая, в ней что-то жидкое. Надеюсь, не вода, — сказал мистер Меллэр.

Я храбро предложил свою помощь, когда они, пользуясь промежутками между налетавшими волнами, покатали бочку к баку. В результате я сквозь перчатку порезал себе руку острым краем сломанной раковины.

— Тут, несомненно, какая-то жидкость, но мы не будем пробовать ее до утра, — сказал мистер Пайк.

— Но откуда взялась эта бочка? — спросил я.

— Ясное дело, что из-за борта; больше ей неоткуда было явиться, — ответил мистер Пайк, направляя на нее свет фонарика. — Вы только посмотрите: она, наверно, плавает в море уже многие-многие годы.

— Если это вино, оно должно быть достаточно выдержанным, — заметил мистер Меллэр.

Предоставив им привязывать бочку, я заглянул на бак. Матросы в своем стремительном бегстве не позаботились затворить дверь, и все помещение бака было затоплено. При мерцающем свете маленькой висячей лампочки, сильно коптившей, моим глазам предстала грустная картина. Я убежден, что ни один уважающий себя пещерный человек не согласился бы жить в такой дыре.

В то время, когда я стоял и смотрел, набежавшая волна заполнила все пространство между бортом и рубкой, и через открытую дверь бака меня по пояс окатило ледяной водой. Я должен был уцепиться за косяк, чтобы удержаться на месте. Лежа на боку на верхней койке, Энди Фэй пристально смотрел на меня своими злыми голубыми глазами. А на грубом, сколоченном из толстых досок столе сидел Муллиган Джэкобс, болтал в воде ногами в высоких сапогах и посасывал трубку.

Увидев меня, он выразительно указал мне на плававшие намокшие листки из книг.

— Моя библиотека пошла к черту, — грустно проговорил он. — Вон мой Байрон. А вон Золя и Браунинг и кусочек Шекспира гоняются друг за другом, а за ними тащатся остатки «Антихриста». А вон там Золя и Карлейль так крепко склеились, что их не оторвать друг от друга.

Тут «Эльсинора» качнулась в правую сторону, и хлынувшая с бака вода намочила мне ноги выше колен. Мои мокрые перчатки скользнули по железу, и меня отбросило к шпигатам, где еще раз перевернуло новой волной, набежавшей с наветренной стороны.

Я был ошеломлен и наглотался соленой воды, прежде чем мне удалось ухватиться за перила трапа и взобраться на крышу рубки. Когда я шел по мостiku к корме, навстречу мне попала возвращавшаяся на бак команда. Мистер Меллэр и мистер Пайк разговаривали под прикрытием навеса рубки, а в рубке, когда я проходил через нее, сидел капитан Уэст и курил сигару. Переодевшись в сухую пижаму, я забрался на свою койку, но не успел приняться за «Ум первобытного человека», как над моей головой снова раздался топот ног. Я ждал, не повторится ли этот топот. И услышал.

Тогда я стал одеваться.

Сцена, которую я застал на корме, была повторением предыдущей, только люди были еще более возбуждены и еще больше напуганы.



— Не двое, а трое их было, сэр, — вмешался Нози Мерфи.
— Третий был О'Сюлливан. Это не черти, сэр, это утопленники.
Первого увидел Соренсен.

Они говорили все зараз, перебивая друг друга.

— Замолчите! — рычал на них мистер Пайк, когда я подошел. — Говорите по одному и отвечайте на вопросы капитана.

— Теперь это уже не бочка, сэр, — сказал Том Спинк. — Это что-то живое. И если не черт, так выходец с того света. Я видел его, как вижу вас сейчас. Он — человек, или когда-нибудь был человеком.

— Их было двое, сэр, — перебил его Ричард Гиллер, один из «каменщиков».

— Мне показалось, сэр, что он смахивает на Петро Маринковича, — заговорил опять Том Спинк.

— А другой был Иесперсен — я хорошо его рассмотрел, — добавил Гиллер.

— Не двое, а трое их было, сэр, — вмешался Нози Мерфи. — Третий был О'Сюлливан. Это не черти, сэр, это утопленники. Первого увидел Соренсен. Он схватил меня за руку и показал, и тогда я тоже увидел его. Он стоял на крыше передней рубки. И Олансен его видел, и Дикон, и Хаки.

Все мы видели его, сэр. А потом и второго. А когда все бросились бежать, я еще оставался, и тогда увидел третьего. Может быть, их там и больше. Я не стал ждать и тоже убежал.

Капитан Уэст остановил его.

— Мистер Пайк, потрудитесь выяснить эту чепуху, — проговорил он усталым голосом.

— Есть, сэр, — ответил мистер Пайк и повернулся к команде. — Идемте все со мной. На этот раз придется вязать трех чертей.

Но люди подались назад, не слушаясь приказаний.

— За два цента... — буркнул было себе под нос мистер Пайк, но сдержался и не продолжал.

Он повернулся на каблуках и зашагал к мостику. В том же порядке, как и в первый раз, мы двинулись все трое, — мистер Меллэр вторым, а я в хвосте шествия. Этот второй наш поход ничем не отличался от первого, только теперь мы получили два душа — один на середине первого пролета мостика, а второй на крыше средней рубки.

На баке мы остановились. Тщетно мистер Пайк светил своим фонариком. Ничего не было видно, ни слышно, кроме темной, с пятнами белой пены, воды, бурлившей на палубе, рева ветра в снастях и плеска и грохота волн, переклестывавших через борт. Мы пошли дальше, но, дойдя до половины последнего пролета мостика, принуждены были остановиться и ухватиться за фок-мачту, чтобы нас не снесло в море набежавшей огромной волной.

Улучив благоприятный момент между двумя валами, мистера Пайк стал светить своим фонариком, и я слышал, как он что-то сказал мистеру Меллэру. Затем оба они направились дальше, я остался ждать их у фок-мачты, крепко держась за нее, причем получил новый душ. Иногда мне виден был луч света от фонаря, то появлявшийся, то исчезающий, мелькавший то тут, то там. Через несколько минут они вернулись ко мне.

— Половина нашего бушприта снесена, — сказал мне мистер Пайк. — Очевидно, мы на что-то наткнулись.

— Вскоре после того, сэр, как вы в последний раз сошли вниз, я почувствовал толчок, но подумал, что это море злится, — сказал мистер Меллэр.

— Я тоже слышал удар, — сказал мистер Пайк. — Я в ту минуту снимал сапоги. И тоже подумал, что море. Где же, однако, те три черта?

— Откупоривают бочку, надо полагать, — пошутил мистер Меллэр.

Мы прошли над баком, опустились по железному трапу вниз, туда, где не было ни ветра, ни воды. Там стояла бочка, прочно привязанная. Облепившие ее раковины поражали своими размерами. Каждая раковина была величиной с хорошее яблоко. Нос «Эльсиноры» нырнул, и струей воды нам залило ноги, а когда нос поднялся, и вода побежала к корме, за ней от бочки потянулись нити водорослей не менее фута длиной.

Под предводительством мистера Пайка, пользуясь каждой минутой между набегами волн, мы обыскали палубу на всем пространстве от бака до передней рубки, но не нашли чертей. Мистер Пайк заглянул в дверь бака, и яркий луч света от его фонарика прорезал полумрак под коптившей лампочкой. И тут-то мы увидели чертей. Нози Мерфи был прав: их было трое.

Я опишу всю картину. Мокрая, обледеная каюта с облезшей краской на железных, проржавевших стенах, с низким потолком и двумя этажами коек, пропитанная зловонными испарениями тридцати человек. На одной из верхних коек, на боку, в высоких сапогах и в плаще, лежал Энди Фэй, глядя на нас в упор злыми глазами. На столе, свесив в воду ноги, сидел Муллиган Джэкобс и сосал свою трубку, спокойно разглядывая трех человек невысокого роста, в высоких сапогах и окровавленном платье, стоявших рядом и качавшихся в такт ныряням «Эльсиноры».

Но что это были за люди! Я знаю Ист-Сайд и Ист-Энд и присмотрелся к лицам представителей всевозможных национальностей, но к какой расе принадлежали эти три человека, я отказался бы определить. Уж, конечно, не Средиземное море создало эту породу. И не Скандинавия. Они не были блондинами, не были и брюнетами. Их нельзя было назвать ни чернокожими, ни краснокожими, ни желтокожими. Несмотря на покрывавший их лица бронзовый загар от солнца и от ветра, было видно, что у них белая кожа. Волосы у них были бесцветные, песочного оттенка, хотя теперь, мокрые, они казались темнее. Но глаза были темные и — не темные. Они были не голубые и не серые, и не зеленые, и не карие, и не черные. Они были цвета топаза, бледного топаза. Они блестели и глядели мечтательно, как глаза большого ленивого кота. Эти белобрысы, заброшенные к нам бурей люди с бледными топазовыми глазами смотрели на нас как лунатики.

Они не поклонились нам, не улыбнулись, ничем не выразили, что они замечают наше присутствие. Они только смотрели на нас и мечтали или грезили наяву.

С нами заговорил Энди Фэй.



Эти белобрысые, заброшенные к нам бурей люди



с бледными топазовыми глазами смотрели на нас как лунатики.

— Адская ночь, и ни минуты сна с этими происшествиями, — сказал он.

— Хотел бы я знать, откуда принесло сюда этих уродов? — проворчал Муллиган Джэкобс.

— У тебя есть язык во рту. Отчего же ты их не спросил? — окрысился на него мистер Пайк.

— Я умею пользоваться своим языком, когда захочу. Уж тебе-то, старое полено, это хорошо известно, — огрызнулся в ответ Джэкобс.

Но мистеру Пайку было некогда сводить личные счета. Он, не отвечая, повернулся к полусонным пришельцам и заговорил с ними на всех наречиях теми фразами, которые имеет полную возможность изучить каждый скитающийся по свету англосакс, но ради которых, по своему упорному презрению к чуждым народам, он считает излишним ломать свой язык.

Странные гости ничего не ответили. Ни один даже головой не качнул. Их лица оставались совершенно спокойными и не выражали даже любопытства, а в их топазовых глазах отражались глубокие грезы. Но лица у всех были приятные. Во всяком случае, это были живые люди. Кровь текла по их лицам и присыхала к одежде.

— Голландцы, — пробурчал мистер Пайк с должным презрением ко всем чуждым народам и сделал им знак рукой ложиться на свободные койки. Знакомство мистера Пайка с нациями невелико. Кроме собственного народа, он различает только три: негров, голландцев и цыган.

Наши гости ещё раз доказали, что они живые люди. Они поняли приглашение старшего помощника и, переглянувшись между собой, вскарабкались на верхние койки и закрыли глаза. Я мог бы поклясться, что первый из них через полминуты уже спал.

— Надо расчистить наверху, а то совсем завалило обломками, — сказал мистер Пайк, собираясь уходить. — Пошлите матросов наверх, мистер Меллэр, и вызовите плотника.

ГЛАВА XXXVI

Мы распростились с западным направлением. Нас отнесло назад к востоку на три градуса с той ночи, когда на судно к нам явились незваные гости. Появление с моря этих людей — большая загадка. «Цыгане с мыса Горн» — зовет их Маргарет, а мистер Пайк продолжает величать их голландцами. Несомненно одно: они говорят между собой на каком-то особенном языке. Но во всей нашей мешанине национальностей — как на баке, так и на юте — нет ни одного человека, который понимал бы хоть слово из этого языка и мог бы определить их национальность.

Мистер Меллэр высказал догадку, что они родом из Финляндии, но это было с негодованием опровергнуто нашим косолапым юношей плотником, который клянется, что он сам — финн. Повар Луи уверяет, что во время одного из

своих кругосветных путешествий он встречал людей такого типа, но не может припомнить, ни когда это было, ни к какой расе принадлежали те люди. И он, и остальные азиаты принимают присутствие на судне этих трех незнакомцев как нечто естественное.

Но вся команда, за исключением Энди Фэя и Муллигана Джэкобса, продолжает смотреть на них с суеверным страхом и сторониться от них.

— Не будет от них добра, сэр, — говорил нам Том Спинк, стоя у штурвала и с злобещим видом покачивая головой.

Мы стояли возле него, балансируя в такт легкой качке судна, и рука Маргарет лежала на моей. Мы только что кончили нашу прогулку, которая теперь вошла у нас в обязательный ритуал, так как мы совершаем ее с гигиенической целью ежедневно между одиннадцатью и двенадцатью часами.

— Да что же в них худого? — спросила Маргарет, незаметно подтолкнув меня локтем, чтобы обратить мое внимание на то, что ответит Том Спинк.

— Они не люди, мисс, — не такие, как обыкновенные люди. Не настоящие люди.

— Они, правда, выбрали не совсем обыкновенный способ явиться к нам на судно, — засмеялась она.

— Вот именно, — подхватил Том Спинк, заметно обрадовавшись, что его понимают. — Откуда они взялись? Они не говорят и, конечно, не скажут. Они не люди. Они — выходцы с того света, души моряков, давно утонувших, — души матросов с того самого погибшего судна, с которого была пущена и эта бочка. А это было много-много лет назад. Вам это всякий скажет, мисс: стоит только взглянуть, какими огромными раковинами она успела с той поры обрасти.

— И вы серьезно так думаете? — спросила Маргарет.

— Мы все так думаем, мисс. Не даром же всю жизнь мы провели в море. Сухопутный народ, сказать, к примеру, не верит в Летучего Голландца. Но что они знают? Они не моряки. Наверно, ни одного из них не хватал за ноги выходец с того света, как это было со мной на «Кетлин» тридцать пять лет назад, когда я сидел в трюме между бочками с водой. Он даже башмак с меня стащил. И отчего же через два дня после того я провалился в люк и сломал себе руку? И вот что я скажу вам, мисс. Я видел, как они знаками показывали мистеру Пайку, что будто мы наткнулись на их судно, когда оно лежало в дрейфе. Так вы не верьте этому. Никакого судна не было.

— Но чем же вы объясняете, что у нас обломан бушприт? — спросил я его.

— Мало ли, сэр, на свете такого, чего нельзя объяснить, — ответил он. — Кто объяснит, каким образом финны ухитряются налаживать погоду? А между тем все мы знаем, что они это делают. Скажите, сэр, отчего вам на этот раз так трудно достается обход мыса Горн? Отчего — спрашивается. А знаете отчего?

Я покачал головой.

— Из-за плотника, сэр. Теперь открылось, что он — финн. Но отчего же он молчал об этом всю дорогу от Балтимора?

— Да зачем же было ему говорить? — сказала Маргарет.

— Он и не говорил, до тех пор, пока к нам не явились эти трое. Я подозреваю, что ему известно о них больше, чем он признается. Заметьте, мисс, как мы задерживаемся из-за погоды. А кто же не знает, что финны — колдуны и могут заговаривать погоду!

Я наострил уши.

— С чего вы взяли, что финны — колдуны? — спросил я.

— То есть как с чего? Я давно это знаю. Финны — колдуны, это сущая правда.

— Но ведь эти три человека не финны, — возразила Маргарет.

Том Спинк торжественно качнул головой.

— Нет, мисс. Они — утопленники, матросы, утонувшие очень давно. Вы присмотритесь к ним и сами увидите. А плотник мог бы порассказать о них кое-что, если бы хотел.

Как бы то ни было, наши таинственные гости — весьма желательное добавление к нашей ослабевшей команде. Я наблюдаю их за работой. Они сильны и работают охотно. Мистер Пайк говорит, что они настоящие моряки, — он это видит, хотя и не понимает их языка. Он полагает, что они шли на каком-нибудь маленьком английском или иностранном судне, и в то время, когда оно лежало в дрейфе, «Эльсинора» наскочила на него и пустила его ко дну. Я позабыл сказать, что занесенная к нам морем бочка оказалась почти доверху наполненной чудеснейшим вином, но как оно называется — никто из нас не знает. Как только шторм немного поутих, мистер Пайк распорядился перенести бочку на ют и откупорить, а буфетчик и Вада разлили вино по бутылкам. Ему очень много лет. Мистер Пайк уверяет, что это даже не вино, а какая-то легкая неизвестная настойка. Мистер Меллэр только причмокивает над своим стаканом, а капитан Уэст и мы с Маргарет твердо стоим на том, что это — вино.

Состояние команды становится поистине плачевным. Эти люди и всегда-то были плохи при работе со снастями, а теперь нужны два-три человека там, где раньше управлялся один. Счастье еще, что они хорошо, хоть и грубой пищей, питаются, — они едят, сколько хотят, — а убивают их ужасные условия жизни — холод и сырость, недостаток сна и почти непрерывная работа наверху. Обе смены так слабы и так мало работоспособны, что при мало-мальски трудной работе одна смена не может обойтись без помощи другой. Вот вам пример: в конце концов нам удалось взять рифы и наладить фок во время шторма, но над этим два часа проработали обе смены, а мистер Пайк говорит, что в прежнее время при таких же условиях команда среднего достоинства, в составе одной только смены, выполняла эту работу в двадцать минут.

Я узнал одно из главных преимуществ стальных судов. Стальное судно, даже тяжело нагруженное, не дает течи при самом сильном волнении. За исключением маленькой течи в одном из отделений трюма, с которой мы вышли из Балтимора и которая дает такое незначительное количество воды, что ее вычерпывают ведром один раз в несколько недель, «Эльсинора» совершенно

непроницаема. Мистер Пайк говорит, что, если бы деревянное судно таких же размеров и с таким же количеством груза выдержало такую трепку, как мы, оно текло бы как решето. После рассказа мистера Меллэра, основанного на личном его опыте, мое уважение к мысу Горн усугубилось. Однажды, когда мистер Меллэр был еще молодым человеком, их судно восемь недель пробивалось от пятидесятой параллели Атлантического океана до пятидесятой параллели Тихого. А в другой раз им дважды пришлось возвращаться на Фолклендские острова для починок. И еще раз, когда деревянное судно, на котором он служил, возвращалось, потерпев аварию, на Фолкленды, налетевшим шквалом его потопило у самого входа в порт Стэнли.

— Мы целый месяц просидели там, сэр, — рассказывал он, — и вдруг видим, входят в порт старушка «Люси Пауэрс». Но в каком виде! Фок-мачта и половина рей срезаны как ножом; капитан убит свалившейся на него реей; у старшего помощника сломаны обе руки; второй помощник болен; а остатки команды у помп — выкачивают воду. Наше судно погибло, поэтому наш шкипер принял командование над «Люси Пауэрс», починил ее, оснастил, взял обе команды, и мы отправились дальше другим, кружным путем, выкачивая воду по два часа в каждую смену до самого Гонолулу.

* * *

Бедные куры! Благодаря своей несвоевременной линьке они остались без перьев. Казалось было бы чудом, если бы выжила хоть одна, а их издохло только шесть штук. По распоряжению Маргарет в керосиновой печке все время поддерживается огонь, и хоть куры перестали нестись, она с уверенностью утверждает, что они исправятся, как только мы войдем в теплые широты.

Не стоит описывать все эти нескончаемые западные шквалы, — так они однообразны. Один похож на другой, и они так быстро следуют друг за другом, что море не успевает успокоиться. Нас так давно качает и подкидывает, что представление о чем-нибудь неподвижном, хотя бы, например, о прочно установленном бильярде, как-то даже не укладывается в голове. В прежних моих воплощениях мне попадались неподвижные предметы, но... но то было в прежних воплощениях.

За последние десять дней мы два раза подходили к утесам Диего Рамирес. В настоящий момент, по приблизительному подсчету, мы находимся в двухстах милях к востоку от них. За последнюю неделю мы три раза лежали в дрейфе, и вода доходила до люков. У нас сорвало с рей шесть больших парусов из толстейшей парусины. Бывает, что команда так ослабевает, что на вызов «все наверх» является лишь половина двух смен.

Ларса Якобсена, который сломал ногу еще в начале плавания, несколько дней назад подшибло набежавшей волной, и он опять сломал ту же ногу. С Дитманом Олансеном, косоглазым норвежцем, вчера во вторую вечернюю вахту случился припадок бешенства, и он долго буянил на баке. Вада мне говорил, что четыре человека — «каменщики» Фицгиббон и Гиллер, мальтийский кокни

*А сегодня утром мистер Пайк выволок за шиворот
Чарльза Дэвиса с бака, где тот вздумал разъяснять
морские законы этим жалким слизнякам.*



и Стив Робертс, ковбой, еле-еле справились с сумасшедшим. Все они из смены мистера Меллэра. Джон Хаки из смены мистера Пайка, державшийся раньше в стороне от трех висельников, под конец не выдержал и присоединился к ним. А сегодня утром мистер Пайк выволок за шиворот Чарльза Дэвиса с бака, где тот вздумал разъяснять морские законы этим жалким слизнякам. Мистер Меллэр, как я замечаю, продолжает поддерживать неподобающую близость с этой гнусной кликой. Но пока ничего серьезного не произошло.

А Чарльз Дэвис не умирает. По-видимому, он даже прибавляется в весе. Он не пропускает ни одной еды. Стоя под тентом на краю юта, я часто вижу, как он, не обращая внимания ни на ветер, ни на захлестывающие на палубе волны, с кастрюлей или тарелкой в руках пробирается через потолки ледяной воды за едой из своей каюты на кубрик. Он умеет предугадывать движение судна, — по крайней мере, я ни разу не видел, чтобы его как следует окатило водой. Случается, конечно, что его обрызгает пеной, или он окажется по колено в воде, но от больших седобородых валов он как-то всегда ухитряется увернуться.

ГЛАВА XXXVII

Сегодня удивительное событие: в полдень было видно солнце в течение пяти минут. Но какое! Бледное, холодное, хилое, стоявшее всего на 9°18' над горизонтом. А через час мы убрали паруса и легли в дрейф под снежным вихрем налетевшего с юго-запада шквала.

«Во что бы то ни стало держите на запад», — это правило для мореплавателей при обходе мыса Горн выковано из железа. Теперь я понимаю, почему шкиперы при благоприятном направлении ветра предоставляют матросам, упавшим за борт, тонуть, и не останавливаются, чтобы спустить шлюпку. Мыс Горн — железный мыс, и нужны железные люди, чтобы обойти его с востока на запад.

А мы все время идем на восток. Западному ветру не предвидится конца. Я с недоверием слушаю рассказы мистера Пайка и мистера Меллэра о тех случаях, когда в этих широтах дули восточные ветры. Не могло этого быть. Здесь всегда дует западный ветер; шквал за шквалом налетая с запада, всегда с запада, иначе почему же на морских картах печатается: «Полоса Великого Западного Ветра»? Мы, почетная гвардия юта, устали от этой вечной трепки. Наши матросы окончательно раскисли и размокли, покрылись болячками и превратились в какие-то тени людей. Я не удивлюсь, если капитан Уэст повернет, наконец, налево кругом и пойдет на восток, чтобы попасть в Сиэтл, обойдя вокруг света. Но Маргарет качает головой, спокойно улыбается и утверждает, что ее отец пробьется до пятидесятой параллели Тихого океана.

Почему Чарльз Дэвис не умирает в своей мокрой, обледенелой, с облезшими стенами каюте — это выше моего разума, так же, как и то, что несчастные матросы продолжают жить в прогнившем помещении бака вместо того, чтобы лечь на койки и умереть или, по крайней мере, отказаться выходить на вахты.

Прошла еще неделя, и сегодня, согласно наблюдениям, мы находимся в шестидесяти милях к югу от пролива Ле-Мэр и лежим в дрейфе под сильнейшим штормом. Барометр упал до 28,58, и даже мистер Пайк признается, что этот шторм — один из самых злых ревунув Сурового Мыса, с каким ему когда-либо приходилось бороться.

В былое время мореплаватели держали курс на юг к антарктическим плавающим льдам до шестидесятого-шестьдесят пятого градуса, в надежде, что при первом благоприятном ветре их быстро погонит на запад. Но за последние годы все шкиперы предпочитают при обходе мыса Горн не слишком удаляться от берегов. Из ста тысяч случаев обхода Сурового Мыса они сделали вывод, что такой способ обхода оказывается самым верным. И капитан Уэст старается не удаляться от берегов. Он лежит в дрейфе на левом галсе, имея берег с подветренной стороны; а когда близость земли становится опасной, он поворачивает судно и снова ложится в дрейф на правый галс, чтобы судно относилось от берега.

* * *

Пусть я устал от вечной качки, от этих судорожных подергиваний судна, борющегося с суровым морем, но эта усталость мне нипочем. Мой мозг воспламенен великим открытием и великим достижением. Я открыл то, что выше всяких книг: я достиг того, что, как утверждает моя философия, является величайшим достижением человека. Я нашел любовь к женщине. Я не знаю, любит ли она меня. Да и не в этом суть. Суть в том, что сам я достиг высочайшей вершины, на какую только может подняться человеческий самец.

Я знаю одну женщину, и зовут ее Маргарет. Она — Маргарет; она — женщина и желанная. У меня тоже красная кровь. Я не из тех сухарей-книгоедов, к каким я с гордостью причислил себя. Я — мужчина и влюбленный, несмотря на проглоченные мной книги. А де Кассер... Если когда-нибудь я вернусь в Нью-Йорк таким, каков я сейчас, в полном вооружении, я разобью его по всем пунктам так же легко, как сам он разбивал философские школы. Любовь есть заключительный аккорд. Разумному человеку одна любовь дает сверхнациональную санкцию его жизни. Подобно Бергсону с его недостижимым небом и подобно тому, кто очистился в огне Пятидесятницы и узрел Иерусалим, попраю я ногами материалистические выводы науки, вознесся на высочайшую вершину философии и нашел свое небо, которое, в сущности, заключено во мне самом. Естество, меня составляющее, то, что я зову моим «я», так уже создано, что высшее свое осуществление оно находит в любви к женщине. Эта любовь — оправдание бытия. Да, оправдание и оплата, вознаграждение полностью за эфемерность и бренность нашей плоти и духа.

И она только женщина, как и всякая другая, а мне — видит Бог — хорошо известно, что такое женщины. И я не заблуждаюсь насчет Маргарет, я знаю, что она только женщина, и все-таки влюбленным сердцем знаю, что она не совсем такая, как другие женщины. Ее движения, все ее повадки не такие, как у других женщин, и все они восхищают меня. Должно быть, кончится тем, что я стану строителем гнезда, ибо стремление к устройству гнезда есть одно из самых привлекательных ее свойств. А кто может сказать, что ценнее — написать библиотеку книг или свить гнездо?



Временами мы видим сквозь снежные вихри, как мимо нас проходят суда, идущие на восток попутным западным ветром, и проклинаем их.

* * *

Моноотонной вереницей тянутся дни, — серые, холодные, сырые, безотрадные дни. Вот уже месяц прошел, как мы начали обход мыса Горн, и мы не только не подвинулись вперед, но даже попятнулись, так как теперь мы находимся миль на сто южнее пролива Ле-Мэр. Но даже и это наше положение гадательно, так как оно вычислено по лагу. Мы лежим в дрейфе и часто меняем направление, при непрерывно дующем встречном Великом Западном Ветре. Прошло четыре дня с тех пор, как мы в последний раз видели солнце. Вздурораженный штормами океан гонит к одному месту суда. Ни одно судно не может обогнуть мыс Горн, и с каждым днем нашего полку прибывает. Не проходит дня, чтобы на горизонте не показалось двух, трех, а иногда до дюжины лежащих в дрейфе судов на правом или на левом галсе. По подсчету капитана Уэста, их должно быть в нашем соседстве не менее двухсот. Управлять лежащим в дрейфе судном невозможно. Каждую ночь мы рискуем роковым столкновением. Временами мы видим сквозь снежные вихри, как мимо нас проходят суда, идущие на восток попутным западным ветром, и проклинаем их. И так склонен ум человеческий увлекаться дикими фантазиями, что мистер Пайк и мистер Меллэр все еще утверждают, что они знают случаи, когда суда огибали мыс Горн с востока на запад при попутном ветре. Наверное, не меньше года прошло с тех пор, как «Эльсинора» вышла из-под прикрытия берегов Фьерра-дель-Фуэго и очутилась в гуще ревущих юго-западных штормов, и уж по меньшей мере протекло столетие с того дня, когда мы отплыли из Балтимора.

А я только смеюсь над яростью серого моря на краю света. Я сказал Маргарет, что люблю ее. Сказано это было вчера, под защитой тента, где мы стояли рядом у борта во вторую вечернюю вахту. И еще раз было это сказано, уже нами обоими, в ярко освещенной рубке после того, как пробило восемь склянок



*Я сказал Маргарет, что люблю ее. Сказано это было вчера, под защитой тента,
где мы стояли рядом у борта во вторую вечернюю вахту.*

и сменились вахты. Лицо Маргарет горело от ветра, и вся она сияла гордостью, только глаза смотрели мягко и тепло, и веки трепетали женственно, по-девичьи. Великий был час — наш великий час... Бедняга человек всего счастливее тогда, когда он любит и любим. И в самом деле, печально для влюбленного, когда его не любят. И я, по этой и по другим еще причинам, могу поздравить себя с колоссальной удачей. Потому что, видите ли, будь Маргарет женщиной другого склада, будь она... ну, скажем, будь она одной из тех обворожительных женщин, которые как будто созданы, чтобы любить, быть любимыми и искать защиты в сильных объятиях мужчины, тогда не было бы ничего необычайного и удивительного в том, что она полюбила меня. Но Маргарет есть Маргарет, сильная, спокойная, уравновешенная, с замечательной выдержкой, госпожа своего «я». И это положительно чудо, что я мог пробудить любовь в такой женщине. Это просто невероятно. Выходя из своей каюты, я часто делаю крюк только для того, чтобы лишний раз заглянуть в эти продолговатые, холодные серые глаза и увидеть, как смягчится их выражение при виде меня. Она не Джульетта, благодарение творцу, и я, слава тебе Господи, не Ромео. И, однако, я выхожу один на обледенелую корму и бросаю вызов ревущему ветру и грохочущим седобородым валам, напевая вполголоса, что я люблю и любим. И одиноким альбатросам, кружащим надо мной в полумраке, я шлю все ту же весть, что я люблю и любим. И я гляжу на несчастных матросов, ползающих по залитой пеной палубе, и знаю, что, проживи они хоть десять тысяч жизней, никогда не испытать им того чувства любви, которое переполняет меня, и недоумеваю, зачем их создал Бог.

— А знаете, — призналась мне сегодня утром Маргарет в каюте, когда я выпустил ее из своих объятий, — я с самого начала нашего плавания твердо решила, что не позволю вам ухаживать за мной.

— Истая дочь Иродиады, — весело сказал я. — Так значит вот в каком направлении шли ваши мысли с самого начала! Уж и тогда вы смотрели на меня оценивающими глазами женщины.

Она гордо рассмеялась и не ответила.

— Но что навело вас на эту мысль? — допрашивал я. — Почему вы ожидали, что я непременно начну ухаживать за вами?

— Потому что так поступают все молодые пассажиры-мужчины в дальних плаваниях, — ответила она.

— Стало быть, другие...

— Всегда, — серьезно сказала она.

В этот момент я впервые почувствовал приступ смешной ревности, но отогнал его притворным смехом и сказал:

— Про одного очень древнего китайского философа говорят, будто он сказал то, что задолго до него наверно говорили пещерные люди, а именно, что женщина преследует мужчину, притворяясь, что убегает от него.

— Бессовестный! — воскликнула она. — Я никогда не притворялась. Когда и в чем я притворялась, — скажите!

— Ну, это щекотливый вопрос... — начал было я с напускным смущением.

— Нет, говорите, — когда я притворялась? — не отставала она.

Я воспользовался одною из уловок Шопенгауэра, чтобы выйти из затруднения.

— Вы с самого начала делали вид, что не замечаете ничего, что только можно было позволить себе не заметить, — сказал я. — Держу пари, что вы не хуже меня знали, в какой момент мне стало ясно, что я вас полюбил.

— Я знала, в какой момент вы меня возненавидели, — это верно, — уклонилась она от прямого ответа.

— Да, я знаю, это было, когда я увидел вас в первый раз и узнал, что вы плывете с нами, — сказал я. — Но я повторяю мое обвинение. Вы знали, в какой момент я понял, что люблю вас.

О, как хороши были ее глаза и как внушительна ее спокойная уверенность, когда, положив руку мне на плечо, она сказала тихим голосом:

— Да, я... я думаю, что я знала. Это было у Ла-Платы, в тот день, когда разыгрался шторм и вас ударило о дверь каюты моего отца. Я догадалась по вашим глазам. Да, так, это была самая первая минута: вы тогда поняли, что любите меня.

Я мог только кивнуть в ответ и притянуть ее к себе. А она подняла на меня глаза и добавила:

— Какой вы были смешной! Сидите на кровати, одной рукой держитесь за нее, а другую запрятали подмышку, и смотрите на меня сердитыми глазами. И тут-то, сама не знаю, почему... я догадалась, что вы поняли...

— И в следующий же момент вы заморозились, — довольно нелюбезно перебил я ее.

— Ну да, потому и заморозилась, что поняла, — без смущения созналась она. Потом отклонилась от меня, оставив руки на моих плечах, рассмеялась своим переливчатым смехом, и губы ее, улыбаясь, обнажили чудные белые зубы.

Я, Джон Паттерст, знаю одно: никто и никогда не слышал такого восхитительного переливчатого смеха, каким смеется она.

ГЛАВА XXXVIII

Я думаю, думаю, и ничего не понимаю. Неужели Самурай ошибся? Или, может быть, мрак приближающейся смерти затмил его холодный, ясный ум и насмеялся над его мудростью? Или же именно этот промах его был причиной его преждевременной смерти? — Не знаю и никогда не узнаю, ибо это такой вопрос, которого никто не решится коснуться даже намеком, а тем не менее обсуждать.

Начну с начала, со вчерашнего дня. Вчера после полудня, ровно через пять недель после того, как мы вышли из пролива Ле-Мэр в пустыню угрюмого бурного океана, мы снова оказались лежащими в дрейфе прямо против мыса Горн.

В четыре часа, когда сменялись вахты, Уэст приказал мистеру Пайку повернуть судно через фордевинд.

Мы в это время шли правым галсом, удаляясь от берега. С этим маневром курс наш менялся: теперь мы должны были идти левым галсом и, следовательно (так мне, по крайней мере, казалось) приближаться к берегу, хотя, разумеется, под острым углом.

Я из любопытства зашел в командную рубку взглянуть на карту. Определив на глаз расстояние, я решил, что мы находимся в довольно близком соседстве с мысом Горн — не дальше, как в пятнадцати милях от него.

Я набрался храбрости и спросил капитана Уэста:

— Ведь при скорости нашего хода мы к утру будем у самого берега, не так ли?

Он кивнул головой.

— Да, если бы не западный ветер, — и если бы берег не загибался на северо-восток, — мы были бы к утру на берегу. Но принимая во внимание эти два условия, мы подойдем к берегу на рассвете с тем, чтобы обогнуть его, если ветер переменится, или, если не будет никакой перемены, снова повернуть судно через фордевинд.

Мне и в голову не приходило оспаривать его выводы. Раз он это говорит, значит, это верно. Разве он не Самурай?

Но вот через несколько минут, когда он спустился в каюту, я увидел, как в рубку вошел мистер Пайк. Я прошелся по мостику, постоял и посмотрел, как Нанси и еще несколько человек переносили брезенты с подветренной на наветренную сторону, и прошел к рубке. Меня словно подтолкнуло что-то заглянуть в нее сквозь иллюминатор.

Там был мистер Пайк. Без шапки, в плаще, с которого струилась на пол вода, с циркулем и со шкалой в руках, он стоял, наклонившись над картой. Меня поразило выражение его лица. От его обычной угрюмости не оставалось и следа. Тревогу, граничащую со страхом, — вот что прочел я на его лице... и возраст. Никогда еще он не казался мне таким старым. Только теперь я понял, какую усталость должен был он испытывать от своего шестидесятилетнего созерцания моря, от борьбы с морем.

Я тихонько отошел от иллюминатора, прошел на корму и сквозь туман и брызги пены стал всматриваться в ту сторону, куда предполагалось держать курс. Я знал, что где-то там, на северо-востоке и на севере тянется железный берег из зазубренных скал, о которые разбиваются седобородые валы. А здесь, в командной рубке опытный моряк, с тревогой наклонившись над картой, измеряет, вычисляет и, не веря себе, снова измеряет и вычисляет положение судна и его предполагаемый курс.

Но Самурай не мог быть не прав — я это твердо знал. Не Самурай ошибается, а слуга Самурая. На нем начинает наконец сказываться возраст, чего и надо было ожидать, если принять во внимание, что из десяти тысяч человек, может быть, он один боролся со старостью так успешно.

Я посмеялся над моим мимолетным приступом глупого страха и сошел вниз, радуясь, что увижу сейчас мою милую, и успокоенный мыслью, что я смогу, вполне положиться на мудрость ее отца. Вне всякого сомнения, он был прав. Он достаточно часто доказывал свою правоту за время нашего долгого плавания.

За обедом мистер Пайк был очень рассеян. Он не принимал никакого участия в общем разговоре и все время как будто прислушивался к звукам извне — к несносному звону стальной полой мачты, о которую колотились канаты, к заглушённому вою ветра в снастях, к плеску и грохоту волн, катившихся по палубе и ударявших о железные стены каюты.

И опять я почувствовал, что разделяю его опасения, хотя из деликатности я ни тогда, ни потом не стал расспрашивать его о причинах его беспокойства. В восемь часов он снова поднялся на палубу, чтобы вступить на вахту до полуночи, а я улёгся в постель, и, отогнав зловещие предчувствия, раздумывал о том, на сколько еще плаваний хватит этого человека после его внезапного приступа старости.

Я скоро заснул, а в полночь проснулся при еще горячей лампе и с «Зеркалом моря» на груди, которое я выронил из рук, засыпая. Я слышал, как сменились вахты, и, совершенно выспавшись, читал, когда мистер Пайк сошел вниз и прошел по коридору, мимо моей открытой двери, по дороге в свою каюту.

Я хорошо изучил его привычки и по наступившей тишине догадался, что он свертывает папиросу. Затем я услышал, что он кашляет, что всегда бывало с ним, как только, закулив, он затягивался в первый раз, и дым попадал к нему в легкие.

В четверть первого, на середине восхитительной главы «Тяжесть ноши» Конрада, я услышал, что мистер Пайк опять идет по коридору.

Незаметно взглянув поверх книги, я увидел, что он в полной штормовой амуниции — в высоких сапогах, в плаще и в теплой шапке. Это были часы его отдыха, а при этом нескончаемом ветре ему и так приходилось очень мало спать, и тем не менее он шел на палубу.

Я читал и ждал, но прошел целый час, а он не возвращался, и я знал, что где-нибудь там, наверху, он внимательно всматривается в надвигающуюся ночную тьму. Я облекся во все свои тяжелые штормовые доспехи, начиная с меховой куртки и сапог и кончая клеенчатым плащом и шапкой. Дойдя до трапа, я увидел в конце коридора свет, выходивший из каюты Маргарет. Я заглянул к ней (она оставляла на ночь свою дверь открытой для вентиляции) и увидел, что она читает.

— Нет, мне просто не спится, — ответила она на мой вопрос, не больна ли она.

Я не думаю, чтобы у нее были какие-нибудь опасения. Она и теперь еще не знает, я уверен, об ошибке Самурая — если была ошибка; ей просто не спалось, как она и сказала, хотя — как знать? — не передалась ли ей каким-нибудь таинственным путем тревога мистера Пайка, хоть она и не признавала ее. Поднявшись по трапу и проходя по маленькой передней, чтобы выйти на палубу с подветренной стороны, я заглянул в рубку. На диване лежал на спине с не-

ловко подвернутой головой на слишком высокой подушке, капитан Уэст и, как показалось мне, спал. В рубке было тепло от поднимавшегося из каюты нагретого воздуха, и он лежал ничем не прикрытый, но в верхнем платье, только сняв плащ и сапоги. Он дышал легко и ровно, и тонкие, аскетические черты его лица казались мягче при слабом свете лампочки. И от одного взгляда этого человека ко мне вернулись спокойствие и вера в его мудрость, и мне стало смешно, что я имел глупость променять теплую постель на прогулку по обмерзшей палубе.

Под тентом у края кормы я застал мистера Меллэра. Он был бодр и, по-видимому, не беспокоился. Должно быть, он не задумывался над вопросом о произведенном накануне повороте судна через фордевинд, и ему не приходило в голову усомниться в целесообразности этого маневра.

— Шторм стихает, — сказал он мне, указывая рукой в теплой перчатке на ясный кусок неба, показавшийся на один миг из-за редящих туч.

Но где же был мистер Пайк? И знал ли второй помощник, что он был наверняка? Я попробовал выведать это от мистера Меллэра, пока мы с ним шли по корме к штурвалу. Я заговорил о том, как плохо спать в бурную погоду, сказал, что, по крайней мере у меня, от сильной качки делается какое-то тревожное настроение и бессонница, и спросил, так же ли действует дурная погода на моряков.

— Сейчас, проходя через среднюю рубку, я видел капитана Уэста: он спит как младенец, — добавил я.

На этом месте разговора мы остановились возле средней рубки и дальше не пошли. Мистер Меллэр рассмеялся.

— Поверьте, мистер Патгерст, что и все мы спим не хуже, — сказал он. — Чем сильнее ветер, тем тяжелее наша работа, и тем крепче мы спим. Мне стоит только положить голову на подушку, и я уже сплю мертвым сном. У мистера Пайка это выходит подольше, потому что он, сойдя вниз, непременно должен выкурить папиросу. Но, пока курит, он раздевается, так что ему требуется всего какая-нибудь лишняя минута, чтобы заснуть. Держу пари, что с десяти минут первого он ни разу не пошевелился во сне.

Итак, второй помощник не подозревал, что старший на палубе. Я опять сошел вниз посмотреть, не там ли он. В его каюте горела висячая лампочка, и койка была не занята. Я прошел в кают-компанию, погрелся там у печки и снова поднялся на палубу. Я не пошел к тому краю кормы, где, как я знал, стоял мистер Меллэр, а, обойдя с подветренной стороны, поднялся на мостик и направился к баку.

Мне некуда было спешить, и я несколько раз останавливался во время этой прогулки по холодной и сырой палубе. Шторм действительно стихал, так как из-за редящих нависших туч то и дело проглядывали звезды. В средней рубке мистера Пайка не было. Я обошел ее под ледяными брызгами пены и стал внимательно всматриваться в крышу передней рубки, где в бурную погоду, как мне было известно, обыкновенно стоял вахтенный. Я был в двадцати шагах от этой рубки, когда, при свете звезд внезапно прояснившегося неба, я увидел на крыше стоявших рядом — вахтенного (кого именно — я не мог различить)

и мистера Пайка. Не выдавая своего присутствия, я долго наблюдал за ними и знал, что глаза старшего помощника, как два буравчика просверливали темноту, отделявшую «Эльсинору» от осаждаемого седобородыми валами железного берега, который он силился разглядеть.

Когда я вернулся на корму, меня окликнул удивленный мистер Меллэр.

— Я думал, сэр, вы спите, — сказал он.

— Я чувствую себя как-то тревожно, — объяснил я. — Я читал, пока не устали глаза, а теперь вышел, чтобы хорошенько прозябнуть, — может быть, тогда, согревшись, я скорее засну.

— Завидую вам, сэр, — проговорил он. — Подумать только! Располагать всей ночью для отдыха! Не удивительно, что вы уже не можете спать. Если когда-нибудь я разбогатею, я тоже пущусь в плавание в качестве пассажира и все вахты буду проводить внизу. Какое это счастье — все вахты внизу! И по вашему примеру, сэр, я возьму с собой слугу-японца. Он будет меня будить при каждой смене вахт, чтобы, проснувшись, я мог вполне оценить преимущества быть пассажиром. А через несколько минут я повертываюсь на другой бок и снова засыпаю.

Смеясь, мы пожелали друг другу доброй ночи. Я еще раз заглянул в командную рубку: капитан Уэст все еще спал. Должно быть, он ни разу не пошевелился, хотя тело его двигалось с каждым качанием судна. Внизу, в каюте Маргарет еще горел огонь, но она спала, и книга выпала у нее из рук, как это часто случалось и с моими книгами.

Я был в недоумении. Половина нас, обитателей «Эльсиноры», спала. Самурай спал. А старший помощник, старик, которому следовало бы спать, отбывал тяжелую вахту на баке. Имело ли основание его беспокойство? Неужели он был прав? Или это была просто преувеличенная заботливость старости? Неужели мы так дрейфуем, что нас несет ветром на погибель? Или старик впал в детство, стоя на служебном посту?

У меня совершенно не было желания спать. Я захватил «Зеркало моря» и устроился с ним у обеденного стола. Я остался, как был, в штормовом костюме, снял только намокшие перчатки и повесил их у печки просушить. Пробило четыре склянки, шесть склянок, а мистер Пайк не возвращался. Услышав восемь склянок — час смены вахт, я подумал, какая трудная ночь предстоит старшему помощнику. С восьми до двенадцати он отбывал собственную вахту наверху, теперь прошли четыре часа вахты второго помощника, и опять начиналась его вахта, которая продлится до восьми утра. Двенадцать часов без перерыва в шторм и при температуре ниже нуля!

Я задремал на несколько минут. Вдруг я услышал у себя над головой громкие крики, несколько раз повторившиеся. Только потом я узнал, что это была команда мистера Пайка повернуть руль, передававшаяся с бака людьми, которых он расставил через определенные промежутки по всему мостику.

Еще не совсем очнувшись от внезапно прерванного сна, я понял только, что что-то случилось наверху. Натягивая дымящиеся перчатки и торопливо караб-

каясь по качающемуся трапу, я слышал топот ног, на этот раз не волочившихся, а бежавших. Из рубки я услышал голос мистера Пайка, успевшего пробежать всю длину мостика от самого бака и кричавшего:

— Бизань-брасы! Ослабляй, черт тебя возьми! Ослабляй ход! Держи поворот! Все сюда, на корму! Прыгай! Живее, если не хотите пойти ко дну! Левые брасы — скорее! Не давай им сорваться! Левые брасы! Я раскрою башку, если упустите канат! Живее! Живее!.. Повернул руль? Что же ты, черт тебя побери, не отвечаешь?

Все это доносилось до меня, когда я выбегал с подветренной стороны рубки, удивляясь, отчего я не слышу голоса Самурая. Затем, проходя через рубку, я увидел его. Он сидел на диване, бледный как мертвец, держа в руках один сапог, и я мог бы поклясться, что руки у него дрожали. Только это я и успел заметить, — в следующий момент я был уже на палубе.

Сначала, выйдя в темноту со света, я ничего не видел, — я только слышал возню работавших матросов и голос старшего помощника, выкрикивавшего приказания. Но маневр был мне знаком. Со слабосильной командой, в самом опасном месте океана, еще не успокоившегося после затихающего шторма, с бурунами и гибелью, грозившей нам с подветренной стороны, «Эльсинору» надо было повернуть через фордевинд. Всю ночь мы шли под одними верхними парусами и с зарифленным фоком. Первым делом мистера Пайка, после поворота руля, было поставить реи. Ослабив напор воздуха сзади, легче было повернуть корму против ветра, и напором на передние паруса поставить нос под ветер.

Но чтобы повернуть судно с наполовину убранными парусами и при сильном волнении, нужно время. Я чувствовал на своей щеке, как медленно, очень медленно меняется направление ветра. Луна, вначале чуть видная из-за туч, светила все ярче и ярче по мере того, как уносились последние клочки заволакивавшей ее тучи! Я всматривался в ту сторону, где должна была быть земля, но никакой земли не видел.

— Грот-брасы! Все к грот-брасам! Скорей! — орал мистер Пайк, бросаясь к корме впереди всех.

И матросы действительно «бросались», бежали во весь дух. За все время нашего плавания я ни разу не видел их такими энергичными и проворными.

Я пробрался к штурвалу. Там стоял Том Спинк. Он заметил меня. Придерживая одной рукой неподвижное колесо, он наклонился в сторону, установившись в одну точку, как зачарованный. Я стал смотреть в ту же сторону, между средней рубкой и левыми парусами, и через горы волн, смутно видневшихся при лунном свете, увидел... Корма «Эльсиноры» взлетела под небеса, и за полосой холодного океана я увидел землю — черные утесы с покрытыми снегом склонами и провалами. И к этим утесам нас несло почти попутным ветром.

Со стороны средней рубки доносилось рычание старшего помощника и крики матросов. Они работали изо всех сил, спасая свою жизнь. Затем по

корме с невероятной быстротой пронесся мистер Пайк, опережаемый своим рычанием.

— Отдать¹ руль! Какого черта ты зеваешь! Прямо руль², тебе сказал. Это все, что надо.

Тут что-то закричали на баке, и я догадался, что мистер Меллэр на крыше средней рубки управляет реями фок-мачты.

— Эй ты! — кричал мистер Пайк. — Ворочай колесо! Еще на несколько зубцов. Вот так. Довольно! Довольно!

И он умчался с кормы, скликая людей к бизань-брасам. И люди прибежали — одни из его смены, другие из смены второго помощника, сдернутые с коек, полуодетые, без шапок, без сапог, с помертвелыми от страха лицами, но готовые броситься хоть к черту на рога по первому слову человека, который все знал и мог спасти их печальную жизнь от печальной насильственной смерти. И, между нами, я заметил белоручку повара и парусника Ятсуду, тянувшего за канат одной, не парализованной рукой. Чтобы спасти судно, нужны были все руки, и все они это знали. Даже Сендри Байерс, прибежавший по своему тупоумию на корму вместо того, чтобы оставаться при своем начальстве, перестал таращить глаза и не подтягивал своего живота. Он работал теперь с силой двадцатилетнего юноши.

Луна снова спряталась, и в полной темноте «Эльсинора» повернула против ветра и легла на правый галс. В данном случае, когда она шла под одними нижними марселями, это означало, что она отошла на восемь румбов от ветра, или, выражаясь обыкновенным языком, стала под прямым углом к направлению ветра.

Мистер Пайк был удивителен, великолепен. В те минуты, когда «Эльсинора» поворачивала против ветра, когда брасовали верхние реи, он, неусыпно следя за движением судна и за штурвалом, в промежутки между приказами Тому Спинку: «Ворочай руль! Еще на два зубца! Еще на два! Вот так держи. Довольно. Теперь ослабь!» — не забывал выкрикивать команду людям, работавшим на реях. Я думал, что, когда выполнят маневр с поворотом судна, мы будем спасены, но постановка всех трех марселей разубедила меня.

Луна не показывалась, и на подветренной стороне ничего не было видно. По мере того, как один за другим поднимались паруса, «Эльсинора» шла быстрее и быстрее, и я убедился, что ветер был еще свеж несмотря на то, что шторм затих или затихал. Мистер Пайк послал мальтийского кокни к штурвалу, на подмогу Тому Спинку, а сам стал у среднего люка, откуда он мог определять положение судна, смотреть на подветренную сторону, где был берег, и следить за рулевыми.

— Полный поворот, но не круто! — повторил он несколько раз. — Держи на полном повороте, не отпускай. Держи, держи! Гони вперед!

¹ Отдать — отвернуть, повернуть.

² Прямо руль — приказание поставить руль в диаметральной плоскости.



Страшная была это картина — черные утесы с покрытыми снегом провалами, совершенно отвесные...

На меня он не обращал никакого внимания, хотя я, по дороге к средней рубке, с минуту простоял у самого его плеча, давая ему возможность заговорить со мной. Он знал, что я тут, так как задел меня своим богатырским плечом, быстро повернувшись к рулевым с новым приказанием. Но у него не хватало ни времени, ни любезности для пассажиров в такие минуты.

Пока я стоял под прикрытием командной рубки, показалась луна. Она светила все ярче, и я увидел землю с подветренной стороны, почти у самого борта, не дальше, чем в трехстах ярдах от нас. Страшная была это картина — черные утесы с покрытыми снегом провалами, совершенно отвесные, так что «Эльсинора» могла бы лечь костями под ними в глубокой воде, и над ней грохотали бы громадные буруны, перекачивая пену по всей длине ее корпуса. Теперь наше положение было ясно. Нам надо было обогнуть ломаную линию берега и острова, куда нас сносило, так как море и ветер работали против нас. Единственным для нас выходом было дрейфовать, — дрейфовать без конца. Я это понял потому, что мистер Пайк пронесся мимо меня на корму, и я услышал, как оттуда он крикнул мистеру Меллэру, чтобы ставили грот. Должно быть мистер Меллэр колебался, потому что мистер Пайк закричал ему:

— К черту рифы! Раньше все мы провалимся в преисподнюю. Полный грот! Все к черту!

Сразу почувствовалась разница, когда ветер встретил сопротивление этого огромного куска парусины. «Эльсинора» буквально запрыгала и задрожала под напором ветра, и я почувствовал, что она прибавила ходу. И под порывом ветра она так сильно черпала воду подветренным бортом, что волны, пенясь, дохлестывали до ее люков. Мистер Пайк следил за ней, как ястреб, и не спускал грозных глаз с мальтийского кокни и Тома Спинка у штурвала.

— Земля у носа под ветром! — донесся крик с бака, передававшийся из уст в уста вдоль всего мостика.

Мистер Пайк кивнул с угрюмой саркастической усмешкой. Он уже видел это с кормы, а чего не видел, то угадал. Раз двадцать я замечал, как он пробовал на своей щеке напор ветра и, напрягая все силы своего ума, изучал движение «Эльсиноры». И я знал, какая мысль поглощала его: снесет ли «Эльсинора» все поставленные паруса и не снесет ли больше?

Не удивительно, что в этом напряженном состоянии я позабыл о капитане Уэсте. Я вспомнил о нем только тогда, когда распахнулась дверь командной рубки, и я успел подхватить его под руку. Он шатался, силясь устоять на ногах и глядя на ужасную картину черных утесов, снега и ревущих бурунов.

— Полный поворот, или я исколочу тебя! — ревел мистер Пайк: — Черт бы тебя побрал, Том Спинк! Ты не матрос, а дворовая собака. Отдать руль! Отдать! Держи против волны, будь ты проклят! Не давай носу зарываться! Довольно, так держи. Где ты учился править рулем? В каком хлеву ты воспитывался?

— Хорошо бы поставить бизань-бом-брамсель, — пробормотал капитан Уэст слабым, прерывающимся голосом. — Мистер Паттерст, будьте добры, скажите мистеру Пайку, чтобы он поставил бизань-бом-брамсель.

И в тот же миг с кормы прозвенел голос мистера Пайка:

— Мистер Меллэр! Бизань-бом-брамсель!

Голова капитана Уэста упала на грудь, и так тихо, что мне пришлось нагнуться, чтобы расслышать, он прошептал:

— Хороший офицер. Превосходный офицер... Мистер Паттерст, пожалуйста, помогите мне войти в рубку. Я... я не успел надеть сапог.

Нелёгким подвигом было открыть тяжелую железную дверь рубки и удерживать ее открытой во время качки. Я кое-как справился с этой задачей, но, когда я помог капитану Уэсту войти, он поблагодарил меня и отказался от моих дальнейших услуг. И даже тогда мне не пришло в голову, что он умирает.

Никогда ни одно судно не несло так бешено, как мчалась «Эльсинора» в следующие полчаса. Кроме других парусов, был поставлен еще кливер, а когда он разлетелся в клочки, был поставлен фор-стаксель. Мистер Меллэр с половиной команды кое-как вскарабкался на крышу рубки, а остальная часть команды оставалась с нами на корме в сравнительной безопасности. Даже Чарльз Дэвис был наверху: отстоял возле меня, насквозь промокший, дрожа от холода, держась за медную ручку двери рубки.

Ах, как мы мчались! Это была поистине безумная скорость хода. «Эльсинора» пролегла через грохочущие, несущиеся к берегу седые валы, прорезывала их носом, мчалась под ними. Были минуты, когда волны и ветер нападали на нас одновременно, и я готов был поклясться, что «Эльсинора» касается воды концами своих нижних рей.

Был один шанс из десяти за то, что мы уцелеем. Все это знали, и все знали, что не остается ничего, как только ждать исхода. И мы ждали в молчании. Раздавался один только голос — голос старшего помощника, выкрикивавшего,

впережку с угрозами и проклятиями, приказания двум рулевым у штурвала. И в то же время он определял силу ветра и не сводил глаз с грот-брам-рея. Ему хотелось поднять еще один парус. Несколько раз я видел, как он открывал уже рот, чтобы отдать приказание, и не решался. И как я, так и все остальные смотрели ему в рот. Помятый жизнью, жестокий по натуре, со своим одеревеневшим лицом, он был единственным человеком — слугой нашей расы, хозяином момента. «Но где Самурай? — вспомнилось мне. — О, где же Самурай?»

Один шанс из десяти? — Нет, из ста шансов один был за нас, когда, чтобы пробиться сквозь бушующие волны в открытый океан, мы огибали последний врезавшийся в море острый зуб утеса. Мы были так близко к нему, что я подумал: «Вот сейчас, наши реи заденут за него», — так близко, что сухарь, брошенный с судна, ударился бы о его железную твердыню, — так близко, что, когда мы нырнули в последний провал между двумя волнами, каждый из нас, я уверен, затаил дыхание, ожидая, что «Эльсинора» сейчас налетит на скалу.

Но мы благополучно вышли на простор. И в тот же миг, как будто разъяренный тем, что мы спаслись, шторм набросился на нас, собрав все свои силы. Мистер Пайк почувствовал приближение чудовищной волны, потому что он бросился к штурвалу, прежде чем она налетела на нас. Я смотрел вперед и видел, как под носом судна поднялась гора воды и обрушилась на него. «Эльсинора» оправилась от удара и вынырнула, залитая водой от борта до борта. Затем порывом ветра подхватило паруса и повалило ее на бок, и половина воды схлынула в море.

Вдоль мостика пронесся несколько раз повторившийся крик:

— Человек за бортом!

Я взглянул на мистера Пайка, который только что передал руль рулевым. Он только тряхнул головой с явной досадой на то, что его отвлекают от дела такими пустяками, затем прошел к углу будки штурвала и стал смотреть на страшный берег с черными утесами, который ему посчастливилось обойти, — холодный, белый снизу берег в сиянии луны.

На корму пришел мистер Меллэр, и они сошлись на подветренной стороне командной рубки, где стоял и я.

— Всех наверх, мистер Меллэр, и убирайте грот, — сказал старший помощник. — А потом бизань-бом-брамсель.

— Есть, сэр, — отозвался второй помощник.

— А кто упал за борт? — спросил мистер Пайк, когда мистер Меллэр уже уходил.

— Бони. Ну да потеря невелика, — последовал ответ.

И только. Бони исчез навсегда, и все матросы бросились выполнить приказание мистера Меллэра — убирать грот. Но им не пришлось его убирать, ибо в этот момент парус сорвало, и через несколько секунд от него ничего не осталось, кроме коротких, развевающихся лент.

— Бизань-бом-брамсель! — приказал мистер Пайк.

Тут только в первый раз он удостоил заметить меня.

— Начисто слизало парус, — проворчал он. — Ну, да он никогда не действовал как следует. У меня всегда чесались руки поколотить того парусника, который его мастерил.

По дороге вниз я заглянул в командную рубку и понял причину ошибки Самурая, если только он действительно ошибся, чего никто никогда не узнает. Он лежал безжизненно на полу и перекатывался с боку на бок в такт покачиванию «Эльсиноры».

ГЛАВА XXXIX

Так много приходится рассказывать сразу. Прежде всего — о капитане Уэсте. Его смерть была не совсем неожиданной. Маргарет говорит, что с самого начала плавания и даже раньше она боялась за него. Потому-то она и изменила свои прежние планы и решила ехать с отцом.

Отчего, собственно, он умер — мы не знаем, но все сходимся на предположении, что он умер от сердечного припадка. Но ведь выходил же он на палубу уже после припадка. Или, быть может, за первым припадком, уже после того, как я помог ему войти в рубку, последовал второй, оказавшийся роковым? Но если и так, то все же я никогда не слышал, чтобы сердечному припадку, за несколько часов до его наступления, предшествовало помрачение ума. Казалось, что у капитана Уэста ум вполне ясен, и он был в здравом уме, когда повернул «Эльсинору» через фордевинд и повел к берегу. Следовательно, он сделал промах. Самурай ошибся, и его сердце убило его, когда он осознал свою ошибку.

Во всяком случае Маргарет не приходит в голову мысль о возможности ошибки. Она уверена, что это было одним из симптомов приближающейся развязки его болезни. И, разумеется, никто не станет разубеждать ее. Ни мистер Пайк, ни мистер Меллэр, ни я даже между собой не упоминаем о том, что едва не повлекло за собой катастрофу. Мистер Пайк вообще не говорит об этом. И была ли это болезнь сердца? А может быть, что-нибудь другое? Или же к болезни сердца примешалось еще что-нибудь, помутившее его ум перед смертью? Никто не знает, и по крайней мере я лично даже в сокровенных тайниках моей души не позволю себе судить о происшедшем.

К полудню того дня, когда мы выбрались из-под Тьерра-дель-Фуэго, «Эльсинора» качалась в мертвом штиле, качалась до самого вечера в двух десятках миль от земли. Капитана Уэста похоронили в четыре часа, а вечером, как только пробило восемь склянок, мистер Пайк принял командование судном и обратился с несколькими замечаниями к обеим сменам. Замечания были весьма откровенного свойства. Он рубил с плеча, или, как сам он выразился, «вколачивал гвозди».

Между прочим, он сказал матросам, что теперь у них новый начальник и что они должны быть на высоте положения, до какой никогда еще не поднимались.

До сих пор они жили на даровых хлебах и бездельничали, но с этого дня начнут работать как следует.

— На этом суде отныне будет так, как было в старину, когда даже в последний день плавания матросы влезали на мачты и прыгивали так же легко, как и в первый, — ораторствовал он. — И помогай Бог тому, кто откажется прыгать. Вот и все... Смените рулевых и караульного.

И все-таки люди в отчаянном виде. Представить себе не могу, как они будут «попрыгивать». Прошла еще неделя западных штормов, перемежающихся с короткими периодами затишья, что в общей сложности составляет шесть недель близ мыса Горн. Люди совсем ослабели и окончательно упали духом, — даже три висельника. Они так боятся старшего помощника, что, действительно, из последних сил стараются прыгать, когда он их подгоняет, а подгоняет он их все время. Мистер Меллэр только покачивает головой. Вчера он удивил меня, сказав:

— Подождите, пока мы обогнем мыс Горн и попадем в полосу хорошей погоды. Когда они отдохнут, выспятся и пообсохнут, когда заживут их болячки, кости обрастут мясом, и кровь разогреется, — вот тогда они покажут себя. Тогда они не станут терпеть такое обращение. Мистер Пайк не может понять, что времена переменились, что теперь и законы не те и люди стали другими. Он — старый человек, и, поверьте, я не на ветер говорю.

— Вы хотите сказать, что подслушивали разговоры матросов? — дерзко бросил я, возмущенный таким недостойным поведением судового офицера.

Выстрел попал в цель. В одно мгновение тонкая пленка мягкого света слетела с его глаз, и притаившееся в его черепе выслеживающее, страшное существо выглянуло наружу, готовое броситься на меня, а черствая складка рта растянулась в узкую щель и стала еще более жесткой. И в то же время мне померещилась странная картина неистово пульсирующего мозга под тонкой кожей, которой была затянута трещина в черепе под намокшей шапкой. Но он овладел собой: складка рта смягчилась, и глаза опять затянулись пленкой мягкого света.

— Я хотел только сказать, сэр, что я говорю на основании долголетнего опыта, — проговорил он сладко. — Времена переменились. Былые дни понуканья канули в вечность. И я надеюсь, мистер Паттерст, что вы поймете меня и не перетолкуете в дурную сторону того, что я сказал.

Разговор перешел на другие, более спокойные темы, но то, что он не опроверг моего обвинения в подслушивании разговоров матросов, оставалось фактом. И все же (с чем ворчливо соглашался даже сам мистер Пайк) он был хороший моряк и дельный помощник капитана, если не считать его неприличного панибратства с командой, — что даже китайцы — повар и буфетчик — осуждают, как недостойное морского офицера и опасное для судна.

Несмотря на то, что даже такие неунывающие молодцы, как три висельника, вконец истощены работой и лишениями, так что у них не хватает больше духа ни на какие протесты, трое самых слабых обитателей бака не только не умирают, но выглядят не хуже прежнего. Эти трое — Энди Фэй, Муллиган

Джэкобс и Чарльз Дэвис. Откуда берется у них эта необъяснимая живучесть? Конечно, Чарльзу Дэвису давно следовало бы быть за бортом с мешком угля в ногах, а Энди Фэй и Муллиган Джэкобс всегда были слизняками, а не людьми. И однако люди гораздо сильнее их очутились за бортом, и сейчас более сильные люди лежат пластом на мокрых койках бака. А эти двое — две еле тлеющие щепки — не гаснут и выстаивают все свои вахты и выбегают на работу при каждом вызове наверх обеих смен.

Такую же живучесть проявляют и наши куры. Без перьев, полузамерзшие, несмотря на керосиновую печку, окатываемые брызгами ледяной воды сквозь брезентовую накидку, они все-таки живут, — ни одна не издохла. Не действует ли в данном случае естественный отбор? Быть может, эти экземпляры, пережившие все трудности пути от Балтимора до мыса Горн, отличаются железной выносливостью и могут вынести все, что угодно? Если так, то де Ври хорошо бы сделал, если бы взял их себе, сохранил и вывел бы от них самую крепкую породу кур на нашей планете. А я после этого решительно отказываюсь признавать старинное выражение «куриная душа». Судя по нашим курам, оно лишено всякого смысла.

Не унывают и занесенные к нам бурей гости — три «цыгана с мыса Горн» с мечтательными топазовыми глазами. Отрезанные от остальной команды по милости ее суеверных страхов, всем чужие за неимением общего языка, они тем не менее работают как исправные матросы и всегда первыми берутся за работу и бросаются навстречу опасности. Они попали в смену мистера Меллэра и держатся особняком от остальной команды. А когда выходит задержка в работе или передышка, когда им ничего не надо делать, они стоят отдельной кучкой, покачиваются в такт движениям судна, и в их белесых топазовых глазах проносятся мечты о той далекой стране, где матери с белесыми топазовыми глазами и песочно-белокурыми волосами производят на свет сыновей и дочерей, которые родятся верными своей расе — с такими же топазовыми глазами и песочно-белокурыми волосами.

Но на что похожа остальная команда! Например, мальтийский кокни. Он слишком интеллигентен, слишком впечатлителен, чтобы безнаказанно переносить такую жизнь. От него осталась одна тень. Щеки ввалились, вокруг глаз появились темные круги, и эти глубоко запавшие, наполовину латинские, наполовину англо-саксонские глаза горят как в лихорадке и красноречиво говорят о страдании.

Том Спинк, здоровый англосакс, хороший моряк, выдержавший все экзамены у мистера Пайка, окончательно упал духом. Он трусит и хнычет. Он до такой степени развинтился, что хотя и исполняет всю свою работу, но нет у него больше ни гордости, ни стыда.

— Никогда больше не пойду в плавание вокруг мыса Горн, сэр, — сказал он мне как-то на днях у штурвала, в ответ на мое пожелание ему доброго утра. — Я уже и раньше давал такой зарок, да потом отступился, ну, а уж теперь не отступлюсь. Никогда больше не пойду в такое плавание. Никогда!

— Отчего же вы раньше зарекались идти? — спросил я.

— Это было четыре года назад, на «Натоме». Двести тридцать дней шли мы тогда от Ливерпуля до Фриско. Вы только представьте себе это, сэр — двести тридцать дней! Судно было нагружено цементом и креозотом, а креозот весь размок. Мы похоронили капитана как раз против мыса Горн. Съестные припасы все вышли. Большинство людей умирало от цинги. Во Фриско всех нас сдали в больницу. Это был суший ад, сэр, и продолжалось это двести тридцать дней.

— Однако вы опять записались в плавание вокруг мыса Горн, — засмеялся я.

А сегодня утром он сделал мне такое признание:

— Лучше бы черт унес плотника, сэр, вместо Бони.

В ту минуту я не догадался, что он хочет этим сказать, но потом припомнил эти слова. Плотник был финн, колдун, умевший заговаривать погоду, злобствующий на горемычных матросов и всегда готовый накликать беду на их головы.

Я позволю себе откровенно сознаться, что мне до тошноты надоел этот нескончаемый Великий Западный Ветер. И не мы одни боремся с ним в этом унылом океане. Не проходит дня, чтобы, как только расступится серая мгла или прекратится снежный вихрь, не оказалось в виду одного или нескольких судов, лежащих, как и мы, в дрейфе и прилагающих тщетные старания держаться западного направления. А иногда, когда поднимается серая завеса тумана, мы видим счастливое судно, идущее на восток попутным ветром и отмахивающее милую за милей. Вчера я видел, как мистер Пайк с ненавистью грозил кулаком такому судну, нахально промелькнувшему мимо нас на расстоянии какой-нибудь четверти мили.

А ведь люди «попрыгивают»! Мистер Пайк погоняет их своими страшными кулачищами, как об этом свидетельствуют их физиономии. Они так ослабели, и он нагнал на них такой страх, что мог бы один, я уверен, перепороть всю смену. Я не мог не заметить, что мистер Меллэр не принимает никакого участия в таком способе понуканья. А между тем я знаю, что он завзятый истязатель людей, и это не претило ему в начале нашего плаванья. Но теперь он, видимо, желает сохранить добрые отношения с командой. Хотел бы я знать, что думает об этом мистер Пайк. Не может же он не видеть того, что происходит. Но мне слишком хорошо известно, что было бы, если бы я поднял этот вопрос. Он обругал бы меня скверными словами и дня три ходил бы мрачным, как туча. А нам с Маргарет достаточно грустно и достаточно скучно за обеденным столом и без таких неприятностей, как неудовольствие старшего помощника.

ГЛАВА XL

Грубые суеверия моряков продолжают заявлять о себе. Наши дураки раз и навсегда решили, что финны — колдуны и что финн приносит несчастье судну. Мы находимся к западу от скал Диего Рамирес и идем на запад со скоростью двенадцать узлов, подгоняемые дующим нам в спину восточным ве-

тром. А плотник исчез. Его исчезновение совпало с переменой ветра. Вчера утром, когда Вада помогал мне одеваться, меня поразило торжественное выражение его лица. И, сообщая мне свежую новость, он с похоронным видом качал головой. Плотник исчез. Обыскали сверху донизу все судно, но его нигде не нашли.

— А что думают об этом буфетчик, Луи и Ятсуда? — спросил я.

— Его убили матросы — это верно, — был ответ. — Дурное судно. Дурные люди. Все равно что свиньи. Все равно что собаки. Им нипочем убить человека. Скоро всех перебьют — вот увидите.

Старик буфетчик, возившийся в своей кладовой, злобно оскалил зубы, когда я заговорил с ним об этом.

— Они надо мной издеваются, — сказал он. — Ну, да я им это припомню. Пусть они меня убьют, но и я кое-кого укокошу.

Он откинул полу своей куртки, и я увидел у левого его бока нож в парусиновых ножнах, прилаженный таким образом, чтобы рукоятка всегда была под рукой. Это был тяжелый нож-секач, какой употребляют мясники для рубки мяса. Он вынул его из ножен (нож оказался около двух футов длиной) и, чтобы показать мне, как он остер, несколько раз провел им по листу газеты, превратив его в лохмотья.

— Ха-ха! — засмеялся он сардоническим смехом. — Так я косоглазый черт, китайская харя, обезьяна, нестоящий человек?.. Хорошо же, я им покажу, как издеваться надо мной.

Но до сих пор нет никаких доказательств наличия преступления. Никто не знает, куда исчез плотник. Ночь была тихая, снежная. Палубу не заливало волнами. Наверно, этот неуклюжий, косолапый детина упал за борт и утонул. Но вот вопрос: сам ли он упал за борт, или его сбросили?

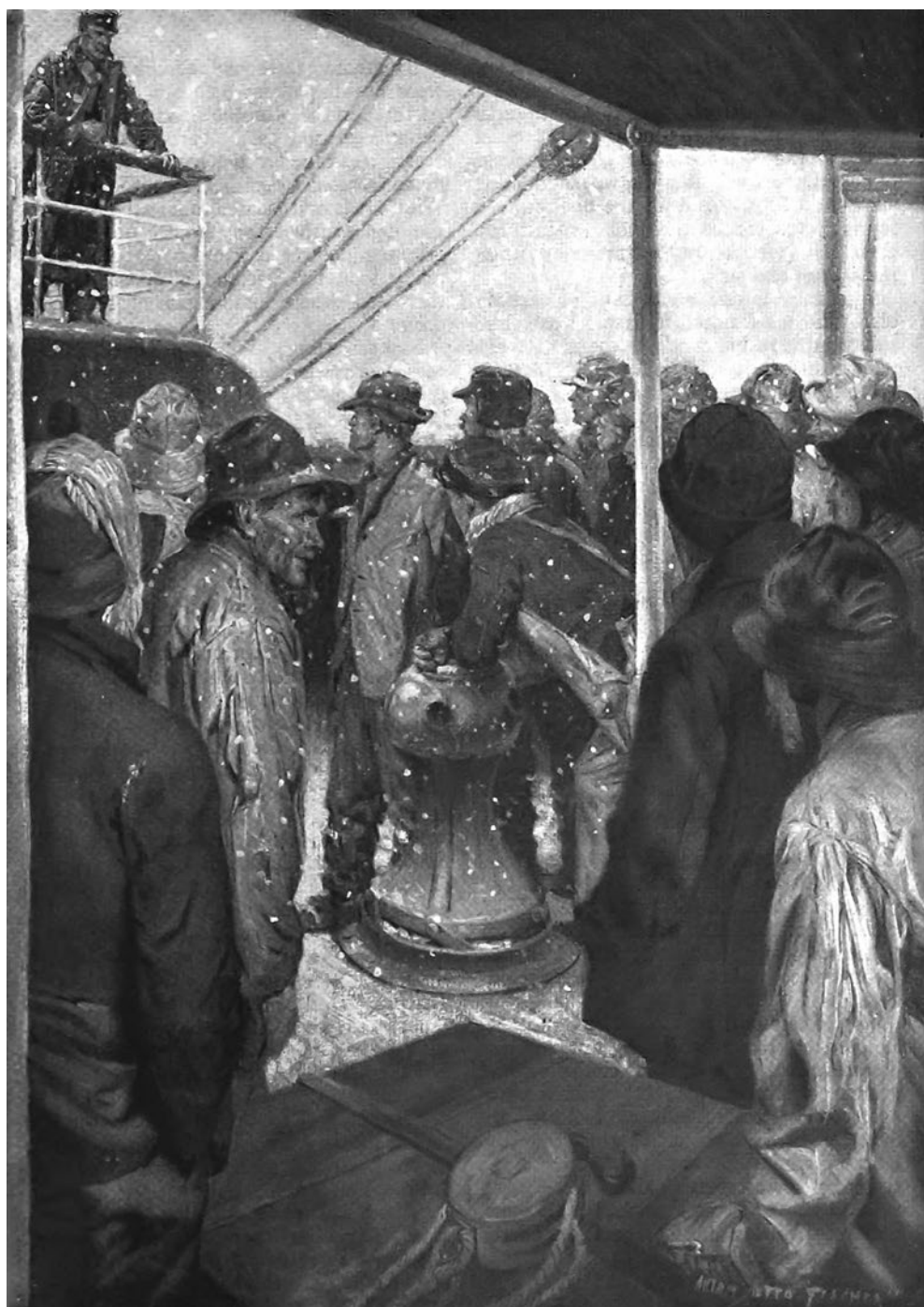
В восемь часов мистер Пайк приступил к допросу команды. Он стоял, опершись на перила, у края кормы, и смотрел вниз на матросов, собравшихся на главной палубе под ним.

Он допрашивал их поочередно одного за другим, и все повторяли одно и то же. Они не больше его самого знают об этом деле — так, по крайней мере, они говорили.

— Я так и жду, что вы взвалите на меня, будто я собственноручно спустил за борт этого верзилу, — проворчал Муллиган Джэкобс, когда до него дошла очередь отвечать. — Я, может быть, и спустил бы его, будь я здоровый, как бык.

У старшего помощника потемнело лицо, но он не ответил на дерзость и перешел к Джону Хаки, бродяге из Сан-Франциско.

Никогда мне не забыть этой сцены — гигант-начальник на возвышении, и под ним куча подвластных ему людей, упорно молчащих с угрюмыми лицами. Мягкий снег падает на палубу, «Эльсинора» с глухим рокотом парусов спокойно покачивается на отлогих волнах океана, нежно лижущих отверстия шпигатов, и люди в теплых перчатках, в высоких сапогах, обернутых рогожей, с больными, изможденными лицами, покачиваются в такт дыхания моря. По-



*Никогда мне не забыть этой сцены — гигант-начальник на возвышении,
и под ним куча подвластных ему людей, упорно молчащих с угрюмыми лицами.*

качиваются и три мечтателя с топазовыми глазами и грезят наяву, не любопытствуя, о чем идет речь, не принимая никакого участия в происходящем.

И тут-то началось: восточный ветер давал знать о своем приближении слабым намеком. Мистер Пайк заметил это первым. Я видел, как он выпрямился и подставил щеку чуть заметному дуновению ветра.

Тогда уже и я почувствовал его. Мистер Пайк выждал минуту, чтобы окончательно удостовериться, что он не ошибся, потом, позабыв об утонувшем плотнике, бросился к штурвалу, и посыпались приказания рулевым и команде. И люди «запрыгали» и полезли на мачты, хотя при их слабости это было очень трудным делом. Снимали реванты с бом-брамселей, поднимали реи и натягивали шкоты; наверху распустили трюмсея.

И пока шла эта работа, «Эльсинора», с повернутым к западу носом, начала заметно подвигаться вперед под первым попутным ветром за целых полтора месяца.

Мало-помалу тянувший с востока чуть слышный ветерок перешел в ровный, но не сильный ветер, а снег продолжал падать мягкими хлопьями. Барометр, опустившийся до 28,80, продолжал опускаться, и ветер все крепчал. Том Спинк, проходя мимо меня на корму, на подмогу к людям, поднимавшим реи, бросил на меня торжествующий взгляд. Морская примета оправдывалась; события доказали, что она верна. С исчезновением плотника пришел попутный ветер: ясное дело, что этот колдун унес с собой свой мешок с заговоренными ветрами.

Мистер Пайк расхаживал по корме, потирая руки (он был так счастлив, что даже позабыл надеть перчатки), улыбаясь своим мыслям, посмеиваясь и бросая восхищенные взгляды то на туго надутые паруса, то в снежную мглу, откуда дул попутный ветер. Он даже остановился на минуту возле меня, чтобы поболтать о французских ресторанах в Сан-Франциско и рассказать мне, как там чудесно научились калифорнийскому способу жарить диких уток.

— Их на большом огне надо жарить — это главное... И подавать с пылу горячими, — вспомнил он. — И на огне держать не больше шестнадцати минут, лучше даже — четырнадцать.

Около полудня снег перестал идти, и мы подвигались при легком ровном ветре. К трем часам ветер перешел в шторм, крепчавший с каждой минутой, и мы неслись по взбесившемуся океану, гнавшему волны с востока против встречного западного течения и поднимавшему целые горы воды. А бедный наивный верзила плотник-финн плыл где-то там, за кормой, в ледяной воде, и, может быть, еще заживо достался на съедение рыбам и птицам.

«Держите на запад». И мы рвались на запад, пересекая сходящиеся меридианы около южного полюса, где одна миля считается за две. И мистер Пайк, глядя на гнущиеся от ветра верхние реи, клялся, что они снесут не такие паруса, и что он ни на дюйм не убавит ни одного паруса. Он сделал больше. Он приказал поднять самый большой из парусов и громогласно предлагал и сатане, и Богу попробовать сорвать его.

Он не мог себя заставить сойти вниз. В счастливых случаях попутного ветра он считал нужным выстаивать все вахты, и теперь без усталости шагал по корме молодым, бодрым шагом, совсем не волоча ног. Он, Маргарет и я были в командной рубке, когда, взглянув на барометр, упавший до 28,55 и продолжавший падать, он даже вскрикнул от восторга. А потом, когда мы трое были на корме, «Эльсинора» обошла маленькое парусное судно, лежащее в дрейфе под одними верхними парусами. Мы проходили совсем близко от него, и мистер Пайк вскочил на перила и, держась одной рукой за ванты, принялся отплясывать какой-то дикий танец, торжествуя нашу победу, а свободной рукой махал каким-то желтокожим фигурам, стоявшим на корме этого суденышка, и весело выкрикивал по их адресу всякие обидные слова. Мы продолжали мчаться среди непроглядной ночной темноты. Матросы явно трусили. Мне хотелось спросить Тома Спинка, как он думает, не развязал ли колдун-плотник своего мешка с ветрами и не напустил ли всех их на нас. Но я тщетно искал Тома Спинка: он не выходил ни на одну из двух ночных вахт. Буфетчик, я заметил, был тоже очень встревожен, — в первый раз за все плавание.

— Много парусов, слишком много, — сказал он мне, качая головой со злобным видом. — Все полетим в тартарары. Слишком скорый ход — конец ходу. Всему конец — увидите.

— Убрать паруса? Как же! Не на таковского напали. В кои-то веки дождался хорошего ветра — и упустить его! — кричал мне в ухо мистер Пайк, стоя возле меня.

Стоять можно было, только крепко уцепившись за перила, чтобы не сломать себе шеи или не очутиться за бортом.

Славная была ночь, но и жуткая. Спать было немыслимо, по крайней мере для меня. Негде было даже погреться. В большой печке кают-компании что-то испортилось, — вероятно, благодаря нашему сумасшедшему ходу, — так что пришлось погасить огонь. Таким образом мы испытали на себе прелести жизни на баке, хотя мы были все-таки в лучших условиях: у нас было сухо, нас не заливало водой. В наших каютах горели керосиновые печки, но моя так коптила, что я погасил ее, предпочитая зябнуть.

Идти под всеми парусами на лодке в закрытой бухте — большое удовольствие для человека, любящего сильные ощущения. Но идти под всеми парусами на большом судне в открытом море, огибая мыс Горн, — невероятно жутко. Течение с запада, поднятое Великим Западным Ветром, столкнувшись со шквалом, налетевшим с востока, развело такое страшное волнение, о каком я до тех пор и понятия не имел. У штурвала работало два человека, сменяясь каждые полчаса, и, несмотря на холод, они обливались потом задолго до того, как приходила их смена.

Мистер Пайк — человек какой-то другой, древней породы: его выносливость положительно сверхъестественна. Он выстаивает вахту за вахтой, не сходя с кормы.

— Я и не мечтал о таком счастье, — сказал он мне сегодня в полночь, когда на нас налетел шквал за шквалом и я со страхом прислушивался, ожидая, что вот-вот наши легкие верхние реи сломаются и упадут на палубу. — Я думал, уже никогда больше мне не придется поплавать в свое удовольствие, нестись по волнам так, чтобы дух захватывало. И вот дождался, дождался! О Господи, Господи! Помню, шел я третьим помощником на маленьком суденышке «Вампир». Вас тогда еще и на свете не было. Пятьдесят шесть человек команды при мачтах, и даже самый завалящий между ними матрос — хороший морж. Восемь человек одних только юнг, два боцмана, и боцманы настоящие. Были и парусники, и плотники, и буфетчики, и даже пассажиры торчали на юте. Нас, помощников, трое, да капитан Броун, «Маленькое Чудо Природы», как мы его называли. В нем не было и ста фунтов весу, а как он умел погонять! Он держал в руках нас, троих помощников, а мы... У него-то мы и научились погонять людей... Плавание так и началось с потасовок. В первый же час, когда понадобилось ставить людей на работу, мы ободрали все суставы на пальцах. У меня следы до сих пор остались. Пришлось переречь у матросов все их укладки, все мешки. Отобрали и выбросили за борт все бутылки с виски, кистени, кривые ножи и ружья. А когда распределяли матросов по сменам, каждый должен был положить свой нож на крышку люка, и плотник обрубал топором кончик лезвия... «Вампир» был маленьким судном, всего в восемьсот тонн. Оно могло бы свободно поместиться на палубе «Эльсиноры». Но то было судно, настоящее судно, да и времена были другие, когда на судах плавали настоящие моряки...

Маргарет не беспокоит скорость нашего хода, если не считать того, что она не может спать; но мистер Меллэр имеет на этот счет некоторые опасения.

— У мистера Пайка есть свои пунктики, — говорил он мне по секрету. — Нельзя так гнать грузовое судно. Это не яхта с балластом. Груз угля в пять тысяч тонн — не шутка. Мне случалось ходить на судах, которые неслись с такой же скоростью, но то были легкие парусные суда. Наши мачты не выдержат. Скажу вам откровенно, мистер Патгерст: поднять самый большой парус на грузовом тяжелом судне в такой шторм — преступление, убийство. Это и вы поймете, сэр, хоть вы и не моряк. Это — задний, добавочный парус. И если случится, что хоть на две секунды судно выйдет из повиновения рулю и выйдет из ветра, то...

— То что? — спросил или, вернее, прокричал я, так как рев ветра заглушал голоса, и, разговаривая, приходилось кричать собеседнику в самое ухо. Он пожал плечами и без слов, но всем лицом своим сказал так ясно, что нельзя было ошибиться, — «конец».

В восемь часов утра мы с Маргарет с великими усилиями пробрались на ют. Неукротимый, железный старик был все еще там. Всю ночь он не сходил вниз. Глаза его сияли, и по всем признакам он чувствовал себя на седьмом небе. Он потирал руки, смеялся и, поздоровавшись с нами, отдался воспоминаниям.

— В пятьдесят первом году, мисс Уэст, «Летучее Облако» в двадцать четыре часа прошло триста семьдесят четыре мили под всеми парусами. Вот была

гонка, я вам доложу! В тот день мы побили рекорд, заткнули за пояс все парусные суда и все пароходы.

— А какая наша средняя скорость, мистер Пайк? — спросила Маргарет, глядя на главную палубу и следя за тем, как судно то одним, то другим бортом погружалось в море и, черпая воду, едва успевало выбрасывать ее обратно, чтобы тотчас же черпать опять.

— Тринадцать узлов, считая с пяти часов вечера вчерашнего дня, а в разгар шторма до шестнадцати, — ответил он с восторгом. — Недурной ход для «Эльсиноры», а?

— Если бы я была капитаном, я убрала бы большой парус, — позволила себе заметить Маргарет.

— И я убрал бы, мисс Уэст, если бы мы целых шесть недель не потеряли около Горна, — сказал он.

Она пробежала глазами по всем мачтам, до деревянных бом-брамселей, гнувшихся под порывами ветра, точно лук в руках невидимого стрелка.

— Замечательно крепкое дерево, — проговорила она.

— Это вы верно сказали, мисс Уэст, — согласился он. — Я и сам не думал, что оно выдержит. Но вы взгляните наверх. Взгляните: гнутся, а стоят.

Для команды не варили завтрака. Кухню три раза заливало водой, и люди в мокром помещении бака должны были довольствоваться сухарями и холодной соленой кониной. Для нас, обитателей юта, буфетчик ухитрился сварить кофе на керосинке, но два раза при этом обварил себе руки.

В полдень мы увидели впереди небольшое судно, шедшее в том же направлении, что и мы. Под марселями и с одним брамселем.

— Противно смотреть, как тащится этот шкипер, — фыркнул мистер Пайк. — Видно, совсем Бога забыл. Да не мешало бы ему помнить и о владельцах судна, и о пайщиках, и о министерстве торговли.

Мы мчались так стремительно, что в несколько минут догнали и обогнали незнакомое судно. Мистер Пайк вел себя как вырвавшийся из школы мальчишка. Он изменил наш курс, так что мы прошли мимо этого судна на расстоянии каких-нибудь ста ярдов. Оно шло хорошим ходом, но наша скорость была такова, что оно казалось стоящим на месте. Мистер Пайк вскочил на перила и начал издеваться над стоявшими на корме судна людьми, махая им концом веревки в знак того, что он предлагает взять их на буксир.

Маргарет исподтишка указала мне кивком головы на гнущиеся брам-стенги, но мистер Пайк поймал ее на месте преступления и закричал:

— Не бойтесь: чего она не снесет, то на себе потащит.

Час спустя я поймал Тома Спинка, только что сменившегося у штурвала и совсем ослабевшего от усталости, и спросил его:

— Ну, как вы теперь полагаете насчет плотника и его мешка с заговоренными ветрами?

— Должно быть, сэр, он и помощника заговорил, разрази меня Бог! — был ответ.



*Мы прошли мимо этого судна на расстоянии каких-нибудь ста ярдов.
Оно шло хорошим ходом, но наша скорость была такова,
что оно казалось стоящим на месте.*

К пяти часам пополудни мы прошли триста четырнадцать миль, считая от пяти вечера вчерашнего дня, то есть, другими словами, в течение двадцати четырех часов непрерывно скорость нашего хода на две мили превышала среднюю скорость в тринадцать узлов.

— Скажу вам о капитане Броуне с «Вампира», — говорил мне, улыбаясь, мистер Пайк, потому что наш стремительный ход привел его в хорошее расположение духа. — Капитан Броун никогда не убирал парусов до самой последней минуты, словно ждал, чтоб их сорвало ветром, и чтобы они свалились ему на голову. А когда шторм задувал во всю мочь, и мы рисковали потерять половину нашей оснастки, он преспокойно уходил вздремнуть и говорил нам: «Позовите меня, если судно замедлит ход». Никогда не забыть мне той ночи, когда я разбудил его, чтобы сказать, что у нас на палубе все поплыло и что разбило в щепки и снесло две шлюпки. Он открыл глаза, посмотрел на меня и говорит: «Хорошо, мистер Пайк, вы сами там присмотрите», — и повернулся на другой бок. «Ах, да, еще вот что, мистер Пайк...» — «Слушаю, сэр», — говорю. — «Если увидите, что брашпиль отказывается служить, разбудите меня». Только всего и сказал — этими самыми словами, а через минуту, будь я проклят, он уже храпел.

Сейчас полночь, и, укрепившись на койке, я сижу, так как спать не могу, пишу эти строки, и карандаш прыгает у меня в руке. Больше, даю себе слово, не буду писать, пока этот адский ветер не стихнет или не умчит нас в царство теней.

ГЛАВА XLI

Прошло несколько дней, и я изменил своему слову: вот я опять пишу, а «Эльсинора» продолжает нестись по великолепному, бурному, сердитому морю. Но у меня были причины нарушить данное слово. Их две. Первая причина та, что сегодня утром мы видели настоящий рассвет. Сквозь серую мглу неба на горизонте проглянула голубая полоска, и облака окрасились розовым отблеском солнца.

Вторая, главная причина та, что мы обогнули мыс Горн. Теперь мы в Тихом океане, к северу от пятидесятой параллели, на 80°49' долготы. Мыс Пилар и Магелланов пролив остались уже за нами, к юго-востоку от нас, и мы держим курс на северо-запад. Мы обогнули мыс Горн. Только тот, кто пробивался мимо него с востока на запад, может вполне оценить глубокое значение этого факта. Теперь пусть сорвутся с цепи хоть все ветры всех четырех стран света, — уже ничто не остановит нас. Еще ни одного судна, перевалившего пятидесятую параллель с юга на север, не относило назад. Отныне и впредь нам предстоит покойное плавание, и Сизл начинает казаться совсем близким. Все население «Эльсиноры» воспрянуло духом, — все, кроме Маргарет. Она, правда, спокойна, но немного грустна, хоть и не в ее натуре слишком поддаваться горю. Ее здоровая, жизнерадостная философия всегда видит Бога в небесах. Я лучше охарактеризую ее настроение, если скажу, что она стала как-то мягче, нежнее и

как будто покорилась судьбе. Я заметил, что она очень дорожит всяким знаком внимания, всяким проявлением нежности с моей стороны. Она, в конце концов, настоящая женщина. Она нуждается в поддержке мужчины, и я льщу себя приятной уверенностью, что я стал в десять раз более сильным мужчиной, чем был в начале нашего плавания. И это потому, что я стал в тысячу раз человечнее с тех пор, как послал ко всем чертям книги и начал наслаждаться сознанием своей мужественности, как человек, который любит женщину и любим ею.

Но возвращаюсь к населению «Эльсиноры». Законченный обход мыса Горн, улучшение погоды, которая с каждым днем становится все лучше и лучше, облегчение тяжелых условий жизни, более легкая работа и избавление от опасностей, а также близкая перспектива тропического тепла и мягкого воздуха юго-восточных пассатов — все это способствует подъему духа нашей команды. Температура воздуха настолько поднялась, что люди начали уже снимать лишнюю одежду и перестали обматывать рогожей свои высокие сапоги. Вчера вечером во вторую вахту я слышал даже, как кто-то из них пел. Буфетчик растался со своим огромным секачом и до того повеселел, что иногда поднимает возню с Поссумом (правда, очень скромную). Вада уже не ходит больше с торжественно вытянутой физиономией, а оксфордское произношение повара Луи сделалось еще сладкозвучнее. Муллиган Джэкобс и Энди Фэй остались теми же ядовитыми скорпионами, какими и были. Трое висельников со своей шайкой опять воцарились на баке и держат в ежовых рукавицах остальных мягкотелых слизняков. Чарльз Дэвис решительно отказывается умирать, и то, что все эти долгие недели, пока мы огибали мыс Горн, он прожил в своей сырой, насквозь промерзшей, железной каморке и не умер, поражает даже мистера Пайка, которому в точности известно, что может и чего не может вынести человек.

Воображаю, как восхищался бы мистером Пайком Ницше с его вечным припевом: «Будь тверд! Будь тверд!»

У Ларри вырвали зуб. Он несколько дней промучился зубной болью и наконец пришел к мистеру Пайку просить, чтобы тот ему помог. Мистер Пайк не пожелал «пачкаться» с «новоизобретенными» щипцами из судовой аптечки. Он действовал по старинке, при помощи гвоздя и молотка. Я присутствовал при этой операции и могу засвидетельствовать, что она удалась. Одним ударом молотка был вышиблен зуб, а Ларри запрыгал по каюте, схватившись за челюсть. Как это ни удивительно, но челюсть осталась цела. Впрочем, мистер Пайк заверил, что он вырвал этим способом до сотни зубов и ни разу не сломал челюсти пациенту. И еще он рассказал, что когда-то он плавал с одним шкипером, который брился каждое воскресенье без всякой бритвы и вообще не прикасаясь к лицу никаким острым инструментом. Для этой цели, по словам мистера Пайка, он употреблял зажженную свечу и мокрое полотенце. Вот еще один кандидат в число тех «твердых» людей, которых воспевают Ницше.

А мистер Пайк теперь самый жизнерадостный, самый обходительный человек на борту. Гонка, которую он задал «Эльсиноре», была для него жизненным эликсиром. Он потирает руки и хихикает, как только вспомнит о ней.

— А что — ведь я показал им хороший образчик того, как плавали в старину, — сказал он, говоря со мной о команде. — Они не скоро забудут этот урок, по крайней мере те из них, кто не окажется за бортом с мешком угля в ногах, прежде чем мы придем в порт.

— Что вы хотите этим сказать? Неужели вы ожидаете, что у нас будут еще похороны? — спросил я его.

Он круто повернулся ко мне и с минуту смотрел мне прямо в глаза.

— Да настоящий ад у нас еще и не начинался, — буркнул он и, отвернувшись, отошел от меня.

Приняв командование судном, он все-таки продолжает отбывать свои вахты, чередуясь с мистером Меллэром. Он твердо убежден, что на баке нет никого, кто мог бы заменить второго помощника. И жить он остался в прежнем своем помещении. Быть может, он поступил так из чувства деликатности по отношению к Маргарет, потому что, как я узнал, вообще у моряков принято за правило, что в случае смерти капитана старший помощник занимает его каюту. И мистер Меллэр продолжает обедать в большой задней каюте, только теперь, со дня исчезновения плотника, он обедает один, а спит по-прежнему в средней рубке вместе с Нанси.

ГЛАВА XLII

Мистер Меллэр был прав. Матросы отказались терпеть понуканье, как только «Эльсинора» вступила в широты хорошей погоды. И мистер Пайк был прав. Настоящий ад у нас еще не начинался. Но теперь он начался, и люди оказались за бортом даже без утешения иметь мешок угля в ногах. А между тем не они вызвали взрыв, хоть он и назрел. Взрыв вызвал мистер Меллэр. Или, пожалуй, вернее — Дитман Олансен, косоглазый норвежец. А может быть, даже не он, а Поссум. Во всяком случае все вышеупомянутые, включая и Поссума, сыграли в этом происшествии свою роль.

Начну по порядку. Прошло две недели с тех пор, как мы пересекли пятидесятую параллель, и теперь мы находимся на тридцать седьмой — на одинаковой широте с Сан-Франциско, или точнее будет сказать, что мы теперь настолько же южнее экватора, насколько Сан-Франциско севернее его. Вся каша заварилась вчера утром в десятом часу, и с Поссума началась цепь событий, закончившихся открытым мятежом. Была вахта мистера Меллэра, и он стоял на мостике у самой бизань-мачты, отдавая приказания Сендри Байерсу, который вместе с Артуром Диконом и мальтийским кокни крепили паруса наверху.

Постараюсь нарисовать картину создавшегося положения во всем ее комизме. Мистер Пайк, с термометром в руке, возвращался по мостику из трюма, где он измерял температуру угля. Дитман Олансен в это время взбирался на крюйс-марс со свернутым тросом на плече. Для какой-то надобности к концу этого троса был подвязан блок фунтов в десять весом. Поссум, бегавший на свободе,

вертелся на крыше средней рубки у курятника, а куры, с еще не отросшими перьями, но презадорные, наслаждались теплой погодой, поклевывая зерна и отруби, которые буфетчик только что насыпал им в корыто. Брезентовая накидка курятника уже несколько дней была снята. Теперь слушайте внимательно. Картина такая: я стою у края кормы, опершись на перила, и смотрю, как Дитман Олансен раскачивается под крюйс-марсом со своей громоздкой ношей. Мистер Пайк, проходя на корму, только что поравнялся с мистером Меллэром. Поссум, из-за бурной погоды и брезентовой накидки не выдавший кур все шесть недель, пока мы огибали мыс Горн, возобновляет свое знакомство с ними, обнюхивая их и тычась мордой, и получает по носу удар достаточно острого куриного клюва, а чуткий нос Поссума очень чувствителен к боли.

Подумав, я, пожалуй, готов сказать, что мятеж начался из-за той курицы, которая клюнула Поссума. Люди, раздраженные понуканьем мистера Пайка, ждали только повода для взрыва, а Поссум и курица доставили им этот повод.

Поссум отскочил от курятника и, в справедливом негодовании, поднял отчаянный визг. Это привлекло внимание Дитмана Олансена. Он вытянул шею, чтобы посмотреть, в чем дело, и, сделав неловкое движение, упустил блок. Блок полетел вниз, стащив за собой с его плеча несколько кругов развернувшегося каната. Оба помощника успели отскочить. Блок упал возле мистера Меллэра, не задев его, но канат, развертываясь на лету, как черная змея, сорвал с него фуражку.

Мистер Пайк, закинув голову, уже открыл было рот, чтобы обругать Олансена, как вдруг взгляд его упал на страшный шрам на голове мистера Меллэра. Этот шрам был теперь у всех перед глазами, так что каждый имел возможность прочесть его историю, но прочесть ее могли только глаза мистера Пайка и мои. Редкие волосы нисколько не скрывали зияющего рубца. Он прикрыт был более густой бахромой волос лишь над ушами, а посередине был весь на виду.

Поток ругательств, предназначавшихся Дитману Олансену, застрял в горле у мистера Пайка. Он буквально окаменел. Он мог только смотреть на страшный шрам, выглядывавший из-под седеющих редких волос, — ни на что другое он не был способен в этот момент. Он был как во сне, его огромные руки непроизвольно сжимались в кулаки, и, не отводя глаз, как зачарованный, он смотрел на безошибочную примету, по которой, как он говорил, он всегда узнал бы убийцу капитана Соммерса. И тут я вспомнил, как он клялся, что когда-нибудь запустит пальцы в эту примету.

Все еще как во сне, вытянув вперед правую руку с загнутыми, как когти ястреба, пальцами, он подкрадывался ко второму помощнику с явным намерением вонзить пальцы в страшный шрам на голове и прекратить жизнь мозга, пульсировавшего под тонкой пленкой кожи.

Второй помощник пятился назад вдоль мостика. Наконец мистер Пайк, по-видимому, пришел в себя. Его вытянутая рука опустилась, и он остановился.

— Я знаю, кто вы, — проговорил он каким-то странным, не своим голосом, срывавшимся от гнева. — Восемнадцать лет назад вы служили на «Кире

Томпсоне», потерпевшем крушение у Ла-Платы. У вас сломало мачты, и судно затонуло. Вы попали на единственную лодку, которая спаслась. А одиннадцать лет назад в Сан-Франциско капитан Соммерс был убит на «Язоне Гаррисоне» своим вторым помощником — тем самым, который спасся с «Кира Томпсона». У этого человека есть особая примета: глубокий шрам на голове. Когда-то раньше судовой повар рассек ему череп кухонным ножом. У вас рассечен череп. Этого второго помощника звали Сидней Вальгтэм, и если вы не Сидней Вальгтэм, то...

Тут мистер Меллэр, или, вернее, Сидней Вальгтэм, сделал то, что мог сделать только моряк. Ухватившись за снасти, натянутые вдоль бизань-мачты, он перескочил перила мостика и легким движением стал на ноги на крышку люка номер три. Но он не остановился. Пробежав по люку, он юркнул в дверь своей каюты в средней рубке.

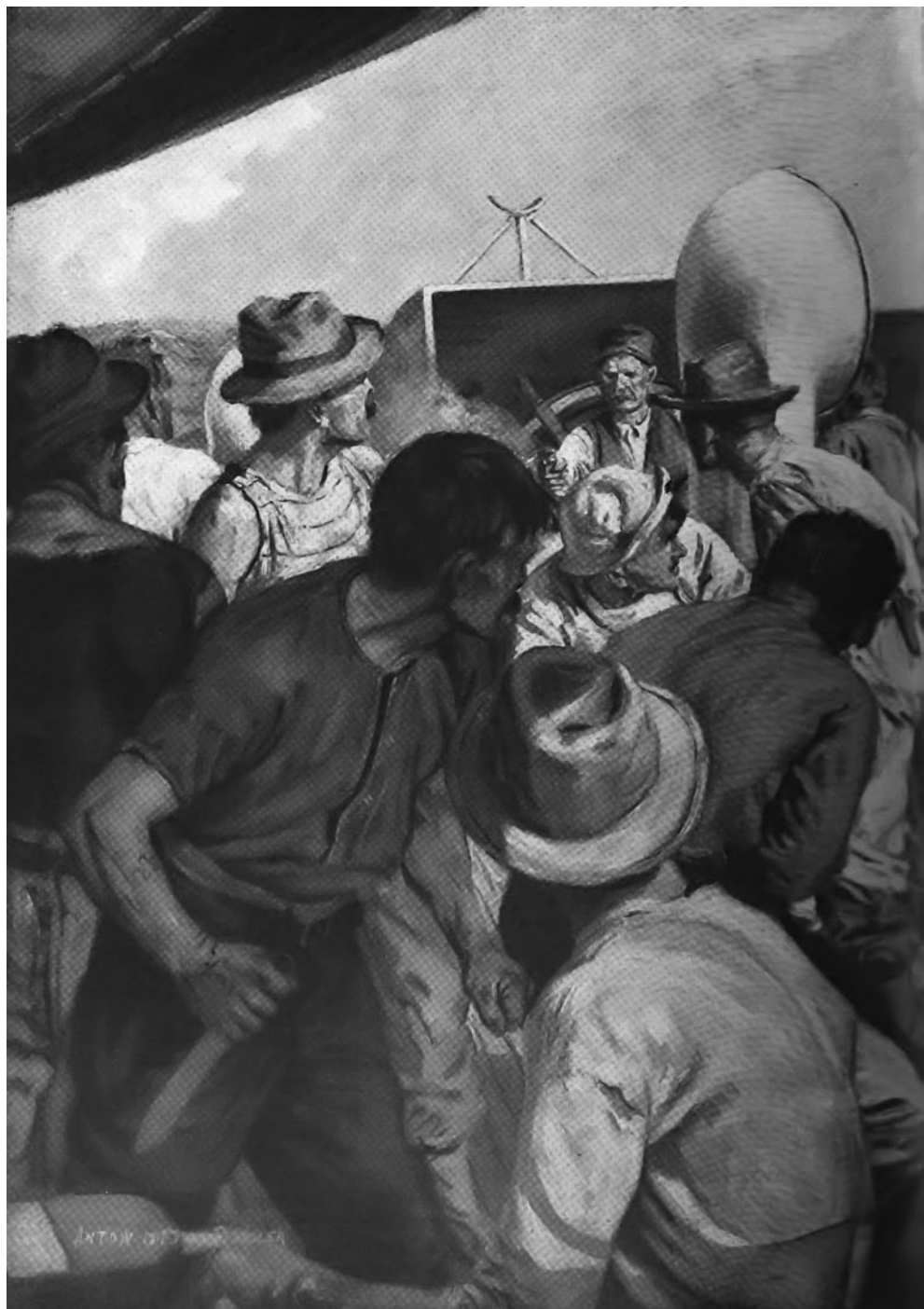
Как это ни странно, но мистер Пайк не бросился вслед за ним. Должно быть, его приковала к месту сила его гнева. Еще с минуту он простоял как лунатик, потом протер глаза тыльной стороной руки и, по-видимому, очнулся.

Но мистер Меллэр побежал в свою каюту не затем, чтобы спрятаться. Спустя минуту он выбежал со Смитом-и-Вессоном 32-го калибра в руке и тотчас же начал стрелять.

Мистер Пайк, я заметил, колебался между двумя побуждениями — перескочить через перила мостика и броситься на стрелявшего в него человека или отступить. Он отступил. И вот в тот момент, когда он бежал к корме по узкому мостику, вспыхнул мятеж. Артур Дикон перегнулся с крюйс-марса и запустил в бегущего железной свайкой. Она упала в двадцати шагах от мистера Пайка, чуть не задев Поссума, который, испугавшись стрельбы, дико метался по мостику и визжал. Свайка своим острым концом вонзилась в деревянную настилку мостика с такой силой, что еще долго вибрировала после того, как воткнулась.

Должен сознаться, что я не заметил и десятой части того, что произошло в следующие несколько минут. Потом уже, сопоставив тогдашние свои впечатления, я убедился, что многое пропустил. Я знаю, что люди, работавшие на крюйс-марсе, спустились на палубу, но я не видел, как они спускались. Я знаю, что второй помощник выпустил все заряды из своего револьвера, но я слышал не все выстрелы. Я знаю, что Ларс Якобсен бросил штурвал и на своей дважды сломанной и не совсем еще сросшейся ноге проковылял по корме к трапу, спустился на палубу и скрылся на баке. Знаю, что так оно должно было быть и что я должен был это видеть, но у меня не осталось впечатления, что я действительно это видел.

Я слышал топот ног людей, бежавших по палубе с бака. Я видел, как мистер Пайк спрятался за стальной мачтой, как мистер Меллэр бросился к левому борту и вскочил на люк номер три, чтобы оттуда выпустить свой последний заряд, и как мистер Пайк отскочил вправо за угол командной рубки и, обезав ее кругом, сбежал по трапу вниз через кормовой люк. Слышал я и звук послед-



А пока все колебались, началась стрельба.



Стрелял мистер Пайк из своего автоматического кольта.

него, не попавшего выстрела и свист пули, отлетевшей рикошетом от стальной стены рубки.

Я был так заинтересован всем происходящим, что не двигался с места. Мне хотелось все видеть. От недостатка ли мужества или от непривычки к активному участию в такого рода сценах, но только я ничего не предпринимал и продолжал стоять у края кормы и смотреть. Я был совершенно один в ту минуту, когда мятежники под предводительством второго помощника и трех висельников ворвались на корму. Я видел, как они взбегали по трапу, но мне и в голову не пришло оказать им сопротивление. И это было счастье для меня, ибо я все равно не смог бы их удержать и несомненно был бы убит. Я был один на корме, и люди растерялись, не видя врагов. Берт Райн, пробегая мимо меня, приостановился, как будто с намерением пырнуть меня отточенным складным ножом, который он держал в правой руке; но тотчас же раздумал (я уверен что верно проследил ход его мыслей) и, придя к нелестному для меня выводу, что о таких, как я, не стоит и рук марать, пробежал дальше.

Вообще меня поразило отсутствие какого бы то ни было определенного плана в их действиях. Мятеж вспыхнул так внезапно и неорганизованно, что сами мятежники растерялись и действовали наобум. Так, например, за все время с того дня, как мы вышли из Балтимора, ни днем ни ночью не было такого момента, чтобы у штурвала не стоял рулевой. И все матросы так к этому привыкли, что замерли от ужаса при виде брошенного руля. Затем Берт Райн что-то быстро сказал итальянцу Гвидо Бомбини, и тот побежал к штурвалу, обогнув рулевую будку. Было ясно, что за будкой никого нет.

И опять я должен сознаться, что в этом быстром ходе событий я заметил лишь очень немного. Я сознавал, что по трапу на корму взбираются все новые и новые люди, но я их не видел. Я следил за кровожадной группой у штурвала и заметил самое главное, а именно, что не второй помощник, а Берт Райн отдавал приказания, и что все повиновались ему.

Он сделал знак еврею Исааку Шанцу (тому, которого еще в начале плаванья ранил О'Сюлливан), и Шанц повел людей к той двери командной рубки, которая выходила на правый борт. Все это длилось не больше секунды, а тем временем Берт Райн стоял на карауле у открытого кормового люка, который вел в лазарет.

Исаак Шанц распахнул открывавшуюся наружу дверь командной рубки. События следовали одно за другим с молниеносной быстротой. Как только железная дверь рубки распахнулась, оттуда сверкнул огромный двухфутовый нож в сморщенной желтой руке и быстро опустился на еврея. Едва не задев головы и шеи, он ударил его в левое плечо.

Все невольно попятились перед таким сюрпризом, а Шанц отскочил к борту, зажимая рану правой рукой, и я видел, что у него из-под пальцев течет темная кровь. Берт Райн бросил свои наблюдения над люком и вместе со вторым помощником, не выпускавшим из руки своего разряженного Смита-и-Вессона, вмешался в толпу, собравшуюся у командной рубки.

О мудрый, предусмотрительный старый китаец буфетчик! Он не показывался. Тяжелая дверь качалась взад и вперед в такт качке «Эльсиноры», и никто не догадывался, что там, за дверью прячется буфетчик со своим огромным, готовым для удара секачом. А пока все колебались, глядя в отверстие то открывавшейся, то закрывавшейся двери, из кормового люка, помещавшегося между командной рубкой и штурвалом, началась стрельба. Стрелял мистер Пайк из своего автоматического кольта.

Стрелял не он один. Я слышал много выстрелов, но кто еще стрелял — не знаю. Все перепуталось, все смешалось, и сквозь общий гвалт и разноголосые крики до меня доносились громкие выстрелы из кольта.

Я видел, как итальянец Мике Циприани схватился за живот и медленно опустился на палубу. А Коротышка, японец-полукровок, который и всегда ломался как клоун, а теперь приплясывал и гримасничал в стороне от общей свалки, с истерическим хихиканьем пустился наутек и, пробежав корму, кубарем скатился с трапа. Никогда еще не доводилось мне видеть такой поразительной иллюстрации психологии толпы. Коротышка, наименее стойкий из всей этой толпы, именно благодаря своей неустойчивости ускорил отступление, к которому присоединилась вся толпа. Как только, не выдержав, он отступил перед упорной стрельбой автоматического пистолета в руке старшего помощника, все остальные потянулись за ним. Самый легковесный из всех перевесил чашку весов.

Шанц, истекая кровью, был одним из первых, бросившихся по следам Коротышки. Нози Мерфи — я видел — прежде чем побежать, бросил ножом в старшего помощника. Нож отлетел в сторону, с металлическим звоном ударившись об одну из медных спиц штурвала, и упал на палубу. Второй помощник с разряженным револьвером и Берт Райн со своим складным ножом пробежали мимо меня.

Мистер Пайк вышел из люка и случайным выстрелом уложил на месте Билля Квигли, одного из «каменщиков», упавшего у моих ног. Последним уходил с кормы мальтийский кокни. На верхней ступеньке трапа он остановился и оглянулся на мистера Пайка. Взяв свой пистолет в обе руки, тот стал прицеливаться в него. Тогда мальтийский кокни пренебрег трапом и спрыгнул с кормы прямо на палубу. Но кольт только щелкнул: та пуля, которая уложила Билля Квигли, оказалась последней.

Итак, корма осталась за нами.

События продолжали разыгрываться так быстро, что я опять многое прозевал. Я видел, как буфетчик, с воинственным видом, держа наготове свой длинный секач, выполз из командной рубки. За ним вышла Маргарет, а за ней появился Вада с моим автоматическим винчестером. Он принес его, как сказал мне впоследствии, по приказанию Маргарет.

Мистер Пайк с хладнокровно деловым видом осматривал свой кольт, чтобы удостовериться, дал ли он осечку или был пуст. В это время Маргарет спросила его, как держать курс.

Я видел, как буфетчик, с воинственным видом, держа наготове свой длинный секач, выполз из командной рубки. За ним вышла Маргарет, а за ней появился Вада.



— По ветру! — крикнул он ей и бросился к трапу. — Держите румпель твердо, а не то все мы полетим к черту.

Грубый слуга своей расы, он оставался верным находящемуся под его командованием судну. Железная выдержка, приобретенная им за долгие годы железной тренировки, теперь проявлялась во всей своей красе. Мятеж разгорался, и смерть витала над мистером Пайком, но никакая опасность не могла

заставить его забыть свои обязанности в отношении вверенного ему судна, в отношении «Эльсиноры», этого мертвого механизма из стали, дерева и пеньки, который для него был любимым живым существом.

Маргарет послала Ваду ко мне и побежала к штурвалу. В ту минуту, когда мистер Пайк огибал угол командной рубки, с палубы раздался выстрел, и пуля ударилась о стену рубки. Я заметил, кто стрелял, — это был ковбой Стив Робертс.

Мистер Пайк нырнул под покрытие стальной мачты, и в то время, как он бежал, его левая рука опускалась в боковой карман куртки, чтобы появиться с новым запасом патронов. Теперь он был в безопасности. Пустая обойма его пистолета упала на палубу, а заряженная скользнула в освободившийся магазин и могла дать еще восемь выстрелов.

Вада подошел ко мне (я все еще стоял на прежнем месте, под тентом у края кормы) и подал мне мою маленькую автоматическую винтовку.

— Готово, — сказал он. — Можете спокойно стрелять.

— Подстрелите Робертса! — крикнул мне мистер Пайк. — Он у них лучший стрелок. Если и не попадете, то хоть поугайте его как следует.

В первый раз в жизни передо мной была живая человеческая мишень. И тут, должен сказать, я убедился, что у меня крепкие нервы. Стив Робертс стоял передо мной, меньше чем в ста шагах от меня, в проходе между каютой Дэвиса и правым бортом, готовясь еще раз выстрелить в мистера Пайка.

В первый раз я не попал в него, но пуля пролетела так близко от него, что он подскочил. В следующий момент он увидел, что это я стрелял, и направил на меня револьвер. Но шансы были не на его стороне. Моя автоматическая винтовка выпускала пулю за пулей так быстро, как только я успевал нажимать курок. А его первый выстрел оказался неудачным, потому что моя пуля попала в него, прежде чем он успел прицелиться. Он зашатался и повалился навзничь, но из моего винчестера пули сыпались градом, как вода из лейки. Я, можно сказать, окатил его целым потоком свинца. Не знаю в точности, сколько раз я попал в него, знаю только, что уже после того, как он зашатался, в него вонзились по крайней мере еще три пули, прежде чем он упал. И уже падая, отмеченный печатью смерти, он машинально, не целясь, еще два раза разрядил свой револьвер.

Упав, он уже больше не шевелился. Мне кажется, он умер, прежде чем упал. Еще с винтовкой в руках, глядя на внезапно опустевшую палубу, я почувствовал, что кто-то прикоснулся к моему плечу. Я оглянулся и увидел Ваду. Он держал в руке двенадцать штук маленьких бездымных патронов. Он хотел, чтобы я снова зарядил ружье. Я откинул предохранитель, открыл магазин, вытряхнул пустые патроны и вставил новые.

— Принеси еще, — сказал я Ваде.

Но едва успел он уйти, как неподвижно лежавший у моих ног Билль Квигли произвел неожиданное нападение. Я подскочил и, откровенно сознаюсь, закричал от страха и боли, почувствовав, что его лапы обхватили мои лодыжки, а зубы впились в икру моей ноги.

Меня спас прибежавший ко мне на выручку мистер Пайк. Мне показалось, что он не прибежал, а прилетел по воздуху — так быстро очутился он возле меня. В тот же миг своей огромной ногой он отпихнул от меня Билля Квигли, а в следующее мгновение Билль Квигли был уже за бортом. Он был выброшен так ловко, что упал в море, даже не задев перил.

Пробирался ли Мике Циприани, где-то скрывавшийся до тех пор, на корму в поисках более безопасного убежища, или он хотел напасть на Маргарет, стоявшую у штурвала, — мы никогда этого не узнаем, ибо ему не дали обнаружить, какую цель имел он в виду. Мистер Пайк пронесся по палубе своими гигантскими прыжками, и не успел итальянец опомниться, как был поднят на воздух и полетел за борт вслед за Биллем Квигли.

Возвращаясь на корму, мистер Пайк обыскал всю палубу своими ястребиными глазами. На палубу никто не показывался. Даже караульный бросил свой пост на носу, и «Эльсинора», управляемая Маргарет, лениво ползла по тихому морю со скоростью двух узлов.

Мистер Пайк опасался выстрелов из засады и только после тщательного обследования палубы опустил пистолет в боковой карман куртки и закричал в сторону бака:

— Эй вы, подпольные крысы! Выходите! Покажите нам ваши богопротивные хари. Я хочу с вами говорить.

Первым показался Гвидо Бомбини, очевидно, вытолкнутый Бертом Райном. Он знаками давал нам понять, что вышел с самыми мирными намерениями. Когда на баке увидели, что мистер Пайк перестал стрелять, понемногу стали выползать и остальные. Наконец на палубе оказались все, кроме повара, двух парусников и второго помощника. Последними вышли Том Спинк, юнга Буквит и Герман Лункенгеймер, добродушный, но глуповатый немец. Все трое вышли только после угроз, несколько раз повторенных Бертом Райном, который, при содействии Нози Мерфи и Кида Твиста, явно руководил всем делом. Возле него, как верная собака, вертелся и Гвидо Бомбини.

— Ни шагу дальше! Стойте, где стоите! — скомандовал мистер Пайк, когда все столпились у люка номер три, кто с правой, кто с левой стороны.

Картина была поразительная. Мятеж в открытом море. Эта фраза из Купера, заученная мною еще в детстве, теперь воскресла в моей памяти. Да, это был мятеж в открытом море в девятьсот тринадцатом году, и я, белокурый представитель нашей расы, обреченный на гибель вместе с другими, такими же обреченными белокурыми властелинами, замешался в общую свалку и уже убил человека.

Мистер Пайк, этот неукротимый старик, стоял на возвышении у края кормы, положив руку на перила борта, и смотрел в упор на мятежников, на этот мусор человечества, подобного которому, я готов поклясться, не собирал под свое знамя еще ни один мятеж. Тут стояли все три висельника, бывшие тюремные птицы, — все, что угодно, только не моряки, и тем не менее распорядившиеся всем этим делом, типично морским. Возле них вертелся и этот итальянский пес

Бомбини, и они были окружены таким странным подбором людей, как Антон Соревсен, Ларс Якобсен, Фрэнк Финджиббон и Ричард Гиллер. Был тут и Артур Дикон, торговец белыми рабами, и Джон Хаки, бродяга из Сан-Франциско, и мальтийский кокни, и грек-самоубийца Тони.

Заметил я и наших трех странных гостей. Они стояли тесной кучкой отдельно от других, качаясь в такт ленивым покачиваниям судна, и в их белесых топазовых глазах проносились далекие грезы. Был тут и фавн, глухой, как камень, но зорко за всем наблюдавший и силившийся понять, что такое происходит кругом. Были тут и Муллиган Джэкобс и Энди Фэй, озлобленные, как всегда, и, как всегда, цеплявшиеся друг за друга, а между ними из-за их плеч, торчала голова косоглазого Дитмана Олансена, словно его притягивало к тому и другому сродство их озлобленных душ. Последним подошел Чарльз Дэвис — человек, которому по всем законам давно пора было умереть, и лицо его своей восковой бледностью резко выделялось среди всех остальных, загорелых, обветренных лиц.

Я оглянулся на Маргарет, спокойно стоявшую у штурвала. Она улыбнулась мне, и в глазах ее была любовь. И она тоже была из погибающей породы белокурых властелинов, и ее место было высокое место, и ее наследием по праву были власть, руководство и господство над тупоумными смуглыми представителями низшей расы, над отбросами и мелкотой человечества.

— Где Сидней Вальтгэм? — закричал старший помощник. — Мне он нужен. Приведите его, и тогда все вы, остальная мелюзга, возвращайтесь к работе или... помогай вам Бог!

Люди беспокойно задвигались, шаркая ногами по палубе.

— Сидней Вальтгэм, вы мне нужны — слышите? Выходите! — снова заорал мистер Пайк через головы матросов, обращаясь к убийце любимого им капитана.

Удивительный старый герой! Ему и в голову не приходило, что он уже не господин над стоявшей перед ним толпой. Его поглощала одна лишь мысль, одна страсть — жажда мести: он хотел тут же, не сходя с места отомстить убийце своего бывшего капитана.

— Старое полено! — бросил ему Муллиган Джэкобс.

— Замолчи, Муллиган! — оборвал его Берт Райн, и в ответ на этот окрик калека обдал его злобным, ядовитым взглядом.

— А ты чего суешься, голубчик? — накинусь на Берта Райна мистер Пайк. — Не беспокойся, я и о тебе позабочусь. А пока суд да дело, тащи сюда ту собаку. Ну, живо!

Показав таким образом, что он не желает признавать вожака мятежников, мистер Пайк опять закричал:

— Эй, Вальтгэм, трусливый пес! Выходите, — я вам говорю!

«Еще один помешанный, — пронеслось у меня в голове. — Еще один помешанный, раб навязчивой идеи, в жажде личной мести забывший про мятеж, забывший о долге, о верности своему судну».

Но так ли это было? Нет. Даже забывшись на миг и выкрикивая то, чего так жаждала его душа — а жаждала она одного — смерти второго помощника, — даже тогда бессознательно, машинально его бдительный взгляд моряка перебегал от паруса к парусу. Он опомнился и вернулся к своему долгу.

— Ну, возвращайтесь, мерзавцы, на бак, прежде чем я успею на вас плюнуть, — зарычал он. — Даю вам две минуты на размышление, а через две минуты выходите на работу.

В ответ на это вожак и его подручные засмеялись своим беззвучным зловещим смехом.

— Советую тебе прежде выслушать нас, старый пес! — грубо крикнул ему Берт Райн. — Эй, Дэвис, выходи вперед и покажи нам твою ученость. Да ног не застуди, смотри. Выложи это старому дураку все по порядку.

— Проклятый законник! — заревел мистер Пайк, как только Дэвис открыл рот, собираясь заговорить.

Берт Райн пожал плечами и, собираясь уходить, сказал спокойно:

— Что же, коли вы не желаете разговаривать...

Мистер Пайк пошел на уступки.

— Ну, Дэвис, говори! — буркнул он. — Выкладывай всю грязь, какая накопилась у тебя во рту. Но помни: ты за это заплатишься, заплатишься головой. А теперь говори.

Знаток морских законов прочистил горло и начал:

— Прежде всего — я лично не участвовал в этом деле. Я — больной человек, и мне по-настоящему следовало бы спокойно лежать на койке. Я еле на ногах стою. Но товарищи просили меня посоветовать им насчет законов, и я им советую...

— А что говорит закон, — ты знаешь? — перебил его мистер Пайк.

Но Дэвис не смутился.

— Закон говорит, что, когда морской офицер оказывается непригодным, команда имеет право взять судно на свою ответственность и привести его в порт. Таков закон — писанный закон. В восемьсот девяносто втором году такой случай был на «Абиссинии», когда капитан умер, а оба помощника начали пьянствовать.

— Мне не нужны твои примеры, — снова прервал его мистер Пайк. — Говори дело, да поживей. Чего вы от меня хотите? Выкладывай.

— Так вот... Я говорю как посторонний зритель, как больной человек, освобожденный от работы, — говорю потому, что мне поручено вести переговоры... Ну-с, вот как обстоит дело. Наш капитан был хорош, но он умер. А старший наш помощник жестокий человек и покушается на жизнь второго помощника. Нам-то это все равно, нам нужно только добраться до порта живыми. А наша жизнь в опасности. Мы пальцем никого не тронули, вся пролитая кровь на вашей совести. Вы стреляли и убивали. Двух человек вы выбросили за борт, как это удостоверят свидетели на суде. Вот и Робертс убит и достанется на съедение акулам, — а за что? Только за то, что он защищался от вероломного нападения,

что может засвидетельствовать каждый из нас. Мы будем говорить только правду, всю правду, и плохо вам придется тогда. Так ли я говорю, ребята?

В толпе послышался смешанный гул одобрения.

— Вы, стало быть, хотите взять на себя мою работу? — заговорил насмешливо мистер Пайк. — Ну, а со мной как вы думаете поступить?

— Вы посидите под арестом, пока мы не придем в порт и не сдадим вас законным властям, — ответил, не сморгнув, Дэвис. — А вы, если хотите дешево отделаться, можете притвориться помешанным.

В эту минуту кто-то тронул меня за плечо. Это была Маргарет с длинным ножом буфетчика, которого она поставила к штурвалу вместо себя.

— Придумай что-нибудь другое, Дэвис, — сказал мистер Пайк. — С тобой мне больше не о чем говорить. Я буду говорить с командой. Даю вам, ребята, две минуты на размышление. У вас два выхода — выбирайте. Или вы выдадите мне второго помощника, возьметесь за работу и покоритесь тому, что вас ожидает, или сядете в тюрьму и получите сполна все, что вам будет следовать по приговору. Через две минуты вы должны решить. Те, кто не желает сесть в тюрьму и предпочитают честно работать, пусть идут ко мне на корму. Те, кто предпочитает тюрьму, пусть остаются на месте. Итак, думайте две минуты, и пока думаете — помолчите.

Он повернулся ко мне и сказал вполголоса:

— Приготовьте ваше ружье на случай тревоги. И — без колебаний! Жарьте по этим свиньям, которые воображают, что сила на их стороне, потому что их много.

Первым двинулся Буквит, но так нерешительно, что его движение можно было принять скорее за слабую попытку двинуться, не кончившуюся ничем: он только чуть-чуть подался вперед, выставив одну ногу. Тем не менее этого было довольно, чтобы сдвинуть с места Германа Лункенгеймера, который вышел из толпы и решительно зашагал к корме. Код Твист нагнал его одним прыжком. Обхватив его сзади одной рукой за горло, он уперся коленом ему в спину и отогнул его голову назад. И не успел я вскинуть ружье на плечо, как мерзавец Бомбини подскочил к ним, выхватил нож и перерезал горло Лункенгеймеру.

Тут я услышал крик мистера Пайка: «Стреляйте!» — и спустил курок. И надо же было случиться несчастью: пуля пролетела мимо Бомбини и попала в Фавна. Он откатнулся назад, опустился на люк и начал кашлять. И кашляя кровью, он все осматривался кругом своими красноречивыми страдальческими глазами, силясь понять, что такое тут происходит.

Никто больше не двигался. Кид Твист выпустил Лункенгеймера, и тот упал на палубу. Я больше не стрелял. Кид Твист снова очутился возле Берта Райна, и Гвидо Бомбини по-прежнему вертелся около них.

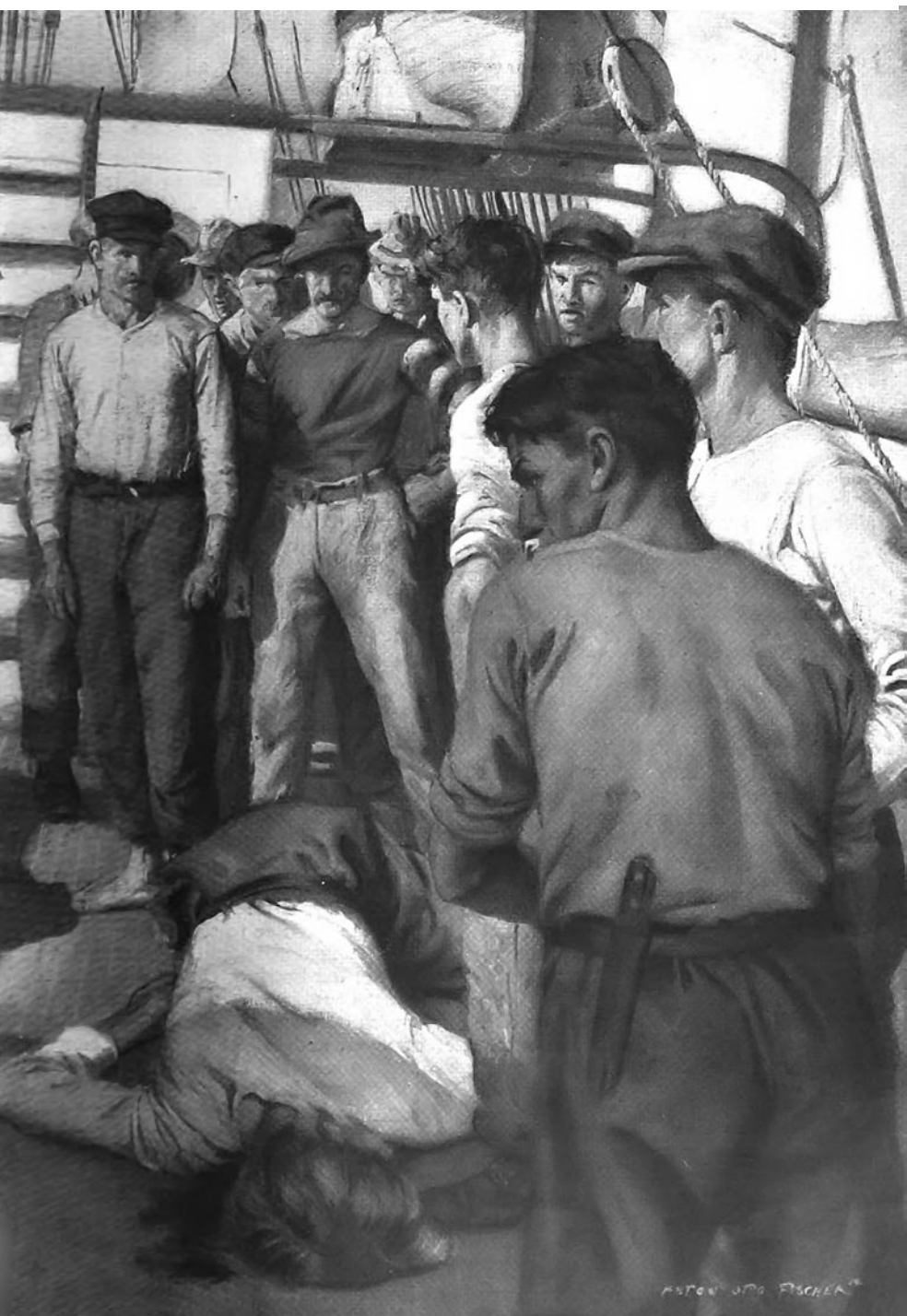
Теперь Берт Райн откровенно улыбался.

— Не желает ли еще кто-нибудь прогуляться на корму? — обратился он медовым голосом к матросам.

— Две минуты прошли, — объявил мистер Пайк.



Никто больше не двигался. Кид Твист выпустил Лункенгеймера,



и тот упал на палубу. Я больше не стрелял.

— Прошли. Ну, и что же вы, дедушка, намерены теперь делать? — засмеялся Берт Райн.

В одно мгновение огромный автоматический пистолет был выхвачен из кармана, и мистер Пайк стал выпускать заряд за зарядом так быстро, как только рука его успевала, спускать курок. Все бросились спасаться. Но, как он и сам признавался мне раньше, он был плохой стрелок и мог успешно работать своим пистолетом только целясь в упор и предпочтительно в живот.

Пока мы смотрели на главную палубу, совершенно опустевшую, если не считать лежавшего на спине мертвого ковбоя и фавна, который все еще сидел на люке и кашлял, у переднего края средней рубки показалась кучка людей.

— Стреляйте! — крикнула стоявшая у меня за спиной Маргарет.

— Не надо! — зарычал на меня мистер Пайк.

Я уже приложил было ружье к плечу, собираясь выстрелить, но, услышав этот окрик, приостановился. Через крышу средней рубки и потом вдоль мостика к нам быстро подвигалась процессия из шести человек. Впереди шел повар Луи. За ним гуськом шли или почти бежали оба японца-парусника, Генри, юнга с учебного судна, и другой юнга — Буквит. Том Спинк замыкал шествие. Когда он поднимался по трапу на крышу средней рубки, кто-то снизу, должно быть, схватил его за ногу, стараясь стащить вниз. Нам была видна только верхняя половина его туловища, но по его движениям можно было догадаться, что он брыкается, стараясь освободиться. Наконец он вырвался, одним прыжком взобрался на рубку и со всех ног пустился бежать. На мостике он догнал и толкнул Буквита, и тот в испуге вскрикнул, вообразив, что его схватил кто-нибудь из мятежников.

ГЛАВА XLIII

Мы, осажденные на юте, оказываемся численностью сильнее, чем я предполагал, когда делал подсчет силам обеих сторон. Разумеется, Маргарет, мистер Пайк и я стоим особняком. Мы трое — представители правящего класса. Но у нас есть верные слуги и рабы, которые смотрят на нас как на своих спасителей и ждут от нас указаний.

Говоря «слуги» и «рабы», я употребляю эти слова вполне обдуманно. Том Спинк и Буквит — рабы, и ничего больше. Генри, юнга с учебного судна, занимает в моей классификации неопределенное место. Он нашего полку, но его едва ли можно назвать даже ополченцем. Когда-нибудь он нас догонит и будет капитаном или помощником капитана, но пока его прошлое говорит против него. Он — кандидат, пробивающийся в высший класс из низов. Притом он еще юноша; железная сила его наследственности еще не успела проявиться.

Вада, Луи и буфетчик — слуги азиатского племени. То же можно сказать и о двух парусниках-японцах. Эти не то, чтобы слуги и не то, чтобы рабы, а нечто среднее между теми и другими.

Итак, нас на корме, в цитадели, одиннадцать человек. Но наши сторонники слишком приближаются к типу слуг и рабов, чтобы быть серьезными бойцами. Они помогут нам защитить нашу цитадель от нападений, но не присоединятся к нам при нашем наступлении. Они будут драться, как прижатые в угол крысы, защищая свою жизнь, но не бросятся, как тигры, первыми на врага. Том Спинк — верный человек, но у него нет мужества. Буквит безнадежно тупоумный малый. Генри еще не заслужил своих шпор. Итак, настоящих бойцов у нас только трое — Маргарет, мистер Пайк и я. Остальные будут сражаться на стенах нашей крепости до последнего вздоха, но на них нечего рассчитывать ни при каких вылазках.

А на другом конце судна находятся: второй помощник Меллэр, или Вальтгэм, человек нашей породы, сильный, но ренегат; три висельника, убийцы и хищники, Берт Райн, Нози Мерфи и Кид Твист; затем мальтийский кокни и сумасшедший грек Тони; Фрэнк Фицгиббон и Ричард Гиллер, двое уцелевших из тройки «каменщиков»; Антон Соренсен и Ларс Якобсен, глупые матросы из Скандинавии; косоглазый Дитман Олансен, Джон Хаки и Артур Дикон, торговец белыми рабами; Коротышка, клоун-полукровок; итальянская собака Бомбини; скорпионы Энди Фэй и Муллиган Джэкобс; три мечтателя с топазовыми глазами, не поддающиеся классификации; раненый еврей Исаак Шанц; верзила Боб; слабоумный фавн с пробитым пулей легким; Нанси и Сендри Байерс, два безнадежных, беспомощных боцмана; и наконец — знаток морских законов Чарльз Дэвис.

Таким образом выходит двадцать семь человек против одиннадцати. Но между ними есть люди, сильные именно своей порочностью. И у них тоже есть свои слуги, есть наемные головорезы. А такие слизняки, как Соренсен, Якобсен и Боб, могут быть, конечно, только рабами людей, составляющих ядро их шайки.

Я забыл рассказать, что случилось вчера, после того как мистер Пайк выпустил все свои заряды и очистил палубу. Корма бесспорно осталась за нами, и для мятежников не представляется никакой возможности напасть на нас среди бела дня. Маргарет, в сопровождении Вады, сошла вниз, чтобы осмотреть двери, выходящие из кают прямо на главную палубу, к правому и левому борту. Обе эти двери остаются в том же виде, как были в тот день, когда мы начали обход мыса Горн, то есть обе наглухо заперты.

Мистер Пайк поставил к штурвалу одного из парусников, и буфетчик, освободившись от обязанностей рулевого, хотел спуститься в каюты, когда внимание его было привлечено к левому борту, где был прикреплен лаг, тащившийся за кормой. Перед тем Маргарет возвратила ему нож, и он держал его в руке. Выброшенные за борт мистером Пайком Мике Циприани и Билль Квигли успели ухватиться за волочившийся лаг-линь и теперь плыли, держась за него. «Эльсинора» подвигалась как раз таким ходом, что они легко могли держаться на поверхности воды. Над ними кружили любопытные и голодные альбатросы и другие хищные птицы с мыса Горн. И в ту самую минуту, когда я увидел



Кружившие над ними стаи морских птиц спустились на них и принялись долбить их в головы и в плечи своими железными клювами. Жутко было слушать, какой крик подняли крылатые хищники, добравшись до живого мяса.

людей за бортом, огромная птица, футов в десять от крыла до крыла и с десятидюймовым клювом, опустилась на итальянца. Освободив одну руку, тот ударил ее ножом. Посыпались перья, и отброшенная ударом огромная птица тяжело шлепнулась в воду.

Методически, словно исполняя повседневную работу, буфетчик перерезал ножом лаг-линь, зажав его между стальным краем борта и перилами. Раненые, не поддерживаемые больше лаг-линем, принуждены были пуститься вплавь и стали тонуть. Кружившие над ними стаи морских птиц спустились на них и принялись долбить их в головы и в плечи своими железными клювами. Жутко было слушать, какой крик подняли крылатые хищники, добравшись до живого мяса. Но странно — я не был потрясен этим зрелищем. Это были те самые люди, которые потрошили акулу и бросили ее за борт еще живую, и дико вопили от радости, следя за тем, как ее сородичи пожирали ее. Они играли в жестокую игру, издевались над живыми существами, и теперь живые существа издевались над ними, играя в ту же самую жестокую игру. И как поднявший меч от меча погибает, так и эти два жестоких человека умирали жестокой смертью.

— Вот и чудесно: мы сэкономили два мешка хорошего угля, — вот все, что сказал по этому поводу мистер Пайк.

Бесспорно, наше положение могло быть хуже. Длястряпни у нас есть уголь и керосинки. У нас имеются люди, которые готовят нам обед и прислуживают. И — главное — в наших руках все продовольствие «Эльсиноры».

Мистер Пайк действует правильно. Понимая, что с нашими людьми мы не можем атаковать толпу мятежников, засевших на другом конце судна, он спокойно выдерживает осаду. Он уверяет, что нам нечего бояться. Мы, осажденные, располагаем всеми наличными съестными припасами; тогда как осаждающие находятся на границе неминуемой голодовки.

— Будем морить голодом этих собак, — рычит он. — Будем морить их голодом, пока они не приползут сюда и не станут лизать нам ноги. Вы, может быть, думаете, что обычай держать провиант в кормовой части судна сложился случайно? Вы заблуждаетесь, если так думаете. Этот обычай установился задолго до того, как мы с вами явились на свет, и он имеет под собой твердое основание. Старые морские волки знали, что делают.

Луи говорит, что в кухне осталось провизии не больше, как на три дня, что бочонок с сухарями скоро опустеет, а наших кур, которых они прошлой ночью выкрали из курятника, хватит им только, чтобы протянуть лишний день.

Словом, даже при самом широком подсчете их запасов, надо думать, что через какую-нибудь неделю они принуждены будут сдать.

Мы больше не идем под парусами. Вчера ночью мы слышали в темноте, как матросы возились с парусами и реями, но, разумеется, не могли этому помешать. По совету мистера Пайка, я несколько раз выстрелил наугад, но без всякого результата; в ответ на мою стрельбу послышались выстрелы с их стороны, и несколько пуль ударились о стену командной рубки. Сегодня у нас даже никто не стоит у штурвала. «Эльсинора» лениво покачивается на мирных волнах, а мы регулярно отбываем свои вахты под прикрытием командной рубки и стальной мачты. Мистер Пайк говорит, что он не знал такого отдыха за все время плавания.

Мы с ним выходим на вахту поочередно, хотя и на вахте почти нечего делать. Днем стоишь с ружьем за рубкой, а ночью поглядываешь с кормы. За рубкой, готовая отбить атаку, стоит моя смена из четырех человек: Том Спинк, Вада, Буквит и Луи. А Генри, два японца-парусника и старик-буфетчик составляют смену мистера Пайка.

По его приказу мы не даем никому показаться на баке. Так, например, сегодня, когда второй помощник вздумал было высунуться из-за угла средней рубки, моя пуля, ударившись о стену рубки на фут от его головы, заставила его живо нырнуть вниз. Чарльз Дэвис попробовал ту же игру и тоже принужден был спрятаться.

Кроме того, сегодня вечером, когда стемнело, мистер Пайк распорядился сложить все блоки и тали на первый пролет мостика и опустил его на корму. Затем велел поднять трап, который ведет с кормы на палубу, и тоже убрал его на корму. Мятежникам придется не мало покарабкаться, если они вздумают произвести атаку.

Я пишу эти строки внизу. Я сменился с вахты в восемь вечера, а в полночь буду снова на вахте до четырех утра. Вада покачивает головой и говорит, что Блэквудская компания должна сделать нам скидку с платы за проезд по пер-

вому классу, оплаченный вперед. "Мы заработали наш проезд", — говорит он. Маргарет принимает наши приключения весело. В первый раз в жизни ей пришлось видеть мятеж, но она такой хороший моряк, что кажется опытной и в этом деле. Заботы о палубе она предоставляет мистеру Пайку и мне, но, признавая его главенство, как капитана судна, она взяла на себя заведывание внутренним помещением юта и все распоряжения по части стряпни, уборки кают и вообще наших удобств. Мы остались в наших прежних каютах, а новых пришельцев она устроила на ночлег в большой задней каюте, снабдив их всех одеялами из склада матросских вещей.

В одном отношении этот мятеж ей на пользу: с точки зрения ее самочувствия ничего лучшего нельзя было бы ей пожелать. Это отвлекает ее мысли от отца и заполняет работой часы ее бодрствования. Сегодня днем, стоя у открытого кормового люка, я слышал ее звонкий смех, какого не слышал с тех — уже далеких — дней, когда мы шли еще по Атлантическому океану. А работая, она часто напевает отрывки из разных арий. Сегодня во вторую вечернюю вахту, когда мистер Пайк, отобедав, пришел к нам на корму, она заявила ему, что, если он не заведет своего граммофона, она непременно начнет играть на пианино. Она привела и причину такого решения — психологическое действие бодрых музыкальных звуков на голодающих мятежников.

Дни идут, но ничего важного не происходит. Мы не продвигаемся вперед. «Эльсинора» без парусов бестолково качается на море и идет каким-то сумасшедшим курсом. Она то поворачивает носом по ветру, то против ветра, и вообще кружится нерешительно и бесцельно, словно только затем, чтобы не стоять на месте. Так, например, сегодня на рассвете она стала по ветру, как будто собираясь двинуться вперед. Через полчаса она повернула так, что оказалась носом против ветра, а еще через полчаса стала опять по ветру. Только к вечеру ей удалось стать к ветру левым бортом, но, добившись этого, она снова начала заворачивать и, описав полный круг в течение часа, возобновила свою утреннюю тактику, стараясь стать по ветру.

Нам ничего не остается делать, как только защищать корму от нападений, которых пока нет. Мистер Пайк, скорее в силу привычки, чем по необходимости, регулярно производит наблюдения и определяет положение «Эльсиноры». Сегодня в полдень она оказалась на восемь миль восточнее вчерашнего своего положения; все же место, которое она занимает сегодня, отстоит на милю дальше от того, которое она занимала четыре дня назад. В общей сложности она проходит, меняя направление, по семи-восемью миль в день, то есть почти не продвигаясь вперед.

Оснастка судна представляет грустную картину. Это сплошной хаос. Неубранные паруса неряшливо свисают с рей концами и уныло болтаются при покачивании судна. Один только грот-рей ослаблен. Счастье еще, что нет сильного ветра и море спокойно, иначе этот стапшой рей свалился бы на мятежников.

Одного мы не можем понять. Прошла неделя, а мятежники не обнаруживают никаких признаков голодовки и готовности сдаться. Мистер Пайк много раз

спрашивал по этому поводу наших людей, и все в один голос, начиная с повара и кончая Буквитом, клянутся, что, насколько им известно, на баке нет провианта, кроме небольшого запаса солонины и бочонка с сухарями. А между тем совершенно очевидно, что на баке не голодают. Каждый день мы видим дым над их помещением; остается заключить, что там варят пищу.

Берт Райн два раза пытался вступить с нами в переговоры о перемирии, но оба раза, как только над углом средней рубки показывался его белый флаг, мистер Пайк открывал огонь из пистолета. В последний раз это было два дня назад. Мистер Пайк намерен взять их измором, но теперь его начинает беспокоить вопрос, из какого таинственного источника они добывают еду. Мистер Пайк стал на себя непохож. Его, я знаю, преследует одна неотвязная мысль — мысль о мести второму помощнику. В последние дни мне случилось несколько раз неожиданно наткнуться на него, и я ловил его на том, что он, с нахмуренным лбом и злыми глазами, что-то бормочет про себя, сжимает свои кулачищи и скрипит зубами. Всякий разговор он сводит на то, могли ли бы мы с успехом произвести атаку на бак, и беспрестанно спрашивает Луи и Тома Спинка, как они думают, где спит тот или другой из мятежников, что неизменно сводится к вопросу, где спит второй помощник.

Не далее, как вчера днем он дал мне положительное доказательство того, что он одержим манией мести; было четыре часа дня, начало первой вечерней вахты, и он только что сменил меня. Теперь мы стали настолько беспечны, что среди бела дня стоим на юте открыто. В нас никто не стреляет, и только иногда над крышей передней рубки появляется улыбающееся или строящее шутовские рожи лицо Коротышки. Мистер Пайк в таких случаях вооружается биноклем и разглядывает Коротышку, в надежде открыть на нем следы голодовки, после чего с грустью заявляет, что Коротышка, к сожалению, имеет упитанный вид.

Но возвращаясь к рассказу. Вчера перед вечером мистер Пайк только что сменил меня с вахты, как вдруг на баке выросла фигура второго помощника. Он подошел к борту и стоял на виду, глядя вперед.

— Стреляйте в него, — сказал мне мистер Пайк.

Боясь промахнуться, я стал старательно прицеливаться. Вдруг он тронул меня за плечо.

— Нет, не стреляйте, не надо, — сказал он.

Я опустил ружье и в недоумении взглянул на него.

— Вы его, пожалуй, убьете, а я берегу его для себя, — объяснил он.

* * *

Жизнь полна неожиданностей. Все наше плавание от Балтимора до самого мыса Горн и дальше было отмечено насилием и смертями. А теперь, когда оно завершилось открытым мятежом, нет больше насилия, и стало меньше смертей. Мы сидим у себя на корме, а они у себя на баке. Не слышно больше ни рычания, ни громких распоряжений впережку с ругательствами. Все мы как будто празднуем хорошую погоду.

В кают-компании чередуются мистер Пайк у граммофона и Маргарет у пианино, а на баке, хоть нам его и не видно, играет самый дикий оркестр из сборных испорченных инструментов и дерет нам уши день и ночь. Гвидо Бомбини играет на разбитом аккордеоне (собственность Мике Циприани, по словам Тома Спинка). По-видимому, он уже у них и капельмейстер, так как он отбивает такт. У них имеются две поломанные гармоники. Есть еще самодельные дудки, свистки и барабаны. Играют и на гребешках, обтянутых тонкой бумагой, и на треугольниках, и даже на костях от лошадиных ребер, вроде тех, какие употребляются негритянскими музыкантами.

В оркестре, по-видимому, участвует вся команда, и как стая обезьян, наслаждающаяся грубым ритмом, все колотят кто во что горазд — в сковороды, в жестянки из-под керосина, — словом, во всевозможные звенящие металлические предметы. Какой-то гениальный артист привязал веревку к язычку судового колокола и в самых сильных местах исполняемой пьесы принимается неистово звонить. Мы, впрочем, слышим, как Бомбини строго останавливает его всякий раз. И, в довершение удовольствия, в самые неожиданные моменты начинает реветь наша сирена, должно быть, заменяющая у них духовые инструменты.

И это-то мятеж в открытом море! Почти все часы моих вахт я обречен слушать этот адский гвалт и дохожу до иступления, до сумасшедшего желания поддержать мистера Пайка в его намерении произвести ночную вылазку на бак и засадить за работу этих лишенных всякого чувства гармонии взбунтовавшихся рабов.

Впрочем, нет, нельзя сказать, чтобы они были совсем не музыкальны. У Бомбини весьма приличный, хотя и необработанный тенор, и он, признаваясь, удивил меня своим разнообразным репертуаром. Оказывается, он имеет понятие не только о Верди, но и о Вагнере, и о Массне. Берт Райн все время повторяет припев какой-то уличной песни, и вся эта тройка, а за ней и остальные орут в один голос: «Так это был медведь! Так это был медведь! Медведь — и никто больше!..» Сегодня утром Нанси, должно быть, после долгих упрасиваний, угостил нас весьма грустным исполнением «Летучего Облака». А вчера во вторую вечернюю вахту наши три мечтателя пропели какую-то народную песенку, очень оригинальную и печальную.

Да неужели это мятеж? Да, мятеж, говорю я и сам себе не верю. И, однако, я знаю, что мистер Пайк в эту минуту стоит на карауле над моей головой. И я слышу пронзительный смех буфетчика и Луи, сострившего на старинный китайский манер. Вада и парусники сидят в кладовой и, я уверен, разговаривают о японской политике. А через узкий коридор до меня доносится из крайней каюты мурлыканье Маргарет, укладывающейся спать.

Но все мои сомнения улетучиваются с первым ударом восьми склянок. Я выхожу на палубу сменять мистера Пайка. Он на минуту задерживается, чтобы «покалякать», как он это называет.

— А знаете, нам с вами ничего не стоит разделить под орех всю эту свору, — говорит он мне конфиденциальным тоном. — Надо только незаметно

пробраться на бак и поднять там тревогу. Как только мы начнем стрелять, половина шайки разбежится. Мозгляки вроде Нанси, Сэндри Байерса, Якобсена, Боба и Коротышки, да и три чужака неизвестной породы бросятся спасаться на корму. А пока наши будут расправляться с ними, мы с вами начисто отделаем остальных. Ну-с, что вы на это скажете?

Я колебался, думая о Маргарет.

— Мне, понимаете, только бы забраться на бак и сцепиться с ними в рукопашную, а там я уж сумею постоять за себя. Раз, два, три — и готово. Вы не успеете и глазом моргнуть, как я управлюсь со всеми. Первым делом уложу этих трех подлецов зачинщиков, а там примусь за Бомбини, за Дэвиса, за Дикона, за кокни, за Муллигана Джэкобса и... и... за Вальтгэма.

— Всех-то выходит девять человек, а в вашем кольте только восемь зарядов, — улыбнулся я.

Он на минуту задумался, проверяя свой список.

— Правда, — согласился он. — Придется, видно, оставить в покое Джэкобса... Ну что же, согласны? Идет?

Я все еще колебался, не зная, что ответить. Но он заговорил первым. Он вспомнил о своей верности долгу.

— Нет, это не годится, мистер Паттерст. А вдруг они убьют нас обоих. Нет, мы должны оставаться на своем посту, пока они не начнутдохнуть от голода... Но вот что меня интересует: откуда они добывают еду? На баке по этой части хоть шаром покати, как оно и должно быть на всяком порядочном судне, а между тем взгляните вы на них: жиреют, точно свиньи. А ведь по всем расчетам уже неделю назад они должны были съесть все до крошки.

ГЛАВА XLIV

Да, это несомненно мятеж. Сегодня утром, набирая воду из кадки у командной рубки после только что прошедшего ливня, Буквит был ранен в плечо выстрелом с бака из револьвера. Пуля малого калибра и была на излёте, так что рана оказалась поверхностная, но этот парень так отчаянно вопил, что можно было подумать, что он умирает. Его уgomонили только затрещины мистера Пайка.

Не хотел бы я попасть в руки такого хирурга, как мистер Пайк. Он нащупывал и выковыривал пулю мизинцем, слишком большим для отверстия раны, а свободной рукой грозил пациенту дать новую затрещину. Окончив операцию, он отправил Буквита вниз, где Маргарет произвела дезинфекцию и перевязала рану.

Я так редко вижу ее теперь, что побыть с ней наедине полчаса для меня уже целое событие. С утра до ночи она занята заботами о поддержании порядка в нашем хозяйстве. Вот и сейчас, пока я пишу, я слышу через открытую дверь, как она предписывает законы обитателям задней каюты. Она выдала всем им

*Не хотел бы я попасть в руки такого хирурга, как мистер Пайк.
Он нащупывал и выковыривал пулю мизинцем,
слишком большим для отверстия раны,
а свободной рукой грозил пациенту дать новую затрецину.*



простыни и нижнее белье из склада и теперь требует, чтобы они вымылись только что набранной дождевой водой. А чтобы быть уверенной, что они в точности исполнят ее требование, она отрядила Луи и буфетчика для надзора за этой процедурой. Кроме того, она запретила курить в задней каюте. И в довершение всех этих обязательных постановлений — всем им было приказано обмести в задней каюте стены и потолок, а с завтрашнего утра приступить к их окраске. Все это почти убеждает меня, что мятеж не состоялся, и что всю эту историю я просто вообразил.

Но нет. Я слышу, как Буквит хнычет и спрашивает, как же будет он мыться, когда у него рана в плечо. Я жду и слушаю, что скажет Маргарет, и не обманываюсь в моих ожиданиях. Раненый поручается заботам Тома Спинка и Генри, и, следовательно, основательное его омовение обеспечено.

Мятежники не голодают. Сегодня они ловили альбатросов, и труп первого же пойманного альбатроса спустя несколько минут был выброшен за борт. Мистер Пайк разглядывал в бинокль этот труп, и я слышал, как он заскрежетал зубами, когда убедился, что выброшена не только кожа с перьями, но вся туша. Взяты были только кости от крыльев на трубки. Вывод ясен: голодные люди не стали бы выбрасывать мясо.

Но откуда же достают они еду? Вот еще одна из морских тайн, хотя, быть может, мне и не казалось бы это странным, если бы не мистер Пайк.

— Я думаю, думаю до того, что голова трещит, и ничего не могу понять, — говорит он. — Я знаю каждый дюйм свободного места на «Эльсиноре», и знаю, что на баке нет и не может быть ни унции съестного, и тем не менее они едят. Я осмотрел нашу кладовую, и, по-моему, там все цело, ничего не пропало. Так где же добывают они пищу? Необходимо дознаться — где.

И действительно — я это знаю — сегодня утром он провел в кладовой несколько часов вместе с поваром и буфетчиком, проверяя по списку балтиморских агентов наличное количество запасов. Знаю и то, что все трое вышли из кладовой, обливаясь потом и окончательно сбитые с толку. Буфетчик высказал такую гипотезу: во-первых, возможно, что от прежнего или от прежних плаваний оставались запасы, и во-вторых, — что эти запасы выкрадены в одну из ночных вахт, но только не в вахту мистера Пайка.

Так оно или нет, но мистер Пайк эту тайну добывания пищи мятежниками почти так же горячо принимает к сердцу, как существование в столь близком соседстве Сиднея Вальтгэма.

Я начинаю понимать, что значит выстаивать вахту за вахтой. Из двадцати четырех часов в сутки двенадцать с лишком часов я провожу на палубе — это первое. И из этих остающихся двенадцати часов значительная часть уходит на еду, на одеванье и раздеванье и на беседы с Маргарет. В результате я чувствую, что мне мало остается времени для сна. Я теперь почти не читаю. Не успевает моя голова коснуться подушки, как я уже сплю. О, я сплю как младенец, ем как матрос, и давным-давно не наслаждался таким физическим благосостоянием. Вчера вечером я взялся было за Джорджа Мура — и нашел его невероятно скучным. Быть может, он и реалист, но я торжественно утверждаю, что в тесном кругу своей замкнутой жизни на архипелаге он не имеет никакого понятия о действительности. Попробуй он хоть раз пробиться против ветра вокруг мыса Горн, он, может быть, стал бы настоящим писателем. Вот мистер Пайк — тот знает действительность, знает реальную жизнь. В шестьдесят девять лет он как ни в чем не бывало выстаивает вахту за вахтой. Да, этот человек выкован из железа. Я убежден, что, вздумай я с ним бороться, он переломил бы меня как соломинку. Он положительно какое-то чудо природы и в наше время является анахронизмом.

Фавн не умер, несмотря на мой злосчастный выстрел. Генри уверяет, что видел его вчера, а сегодня я и сам его видел. Он подошел к углу средней рубки и долго смотрел на корму печальными, сияющими понять глазами. Так точно смотрит на меня Поссум — я это часто замечал.

Только сейчас меня осенило, что из восьми наших сторонников пятеро — азиаты, и только трое люди нашей расы. Почему-то мне это напомнило Индию.

А хорошая погода продолжается, и мы все спрашиваем себя, сколько еще пройдет времени, пока наши мятежники съедят свои таинственные запасы, и голод принудит их взяться за работу.

Теперь мы находимся почти что к западу от Вальпараисо и немногим меньше, чем за тысячу миль, от западных берегов Южной Америки. Легкие северные бризы, дующие то с северо-востока, то с северо-запада, очень скоро, если верить мистеру Пайку, доставили бы нас в Вальпараисо, если бы можно было привести в порядок паруса. А в том виде, в каком «Эльсинора» сейчас, она кружится почти на одном месте и продвигается при северном ветре на каких-нибудь три-четыре мили в день.

Мистер Пайк вне себя. За последние два дня его навязчивая идея мести второму помощнику окончательно захватила его. Мятеж и собственное бессилие в этом деле, конечно, досаждают ему. Но не мятеж его угнетает — его угнетает присутствие убийцы друга его молодости, капитана Соммерса, перед которым он преклонялся.

Над мятежом он смеется, называет его «холостым выстрелом», весело говорит о том, что его жалование все растет, и жалеет, что он не на берегу, где мог бы хорошо заработать на перестраховке. Но видеть, как Сидней Вальтгэм торчит на баке, спокойно всматриваясь в даль, или сидит верхом на бушприте, охотясь на акул, — нет, это выше его сил. Вчера, поднявшись на корму мне на смену, он попросил у меня ружье и выпустил целый поток маленьких пуль во второго помощника. Но тот хладнокровно прежде закрепил лесу и только тогда вернулся на бак. Конечно, из ста шансов, может быть, только один за то, что мистер Пайк попадет в Сиднея Вальтгэма, но Сидней Вальтгэм, очевидно, не имеет никакого желания доставить ему этот шанс.

Нет, это непохоже на мятеж, по крайней мере, на тот традиционный мятеж, о каких я, захлебываясь от восторга, читал, когда был мальчишкой, — на тот мятеж, который стал классическим в морской литературе. Здесь у нас нет ни рукопашных схваток, ни грохочущих пушек, ни сверкающих тесаков; наши матросы не напиваются грогом и не подносят горящих фитилей к открытым пороховым складам. У нас на всем судне не найдется ни одного тесака и нет никаких пороховых складов. Что же касается грога, так с самого Балтимора никто из нас даже не нюхал его.

И все же это мятеж. Я больше не буду в этом сомневаться. Правда, это современный мятеж — он вспыхнул в девятьсот тринадцатом году на грузовом судне, с командой из слабоумных, калек и преступников, но как бы то ни было — это мятеж, и по числу смертей во всяком случае напоминает старые годы. Ибо с тех

пор, как я занес в мой шканечный журнал¹ последнюю запись, произошли новые события. Отныне я — хозяин «Эльсиноры» и уже как официальное лицо веду ее шканечный журнал, в чем мне помогает Маргарет.

Я мог бы предвидеть, что это случится. Вчера в четыре часа утра я сменил мистера Пайка. Когда я поднялся на корму и подошел к нему в темноте, мне пришлось два раза окликнуть его, прежде чем он сообразил, что я тут. Да и тогда он только пробурчал что-то невнятное, видимо, поглощенный чем-то своим.

Но в следующий момент он вдруг оживился и снова стал самим собой. Мне даже показалось странным такое внезапное оживление. Было видно, что он что-то задумал. Я чувствовал это, но был совершенно не подготовлен к тому, что последовало.

— Я сейчас вернусь, — сказал он, и перекинув ногу через перила мостика, быстро исчез в темноте.

Я ничего не мог сделать. Закричать и попытаться урезонить его значило только привлечь внимание мятежников. Я слышал стук его сапог, когда он соскочил на палубу и побежал на бак. Он забыл всякую осторожность. Готов поклясться, что, когда, по моим соображениям, он добрался уже до средней рубки, мне было еще слышно старческое шарканье его ног. Затем все смолкло, и больше ничего я не слышал.

И это было все. Ни одного звука не доносилось с бака. Я простоял на вахте до рассвета, когда пришла Маргарет с веселым вопросом: «Ну что, как провели ночь, храбрый моряк?» Я отстоял и следующую вахту, уже за мистера Пайка, до самого полудня, позавтракав под прикрытием стальной мачты. Я продежурил на палубе весь день, выстоял и обе вечерние вахты, так что и обед мне подали наверх.

И — повторяю — это было все. Ничего не случилось. Из помещения мятежников три раза шел дым, свидетельствуя о том, что на баке три раза варили еду. Коротышка, по обыкновению, строил мне рожи из-за угла передней рубки. Мальтийский кокни поймал альбатроса. Было заметно некоторое оживление, когда грек Тони поймал на крючок акулу, такую большую, что шесть человек тянули веревку с ней и не могли вытащить. Но я ни разу не видел ни мистера Пайка, ни ренегата Вальтгэма.

Одним словом, день прошел без всяких приключений, — обычный, спокойный, солнечный день с легким ветром. Не было никаких указаний на то, куда исчез старший помощник. Был ли он захвачен мятежниками? Очутился ли за бортом? Почему не слышно было выстрелов? Его автоматический пистолет был при нем. Непонятно, почему он не пустил его в дело хоть раз. Мы с Маргарет на все лады обсуждали этот вопрос, но не пришли ни к какому заключению.

Она настоящая дочь своей расы. К концу второй вечерней вахты, вооружившись револьвером отца, она настояла на том, чтобы я уступил ей первую

¹ Шканечный журнал — то же, что теперь вахтенный журнал: шнуровая книга, в которую заносятся все события из жизни судна и лиц, на нем плавающих. Подписывается вахтенным начальником.

ночную вахту. Видя, что ее не отговоришь, я пошел на компромисс: я велел Ваде постелить мне постель на палубе между кормовым люком и мачтой. Генри, два парусника и буфетчик стали на карауле вдоль края кормы, вооруженные ножами и дубинами.

Не могу пройти молчанием одной из слабых сторон современного мятежа. На таких судах, как «Эльсинора», не хватает оружия на всех людей. Из огнестрельного оружия у нас на корме имеются только кольт 38-го калибра капитана Уэста и мой винчестер 22-го калибра. Буфетчик питает пристрастие к холодному оружию и не расстается со своим длинным ножом. Генри, кроме своего складного ножа, запасся еще железным ломом. Луи, несмотря на имеющийся в его распоряжении самый смертоносный ассортимент кухонных ножей и кочергу, все свои упования возлагает на кипятик и неусыпно следит за тем, чтобы у него всегда кипела вода в двух котлах. У Буквита, который, по случаю своей раны, вот уже две ночи проводит внизу, есть сечка.

Остальные наши сторонники вооружены ножами и дубинами. У Ятсуды, одного из парусников, имеется топор, а Учино, другой парусник, даже когда спит, не расстается с большим молотком. У Тома Спинка гарпун. А Вада настоящий гений. Он взял железный прут, раскалил его в печке, заострил с одного конца и прикрепил к длинной палке. Завтра он собирается надеть таких наконечников для остальных наших союзников.

Жутко, однако, становится, как подумаешь, какое огромное количество режущих, колющих и долбящих инструментов могут набрать мятежники из склада плотника. Если дойдет до атаки на корму, оставшимся в живых придется иметь дело с самыми разнообразными ранами. Большое счастье, что я научился мастерски владеть моим ружьем: днем ни один из мятежников не посмеет сунуться на корму. Если они нападут, то нападут, разумеется, ночью, когда мое ружье окажется бесполезным. Тогда у нас пойдет бой в рукопашную, и в общей свалке победят, конечно, самые крепкие головы и самые сильные руки.

Но нет. Меня только что осенила новая мысль. Мы будем готовы к любой ночной атаке. Я покажу им образчик современной войны и докажу не только то, что мы «высшей породы псы» (любимое выражение старшего помощника), но и почему мы «высшей породы». Моя идея очень проста: устроить ночью иллюминацию. Уже и сейчас, пока я пишу, я разрабатываю эту идею. Газолин, шары из пакли, пистоны и порох от патронов, римские свечи, бенгальские огни, помещенные в двух-трех мелких металлических сосудах. Затем приспособление вроде курка, посредством которого, дернув за веревку, можно взорвать порох, и огонь передастся пропитанной газолином пакле и римским свечам. Вот как действует ум против грубой силы.

Весь день я работал как каторжный, и моя идея близится к осуществлению. Маргарет помогала, наводя меня на новые мысли; всю же черную работу делал Том Спинк. У нас над головами с мачты спускаются стальные штаги, от которых идут тросы через главную палубу до самой бизань-мачты. Том Спинк, дождавшись темноты, влез на мачту и повесил на тросы проволоочные кольца

так, чтобы они свободно скользили по ним. Затем в кольца он продел веревку длиной в пятьдесят футов, с толстым узлом на конце.

Моя идея заключается в следующем: каждую ночь, как только стемнеет, мы будем поднимать к штагам наши три металлических сосуда с горючим веществом. Все приспособлено таким образом, что при первой же тревоге, дернув за веревку, мы спустим курок. Порох воспламенится, и одновременно придет в движение вся система. Кольца скользнут по тросам вместе с подвешенными сосудами с пылающей паклей и, опустившись на всю пятидесятифутовую длину веревки, автоматически остановятся. Вся палуба посередине будет залита ярким светом, тогда как мы на корме окажемся в относительной темноте.

Конечно, каждое утро до рассвета мы будем все это сооружение убирать, так что на баке не догадаются, какой камень мы держим за пазухой против них. Даже та небольшая часть наших приспособлений, которую пришлось оставить наверху, уже возбудила сегодня их любопытство. Над передней рубкой высывалась то одна голова, то другая. Они внимательно осматривали мачту и тросы, стараясь догадаться, что мы затеваем. А я — можете вообразить! — ловлю себя на том, что с нетерпением жду атаки, чтобы посмотреть, как будет действовать мое изобретение.

ГЛАВА XLV

А что случилось с мистером Пайком, так и остается загадкой. Загадкой остается и то, что случилось со вторым помощником. За последние три дня мы общими силами подсчитали число мятежников. Мы видели их всех за единственным исключением — за исключением мистера Меллэра, или Сиднея Вальтгэма, как, я думаю, правильнее будет его называть.

Он не показывался и не показывается, и нам остается только строить всякие предположения.

За эти дни случилось много интересного. Маргарет отбывает вахты, чередуясь со мной, ибо из наших людей нет никого, кому можно было бы доверить такое ответственное дело. Хотя мятеж все еще продолжается, и мы в засаде, но море так спокойно, и людям приходится так мало работать, что они распустились и преспокойно спят за рубкой в часы своих вахт. И так как ничего важного не случается, они, как истые моряки, ленятся и толстеют. Даже Луи, буфетчика и Ваду я ловил на том, что они засыпают на вахте. Один только юнга Генри ни разу не провинился.

Вчера я прибил Тома Спинка. Он не доверяет моим познаниям в морском деле, и со времени исчезновения старшего помощника я замечаю с его стороны некоторое поползновение быть дерзким и не слушаться приказаний. И я и Маргарет это заметили и третьего дня говорили об этом.

— Он хороший матрос, но легко распускается, — сказала она. — И, если не подтягивать его, он заразит остальных.

— Хорошо же, так я приберу его к рукам, — храбро заявил я.

— Да и придется, — поддержала меня она. — Будьте тверды. В таких случаях твердость необходима.

Конечно, тот, кто занимает командное место, должен быть тверд, но я на собственном опыте убедился, как трудно быть твердым. Мне было не трудно застрелить Стива Робертса, когда он целился в меня. Но несравненно труднее действовать круто с таким тупоголовым малым, как Том Спинк, тем более, что он все-таки не переступает границ и не подает достаточно веских поводов для острастки. Целые сутки после разговора моего с Маргарет я был как на иголках, выискивая предлог, чтобы задать ему головомойку, и, право, кажется, согласился бы выдержать атаку на корму, лишь бы избежать объяснений с этим парнем.

Новичку не научиться в один день терроризировать людей свирепым рычаньем, как это делает мистер Пайк, и не перенять у капитана Уэста его умения спокойно, не повышая голоса, заставить человека повиноваться. Мое положение было весьма затруднительно. Я не привык командовать людьми, и Том Спинк понимал это своей глупой башкой. Кроме того, с исчезновением старшего помощника он окончательно упал духом. Как ни боялся он мистера Пайка, он верил, что тот благополучно проведет его через все опасности и доставит в порт с целой шкурой или по крайней мере — живым. А на меня он не надеялся. Какие шансы были за то, что какой-то барин-пассажир и дочь капитана сумеют управиться с восставшей командой!

Таков должен был быть ход его рассуждений, и, рассуждая так, он впал в отчаяние.

После того как Маргарет сказала, чтобы я был тверд, я, как ястреб, следил за Томом Спинком, и, должно быть, он это почувствовал, потому что всячески старался не выходить из границ, хотя все время был на волоске от этого. А Буквит, я заметил, внимательно следил, чем кончится моя замаскированная борьба с Томом Спинком. Не ускользнуло положение дел и от внимания наших востроглазых азиатов. Повара Луи я несколько раз ловил на том, что он еле удерживается, чтобы не сунуться ко мне со своими советами. Но Луи знает свое место и умеет держать язык за зубами.

Но вот вчера, когда я стоял на вахте, Том Спинк наконец проштрафился: выплюнул на палубу табачную жвачку. Надо сказать, что в море это считается таким же преступлением, как богохульство в церкви.

Маргарет подошла ко мне (я стоял за мачтой и не видел, как он плюнул) и сказала об этом, затем взяла у меня ружье и стала на мое место, так что я мог отойти.

Я подошел к Тому Спинку. У моих ног был преступный плевок, а передо мной стоял сам преступник с оттопырившейся щекой, за которой была новая жвачка.

— Сейчас же возьми швабру и вытри эту гадость, — приказал я самым строгим тоном.

Но он спокойно переложил языком свою жвачку от одной щеки к другой и поглядел на меня глубокомысленно-насмешливым взглядом. Я убежден, что он не меньше меня удивился тому, что за сим последовало. Мой кулак мелькнул в воздухе, как выпущенная из лука стрела. Он пошатнулся, ударился об угол покрытого брезентом ворота лаг-линия и растянулся на палубе. Он попытался было вступить со мной в драку, но я наехал на него и продолжал его бить, не давая ему времени прийти в себя от изумления после первого моего тумака.

Надо сказать, что с тех пор, как я был мальчишкой, мне ни разу не приходилось пускать в ход кулаки, и — сознаюсь чистосердечно — трепка, которую я задал бедному Тому Спинку, доставила мне истинное наслаждение. Но увлечение битвой не помешало мне украдкой бросить взгляд в ту сторону, где была Маргарет. Она стояла у командной рубки и глядела на нас из-за ее угла; но она не просто глядела, — она оценивала мое поведение холодным испытующим взглядом.

Все это, конечно, было очень дико. Но ведь и мятеж в открытом море в девятьсот тринадцатом году достаточно дикая вещь. Тут был не турнир между двумя рыцарями в железных доспехах из-за благосклонности прекрасной дамы, — тут просто колотили глупого парня за то, что он плюнул на палубу грузового судна. Тем не менее тот факт, что моя дама смотрит на меня, поддал мне жару, прибавил весу моим кулакам и, без сомнения, ускорил темп ударов, так что злосчастному матросу досталось по крайней мере полдюжины сверхсметных тумачков.

Да, странно создан человек. Теперь, обсуждая этот инцидент хладнокровно, я вижу, что наслаждение, которое я испытывал, колотя Тома Спинка, в существенных своих чертах сродни тому чувству, с каким я побивал на умственных турнирах моих высокоумных оппонентов. В одном случае человек доказывает свое умственное превосходство, а в другом — превосходство своих мускулов. Уистлер и Уайльд были совершенно такими же драчунами в умственном отношении, каким был я в физическом отношении вчера утром, когда свалил с ног Тома Спинка и принялся его бить.

Суставы у меня на пальцах распухли и болят. Я даже бросил писать на минуту, чтобы хорошенько их осмотреть. Надеюсь, они не останутся такими уродливыми навсегда.

В окончательном результате Том Спинк укрощен и обещает впредь быть послушным.

— Сэр! — заревел я на него самым кровожадным голосом — совсем как мистер Пайк.

— Сэр, — повторил он, еле шевеля расшибленными в кровь губами. — Так точно, сэр. Я вытру, сэр, сейчас вытру.

Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться, — так все это было смешно. Но мне удалось сохранить самый строгий, самый свирепый вид, пока я наблюдал за чисткой палубы. Во всем этом самое забавное то, что Том Спинк, получив

тумака, должно быть, проглотил свою жвачку, потому что пока он скреб и тер, он все время икал, перхал, и видно было, что у него позывы к рвоте.

С этого дня у нас на корме атмосфера прояснилась. Том Спинк исполняет приказания по первому слову. Не меньше его усердствует и Буквит. А наши пятеро азиатов, с тех пор как я доказал, что умею повелевать, стали — я это чувствую — крепче держаться за меня. Я искренне думаю, что, отколотив человека, я удвоил наши союзные силы. И теперь нет никакой надобности колотить остальных. Азиаты — смышленный народ и работают охотно. Генри — подлинный Вениамин нашей расы; Буквит во всем подражает Тому Спинку, а Том Спинк, этот типичный англосаксонский крестьянин, после полученной им потасовки уж конечно не научит Буквита дурному.

Прошло два дня, и у нас случилось два знаменательных события. Таинственные запасы продовольствия на баке, по-видимому, приходят к концу, и по этому случаю у нас состоялось первое перемирие.

Наблюдая в бинокль за мятежниками, я заметил, что туши пойманных альбатросов уже не выбрасываются за борт. Это значит, что мятежники начали есть жесткое и невкусное мясо, хотя, разумеется, из этого еще не следует, что у них вышли все запасы.

Маргарет, которая все замечает своими зоркими глазами моряка, обратила мое внимание на падение барометра, на изменившийся вид неба, предвещающий приближение шторма.

— Как только развеет волнение, наша грот-рея и другие незакрепленные реи свалятся на палубу, — сказала она.

Это заставило меня поднять белый флаг для переговоров. Берт Райн и Чарльз Дэвис вышли к средней рубке, и, пока мы переговаривались, то одна, то другая голова высывалась из-за крыши рубки, и по обе ее стороны на палубе показывались фигуры матросов.

— Что? Надоело ждать? — нахально обратился ко мне Берт Райн. — Чем мы можем быть вам полезны?

Я резко ответил:

— Вот чем. Если вы хотите сохранить ваши головы, так выходите на работу, пока все вы живы.

— Если вы будете нам грозить... — начал было Чарльз Дэвис, но свирепый взгляд вожака заставил его замолчать.

— Ну, в чем дело? Выкладывайте, — сказал Берт Райн.

— В наших же интересах сделать то, что я вам сейчас предложу, — ответил я. — Надвигается буря, и все эти реи свалятся вам на головы. Мы здесь, на корме, в безопасности. Вы одни рискуете быть убитыми, и это уж ваше дело расшевелить ваших бездельников и заставить их прибрать все, что надо, быстро и как следует.

— А если мы на это не пойдем? — спросил он дерзко.

— Что же, это опять-таки ваше дело, — ответил я небрежно. — Я хотел только предупредить вас об опасности.

Берт Райн обратился к Чарльзу Дэвису за подтверждением моих слов, спрашивая его красноречивым взглядом, какого он об этом мнения, и тот молча кивнул.

— Прежде чем ответить вам, мы должны посоветоваться, — сказал он.

— Хорошо. Даю вам на это десять минут. Если через десять минут вы не начнете работать, будет слишком поздно. И тогда я всажу пулю в первого, кто высунет нос на палубу.

— Ладно, мы переговорим между собой.

Они повернулись уходить, но я им крикнул:

— Одну минуту!

Они остановились:

— Что вы сделали с мистером Пайком? — спросил я.

Даже невозмутимый Берт Райн не мог при этом вопросе скрыть своего изумления.

— А что вы сделали с мистером Меллэром? — спросил он. — Ответьте нам, тогда и мы вам ответим.

Я уверен в искренности его изумления. Очевидно, мятежники считали нас виновниками исчезновения мистера Меллэра, как мы считали виновниками исчезновения мистера Пайка. Чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к предположению, что это случай взаимного истребления.

— Еще один вопрос! — крикнул я БERTУ Райну: — Откуда вы достаете еду?

Он засмеялся своим беззвучным смехом; лицо Чарльза Дэвиса приняло таинственное выражение человека, который многое знает, но не намерен говорить, а Коротышка, выскочив из-за угла рубки, принялся отплясывать победную джигу.

Я вынул часы и сказал:

— Помните, — вы располагаете десятью минутами. Через десять минут вы должны прийти к какому-нибудь решению.

Они повернулись и пошли, и не прошло еще десяти минут, как вся команда была на мачтах и приводила в порядок снасти и паруса.

Все это время дул северо-западный ветер. Снасти опять загудели старым, знакомым гудением, напоминающим звуки арфы, — во всем разыгрывающемся шторма, а люди — должно быть, от недостатка практики — работали как-то особенно медленно.

— Хорошо бы поставить марсели и брамсели, — сказала Маргарет. — Это придаст устойчивости судну, и удобнее будет им управлять.

Я ухватился за эту идею.

— Эй, слушайте: поставьте марсели и брамсели. Тогда легче будет управлять судном, — крикнул я на бак БERTУ Райну, который, как настоящий начальник, отдавал команде приказания с крыши средней рубки.

Поразмыслив над поданной ему идеей, он отдал соответственное приказание, и мальтийский кокни вместе с Нанси и Сендри Байерсом бросились приводить его в исполнение.

Я поставил Тома Спинка к давно уже бездействовавшему штурвалу и сказал ему, чтоб он держал курс по компасу прямо на восток. Это поставило «Эльсинору» левым бортом к ветру, и она заметно двинулась вперед под свежим бризом.

А на востоке, меньше чем в тысяче миль от нас, был берег Южной Америки и порт Вальпараисо!..

Странная вещь: никто из мятежников не возражал против моего распоряжения, и когда стемнело (мы в это время шли уже скорым ходом, подгоняемые разгулявшимся штормом), я отрядил моих людей на крышу командной рубки снимать реванты с контр-бизани. Это был единственный парус, находившийся под полным нашим контролем.

Правда, бизань-брасы, еще со времени обхода мыса Горн, были проведены на корму, и мы могли распоряжаться ими, но что касается самих парусов, то постановка и уборка их были в руках мятежников.

Маргарет, стоя в темноте возле меня, слегка и тепло пожала мне руку, когда обе наши маленькие смены людей полезли наверх, исполняя мое приказание, и оба мы затаили дыхание, стараясь уловить, насколько прибавит ходу «Эльсинора».

— Я не хотела выходить замуж за моряка, — сказала Маргарет. — Жизнь с человеком, которому не приходится постоянно расставаться с сушей, казалась мне спокойнее и привлекательнее. И что же вышло? Вы, мой жених, — человек сухопутный, и вдруг в вас заговорила морская жилка, и вы ведете судно как настоящий моряк. Скоро, должно быть, я вас увижу с секстантом в руках, вычисляющим, как полагается капитану, положение судна по солнцу и звездам.

ГЛАВА XLVI

Прошло еще четыре дня. Шторм прекратился. Мы находимся теперь не больше чем в трехстах милях от Вальпараисо, и «Эльсинора», на этот раз благодаря мне и моей настойчивости, не держа никакого определенного курса, подвигается тихим ходом или, вернее, лежит в дрейфе под небольшим ветром. А в эти трое суток, в самый разгар шторма, мы проходили по восемь и даже по девять узлов.

Меня беспокоит та готовность, с какой мятежники согласились выполнять мою программу. Они все-таки обладают элементарными сведениями в географии и понимают, какую цель я имею в виду. Управление парусами в их руках, и тем не менее они допускают меня вести судно к берегам Южной Америки.

Мало того — когда к утру третьего дня шторм начал стихать, они по собственному почину полезли наверх, поставили бом-брамсели и трюмсели и подтянули их к ветру. Это было выше моего саксонского разума, поэтому я сделал поворот руля и поставил «Эльсинору» носом против ветра. Мы с Мар-

гарет остановились на предположении, что их план заключается в том, чтобы идти к берегу, пока не покажется земля, а затем бежать с судна на шлюпках.

— Но мы не можем допустить их бежать, — сказала она со сверкающими глазами. — Нам нужно прийти в Сиэтл. Они должны вернуться к своим обязанностям. И ждать этого уже недолго, так как они начинают голодать.

— Но горе в том, что у нас нет настоящего моряка, — возразил было я. Она с негодованием накинута на меня.

— Неужели же вы, такой книгоед и с вашей морской жилкой, не сможете одолеть теорию мореплавания? И потом не забывайте, что я могу прекрасно сойти за матроса. Да каждый тупоголовый мужик, пройдя шестимесячный курс навигации в любом мореходном училище, легко выдержит экзамен на шкипера. А для вас это — дело каких-нибудь шести часов. Даже меньше. Если же после часового чтения и часовой практики с секстантом вы не сумеете вычислить широту и определить положение судна, так я это сделаю за вас.

— А вы разве сумеете?

Она покачала головой.

— Я хочу только сказать, что за какие-нибудь два часа я могу научиться вычислять широту и долготу.

Странно: шторм, перешедший было в мягкий бриз, вдруг завернул с новой силой, точно спохватившись, что он забыл нанести нам последний удар. Можете себе представить, как захлопали неубранные паруса и загудела вся оснастка. Это вызвало тревогу на баке.

— Эй, вы там! Подтяните реи! — крикнул я Берт Райну, который, в сопровождении своих адъютантов Чарльза Дэвиса и мальтийского кокни, подошел к корме и стоял на главной палубе подо мной, прислушиваясь к завыванию ветра в снастях.

— Держите судно по ветру, и не понадобится трогать реи, — прокричал он в ответ.

— Что, видно, на берег захотелось? Проголодались, небось? — засмеялся я. — Так знайте: вы и через тысячу лет не попадете на берег, да и никуда не попадете, когда все стены и реи свалятся на палубу.

Я забыл сказать, что этот разговор происходил вчера в полдень.

— А что вы сделаете, если мы подтянем реи? — вмешался Чарльз Дэвис.

— Мы поведем судно прочь от берега и будем держать всю вашу шайку в открытом море, пока голод не принудит вас взяться за работу.

— Что же, мы уберем паруса. Ставьте потом сами, — сказал Берт Райн.

Я покачал головой и поднял ружье.

— Чтобы сделать это, вам придется лезть наверх, и первый из вас, кто доронется до парусов, — получит вот это.

— А когда так, то пусть судно провалится к черту со всеми нами вместе! — закончил он решительным тоном.

И, словно поймав его на слове, вдруг сорвался фор-брам-рей. По счастью, как раз в этот момент нос судна нырнул в провал между двумя огромными ва-

лами, тяжелый рей, запутавшись в снастях, медленно опустился и, проломив в своем падении оба бульварка, лег поперек той части мостика, которая идет от фок-мачты к баку.

Берт Райн слышал треск, но не мог видеть всех повреждений. Он бросил на меня вызывающий взгляд и спросил со смехом:

— Вы, верно, хотите, чтобы еще что-нибудь свалилось на нас?

И в тот же миг, как нельзя более кстати, порывом ветра сорвало левые, а вслед за тем и правые брасы. Свалился большой, самый нижний рей, и когда он, падая, закачался во все стороны, то и главарь шайки и оба его адъютанта обернулись на шум и в страхе присели, глядя вверх. Затем рей обрушился на люк номер три, разрушив по дороге тот пролет мостика, который проходит над ним.

Для Берта Райна все это было ново, как и для меня, но Чарльз Дэвис и мальтийский кокни прекрасно учли создавшееся положение.

— Советую вам отойти в сторону от греха, — сказал я с язвительным смехом, и все трое поспешили последовать моему совету, испуганно отыскивая глазами, какой еще из тяжелых реев собирается свалиться на них.

Ключья марселя, разорванного падением фор-брам-рея, трепались по ветру; казалось, вот-вот обрушится и фор-марса-рей. Картина такого разрушения была для меня еще нова, и я был уверен, что от прочной оснастки судна ничего не уцелеет.

Главарь мятежников, хоть и не моряк, но после нескольких месяцев плавания успевший приобрести некоторый опыт в морском деле и достаточно интеллигентный, чтобы оценить всю степень опасности, поднял голову и взглянул на меня. И — надо отдать ему справедливость — он не терял больше времени на разговоры.

— Мы закрепим рей, — сказал он.

— Прежде пусть уберут марсели и трюмсели, — шепнула мне на ухо Маргарет.

— Уберите прежде марсели и трюмсели! — крикнул я вниз. — И работайте живее!

Чарльз Дэвис и мальтийский кокни, видимо, с облегчением перевели дух, услышав мои слова, и, по знаку своего вожака, мигом отправились исполнять приказание.

Ни разу за все время плавания не проявляла наша команда такой расторопности и приткости в работе. Да правду сказать, чтобы спасти судно, и нужна была расторопность. Остатки марселя были живо отрезаны складными ножами.

Но из-за грот-марселя произошло первое нарушение нашего договора. Они сделали было попытку убрать его. Пустота, образовавшаяся от разрушения в снастях и реях, давала мне возможность смотреть и прицеливаться, и когда маленькие пульты моего ружья начали пробивать паруса и стучаться о стальные части, сидевшие сверху люди приостановили работу. Я махнул рукой Берту Райну. Он понял меня и приказал снова поднять убранные паруса и укрепить рей.

— Какой нам смысл удаляться от берега? — сказал я Маргарет, когда все снасти были приведены в порядок. — Триста пятьдесят миль от берега так же действительны, как тридцать пять тысяч миль, если вся суть дела в голоде.

Итак, вместо того, чтобы уходить в открытое море, я положил «Эльсинору» в дрейф на правый галс, и легким ветром ее начало относить к юго-западу. Но в ту же ночь наши мятежники поставили на своем. Нам было слышно в темноте, как наверху шла работа: опускали паруса, возились с реями. Я наудачу выпустил несколько зарядов, но в ответ донесся только скрип тросов в шкивах и раздалось несколько револьверных выстрелов, пущенных тоже наудад.

Создалось презабавное положение. Мы, представители юта, управляем «Эльсинорой», а они, обитатели бака, — полные хозяева ее двигательной силы. Единственный парус, которым мы владеем безраздельно, это контр-бизань. А в их распоряжении находятся все паруса фок- и грот-мачты. Брасы бизань-мачты у нас, а они управляют ее парусами. И мы с Маргарет не можем понять, почему они, выбрав ночь потемнее, не отрежут бизань-брасов от концов рея. Мы думаем, что этому мешает их лень, потому что, если они обрежут брасы, проведенные на корму и, следовательно, находящиеся в наших руках, им придется провести новые брасы на бак, иначе при сильной качке с бизань-мачты будут сорваны все реи.

Есть что-то дикое и смешное в этом мятеже, который мы сейчас переживаем. Такого мятежа никогда еще не бывало. Он уклоняется от всех образцов и идет вразрез всем прецедентам. В старинных, классических мятежах, случавшихся задолго до нашего времени, мятежники бросались в атаку как тигры, и будь у нас такой классический мятеж, наши храбрые молодцы давно бы ворвались на корму и перебили бы всех нас, или сами были бы перебиты.

Поэтому я смею в лицо нашим мятежникам и, совсем как мистер Пайк, советую им обзавестись опытными няньками. Но Маргарет с сомнением качает головой и говорит, что человеческая натура никогда не изменит себе и при одинаковых условиях всегда проявит себя одинаково. Короче говоря, она напоминает мне о количестве уже имевших место смертей и утверждает, что рано или поздно, в одну из темных ночей, когда положение благодаря голоду обострится, мы еще дождемся того, что наши разбойники пойдут приступом на корму.

А пока что, если не считать постоянного напряжения нервов вследствие необходимости быть всегда начеку (обязанность, лежащая исключительно на мне и на Маргарет), все это приключение напоминает скорее страничку из романа с благополучным концом.

Да это и есть роман. Любящие друг друга мужчина и женщина выстаивают поочередно вахту за вахтой. Каждая смена — любовный эпизод. Никогда еще не бывало такого оригинального положения. Тайнственные совещания под рокот волн и вой ветра, деловые распоряжения вперемежку с пожатием рук и поцелуями под покровом ночной темноты.

Да, это верно с тех пор, как началось наше плавание, я часто посылал к черту книги. И тем не менее книги лежат в основе моей расовой жизни. Я таков,

каким меня создали десять тысяч поколений моего рода. Это бесспорно. И мои полунощные бдения над философскими книгами доказывают только, что я сын своей расы. Что определило выбор моих книг, как не десять поколений, создавших меня? Я убил человека — Стива Робертса. Будь я погибающим русым властелином, не учившимся грамоте, я убил бы его без всяких колебаний. И, как погибающий русский властелин, но уже грамотный, с прибавлением того, чем обогатила мой мозг философия всех веков, я, убивая этого человека, тоже не испытывал никаких колебаний. Культура не ослабила меня. Я убил его совершенно спокойно. Это входило в круг моей повседневной работы, а мои сородичи всегда были работниками, и в чем бы ни заключалась их работа — в смелых ли приключениях и в схватках с врагом, или в скучном отбывании тяжелых повинностей — всегда выполняли ее добросовестно.

Никогда я не пожелаю отвести назад стрелку циферблата времени и вычеркнуть из моей жизни уже случившиеся события. Я опять убил бы Стива Робертса, как это было в тот раз, если бы повторились те же условия. Но сказав, что я отнесся к этому случаю совершенно спокойно, я выразился не вполне точно. Он произвел на меня сильное впечатление: с гордостью я почувствовал, что это нужно было сделать, что это должен был сделать каждый, раз это входило в круг его повседневных обязанностей.

Да, я — погибающий русский властелин и мужчина; я занимаю высокое место и подчиняю своей воле тупоумных скотов. И я — любовник, любящий властную женщину своей расы, и вместе с ней мы занимаем и будем занимать высокие места правящих и господствующих, пока не исчезнет с лица земли наша раса.

ГЛАВА XLVII

Маргарет была права. Наш мятеж не уклонился от своих образцов и прецедентов. Много дней и ночей мы были завалены работой. Дитман Олансен, косоглазый норвежец, был убит моим Вадой, а юнга Генри, единственный Вениамин нашей расы, отправился за борт с традиционным мешком угля в ногах. Корму пытались взять приступом. Изобретенная мною иллюминация имела успех. Мятежники начинают голодать, а мы по-прежнему сидим на корме и остаемся господами положения.

Прежде всего — об атаке на корму. Случилось это два дня назад, в ночную вахту Маргарет. Впрочем, нет, — прежде скажу несколько слов о моем новом изобретении. С помощью буфетчика, большого знатока по части фейерверков, как оно и полагается китайцу, я смастерил около полудюжины бомб, добыв материал из наших сигнальных ракет и из римских свечей. Не думаю, чтобы мои бомбы отличались слишком смертоносной силой, и знаю, что наши импровизированные трубки загораются, пожалуй, даже медленнее, чем мы подвигаемся вперед в настоящее время, но тем не менее эти бомбы, как вы сейчас увидите, сослужили нам хорошую службу.



Я видел, как Маргарет выстрелила в человека, карабкавшегося на корму через перила левого борта, а в следующий момент Вада, как дикий буйвол, налетел на него, ударил его в грудь своим самодельным копьём и сбросил вниз.

Перехожу теперь к попытке атаковать корму. Как я уже сказал, это случилось в ночную вахту Маргарет, между полуночью и четырьмя часами утра. Я спал на палубе возле командной рубки, в двух шагах от Маргарет, как вдруг услышал сквозь сон, что она выстрелила из своего револьвера и продолжает стрелять.

Я первым делом бросился к проводам моих светильников. Оказалось, что они действуют превосходно. Я потянул за два провода, и два сосуда с паклей вспыхнули ярким светом, автоматически скользнули по тросам и автоматически же остановились на концах веревок. Иллюминация загорелась мгновенно и не оставляла желать ничего лучшего. Генри, оба парусника и буфетчик (трое последних, я уверен, пробудились от глубокого сна) прибежали на корму. Все преимущества были на нашей стороне, так как мы стояли в темноте, а наши враги были ярко освещены сзади.

Да, это была иллюминация, можно сказать! Порох трещал, шары пылающей пакли шипели и выбрасывали излишек газа, падавший на главную палубу огненными струями, а из сигнальных ракет сыпались красные, синие и зеленые искры.

До боевых схваток дело не дошло, ибо мятежники были ошеломлены нашим фейерверком. Маргарет стреляла наугад из своего револьвера, а я держал ружье наготове для тех, кто вздумает ворваться на корму. Но атака прекратилась так же быстро, как началась. Я видел, как Маргарет выстрелила в человека, карабкавшегося на корму через перила левого борта, а в следующий момент Вада, как дикий буйвол, налетел на него, ударил его в грудь своим самодельным копьём и сбросил вниз. Этим и кончилось. Мятежники пустились бежать со всех ног. А в это время три триселя у самых штаг бизань-мачты загорелись от падавшего горящего газа, вспыхнули ярким пламенем и быстро сгорели дотла, не передав огня дальше. Вот еще одно из преимуществ судов со стальными частями и штагами.

А на палубе под нами лежал скорчившийся человек, которого Вада проткнул своим копьём. Он лежал лицом вниз, так что мы не могли его опознать.

Теперь я подхожу к той фазе наших приключений, которая была совершенно нова для меня. Ничего подобного не попадалось в книгах. С моей стороны тут была беспечность с примесью лени, или наоборот — как хотите. Я использовал два моих светильника; оставался только один. Час спустя, удостоверившись, что мятежники опять подходят к корме, я пустил в дело последний светильник и снова заставил их отступить. Подбирались ли они к корме только затем, чтобы узнать, все ли светильники я истратил, или выручать упавшего в первой схватке, — этого мы никогда не узнаем. Но факт тот, что они подбирались к корме, что мой светильник заставил их убраться восвояси, и что это был последний светильник. Как мог я не позаботиться заранее наготовить их побольше! Времени на это было достаточно. Я этого не сделал по беспечности, по лени. Я, может быть, рисковал жизнью многих людей, основываясь лишь на психологическом расчете, что мятежники подумают, что у нас неисчерпаемый запас таких светильников.

Последний час вахты Маргарет, который я провел с ней, прошел спокойно. В четыре часа я потребовал, чтобы она сошла вниз и легла спать. Но она пошла на компромисс, заняв мою постель на палубе за рубкой.

Когда рассвело, я опять увидел труп, лежавший там же, где я видел его в последний раз. В семь часов, перед завтраком, когда Маргарет еще спала, я отрядил Генри и Буквита убрать труп. Я стоял над ними у перил с ружьем наготове. Но бак не подавал никаких признаков жизни. Генри и Буквит перевернули тело на спину, и мы узнали косоглазого норвежца. Затем они общими силами подтащили его к борту, просунули под перила и столкнули в море. Копье Вады проткнуло его насквозь.

Но не прошло еще суток, как мятежники поквитались с нами. Они отплатили нам даже с лихвой, ибо нас так мало, что потеря человека для нас чувствительнее, чем для них. Начать с того (надо заметить, что я это предвидел, потому и приготовил мои бомбы), что пока мы с Маргарет завтракали под прикрытием мачты, несколько человек мятежников незаметно прокрались в кормовую часть судна и забрались под навес кормы. Буквит это заметил и поднял тревогу, но было уже поздно. У нас не было возможности выкурить их из-под навеса. Я знал, что, как только я наклонюсь над перилами, чтобы прицелиться в них, они выстрелят в меня снизу.

На этот раз все преимущества были на их стороне; они могли стрелять из засады, а я, чтобы выстрелить, должен был подставить себя под их огонь.

Две стальных двери, выходившие из кают на главную палубу, наглухо законченные и законопаченные еще со времени обхода мыса Горн, приходились как раз под навесом кормы. Забравшись под навес, мятежники принялись колотить в эти двери тяжелыми молотками, пытаясь их взломать, между тем как остальная шайка, притаившись за средней рубкой, ждала только момента, когда двери будут взломаны, чтобы ворваться на корму.

Буфетчик, со своим секачом, караулил изнутри одну дверь; а Вада с копьем — другую. Но, поручив им охранять двери, я и сам не терял времени даром. Спрятавшись за мачту, я поджигал трубку одной из моих бомб. Когда трубка хорошо разгорелась, я пробежал на край кормы и бросил бомбу на главную палубу, стараясь закинуть ее под навес, где мятежники работали молотками, пытаясь взломать левую дверь. Несколько револьверных выстрелов со стороны средней рубки отвлекли мое внимание, и бомба была брошена неудачно. По неволе будешь нервничать, когда вокруг тебя жужжат пули. В результате бомба откатилась на открытую палубу.

Но моя иллюминация, очевидно, произвела впечатление на мятежников. Услышав шипенье трубки, они выскочили из-под навеса и пустились наутек, как испугнутые зайцы. Я легко мог бы подстрелить одного-двух человек, не будь я занят в ту минуту поджиганием второй трубки. Маргарет успела выстрелить три раза, но безрезультатно, и тотчас же корма была обстреляна с бака.

Как человек предусмотрительный (и ленивый, ибо я убедился на опыте, что изготовление бомб требует времени и труда), я оторвал горящий кончик труб-

*Забравшись под навес, мятежники принялись
колотить в эти двери тяжелыми молотками,
пытаясь их взломать.*



ки, которую держал в руке. Но трубка первой бомбы, откатившейся на палубу, все еще шипела, и бомба не взрывалась, и я решил тем временем укоротить оставшиеся трубки. Ведь кто-нибудь из мятежников, похрабрее, мог оторвать трубку от бомбы или бросить бомбу за борт, или же — что было бы похуже — швырнуть ее к нам на корму.

Прошло добрых пять минут, пока эта злосчастная трубка прогорела, и бомба наконец взорвалась. Но этот взрыв был для меня грустным разочарованием. На этой бомбе можно было смело сидеть, рискуя разве только нервным потрясением. И, однако, в качестве острастки она сделала свое дело. После того ни один из мятежников уже не отваживался соваться на корму.

Что же касается питания, то было ясно, что в этом отношении им приходится туго. В то утро «Эльсинора» лежала в дрейфе, предоставленная на волю ветра и волн, и с бака было заброшено несколько удочек для ловли альбатросов и других морских птиц. Ну и беспокоил же я этих голодных рыбаков моими выстрелами! Ни один человек не мог показаться на баке без того, чтобы моя пуля не ударилась в опасном для него соседстве о стальную обшивку борта. И все-таки они продолжали удить с опасностью для жизни и беспрестанно упуская добычу по милости моего ружья.

Их способ ловли птиц заключался в следующем: сидя где-нибудь под прикрытием, человек закидывал крючок с приманкой (поддерживаемой на поверхности воды деревянной дощечкой) через перила, и леса медленно тащились за судном. Когда птица попадалась на крючок, надо было втащить ее на палубу, не выходя из-под прикрытия. Это был самый трудный момент. Крючок, или, вернее, остроугольный треугольник в виде ободка из листового железа, при натягивании леса зажимал своим острым углом клюв птицы, схватившей приманку. Как только лесу ослабляли, птица освобождалась. Поэтому вся задача состояла в том, чтобы выхватить ее из воды быстрым взмахом, ни на секунду не ослабив леса. А втащить птицу на борт таким способом было почти невозможно, не выходя из-под прикрытия, и удильщики неизменно всякий раз упускали ее.

Тогда они выработали такую систему. Как только птица попадалась на крючок, несколько человек направляли на меня револьверы, а один подскакивал к перилам и быстро втаскивал лесу на борт. Их дальнобойные револьверы не на шутку пугали меня. Трудно оставаться спокойным, когда смерть, в виде летящего кусочка свинца, стучится возле тебя о перила или о мачту над твоей головой или отлетает рикошетом от стальной обшивки борта. Тем не менее мое ружье настолько беспокоило того человека, который стоял у перил под огнем, что из двух пойманных птиц он непременно упускал одну. Чтобы прокормить в течение суток двадцать шесть человек, нужно не два и не три альбатроса, а много ли их поймашь при таких условиях, особенно, когда охотиться на них можно только днем?

К концу дня я усовершенствовал мою тактику. Я заметил, что когда «Эльсинора» стоит носом к ветру, то, быстро повернув колесо штурвала, можно заставить ее сделать крутой поворот. При этом, по моим соображениям, плавающие капканы мятежников должны были отойти от борта.

Первый мой опыт оказался удачным. Мы приготовили заранее несколько крюков на длинных веревках. Улучив благоприятный момент при повороте судна, мы закинули в воду эти крюки и оборвали девять лес с капканами. Но такое большое судно, как «Эльсинора», поворачивается настолько медленно, что в следующий раз мятежники успели благополучно вытащить из воды свои леса, прежде чем они подплыли к нам на такое расстояние, что можно было захватить их.

Тогда я внес новое усовершенствование. Когда «Эльсинора» стояла носом к ветру, они не могли удить. После нескольких опытов я убедился, что, с помо-

щью контр-бизани и внимательно правя рулем, ее можно удерживать в таком положении. И мы добились этого, поочередно выстаивая у штурвала. И в результате охота прекратилась.

Маргарет отбывала первую вечернюю вахту. Генри стоял у штурвала. Вада и Луи были заняты внизу: они готовили ужин. Я только что поднялся наверх и стоял шагах в шести от Генри и штурвала. Должно быть, какой-нибудь странный звук, доносившийся со стороны вентилятора, привлек мое внимание, потому что я смотрел на него, когда случилось то, о чем я сейчас расскажу. Но прежде о вентиляторе. Это стальная труба, которая идет из трюма, где хранится уголь, затем проходит под лазаретом и между двойными стенами командной рубки выходит наружу. Отверстие этого вентилятора на высоте человеческого роста забрано такой частой железной решеткой, что взрослая крыса не пролезет сквозь нее, и приходится оно как раз над штурвалом, шагах в пятнадцати от кормового люка. Очевидно, кто-нибудь из мятежников, пробравшись в свободное пространство между углем и палубой нижнего трюма, вскарабкался по трубе вентилятора до наружного его отверстия и теперь мог свободно прицеливаться и стрелять сквозь решетку.

Я одновременно увидел дым и услышал звук выстрела. Вслед за тем я услышал, что Генри застонал, и, обернувшись в его сторону, увидел, что он цепляется за спицы штурвала и падает. Выстрел был меткий. Пуля пробила бедному юноше сердце или прошла очень близко от сердца — наверно не могу сказать, так как нам на «Эльсиноре» некогда вскрывать трупы.

Том Спинк и парусник Учино подбежали к Генри. А револьвер продолжал стрелять сквозь решетку, и пули били в полуоткрытую будку штурвала над головами Спинка и Учино. К счастью, они не были ранены и поспешили отбежать в сторону, куда не попадали пули.

Генри судорожно бился несколько секунд, а затем перестал шевелиться. Так погиб еще один из будущих представителей нашей погибающей расы, погиб за своей повседневной работой, стоя у штурвала на грузовом судне в то время, когда оно, направляясь из Балтимора в Сиэтл, проходило близ берегов Южной Америки.

ГЛАВА XLVIII

Положение дикое до смешного. Мы на нашем высоком месте господ располагаем всем продовольствием «Эльсиноры», а мятежники завладели средствами управления ею. Но, завладев средствами управления, они не могут ими пользоваться. Они, так же как и мы, не могут управлять судном. Корма, господское место, в наших руках. Штурвал на корме, но мы не можем дотронуться до штурвала. Из-за решетки вентилятора они могут подстрелить каждого, кто подойдет к рулю, и, чувствуя себя в неприступной крепости между стальными стенами командной рубки, они, сколько душе угодно, могут издеваться над нами.

*Так погиб еще один из будущих представителей
нашей погибающей расы, погиб за своей
повседневной работой, стоя у штурвала.*



У меня созрел один план, но не стоит приводить его в исполнение без крайней необходимости. Выбрав ночь потемнее, нетрудно будет разобщить румпель с рулем и, оснастив руль добавочными таями, править с двух боков кормы, находясь вне обстрела из вентилятора.

Но пока стоит хорошая погода, «Эльсинора» распоряжается собой по своему усмотрению, или, вернее, ею распоряжается по своему усмотрению ве-

тер и волны. Во всяком случае дрейфовать она может. Пусть мятежники поголодают. Если что-нибудь заставит их опомниться, так всего скорее состояние их желудков.

Да и зачем же человеку ум, как не затем, чтобы пользоваться им для практических целей? Я довожу до отчаяния этих голодных людей. Преинтересная забава в своем роде! Морские птицы, следуя за «Эльсинорой», по своему обыкновению, удалились от своих широт. Это значит, что в нашем соседстве их осталось определенное число, и что число это не возрастает. Силлогизм: первая предпосылка — определенное, ограниченное количество птичьего мяса; вторая предпосылка — птичье мясо в настоящее время единственная пища мятежников; вывод — уничтожьте эту пищу, и мятежники будут вынуждены вернуться к исполнению своих обязанностей.

И я стал действовать, основываясь на этом выводе. Я попробовал бросать за борт кусочки жирной свинины и корки черствого хлеба. Как только птицы, соблазненные предлагаемым им угощением, опускались на воду, я в них стрелял. А для мятежников каждая оставшаяся на поверхности воды убитая птица означает уменьшение количества их пищи.

Но я внес еще некоторые поправки в этот метод. Вчера я перерыл судовую аптечку и во все приготовленные кусочки свинины и хлеба положил по небольшой дозе из содержимого каждой бутылки, на которой был ярлык с черепом и перекрещивающимися костями. Для того, чтобы дело было крепче, я, по совету буфетчика, подбавил к этой смеси отравы для крыс.

И сегодня в воздухе не видно ни одной птицы. Правда, вчера, пока я развлекался моей новой забавой, мятежники выловили несколько птиц, но остальные исчезли, и, следовательно, им больше неоткуда добывать себе пищу, пока они не сдадутся.

Нет, я вижу, что мы ведем не детскую игру. Ведь мы потеряли треть нашего состава, а даже самые кровопролитные битвы, какие знает история, редко давали такой процент смертей. Уже четырнадцать человек из населения «Эльсиноры» отправились за борт, а кто предскажет, какой будет конец?..

Как бы то ни было, мы — господа положения, вычисляющие вес планет, производящие анализ химического состава солнца, к звездам воспаряющие богоискатели, вооруженные мудростью всех веков, — и все же, столкнувшись с неумолимой действительностью, мы превратились в стаю диких зверей, воющих по-звериному, убивающих по-звериному и по-звериному дерущихся из-за еды и питья, из-за воздуха для наших легких, из-за сухого места над морской пучиной, из-за целости наших шкур. И над этим зверинцем стоим мы с Маргарет, с подчиненными нам слугами-азиатами за нашей спиной. Все мы собаки, сказать по правде. Но мы — собаки высшей породы. Мы, светлокожие, по наследству, доставшемуся нам от наших властелинов-предков, всегда останемся на высоких местах, собаками высшей породы, повелевающими всеми другими собаками. О, тут богатый материал для размышлений философа, плывущего на грузовом судне во время мятежа в тысяча девятьсот тринадцатом году!

Генри — четырнадцатый по счету из числа тех из нас, кому было суждено распасться на составные части в соленой морской глубине. И в тот же день он был отомщен, ибо за ним последовали двое из числа мятежников. Буфетчик обратил мое внимание на то, что происходило на баке. В своем волнении он даже забылся до того, что тронул меня за плечо, глядя горящими глазами на людей, спускавших за борт два трупа. С мешками угля в ногах, они погрузились в воду так быстро, что мы не успели их опознать.

— Наверно, их убили в драке, — сказал я. — Это хорошо, что они начали драться.

Но старик-китаец только усмехнулся и покачал головой.

— Вы значит, думаете, что дело тут было не в драке? — спросил я.

— Не в драке — нет. Они поели мяса альбатросов, а альбатросы ели нашу свинину. Вот и умерло двое, а сколько их там еще заболело! Будь я проклят, но я очень рад.

Я думаю, он верно угадал. В то время, когда я приманивал птиц, мятежники ловили их и, наверное, поймали несколько таких, которые ели отравленную свинину.

Обоих отравившихся людей спустили в море вчера. И со вчерашнего дня мы стали проверять, кто остался. На баке не показывались только двое — долговязый, развинченный Боб и, на мое горе, мой любимец Фавн. Такая уж видно мне судьба — стать убийцей бедного страдальца Фавна, всегда готового исполнять приказания, всегда и всем старавшегося угодить. Право, это насмешка судьбы. Почему бы не оказаться этими двумя мертвецами Чарльзу Дэвису и греку Тони? Или Берту Райну и Киду Твисту? Или Бомбини и Энди Фэю? Я знаю, что я чувствовал бы себя лучше, будь на месте Фавна Исаак Шанц, или Артур Дикон, или Нанси, или Сендри Байерс, или Коротышка, или Ларри.

Буфетчик только что подал мне почтительный совет:

— В следующий раз, когда нам придется спускать кого-нибудь за борт, лучше будет употребить на это какой-нибудь железный лом вместо угля.

— А что — у нас кончается уголь? — спросил я.

Он молча кивнул головой.

Мы тратим много угля на стряпню, и когда выйдет весь наш запас угля, придется разобрать одну из переборок в трюме и доставать уголь из груза.

ГЛАВА XLIX

Положение обостряется. Птиц больше нет, и мятежники голодают. Вчера я говорил с Бертом Райном. Сегодня мы опять говорили по душам, и, я уверен, он никогда не забудет тех немногих прочувствованных слов, которые я ему сказал.

Началось с того, что вчера вечером в пять часов я услышал его голос, доносившийся из-за решетки вентилятора. Став за угол командной рубки, вне его выстрелов, я заговорил с ним в таком тоне:

— Ну что, голодаете? А не хотите ли знать, что будет сегодня у нас на обед? Я только что был внизу и видел, что там готовят. Слушайте же, что у нас будет: во-первых, гренки с икрой, затем бульон, соус из омаров, бараньи котлеты с французским горошком — знаете, такой сладкий горошек, который тает во рту, — потом калифорнийская спаржа с сабайоном. Ах да, забыл: еще жареный картофель, холодная свинина и бобы. А на сладкое — пирог с абрикосами, и наконец кофе, настоящий кофе. Что, ведь недурно? Вы теперь, чего доброго, затоскуете? Пожалуй, будете вспоминать те разнообразные завтраки, какими угощают в бесчисленных ресторанах нашего доброго старого Нью-Йорка.

Я сказал ему сущую правду. Описанный мной обед (приготовленный, конечно, из консервов) был именно тот обед, какой ожидал нас сегодня.

— Довольно болтать, — отгрызнулся он. — Я хочу говорить с вами о деле.

— Ну, так выпаливайте, в чем ваше дело, — грубо сказал я. — Но прежде скажите, когда вы и вся ваша подлая шайка намерены приняться за работу.

— Будет вам мочалку жевать, — оборвал он меня. — Лучше послушайте, что я вам скажу. Теперь вы у меня в руках. Верьте — не верьте, но это сущая правда. Я не хочу ее скрывать и говорю вам прямо: вы в моей власти. Я не скажу, как я этого добился, но знайте: мы можем раздавить вас, как червей. Когда я сделаю то, что задумал, вам будет крышка.

— Что будет с нами — еще неизвестно, а вот что вам жариться в аду, так это верно, — проговорил я со смехом, хоть и не воображал в ту минуту, какие адские муки ожидают его в ближайшем будущем.

— К черту ад, я его не боюсь, — сказал он. — А вам все-таки скоро капут. Я хотел предупредить вас об этом — только и всего.

— Я старый воробей, и меня не так-то легко околпачить, — засмеялся я. — Вы говорите, что нам скоро капут? Так извините, приятель, я вам не поверю, пока вы не докажете этого на деле.

И, разговаривая с этим человеком в таком духе, я думал о том, как легко я подбираю слова и фразы из собственного его лексикона, чтобы он мог меня понимать. Положение было самое скотское. Уже шестнадцать человек из нашего состава отправились на тот свет, и выражения, которые я позволял себе употреблять в этом разговоре, были скотские выражения. Не мог я не сокрушаться и о своем человеческом достоинстве. Разговаривая с этим типичным продуктом нью-йоркских трущоб, я должен был сказать «прости» мечтам утопистов, видениям поэтов и царственным мыслям всех царственных мыслителей. С таким субъектом можно было говорить только об элементарных вещах, о пище и питье, о жизни и смерти, и только зверскими, жестокими словами.

— Я предлагаю вам на выбор, — продолжал он, — остаться в живых или полететь в тартарары. Сдавайтесь, и мы вас пальцем не тронем — ни одного из вас.

— А если мы не сдадимся? Что тогда?

— Тогда вы пожалеете, что родились на свет. Одна голова, говорят, не бедна. Но вы не один, при вас еще есть девушка, для которой вы не чужой. Не мешало бы вам хоть о ней подумать. Вы не дурак и понимаете, к чему я клоню.

— О да, я понял. И почему-то в моем мозгу пронеслось все то, что я читал и слышал об осаде иностранных посольств в Пекине и о том, какие планы были у белых относительно их женщин на тот случай, если бы орды желтокожих прорвались сквозь последние линии обороны. Понял и старик буфетчик. Я видел, как злобно сверкнули его черные раскосые глазки в их узких щелках. Он понял, на что намекал этот скот.

— Ну что, смекнули, что я хотел сказать? — повторил Берт Райн.

И я узнал гнев, — не тот безудержный гнев, когда человек весь горит, теряет голову и через минуту остывает, — а злой, холодный гнев. Перед мной пронеслось видение: я видел моих предков, сидящих на высоких местах, веками господствовавших во всех землях, на всех морях. Я видел их, и наших женщин с ними, изнемогающих в неравной борьбе, обманутых в своих надеждах, засевших в неприступных крепостях, притаившихся в дремучих лесах, вырезанных до последнего человека на палубах кораблей. И всегда мы господствовали, и наши женщины господствовали вместе с нами. Жили мы или умирали, с нами жили или умирали и наши женщины; но, живые, мы всегда повелевали. Да, то было царственное видение. И, ослепленный его пурпурным сиянием, я осознал его этику — продукт веков, ее создавших. То был священный завет потомкам, долг, унаследованный нами от предков.

И пламя моего гнева начало остывать. Ведь это был не животный, красный гнев, — это был гнев интеллектуальный. Он был основан на здравом суждении и на уроках истории. Это была философия поступков сильных и гордость сильных своей силой. Вот когда я, наконец, понял Ницше. И я оценил значение книг, отношение высокого мышления к высоким поступкам, переход полуночных мыслей в действие у человека в моем положении, занимающего высокое место на юте грузового судна в девятьсот тринадцатом году, с моей женщиной возле меня, с моими предками за мной, с моими косоглазыми слугами подо мной, и со скотами у меня под пятой. Я чувствовал себя владыкой. Я понял все значение верховной власти.

Да, гнев мой был холодный, белый гнев. Эта подпольная крыса в образе ничтожного человека проползла по внутренностям судна, чтобы грозить мне. Притаившись в норе за стальными стенами, она подняла свой писк, на какой способна только крыса. И под влиянием таких чувств я в таком же духе ответил этому негодяю:

— Когда вы, как последний пес, которого пинками принудили к повиновению, приползете к нам по открытой палубе, среди белого дня, и каждым вашим поступком докажете, что вы рады повиноваться, что вы счастливы вашим рабством; тогда — и только тогда — я стану разговаривать с вами.

После этого он по крайней мере десять минут осыпал меня из-за решетки вентилятора площадной бранью. Но я не отвечал. Я слушал, слушал хладнокровно и, слушая, понимал, почему много лет назад англичане в Индии расстреливали из пушек восставших сипаев.

Но когда сегодня утром я увидел, что буфетчик носится с пятигаллонной бутылкой серной кислоты, мне ни на миг не пришло в голову, какое употребление он намерен из нее сделать.

А я тем временем обдумывал другой способ устранить смертельную опасность, какой нам грозил вентилятор. Мне стало даже стыдно, что эта мысль не пришла мне в голову с самого начала, — так она была проста. Отверстие вентилятора было невелико. Достаточно было подвесить перед ним с крыши рубки деревянный ящик с двумя мешками муки, чтобы совершенно закупорить его и защитить себя от выстрелов.

Сказано — сделано. Том Спинк, Луи и я влезли на крышу рубки и уже собирались опустить ящик с мукой, когда из вентилятора послышался голос.

— Кто там? — спросил я. — Говорите.

— Это я. Пришел предупредить вас в последний раз, — ответил Берт Райн.

В эту минуту из-за угла рубки показался буфетчик. В одной руке у него было большое ведро, и первой моей мыслью было, что он пришел набрать из кадки дождевой воды. Но не успел я этого подумать, как он взмахнул ведром и, описав им полукруг, выплеснул его содержимое в вентилятор. И в тот же миг я по запаху догадался, что это такое. Это была неразбавленная серная кислота — два галлона из большой бутылки.

Должно быть, Берт Райну обожгло лицо, попало в глаза, и, вероятно, от жестокой боли он, сорвавшись в трубе вентилятора, упал в трюм на уголь. Его вопли были ужасны, и мне вспомнились издыхающие от голода крысы, пищавшие в этой самой трубе в первые месяцы нашего плавания. Мне стало жутко и тошно. Уж если убивать людей, так лучше действовать начистоту — открыто.

Я только тогда ясно представил себе, какие муки должен был испытывать этот несчастный, когда буфетчик, которому брызнуло из ведра на голые руки, вдруг почувствовав укусы огненной жидкости, опрометью бросился к кадке с водой. А Берт Райну, этому молчаливику с беззвучным ядовитым смехом, теперь вопившему от боли где-то там, внизу, серная кислота попала в глаза! Мы завесили вентилятор мешками с мукой. Крики внизу прекратились: очевидно, товарищи перетащили несчастную жертву из трюма на бак. Но, сознаюсь, все это утро было отравлено для меня. Карлейль сказал: «Умереть легко, все люди умирают». Но получить два галлона серной кислоты прямо в лицо — совсем другое дело; это несравненно ужаснее, чем просто умереть. По счастью, Маргарет была в это время внизу, и через несколько минут, когда я пришел в равновесие, я всех моих людей заставил поклясться, что они скроют от нее это происшествие.

Ну да и мы получили свое, — они хорошо нам отплатили. Вчера весь день, после истории с вентилятором, из-под пола в каютах доносился какой-то странный стук. Стук этот был слышен и в столовой под столом, и в кладовой буфетчика, и в каюте Маргарет. Полы всех кают покрыты деревянной настилкой, но под деревом проложено железо, или, вернее, сталь, из какой построен весь корпус «Эльсиноры».



Должно быть, Берту Райну обожгло лицо, попало в глаза, и, вероятно, от жестокой боли он, сорвавшись в трубе вентилятора, упал в трюм на уголь. Его вопли были ужасны, и мне вспомнились издыхающие от голода крысы, пищавшие в этой самой трубе в первые месяцы нашего плавания.

Мы с Маргарет, в сопровождении буфетчика, Луи и Вады, обошли все места, откуда слышался стук, — такой стук, точно долбили долотом по железу. Стук доносился отовсюду, но мы решили, что пробить в полу отверстие такой величины, чтобы мог пролезть человек, можно было только сосредоточив удары в одном месте, и что такое место непременно обратило бы на себя наше внимание. Маргарет сказала:

— Если им даже удастся пробить пол, то тому, кто вздумает забраться в каюту, придется лезть головой вперед, а раз это так, какие же могут они иметь шансы против нас?

И я успокоился. Но все же на всякий случай я отпустил с вахты Буквита и приказал ему стоять на карауле в каюте до начала вахты Маргарет, когда его должен был сменить буфетчик.

Перед самым вечером после отчаянной стукотни во всех местах пола кают, стук прекратился, и ни в первую и вторую вечерние вахты, ни в первую ночную не возобновлялся. В полночь, как только началась моя вахта, Буквит сменил буфетчика на его посту в каютах, и пока тянулись бесконечные часы моей вахты, я, стоя у перил на краю кормы, меньше всего ожидал опасности со стороны кают, особенно, когда вспоминал о ведре с двумя галлонами серной кислоты, стоявшем наготове для первой головы, которая покажется из-под пола (кстати, еще не пробитого). Наши разбойники на баке могли взобраться на корму, могли перелезть по снастям с мачты на мачту и опуститься нам на головы, но как они могли добраться до нас из-под пола — это было выше моего разумения.

Но они добрались. Суда современного типа — очень сложная вещь. Как мог я предугадать, какой способ изберут враги для нападения?

Было два часа утра, и уже целый час я ломал голову, стараясь отгадать, отчего из заднего отделения будки над баком идет дым, и удивляясь, с чего мятежникам вздумалось разводить огонь в донке¹ в такой неурочный час. За все время плавания донку ни разу не пускали в дело.

Только что пробило четыре склянки, и я еще стоял на своем посту у перил, как вдруг услышал, что в каюте кто-то отчаянно кашляет, словно задыхаясь от дыма, и вслед за тем увидел Ваду, бежавшего ко мне со всех ног.

— С Буквитом беда приключилась, — выпалил он. — Идите скорей!

Я сунул ему мое ружье, оставил его на вахте вместо себя и побежал к рубке. Том Спинк зажег спичку и светил мне. На палубе, между кормовым люком и штурвалом, раскачиваясь и размахивая руками, сидел Буквит. Из глаз у него ручьем бежали слезы. Первой моей мыслью было, что он, по глупости, схватился за ведро с серной кислотой и выжег себе глаза. Но душивший его отчаянный кашель скоро заставил бы меня отбросить эту мысль, если бы даже я не услышал, как вскрикнул Луи около открытого люка.

Я подошел к нему, и только на меня пахнуло тянувшим снизу воздухом, как у меня сдавило в груди, и я начал задышаться. Я вдохнул пары серы. И в тот же

¹ Донка — маленький паровой насос.

миг я забыл и про «Эльсинору», и про мятежников на баке, забыл все на свете, кроме одного.

Следующее, что я помню, было то, что я сбежал вниз по трапу и, шатаясь от головокружения, стал ощупью пробираться по большой задней каюте. Сера ела мои легкие и душила меня. При тусклом свете фонаря я увидел буфетчика. Он стоял на четвереньках и, задыхаясь и кашляя, тряс парусника Ятсуду, стараясь его разбудить. Учино, другой парусник, тоже задыхался во сне.

Мне пришло в голову, что ближе к полу будет легче дышать, в чем я и убедился, как только стал на четвереньки. Я сдернул со спящего Учино одеяло, окутал им голову, лицо и рот, вскочил на ноги и выбежал в коридор.

Наткнувшись несколько раз на разные предметы, я опять стал на четвереньки и поправил одеяло таким образом, чтобы, оставляя рот закрытым, можно было надвигать одеяло на глаза и сдвигать на лоб.

Достаточно мучительно было уже и само удушье, но всего ужаснее было то, что у меня жестоко кружилась голова. Я неожиданно попал в кладовую. Выбравшись оттуда кое-как, я пропустил поперечный коридорчик, ввалился в следующую открытую дверь и скорчился от боли, ударившись об обеденный стол.

Но теперь я уже мог ориентироваться. Обойдя ощупью вокруг стола и стараясь не дышать отравленным воздухом, я выбрался назад в поперечный коридорчик и свернул направо. К этому времени мое состояние стало настолько серьезным, что, уже не думая о препятствиях, на которые я мог наткнуться, я большими прыжками пронесся по коридору до каюты Маргарет.

Дверь оказалась открытой. Я вскочил в каюту. И в тот момент, когда я сдернул с головы одеяло, я познал слепоту и частицу тех страданий, какие должен был испытывать Берт Райн. О, как нестерпимо щипала сера мои легкие, мои ноздри, глаза!.. В каюте не было света.

Задыхаясь, почти теряя сознание, я мог только добраться до кровати Маргарет и в изнеможении упал на нее.

Маргарет там не было. Я всю кровать обшарил руками и нащупал только теплую ямку, которую оставило по себе ее тело в постели. Даже в моем состоянии агонии и полной беспомощности интимная теплота ее тела была бесконечно мне дорога. Несмотря на недостаток кислорода в легких, несмотря на боль от разъедавших их серных паров, несмотря на смертельное головокружение, я чувствовал, что мне легче будет умереть здесь, где ее белье так нежно грело мою руку.

Я, может быть, и умер бы, если бы не услышал страшного кашля, доносившегося со стороны коридора. Это воскресило меня. Я упал с кровати на пол, с великим усилием поднялся на ноги и выбрался в коридор, где опять свалился. Кое-как, на четвереньках, я дополз до трапа, уцепился за перила, поднялся на ноги и стал слушать. Около меня шевелилось и задыхалось что-то живое. Я бросился и почувствовал в своих объятиях Маргарет.

Как описать мою борьбу, когда я поднимался по трапу? Это была пытка, агония, длившийся веками кошмар. Минутами, когда мое сознание мутилось,

у меня являлось искушение перестать бороться и опуститься в вечный мрак. Я пробивал себе путь шаг за шагом.

Маргарет была без сознания, я нес ее и, протащив на несколько шагов, падал вместе с ней и съезжал назад по трапу, теряя то, что мне давалось с таким трудом. И среди этого кошмара я твердо помню одно: ее теплое, мягкое тело было для меня дороже всего на свете, — несравненно дороже смутно вспоминавшейся мне родины, дороже всех книг, когда-либо прочитанных мной, дороже всех людей, которых я когда-либо знал, дороже чистого воздуха, там, наверху, струившегося мягко, живительно под холодным звездным небом. Оглядываясь на прошлое, я отдаю себе отчет в одном: мысль бросить ее и спастись самому ни на секунду не пришла мне в голову. Мое место было там, где была она.

То, что я сейчас пишу, может показаться абсурдом. Но мне не казались абсурдом те долгие, мучительные минуты, которые я переживал тогда, поднимаясь по трапу. Тому, кто заглянул в глаза смерти, кто пережил несколько столетий такой агонии, можно простить, если, описывая свои переживания, он несколько сгущает краски.

И пока я боролся с моей кричащей плотью, с моим помутившимся рассудком, я об одном молился — чтобы выходившие на корму двери рубки оказались незапертыми. Жизнь и смерть зависели от этой единственной возможности выхода. Найдется ли среди наших людей человек со здравым смыслом, настолько предусмотрительный, чтобы догадаться отпереть эти двери? О, как я мечтал о таком человеке, о таком испытанном, верном слуге, как мистер Пайк!

Я добрался до верха, но так ослабел, что уже не мог держаться на ногах. Не мог даже на колени встать. Я полз, как четвероногое, — нет, как змея или червяк, — на животе. До двери оставалось несколько футов. Я двадцать раз умирал на протяжении этих нескольких футов, но каждый раз возвращался к мукам жизни и тащил за собой Маргарет. Иногда, напрягая все свои силы, я не мог сдвинуть ее с места, и падал вместе с ней, и кашлял, и задыхался до следующего момента возвращения к жизни.

Обе двери — и правая и левая — были открыты. Рубку продувало сквозняком, и чистый, холодный воздух наполнил мои легкие. Протащившись через высокий порог и перетащив за собой Маргарет, я услышал, — как мне казалось, откуда-то издалека — крики людей и выстрелы из ружей и револьверов. Мои страдания дошли до предела и закончились полной потерей сознания, но прежде, чем я погрузился в темноту, я как сквозь сон увидел четкий силуэт перил кормы, темные фигуры, которые дрались, кололи, резали, рубили и над ними бизань-мачту, ярко освещенную моими светильниками. Но мятежникам не удалось взять нас приступом. Мои пять азиатов и двое белых слуг отстояли нашу цитадель, пока мы с Маргарет лежали рядом без чувств.

Все дело объяснилось очень просто. Согласно современным требованиям морского карантина, на судах не должно быть вшей — этих носителей заразы. В том отделении бака, где стоит донка, имеется полный прибор для окуливания. Стоило только длинные трубы этого прибора провести через трюм в кормовое



*Маргарет была без сознания, я нес ее и, протащив на несколько шагов,
падал вместе с ней и съезжал назад по трапу, теряя то,
что мне давалось с таким трудом.*

помещение, продолбить дыры в двойном полу каюты и начать покачивать — и готово. Мятужники так и сделали. Буквит заснул и проснулся от удушья, когда пары серы начали наполнять помещение. И вот нас, на наших высоких местах, эти скоты выкурили, как крыс.

Вада открыл одну дверь, буфетчик — другую. Они оба пытались спуститься в каюты, но принуждены были отступить перед удушливыми серными парами. Тогда они приняли участие в общей свалке и общими силами отбросили наступление с бака.

Мы с Маргарет убедились на опыте, что продолжительное вдыхание серных паров надолго оставляет легкие больными. Только теперь, спустя двенадцать часов, мы можем вздохнуть сравнительно легко и свободно. Но мои больные легкие не помешали мне сказать ей, что я теперь только узнал, как она мне дорога. А между тем она только женщина — я ей и это сообщил. Я прибавил еще, что на нашей планете живет по меньшей мере семьсот пятьдесят миллионов таких же, как она, двуногих, длинноволосых существ с нежным, мягким телом и нежным голосом, и что она, Маргарет, исчезает без остатка в несметном множестве существ ее пола и ее расы. Но я сказал ей и кое-что поважнее: я признался ей, что среди всех них она — единственная. И — что еще важнее для меня — я верю в это. Я это знаю. Весь я и каждый атом моего тела громко заявляет об этом.

Удивительная вещь — любовь. Любовь, как чудо, служит вечным источником изумления. Поверьте, мне знаком старый, сухой научный метод взвешивания, подсчитывания и классификации любви. Для созерцательного взора философа любовь — безумие, космический обман, насмешка. Но когда отбросишь эти интеллектуальные предпосылки и станешь просто человеком и человеческим самцом, короче говоря — любовником, — тогда все, что остается делать и чего невозможно не сделать, это — уступить требованиям жизни, обнять обеими руками и прижать ее, единственную, к себе, как можно ближе к сердцу. В этом венец твоей жизни и всякой человеческой жизни. Выше этого не может подняться человек. Пусть философы копошатся где-то внизу на холмиках кротовых нор. Кто не любил, тот не вкусил всей сладости жизни. Я это знаю. Я люблю женщину, Маргарет. Она — желанная.

ГЛАВА I

За последние двадцать четыре часа случилось много нового. Прежде всего — вчера во вторую вечернюю вахту чуть не убили нашего буфетчика. Кто-то из мятужников просунул нож в решетку вентилятора и распорол мешки с мукой сверху донизу. Мука просыпалась на палубу, и в темноте никто этого не заметил.

Конечно, спрятавшийся за мешками не мог видеть людей на корме, но, когда буфетчик проходил мимо вентилятора, шлепая своими туфлями, тот выстре-

лил наудачу. К счастью, он промахнулся; пуля все же пролетела так близко от старика, что ему контузило щеку и шею.

В шесть часов утра, в первую вахту — новый сюрприз. Том Спинк прибежал ко мне на край кормы, где я стоял на вахте, и дрожащим голосом сказал:

— Ради самого Бога, сэр, что нам делать? Они пришли.

— Кто? — спросил я.

— Да они... те трое, что явились к нам с мыса Горн... три утонувших матроса. Вон они, сэр, — все трое... Стоят у штурвала.

— Как же они сюда попали?

— Они ведь колдуны, сэр. Должно быть, прилетели!.. Вы их не видели? Они не проходили мимо вас?

— Нет, не проходили.

Бедный Том Спинк был в отчаянии.

— Да, впрочем, дело очень просто, — сказал я. — Они могли перелезть по снастям... Пошли ко мне Ваду.

Вада сменил меня, и я пришел к штурвалу. Там, действительно, стояли — чинно в ряд — занесенные к нам бурей белобрысые гости с топазовыми глазами. При свете фонаря, который навел на них Луи, глаза их были поразительно похожи на глаза больших кошек. О бог ты мой! — да они даже мяукали, как кошки. По крайней мере, издаваемые ими нечленораздельные звуки больше всего напоминали мяуканье. Но было ясно, что эти звуки говорят об их дружеских чувствах. Кроме того, все трое протянули руки ладонями кверху — безошибочный знак миролюбивых намерений. Затем все, один за другим, сняли шапки, и каждый взял мою руку и положил ее к себе на голову. Не могло быть никаких сомнений в том, что это должно было означать: они предлагали нам свою верность и признавали меня своим господином.

Я молча кивнул. Что мог я сказать людям, мяукавшим по-кошачьи? А при тусклом свете фонаря язык знаков был затруднителен. Том Спинк что-то проворчал, протестуя, когда я приказал Луи свести их вниз и дать им одеяла. Я предложил им знаками лечь спать. Они благодарно закивали, потом нерешительно переглянулись, и каждый показал себе на рот и потер желудок.

— Утопленники не едят, — сказал я, смеясь, Тому Спинку. — Сведите их вниз и присмотрите за ними. Да хорошенько накормите их, Луи. Это хороший знак, что они пришли, — как видно, на баке сильно сократили паек.

Через полчаса Том Спинк вернулся.

— Ну что, поели они? — спросил я его.

Но он остался при своем мнении. Подозрительно само по себе было уже то, что они так много съели. Ведь всякие бывают выходцы с того света. Он слышал о таком, который поедал мертвецов на кладбищах, так что, когда человек много ест, это еще не доказательство, что он не выходец с того света.

Третье важное событие случилось нынче утром в семь часов. Мятежники запросили мира, и когда Нози Мерфи, мальтийский кокни и неизбежный Чарльз Дэвис стояли подо мной на главной палубе, я не мог не заметить,

как похудели и осунулись их лица. Голод оказался моим верным союзником. И, право, стоя рядом с Маргарет на краю кормы и глядя вниз на этих голодных людей, я чувствовал себя очень сильным. Неравенство между кормой и баком в численности людей теперь почти сгладилась. С присоединением к нам трех дезертиров нас было уже не девять, а двенадцать человек, а мятежников, со смертью Дитмана Олансена, Боба и Фавна, оставалось только двадцать. Да и из этих двадцати Берт Райн, наверное, выбыл из строя, а среди остальных были такие слабосильные люди, как Сендри Байерс, Нанси, Джэкобс, Ларри и Ларс Якобсен.

— Ну, говорите, что вам нужно? — спросил я троих, стоявших внизу. — Мне некогда долго разговаривать с вами. Меня ждет завтрак.

Чарльз Дэвис выступил вперед, собираясь заговорить, но я оборвал его:

— С вами, Дэвис, мне не о чем говорить, по крайней мере теперь. Потом, когда мы с вами явимся в суд, с которым вы мне так надоедали все эти месяцы, настанет ваш черед говорить. Но не забудьте, что тогда и у меня найдется кое-что сказать о вас.

Он опять открыл было рот, но на этот раз его остановил Нози Мерфи.

— Помолчи, Дэвис, а не то я заткну тебе глотку, — крикнул он на него. Потом взглянул на меня и сказал: — Мы хотим стать на работу — вот чего мы хотим.

— Так не просят, — сказал я.

— Сэр, — добавил он поспешно.

— Вот так-то лучше.

— Ради всего святого, сэр, не пускайте их на корму! — вдруг зашептал мне на ухо Том Спинк. — Они всех нас прикончат. И даже если вас не тронут, так мне-то несдобровать — спустят меня за борт в какую-нибудь темную ночь. Они мне ни за что не простят, что я перешел на вашу сторону, сэр.

Я пропустил мимо ушей его причитания и обратился к трем висельникам:

— Лучше ничего и придумать нельзя, как стать на работу, когда людям приходится круто, как теперь вам. Что же, чтобы доказать ваши благие намерения, беритесь, не откладывая, за работу.

— Мы хотели бы сперва поесть, сэр, — проговорил он робко.

— А я хотел бы, чтобы вы сперва поставили паруса. И знайте раз и навсегда: моя воля на этом судне — закон.

Нози Мерфи нерешительно взглянул на мальтийского кокни, спрашивая у него совета. Тот подумал, посмотрел вверх на мачты, как будто сравнивая степень своих сил с требуемой работой, и, наконец, кивнул в знак согласия.

— Ладно, сэр, мы поставим паруса, — сказал он. — Только пока мы будем работать, нельзя ли сварить нам поесть?

Я покачал головой.

— Я не имел этого в виду и теперь не намерен менять мои распоряжения. Когда паруса будут приведены в порядок и все свалившееся на палубу убрано, вы получите полный обед.

Надо правду сказать: когда они полезли на мачты, было видно, до чего они ослабели. У некоторых даже не хватало сил подняться. Бедняга Сендри Байерс поминутно подтягивал свой живот, а лицо Нанси никогда еще не имело такого безнадежного выражения, как когда он, по приказанию мальтийского кокни, полез на мачту.

Я должен мимоходом отметить случившееся на наших глазах чудо, которое привело нас в восторг. С помощью одного из патентованных шпилей люди поднимали брам-рею. Работа была трудная, и им приходилось круто.

Сендри Байерс, грек Тони, Бомбини и Муллиган Джэкобс ворочали шпиль, Ларс Якобсен на своей сломанной ноге ковылял за ними. Нози Мерфи следил за работой.

Когда, выбившись из сил, они на минуту остановились, взгляд Мерфи случайно упал на Чарльза Дэвиса — единственного человека, который не работал с самого начала плавания и теперь не принимал участия в общей работе.

— Ну-ка, Дэвис, подсоби! — крикнул ему Мерфи.

Маргарет тихонько засмеялась, с интересом ожидая, чем это кончится.

Морской законовед с изумлением взглянул на Мерфи и ответил:

— Мне кажется, это не мое дело.

Мерфи мигнул Сендри Байерсу, чтобы тот занял его место, выпрямился, подошел к Дэвису и спокойно сказал:

— А мне кажется, что твое.

И только. С минуту ни тот ни другой не говорили. Дэвис, по-видимому, обдумывал вопрос с юридической точки зрения. Люди у шпиля стояли, тяжело дыша и с любопытством смотрели на них — все, кроме Бомбини, который незаметно улизнул и теперь стоял возле Мерфи.

При создавшихся условиях решение, к которому пришел Чарльз Дэвис, было совершенно правильным, хотя и тут он не мог не поторговаться.

— Я буду следить за работой, — сказал он.

— Нет, ты будешь ковылять по кругу у одной из вымбовок¹, — сказал Мерфи.

Морской законовед не сделал промаха. Он хорошо знал, что ему придется выбирать между жизнью и смертью: он подошел к шпилю и занял место.

Пока шла работа, и люди ходили гуськом по маленькому кругу, мы с Маргарет бессовестно громко смеялись, испытывая большое удовлетворение. И все наши люди выстроились вдоль края кормы, чтобы взглянуть на интересное зрелище — на Чарльза Дэвиса за работой.

Должно быть, Нози Мерфи был тоже доволен, потому что, продолжая свое дело, он не спускал критического взгляда с Дэвиса.

— Побольше перцу, Дэвис! — вдруг грубо скомандовал он.

И Дэвис, вздрогнув, заметно приналег на работу.

¹ Вымбовка — деревянный длинный брус, служащий для вращения шпиля (вертикального ворота).

Это было уж слишком для наших молодцов — и желтокожих и белых, — все они захлопали в ладоши, хохоча. Я ничего не мог с ними поделать. Ведь это был праздник, день нашего торжества, и наши верные слуги заслуживали награды в виде невинного развлечения. Поэтому я им спустил нарушение дисциплины и этикета юта, и мы с Маргарет отошли подальше в глубь кормы.

У штурвала стоял один из наших гостей с мыса Горн. Я велел ему держать курс на восток, на Вальпараисо, и послал буфетчика вниз за едой для мятежников.

— А когда нам выдадут следующую порцию, сэр? — спросил Нози Мерфи, когда буфетчик передал ему припасы.

— В полдень, — ответил я. — И пока вы и вся ваша братия будете вести себя прилично, вам будут давать еду три раза в день. Порядок ваших смен можете устанавливать по своему усмотрению. Но судовая работа должна быть сделана, и сделана хорошо. И как только вы начнете отлынивать от работы, выдача пищи прекратится. Я кончил. Можете теперь отправляться на бак.

— Еще одно слово, сэр, — сказал он поспешно. — Берту Райну совсем плохо. Он ничего не видит, сэр. Лицо у него страшно изуродовано, и как бы он не остался без глаз. И спать не может, все стонет.

Хлопотливый выдался день. Я выбрал из нашей аптечки все, какие там были, средства от ожогов, и, узнав, что Мерфи умеет обращаться со шприцем для подкожного впрыскивания, дал ему шприц.

Потом я долго работал с секстантом и, кажется, правильно произвел наблюдения и определил положение солнца в полдень. Впрочем, определять широту сравнительно легко, долгота дается труднее. Я читаю, изучая это искусство.

Всю вторую половину дня легкий северный ветер гнал «Эльсинору» со скоростью пять узлов. Теперь мы шли на восток, туда, где была земля, где были человеческие жилища, где были закон и порядок, какой всегда устанавливают люди, когда они организуются в группы. Как только мы придем в Вальпараисо, где развевается государственный флаг, наши мятежники будут переданы в распоряжение береговых властей.

Еще одним из моих дел в этот день было организовать смены вахты таким образом, чтобы три заморских гостя были разлучены. Одного из них Маргарет взяла в свою смену вместе с парусниками, с Томом Спинком и с Луи — наполовину белой расы и вполне благонадежен; и ему сказано, чтобы во всякое время — и на палубе и внизу — он неотступно следил за этим мечтателем с топазовыми глазами.

В моей смене буфетчик, Буквит, Вада и двое мечтателей. К одному из них приставлен Вада, к другому — буфетчик. Мы не хотим рисковать. И днем, и ночью, работают они или отдыхают, всегда есть бдительный надзор одного из наших верных людей.

Вчера вечером я сделал экзамен этим чужакам. Но прежде посоветовался с Маргарет. Она уверена, и я с ней согласен, что наши мятежники хоть и пошли на уступки, но отнюдь не желают идти в Вальпараисо и засесть там в тюрьму.

Их план, по нашим соображениям, заключается в том, чтобы бежать с «Эльсиноры» на шлюпках, как только покажется земля. А если принять в расчет, что на баке есть отчаянные головы, которые ни перед чем не остановятся, то нет ничего невозможного в том, что они, перед тем как бежать, просверлят стальные стены судна и пустят его ко дну, ибо в морской практике это старый, известный прием, как и мятеж в открытом море.

И вот я решил испытать наших таинственных незнакомцев. Это было вчера в час ночи. Двоих из них я взял с собой на бак в набег на шлюпки, которые надо было сломать, а одного оставил с Маргарет, стоявшей в то время на вахте, и приставил к нему буфетчика с его длинным секачом. Тем двоим, которые должны были сопровождать меня, я дал понять знаками, что при первом же намеке на измену с их стороны их товарищ будет убит. А буфетчик в свою очередь подтвердил мою угрозу таким выразительным жестом, в значении которого нельзя было ошибиться, и мы с Маргарет вынесли такое впечатление, что он не задумается подкрепить эту угрозу действием.

С Маргарет я оставил еще Буквита и Тома Спинка. Вада, оба парусника, Луи и два мечтателя с топазовыми глазами пошли со мной. Кроме боевого оружия, мы взяли с собой топоры. Палубу мы прошли незамеченными, по трапу средней рубки поднялись на мостик и по мостику дошли до передней рубки. Здесь были подвешены первые шлюпки, над которыми нам предстояло работать. Но прежде, чем приступить к работе, я позвал караульного, стоявшего на носу.

Это был Муллиган Джэкобс. Он перелез через обломки мостика, где все еще лежал упавший рей, и подошел ко мне бесстрашный, злой и неукротимый, как всегда.

— Джэкобс, — заговорил я шепотом, — ты постоишь здесь возле меня, пока мы покончим со шлюпками. Согласен?

— Уж не думаете ли вы, что я испугаюсь? — проворчал он, не понижая голоса. — Вы ломать шлюпки пришли? Что ж, валяйте! Какое мне дело! Я понимаю вашу игру. Понимаю и игру тех чертей, что дрыхнут в эту минуту под нами. Они хотят бежать на шлюпках, а вы хотите сломать шлюпки, чтобы не дать им бежать.

— Тише! — попытался я заставить замолчать его, но тщетно.

— Да чего вы боитесь? — продолжал он так же громко. — Они теперь набили животы и спят. У нас на ночных вахтах стоит только один человек — караульный. Даже Райн и тот спит. После нескольких уколов нашей иглой он перестал стонать... Делайте ваше дело, ломайте! Мне все равно. Моя больная спина мне дороже голов того сброда, что спит там внизу.

— Если вы так их не любите, почему же вы не присоединились к нам? — спросил я.

— Потому что вас я люблю еще меньше. Они такие, какими их сделали вы и ваши отцы. А кто такие вы и ваши отцы, черт вас возьми? — Грабители человеческого труда. Да, их я не очень люблю, а вас и ваших отцов совсем не люблю.

Я люблю только себя и свою несчастную спину — живое доказательство того, что нет никакого бога и что Браунинг — лжец.

— Право, переходите к нам, — сказал я, идя навстречу его настроению. — Вашей спине станет легче.

— А ну вас к черту! — огрызнулся он. — Делайте свое дело, ломайте шляпки. Вы можете повесить некоторых из тех мерзавцев, а мне вы ничего не сделаете: про меня закон не писан. Я — калека, жертва тяжелых условий, былинка, закружившаяся в кипящем котле взаимной вражды людей с крепкими спинами и безмозглыми головами. Я слишком слаб, чтобы поднять руку на человека.

— Ну, как хотите, — сказал я.

— Как я могу хотеть — такой, как я есть? И что такое вся моя жизнь, да и вообще жизнь человеческая? Минутная вспышка света между вечной тьмой позади и вечной тьмой впереди. Отчего бы не родиться мне мотыльком или хоть обыкновенным смертным человеком со здоровой спиной, которого любили бы женщины? Да будь я даже свиньей, стоял бы себе у полного корыта, жирел бы и ни о чем не тужил... Ну, что же вы? Ломайте шляпки. Играйте в вашу чертову игру, когда есть охота. А кончите вы так же, как и я: уйдете в темноту, и ваша темнота будет не светлее моей.

— Как видно, на сытое брюхо человек становится храбрее, — сказал я язвительно.

— А у меня на голодное брюхо яд моей ненависти становится вдвое сильнее... Ну, будет болтать. Ломайте шляпки.

— А чья это была мысль выкурить нас серой? — спросил я.

— Я не скажу вам — чья, но знаю, что я завидовал этому человеку, пока его план не провалился. А чья была мысль облить Райна серной кислотой? У него мясо с лица отваливается клочьями.

— Я тоже вам не скажу, чья это была мысль. Могу только сказать — не моя, и я рад, что не моя.

— Оно всегда, конечно, приятно, чужими руками жар загребать, — проговорил он с усмешкой.

Итак, мы уничтожили шляпки. Благодаря хорошим топорам и ломам эта работа оказалась легче, чем я предполагал. Мечтатели с топазовыми глазами усердствовали больше всех. На крышах обеих рубок мы оставили груды обломков и благополучно вернулись на ют. Дело обошлось без единого выстрела. На баке, разумеется, проснулись от стука, но даже не пытались помешать нам.

Как ошибаются авторы романов из морского быта, описывая нравы моряков! На судне двадцать человек команды, двадцать матросов-головорезов с самым темным прошлым, с тюрьмой и виселицей, ожидающими их в самом близком будущем. Казалось бы, что им нет другого выбора, как отстаивать себя с оружием в руках. В таком духе обыкновенно и ведется рассказ авторами морских романов. А между тем на «Эльсиноре» эти двадцать человек и голоса не подали, когда мы уничтожали последний их шанс на спасение.

— А все-таки хотел бы я знать, где они добывали еду? — спросил меня буфетчик чуть не в сотый раз.

Этот вопрос он задавал мне ежедневно с того дня, как еще мистер Пайк стал ломать над ним голову. И я подумал: что, если бы спросить об этом Муллигана Джэкобса, ответил бы он или нет? Во всяком случае эта загадка разрешится на суде в Вальпараисо, а до тех пор мне, как видно, остается только покориться ежедневным пристаиваниям буфетчика.

— Мятеж в открытом море и убийство — преступления, а с преступниками нельзя церемониться, — сказал я сегодня утром нашим мятежникам, когда они все подошли к корме с жалобой на то, что мы уничтожили шлюпки, и с вопросом о моих дальнейших намерениях.

И пока я, стоя на краю кормы, с моего высокого места смотрел на этих жалких людей, передо мной встало видение прошлого: передо мной прошли все поколения моих жестоких, неукротимых властелинов-предков. С тех пор, как мы вышли из Балтимора, уже три человека, три господина, стоявшие на этом высоком месте, ушли из жизни — Самурай, мистер Пайк и мистер Меллэр. И вот теперь здесь я, четвертый, не моряк, господин только по крови, как потомок моих предков, а работа на «Эльсиноре» шла по-прежнему своим чередом.

Подо мной стоял Берт Райн с забинтованной головой, и я чувствовал к нему что-то вроде уважения. Он ведь тоже по-своему, по-подпольному, повелевал своей шайкой крыс. Плечом к плечу со своим изувеченным вожакom стояли Нози Мерфи и Кид Твист. Это он хотел, из-за своего страшного увечья, как можно скорее добраться до берега, чтобы обратиться к врачам. Риск попасть под суд он предпочитал риску лишиться жизни или, по крайней мере, потерять зрение.

Команда разделилась на два лагеря. Предводителем восставших против трех висельников был, по-видимому, еврей Исаак Шанц, — тот самый, который был ранен в плечо. Уже сама по себе его рана свидетельствовала бы против него на суде, и он хорошо это знал.

Вокруг Шанца плотной кучкой стояли мальтийский кокни, Энди Фэй, Артур Дикон, Фрэнк Фицгиббон, Ричард Гиллер и Джон Хаки.

В группе союзников прежних вожakov были Коротышка, Соренсен, Ларс Якобсен и Ларри. Симпатии Чарльза Дэвиса явно склонялись к этой группе. Третью группу составляли Сендри Байерс, Нанси и грек Тони. Это была нейтральная группа. И наконец, не входя ни в одну из трех групп, стоял особняком Муллиган Джэкобс, должно быть, прислушиваясь к далеким отголоскам былых обид и уж, наверно, мучительно чувствуя, как раскаленные железные крюки впиваются ему в мозг.

— Что вы намерены с нами сделать, сэр? — обратился ко мне Исаак Шанц, бросая этим вызов трем висельникам, так как по этикету они должны были начать переговоры.

Берт Райн сердито обернулся на голос еврея, а сторонники еврея теснее сомкнулись вокруг него.



Мерфи занес нож над спиной итальянца. Кид Твист



продолжал угрожать револьвером группе еврея.

— Отправить вас в тюрьму, — ответил я сверху. — И к вам будет применено самое строгое наказание, насколько это зависит от меня.

— Зависит это от вас или нет — еще неизвестно, — дерзко оборвал меня Шанц.

— Замолчи, Шанц! — прикрикнул на него Берт Райн.

— А уж ты-то, мерзавец, получишь свое, если не от кого другого, так от меня, — окрылся Шанц.

Боюсь, что я напрасно гордился собой, воображая, что я стал человеком действия, ибо теперь я так заинтересовался развитием происходившей на палубе драмы, что совершенно упустил из виду, что эта драма может завершиться трагедией.

— Бомбини! — крикнул Берт Райн.

Голос звучал повелительно: хозяин приказывал своей собаке. Бомбини ответил тем, что выхватил нож и шагнул к еврею. Но из кучки окружавших Шанца послышался громкий ропот, — звериный, грозный ропот по звуку и по смыслу.

Бомбини остановился в нерешительности и оглянулся через плечо на своего жоака, хоть и не мог под повязками видеть его лицо и знал, что и тот не видит его;

— Это — хорошее дело, Бомбини, — вмешался Чарльз Дэвис. — Делай, что тебе велят.

— Не суйся с советами, Дэвис! — донесся из-за повязок голос Берта Райна.

Кид Твист вынул револьвер и наставил его дулом сперва на Бомбини, а потом на кучку сторонников Шанца.

Мне стало почти жаль итальянца, внезапно очутившегося между двух огней.

— Бомбини, заколи этого жида! — приказал Берт Райн.

Бомбини подвинулся еще на шаг, и вместе с ним подвинулись стоявшие по обе стороны жоака Кид Твист и Нози Мерфи.

— Я не вижу его, — сказал Берт Райн, — но, клянусь Богом, увижу!

И с этими словами он резким движением сдернул с головы повязки. Боль, которую при этом он должен был испытывать, была, надо думать, выше всякой меры. Тут я увидел его обезображенное лицо, но в моем английском языке нет слов, чтобы описать этот ужас.

Я слышал, как испуганно вскрикнула стоявшая позади меня Маргарет, и, оглянувшись, увидел, что она дрожит.

— Бомбини, говорят тебе, — коли его и каждого, кто вздумает за него заступаться, — повторил Берт Райн. — Мерфи, присмотри, чтобы Бомбини сделал свое дело.

Мерфи занес нож над спиной итальянца. Кид Твист продолжал угрожать револьвером группе еврея. И все трое подвигались вперед.

Тут только я наконец опомнился и перешел от созерцания к действию.

— Бомбини! — резко крикнул я.

Он остановился и взглянул на меня.

— Стой, где стоишь, пока я буду говорить, — приказал я ему. — Шанц! А ты смотри не промахнись. Райн — главарь на баке. Все вы должны слушаться его приказаний... пока мы не придем в Вальпараисо. Тогда вы все вместе посидите в тюрьме, а до тех пор слово Райна для вас должно быть свято. Помни это и не дури. Пока к нам на борт не явилась полиция, я — за Райна... Бомбини, сделай то, что тебе приказывает Райн. Я застрелю первого, кто вздумает тебе помешать... Дикон, отойди от Шанца. Иди к борту.

Все они знали, каким градом свинца может обсыпать их моя винтовка, — знал это и Артур Дикон. С секунду он колебался, но потом исполнил то, что я приказал.

— Фицгиббон! Гиллер! Хаки! — окликнул я по очереди еще троих. — Отойдите! — И все трое повиновались.

— Фэй!

Этого пришлось окликнуть два раза, прежде чем он отошел к борту. Исаак Шанц стоял теперь один, и Бомбини заметно осмелел.

— Шанц, а не находишь ли ты, что для тебя было бы полезнее перестать хорохориться и тоже отойти к борту? — сказал я ему.

Он не медлил ни секунды и последовал моему совету.

О, как сладок вкус власти! Я чуть было не увлекся моим литературным талантом: я был на волосок от того, чтобы прочесть лекцию этим негодяям, но, слава Богу, у меня хватило чувства меры, чтобы воздержаться.

— Райн! — позвал я.

Он поднял изуродованное лицо и замигал, сияясь взглянуть на меня.

— Пока Шанц будет слушаться вас, не трогайте его. Нам нужны рабочие руки, чтобы довести судно до места... Ах да, еще два слова о вас, о вашем лечении. Через полчаса пришлите ко мне Мерфи, — я выберу в нашей аптечке все лекарства от ожогов и дам ему для вас. Ну вот, теперь все. Ступайте на бак.

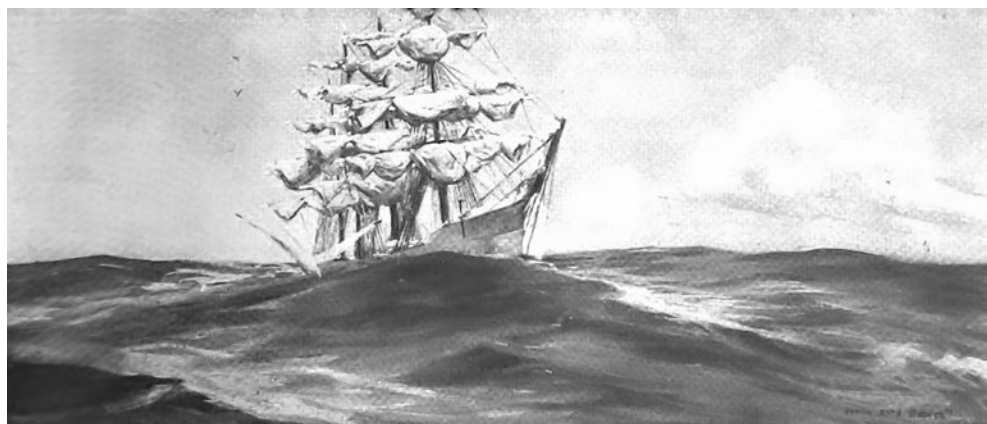
И все они поплелись на бак, понутив головы, побежденные.

— Но что такое с лицом этого человека? Что с ним случилось? — спросила меня Маргарет.

Скрывать дальше можно было, только прибегнув ко лжи, и я предпочел сказать ей правду. Я рассказал ей, как и почему старик-буфетчик, хорошо знавший белых людей и их нравы, облил Райна серной кислотой.

Мне больше почти нечего писать. Мятеж на «Эльсиноре» прекратился. Расколовшейся было на два лагеря командой опять управляют три висельника, которым так же не терпится доставить в порт своего вожака, как мне не терпится засадить их в тюрьму. Первый этап нашего путешествия подходит к концу. При нашей теперешней скорости мы через два дня — самое большое — придем в Вальпараисо. А оттуда, уже новым рейсом, «Эльсинора» направится в Сиегл.

Мне остается внести еще одну запись в этот необычайный шканечный журнал необычайного плавания, и тогда он будет закончен. Случилось это прошлой ночью. Я весь еще полон впечатлений этих счастливых минут, весь полон трепета и радостных ожиданий.



Так приятно было чувствовать, как «Эльсинора» под напором ветра несется на всех парусах, легко и плавно скользя по спокойному морю.

Мы с Маргарет вместе проводили последний час второй ночной вахты, стоя у края кормы. Так приятно было чувствовать, как «Эльсинора» под напором ветра несется на всех парусах, легко и плавно скользя по спокойному морю.

Скрытые темнотой, прижавшись друг к другу, мы говорили о нашей любви и строили планы на будущее. И я нисколько не стыжусь сознаться, что я стоял за то, чтобы венчаться не откладывая. Я говорил: как только придем в Вальпараисо, — посадим на «Эльсинору» новый состав команды и новых офицеров и отправим ее к месту ее назначения. А нас двоих пароходы и скорые поезда живо доставят домой. Ведь в Вальпараисо, как во всяком городе, есть церкви, и можно взять разрешение на брак, так что мы можем обвенчаться перед тем, как сядем на пароход.

Но Маргарет была непреклонна. Уэсты никогда не покидали своих судов, — говорила она. Они всегда приводили их в порт, на место их назначения, или вместе с ними опускались на дно. «Эльсинора», выходя из Балтимора в Сиэтл, была под командой Уэста, и теперь, выходя из Вальпараисо с новым составом команды и офицеров, она должна прийти в Сиэтл с одной из Уэстов на борту.

— Но подумай, моя дорогая, ведь это плавание займет еще несколько месяцев, — возражал я. — Вспомни, что сказал Генлей: «Каждый поцелуй отнимает у нас частицу нашей жизни».

Она прижалась своими губами к моим.

— А мы все-таки будем целоваться, — сказала она.

Но я, дурак, не понял.

— Ах, эти скучные, скучные месяцы, — жалобно затынул я.

Она засмеялась своим журчащим смехом.

— Глупый, глупый ты мальчик! Неужели ты не понимаешь?..

— Я понимаю только, что от Вальпараисо до Сиэтла тысячи миль.

— Нет, ты не хочешь понять.

— Да, я дурак, — согласился я. — Я знаю одно: мне нужна ты, мне нужна ты!

— Ты милый, и я тебя очень люблю, но ты ужасно глуп. — И, говоря это, она взяла мою руку и приложила ее ладонью к своей щеке. — Ну, говори, что ты чувствуешь ?

— Горячую, очень горячую щеку.

— Это оттого, что я краснею за твою недогадливость, благодаря которой мне приходится сказать все самой, — пояснила она. — Ты ведь сам только что сказал, что в Вальпараисо можно добыть разрешение на брак. Ну, и... и...

— Ты хочешь сказать?.. — пролепетал я, не смея верить.

— Вот именно, — подтвердила она.

— Так наш медовый месяц мы проведем на «Эльсиноре», в пути из Вальпараисо в Сие́та? — воскликнул я, не помня себя от радости.

— Ах, эти скучные, скучные месяцы! Ах, эти тысячи миль! — затанула она, передразнивая меня, но я поцелуями заставил ее умолкнуть.



МОРСКОЙ ВОЛК

ГЛАВА I

Не знаю, как и с чего начать. Иногда, в шутку, обвиняю во всем случившемся Чарли Фэрасета. В долине Милл, под сенью горы Тамальпай, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. А летом он предпочитал выпариваться в пыльной духоте города, надрываясь от работы.

Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро январского понедельника не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско.

И не потому это произошло, что я сел на плохое судно; нет, «Мартинес» был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я как сухопутный житель мало знал.

Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе, у лоцманской рубки¹, и как туман захватил мое воображение своей таинственностью.

Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле, впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана, в стеклянном домике над моей головой.

Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшем ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. «Хорошо, что люди разделяются по специальностям», — думал я в полудремоте. Познания лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном — например, на анализе вопроса: какое место занимает писатель Эдгар По в американской литературе? Кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик».

¹

Каюта на верхней палубе.

Когда, садясь на пароход, я проходил через каюту, с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда: специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саусалито в Сан-Франциско, знакомиться с моими специальными познаниями о писателе По.

Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления, и я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи под названием: «Необходимость свободы. Слово в защиту художника».

Краснолицый человек бросил взгляд на будку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая, взад и вперед по палубе (у него были, по-видимому, искусственные конечности) и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море.

— Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени, — сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке.

— А я не думал, что тут требуется особое напряжение, — ответил я, — кажется, дело просто, как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно, как математика.

— Направление! — возразил он. — Просто, как дважды два; точно, как математика! — Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор.

— А что вы думаете насчет этого течения, которое мчитесь теперь через Золотые Ворота? Знакома ли вам сила отлива? — спросил он. — Поглядите, как быстро относит шхуну. Слышите, как звонит буй¹, а мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс.

Из тумана неся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивал штурвал². Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов.

— Это, должно быть, пассажирский, — сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа. — А там, слышите? Это говорят в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны. Да, я так и думал! Эй вы, на шхуне! Глядите в оба! Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них.

Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом.

— А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись, — продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились.

Его лицо сияло и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен.

¹ Поплавок из дерева, железа или меди сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.

² Колесо с ручками для вращения румпеля - рычага, поворачивающего руль.

— А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Это паровая шхуна, насколько я могу судить, ползет против течения.

Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на «Мартинесе». Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли и потом начались вновь. Вывизгивающий свисток, как чириканье сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее.

Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение.

— Это один из дьявольски отчаянных баркасов, — сказал он. — Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От таких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост и в гриву. Отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтоб его сторонились. Сам-то не может уберечь себя. А вы должны смотреть в оба. Уйди с дороги! Это самое элементарное приличие. А они этого как раз и не знают.

Меня развеселил его непонятный гнев, и, пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он действительно был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны, — туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, пронеслись через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны, слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в беспечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну.

— Алло! Кто-то пересекает нам путь, — говорил он. — Вы слышите? Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще не слышит нас. Относит ветром.

Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас.

— Пассажирский? — спросил я.

Он кивнул и добавил:

— Не очень-то хочется ему щелкнуться! — Он насмешливо хмыкнул. — И у нас закопошились.

Я взглянул вверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности.

Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собой с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиа-

фана¹. Я увидел лоцманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар.

Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал:

— Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело!

Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений.

— Ухватитесь за что-нибудь и повисните, — обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием.

— Прислушайтесь, как закричат женщины, — продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие.

Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего: чужой пароход исчез из круга моего зрения. «Мартинес» круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Я был отброшен навзничь на мокрую палубу и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неописуемые, леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.

Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор.

Зубчатые края дыры, образовавшейся в боку каюты, сквозь которую вертящимися клубами врвался серый туман; опустевшие мягкие сиденья, на которых валялись доказательства внезапного бегства: пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки; полный господин, читавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность; краснолицый пассажир, храбро ковыляющий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходящих мимо, и, наконец, бедлам воющих от отчаяния женщин.

¹ Левиафан — в древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.

Вопль женщин больше всего действовал мне на нервы. То же, по-видимому, угнетало и краснолицего пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричит, как хор погибших душ; и краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками, поднятыми над головой, точно он собирался бросать громовые стрелы, кричит:

— Замолчите! Перестаньте же, наконец!

Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой; эти женщины, полные страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки, как мать, как сестры.

И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили.

Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я почувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам, стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались. Все было в неисправности. Удалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь; перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастья, не было видно: я слышал, как говорили, что он, во всяком случае, должен выслать за нами свои лодки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же, в воде, умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня, и я, с целым потоком других тел, бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю, хотя и понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня был вкус соли, и что-то сжимало мне горло и грудь.

Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня; многие шли ко дну. Я слышал, как они зывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой

пароход все-таки спустил свои шлюпки. Время шло, и я изумлялся тому, что я все еще жив. В нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него.

Мелкие волны со злобно пенившимися гребешками перекачивались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний, полный отчаяния вопль толпы вдали: теперь я знал, что «Мартинес» пошел ко дну. Позже — насколько позже, не знаю — я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе, объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве, и такой страх я теперь испытывал. Куда несло меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через Золотые Ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл? Разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делают иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мной овладело безумие: я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками.

Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывал из тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса, один над другим, туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него, с безумной решимостью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и безжизненны. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз.

Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоящего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время как он медленно поворачивал голову и смотрел поверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд — так смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе.

Но в этом взгляде были для меня жизнь и смерть. Я видел, что корабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону, видел, как его взгляд

упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью, и я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально вгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая какую-то команду. Мне показалось, что судно изменило направление, скрываясь в тумане.

Я чувствовал, что теряю сознание, и попытался напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться темному забытию, обволакивавшему меня. Немного спустя я расслышал удары весел по воде, раздававшиеся ближе и ближе, и чьи-то восклицания. А потом совсем близко я услышал, как кто-то закричал: «Да какого же черта вы не откликаетесь?» Я понял, что это относится ко мне, но забытие и мрак поглотили меня.

ГЛАВА II

Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звезды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне, — я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух, так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задышался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем-гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыкала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздражающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже.

— Ну, ладно, Ионссон, — сказал один из мужчин. — Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена?

Человек, которого называли Ионссоном, мужчина тяжелого скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший

с ним был, очевидно, истым лондонцем, настоящим «кокни», с миловидными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов церкви Bow¹. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание.

— Как вы чувствуете себя, сэр, теперь? — спросил он с ищательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай.

Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Ионссона попытался встать на ноги. Громыканье и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни, — должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы, — я прошел мимо ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик.

Повар ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку.

— Вот, сэр, — сказал он, — это будет вам на пользу.

В кружке была тошнотворная смесь — корабельный кофе, — но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточившую грудь, затем обратился к скандинаву:

— Спасибо вам, мистер Ионссон, — сказал я, — но не находите ли вы, что ваши меры были несколько героичны?

Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твердых мозолях. Я провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость.

— Мое имя Джонсон, а не Ионссон, — сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором, английском языке, с еле слышным акцентом.

В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светились прямодушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу.

— Благодарю вас, мистер Джонсон, — поправился я и протянул руку для пожатия.

Он поколебался, неловкий и застенчивый, переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку.

— Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть? — обратился я к повару.

— Найдется, — ответил он с веселой живостью. — Сейчас я сбегая вниз и пороюсь в своем приданом, если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи.

¹ Старинная церковь *St. Mary-Bow*, или просто *Bow-church*, в центральной части Лондона — Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют «*cospney*».

Он выскочил из двери кухни или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью: он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны.

— Где я? — спросил я Джонсона, которого правильно счел за матроса. — Что это за судно, и куда оно идет?

— Мы отошли от Фараллонских островов, идем приблизительно на юго-запад, — ответил он медленно и методически, как будто нащупывая выражения на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов. — Шхуна «Призрак» идет за котиками в сторону Японии.

— А кто капитан? Я должен повидаться с ним, как только переоденусь.

Джонсон смутился и принял озабоченный вид. Он не решился отвечать до тех пор, пока не справился со своим словарем и не составил в уме полного ответа.

— Капитан — Волк Ларсен, так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но вы разговаривайте с ним поласковее. Не в себе он сегодня. Его помощник...

Но он не окончил. В кухню, точно на коньках, скользнул повар.

— Не убраться ли тебе отсюда поскорее, Ионссон, — сказал он. — Пожалуйста, хватит тебя на палубе старик. Не стоит его злить сегодня.

Джонсон послушно направился к двери, подбодрив меня за спиной повара забавно торжественным и несколько зловещим подмигиванием, как бы подчеркивая свое прерванное замечание о том, что мне необходимо вести себя помягче с капитаном.

На руке у повара висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом.

— Платье уложили мокрым, сэр, — удостоил он объяснить. — Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашей одежды на огне.

Опираясь на деревянную облицовку, то и дело оступаясь от корабельной качки, я при помощи повара надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту тело мое съежилось и заняло от колючего прикосновения. Повар заметил мои невольные подергивания и гримасы и ухмыльнулся.

— Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди; такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь.

С самого начала он мне не понравился, и, пока он помогал мне одеваться, моя антипатия к нему росла. В его прикосновении было что-то отталкивающее. Я ежился под его руками, мое тело возмущалось. И поэтому, а в особенности из-за запахов от различных горшков, которые кипели и булькали на плите, я спешил как можно скорее выбраться на свежий воздух. К тому же нужно было повидаться с капитаном, чтобы обсудить с ним, каким образом высадиться мне на берег.

Дешевая бумажная рубашка с драным воротом и выцветшей грудью и с чем-то еще, что я принял за старые следы крови, была надета на меня среди непрекращавшегося ни на одну минуту потока извинений и объяснений. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на десять короче другой. Укороченная штанина заставляла думать, будто дьявол пробовал цапнуть через нее душу повара и поймал тень вместо сущности.

— Кого я должен благодарить за эту любезность? — спросил я, напялив на себя все эти лохмотья. На моей голове красовалась крохотная мальчишеская шапочка, а вместо пиджака была грязная полосатая куртка, оканчивавшаяся выше пояса, с рукавами до локтей.

Повар почтительно выпрямился с искательной улыбкой. Я мог бы поклясться, что он ожидал получить от меня на чай. Впоследствии я убедился, что поза эта бессознательная: то была унаследованная от предков угодливость.

— Магридж, сэр, — расшаркался он, и его женственные черты расплылись в масляной улыбке. — Томас Магридж, сэр, к вашим услугам.

— Хорошо, Томас, — продолжал я, — когда высохнет моя одежда, я вас не забуду.

Мягкий свет разлился по его лицу, и глаза заблестели, точно где-то в глубине его предки шевельнули в нем смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежние существования.

— Благодарю вас, сэр, — сказал он почтительно.

Дверь распахнулась бесшумно, он ловко скользнул в сторону, — и я вышел на палубу.

Я все еще чувствовал слабость после продолжительного купания. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Сильно накреньясь, шхуна то опускалась, то поднималась на длинной тихоокеанской волне. Если шхуна шла, как сказал Джонсон, на юго-запад, то ветер дул, по-моему, с юга. Туман исчез, и появилось солнце, сверкавшее на волнующейся поверхности моря. Я поглядел на восток, где, как я знал, находилась Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко лежащих пластов тумана, того самого тумана, который, без сомнения, был причиной крушения «Мартинеса» и ввергнул меня в мое теперешнее состояние. К северу, не очень далеко от нас, возвышалась над морем группа голых скал; на одной из них я заметил маяк. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна.

Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Моей первой мыслью было, что человек, перенесший крушение и плечом к плечу коснувшийся смерти, заслуживает больше внимания, чем мне оказали здесь. Кроме матроса у рулевого колеса, с любопытством оглядывавшего меня через крышу каюты, никто не обратил на меня никакого внимания.

Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Он был одет, но рубашка его была разорвана спереди. Однако кожи его не было видно: грудь была почти сплошь покрыта массой черных волос, похожих на мех собаки. Его лицо и шея были скрыты под черной с проседью бородой, которая, вероятно, казалась бы жесткой и окладистой, если бы не была испачкана чем-то клейким и если бы с нее не стекала вода. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания; рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась, точно ей не хватало воздуха; дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени, методически, точно совершая самое привычное дело, опускал на веревке брезентовое ведро в океан, вытаскивал, перехватывая веревку руками, и выливал воду на лежавшего без движения человека.

Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, тот самый человек, случайный взор которого спас меня из морской глубины. Рост его был, видимо, пять футов десять дюймов или на полдюйма больше, но он поражал не ростом, а той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Хотя у него были широкие плечи и высокая грудь, но я не назвал бы его массивным: в нем чувствовалась сила закаленных мускулов и нервов, какую мы склонны приписывать обычно людям сухим и худощавым; а в нем эта сила, благодаря его тяжелому сложению, напоминала что-то вроде силы гориллы. И в то же время по внешности он несколько не походил на гориллу. Я хочу сказать, что сила его была чем-то вне его физических особенностей. Это была сила, которую мы приписываем древним, упрощенным временам, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни; это — вольная, свирепая сила, могучая квинтэссенция жизни, первобытная мощь, рождающая движение, та первичная сущность, которая лепит формы жизни, — короче, та живучесть, которая заставляет тело змеи извиваться, когда ее голова отрезана и змея мертва, или которая томится в неуклюжем теле черепахи, заставляя его подскакивать и дрожать от легкого прикосновения пальца.

Такую силу чувствовал я в этом ходившем взад и вперед человеке. Он крепко стоял на ногах, его ступни уверенно ступали по палубе; каждое движение его мускулов, что бы он ни делал, — пожимал ли плечами или плотно сжимал губы, державшие сигару, — было решительным и, казалось, рождалось из чрезмерной и бьющей через край энергии. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и быть страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури.

Повар высунул голову из кухонных дверей, ободряюще ухмыльнулся и указал мне пальцем на человека, ходившего взад и вперед по палубе. Мне дано было понять, что это и был капитан, или, на языке повара, «старик», именно то лицо, которое мне нужно было потревожить просьбой высадить меня на бе-

рег. Я уже шагнул вперед, чтобы покончить с тем, что, по моим предположениям, должно было вызвать бурю минут на пять, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Подбородок с мокрой черной бородой еще больше выпятился кверху, спина изгибалась, а грудь вздувалась в инстинктивном усилии захватить как можно больше воздуха. Кожа под его бородой и на всем теле — я знал это, хотя и не видел — принимала багровый оттенок.

Капитан, или Волк Ларсен, как называли его окружающие, перестал ходить и посмотрел на умиравшего. Эта последняя схватка жизни со смертью была такой жестокой, что матрос прервал обливание водой и с любопытством уставился на умиравшего, в то время как брезентовое ведро наполовину съезжилось и вода выливалась из него на палубу. Умирающий, выбив на люке зорю своими каблуками, вытянул ноги и застыл в последнем великом напряжении; только голова еще двигалась из стороны в сторону. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди. Челюсть отвисла, верхняя губа поднялась и обнажила два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, что черты его лица застыли в дьявольской усмешке над миром, оставленным и одуроченным им.

После этого произошла удивительная вещь. Капитан разразился над мертвецом как взрыв грома. Проклятия потоком полились из его уст. И это не были обычные ругательства или неприличные выражения. Каждое слово было кощунством, и таких слов было немало. Они переплетались и трещали как электрические искры. Я никогда не слышал ничего похожего и даже не представлял себе, что могут существовать такие выражения. Так как я был литератор и питал большое пристрастие к ярким образам и сочным выражениям, я мог оценить, как ни один другой слушатель, своеобразную силу, живость и богохульство его метафор. Насколько я мог понять, причиной его гнева было то, что покойник, который был на корабле помощником капитана, устроил на берегу дебош перед самым отходом из Сан-Франциско и потом проявил дурной вкус, скончавшись в самом начале плавания и оставив Ларсена без ближайшего сотрудника.

Бесполезно добавлять, особенно для моих друзей, что я был всем этим очень шокирован. Проклятия и гадкая брань были мне всегда противны. Я почувствовал слабость, головокружение и тошноту. Смерть была для меня связана с торжественностью; она представлялась мне тихой и кроткой в своем процессе и священной по своим обрядам. Но смерть в ее отталкивающем и ужасном виде была для меня явлением, с которым я до тех пор не был знаком. Оценив всю силу выражений, которые вылетали из уст Волка Ларсена, я был в то же время невыразимо шокирован. Палящий поток брани мог воспламенить даже труп. Я не удивился бы, если бы черная борода вдруг зашевелилась и вспыхнула дымом и пламенем. Но мертвец был невозмутим. Он ухмылялся с сардоническим¹ юмором, с цинической издевкой и вызовом. Он был хозяином положения.

¹ Сардонический — желчный, злой, язвительный.

ГЛАВА III

Волк Ларсен так же внезапно прекратил свою брань, как и начал. Он снова зажег сигару и огляделся вокруг. Его глаза случайно остановились на поваре.

— Ну-с, повар? — начал он с мягкостью, которая была холодна как сталь.

— Есть, сэр, — преувеличенно живо ответил повар с успокаивающей и заискивающей услужливостью.

— Не кажется ли тебе, что ты не особенно удобно вытягиваешь шею? Это вредно для здоровья, я слышал. Штурман умер, и мне не хотелось бы потерять и тебя. Тебе нужно, дружок, очень-очень беречь свое здоровье. Понял?

Последнее слово в разящем контрасте с ровным тоном всей речи хлестнуло, как удар кнута. Повар съежился под ним.

— Есть, сэр, — кротко пролепетал он, и его шея, вызвавшая раздражение, исчезла вместе с головой в кухне.

После внезапной головоломки, полученной поваром, остальная команда перестала интересоваться происходившим и погрузилась в ту или другую работу. Однако несколько человек, которые расположились между кухней и люком и которые, казалось, не были матросами, продолжали между собой разговор в пониженном тоне. Как я потом узнал, это были охотники, считавшие себя несравненно выше простых матросов.

— Иогансен! — крикнул Волк Ларсен.

Один матрос послушно выступил вперед.

— Возьми иголку и зашей этого бродягу. Ты найдешь старую парусину в ящике для парусов. Приладь ее.

— А что привязать ему к ногам, сэр? — спросил матрос.

— Ну, там увидим, — ответил Волк Ларсен и возвысил голос: — Эй, повар!

Томас Магридж выскочил из кухни, как чертик из табакерки.

— Спустись вниз и насыпь мешок угля. А что, ребята, не найдется ли у кого-нибудь из вас Библии или молитвенника? — было следующим вопросом капитана, на этот раз обращенным к охотникам.

Они отрицательно мотнули головами, а один из них сделал какое-то насмешливое замечание, — я не расслышал его, — вызвавшее общий смех.

Волк Ларсен обратился с тем же вопросом к матросам. По-видимому, Библия и молитвенники были здесь редким явлением, хотя один из матросов вызвался спросить нижнюю вахту и вернулся через минуту с сообщением, что и там этих книг не оказалось.

Капитан пожал плечами.

— Тогда мы попросту перекинем его через борт без всякой болтовни, если только наш поповского вида туняец не знает наизусть похоронной службы на море.

И, повернувшись ко мне, он поглядел мне прямо в глаза.

— Вы пастор? Да? — спросил он.

Охотники, их было шестеро, все как один повернулись и стали на меня смотреть. Я мучительно сознавал, что был похож на пугало. Моя наружность вызвала хохот. Хохотали, нисколько не стесняясь присутствия мертвого тела, вытянувшегося перед нами на палубе с саркастической улыбкой. Хохот был резким, жестоким и откровенным, как и само море. Он исходил от натур с грубыми и притупленными чувствами, не знавших ни мягкости, ни учтивости.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах и зажглась слабым огоньком усмешка. Я стоял как раз перед ним и получил первое общее впечатление от него самого, независимо от того потока кошунств, который я только что услышал. Квадратное лицо с крупными, но правильными чертами и строгими линиями, казалось на первый взгляд массивным; но так же, как и от его тела, впечатление массивности вскоре исчезло; рождалась уверенность, что за всем этим лежала в глубине его существа огромная и чрезвычайная духовная сила. Челюсть, подбородок и брови, густые и тяжело нависшие над глазами, — все это сильное и могучее само по себе, — казалось, изобличало в нем необыкновенную мощь духа, которая лежала по ту сторону его физической природы, скрытая от взоров наблюдателя. Нельзя было измерить этот дух, определить его границы или точно классифицировать его и положить на какую-нибудь полочку, рядом с другими, подобными ему типами.

Глаза — а мне судьба предназначила хорошо их изучить — были велики и красивы, они были широко расставлены, как у изваяния, и прикрывались тяжелыми веками под арками густых черных бровей. Цвет глаз был тот обманчивый серый, который никогда не бывает дважды одним и тем же, у которого столько теней и оттенков, как у муара на солнечном свете: он бывает то просто серым, то темным, то светлым и зеленовато-серым, а иногда с оттенком чистой лазури глубокого моря. Это были глаза, которые прятали его душу в тысячах переодеваний и которые только иногда, в редкие минуты, открывались и позволяли заглянуть внутрь, как в мир изумительных приключений. Это были глаза, которые могли скрывать безнадежную мрачность осеннего неба; метать искры и сверкать, как шпага в руках воина; быть холодными, как полярный пейзаж, и сейчас же вновь смягчаться и зажигаться горячим блеском или любовным огнем, который очаровывает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться в блаженном упоении самопожертвования.

Но вернемся к рассказу. Я ему ответил, что я, как это ни печально для похоронного обряда, не был пастором, и он тогда резко спросил:

— Чем же вы живете?

Признаюсь, что мне никогда не задавали такого вопроса, и я никогда не размышлял над ним. Я был ошеломлен и, прежде чем успел прийти в себя, глупо пробормотал:

— Я... я — джентльмен.

Его губы покривились в быстрой усмешке.

— Я работал, я работаю! — закричал я запальчиво, как будто он был моим судьей и мне нужно было перед ним оправдываться; в то же время я сознавал, как глупо с моей стороны обсуждать этот вопрос в такой обстановке.

— Чем вы живете?

В нем было что-то настолько властное и повелительное, что я совсем растерялся, «нарвался на выговор», — как определил бы это состояние Фэрасет, — точно дрожащий ученик перед строгим учителем.

— Кто вас кормит? — был его следующий вопрос.

— У меня есть доходы, — ответил я надменно, и в то же мгновение готов был откусить себе язык. — Все эти вопросы, простите мне мое замечание, не имеют никакого отношения к тому, о чем я хотел бы с вами поговорить.

Но он не обратил внимания на мой протест.

— Кто заработал ваш доход? А? Не вы сами? Я так и думал. Ваш отец. Вы стоите на ногах мертвеца. Вы никогда не стояли на своих собственных ногах. Вы не сможете пробыть один от восхода до восхода солнца и добыть пищу для своего брюха, чтобы набить его три раза в день. Покажите-ка вашу руку!

Дремавшая страшная сила, видимо, шевельнулась в нем, и, раньше чем я успел сообразить, он шагнул вперед, взял мою правую руку и поднял ее, рассматривая. Я попробовал отнять ее, но его пальцы сжались без видимого усилия, и я почувствовал, что мои пальцы будут сейчас разможены. Было трудно сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах. Я не мог барахтаться или бороться, как школьник. Точно так же я не мог сделать нападение на существо, которому было достаточно тряхнуть мне руку, чтобы сломать ее. Пришлось стоять смирно и принять покорно обиду. Я все же успел заметить, что у мертвеца на палубе были обшарены карманы и что его вместе с его улыбкой обернули в парусину, которую матрос Йогансен зашивал толстой белой ниткой, протыкая иголку сквозь парусину с помощью кожаного приспособления, надетого на ладонь.

Волк Ларсен выпустил мою руку с презрительным жестом.

— Руки мертвецов сделали ее мягкой. Ни на что не годна, кроме посуды и работы на кухне.

— Я хочу, чтобы меня спустили на берег, — сказал я твердо, овладев собой.

— Я вам заплачу, во что вы оцените задержку в пути и хлопоты.

Он с любопытством смотрел на меня. Насмешка светилась в его глазах.

— А у меня есть встречное предложение для вас, и это для вашей же пользы, — ответил он. — Мой помощник умер, и у нас будет много перемещений. Один из матросов займет место штурмана, каютный юнга займет место матроса, а вы займете место юнга. Вы подпишете условие на один рейс и будете получать двадцать долларов в месяц на всем готовом. Ну, что вы скажете? Заметьте — это для вашего блага. Это сделает из вас кое-что. Вы научитесь, может быть, стоять на собственных ногах и даже, пожалуй, немного ковылять на них.

Я молчал. Паруса корабля, который я увидел на юго-западе, делались виднее и отчетливее. Они принадлежали такой же шхуне, как и «Призрак», хотя корпус судна — я заметил — был немного меньше. Красивая шхуна, скользящая по волнам к нам навстречу, очевидно, должна была пройти около нас. Ветер внезапно усилился, и солнце, сердито блеснув два-три раза, исчезло. Море

сделалось мрачным, свинцово-серым и стало бросать к небу зашумевшие пенящиеся гребни. Наша шхуна ускорила ход и сильно накренилась. Один раз набежал такой ветер, что борт погрузился в море, и палуба была мгновенно залита водой, так что два охотника, сидевшие на скамье, должны были быстро поднять ноги.

— Это судно скоро пройдет мимо нас, — сказал я после небольшой паузы. — Так как оно идет в противоположном нам направлении, то можно предполагать, что оно направляется в Сан-Франциско.

— Очень вероятно, — ответил Волк Ларсен и, отвернувшись, крикнул: — Повар!

Повар тотчас же высунулся из кухни.

— Где этот малый? Скажи ему, что он мне нужен.

— Есть, сэр! — И Томас Магридж быстро исчез у другого люка вблизи рулевого колеса.

Спустя минуту он выскочил обратно в сопровождении тяжеловатого юноши, лет восемнадцати-девятнадцати, с красным и злобным лицом.

— Вот и он, сэр, — доложил повар.

Но Волк Ларсен не обратил на него внимания и, повернувшись к каютному юнге, спросил:

— Как тебя зовут?

— Джордж Лич, сэр, — последовал угрюмый ответ, и по лицу юнги было видно, что он уже знал, почему его позвали.

— Не очень-то ирландское имя, — отрезал капитан. — О'Тул, или Мак-Карти лучше подошли бы к твоему рылу. Впрочем, вероятно, у твоей матери был какой-нибудь ирландец с левой стороны.

Я видел, как кулаки парня сжались при оскорблении и как побагровела его шея.

— Но пусть будет так, — продолжал Волк Ларсен. — У тебя могут быть основательные причины, чтобы желать забыть свое имя, и ты понравишься мне от этого не меньше, если только выдержишь свою марку. «Телеграфная Гора», этот жульнический притон, — конечно, порт твоего отправления. Это написано на всей твоей пакостной физиономии. Я знаю вашу упрямую породу. Ну-с, ты должен сообразить, что здесь ты свое упрямство должен бросить. Понял? Кстати, кто сдал тебя на службу на шхуну?

— Мак-Криди и Свенсон.

— Сэр! — прогремел Волк Ларсен.

— Мак-Криди и Свенсон, сэр, — поправился парень, и в глазах у него вспыхнул злой огонек.

— Кто получил задаток?

— Они, сэр.

— Ну разумеется! И ты, конечно, был чертовски рад, что дешево отделался. Ты позаботился поскорее удрать, потому что слышал от некоторых джентльменов, что тебя кто-то разыскивает.

В одно мгновение парень преобразился в дикаря. Его тело скорчилось как бы для прыжка, лицо исказилось яростью.

— Это... — закричал он.

— Что это? — спросил Волк Ларсен с особой мягкостью в голосе, как будто его чрезвычайно интересовало услышать невыговоренное слово.

Парень поколебался и овладел собой.

— Ничего, сэр, — ответил он. — Я беру свои слова назад.

— Ты доказал мне, что я был прав. — Это было сказано с удовлетворенной улыбкой. — Сколько тебе лет?

— Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

— Ложь! Тебе никогда не увидать снова восемнадцати лет. Такой громадный для своего возраста, и мускулы как у лошади. Сверни свои пожитки и отправляйся на бак¹. Ты теперь лодочный гребец. Повышение. Понял?

Не дожидаясь согласия юноши, капитан повернулся к матросу, который только что закончил свою жуткую работу — зашивание мертвеца.

— Иогансен, ты что-нибудь смыслишь в навигации?

— Нет, сэр.

— Ну, не беда, все равно ты назначаешься штурманом. Перенеси свои вещи на койку штурмана.

— Есть, сэр, — последовал веселый ответ, и Иогансен со всех ног бросился на нос.

Но каютный юнга не двигался с места.

— Чего же ты ждешь? — спросил Волк Ларсен.

— Я не подписывал контракта на лодочного гребца, сэр, — был ответ. — Я заключил договор на каютного юнга и не хочу служить гребцом.

— Свертывайся и марш на бак.

На этот раз команда Волка Ларсена звучала властно и грозно. Парень ответил угрюмым, гневным взглядом и не двигался с места.

Тут снова Волк Ларсен показал свою страшную силу. Это было совершенно неожиданно и продолжалось не более двух секунд. Он сделал прыжок в шесть футов через палубу и ударил парня кулаком в живот. В то же мгновение я почувствовал болезненный толчок в области желудка, как будто ударили меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать чувствительность моей нервной системы в то время и подчеркнуть, как непривычно было для меня проявление грубости. Юнга, а он весил не меньше ста шестидесяти пяти фунтов, скорчился. Его тело свернулось над кулаком капитана, как мокрая тряпка на палке. Затем он подскочил в воздух, описал короткую кривую и упал около трупа, ударившись головой и плечами о палубу. Он остался лежать там, корчась почти в агонии.

— Ну-с, — обратился ко мне Волк Ларсен. — Вы обдумали?

Я поглядывал на приближавшуюся шхуну: она теперь шла наперерез нам и была на расстоянии каких-нибудь двухсот ярдов. Это было чистенькое, изящ-

¹ Верхняя палуба от бушприта до фок-мачты (*т. е. от носа корабля до первой мачты*)

ное суденышко. Я заметил большой черный номер на одном из его парусов. Судно походило на виденные мною раньше изображения лоцманских судов.

— Что это за судно? — спросил я.

— Лоцманское судно «Леди Майн», — ответил Волк Ларсен. — Доставило своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. С этим ветром оно будет там через пять или шесть часов.

— Пожалуйста, сигнализируйте, чтобы оно доставило меня на берег.

— Очень сожалею, но я уронил за борт сигнальную книгу, — ответил он, и в группе охотников раздался смех.

Секунду я колебался, глядя ему в глаза. Я видел ужасную расправу с юнгой и знал, что и я, вероятно, могу получить то же, если не хуже. Как я уже сказал, я колебался, но затем я сделал то, что считаю наиболее храбрым поступком во всей моей жизни. Я подбежал к борту, размахивая руками, и закричал:

— «Леди Майн»! А-о! Возьмите меня с собой на берег! Тысячу долларов, если доставите на берег!

Я ждал, глядя на двух людей, стоявших у рулевого колеса; один из них правил, другой в это время приставлял к губам мегафон¹. Я не оборачивался, хотя и ожидал каждую минуту смертельного удара со стороны человека-зверя, стоявшего позади меня. Наконец, после паузы, показавшейся мне вечностью, будучи не в силах выдерживать дольше напряжение, я оглянулся. Ларсен оставался на прежнем месте. Он стоял все в той же позе, слегка покачиваясь в такт судну и закуривая новую сигару.

— В чем дело? Какая-нибудь беда? — раздался крик с «Леди Майн».

— Да! — закричал я изо всех сил. — Жизнь или смерть! Тысячу долларов, если доставите меня на берег!

— Слишком много выпили во Фриско²! — закричал вслед за мной Волк Ларсен. — Вот этому, — он показал на меня пальцем, — мерещатся морские звери и обезьяны!

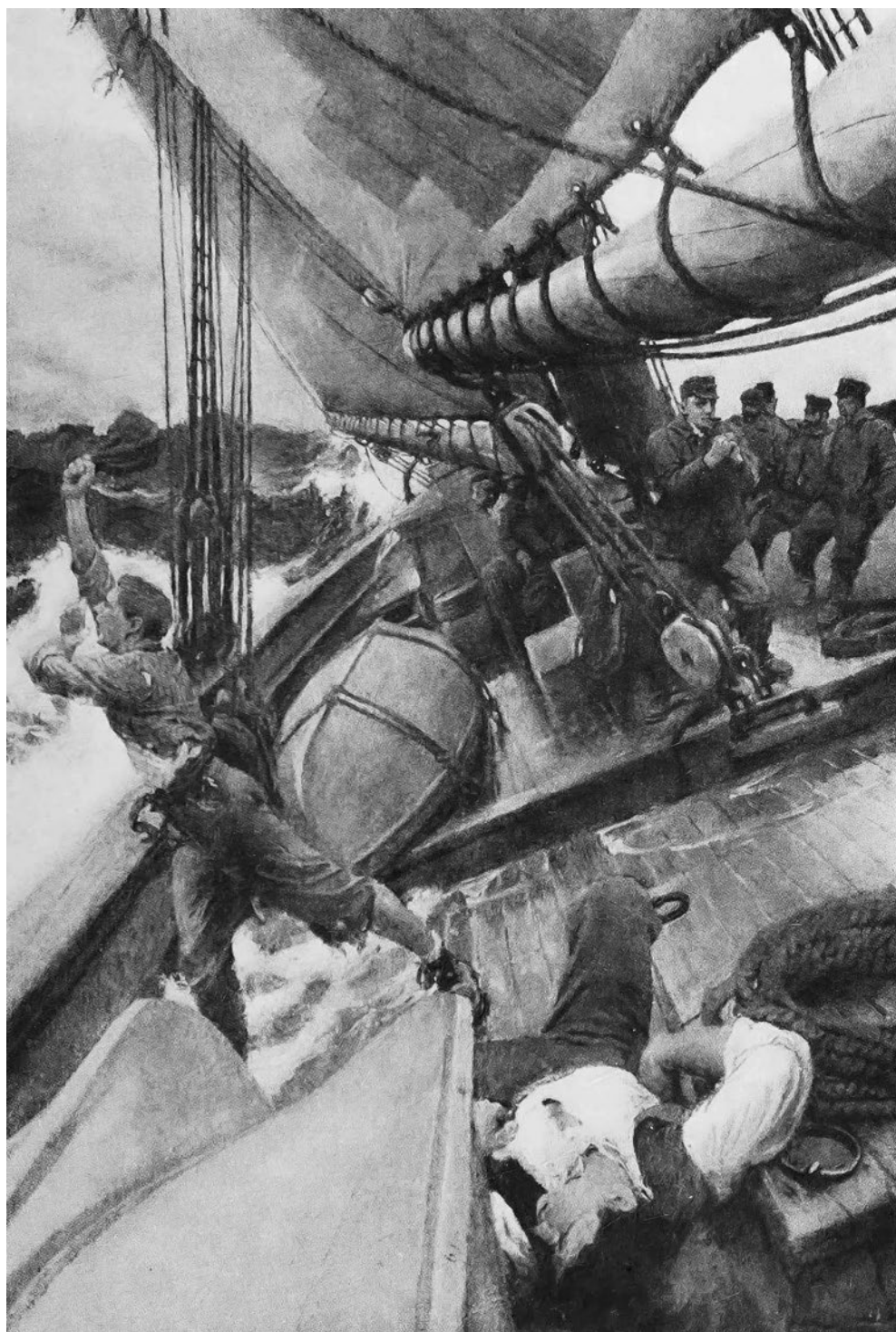
Человек с «Леди Майн» расхохотался в мегафон. Лоцманское судно промчалось мимо.

— Пошлите его от моего имени к черту! — донесся последний крик, и оба матроса замахали руками на прощание.

В отчаянии я перегнулся через борт, глядя, как между хорошенькой шхуной и нами быстро увеличивалось темное пространство океана. И это судно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов. Моя голова, казалось, готова была лопнуть. Больно сжалось горло, точно к нему поднялось сердце. Пенящаяся волна ударила о борт и обдала мои губы соленой влагой. Ветер рванул сильнее, и «Призрак», сильно накренившись, коснулся воды левым бортом. Я слышал шипение волн, захлестывавших палубу. Минуту спустя я обернулся и увидел, как юнга поднимался на ноги. Его лицо было страшно бледно и подергивалось от боли.

¹ Мегафон — усовершенствованный рупор.

² Фриско — сокращенное название города Сан-Франциско.



— Возьмите меня с собой на берег! Тысячу долларов, если доставите на берег!

— Ну, Лич, идешь на бак? — спросил Волк Ларсен.

— Да, сэр, — слышался покорный ответ.

— Ну, а вы? — обратился он ко мне.

— Я предлагаю вам тысячу... — начал было я, но он меня перебил:

— Довольно! Намерены ли вы приняться за ваши обязанности каютного юнги? Или мне и вас придется вразумить?

Что мне оставалось делать? Быть жестоко избитым, может быть, даже убитым, — я не хотел погибать так нелепо. Я с твердостью посмотрел в жестокие серые глаза. Казалось, они были из гранита, так мало было в них света и тепла, свойственного человеческой душе. В большинстве человеческих глаз можно видеть отражение души, но его глаза были мрачны, холодны и серы, как само море.

— Ну?

— Да, — сказал я.

— Скажите: да, сэр!

— Да, сэр, — поправился я.

— Ваше имя?

— Ван-Вейден, сэр.

— Не фамилия, а имя.

— Хэмфри, сэр, Хэмфри Ван-Вейден.

— Возраст?

— Тридцать пять лет, сэр.

— Ладно. Идите к повару и учитесь у него своим обязанностям.

Так сделался я подневольным рабом Волка Ларсена. Он был сильнее меня, вот и все. Но это казалось мне удивительно нереальным. Даже и теперь, когда я оглядываюсь назад, все пережитое кажется мне совершенно фантастичным. И всегда будет представляться чудовищным, непонятым, ужасным кошмаром.

— Подождите! Не уходите пока!

Я послушно остановился, не дойдя до кухни.

— Иогансен, зови всех наверх. Теперь все уладилось, возьмемся за похороны, нужно очистить палубу от излишнего мусора.

Пока Иогансен созывал команду, два матроса, по указаниям капитана, положили зашитое в парусину тело на крышку люка. С обеих сторон палубы были вдоль бортов прикреплены вверх дном небольшие лодки. Несколько человек подняли крышку люка с ее ужасной ношей, перенесли ее на подветренную сторону и положили на лодки, ногами к морю. К ногам привязали мешок с углем, принесенный поваром. Я всегда представлял себе похороны на море как торжественное и внушающее благоговение зрелище, но эти похороны меня разочаровали. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал веселые истории, щедро уснащенные проклятиями и непристойностями, и среди охотников поминутно раздавались взрывы смеха, звучавшие для меня как вой волков или лай адских псов. Матросы шумной толпой собрались на палубе, перебрасываясь грубыми

замечаниями; многие из них спали перед тем и теперь протирали сонные глаза. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена; нельзя было не заметить, что они побаиваются его.

Волк Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов — их было двадцать, а включая рулевого и меня — двадцать два. Мое любопытство было понятно: судьба, по-видимому, связывала меня с ними в этом миниатюрном плавучем мирке на недели, а может быть, и на месяцы. Большинство матросов были англичане или скандинавы, и лица их казались угрюмыми и тупыми.

У охотников, наоборот, были более интересные и живые лица, с яркой печатью порочных страстей. Но странно — на физиономии Волка Ларсена не было отпечатка порока. Правда, черты его лица были резки, решительны и тверды, но выражение лица было открытое и искреннее, и это подчеркивалось еще тем, что он был гладко выбрит. Я с трудом поверил бы — если бы не недавний случай, — что это лицо того человека, который мог поступать так возмутительно, как он поступил с юнгой.

Лишь только он открыл рот и хотел заговорить, порывы ветра один за другим налетели на шхуну и накренили ее. Ветер запел в снастях свою дикую песнь. Некоторые из охотников тревожно поглядели наверх. Подветренный борт, где лежал покойник, накренился, и когда шхуна поднялась и выпрямилась, вода помчалась по палубе, заливая нам ноги выше сапог. Внезапно пошел проливной дождь, и каждая его капля била нас так, точно это был град. Когда дождь прекратился, Волк Ларсен стал говорить, а люди с обнаженными головами закачались в такт с подъемами и опусканиями палубы.

— Я помню только одну часть похоронного обряда, — сказал он, — а именно: «И тело должно быть сброшено в море». Итак, бросайте его.

Он смолк. Люди, державшие крышку от люка, казались смущенными, озадаченными краткостью обряда. Тогда он яростно заревел:

— Поднимайте же с этой стороны, будьте вы прокляты! Какой черт вас держит?!

Поспешно подняли испуганные матросы край крышки, и, как собака, перекинутая через борт, мертвец, ногами вперед, скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.

— Иогансен! — резко крикнул Волк Ларсен своему новому штурману. — Задержи всех людей наверху, раз они уже здесь. Убрать марсея и сделать это как следует! Мы входим в зюйд-ост. Возьмите рифы на кливере и гроте¹ и не зевайте, если принялись за работу!

¹ Марсея — средние (считая по вертикали) паруса на первой и второй мачтах (фок-и-грот-мачта). Кливер — косой парус перед фок-мачтой (первой от носа корабля). Рифы берутся у парусов для уменьшения площади прямых парусов, захватывая часть парусов короткими веревками — риф-сезнями. Взятие рифов — очень трудный маневр.

В один миг вся палуба пришла в движение. Иогансен заревел, как бык, отдавая приказание, люди стали травить канаты, и все это, конечно, было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Мертвец был уже прошедшим эпизодом. Его сбросили, зашитого в парусину, а судно шло вперед, работа на нем не прекращалась, и никого это событие не затронуло. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх; Волк Ларсен изучал сумрачное небо и направление ветра... А человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже.

Таковы были жестокость моря, его безжалостность и неумолимость, обрушившиеся на меня. Жизнь стала дешевой и бессмысленной, скотской и бессвязной, бездушным погружением в грязь и тину. Я держался за перила и смотрел через пустыню пенящихся волн на ставший туман, скрывавший от меня Сан-Франциско и калифорнийский берег. Дождевые шквалы налетали между мной и туманом, и я едва видел стену тумана. А это странное судно, со своей страшной командой, то взлетая на вершины волн, то проваливаясь в бездну, уходило все дальше на юго-запад, в пустынные и широкие просторы Тихого океана.

ГЛАВА IV

Все, что происходило со мной в следующие дни на промысловой шхуне «Призрак» в то время, как я пытался освоиться с новой обстановкой, было непрерывным унижением и страданием. Повар, которого команда звала «доктором», охотники — «Томми», а Волк Ларсен — «поваришкой», совершенно изменился. Перемена моего положения соответственно переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался, теперь он сделался властным и требовательным. В самом деле, я был для него уже не изящным джентльменом с тонкой, «как у леди», кожей, а обыкновенным и очень бесстолковым юнгой.

Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистером Магриджем», и его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. Кроме работы в кают-компании с ее четырьмя маленькими отделениями-спальнями, на меня возлагалась обязанность помогать повару по кухне, и мое полное невежество в таких вещах, как чистка картофеля или мытье салых кастрюль, было неиссякаемым источником для его саркастического изумления. Он отказывался принимать во внимание, кем я был или, скорее, какова была раньше моя жизнь и какая обстановка была мне привычной. Это пренебрежение входило как необходимая часть в его обращение со мной, и, признаюсь, что прежде, чем окончился день, я возненавидел его так, как никогда еще никого не ненавидел в своей жизни.

Первый день моей службы был для меня особенно труден еще и оттого, что «Призрак» должен был «при тройных рифах» (я значительно позже ознакомился с подобными терминами) бороться с тем, что мистер Магридж называл «воющим зюйд-остом»¹. По указаниям Магриджа я в половине пятого накрыл стол в каюте, расставил на местах особую посуду, употребляющуюся во время бурной погоды, и начал подавать снизу из кухни чай и горячую пищу. В связи с этим я не могу не рассказать о своем первом знакомстве с бурным морем.

— Глади в оба, а то искупаешься, — было напутствие мистера Магриджа, когда я вышел в первый раз из кухни, держа в одной руке большой чайник, а другой прижимал к себе несколько кусков свежееиспеченного хлеба. Один из охотников, высокий, ловкий парень по имени Гендерсон, как раз в это время шел по палубе к капитанской рубке. Волк Ларсен стоял на корме, со своей вечной сигарой во рту.

— Вот она катится! Смотри! — прокричал повар.

Я остановился, недоумевая, что именно катится, и увидел, как дверь в кухню с треском захлопнулась. Гендерсон как сумасшедший подпрыгнул, чтобы ухватиться за веревочную лестницу, и стал быстро взбираться по ней, пока, наконец, не оказался на несколько футов выше моей головы. Затем я увидел большую волну, которая пенилась и загибалась высоко над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг не мог быстро работать, так как все было для меня слишком ново и страшно. Я чувствовал, что мне грозит опасность, но не знал, что делать. В ужасе я оцепенел. Тогда Волк Ларсен закричал с кормы:

— Хватайтесь за что-нибудь! Эй, вы! Сутулый!

Но было поздно. Я подскочил к вантам, за которые мог бы ухватиться, если б на меня не обрушилась вдруг водяная стена. Что случилось потом, припоминаю очень смутно. Я был под водой и чувствовал, что задыхаюсь и тону. Меня что-то сбilo с ног, меня крутило, бросало, переворачивало и несло неизвестно куда. Несколько раз натыкался я на твердые предметы и вдруг сильно ударился обо что-то правым коленом. Потом вода начала спадать, и я мог снова дышать живительным воздухом. Как оказалось, меня отбросило сначала к двери кухни, потом понесло вокруг каюты и по всей подветренной стороне. Ушибленное колено болело невыносимо. Мне казалось, что я не могу сделать и шагу. Я был уверен, что нога сломана. Но повар уже кричал на меня из двери кухни:

— Эй, вы! Не всю же ночь вам возиться! Где чайник? За бортом? Черт вас поberi, лучше бы вы сами сломали себе шею!

Я с трудом поднялся на ноги. Большой чайник был у меня в руках. Я проковылял до кухни и передал его повару.

Но тот не переставал ругаться, охваченный негодованием, подлинным или деланным, трудно сказать.

— Будь я проклят, если вы не последняя слякоть! Ну, годитесь ли вы на что-нибудь, желал бы я знать? А? Даже чай не смог пронести как следует. Те-

¹ Зюйд-ост — юго-восток, и ветер этого направления.

перь мне опять придется кипятить! И чего вы сопите? — разразился он в новом припадке ярости. — Ушибли бедную ножку?! Эх вы, маменькин любимчик!

Я не сопел, но лицо мое, вероятно, кривилось от боли. Я собрал всю свою решимость, стиснул зубы и заковылял от кухни до каюты и обратно без дальнейших злоключений. Мое несчастье принесло мне разбитую коленную чашку (мне не удалось даже как следует перевязать ее, и я страдал от этого ушиба долгие месяцы) и прозвище Сутулый, которым наградил меня с кормы Волк Ларсен. С тех пор я стал известен под этой кличкой, и она настолько прочно отождествилась с моей личностью, что я и сам думал о себе как о Сутулом, как будто я всегда носил это прозвище.

Прислуживать в кают-компании за столом, где обедали Волк Ларсен, Иогансен и шестеро охотников, было нелегким делом. Каюта была тесна, и двигаться по ней было особенно трудно при сильной качке, которая не прекращалась. Но больше всего поражало меня полное равнодушие тех людей, которым я прислуживал. Колено у меня все более и более распухало. От боли я был близок к обмороку. Время от времени передо мной мелькало в зеркале мое лицо, бледное и страшное, искаженное болью. Вероятно, все видели, в каком я состоянии, но ни один не проронил ни слова. Поэтому я был почти благодарен Волку Ларсену, когда он, несколько позже (я мыл посуду), сказал мимоходом:

— Не поддавайтесь такому пустяку. Это вам пойдет на пользу. Может быть, вас немного и скрючит, но вы научитесь ходить. У вас это называется парадоксом¹, не так ли? — добавил он.

Он, по-видимому, был доволен, когда я кивнул и сказал обычное: «Да, сэр!»

— Вы, кажется, понимаете кое-что в литературе? Ладно. Когда-нибудь поговорим с вами об этом.

И затем, не обращая на меня больше внимания, он повернулся и вышел на палубу.

В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать на бак, к охотникам, где я занял свободную койку. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне повара и дать, наконец, отдых ногам. К моему удивлению, платье уже высохло на мне, и я не чувствовал признаков простуды ни от моей последней ванны, ни от продолжительного пребывания в воде при гибели «Мартинеса». При обычных обстоятельствах, после всего, что я пережил, я, конечно, был бы уложен в постель, и за мной ухаживала бы сиделка.

Но колено меня очень беспокоило. Как мне казалось, надколенная чашка сместилась под опухолью. Когда я, сидя на своей койке, рассматривал больное колено (все шесть охотников были тут же, курили и громко разговаривали), Гендерсон, проходя мимо, бросил взгляд на опухоль.

¹ Парадокс - мнение, расходящееся с общепринятым, остроумная мысль, поражающая своей необычностью.

— Скверный вид, — сказал он, — обмотайте потуже тряпкой, может быть, и пройдет.

Вот и все. А на суше я был бы заботливо уложен в кровать, и хирург лечил бы меня и давал строгие приказания не двигаться и спокойно лежать. Но надо отдать справедливость этим людям. Равнодушные к моим страданиям, они были так же равнодушны и к своим собственным. Это происходило, я думаю, во-первых, от привычки, а во-вторых, от притупленной чувствительности. Я убежден, что человек с тонкой нервной организацией страдал бы вдвое или втрое больше, чем они, от одинакового ранения. Несмотря на всю мою усталость и измученность, я не мог заснуть от боли в колене. С трудом я крепился, чтобы не стонать громко. Дома я, конечно, не удержался бы от стонов, но эта новая грубости́хийная обстановка, казалось, призывала меня к суровой сдержанности.

Как у дикарей, поведение этих людей было стоическим при крупных событиях и детским в пустяках. Мне пришлось видеть в дальнейшем плавании, как один из охотников, Керфут, раздробил себе палец; у него при этом не вырвалось ни звука, и даже выражение лица не изменилось. И тот же Керфут — я видел это не раз — приходил в бешенство из-за малейшего пустяка.

Это происходило и теперь: он кричал, рычал, размахивал руками и ругался как дьявол, и все из-за спора с другим охотником о том, как учился детеныш тюленя плавать. Он утверждал, что новорожденный тюлень умеет плавать с того самого момента, как появляется на свет. Другой охотник, Латимер, худой, похожий на янки парень, с хитрыми узкими глазами, утверждал, что тюлень от того и родится на суше, что не умеет плавать и что мать учит своих детенышей плавать подобно тому, как птица учит своих птенцов летать.

Остальные четверо охотников сидели, облокотившись на стол, или лежали на своих койках, следя с интересом за развитием спора между двумя противниками и время от времени поддерживая ту или другую сторону.

Иногда они начинали говорить все сразу, так что их голоса гулко раздавались в каюте, подобно бутафорским ударам грома в закрытом помещении. Тема спора была совсем детская; аргументация их была еще более детской и несерьезной. В сущности, доводов не было совсем. Методом спора было утверждение, предположение или же голословное опровержение. Они доказывали умение или неумение новорожденного тюленя плавать, просто высказывая свое мнение с воинственным видом и сопровождая его насмешками над здравым смыслом, национальностью и прошлым своего противника. Я рассказываю это с целью показать умственный уровень тех людей, с которыми мне пришлось войти в общение. Интеллектуально — это были дети, у которых были тела взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в каюте был тяжелым и темным от дыма. Этот дым вместе с отчаянной качкой боровшегося с бурей судна, конечно, довели бы меня до морской болезни, если бы я был подвержен ей. Однако спазм отвращения перехватил мне дыхание, вызванный, вероятно, сильной болью в ноге и усталостью.

Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Хэмфри Ван-Вейден, ученый и любитель, с вашего разрешения, искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящейся на котиков! Каютный юнга! Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Я жил спокойно, безмятежно, без особых событий, жизнью ученого и затворника, имея для этого достаточные средства. Жизнь приключений и спорт никогда меня не привлекали. Я оставался книжным червем, как называли меня в детстве отец и сестры.

Единственный раз я принял участие в пешеходной экскурсии, но сбежал в самом начале и поспешил вернуться к удобствам и уюту домашнего крова. И вот я здесь, и передо мной мрачная бесконечная перспектива накрывания столов, чистки картофеля, мытья посуды. А я не был крепким! Врачи, положим, говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но я никогда не развивал упражнениями своего тела. Мои мускулы были слабы и вялы, как у женщины, так, по крайней мере, утверждали доктора при неоднократных попытках убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять голову, а не мускулы, — и вот я очутился здесь, совершенно неприспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни.

Отмечаю немного из того, что я передумал тогда, чтобы заранее оправдать себя за ту слабую и беспомощную роль, которую мне суждено было играть. Но я думал также и о моей матери и сестрах и представлял себе их горе. Я, разумеется, числился среди погибших при катастрофе, в списке «неразысканных тел». Я представлял себе заголовки газет; я видел моих приятелей в университетском клубе, говоривших при упоминании обо мне: «Бедняга». И я мысленно рисовал себе Чарли Фэрасета, когда я прощался с ним в то памятное утро и он полулежал в халате на кушетке у окна, рассыпая свои двусмысленные и пессимистические эпиграммы.

А пока я думал, шхуна «Призрак» прокладывала себе путь дальше и дальше, в самое сердце Тихого океана, качаясь, содрогаясь, взбираясь на движущиеся горы и падая в пенящиеся бездны, — и я был на ней. Я слышал вой ветра наверху. Он доносился до меня глухим ревом. Время от времени слышалось топанье ног по палубе. Кругом все скрипело; деревянная облицовка и перегородки стонали, визжали и жаловались на тысячу разных голосов. Охотники все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные; в воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Зверские черты становились еще резче от тусклого желтого света морских ламп, которые качались взад и вперед вместе с судном. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Кожаная промасленная одежда и морские сапоги висели на стенах, а на полках лежали ружья и винтовки. Все это напоминало снаряжение пиратов и морских разбойников давно прошедших лет. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да! Это была долгая-долгая ночь — томительная, тяжкая, бесконечно длинная.

ГЛАВА V

Моя первая ночь в каюте с охотниками была и последней. На следующий день Иогансен, новый штурман, был изгнан Волком Ларсеном из своей каюты и переселен в каюту к охотникам, а я поместился в крохотной каютке, в которой за первый же день путешествия перебивало уже два жильца. Охотники скоро узнали о причине выселения штурмана, и это вызвало с их стороны сильный ропот. Оказалось, что Иогансен переживал каждую ночь во сне все происшествия истекшего дня. Волку Ларсену надоело выслушивать его непрерывную сонную болтовню, вопли, выкрикивания приказаний, и он свалил эту неприязнь на охотников.

После бессонной ночи я поднялся совершенно обессиленный и разбитый, чтобы проковылять мой второй день на «Призраке». В половине шестого Томас Магридж разбудил меня грубее, чем Билл Сайкс¹ будил свою собаку, но жестокость Магриджа по отношению ко мне была ему возмещена сторицей. Ненужный шум, поднятый им, чтобы разбудить меня, — я всю ночь не смыкал глаз, — разбудил кого-то из охотников: тяжелый башмак пролетел в полумраке, и мистер Магридж, застонав от боли, был вынужден извиниться перед всеми. Несколько позже, на кухне, я увидел, что его ухо в крови и сильно распухло. Надо прибавить, что оно не вернулось больше к своему первоначальному виду и впоследствии получило от матросов название «капустный лист».

День был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал в это утро, — сбросил с себя вещи повара. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи (а у меня на это хорошая память), в нем было в момент крушения сто восемьдесят пять долларов золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло. Я заявил об этом повару тотчас же, как поднялся на палубу и приступил к исполнению своих обязанностей на кухне. Хотя я и ждал от него грубого ответа, однако не был подготовлен к той заносчивой речи, с которой он на меня накинулся.

— Слушай-ка, Сутулый, — начал он со зловещим огоньком в глазах и с хриплой злобой в голосе, — ты, верно, желаешь, чтобы тебе разбили нос? Если ты воображаешь, что я вор, то лучше побереги это про себя, а то увидишь, как ты чертовски ошибался. Чтoб я ослеп на этом самом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности! Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе на кухню, ухаживаю за тобой. И вот твоя плата! Иди к черту, у меня чешутся руки показать тебе дорогу.

При этих словах он сжал кулак и стал на меня наступать. К моему стыду, я старался увильнуть от удара и выбежал из кухни. Что мне было делать? Сила, грубая сила властвовала на этом зверском судне. Мораль была здесь неизвест-

¹ Билл Сайкс — грубый, жестокий вор — один из персонажей романа Диккенса «Оливер Твист».

на. Вообразите, в самом деле: человек среднего роста, нежного сложения, с неразвитыми, слабыми мускулами, который всегда жил тихой и мирной жизнью и не привык ни к какому проявлению насилия, и что было делать такому человеку? Ведь стать лицом к этим зверям в образе людей — все равно что вступить в бой с разъяренным быком.

Так я рассуждал в то время, чувствуя потребность в самооправдании и желая примириться со своей совестью. Но такого рода оправдание не удовлетворило меня. И до сего дня, вспоминая прошлое, я испытываю некоторый стыд и не могу быть вполне удовлетворенным своим тогдашним поведением. По существу, положение исключало рациональные поступки и требовало чего-то большего, нежели холодные доводы рассудка. С точки зрения формальной логики нет ни одного поступка, которого мне пришлось бы стыдиться; однако, как только я начинаю припоминать, мне каждый раз становится стыдно: моя мужская гордость в чем-то была унижена и оскорблена.

Но оставим запоздалые сожаления. Быстрота, с которой я выбежал из кухни, вызвала в моем колене страшную боль, и я беспомощно опустился на выступ юта¹, повар не преследовал меня.

— Смотрите, как он улепetyвает! — кричал он издали. — Смотрите! А еще охромел! Иди назад, бедный маменькин сынок, не бойся. Не трону я тебя, не бойся!

Я вернулся и принялся за прерванную работу. На этом весь эпизод — правда, на время — и закончился. Дальнейшее развитие событий еще должно было последовать. Я накрыл в каюте стол для завтрака и в семь часов стал прислуживать охотникам и Волку Ларсену. Буря, видимо, стихла за ночь, хотя тяжелые волны все еще вздымались и дул свежий ветер. Утренняя вахта уже поставила паруса, и «Призрак» неся по волнам при полной оснастке, кроме двух марселей и кливера. Как я понял из разговора, и эти три паруса надлежало поставить немедленно после завтрака. Я также узнал, что Волк Ларсен намерен использовать этот ветер, который гнал его на юго-запад, именно в ту часть океана, где он надеялся застать северо-восточный пассат². Он рассчитывал под этим пассатом пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем к тропикам и, наконец, снова подняться к северу, когда мы приблизимся к берегам Азии.

После завтрака у меня был еще один незавидный опыт. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в каюте золу и вынес ее на палубу, чтобы выкинуть за борт. Волк Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у руля. Управлял рулем матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, я заметил, что он сделал неожиданное для меня движение головой, которое я ошибочно принял за утреннее приветствие. На самом же деле он хотел

¹ Ют — верхняя палуба от бизань-мачты до кормы корабля (*бизань-мачта* — третья мачта от носа).

² Пассаты — ветры, дующие между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-востока, в Южном — с юго-востока, отделяясь друг от друга безветренной полосой.

предупредить меня, чтобы я не бросал золу против ветра. Не сознавая своего промаха, я прошел мимо Волка Ларсена и выбросил золу через борт. Ветер моментально подхватил ее, отнес обратно на шхуну и не только обдал ею всего меня, но обсыпал также Гендерсона и Волка Ларсена. В одно мгновение Волк Ларсен дал мне жестокий пинок, словно дворняжке. Я не воображал, что пинком можно причинить такую боль. Я отскочил и прислонился к каюте в полуобморочном состоянии. Все поплыло перед глазами, и меня затошнило. Я едва дотащился до борта. Волк Ларсен за мной не последовал. Смахнув золу с куртки, он как ни в чем не бывало возобновил разговор с Гендерсоном. Увидев со своего мостика, что произошло, Иогансен послал двух матросов подмести палубу.

В то же самое утро, несколько позже, я натолкнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению повара я прошел в каюту Волка Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. На стене, у изголовья койки, висела полка с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел таких авторов, как Шекспир, Теннисон, Эдгар По и Де Квинси. Были и научные сочинения, и среди них труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Я заметил «Сказочный век» Булфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу и «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах. Было здесь несколько грамматик Меткалфа, Гида и Келлога, и я не мог не улыбнуться, увидев «Английский язык для священника».

Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену, и я усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Браунинга кембриджского издания, очевидно, Ларсен читал его перед сном. Книга была открыта на стихах «На балконе», и некоторые места были подчеркнуты карандашом. В книгу был вложен листок бумаги, испещренный геометрическими чертежами и выкладками.

Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было бы предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Та или другая сторона его личности в отдельности была совершенно понятна, но, взятые вместе, они положительно ошеломили. Я уже и раньше заметил, что он говорил превосходным языком, лишь с незначительными случайными неточностями. В грубом разговоре с матросами и охотниками он, разумеется, часто уснащал свою речь ошибками, свойственными морскому жаргону, но в тех немногих словах, которыми он обменялся со мной, его произношение было точным и ясным.

Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решил заговорить с ним о моих пропавших деньгах.

— Меня обокрали, — обратился я к нему немного погодя, когда он в одиночестве разгуливал по палубе.

— Сэр, — сказал он не резко, но сурово.

— Меня обокрали, сэр, — поправился я.

— Как это случилось? — спросил он.

Я рассказал всю историю: как я оставил платье в кухне для просушки и как потом я чуть не был избит поваром за то, что позволил себе указать ему на пропажу. Ларсен улыбнулся, выслушав меня.

— Стадил, — заключил он, — стадил поваришка. А разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? Как вы думаете? К тому же смотрите на это как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги. До сих пор этим занимался, вероятно, ваш поверенный или нотариус.

Я почувствовал в его словах спокойную насмешку, но все же спросил:

— Как же мне получить деньги обратно?

— Ну, это уж ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса, рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него. Человечек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних! Вы соблазнили поваришку, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?

Он медленно поднял веки, и мне показалось, что раскрылась глубина и я гляжу в его душу. Но это было иллюзией. Ни одному человеку не удалось глубоко заглянуть в душу Волка Ларсена. В этом я был совершенно убежден. Его душа всегда была одинокой, — мне суждено было узнать это, — она никогда не снимала маски, хотя в редкие минуты и играла в откровенность.

— Я читаю бессмертие в ваших глазах, — ответил я, опуская «сэра» в виде опыта, так как подумал, что некоторая интимность разговора должна была это позволить. Он не обратил на это внимания.

— Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.

— Я вижу больше, чем это, — продолжал я смело.

— Значит, вы имеете в виду сознание. Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни.

Как он ясно думал и как ясно выражал свои мысли! Он отвернулся от меня и стал смотреть на свинцовое море. Что-то мрачное мелькнуло в его глазах, и линии рта сделались резкими и суровыми. Он, видимо, был в пессимистическом настроении.

— Но какая цель? — спросил он отрывисто, повернувшись ко мне. — Если я бессмертен, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как я мог вложить в свою речь что-то неопределимое, что-то похожее на музыку, которую мы слышим во сне, что-то такое, что убеждало, но что не улавливалось словами?

— Во что же вы верите тогда? — в свою очередь спросил я.

— Я верю в то, что жизнь — борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться, сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому

посчастливилось, те съедают больше и двигаются дальше, вот и все. А какого вы мнения об этом?

Нетерпеливым жестом он указал на группу матросов, которые что-то делали с веревками на палубе.

— Они двигаются, но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть и благодаря этому продолжать двигаться. Вот вам и все. Они живут для желудка, а желудок существует для их движения. Это заколдованный круг — выбраться некуда. Они и не выбирают. В конце концов наступает остановка. Они больше не двигаются. Они мертвы.

— У них бывают мечты, — прервал я, — красивые, радостные сны.

— О жратве, — закончил он решительно.

— Не только...

— Только о жратве. Побольше бы разжечь аппетит и поудачнее бы удовлетворить его. — Голос его звучал резко. В нем не было и тени шутки. — Смотрите, они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег, мечтают о том, что они сделаются командирами на судах, что они найдут клады, — одним словом, мечтают, как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних, спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их, и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто делал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы. Вы никогда ничего в поте лица своего не делали. Вы жили на средства, заработанные вашим отцом. Вы похожи на птицу-фрегат, бросающуюся на бакланов и отнимающую у них рыбу, которую они наловили для себя. Вы частица той группы людей, которая избрала так называемое правительство, чтобы захватить власть над всеми другими людьми, чтобы есть пищу, которую добывают другие и которую они хотели бы есть сами. Вы носите теплую одежду. Ее сделали для вас другие, но сами они дрожат от холода, едва прикрытые лохмотьями, и просят вас или вашего управляющего о работе.

— Но это к делу не относится! — воскликнул я.

— Относится. — Он говорил быстро, и глаза его блеснули. — Это свинство, и это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Какая конечная цель? Вы не добывали пищи. Однако та пища, которую вы съели или испортили, могла бы спасти жизнь многих несчастных, которые произвели эту пищу, но не ели ее. Какой же вечной цели вы служили? Или они? Подумайте о себе и обо мне. К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмерт-

ны, каков смысл в этом? Быть свиньями, как мы с вами были всю нашу жизнь, как будто не совсем подходящая вещь для бессмертных. Ну, в чем же смысл? Почему я держу вас здесь?

— Потому что вы сильнее, — брякнул я.

— Но почему сильнее? — продолжал он свои настойчивые вопросы. — Потому что во мне больше дрожей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?

— Но как все это безнадежно! — запротестовал я.

— Я с вами согласен, — ответил он. — Если жить значит только двигаться, то зачем двигаться? Если бы мы не двигались и не составляли части этих дрожей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть — мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет, и только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться, в желании жить и двигаться. Если бы этого закона не было, то жизнь была бы мертва. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Ха-ха! Вечность свинства!

Он вдруг повернулся на каблуках и отошел от меня. Остановившись у мостика на корме, он подозвал меня.

— Кстати, — спросил он, — сколько утащил у вас поваришка?

— Сто восемьдесят пять долларов, сэр, — ответил я.

Он кивнул. Минутой позже, спускаясь по трапу накрывать стол, я слышал, как он громко ругал кого-то на палубе.

ГЛАВА VI

На следующее утро буря стихла, и «Призрак» слегка покачивался на спокойной глади, при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и Волк Ларсен стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат.

Команда была вся на палубе, приготавливая лодки к сезонной охоте. Всего было семь лодок — капитанский баркас и шесть промысловых. Команда каждой состояла из трех человек: охотника, гребца и рулевого. Из этих же гребцов и рулевых состояла команда шхуны. Впрочем, и охотники могли стоять на вахте, находясь всегда в распоряжении капитана.

Все это и многое другое узнавал я постепенно. «Призрак» считался самой быстроходной шхуной среди парусных судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой и построена с расчетом на особую скорость. Ее размеры и оснастка — хотя я и не смыслю в таких вещах — говорят сами за себя. Во время вчерашней дневной вахты Джонсон кое-что порассказал мне о ней. Он говорил с энтузиазмом, с такой же любовью к великолепному судну, какую некоторые люди проявляют к лошадям. Но во всем остальном он был разоча-

рован, и дал мне понять, что Волк Ларсен среди капитанов пользовался очень сомнительной репутацией. Джонсона привлекла сама шхуна «Призрак», и он записался в ее команду, а теперь начинал уже раскаиваться.

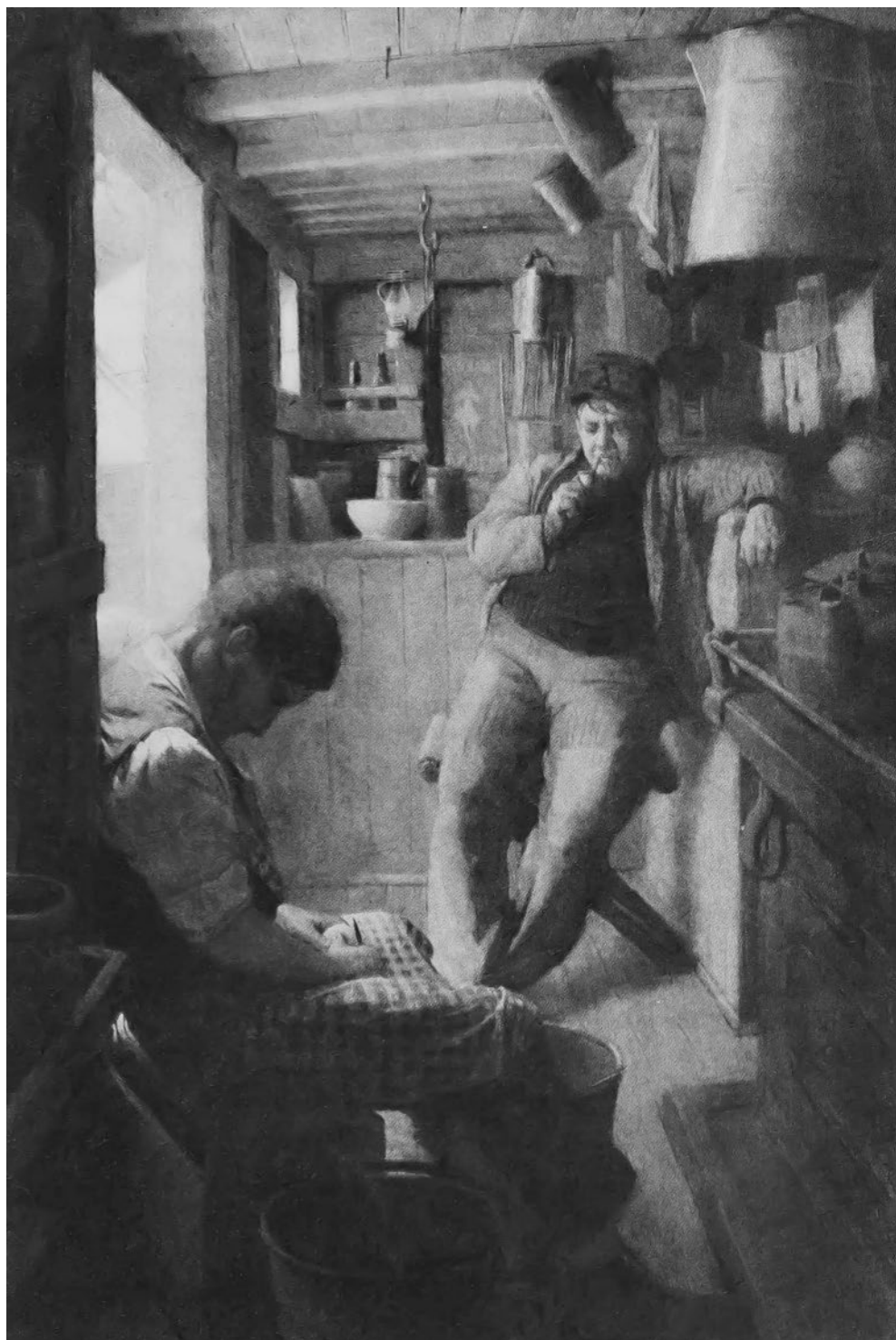
От него я узнал, что «Призрак» — восьмидесятитонная шхуна чрезвычайно изящной конструкции. Ее ширина двадцать три фута, а длина немногим больше девяноста. Свинцовый киль сказочной, неслыханной тяжести делает ее очень устойчивой, позволяя нести огромное количество парусов. От палубы до вымпела грот-мачты несколько больше ста футов, в то время как бизань-мачта со своей стеньгой на восемь или десять футов ниже. Я привожу эти данные для того, чтобы можно было себе представить размеры нашего маленького мирка, вмещавшего в себе команду из двадцати двух человек. Это был действительно очень маленький мирок, точка или атом среди безбрежного моря, и я часто изумлялся, как люди смели выходить в море на таких утлых и ничтожных скорлупках.

Волк Ларсен был известен еще и тем, что беззаботно играл парусами. Я подслушал, как об этом разговаривали Гендерсон и другой охотник, по имени Стэндиш, калифорниец. Два года назад во льдах Берингова моря бурей сорвало с «Призрака» все три мачты; теперешние мачты, поставленные после катастрофы, были более прочные и тяжелые. Говорили, что, ставя их, Ларсен хвалился, что скорее перевернет шхуну, чем потеряет новые мачты.

По-видимому, все здесь, кроме Иогансена, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться в том, что согласились поступить на «Призрак». Половина команды — моряки дальнего плавания, и они уверяли, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане Ларсене. А те, кто знал, сообщали шепотом, что наши охотники, хотя и отличные стрелки, были до такой степени известны своим задорным характером и жульничеством, что не смогли бы подписать контракта ни с какой другой приличной шхуной.

Я познакомился еще с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда повар спал, а я чистил свой вечный картофель, Луис зашел поболтать в кухню. В оправдание своей службы на «Призраке» он говорил, что был пьян, когда подписывал контракт. В трезвом виде он ни за что на свете не сделал бы этого. По-видимому, он уже много сезонов подряд бил котиков и в течение двенадцати лет числился среди тех двух-трех гребцов, лучше которых нет во всей флотилии Сан-Франциско и Виктории.

— Ах, дружище, — говорил он, зловеще покачивая головой, — это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать, и притом вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков — это просто рай. У нас первым скапнулся штурман, но запомните мои слова: к концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом, — Волк Ларсен суший дьявол, а «Призрак»



— Ах, дружище, — это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать.

покажет себя чертовой посудинкой, какой он всегда и был с тех пор, как Ларсен стал командовать им. Разве я не знаю этого? Знаю, и даже очень хорошо. Разве я не помню, как два года назад, в Хакодате¹, у него на шхуне случилась драка и он застрелил четырех матросов! Разве я не был тогда на «Эмме» всего в каких-нибудь трехстах ярдах² от него! И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, он убил его наповал. Его голова разлетелась как яичная скорлупа. А разве не было такого случая, когда губернатор острова Куры и начальник полиции — два японских джентльмена — явились на «Призрак» в гости, да притом еще и с женами — маленькими такими бабеночками, каких рисуют на японских веерах! Разве не вышло так, что когда Ларсен отплывал, то любящие мужья оказались вдруг высаженными в свои джонки³ по какому-то странному недоразумению, а их бедные маленькие жены через неделю оказались вдруг на противоположном берегу острова, и им не оставалось ничего другого, как идти домой через горы пешком, в своих крошечных соломенных сандалиях, которые сейчас же с них и свалились! Разве я всего этого не знаю? Он-то и есть настоящий зверь. Волк Ларсен — это тот самый Великий Зверь из Апокалипсиса. И, поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечка вам не шепнул ни о чем, потому что старый, жирный парнюга Луис желает выскочить из этого плаванья живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.

— Волк Ларсен! — воскликнул он через минуту. — Вслушайтесь хорошенько в это имечко! «Волк» — вот он кто! Волк это значит! Он не жесток, как некоторые. Нет, но у него вовсе нет сердца. Волк, сущий волк! Хорошее имечко ему дали, а?

— Но если всем известно, что он за человек, — спросил я, — то как же он набирает себе команду?

— А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно, на земле и на море? — спросил Луис с ирландской запальчивостью. — Как бы я, например, оказался здесь, если бы не был пьян, как свинья, когда подмахивал контракт? Всегда найдутся такие, которые все равно не могли бы попасть на лучшее судно, а другие ровно ничего не знали, как, например, вон те бедняги на носу. Но они поймут, да, они поймут и проклянут тот день, когда явились на свет. Право, я поплакал бы о них, если бы не беспокоила меня больше всего судьба старого толстяка Луиса. Но смотрите — я вам ничего не говорил. Ни-ни! Ни единого звука!

— Жуткие ребята эти охотники, — снова разразился он, увлекаемый страстью к болтовне. — Но обождите, пусть только они начнут выкидывать свои штуки! Волк Ларсен сумеет скрутить их. Он вложит страх Божий в их гнилые черные сердца. Посмотрите на милейшего охотника Хорнера, — тихоня, ходит легонько, говорит сладенько, как барышня. Можно подумать даже, что масло

¹ Хакодате — город и порт в Японии на о. Иессо (сейчас — о. Хоккайдо).

² Ярд — английская мера длины, равная трем английским футам, равна 0,9144 м.

³ Джонка — китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой.

не растает у него во рту! А не он ли в прошлом году убил своего рулевого? Тогда признали это «несчастливым случаем», но я встретил его гребца в Иокогаме, и он мне напрямик расписал, как было дело. А Смок, этот черномазый чертенок, — вы ведь не знаете, что русские приговорили его к трем годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове, право охоты на котором принадлежит русским. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего близнеца и отправил его наверх в бадье с солью: но посылал его по частям — сегодня ногу, завтра — руку, послезавтра — голову.

— Что вы говорите! — воскликнул я, пораженный ужасом.

— Что я говорю? — вспыхнул он, точно огонь. — Я не говорил вам ровно ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене, пусть черт скрючит его душу, пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет и пусть низвергнется потом в самую глубину преисподней.

Джонсон, тот самый матрос, который чуть не содрал мне кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее подозрительным из всей этой братии. Он, по-видимому, не был двуличным. Он с самого начала поражал своими прямой и достоинством, смягчавшимися скромностью, которую можно было ошибочно принять за робость. Но робким он не был. Он храбро высказывал свои взгляды, в нем было упрямое мужество. Сознание своего достоинства заставило его в начале нашего знакомства протестовать против того, чтобы его называли Ионссоном. И вот насчет этой щепетильности начал Луис чесать свой длинный язык и пророчествовать.

— Славный парень этот самый головастый Джонсон. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в лодке. Но запомните мое слово, будет у него беда с Волком Ларсеном. Уж я это знаю. Уж я вижу; надвигается и подходит она, как грозовая туча. Я хотел поговорить с ним по-братски, но он ничего не хочет слушать, все ему надо разбирать, где правильные огни, а где фальшивые сигналы. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом Волку. Волк силен, но Волк ненавидит чужую силу, а он видит силу в Джонсоне. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил: «Да, сэр!» или: «Очень благодарен, сэр!» Ох, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак! Когда старик назвал его Ионссоном, он отрезал ему: «Мое имя Джонсон, сэр, а не Ионссон!» И повторяет свою фамилию по складам, буква за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана! Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню! Или уже я ровно ничего не понимаю в людях на судах дальнего плавания!

Томас Магридж становится все невыносимее. Я принужден называть его «мистер» и «сэр» при каждом слове. Одна из причин его заносчивости та, что Волк Ларсен как будто благоволит к нему. Капитану быть запанибрата с поваром, мне кажется, совсем недопустимо, но именно так и повел себя Волк Лар-

сен. Два или три раза он просовывал голову в кухню и добродушно зубоскалил с Магриджем, а сегодня днем он проболтал с ним на корме целых пятнадцать минут. Когда разговор кончился и Магридж вернулся в кухню, лицо его сияло как медный грош, и он продолжал работу, напевая уличные песни душераздирающим и фальшивым фальцетом¹.

— Я умею ладить со старшими, — сказал он мне конфиденциальным тоном. — Я знаю, как мне держать себя, чтобы меня ценили. Вот, к примеру, мой последний шкипер... Мне ничего не стоило зайти к нему запросто в каюту для дружеской беседы и выпить с ним стаканчик вина. «Магридж, — говорил он мне, — Магридж, ты упустил свое истинное призвание!» «А какое?» — спрашиваю я. «Ты должен был родиться джентльменом и никогда не работать». Разрази меня гром на этом самом месте, если он не говорил мне этого! И я сидел в его каюте веселый и довольный, курил его сигары и пил его ром.

Эта болтовня доводила меня до сумасшествия. Никогда раньше не слышал я голоса, который был бы мне так противен. Его масляный, вкрадчивый тон, расплывчатая улыбка и безудержное самомнение действовали мне на нервы до такой степени, что меня иногда просто трясло. Положительно, он был самой отталкивающей личностью, какую я когда-либо встречал. Он был неописуемо грязен, и так как он один готовил всю пищу на судне, то мне поневоле приходилось есть с большой осторожностью, выбирая то, к чему он меньше прикасался.

Меня очень беспокоило состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти стали черными, а кожа до такой степени пропиталась грязью, что даже жесткая щетка не могла ее оттереть. Потом появились волдыри, крайне мучительные. На плече у меня был большой ожог: во время качки я упал на кухонную плиту. Не поправлялось и разбитое колено. Опухоль не уменьшалась, и коленная чашка все еще находилась не на месте. Постоянное движение с утра до вечера мешало выздоровлению. Чтобы поправиться, мне нужен был покой, самое главное — покой.

Отдых! Я ранее не понимал значения этого слова. Я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы я мог спокойно посидеть полчаса, ничего не делая, даже не думая, то это было бы для меня приятнее всего на свете. Но, с другой стороны, моя теперешняя жизнь была для меня откровением. Только теперь я понял, как приходится жить рабочему люду. Мне раньше и не снилось, что работа может быть так ужасна. С половины шестого утра и до десяти часов вечера я был рабом для всех, не имея при этом ни одной минуты для себя, кроме тех редких моментов, которые я уворовывал в конце второй утренней вахты. Но стоило только мне заглядеться на море, сверкающее на солнце, или на матроса, взбирающегося вверх на реи или на бушприт, как уж раздавался ненавистный голос: «Эй, Сутулый, нечего лодырничать, идите сюда!»

Среди охотников, по-видимому, нарастает раздражение, и говорят, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон, кажется, лучший охотник — это мед-

¹ Фальцет — высокий голосовой звук особого тембра.

лительный человек, которого трудно раздражить, но, очевидно, все-таки его разозлили, потому что у Смока оказался подбитым глаз, и когда он явился к ужину, то вид у него был злобный и мрачный.

Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю притупленность и грубость этих людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, увлеченный, как я предполагаю, духом искания приключений и совершавший свое первое плавание. При слабом, переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, причем паруса перекидывались с одной стороны на другую, и нужно было послать матроса наверх что-то там прикрепить. Каким-то образом в то время, как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходит снасть. Как мне объяснили, было два способа освободить парус: спустить фок¹, что сравнительно легко и безопасно, или заставить кого-нибудь влезть на конец реи², что весьма рискованно.

Иогансен приказал Гаррисону лезть наверх. Ясно было для всех, что парень боится. И трудно не испугаться, если надо повиснуть на тонких раскачивающихся канатах, на восьмидесятифутовой высоте над палубой. Если бы еще был попутный ветер, дело не обстояло бы так плохо, но «Призрак» выдерживал в это время боковую качку, и с каждым его креном паруса с шумом полоскали в воздухе, а снасти то ослаблялись, то вновь натягивались. Они могли столкнуть оттуда человека, как муху. Гаррисон расслышал приказание и понял, что от него требовалось, но колебался. По-видимому, он влезал на снасти первый раз в жизни. Иогансен, который уже успел заразиться от Волка Ларсена властолюбием, разразился потоком брани и проклятий.

— Довольно, Иогансен, — резко сказал Волк Ларсен. — На этом судне ругаюсь я один. Если мне нужна будет помощь, я вас позову.

— Слушаю, сэр, — покорно ответил штурман.

Гаррисон тем временем уже отправился наверх. Я смотрел через кухонную дверь и видел, как он дрожал всем телом, точно в лихорадке. Он продвигался очень медленно и осторожно. Выделяясь на ясном голубом фоне неба, он был похож на огромного паука, который полз по своей паутине.

Надо было карабкаться очень осмотрительно, так как фок был высоко закреплен, а фалы, проходя через различные блоки на гафеле³ и мачте, давали только отдельные точки опоры для рук и ног. Но главная трудность заключалась в том, что ветер не был ни довольно сильным, ни довольно ровным, чтобы держать паруса вполне надутыми. Когда Гаррисон был уже на полдороге, «Призрак» сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Стоя в восьмидесяти футах под ним, я видел мучительное напряжение его мускулов, когда жизнь его висела на ниточке. Парус захлопал, и гафель стремительно повернулся.

¹ Фок — нижний парус на фок-мачте.

² Рея — горизонтальный брус, укрепленный поперек мачт.

³ Гафель — наклонный брус, упирающийся нижним концом в мачту. Фалы — снасти, поднимающие паруса.

Фалы, на которых висел Гаррисон, ослабли, и хотя это случилось очень быстро, я все-таки успел заметить, что они осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону, огромный парус хлопнул как пушечный выстрел, а три ряда сезней ударились о парус с шумом, подобным треску залпа из ружей. Крепко уцепившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Это походило на взмах кнута. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука, за ней последовала, после краткого судорожного цепляния, другая. Его тело было сброшено, но ему все-таки удалось зацепиться ногами. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение, скрюченный и жалкий.

— Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином, — донесся до моего слуха голос Волка Ларсена, вышедшего из-за угла кухни. — Отойдите, эй вы, Иогансен! Смотрите! С ним начинается!

Гаррисону было действительно дурно, как бывает при морской болезни; и в течение долгого времени он висел на своем сомнительном нашестве без попытки пошевелиться. Тем не менее Иогансен продолжал свирепо понукать его, заставляя выполнять работу.

— Стыд какой! — услышал я ворчанье Джонсона, говорившего, как всегда, медленно, но на правильном английском языке. Он стоял под грот-мачтой, в нескольких шагах от меня. — Ведь малый старается! Он научится, если как следует учить его. А это простое... — Он остановился, потому что с его языка уже готово было сорваться слово «убийство».

— Тсс, с ума сошел! Ради своей матери попридержи язык! — зашептал ему Луис.

Но Джонсон продолжал ворчать.

— Послушайте, — обратился охотник Стэндиш к Волку Ларсену, — он мой гребец, и мне не хочется остаться без него.

— Правильно, Стэндиш, — ответил капитан, — он ваш гребец, пока он у вас на лодке, но он мой матрос, пока он здесь, и, черт возьми, я могу делать с ним все, что хочу.

— Но это не отговорка... — начал было Стэндиш.

— Довольно. Отойдите-ка лучше, — посоветовал Волк Ларсен, — я вам сказал, и кончено дело. Парень мой, и я велю сварить суп из него и съем, если мне захочется.

В глазах у охотника мелькнул сердитый огонь, он повернулся на каблуках и ушел в свое помещение, где и оставался, поглядывая оттуда наверх. Вся команда была теперь на палубе, и все глаза смотрели вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Тупость и бессердечие этих людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других людей, ужасали меня. Мне, жившему вне житейского водоворота, никогда и на ум не приходило, что могла быть работа такого сорта. Жизнь казалась мне святыней, а здесь она не ценилась ни во что, была цифрой в коммерческих расчетах. Я должен,

однако, сказать, что матросы все же проявляли некоторое сострадание, чему примером мог служить Джонсон, но «начальство» (охотники и капитан) было бессердечно равнодушно. Даже протест Стэндиша объяснялся только тем, что ему не хотелось потерять гребца. Если бы на мачте оказался гребец другого охотника, то и Стэндиш, подобно всем остальным, забавлялся бы этим приключением.

Но вернемся к Гаррисону. Прошло не менее десяти минут, пока Иогансен, все время оскорбляя и браня беднягу, не добился, наконец, того, что тот решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости, вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах.

Он взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Его глаза были широко открыты от страха. Я никогда раньше не видел на человеческом лице такого выражения страха. Он весь дрожал. Иогансен напрасно кричал ему, чтобы он спускался вниз. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха. Волк Ларсен, прогуливаясь по палубе и разговаривая со Смоком, не обращал на него никакого внимания, хотя раз и крикнул резко рулевому:

— Сбиваешься с курса, любезный! Осторожней, а то влетит!

— Есть, сэр! — ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы.

Он был повинен в том, что уклонился на два-три градуса от курса, чтобы дать небольшому ветерку натянуть и держать парус в одном положении. Ему хотелось помочь этим несчастному Гаррисону, даже рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и напряженное ожидание стало для меня невыносимым. А Магридж находил все это очень забавным: он высовывал голову из кухни и делал веселые замечания. Ах, как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла вдесятеро во время этого ужасного происшествия! В первый раз в моей жизни я ощутил в себе потребность убийства, или, как говорят некоторые писатели, любящие живописные выражения, почувствовал «красный туман в глазах».

Жизнь вообще священна, но в частном случае, у Томаса Магриджа, она была оскверненной. Я ужаснулся, сознав в себе «красный туман», и подумал: «Не заразился ли я жестокостью в этой обстановке, я, который даже в самых ужасных судебных делах отрицал необходимость смертной казни?»

Прошло полчаса, и я заметил, что между Джонсоном и Луисом началось какое-то пререкание. Закончилось оно тем, что Джонсон отбросил от себя руку Луиса и двинулся вперед. Он перешел через палубу, ухватился за фок-ванты¹ и начал карабкаться вверх. Но быстрый взгляд Волка Ларсена заметил его.

¹ Ванты — снасти для бокового укрепления мачт. Фок-ванты — снасти, укрепляющие фок-мачту.

— Эй ты, куда лезешь? — закричал он.

Джонсон приостановился. Он взглянул прямо в глаза капитану и медленно ответил:

— Я хочу снять оттуда парня.

— Спускайся с вант, и притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!

Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения командирам на судах сломили его волю, он упрямо соскользнул на палубу и пошел на бак.

В половине шестого я спустился вниз, чтобы накрыть на стол в каюте, но почти ничего не соображал — мои глаза и мозг были отуманены видом бледного, дрожавшего человека, который смешно, точно клоп, цепляясь за раскачивающуюся снасть. В шесть часов, когда я подавал ужин и бежал через палубу за кушаньями в кухню, я все еще видел Гаррисона в одном и том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека, по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.

Чтобы покончить с этим происшествием, я должен привести отрывок из моего разговора с Волком Ларсеном в каюте, когда я мыл тарелки.

— Сегодня у вас был унылый вид, — начал он. — В чем дело?

Я видел, что он знал, почему мне было почти так же скверно, как Гаррисону, и что он просто хотел втянуть меня в разговор.

— На меня подействовало, — ответил я, — бесчеловечное обращение с матросом.

Он усмехнулся.

— Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.

— Это не то, — возразил я.

— Именно то, — продолжал он. — Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.

— Вы смеетесь над человеческой жизнью... Неужели вы не признаете за ней никакой цены?

— Цены? Какой цены?

Он посмотрел на меня, и хотя его взгляд был неподвижен и упорен, мне почудилась в нем циничная улыбка.

— Какого рода цены? — продолжал он. — Как вы ее определяете? Кто оценивает?

— Я оцениваю, — был мой ответ.

— Так чему же она для вас равняется? Жизнь другого человека, я подразумеваю. Ну-ка, чего она стоит?

Ценность жизни! Как определить ее? Обычно находчивый в разговоре, я с Волком Ларсеном терялся. Впоследствии я решил, что это происходило отчасти от личных свойств этого человека, но больше всего от полного различия наших взглядов. С другими материалистами я находил общее, с ним же

никакого общего пункта не было. Может быть, меня сбивала элементарная простота его ума. Он так прямо подходил к сути дела, отбрасывая ненужные подробности и высказывая окончательные суждения, что мне казалось, будто я барахтаюсь в глубокой воде, потеряв почву под ногами.

Ценность жизни! Как мог я сразу ответить на этот вопрос? Жизнь священна — это было для меня аксиомой. Что жизнь имела внутреннюю ценность, было для меня общим местом, которое я никогда не подвергал сомнению. Но когда он потребовал от меня защитить это общее место, я онемел.

— Мы говорили об этом вчера, — сказал он. — Я утверждал, что жизнь — фермент¹, нечто вроде дрожжей, нечто пожирающее другую жизнь, чтобы жить самой. Торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь — самая дешевая вещь на свете. Количество земли, воздуха, воды ограничено, но жизни, желающей родиться, нет пределов. Природа расточительна. Взгляните на рыб и на мириады их зародышей — икру. Или посмотрите на себя и на меня. В нас лежат возможности миллионов жизней. Если бы мы нашли время и возможность использовать каждую крупницу нерожденной жизни, которая живет в нас, мы могли бы заселить материки и сделаться отцами народов. Жизнь? Ха-ха! В ней нет никакой ценности. Из всех дешевых вещей она — самая дешевая. Она бродит везде с мольбой о рождении. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Там, где место для одной жизни, природа сеет их тысячи, и жизнь пожирает жизнь, пока не останутся самые сильные и самые свинские жизни.

— Вы читали Дарвина, — сказал я. — Но вы неправильно поняли, если сделали вывод, что борьба за существование оправдывает ваше своевольное разрушение жизни.

Он пожал плечами.

— Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь, — сказал он. — Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных, хотя вы в чем-то находите различие и думаете, что можете его доказать. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Вы, живущие на суше, знаете, что хотя вы и размещаете бедноту на окраинах, обрекая ее на болезни и голод, все-таки остается множество бедняков, умирающих за неимением корки хлеба или куска мяса (то есть чьей-то разрушенной жизни), и вы не знаете, как с ними быть. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне, как они, точно звери, дерутся из-за работы?

Он направился к трапу, но повернул голову для последнего замечания.

— Единственной оценкой жизни, знаете ли, будет та, которую она сама себе дает. И, конечно, всегда бывает переоценка, так как кто же ценит себя дешево? Возьмем этого человека, которого я послал наверх. Он цеплялся там, как будто

¹ Ферменты — ускорители реакций, протекающих в клетках организмов.

он драгоценнейшая вещь, сокровище превыше бриллиантов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Еще меньше. Для себя? Да. Но я не согласен с его оценкой. Он чрезмерно преувеличивает свою стоимость. Есть огромный запас жизней, желающих родиться. Если бы он свалился и его мозг разбрызгался по палубе как мед из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе, и насколько обманчива его собственная оценка видно из того, что, потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Лишь он один ценил себя превыше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины разбрызганы по палубе, и достаточно ведра воды, чтобы смыть их, а он даже и не почувствует, что бриллиантов и рубинов больше нет. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие о потере. Видите? Что вы можете на это сказать?

— Что вы, по крайней мере, последовательны. — Это было все, что я смог ответить, и продолжал мыть посуду.

ГЛАВА VII

Наконец, после трехдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, отлично отдохнув за ночь, несмотря на продолжавшуюся боль в колене. Я увидел, что «Призрак» летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме кливеров. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем, а ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Шхуна неслась, не требуя забот. Не надо было тянуть снасти и перекидывать марселя; у матросов не было другого дела, кроме управления рулем. За ночь паруса несколько ослабевали от росы, а утром, высыхая, они снова натягивались, вот и все!

Десять, одиннадцать, двенадцать узлов — так увеличивалась скорость, с которой мы шли. И все время дул бодрый северо-восточный ветер, уносивший нас вперед на двести пятьдесят миль в сутки. Меня и огорчала, и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Во время второй дневной вахты матросы выходили на палубу, раздевались и поливали друг друга водой. Появились летучие рыбы, и по ночам вахтенные ползали по палубе в погоне за теми из рыбок, которые попадали на палубу. Томаса Магриджа задабривали взяткой, и утром по всей кухне распространялся приятный запах жареной рыбы. Иногда ели мясо дельфина, когда Джонсону удавалось поймать с бушприта¹ одного из этих сверкающих красавцев.

Джонсон проводил тут или наверху, на реях, все свое свободное время, наблюдая, как «Призрак» под напором пассата рассекал воду. В его глазах светились страсть и восторг. Он бродил как во сне, глядя в экстазе на надувшиеся

¹ Бушприт — наклонная мачта, укрепленная на носу корабля.

паруса, пенившееся море и следя за свободным бегом судна по текучим горам, двигавшимся вместе с нами величавой вереницей. Дни и ночи — сплошное чудо и наслаждение, и хотя у меня оставалось немного времени, свободного от скучной работы, я все же выкрадывал случайные минуты и глядел, глядел на бесконечное торжество красоты, которая мне никогда раньше и не снилась. Вверху — безоблачное синее небо, синее как море, которое у носа корабля такого же цвета и блеска, как лазурный атлас. Над горизонтом — бледные, легкие облачка. Они не меняются, не двигаются — как бы серебряная оправка для чистой бирюзы небес.

Я не забуду одной ночи, когда вместо того, чтобы спать, я лежал на носу и смотрел вниз на игравшую всеми цветами радуги полосу пены, которую отбрасывал от себя «Призрак». Слышалось журчание, подобное шуму ручейка, бегущего по мшистым камням в тихой долине, и эта журчащая песня убаюкала меня и унесла далеко-далеко от самого себя. Мне казалось, что я и не Сутулый — каютный юнга, и не прежний Ван-Вейден, промечтавший тридцать пять лет жизни среди своих книг.

Меня привел в себя раздавшийся за моей спиной голос. Я не мог не узнать его. Это был голос Волка Ларсена, уверенный и сильный, но смягченный и растроганный теми прекрасными словами, которые он декламировал.

— О, пламенная тропическая ночь, когда след корабля, как сияющий пояс, держит горячее небо и когда упрямый нос его зарывается в глубину, усыпанную пылью звезд, где испуганный кит кидается в пламя. Палуба корабля покорблена зноем, милая девушка, и снасти его натянулись от росы, и мы несемся с тобою на всех парусах по старому пути, по нашему пути и вне пути. Мы клонимся к югу на старый, долгий путь, — путь вечно новый.

— Ну, Сутулый, — вдруг обратился он ко мне после внушительной паузы, достойной сказанных стихов и обстановки, — вас это не поражает?

Я посмотрел ему в лицо — оно сияло, как море, и глаза его сверкали при свете звезд.

— Меня поражает, что вы способны приходить в восторг, — сказал я холодно.

— Ну что же, человек, значит, бурлит! — воскликнул он. — Это — жизнь!

— Дешевая, не стоящая ровно ничего вещь, — бросил я ему его же собственные слова.

Он засмеялся, и в первый раз я услышал искреннюю веселость в его голосе.

— Ах, никак не могу добиться, чтобы вы поняли, никак не могу вбить вам в голову, что за штука жизнь. Конечно, вообще жизнь ничтожна, но для себя она драгоценна. И моя жизнь, могу сказать вам, как раз в эту минуту чрезвычайно ценна для меня. Она сейчас выше всякой цены, что вы, конечно, поспешите назвать ужасающей переоценкой, но ничего не поделаешь: сама жизнь, бурлящая сейчас во мне, определяет себе цену.

Он остановился, как будто подыскивая слова для своей мысли, и затем продолжал:

— Знаете! Я переполнен странной радостью. Я чувствую в себе голоса столетий, как будто все силы в моей власти. Я знаю правду, различаю добро от зла, истину от лжи. Мой взор ясен и проникает в будущее. Я почти могу поверить в Бога. Но... — его голос изменился, и глаза потухли, — что же это за состояние, в котором я нахожусь? Радость жизни? Упоеание жизнью? Или это вдохновение? Это просто то, что приходит, когда у человека хорошее пищеварение, когда желудок в порядке, аппетит хорош и все идет гладко. Это приманка жизни, шампанское в крови, брожение закваски... И одни люди полны святыми мыслями, другие видят Бога или же создают его, когда не могут видеть. Вот и все: опьянение, брожение дрожжей, бессвязный лепет жизни, опьяненной сознанием, что она жива. Ну да! Завтра я буду расплачиваться за все это, как пьяница после запоя. И я буду знать, что должен умереть, скорее всего на море, перестану копошиться в себе, чтобы закопошиться по-другому в общем разложении моря, стану падалью, пищей для других существ, чтобы сила и движение моих мышц сделались силой и движением в плавниках, в чешуе или в кишечнике рыб. Ладно! Довольно!

Шампанское выдохлось. Нет уже искр и пузырьков. Осталась безвкусная бурда.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу с легкостью и мягкостью тигра.

А «Призрак» все шел и шел вперед. Я заметил, что журчание у носа было похоже на похрапывание, и по мере того, как я прислушивался к нему, впечатление, оставленное Волком Ларсеном с его бурным срывом от возвышенного вдохновения к отчаянию, медленно покидало меня.

Из середины корабля доносилось пение. Превосходный тенор бывалого матроса пел «Песнь пассата»:

Я — ветерок, приятный морякам,
Я ровен, свеж, могуч,
Они следят за мной по нежным облакам, На юге нету туч.
Я день и ночь бегу за кораблем, Как верный пес, разинув пасть.
Я легок по ночам, сильнее дую днем, Вдую паруса, раскачиваю снасть.

ГЛАВА VIII

Иногда Волк Ларсен кажется мне сумасшедшим, или по меньшей мере полусумасшедшим, так дики его капризы и причуды. Иногда же я готов признать его за великого человека, за гения, какого никогда еще не было. А в конце концов я убежден, что он совершенный образец первобытного человека, родившегося с опозданием на тысячи лет, ходячий анахронизм в наш век торжества цивилизации. Он, несомненно, ярый индивидуалист. И еще больше: он очень одинок. Между ним и всеми остальными на шхуне нет ничего обще-

го. Невероятная физическая сила и большой ум отделяют его от других. Все, даже охотники, — для него точно дети, и он обращается с ними как с детьми. Спускаясь до их уровня, он играет с ними как с щенками. А иногда он изучает и пытается их жестокими руками вивисектора¹, роясь в их умственных процессах и исследуя их души, как бы для того, чтобы понять, из какого материала они сделаны.

Не раз я был свидетелем, как он за столом оскорблял то одного охотника, то другого, смотря на них холодным, пристальным взором. Он с таким любопытством следил за их поступками, ответами или гневом, что мне, наблюдавшему эти сцены в качестве постоянного зрителя и понимавшему Ларсена, становилось почти смешно. Его припадки ярости, по моему убеждению, были притворны; по-видимому, они служили ему для экспериментов, а главным образом, были той манерой обращения со своей командой, которую он считал необходимой для себя. За исключением случая с умершим штурманом, я ни одного раза не видел его по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не хотел бы видеть, как вся его сила вырвется наружу в подлинной ярости.

Что касается его причуд, я расскажу о том, что приключилось с Томасом Магриджем, и, кстати, покончу с тем случаем, о котором уже дважды упоминал мимоходом. Как-то раз после обеда, подававшегося обыкновенно в двенадцать часов, когда я закончил уборку каюты, Волк Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у повара и был свой закоулок при каюте, но он не осмеливался бывать или даже показываться в самой каюте и только иной раз проскальзывал через нее как робкое привидение.

— Итак, значит, ты умеешь играть в «нэп», — обратился к нему Волк Ларсен веселым голосом. — Разумеется, как англичанин, ты должен знать эту игру. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Томас Магридж глупо сиял, радуясь, что капитан разговаривает с ним по-итальянски. Его ужимки и мучительные усилия походять на «воспитанного джентльмена» были бы глубоко противны, не будь они так забавны. Он совершенно не замечал моего присутствия, а может быть, не был уже и способен разглядеть меня. Его светлые, бесцветные глаза мерцали, подернутые влагой, как томное летнее море, и моего воображения не хватало представить себе, какие блаженные видения таились за ними.

Они уселись за стол.

— Достаньте карты, Сутуый, — приказал Волк Ларсен, — принесите сигары и виски. Вы найдете все у меня в каюте, в ящике.

Я вернулся как раз в тот момент, когда Магридж прозрачно намекал, что с его рождением связана тайна, что он — сын «джентльмена», который не мог оставить семью, или что-то в этом роде. Он упомянул далее, что его нарочно удалили из Англии, хорошо заплатив ему за отъезд.

¹ Вивисекция — производство опытов над живыми животными, например, рассечение, прививка болезней кроликам и т.д.

Я поставил рюмки для вина, но Волк Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на две трети неразбавленным виски — «напиток джентльменов», как выразился Томас Магридж, — и, чокнувшись в честь знаменитой игры «нэп», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Волк Ларсен — он был способен и на это, — но, во всяком случае, он все время выигрывал. Повар несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов зараз. Наконец, он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты.

— Да, у меня есть деньги, есть деньги. Говорю вам, я сын джентльмена...

Волк Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутельника.

В конце концов повар, громко приговаривая, что он может проигрывать как джентльмен, поставил на карту последние деньги и проиграл. После этого он опустил голову на руки и зарыдал. Волк Ларсен с любопытством посмотрел на него, как будто собираясь исследовать и анализировать его, потом передумал, увидев, что и исследовать-то здесь нечего.

— Сутулый, — вежливо сказал он, — пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он не совсем хорошо себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды, — прибавил он вполголоса.

Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам. Мистер Магридж все еще сонно бормотал, что он сын джентльмена. Но, спускаясь по трапу, я услышал, как он закричал благим матом от первого ведра воды.

Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

— Сто восемьдесят пять долларов, — сказал он громко, — я так и думал. Этот нищий явился сюда без гроша в кармане.

— И то, что вы выиграли, сэр, — смело сказал я, — принадлежит мне.

— Сутулый, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать: «принадлежало мне», а не «принадлежит».

— Этот вопрос не грамматики, а этики¹, — ответил я. Прошло около минуты, прежде чем он заговорил.

— Знаете, Сутулый, — начал он медленно и серьезно, с еле уловимой грустью в голосе, — я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то, — продолжал он после новой паузы, — я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми,

¹ Этика — учение о нравственности.

разговаривающими о таких вещах, как этика. Сегодня я в первый раз услышал это слово. Но все это между прочим. Вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.

— Я понимаю, — сказал я, — факт тот, что деньги у вас.

Его лицо прояснилось. Казалось, он был доволен моей проницательностью.

— Но вы удаляетесь от сущности вопроса, которая относится к праву, — продолжал я.

— Ну! — пренебрежительно искривил он губы. — Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и несправедливость.

— А вы? — спросил я. — Совершенно не верите?

— Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым — плохо, или, еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно, и отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь. Обладать вот этими деньгами приятно. Так как я могу ими владеть, то я буду не прав к себе и живущей во мне жизни, если отдам их вам и лишу себя удовольствия пользоваться ими.

— Но вы несправедливы по отношению ко мне, удерживая их, — возразил я.

— Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда не прав, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть не правы друг к другу две молекулы дрожжей, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать и вложен инстинкт не давать себя проглатывать. Нарушая предписанное, они грешат, они не правы.

— Так, значит, вы не верите в альтруизм¹? — спросил я. Слово это, видимо, было знакомо ему, хотя он погрузился в размышление.

— Позвольте, — сказал он, — это что-то относительно содействия другому, содружества? Не так ли? Что-то вроде кооперации?

— Ну, в некотором смысле, пожалуй, есть связь, — ответил я, не удивившись пробелам в его словаре: ведь он расширял его, также как и свои знания, путем чтения и самообразования. Никто не руководил его занятиями. Он много думал, но ни с кем не разговаривал.

— Альтруистическим поступком мы называем такой поступок, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах. Такой акт мы называем эгоистическим.

Он кивнул.

— Да, — сказал он, — я теперь припоминаю. Я читал что-то у Спенсера.

— У Спенсера! — воскликнул я. — Вы читали Спенсера?

— Немного, — признался он. — Я понял кое-что в «Основных началах», но на его «Биологию» у меня не хватило ветра для парусов; в «Психологии»

¹ Альтруизм — поведение, бескорыстно направленное на пользу другим людям, в противоположность эгоизму.

я много дней напрасно бился при мертвом штиле. Никак не мог понять, к чему он вел. Я объяснил это своей умственной несостоятельностью, но потом решил, что это происходило от моей неподготовленности. Не было правильного подхода. Только я да Спенсер знаем, как я мучился. Но из «Данных этики» я кое-что выудил. Там я встретился и с «альтруизмом», и припоминаю теперь, как этот термин применялся.

Что мог извлечь из «Этики» Спенсера такой человек, как Ларсен? Я достаточно помнил Спенсера и знал, что он считал альтруизм обязательным для высшего идеала человеческого поведения.

Очевидно, Волк Ларсен пропустил мимо ушей учение великого философа, откинув все, что было чуждо, и выбрав лишь то, что соответствовало его собственным нуждам и желаниям.

— А еще что вы у него нашли? — спросил я.

Его брови слегка сдвинулись от усилия выразить те мысли, для которых он никогда раньше не находил слов. Я почувствовал волнение. Я заглядывал в его душу так же, как он обычно заглядывал в души других. Я вступал на девственную почву. Странная, чрезвычайно странная область развertyвалась передо мной.

— Если сказать кратко, — начал он, — Спенсер рассуждает так: во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И, в-третьих, приносить пользу своей расе.

— А высшее, самое прекрасное и правильное поведение, — добавил я, — когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.

— На этом я не настаивал бы, — ответил он, — не вижу ни необходимости, ни здравого смысла. Я отбрасываю расу и детей. Я ничем бы для них не пожертвовал. Это все ерунда и сентиментальность, по крайней мере для того, кто не верит в вечную жизнь. Будь бессмертие, альтруизм я считал бы выгодной сделкой. Я поднял бы свою душу до невероятных высот. Но, не видя ничего вечного, кроме смерти, и получив на краткий срок то брожение дрожжей, которое называют жизнью, я чувствую, что было бы совершенно безнравственно подвергать себя жертвам. Каждая жертва, лишаящая меня лишнего биения жизни, — глупость, и не только глупость, но и несправедливость к самому себе, — следовательно, злое дело. Я не должен терять ни одного глотка, ни одного движения, если желаю использовать возможно лучше свое брожение. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.

— Значит, вы индивидуалист и материалист, а следовательно, гедонист¹.

— Громкие слова! — улыбнулся он. — Кстати, что такое гедонист?

Он одобрительно кивнул, выслушав мои объяснения.

¹ Гедонизм — наслаждение жизнью.

— И кроме того, — продолжал я, — вы, значит, такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес?

— Наконец-то вы начинаете понимать! — воскликнул он весело.

— Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?

— Вот именно.

— Человек, которого нужно всегда бояться?

— Совершенно верно.

— Так, как бояться обыкновенно змеи, тигра или акулы?

— Теперь вы знаете меня, — сказал он, — и знаете таким, каким вообще меня знают. Меня и называют Волком.

— Вы чудовище, — смело добавил я. — Калибан, ссылающийся на Сетебоса¹ и действующий по своей прихоти и капризу.

Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана.

— Я как раз читаю теперь Браунинга, — признался он. — Это чтение довольно трудно для меня. Прочел я маловато, а уже запутался.

Чтобы не утомлять читателя, скажу только, что я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел ему вслух «Калибана». Он был в восторге. Примитивное мышление и упрощенное отношение к вещам были вполне понятны ему. Он неоднократно прерывал меня своими комментариями и критикой. Когда я закончил, он заставил меня прочесть поэму во второй, а затем и в третий раз. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямоотой первобытного ума. В самой простоте его доказательств была сила, и его материализм был несравненно убедительнее, чем хитросплетенный материализм моего друга Чарльза Фэрасета. Не то чтобы я, закоренелый или, по выражению Фэрасета, «прирожденный» идеалист, мог поддаваться убеждениям Волка Ларсена, но, несомненно, что он нападал на последние твердыни моих верований с силой, которая возбуждала уважение, как ни были взгляды его чужды моим.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться, и когда Магридж с хмурым, злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности, но Ларсен крикнул ему:

— Повар, тебе придется похлопотать сегодня. Сутулый занят. Обойдись без него.

И опять произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, в то время как Томас Магридж нам прислуживал и потом мыл посуду — новый каприз, калибановская прихоть Волка Ларсена, прихоть, от которой я предвидел много неприятностей. А пока мы говорили и говорили, раздражая охотников, которые не понимали ни единого слова.

¹ Калибан — чудовище в образе человека, выведенное в трагедии Шекспира «Буря» и в поэме английского поэта Роберта Браунинга, где Калибан противопоставлен светлому духу — Сетебосу.

ГЛАВА IX

Три дня отдыха! Три дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсеном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя всю мою и свою работу.

— Берегитесь шквала, вот все, что я вам могу сказать, — предостерег меня Луис, когда я остался на полчаса один на палубе; Ларсен был занят улаживанием ссоры между охотниками.

— Никто не может сказать, что случится, — продолжал Луис в ответ на мою просьбу дать более точные объяснения. — Этот человек изменчив, как ветер в море. Вы никогда не угадаете его намерений. Вы думаете, что поняли его, и плавно плывете мимо него, а он круто обернется, налетит вихрем, и все ваши паруса, рассчитанные на хорошую погоду, изорвутся в клочки.

Итак, я не был особенно удивлен, когда на меня налетел шквал, предсказанный Луисом. Мы горячо спорили с капитаном, о жизни, конечно, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Вульфе Ларсене и его жизни. Я увлекся и стал выворачивать его душу наизнанку так же едко и основательно, как он делал это с другими. Один из моих недостатков — колкость речи, а тут я разнуздался и начал колоть и хлестать, пока все внутри у него не встало на дыбы. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. В них уже не было ясности и спокойного понимания — не было ничего, кроме ярости сумасшедшего. Я увидел волка, и притом бешеного.

Он с глухим ревом подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, хотя внутренне дрожал. Однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Он схватил меня за руку ниже плеча, и, когда сжал свои пальцы, я закричал во все горло. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Мои мускулы отказывались служить. Боль была нестерпима. Мне казалось, что рука моя разможена.

Волк Ларсен, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Пока я корчился, я подметил в его глазах удивление, вопрос и то недоумение, с каким он обычно глядел на непонятную ему жизнь.

Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться на кухню. Моя левая рука онемела, как парализованная, и прошло много дней, прежде чем я стал снова владеть ею, и много недель, пока боль исчезла окончательно и возвратилась свобода движения. А он ведь не приложил всей своей силы! Он не ломал руки и не выворачивал ее. Он только сжал мне предплечье спокойной хваткой. А что мог он сделать, если бы захотел, я понял на следующий день. В знак возобновившейся дружбы он просунул голову в кухню и спросил меня, как поживает моя рука.

— Могло бы быть хуже, — улыбнулся он.

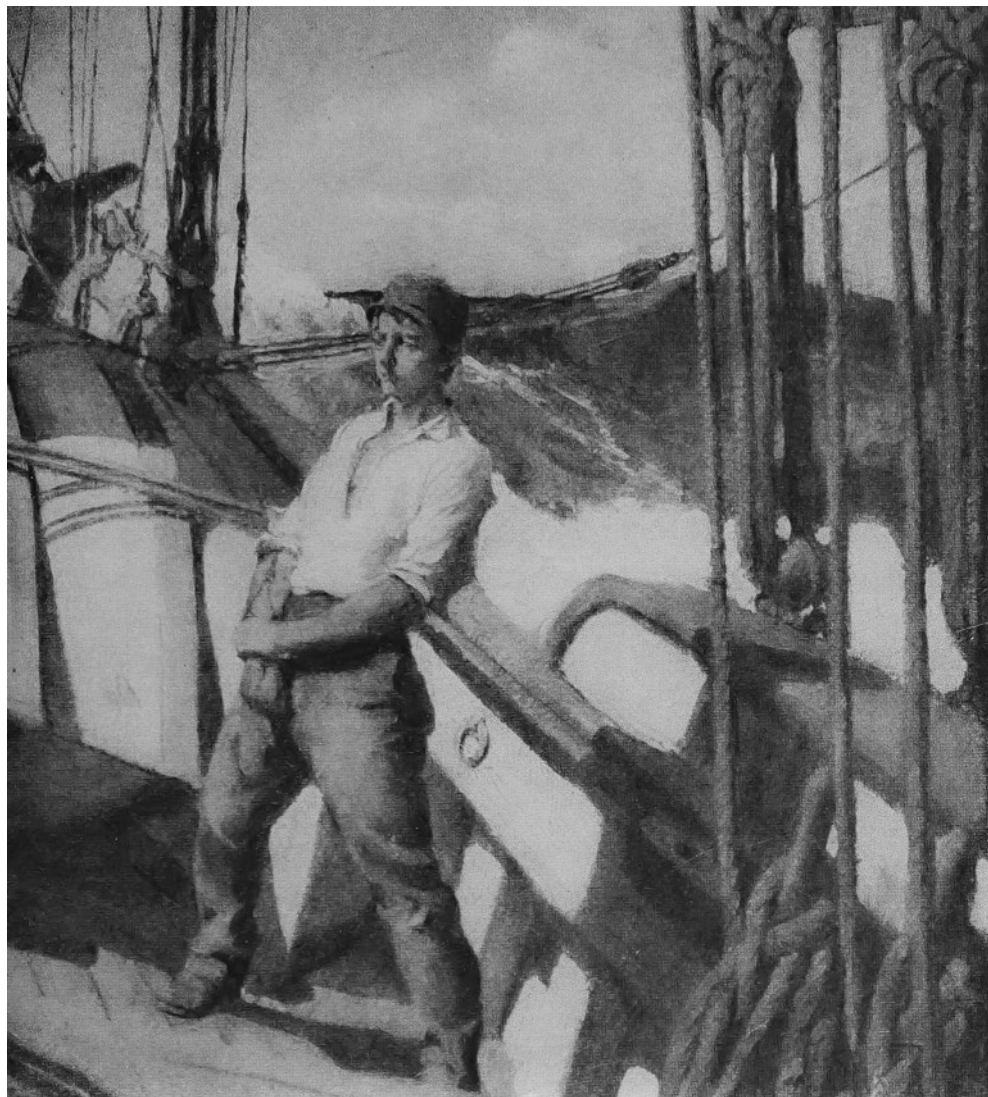


Повар отступил назад с дьявольским видом, держа перед собой нож для защиты.

Я чистил картофель. Волк Ларсен выбрал твердую, крупную неочищенную картофелину. Он взял ее и сжал так, что картофель брызнул жидкой кашицей.

Он бросил в чугунок оставшийся комок и вышел, а я получил ясное представление о том, что могло случиться со мной, если бы этот зверь бросился на меня со всей своей силой.

Три дня отдыха все же принесли мне пользу. Ноге стало гораздо легче, опухоль заметно спала, и коленная чашка как будто вошла на свое место. Но эти три дня отдыха принесли и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж



Но Лич отнесся к делу совершенно спокойно, хотя кровь лилась из раны.

решил заставить меня расплатиться за эти блаженные три дня. Он стал обращаться со мной еще хуже, чем раньше, беспрестанно осыпал меня проклятиями и взвалил на меня всю свою работу. Он даже дерзнул замахнуться на меня кулаком, но я сам озверел и так грозно зарычал прямо ему в лицо, что он испугался и попятился. Не очень приятная была картина, насколько теперь вспоминаю: я, Хэмфри Ван-Вейден, сидящий на корточках над своей работой в углу этой мерзкой кухни, лицом к лицу со злобным существом, каждую минуту готовым меня ударить. Рот мой оскален, как у собаки, я рычу, зубы лязгают, глаза свер-

кают от страха и бессилия и от храбрости отчаяния. Не нравится мне эта картина. Она напоминает мне крысу в западне. Но результат ее все же был таков, что замахнувшийся кулак не опустился на меня.

Томас Магридж отступил, глядя на меня с такой же ненавистью и злобой, как и я на него. Мы, точно два зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Он был трусом, боявшимся ударить меня только потому, что я не сробел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был один сносный нож: благодаря долгому употреблению лезвие его сделалось узким и тонким. У него был такой страшный вид, что я первое время брался за него с содроганием. Повар взял у Иогансена брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвастливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Каждую свободную минуту он брал нож и брусок и точил, точил. Нож стал остр как бритва. Магридж пробовал его большим пальцем и поперек ногтя. Сбрывая им волосы на руке, смотрел на острие так внимательно, точно в микроскоп, и вдруг находил, или делал вид, что находил на нем легкую неровность. Тогда он вновь брал брусок и точил, точил, точил, пока я, наконец, не расхохотался, так это было комично.

Однако этим нельзя было шутить: он был способен пустить нож в ход. Под всей его трусостью у него, как и у меня, таилась храбрость именно труса, которая могла побудить его сделать как раз то самое, против чего протестовало все его существо и чего он сам боялся. «Повар точит нож на Сутулого», — шептали кругом матросы, а некоторые из них даже начали поддразнивать его. Он сносил все это спокойно и только таинственно покачивал головой, пока Джордж Лич, прежний каютный юнга, не попробовал грубо подшутить над ним по этому поводу.

Надо заметить, что Лич был одним из матросов, посланных Волком Ларсеном облить Магриджа водой после игры в карты с капитаном. Очевидно, Лич исполнил возложенное на него поручение с такой основательностью, что Магридж никак не мог ему этого простить; на шутку Лича повар ответил потоком ругательств и стал угрожать ему тем самым ножом, который он точил на меня. Лич захохотал и отпустил еще дозу своего жаргона с «Телеграфной Горы», но не успели мы опомниться, как его правая рука оказалась располоснутой от локтя до кисти одним быстрым ударом ножа. Повар отступил назад с дьявольским видом, держа перед собой нож для защиты. Но Лич отнесся к делу совершенно спокойно, хотя кровь лилась из раны, как вода из фонтана.

— Я до тебя доберусь, поваришка, — сказал он. — И тебе тогда круто придется! Когда я приступлю к делу, у тебя этого ножа не будет.

С этими словами он повернулся и спокойно вышел. Лицо Магриджа было мертвенно-бледно от испуга перед тем, что он сделал, и от ожидания мести, которая рано или поздно должна была последовать со стороны раненого. Но со мной он стал обращаться еще ужаснее. В нем проснулось при виде пролитой им крови вожделение, похожее на безумие. Он стал жаждать крови. Пси-

хология эта достаточно запутанная, но я тем не менее мог читать то, что происходило в его сознании, как в открытой книге.

Прошло несколько дней, и «Призрак» все еще продолжал пенить море под пассатным ветром. Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно, очень страшно. Он точил, точил, точил свой нож целыми днями. Когда он пробовал пальцем острие своего ножа и посматривал на меня, в его глазах сверкало кровожадное безумие. Я боялся повернуться к нему спиной и, выходя из кухни, каждый раз пытался, что весьма забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся у дверей, чтобы посмотреть, как я буду входить и выходить. Постоянное напряжение измучило меня. Порой я думал, что мой собственный разум не выдержит; да это было бы вполне естественно на ужасном суде сумасшедших и зверей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь находилась в смертельной опасности. Я переживал мучительное отчаяние, и, несмотря на это, ни одна живая душа ни на корме, ни на баке не выказывала мне ни капли сочувствия, и никто не желал прийти мне на помощь. Временами у меня появлялась мысль просить заступничества у Волка Ларсена, но воспоминание о насмешливом огоньке в его глазах, издававшихся над жизнью, каждый раз останавливало меня. Иногда я серьезно подумывал о самоубийстве, и нужна была вся сила моей оптимистической философии, чтобы удержать меня от прыжка в бездну в темноте ночи.

Волк Ларсен несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я давал односложные ответы и старался его избегать. В конце концов он приказал мне перебраться в кают-компанию и передать работу повару. Тогда я ему откровенно рассказал о том, что мне пришлось вынести от Томаса Магриджа в расплату за те три дня, когда капитан проявил ко мне свое особое благоволение. Волк Ларсен посмотрел на меня с улыбкой.

— Так вы боитесь? — засмеялся он.

— Да, — честно признался я, — мне страшно.

— Все вы таковы! — воскликнул он полусердито-полупечально. — Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. При виде острого ножа и трусливого хулигана ваше цепляние за жизнь побеждает все ваши глупости. Милейший! Вы же будете жить вечно! Вы Бог, а Бога убить нельзя. Ведь повар ничего не может вам сделать. Вы уже уверены в своем воскрешении! Чего же вам бояться? Перед вами вечная жизнь, вы миллионер и никогда не можете потерять свое богатство. Оно прочнее, чем вот эти звезды, и так же вечно, как время и пространство. Вам нельзя идти против своих основных взглядов. Бессмертие — нечто не имеющее ни начала, ни конца. Как хотите, а вечность есть вечность, и хотя вы сегодня здесь и умрете, ваша жизнь все-таки должна продолжиться где-нибудь. И как прекрасно вдруг скинуть с себя плоть и освободить плененный материей дух. Нет, поваришка не может повредить вам! Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам извечно суждено идти. Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него поваришку? Он ведь тоже миллионер

бессмертия. Вы не можете разорить его. Его акции всегда будут котируются аль-пари¹. Убив его, вы не сократите срока его жизни, потому что срок этот не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек будет жить вечно. Так подтолкните же его! Всадите в него нож, выпустите его дух на свободу. Сейчас дух этот томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав для него дверь. И кто знает, быть может, оставив свою безобразную земную оболочку, на свободу вырвется и взвоется в синеву неба прекраснейший дух? Так пырните же ножом повара, и я поставлю вас на его место, а он получает сорок пять долларов в месяц.

Было ясно, что на какую-нибудь помощь или сострадание со стороны Волка Ларсена я рассчитывать не мог. Значит, нужно было рассчитывать только на самого себя; и из мужества отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его же собственного способа. Я тоже достал себе у Иогансена точильный брусок.

Рулевой Луис давно просил меня достать ему сгущенного молока и сахару. Склад, где хранились эти деликатесы, находился под полом кают-компаний. Улучив минуту, я украл пять жестянок молока и той же ночью, во время вахты Луиса, выменял у него кортик, такой же узкий и страшный на вид, как и нож Магриджа. Кортик был ржавый и тупой, но мы с Луисом хорошо отточили его: он точил, а я вертел точильный камень. В эту ночь я спал крепче обыкновенного.

На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое: чирк, чирк, чирк. Я осторожно посмотрел на него, стоя на коленях и выгребая из печки золу. Выкинув ее за борт и вернувшись в кухню, я увидел, что он разговаривает с Гаррисоном, честное лицо которого выражало крайнюю степень изумления.

— Да, — говорил Магридж, — и что же сделал судья? Он посадил меня всего только на два года в Рэдингскую тюрьму. Но, черт возьми, мне было все равно. Тому кувшинному рылу тоже досталось на орехи. Посмотрел бы ты на него. Вот таким точно ножом. Я воткнул его точно в сливочное масло! А как он заорал! Честное слово, это было забавнее, чем в балагане за два пенса. — Магридж бросил взгляд в мою сторону, чтобы убедиться, действует ли на меня этот рассказ, и продолжал: — И хныкал же этот парень, умолял меня! «Простите, Томми, — говорит, — я вовсе не желал вам зла, ей-богу, говорит, я не желаю вам зла». «Ладно, — подумал я, — уж я тебе устрою!» И, не отпуская его от себя, я тут же нарезал из него ремней, а он все время пищал. Один раз он ухватился за нож и хотел удержать его. Я дернул нож и разрезал ему руку до самой кости. Ну и вид у него был, могу сказать!

Окрик штурмана прервал кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на ют. Магридж присел на порог кухни и продолжал точить нож. Я отложил кочергу и спокойно уселся против него на угольный ящик. Он бросил на меня хищный

¹ Аль-пари — коммерческое выражение, означающее, что стоимость той или иной кредитной бумаги расценивается на золото равно с номинальной ценой.

взгляд. Все еще спокойно, хотя мое сердце сильно колотилось, я вынул из-за голенища кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Он точил свой нож, я свой. Мы просидели так часа два, лицом к лицу, и точили, точили, точили, пока весть об этом не распространилась по всему судну и половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище.

На нас сыпались советы и поощрения, а Джок Хорнер, тихий, молчаливый охотник, неспособный по виду обидеть даже муху, советовал мне пырнуть кортик не меж ребер, а прямо в живот и показал в воздухе, как надо это делать. Этот прием он назвал «испанским поворотом». Лич, выставя напоказ перевязанную руку, заклинал меня оставить для него хотя какие-нибудь потроха от повара. Даже сам Волк Ларсен раза два останавливался во время своей прогулки по корме, чтобы с любопытством посмотреть на то, что он называл «брожением жизненной закваски».

Должен признаться, что в это время в моих глазах жизнь не представляла большой ценности. В ней не было ничего прекрасного, ничего божественного. Просто два труса, в которых еще бродили жизненные дрожжи, сидели друг против друга и точили ножи о камни, а группа других таких же живых существ, более или менее трусливых, следила за ними. Я уверен, что половина из этих зрителей нетерпеливо ждала, когда мы начнем резать друг друга. Это было бы для них забавой. И я думаю также, что не нашлось бы ни одного человека, который вмешался бы, если бы схватка действительно приняла смертельный оборот.

И в то же время в этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк, чирк! Хэмфри Ван-Вейден, точивший на кухне шхуны свой нож и пробовавший его лезвие на своем пальце! Из всех возможных положений это было самое нелепое и самое дикое. Все знавшие меня ранее никогда бы не поверили, что такая вещь возможна. Недаром же меня всю жизнь называли женским именем — Снеси Ван-Вейден, и то, что Снеси Ван-Вейден способен на такие дела, было откровением даже для Хэмфри Ван-Вейдена, который не знал — гордиться ему этим или стыдиться.

Однако ничего не случилось. Через два часа Томас Магридж отложил нож и брусок и протянул мне руку.

— Ну, к чему служить посмешищем для этих уродов? — сказал он. — Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу горло. Ты, Сутулий, неплохой парень. В тебе огонек есть, как вы, янки, говорите, и ты мне даже нравишься. Ну, иди-ка сюда, давай лапу!

Я был трус, но все же менее трус, чем он. Это была моя явная победа, и я отказался умалить ее, пожав его гнусную руку.

— Ну, ладно! — сказал он необидчиво. — Не хотите — не надо. Я вас от этого меньше ценить не стану.

И, не желая показывать мне свое лицо, он свирепо обернулся к зрителям:

— Убирайтесь из моей кухни, эй, вы, мокрые швабры!

Приказ этот был подкреплён кастрюлей с кипятком, при виде которой все матросы быстро отступили. Это было своего рода победой Томаса Магриджа и способствовало тому, что он принял более спокойно нанесенное ему мною поражение. По отношению к охотникам он был все же более осторожен и не пытался гнать их из кухни.

— Скоро нашему поваришке придет конец, — услышал я, как говорил Смок Хорнеру.

— Верно, — согласился тот. — Сутулый теперь хозяин на кухне; повару придется прятать свои когти.

Магридж расслышал это и бросил на меня быстрый взгляд, но я сделал вид, что разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу полной и окончательной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний.

Следующие дни показали правильность пророчества Смока. Повар держал себя со мной более подобострастно и раболепно, чем даже с самим Волком Ларсеном.

Я больше не называл его «сэр» и «мистер», не чистил больше картофеля и не мыл сальной посуды. Я исполнял только свою работу, делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски, на ремне у бедра, и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно.

ГЛАВА X

Моя дружба с Волком Ларсеном возрастает, если только можно называть «дружбой» отношения между хозяином и слугой, или, еще вернее, между королем и шутом... Я для него игрушка, и он ценит меня не больше, чем ребенок свою игрушку. Моя обязанность — забавлять его, и пока я забавляю его, все идет хорошо. Но лишь только он начинает скучать или на него находит мрачное настроение, как он сейчас же отсылает меня из кают-компании на кухню, и счастье еще, если мне удастся уйти целым и невредимым.

Его одиночество постепенно начинает ложиться тяжестью на мою душу. На судне нет ни одного человека, который не боялся бы и не ненавидел его. И нет ни одного, которого он, в свою очередь, не презирал бы. Кажется, будто его пожирает та ужасная сила, которая заключена в нем и не находит себе исхода. Он таков, каким был бы гордый Люцифер¹ если бы он был изгнан в общество призраков.

Такое одиночество тягостно само по себе, но оно еще более отягощалось постоянной меланхолией, свойственной его расе. Узнав его, я все яснее и яснее понимал старые скандинавские легенды. Белолицые рыжеволосые дикари,

¹ Люцифер, буквально — «светоносец»; наименование утренней звезды; одно из древних и средневековых названий дьявола.

создавшие свой страшный пантеон¹, были одной с ним кости. Легкомыслие веселых представителей латинской расы не находило в нем никакого отзвука. Его смех — выражение жесткого юмора. Но он смеется редко, гораздо чаще он печален. И печаль его так же глубока, как корни его расы. Он унаследовал ее от своих предков. Эта печаль сделала его народ умеренным, воздержанным, трезвомыслящим, опрятным и до фанатичности нравственным. Особенно ярко проявились эти черты в английском пуританизме. Главный исход эта первобытная меланхолия находила в религии, в ее наиболее грозных формах. Но Волк Ларсен отрицал такого рода утешение. Его звериный материализм исключал религию. И поэтому, когда на него находило мрачное настроение, ему оставались только его дьявольские выходки. Если бы он не был таким ужасным человеком, я мог бы иногда жалеть его. Так, например, три дня назад, утром, когда я зашел к нему в каюту, чтобы налить воды в кувшин, я вдруг неожиданно натолкнулся на него. Он меня не видел. Он опустил голову на руки, и его плечи судорожно подергивались от рыданий. Его душа точно разрывалась от страдания. Я тихонько вышел и услышал за дверью, как он стонал: «Боже мой, Боже мой!» Я не думаю, чтобы он в это время призывал Бога, — это было просто восклицание, но оно шло из самой глубины его души.

За обедом он спросил охотников, не знают ли они какого-нибудь средства от головной боли, а вечером он, сильный человек, был почти слеп и от боли метался по кают-компани.

— Никогда в жизни я не болел, Сутулый! — сказал он, в то время как я провожал его в каюту. — И головной боли у меня никогда не было, кроме того раза, когда мне раскроило голову рукояткой от лебедки.

Эта страшная головная боль продолжалась три дня, и все это время он страдал безропотно и одиноко, как дикий зверь: без жалобы, без сочувствия, как, по-видимому, обычно страдают на судах.

Однако сегодня утром, войдя в его каюту, чтобы прибрать постель, я нашел его здоровым и погруженным в работу. Его стол и койка были завалены чертежами и вычислениями. Он наносил с помощью циркуля и угольника на большой прозрачный лист кальки какой-то чертеж.

— А, Сутулый! — приветливо встретил он меня. — Я как раз кончаю последние штрихи. Хотите посмотреть, в чем дело?

— А что это? — спросил я.

— Изобретение, сберегающее труд моряков и сводящее мореплавание к простоте детской игры. Теперь даже ребенок сможет управлять судном. Всякие сложные выкладки отпадают. Все, что отныне понадобится в самую бурную ночь, — это одна звезда, с помощью которой вы мгновенно сможете определить, где вы находитесь. Смотрите. Я помещаю чертеж на прозрачной бумаге на эту карту звездного неба и поворачиваю его к Северному полюсу. Я вычислил и пе-

¹ Пантеон — в древности храм, посвященный всем богам; усыпальница великих людей.

ревел на чертеж широты и долготы. Достаточно положить его на звездную карту и поворачивать, пока данная точка не придется против цифр на нижней карте, и — готово! Вот вам и точное местонахождение судна.

В его голосе звучало торжество, и его глаза, в это утро чистые и голубые, как море, сияли ярким светом.

— Вы, должно быть, хорошо знаете математику, — сказал я. — Где вы учились?

— К сожалению, я никогда не был в школе, — ответил он, — приходилось самому добиваться всего. А как вы думаете, почему я сделал эту штуку? — неожиданно спросил он. — «Иль мысляю я оставить след в песках времен?»

Он засмеялся своим ужасным язвительным смехом.

— Нисколько. Я просто хочу получить патент, нажить денег и свински прокутить их за одну ночь, пока другие люди будут работать в поте лица. Вот моя цель. А вместе с тем мне было просто приятно работать над этой задачей.

— Радость творчества, — пробормотал я.

— Да, кажется, это так надо назвать. Это только другой способ выразить радость жизни, победу движения над материей, живого над мертвым, или, наконец, гордость закваски, сознающей, что она действительно закваска жизни.

Я всплеснул руками в беспомощном негодовании на его закоснелый материализм и занялся приготовлением постели. Он продолжал вычерчивать линии и геометрические фигуры на прозрачной бумаге. Его работа требовала необыкновенной чистоты и точности, и я восхищался тем, как он сдерживал свою силу и чертил тонкие, изящные линии.

Закончив уборку, я загляделся на него, зачарованный. Он был, безусловно, красив, красив настоящей мужественной красотой. И вновь с прежним изумлением я заметил, что у него на лице нет следов ни порока, ни жестокости, ни греха. Можно было поклясться, что это лицо человека, который не способен на злое дело. Говоря это, я не хочу, чтобы меня превратно понял читатель. Я хочу только сказать, что это было лицо человека, который или не делал ничего противоречащего указаниям его совести, или не имел ее совсем. Я скорее склонен именно к последнему объяснению. Он был великолепным представителем атавизма¹. Человек, принадлежащий к первобытному типу, явившийся в мир до введения каких-либо моральных законов. Ему была неизвестна мораль, он был аморален.

Как я уже сказал, он был образцом мужественной красоты. Его лицо было гладко выбрито, и каждая черта выступала четко и резко, как у камен. Его белая кожа от морского ветра и яркого солнца стала темно-бронзовой и говорила о многих жизненных битвах. Этот загар еще больше подчеркивал его дикость и красоту. Губы его обладали той твердостью, почти резкостью, которая характерна для тонких губ. Подбородок, челюсти говорили о жестокости и неукро-

¹ Атавизм — проявление у потомства признаков, отсутствующих у родителей, но существовавших у более отдаленных предков.

тимости самца. Нос был резко очерчен. Он чуть-чуть напоминал орлиный клюв и принадлежал человеку, рожденному побеждать и властвовать. Он мог быть греческим, мог быть и римским, только для первого он был немного широк, а для второго тонок. И хотя все лицо было воплощением жестокости и силы, на нем лежала печать изначальной меланхолии. Она углубляла линии в углах рта, проводила морщинки у глаз и на лбу и, казалось, придавала величие и законченность, которых иначе недоставало бы его облику.

Итак, я поймал себя на том, что стоял без дела и изучал его. Не могу передать, как глубоко заинтересовал меня этот человек. Кто он? Кем он был? Как он жил раньше? Казалось, ему принадлежали все силы, все возможности, почему же он оставался безвестным капитаном какой-то промысловой шхуны и славился среди моряков только своей невероятной жестокостью?

Мое любопытство разразилось потоком слов:

— Почему вы не совершили великих подвигов в этом мире? С вашей мощью вы могли бы подняться до любой высоты. Не зная ни совести, ни морального инстинкта, вы могли бы властвовать над миром, сломить его мановением руки. А между тем я вижу вас здесь, в зените вашей жизни, когда она уже начинает идти на ущерб, — вижу вас влачащим темное и грязное существование, охотящимся на каких-то морских зверей для удовлетворения женского тщеславия и кокетства, купающимся в свинстве, говоря вашими собственными словами. В этом нет ничего прекрасного. Почему при всей вашей изумительной силе вы ничего не сделали? Ничто не могло бы помешать или остановить вас, ничто. В чем же дело? Или у вас не было честолюбия? Или вы не устояли перед искушениями? Скажите, отчего это?

Он в самом начале моей вспышки поднял на меня глаза и спокойно следил за мной, пока я, наконец, не закончил. Я стоял перед ним задышающийся и смущенный. Он с минуту подождал, как бы ища, с чего начать, и затем сказал:

— Сутулый, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел сеять? Если вы помните, «иное зерно упало на камень, где оказалось немного земли, и скоро пустило росток, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, зерно увяло и засохло, потому что у него не было корня; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».

— Ну, хорошо, — сказал я.

— Хорошо? — повторил он насмешливо. — Нет, совсем не хорошо. Я был одним из этих зерен.

Он наклонился над чертежом и стал продолжать работу. Я закончил уборку и уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, когда он опять обратился ко мне:

— Сутулый, если вы взглянете на карту западного берега Норвегии, то вы увидите там залив, который называется Ромсдаль-фьорд. Я родился в ста милях от этого морского рукава. Но я не родился норвежцем. Я датчанин. Мой отец и мать — датчане; я никогда не мог узнать, как они попали в эту пустынную часть западного берега Норвегии. За исключением этого никакой тайны в их жизни не было. Это были простые, бедные, неграмотные люди. Они про-

исходили от целого ряда поколений таких же бедных и неграмотных людей, посылавших с незапамятных времен своих сыновей в море. Больше мне нечего сказать о них и о себе.

— Как нечего? — возразил я. — Еще многое для меня не ясно.

— Ну, что же я вам могу еще рассказать? — спросил он снова, делаясь мрачным. — Рассказать о лишениях, перенесенных ребенком? О рыбной диете и грубой жизни? О лодках, на которых я плавал в море, едва научившись ходить? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и не возвращались? О самом себе, безграмотном каютном юнге, плававшем с десяти лет на старых каботажных судах? О жестокой качке и еще более жестоким обращении, когда пинки и удары были моим сном и обедом и заменяли собой слова, а в душе моей оставляли страх, ненависть и боль? Я не хочу вспоминать. Меня охватывает даже приступ безумия, когда я думаю об этом. Были каботажные¹ шкиперы, которых я, вернувшись на родину в зрелом возрасте, охотно убил бы на месте, но только я не встретился с ними. К сожалению, эти шкиперы уже поумирали, все, кроме одного, который тогда был еще штурманом, а когда я с ним встретился, стал капитаном. Я оставил его калеккой, которому ходить никогда больше не придется.

— Но где же вы, читающий Спенсера и Дарвина и никогда не посещавший школы, научились читать и писать?

— На английских торговых судах. Каютным юнгой — двенадцати лет, юнгой — четырнадцати, матросом — шестнадцати и, наконец, поваром на баке. У меня были бесконечные планы и бесконечное одиночество. Я не получал ни поддержки, ни сочувствия. Я до всего дошел сам — до навигации, математики, естественных наук, литературы, и чего еще? А какая польза? Владелец и капитан судна в зените жизни, как вы говорите, — я начинаю уже идти на убыль и приближаться к смерти. Жалкая жизнь! И когда взошло солнце, я увял и засох, так как у меня не было корней.

— Но история говорит нам о рабах, поднявшихся до трона, — упрекнул я его.

— История также говорит и о счастливых возможностях, представившихся этим рабам, поднявшимся до трона, — ответил он мрачно. — Ни один человек не создает себе сам счастливого случая. Великие люди ловили этот случай, когда он им предоставлялся. Корсиканец² поймал свой случай. У меня были мечты не менее великие, чем у него. Я узнал бы свой случай, но он никогда ко мне не приходил, терние выросло и задушило меня. И вот что, Сутулий, могу вам добавить: вы знаете обо мне больше, чем кто-либо на свете, кроме моего брата.

— А кто он и где он?

— Владелец парохода «Македония», промыслового судна. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.

— Смерть Ларсен! — невольно вскрикнул я. — Он похож на вас?

¹ Каботажный — прибрежный.

² Наполеон I — по происхождению корсиканец (род. на о. Корсика в Средиземном море).

- Не очень. Он безголовый кусок мяса. В нем, как и во мне, много... много...
- Зверского, — подсказал я.
- Да, благодарю вас за слово, именно — «зверского»; в нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
- И он никогда не философствует о жизни? — добавил я.
- Нет, — ответил Волк Ларсен с неопишуемой горечью, — и он счастливее меня, оставляя все эти вопросы в покое. Он слишком занят самой жизнью, чтобы еще задумываться над ней. Моя ошибка в том, что я когда-то открыл книгу.

ГЛАВА XI

«Призрак» дошел, наконец, до самой южной точки той дуги, которую он описывал в Тихом океане, и устремился к северо-востоку, по направлению к какому-то одинокому острову, где ему предстояло пополнить запасы пресной воды, прежде чем отправиться на охоту вдоль берегов Японии. Охотники пробоваали свои ружья и винтовки и упражнялись в стрельбе, а матросы, гребцы и рулевые приготовили паруса для лодок, обшили кожей и оплели веревками весла и уключины, чтобы не шуметь, когда они будут подбираться к котикам, — вообще привели лодки в «полный парад», по выражению Лича.

Кстати, рука Лича быстро заживает, хотя шрам останется на всю жизнь. Томас Магридж все еще боится его и с наступлением темноты не показывается на палубе. На баке произошли три или четыре крупные ссоры. Луис сообщил мне, что болтовня матросов передается на корму и что двое доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Он с сомнением качает головой, заговаривая о будущем Джонсона: Луис и Джонсон — гребцы на одной и той же лодке. Джонсон повинен в том, что слишком откровенно высказывается, и уже два или три раза столкнулся с Волком Ларсеном из-за произношения своей фамилии. Недавно ночью он поколотил Йогансена на палубе, и с тех пор штурман произносит его имя правильно. Но, конечно, нельзя ожидать, чтобы Джонсон мог поколотить Волка Ларсена.

Луис дал мне дополнительные сведения о другом Ларсене, которого прозвали Смерть Ларсен. Рассказы Луиса совершенно совпадают с краткой характеристикой, данной капитаном. Мы можем ждать встречи с этим Ларсеном у японских берегов.

— И тогда ждите грозы, — предсказывал Луис, — потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть Ларсен командует «Македонией» — единственным промысловым пароходом во всей флотилии. У «Македонии» четырнадцать лодок, в то время как у остальных шхун только по шесть. Ходят слухи, что на «Македонии» имеются даже пушки и что она предпринимает самые рискованные экспедиции, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и незаконной перевозки оружия в Китай и кончая вербовкой рабов на Полинезийских островах и открытым пиратством.

Я не мог не верить Луису, как ни казалось все это фантастичным, потому что я еще ни разу не поймал его на лжи, а знания его были подобны энциклопедии по всем вопросам, касавшимся команд промысловых флотилий и боя котиков.

На этом дьявольском судне везде происходило одно и то же: на баке и в кухне, на корме и в кают-компании. Все ссорились, все были на ножах друг с другом, и каждый дрожал за свою собственную шкуру. Охотники все время ждали, что между Смоком и Гендерсоном дело дойдет до стрельбы: их старая ссора все еще не была изжита, а Волк Ларсен определенно заявил, что в случае поединка между ними он застрелит того, кто останется жив. Он совершенно откровенно признает, что позиция, занятая им, основана не на моральных соображениях и что все охотники могли бы спокойно перерезать и сожрать друг друга на его глазах, если бы он не нуждался в них для охоты. Если они согласятся воздержаться от драки до конца сезона, то он обещает им царскую потеху: они могли бы тогда уладить все свои споры, выбросить трупы за борт и потом придумать какие угодно объяснения гибели недостающей части экипажа. Мне кажется, что даже охотники были поражены его хладнокровной кровожадностью. Как ни были они свирепы сами, они, несомненно, боялись его.

Томас Магридж в своем подчинении мне стал похож на собаку, а я все-таки не переставал втайне его побаиваться. Ему была свойственна храбрость, рождавшаяся под влиянием страха, — странное явление, которое я наблюдал на себе самом, — и это состояние могло в любую минуту победить в нем животную трусость и заставить его броситься на меня. Мое колено почти совсем поправилось, хотя иногда и побаливает. Понемногу поправляется и рука, которую сжал мне Волк Ларсен. Мои мускулы увеличились и сделались тверже. Но руки огорчают меня: у них очень жалкий вид, они точно ошпаренные и покрыты трещинами, ногти сломаны и черны от вьевшейся в них грязи, на ладонях мозоли. Кроме того, меня часто мучили нарывы, — вероятно, от пищи, так как раньше у меня никогда их не было.

На днях Волк Ларсен позабавил меня. Я застал его за чтением Библии, экземпляра которой, после тщательных поисков в начале плавания, наконец, оказался в сундуке умершего штурмана. Я поинтересовался, что извлекал оттуда Волк Ларсен, и он прочел мне кое-что из Экклезиаста. Мне казалось во время чтения, что он произносил свои собственные мысли, и его голос, гулко и мрачно звучавший в маленькой каюте, очаровывал и держал меня в состоянии напряженного внимания. Ларсен необразован, но он умеет передавать музыку стихов и прозы. Я и сейчас слышу его голос и никогда не забуду, как все с той же враждебной ему печалью он читал следующие строки из Экклезиаста:

«Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц, и для услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым, — богаче всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною.

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их; и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и несчастному, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.

Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, — и безумие в сердцах их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.

И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более доли вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

— Ну вот вам, Сутулый, — сказал он, закладывая пальцем книгу и глядя на меня. — Пророк, царь Израиля в Иерусалиме, думал то же, что и я. Вы называете меня пессимистом. Разве это не самый мрачный пессимизм? «Все суета и томление духа...» «Нет от них пользы под солнцем...» «Одна участь всем — глупцу и мудрецу, чистому и нечистому, грешнику и святому, — и эта участь — смерть, и это злая вещь», говорит пророк. Потому что он любил жизнь и не хотел умирать, недаром он сказал: «Живому псу лучше, чем мертвому льву». Он все-таки предпочитал суету и томление духа неподвижности могилы. И я тоже. Ползать — свинское дело, но походить на камень и скалу — ужасно. Это ужасно для той жизни, которую я чувствую в себе, той жизни, основой которой является движение и сознание силы этого движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но предвидеть смерть еще менее утешительно.

— Ваш взгляд хуже взгляда Омара, — сказал я. — Он, по крайней мере, хоть после обычных юношеских томлений нашел удовлетворение и наполнил свой материализм радостью.

— Кто был этот Омар? — спросил Волк Ларсен, и мне уже не пришлось работать ни в этот день, ни в следующие.

В своем случайном чтении Волк Ларсен до сих пор как-то не наталкивался на «Рубайат» Омара Хайяма¹, и эта книга теперь представилась ему целым кладом сокровищ. Большую часть стихов я знал на память, — пожалуй, две трети всех четверостиший, — и мне удалось без труда восстановить в памяти и все остальные. Мы целыми часами говорили об отдельных стансах, и я заметил, что

¹ Омар Хайям — персидский философ и поэт-пессимист; умер в 1123 г. в Нишапуре. После смерти стяжал мировую славу своими стихами-четверостишиями (*рубайи*), переведенными на все европейские языки. Особенно популярна его книга среди англосаксов, в замечательном переводе англичанина Эдварда Фитцджеральда. В 1922 г. книга Фитцджеральда появилась в русском стихотворном переводе.

он находил в них ноты печали и возмущения, которых я сам раньше не замечал. Возможно, что я вносил в декламацию свою собственную радостную мелодию, потому что при втором чтении, а иногда даже и при первом, он повторял (память у него была очень хорошая) те же самые строфы слово в слово и наполнял их бурным и страстным протестом, покорявшим слушателя.

Меня интересовало, какое четверостишие понравится ему больше всего, и я не удивился, когда он выделил то, где отразилось мгновенное раздражение, шедшее вразрез со спокойной философией перса и его благодушным взглядом на жизнь:

Что, не спросясь, пригнало нас сюда?
И, не спросясь, уносит нас — куда?
Чтоб память об обиде этой смыть,
Вино, друзья, пусть льется, как вода.

— Великолепно! — воскликнул Волк Ларсен. — Замечательно! Это ключ ко всей книге! Обида! Нельзя придумать лучшего слова!

Я напрасно пытался возражать. Он засыпал меня своими доводами.

— Природа жизни такова. Жизнь всегда возмущается, когда знает, что должна прекратиться. Этому помочь нельзя. Пророк нашел, что жизнь и все дела житейские — суета и томление и злая вещь, но смерть — это прекращение суеты и страдания — нечто еще более жестокое. Из главы в главу он горюет по поводу той участи, которая одинаково ждет всех нас. То же и с Омаром, то же со мной и даже с вами, потому что и вы возмутились против смерти, когда поваришка стал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Та жизнь, которая в вас, которая составляет ваше «я» и которая больше вас самого, не хотела умирать. Вы говорили об инстинкте бессмертия. Я говорю об инстинкте жизни, о воле к жизни, которая при угрозе смерти побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Она победила этот инстинкт в вас, вы не можете это отрицать, и только потому, что какому-то дураку пришла охота точить на вас нож. Вы и теперь боитесь повара. Вы боитесь меня. Вы не станете это отрицать. Если бы я схватил вас за горло, вот так, — его рука была уже у моего горла, и у меня захватило от страха дыхание, — и начал бы выжимать из вас жизнь, вот так и так, то ваш инстинкт бессмертия очень слабо замерцал бы в вас, а инстинкт жизни, рвущийся к бытию, вспыхнул бы, и вы стали бы бороться, чтобы только спастись. А! Я уже вижу страх смерти в ваших глазах. Вот вы уже бьете по воздуху руками. Вы напрягаете всю свою крохотную силу, чтобы бороться за свою жизнь. Ваша рука поднимается, язык высовывается, лицо темнеет, и глаза теряют свой блеск. Жить! Жить! — кричите вы, и своим криком вы молитесь о жизни сейчас, здесь, а не за гробом. Вы теперь сомневаетесь в своем бессмертии? А?! Ха-ха! Вы уже не уверены в нем. А рисковать вам не хочется. Вы уверены в реальности только этой жизни. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти,

прекращение существования, чувства, движения. Он сгущается вокруг вас, опускается на вас, растет вокруг вас. Ваши глаза останавливаются. Теперь они уже остекленели. Мой голос доносится до вас слабо и точно издалека. Вы уже не видите моего лица. Но все еще боретесь под моей рукой. Брыкаетесь. Тело у вас извивается, как у змеи. Грудь содрогается, вы задыхаетесь. Жить! Жить! Жить!..

Больше я уже ничего не мог слышать — мое сознание погрузилось в тот мрак, который он так образно описал, и, когда я пришел в себя, я лежал на полу, в то время как он курил сигару и задумчиво посматривал на меня, со знакомым мне огоньком любопытства в глазах.

— Ну, убедил ли я вас? — спросил он. — Вот выпейте-ка этого. Я хочу вас кое о чем спросить еще.

Лежа на полу, я отрицательно покачал головой.

— Ваши аргументы... слишком насильственны, — с трудом проговорил я и почувствовал вдруг сильную боль в горле.

— Через полчаса все пройдет, — уверил он меня. — И я обещаю, что больше не буду применять к вам физического воздействия для доказательства. Ну, вставайте же! Вы ведь можете сесть на стул!

И я — игрушка в руках этого чудовища — должен был снова принять участие в разговоре об Омаре и Экклезиасте, и мы просидели до полуночи и все говорили и говорили.

ГЛАВА XII

Последние двадцать четыре часа прошли как вакханалия зверства. Она распространилась по всему судну, от кают-компаний до бака, точно зараза. Я просто не знаю, с чего начать рассказ. Виновником всему был Волк Ларсен. Отношения между людьми на судне, напряженные, насыщенные взаимной враждой, были все время неустойчивы, и злые страсти вспыхнули пламенем, как степной пожар.

Томас Магридж оказался змеей, шпионом и доносчиком. Он пытался вернуть себе благоволение капитана, наущничая на матросов. Он-то и передал — я знаю это — Волку Ларсену неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе в складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Небольшие склады непортящихся товаров имеются обыкновенно на всех промысловых шхунах. В них есть все, что может понадобиться матросу во время плавания. Стоимость купленного высчитывается впоследствии из заработка после охоты на котиков. Во время охоты все гребцы и рулевые получают вместо жалованья известную плату с каждой шкуры котика, убитого охотниками их лодки.

Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона, и то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только что закончил подметать каюту

и был вовлечен Волком Ларсеном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг Иогансен спустился по трапу в сопровождении Джонсона. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу, в такт раскачиванию шхуны.

— Заприте дверь на задвижку, — сказал мне Волк Ларсен.

Исполняя приказание, я заметил тревогу в глазах у Джонсона, но ничего не понял. Я не мог и вообразить себе того, что должно было произойти, пока это не разыгралось на моих глазах. Но Джонсон знал, что должно случиться, и храбро ждал. И в его поведении я нашел полное опровержение материалистических теорий Волка Ларсена. Простой матрос Джонсон одушевлялся идеей, принципом, правдой и искренностью. Он был прав, знал, что прав, и не боялся ничего. Если бы понадобилось, он бы умер за правду. Он хотел быть до конца правдивым и искренним по отношению к собственной душе. Он доказывал мне победу духа над телом, непобедимость и нравственное величие души, не знающей ограничений и поднимающейся над временем, пространством, материей, с такой непобедимостью, какая может быть только при вере в вечность и бессмертие.

Но возвратимся к рассказу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса. Штурман Иогансен стоял в нескольких шагах, а Волк Ларсен сидел на вращающемся стуле, на расстоянии трех ярдов от Джонсона. После того как я запер дверь, наступило молчание, длившееся с минуту. Оно было прервано Волком Ларсеном.

— Ионсон, — начал он.

— Мое имя Джонсон, сэр, — смело поправил матрос.

— Ну, черт возьми, Джонсон так Джонсон! Догадываетесь ли вы, зачем я послал за вами?

— И да, и нет, сэр, — последовал медленный ответ. — Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть.

— И это все? — спросил Волк Ларсен мягким, тихим и вкрадчивым голосом.

— Я знаю, что вы ополчились на меня, — продолжал Джонсон со своей неизменной медлительностью, — я вам не нравлюсь. Вы, вы...

— Продолжайте, — ободрил его Волк Ларсен, — не бойтесь оскорбить меня.

— Я не боюсь, — ответил матрос с легкой краской гнева на лице, показавшейся из-под загара. — Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему.

— Вы даже слишком «уважаете себя» для судовой дисциплины, если вы именно это хотели сказать и если вы понимаете, что я хочу сказать, — было репликой Волка Ларсена.

— Я знаю английский язык и понимаю, что вы хотели сказать, сэр, — ответил Джонсон, краснея еще гуще при намеке на его плохое знание английского языка.

— Джонсон, — сказал Волк Ларсен с таким видом, словно весь предыдущий разговор был лишь предисловием к предстоящему делу, — я так понял, что вы не совсем довольны купленным костюмом.

— Да, недоволен. Он нехорош, сэр.

— И вы болтали об этом?

— Я всегда говорю, что думаю, сэр, — смело ответил матрос, не изменяя в то же время правилам морской вежливости, требовавшей прибавления «сэр» к каждой фразе.

В этот момент я случайно взглянул на Иогансена. Его большие кулаки сжимались и разжимались, а на лице было прямо дьявольское выражение, так злобно смотрел он на Джонсона. Я видел еще не заживший темный кровоподтек под глазом у Иогансена — след взбучки, полученной им несколько ночей назад от Джонсона.

Тут я впервые стал догадываться, что предстоит нечто ужасное, но что именно — я не мог себе представить.

— Знаете ли вы, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня? — спросил Волк Ларсен.

— Знаю, сэр, — было ответом Джонсона.

— Что же именно? — резко и властно проговорил Волк Ларсен.

— То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной.

— Смотрите на него, Сутулый, — обратился ко мне Волк Ларсен, — посмотрите на эту частицу одушевленного праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то, действительно имеющего цену; оно одушевлено разными людскими фикциями, вроде справедливости и честности, и все это в нем держится, несмотря на его личные неприятности и опасности. Что вы об этом скажете, Сутулый? Что вы о нем думаете?

— Я думаю, что он гораздо лучше вас, — ответил я, охваченный вдруг желанием отвлечь на себя часть гнева, который должен был разразиться над головой Джонсона. — Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий.

Он кивнул с любезностью дикаря.

— Совершенно верно, Сутулый, — сказал он, — совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая собака лучше мертвого льва, как мы с вами читали недавно у Соломона. Моей доктриной всегда была целесообразность, и этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородства, чем всякий другой пепел и пыль, а я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать?

Я покачал головой.

— Я пушу в ход буйство и рычание, я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю.

Он сидел в трех ярдах от Джонсона. В девяти футах! И, однако, он одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул подобно тигру, переносящемуся через препятствия. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову, но кулак Волка Ларсена пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие.

Я не в силах приводить подробности этой ужасной сцены. Она была слишком возмутительна. Мне делается дурно даже теперь, при одном воспоминании о ней. Джонсон храбро боролся, он не мог устоять против Волка Ларсена, а тем более против соединенных усилий Волка Ларсена и его помощника. Это было ужасно. Я никогда не представлял себе, чтобы человек мог столько вынести и все-таки жить и бороться. У него не было ни малейшей надежды, и он это знал так же хорошо, как и я, но его мужество заставляло его бороться до конца.

Я не мог больше выносить это. Я чувствовал, что схожу с ума, и побежал наверх, чтобы отворить дверь и убежать на палубу. Но Волк Ларсен, оставив на мгновение свою жертву, одним прыжком очутился около меня и отшвырнул меня в дальний угол каюты.

— Это простая подробность жизни, Сутулый, — засмеялся он. — Оставайтесь и наблюдайте. Вы, может быть, соберете больше данных по вопросу о бессмертии души. Кроме того, вы знаете, что душе Джонсона мы повредить не можем. Мы разрушаем только брентную оболочку.

Мне казалось, что прошли века, а на самом деле избивание продолжалось не больше десяти минут. Волк Ларсен и Иогансен нападали на несчастного со всех сторон. Они били его кулаками, давали пинки тяжелыми сапогами, сбивали его с ног и опять ставили на ноги, чтобы снова повалить. Глаза Джонсона ничего не видели, кровь текла из ушей, носа и рта и превращала каюту в мясную лавку. Избивание продолжалось и после того, как он не мог уже подняться.

— Тише, Иогансен, малый ход! — скомандовал Волк Ларсен.

Но зверь еще бушевал в штурмане, и Волк Ларсен отбросил его. Толчок был на вид легким, но Иогансен полетел, как пробка, и голова его с треском ударилась о стену. Он упал оглушенный, тяжело дыша и глупо мигая глазами.

— Откройте дверь, Сутулый, — получил я приказание. Я повиновался, и два зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, втащили вверх по трапу и положили на палубе. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз не кто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас.

Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он без разрешения вышел на корму и унес Джонсона

на бак, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. Джонсона невозможно было узнать: лицо его превратилось в сплошную опухоль — не было видно ни носа, ни глаз, ни рта.

Но вернемся к поведению Лича. К тому времени как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Волк Ларсен курил сигару и осматривал лаг¹, который «Призрак» обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт. Внезапно до моих ушей долетел гневный, хриплый голос Лича. Я обернулся и увидел, что он стоит с левой стороны кухни. Его лицо было бледно и перекошено, глаза блестели, а сжатые кулаки поднимались над головой.

— Да проклянет Бог твою душу, Волк Ларсен, — послал он приветствие капитану. — Да сгорит твоя подлая душа в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус, убийца, свинья!

Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения Лича. Но в данный момент уничтожить его не входило в капризные планы Волка Ларсена. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на взволнованного мальчика.

А тот проклинал Волка Ларсена так, как его еще никто никогда не проклинал. Матросы испуганной толпой собрались около люка на баке и слушали. Охотники, балагурия, высыпали из своей каюты, но я заметил, что легкомысленное выражение исчезло с их лиц, когда они слышали проклятия Лича. Даже они испугались, но не страшных слов юноши, а его сумасшедшей смелости. Казалось невозможным, чтобы живой человек мог так поносить Волка Ларсена. А я был потрясен и восхищен Личем. Я видел в нем блестящее доказательство непобедимости бессмертного духа, который выше плоти со всеми ее страхами. Этот мальчик напоминал мне древних пророков, смело обличавших неправду.

И как он обличал! Он обнажал душу Волка Ларсена для людского презрения. Он призывал на него проклятия Бога и небес и громил его с жаром, напоминавшим сцены отлучения от католической церкви в Средние века. В своем гневе он то поднимался до грозных высот, то в изнеможении падал до грязной площадной брани.

Его ярость граничила с безумием. На губах выступила пена, он задышался, в горле у него kloкотало, и временами речь его становилась нечленораздельной. И все время спокойный и бесстрастный Волк Ларсен, опершись на локоть, глядел вниз с каким-то странным любопытством. Это дикое проявление жизни, этот безумный бунт и вызов, брошенный ему движущейся материей, поражал и интересовал его.

Каждое мгновение мы ждали, что вот-вот он прыгнет на юношу и уничтожит его. Но по странному капризу он этого не делал. Его сигара потухла, а он все еще продолжал молча и с любопытством смотреть вниз.

¹ Лаг - прибор для определения скорости движения корабля.

Лич, наконец, дошел до экстаза бессильной ярости.

— Свинья, свинья, свинья! — повторял он, надрывая голос. — Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня? Ведь ты можешь это сделать. Но я не боюсь тебя. В тысячу раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну! Подходи же, трус! Убей меня! Убей! Убей!

Как раз в эту минуту беспокойная душа Томаса Магриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал у двери кухни, но теперь вышел, будто бы для того, чтобы выбросить за борт какие-то очистки, но на самом деле, чтобы посмотреть на убийство, которое, по его мнению, сейчас должно было произойти. Он заискивающе заглянул в лицо Волку Ларсену, который, по-видимому, не заметил его. Но повар был до конца бесстыден. Он повернулся к Личу и сказал:

— Какие выражения! Стыдно!

Бессильное бешенство Лича нашло себе исход. Наконец-то можно было вылить его на кого-нибудь. Повар в первый раз после столкновения с Личем появился на палубе без своего ножа.

Не успел он произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком Лича. Повар три раза пытался подняться на ноги, но каждый раз Лич снова его сшибал.

— О Боже мой! — закричал Магридж. — Помогите! Помогите! Хватайте его! Разве вы не видите? Оттащите его, ради Бога!

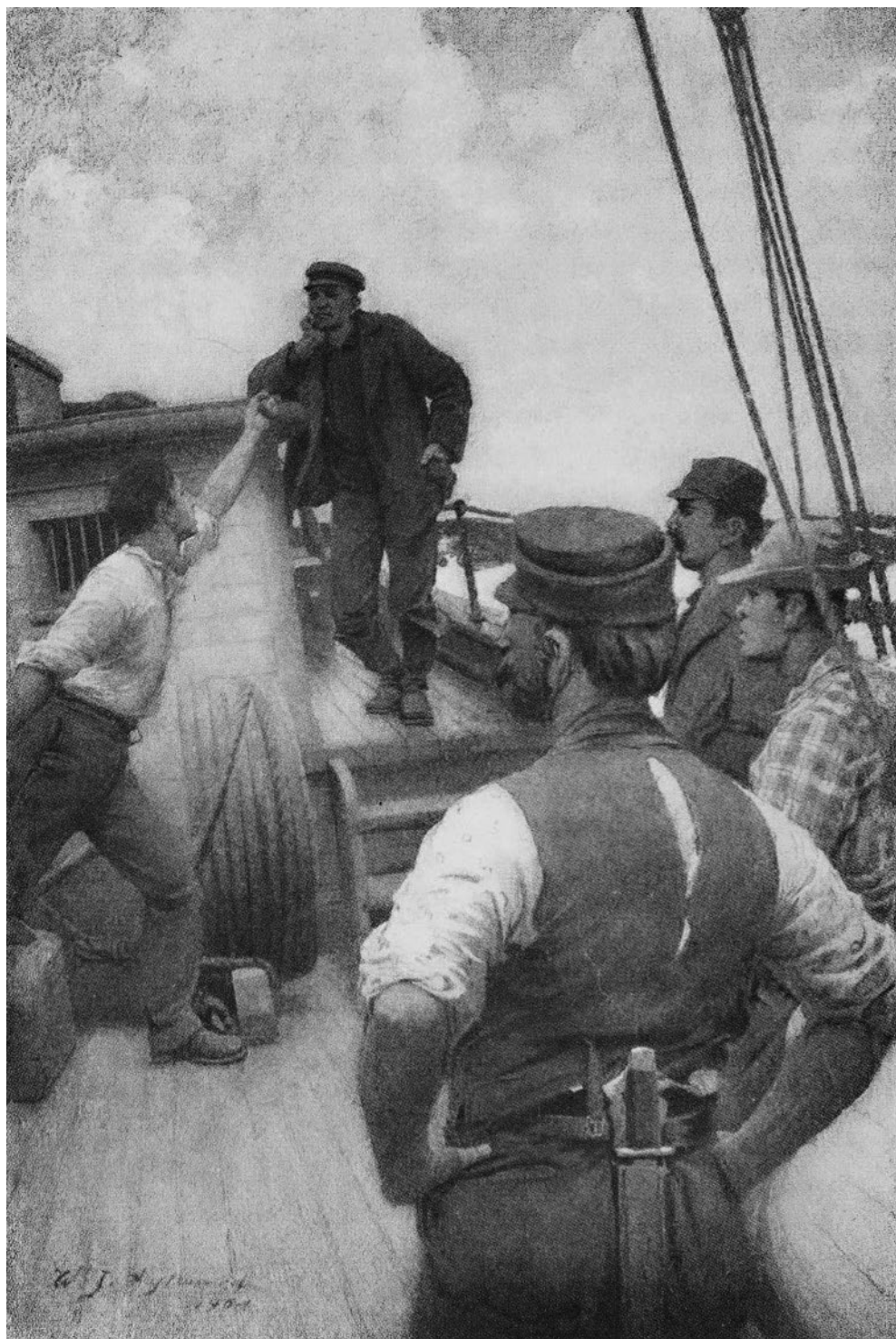
Охотники засмеялись с чувством облегчения. Над трагедией задернулся занавес. Начался фарс. Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного повара.

Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары, хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона.

А выражение лица Волка Ларсена все еще не менялось. Он даже не переменил позы и продолжал смотреть вниз с прежним любопытством. Казалось, он следил за игрой жизни в надежде открыть в ней еще что-то, расшифровать в ее безумнейших проявлениях какие-то элементы, до сих пор ускользавшие от его взора, найти ключ к тайне бытия, который все сделает ясным и простым.

Ну и досталось же повару! Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Повар тщетно пытался защититься от разъяренного парня. Напрасно старался он юркнуть в каюту. Он пробовал подползти к двери. Но удар следовал за ударом с ошеломляющей быстротой. Лич бросал повара из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. Он получил еще несколько пинков сапогами, как и Джонсон в каюте. И никто не вступился за повара. Лич мог бы убить его. Однако он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок.

Но эти два события были только началом кровавой программы этого дня. После обеда Смок и Гендерсон напали друг на друга. Из каюты послышались выстрелы, и четыре охотника выскочили на палубу. Столб густого злобонного дыма — какой обычно бывает от черного пороха — поднимался через



— Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня?

открытый люк. Сквозь эту пелену дыма Волк Ларсен бросился вниз. До наших ушей донеслись звуки ударов и шарканье ног. Оба охотника были ранены, а капитан бил их за то, что они ослушались его приказания и искалечили друг друга перед началом охотничьего сезона. Они оказались ранеными довольно тяжело; отколотив их, Волк Ларсен принялся, как умел, лечить их и перевязывать им раны. Я помогал ему в качестве ассистента, в то время как он зондировал и промывал раны. Оба охотника выносили его грубую хирургию без малейших обезболивающих средств, поддерживая свои силы только стаканами виски.

Затем во время первой вечерней вахты произошел новый скандал на баке, окончившийся дракой. Началось с болтовни о доносах, из-за которых был избит Джонсон, и, судя по тому шуму, который мы слышали, и по виду избитых людей, было очевидно, что одна половина матросов жестоко исколотила другую.

Вторая дневная вахта ознаменовалась дракой между Иогансеном и худощавым, похожим на янки охотником Латимером. Ссора началась из-за замечания Латимера, что штурман не дает спать никому в каюте, громко разговаривая во сне. Иогансена изрядно поколотили, но он тем не менее и следующую ночь не давал охотникам спать, а сам блаженно спал, непрерывно разговаривая и переживая во сне все подробности драки.

Меня же всю ночь мучили кошмары. День этот был точно ужасный сон. Зверство следовало за зверством, бушевавшие страсти и хладнокровная жестокость заставляли этих людей покушаться на жизнь друг друга, ранить, калечить и разрушать. Мои нервы были потрясены. Я прожил до этих дней в сравнительном незнании зверской стороны человеческой природы. Я знал только интеллектуальную жизнь. Я сталкивался и раньше с грубостью, но то была лишь грубость интеллекта, — язвительный сарказм Чарли Фэрасета, жестокие эпиграммы и остроты товарищей по клубу, некоторые неприятные замечания профессоров, когда я был на младших курсах университета. Вот и все. Но чтобы люди были способны вымещать свой гнев на других, проливая кровь и калеча их, — это было для меня поразительным и страшным открытием...

Да, недаром меня называли Снеси Ван-Вейден, думал я и беспокойно ворочался на своей койке, терзаемый кошмарами. Да, я убеждался, что не знал подлинной жизни. Я горько смеялся над собой и, казалось, готов был признать грубую философию Волка Ларсена более верным объяснением жизни, чем мою.

Я испугался, когда осознал такой уклон своих мыслей. Окружавшее меня зверство оказывало и на меня свое развращающее влияние. Оно омрачало для меня все самое прекрасное и светлое в жизни. Рассудок говорил мне, что избивание Томаса Магриджа было злым делом, но при всем желании я никак не мог помешать своей душе радоваться этому избиванию.

И даже сознавая всю огромность своего греха, — ибо это был грех, — я все-таки захлебывался от злорадства. Я больше не был Хэмфри Ван-Вейденом. Я был просто Сутулым, каютным юнгой на «Призраке». Волк Ларсен был моим капитаном, Томас Магридж и остальные — моими напарниками, и на мне был уже тот штамп, каким были отмечены они.

ГЛАВА XIII

В течение трех дней я работал за себя и за Томаса Магриджа и должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что Волк Ларсен остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления на кухне.

— Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда, — сказал Гаррисон, возвращая мне после обеда пустые котлы и тарелки с бака. — Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром, и, по моим расчетам, он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриско.

— Это так и есть, — подтвердил я.

— Пари держу, что он и спит в ней, — добавил Гаррисон.

— И не проиграете, — согласился я, — на нем всегда одна и та же рубашка, и за все время он не снимал ее ни разу.

Однако Волк Ларсен не дал Магриджу больше трех дней на поправку. На четвертый день его, хромого, больного и полуслеплого (так опухли его глаза), подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но Волк Ларсен не знал пощады.

— И чтобы ты больше не подавал помоев! Слышишь! — было напутствие капитана. — Смотри, чтобы больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку! А то отправишься у меня за борт. Понял?

Томас Магридж с трудом ковылял по кухне, и когда «Призрак» слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения, но промахнулся, и его рука всей тяжестью опустилась на горячую плиту. Послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли.

— Боже мой, Боже мой, что я наделал! — застонал он, усевшись на угольный ящик, и пытался успокоить боль, размахивая рукой. — Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда!

Слезы струились по его распухшим щекам, и лицо перекошилось от боли. Но вдруг на нем появилось злобное выражение.

— О, как я ненавижу его! — заскрежетал он зубами. — Как я его ненавижу!

— Кого? — спросил я.

Но он опять стал оплакивать свои злоключения. Впрочем, отгадать, кого он ненавидел, было легко. Труднее было догадаться, кого он любит. В нем сидел злой дьявол, который заставлял его ненавидеть весь мир. Иногда мне казалось, что он ненавидит даже самого себя, так жестоко и нелепо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне поднималось искреннее сочувствие, и мне становилось стыдно за то, что я радовался при виде его избиения. Жизнь была к нему несправедлива. Она сыграла с ним подлую шутку, когда вылепила из него то, чем он был. Да и потом она продолжала жестоко шутить над ним. Как он мог стать иным? И вот, как бы отвечая на мои мысли, он вдруг простонал:

— Мне никогда не представлялось счастливого случая, даже и полуслучая. Когда я был щенком, некому было послать меня в школу, некому было дать мне поесть, некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился? Кто? Ну, скажите, кто?

— Ничего, Томми, — сказал я, ласково положив руку ему на плечо, — подбодрись! В конце концов все образуется. Перед тобой еще долгие годы жизни, и ты еще успеешь сделать себе карьеру, какую захочешь.

— Это ложь, бессовестная ложь! — закричал он мне в лицо, сбрасывая мою руку. — Это ложь, и ты сам великолепно это знаешь! Я конченный человек, я сделан из отбросов и разной ерунды. Для тебя-то, Сутулый, это все ничего. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что такое быть голодным, никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик ноет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. Нет, дело пропащее! Сделай меня завтра хоть президентом Соединенных Штатов, все равно это уже не наполнит моего желудка за прошлое время, когда я был мальчишкой и бегал голодный как волк.

Этого не изменишь. Я родился на горе и муку! На мою долю выпало больше мучений, чем на долю десяти других детей, вместе взятых. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка, я болел ею и в Аспинвале, на Гаване и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цинги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Дальше — оспа на Гонолулу, перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналашке, три сломанных ребра и повреждение во внутренностях во Фриско. И вот теперь я здесь! Посмотри на меня! Ты только взгляни! Ребра опять поломаны. Наверно, стану харкать кровью. Кто же меня вознаградит за все это, спрашиваю я тебя. Ну, кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел, этот самый Бог, когда послал меня в этот проклятый мир!

Эти тирады против судьбы продолжались около часа, а потом, прихрамывая и кряхтя, он принялся за работу, с ненавистью ко всему миру, светившейся по-прежнему в его глазах. Его диагноз оказался правильным: время от времени ему становилось дурно, поднималась кровавая рвота, и он мучился. И, видно, Бог на самом деле ненавидел его и не хотел брать к себе. Он понемногу стал выздоравливать и сделался злее прежнего.

Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головой, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен, и это было хуже всего. Он стал унижаться перед Волком Ларсеном и почти пресмыкаться перед Иогансеном. Но не таково было поведение Лича. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и, как тигренок, открыто проявлял свою ненависть к Волку Ларсену и Иогансену.

— Я еще доберусь до тебя, косолапый швед, — как-то ночью сказал он штурману. Я слышал эти слова.

Штурман выругал его в темноте, и в ту же минуту какой-то предмет громко стукнул о стенку кухни. Послышалась ругань, потом насмешливый хохот. Когда

все успокоилось, я выскользнул из кухни и увидел, что тяжелый нож вонзился в толстое дерево стены чуть ли не на целый дюйм. Через несколько минут появился штурман, ощупью искавший нож, но я уже тихонько вытащил его из стены. Я вернул его Личу на следующий день. Он ухмыльнулся, когда я передавал ему нож, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных излияниях, свойственных людям моего прежнего круга.

В противоположность всем остальным обитателям шхуны, я ни с кем не был в ссоре и со всеми хорошо ладил. Возможно, что охотники только терпели меня, хотя никто из них не выражал нерасположения ко мне, а Смок и Гендерсон, которые теперь выздоравливали, лежа день и ночь в гамаках под тентом, даже уверяли меня, что я лучше всякой больничной сиделки и что они не забудут меня, когда получат свою выручку в конце плавания (словно я нуждался в их деньгах! Я мог десять раз купить все их пожитки и шхуну со всем оборудованием, да не одну, а двадцать таких шхун). На мне лежала обязанность перевязывать им раны, заботиться об их выздоровлении, и я делал все, что мог.

У Волка Ларсена был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся два дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не принесло ему облегчения. По моему совету он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.

— Это рука Божия, поверьте мне, — говорил Луис. — Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела, и этим еще не кончится, а то...

— А то что?

— А то я скажу, что Бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей. Но помни, я ничего не говорил.

Я, однако, жестоко ошибся, когда сказал, что живу в добрых отношениях со всеми. Томас Магридж не только продолжал ненавидеть меня, но вдобавок нашел новый повод для своей ненависти. Я долго не понимал, в чем тут дело, но в конце концов догадался: причиной ненависти было мое рождение под более счастливой звездой. Он не мог простить мне, что я родился «джентльменом», как говорил он.

— А покойников-то все еще нет, — поддразнивал я Луиса, когда Смок и Гендерсон, дружно беседуя, прогуливались бок о бок по палубе в первый раз после выздоровления.

Луис хитро посмотрел на меня своими серыми глазами и зловеще покачал головой.

— Не беспокойтесь, будут!.. — сказал он. — Смерть придет и зарычит: «Свистать всех наверх, ставить марселя...» Уж я давно это предчувствую, а теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть снасти (хотя их сейчас и не видно в темноте). Нет! Она уже близка, она уже идет!

— Кто же будет первым? — спросил я.

— Ну, только не я, толстый Луис, это я могу обещать наверное, — засмеялся он. — Я всеми своими костями чувствую, что через год, в это время, увижу свою старуху-мать, которая давно уже устала ждать и смотреть в море, похоронив в нем пятерых своих сыновей.

— Что это он говорил тебе? — спросил меня немного спустя Томас Магридж.

— Что он собирается как-нибудь съездить домой, мать повидать, — дипломатично ответил я.

— У меня никогда не было матери, — вздохнул повар, глядя на меня потухшими, бесцветными глазами.

ГЛАВА XIV

Мне вдруг пришло в голову, что я до сих пор недостаточно ценил женщин. Хотя я не влюбив, но все же проводил много времени в женском обществе. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался как-нибудь ускользнуть от них, потому что они терзали меня своей заботливостью о моем здоровье и своими периодическими набегами на мой кабинет. Они нарушали в нем артистический беспорядок, которым я гордился, и заменяли его худшим беспорядком, хотя комната в этом виде и казалась им более опрятной. После их ухода я никогда ничего не мог найти. Увы! С каким восторгом я увидал бы их теперь, услышал бы шелест их платьев, который я раньше искренне ненавидел. Я уверен, что если когда-нибудь вернусь домой, то больше никогда не буду с ними ссориться. Пусть они и днем и ночью пичкают меня лекарствами, пусть целый день вытирают пыль и прибирают мой кабинет: я спокойно буду глядеть на это, посылая благодарность судьбе за то, что у меня есть мать и сестры.

Эти воспоминания заставили меня задуматься. Где же матери всех этих двадцати с лишним людзей, бывших на «Призраке»? Как неестественно, что люди оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость — неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей, и тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Замечательно, что никто из них не женат. Годами никто из них не испытывал на себе влияния хорошей женщины. В их жизни нет, вследствие этого, необходимого равновесия. В них чрезмерно развилась их чисто животная мужественность, другие же душевные качества завяли или просто атрофировались.

Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, чтобы у них когда-либо были матери. Может быть, это какие-то полулюди, полуживотные, особая порода существ, не имеющих пола. Всю жизнь проводили они в грубости и пороке и в конце концов умирали, не оплаканные никем, так же как и жили, никем не любимые.

Под влиянием этих мыслей я заговорил с Иогансеном, — это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию восемнадцати лет, теперь ему тридцать восемь, и за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива.

— Да, она, вероятно, уже очень состарилась, — сказал он задумчиво, бросив острый взгляд на Гаррисона, который на градус уклонился от курса.

— Когда же вы в последний раз ей писали?

Он принялся высчитывать.

— В восемьдесят первом... нет, в восемьдесят втором... нет, позвольте, в восемьдесят третьем году; да, именно в восемьдесят третьем году. Десять лет назад. Из одного маленького порта на Мадагаскаре. Я тогда служил на торговом судне.

— Видите ли, — продолжал Иогансен, как бы обращаясь через океан к своей заброшенной матери, — я каждый год собирался домой. К чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего один год. И каждый год что-нибудь мешало поехать. Но теперь я штурман, и когда я получу в Сан-Франциско расчет и соберу около пятисот долларов, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль; заработаю в пути еще денег, ну а оттуда я заплачу за переезд наличными. Тогда старушке моей уже не придется больше работать!

— Но неужели же она еще работает? Даже теперь? Сколько же ей лет?

— Около семидесяти, — ответил он. А затем с гордостью прибавил: — У нас, на родине, работают от рождения и до смерти. Вот почему мы и живем долго. Я проживу до ста лет.

Я никогда не забуду этого разговора; эти слова были последними, которые я слышал от Иогансена. Может быть, это были даже последние слова, вообще им сказанные. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая. Мы уже вышли из полосы пассатов, и «Призрак» шел со скоростью не более одного узла. Я взял под мышки одеяло и подушку и поднялся на палубу.

Проходя около Гаррисона, я заметил, что компас показывал целых три градуса отклонения от курса. Думая, что Гаррисон проспал это отклонение, и желая избавить его от выговора или еще чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал. Глаза его были широко открыты и устремлены вдаль. Он был так растерян, что не мог даже ответить мне.

— В чем дело? — спросил я. — Ты болен?

Он качнул головой и с глубоким вздохом, точно пробудившись от сна, перевел дыхание.

— Тебе бы лучше не сбиваться с курса, — упрекнул я его.

Он перехватил несколько спиц штурвала, и я увидел, что стрелка компаса медленно отклонилась на северо-запад, где после нескольких колебаний остановилась.

Я уже собрался идти дальше, как вдруг какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней, в темноте, обрисовывалась другая. Я следил за этими руками как за замороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Кто бы это ни был, для меня было ясно, что он собирался вскарабкаться на палубу. Затем я увидел голову с мокрыми волосами, и передо мной, наконец, появилось лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове.

Быстрым движением он перебрал свое тело на палубу, встал на ноги и посмотрел на рулевого, как бы желая удостовериться, не грозит ли ему с этой стороны какая-либо опасность. Вода стекала с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто, предвещавшее смерть.

— Не бойтесь, Сутулый, — тихо сказал он. — Где штурман?

Я покачал головой.

— Иогансен! — тихо позвал он. — Иогансен! Да где же он? — обратился Ларсен к Гаррисону.

Молодой матрос несколько пришел в себя и довольно спокойно ответил:

— Не знаю, сэр. Недавно он прошел на бак.

— Я тоже недавно прошел туда и, как видишь, возвращаюсь не тем путем, каким шел. Можешь ли ты мне объяснить это?

— Вы, верно, попали за борт, сэр.

— Не посмотреть ли мне, сэр, нет ли его в каюте? — предложил я.

Волк Ларсен отрицательно покачал головой.

— Вы его не найдете там, Сутулый, — сказал он. — Но вы мне тоже нужны. Идемте! Бросьте свою постель! Оставьте ее здесь.

Я последовал за ним. На средней палубе не было никого.

— Проклятые охотники, — заметил он. — Черт их побери, растолстели до того, что не могут выдержать четырехчасовой вахты.

На баке мы нашли трех спавших матросов. Он повернул их и заглянул в лица. Эти матросы составляли ночную вахту, но на судне был обычай разрешать вахте, кроме штурмана, рулевого и часового, в хорошую погоду немного поспать.

— Кто часовой? — спросил Волк Ларсен.

— Я, сэр, — ответил с легкой дрожью в голосе Холиок, старый матрос дальнего плавания. — Я только сию минуту задремал, сэр. Виноват, сэр. Этого больше не будет никогда...

— Ты что-нибудь на палубе видел или слышал?

— Нет, сэр, я...

Но Волк Ларсен уже успел с легким раздражением отвернуться от матроса, и тот с изумлением стал протирать оба глаза, не веря, что так дешево отделался от капитана.

— Теперь тише, — шепотом предупредил меня Волк Ларсен, перегнувшись чуть ли не вдвое, чтобы спуститься по трапу на бак.

Я последовал за ним с бьющимся сердцем. Я не понимал, что случилось и что должно было произойти. Но было ясно, что уже пролилась чья-то кровь, и, видимо, не по своему собственному капризу Волк Ларсен с полураскрытым черепом перелетел через борт. К тому же недоставало и Иогансена. Это было знаменательно.

Я впервые спускался в каюту на баке и никогда не забуду того, что я увидел там, когда добрался до нее. Находясь на самом носу шхуны, каюта эта имела три стены, вдоль которых тянулись в два ряда двенадцать коек. Помещение было не больше отдельной каморки ночлежного дома, и, однако, в него было втиснуто двенадцать человек, которые тут и ели, и спали, и отправляли все свои надобности. Моя спальня дома совсем не была велика, и тем не менее она одна могла бы вместить в себе дюжину таких кают, а если принять во внимание ее высоту — и все двадцать.

Воздух был спертый, кислый, и при слабом свете качавшейся лампы я увидел, что все стены были увешаны сапогами, мокрыми куртками и всевозможным тряпьем, чистым и грязным. Все это раскачивалось, издавая странный шум, похожий на стук веток о крышу или о стену при ветре. Время от времени какой-нибудь сапог громко ударялся о стену, и хотя ночь была, в общем, тихой, тем не менее все время раздавался нестройный хор трещающих коек и переборок и какие-то странные звуки неслись из бездны под полом.

Но спавшие ничего этого, по-видимому, не замечали. Всего их там помещалось восемь человек. Спертый воздух был горяч от их дыхания, а до слуха доносились храпение, вздохи и бормотание, ясно говорившие об отдыхе, который получил, наконец, человек-животное.

Но спали ли они все в действительности? Все ли спали? И давно ли? По-видимому, Волк Ларсен затем и спустился, чтобы определить, кто из команды притворяется спящим и кто, может быть, только недавно заснул. И для решения этого вопроса он воспользовался приемом, который напомнил мне рассказ Боккаччо¹.

Он снял с крюка лампу и передал ее мне. Затем начал осмотр первых коек с правой стороны. Наверху лежал Уфти-Уфти, родом с Сандвичевых островов, великолепный матрос. Он спал, лежа на спине, и дышал тихо, как женщина. Одна рука его покоилась под головой, а другая лежала на одеяле. Волк Ларсен взял его руку и стал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся также спокойно, как и спал. Тело его при этом не шелохнулось. Движение было только в глазах. Они широко раскрылись, большие и черные, и не моргая уставились в наши лица. Волк Ларсен приложил палец к его губам, чтобы он молчал, и глаза его снова закрылись.

На нижней койке лежал жирный, теплый и потный Луис, спавший непритворно и тяжело. Он неловко вытянулся, когда Волк Ларсен стал считать его

¹ Боккаччо — знаменитый итальянский поэт и гуманист (1313–1375), автор «Декамерона».

пульс, и в течение одного мгновения лежал, опираясь только на плечи и пятки. Губы его раздвинулись, и он изрек следующую загадочную фразу:

— Кварта стоит шиллинг, но смотри в оба, чтобы трактирщик не подсунул тебе трехпенсового стаканчика за шесть пенсов.

Затем с тяжелым вздохом он перевернулся на другой бок.

Удовлетворенный этой честной репликой Луиса и глубиной сна Уфти-Уфти, Волк Ларсен подошел к двум следующим койкам, занятым, как мы увидели при свете лампы, Джонсоном и Личем.

Когда Волк Ларсен наклонился над нижней койкой, чтобы ощупать пульс Джонсона, я, стоя с лампой в руках, заметил, что голова Лича потихоньку приподнялась и свесилась над краем верхней койки, чтобы разглядеть, что происходило. Очевидно, он понял план Волка Ларсена и всю несомненность того, что будет уличен, потому что лампа мгновенно была выбита у меня из рук и каюта погрузилась во мрак. В то же мгновение он спрыгнул прямо на Волка Ларсена.

Первые звуки, донесшиеся после этого до меня, походили на шум борьбы быка с волком. Я услышал бешеный рев Волка Ларсена и отчаянное, кроважадное рычание Лича. По-видимому, немедленно вмешался в драку и Джонсон, и я понял, что его пресмыкательство перед Ларсеном за последние дни было хорошо обдуманым обманом.

Я был до такой степени потрясен этой схваткой в темноте, что прислонился к лестнице, дрожа всем телом, и не мог подняться по ней.

Мною овладело знакомое мне при всяких видах физического насилия чувство тошноты. Я не видел побоища, но ясно слышал звуки ударов — глухой стук, когда одно тело с силой ударяет другое. Кругом раздавались стоны копошившихся людей, тяжелое дыхание и короткие выкрики от внезапной боли.

Вероятно, в заговоре на жизнь капитана и штурмана участвовало несколько человек, потому что по усиливавшемуся шуму я мог заключить, что Лич и Джонсон были поддержаны некоторыми товарищами.

— Эй, кто-нибудь! Достаньте нож! — крикнул Лич.

— По голове его! — приговаривал Джонсон. — Выпустите-ка из него мозги!

После своего первого рычания Волк Ларсен не издал больше ни звука. Он мрачно и молча боролся за жизнь. Его положение было критическим. Сбитый с ног с самого же начала, он уже не мог встать, и я понял, что, несмотря на всю свою невероятную силу, надежды на спасение у него почти не оставалось.

О ярости их борьбы я получил наглядное представление: коснувшись мимоходом, они сбили с ног и меня, и я с трудом успел поползти до пустой нижней койки и таким образом убраться с дороги.

— Все сюда! — услышал я крик Лича. — Мы его держим! Поймали!

— Кого? — спросили те, кто на самом деле спал, и проснувшись, не понимали, в чем дело.

— Кровопийцу-штурмана! — хитро ответил Лич, с трудом произнося слова.

Это сообщение вызвало крики восторга, и теперь Волку Ларсену пришлось бороться уже с семью сильными людьми; кажется, только Луис не принимал участия в схватке. Бак гудел как разъяренный улей, потревоженный вором.

— Эй, вы, что там у вас внизу? — услышал я крик Латимера сверху.

Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот бушевавший под ним ад расходившихся страстей.

— У кого нож? Дайте мне нож! — умолял Лич, воспользовавшись наступившей вдруг тишиной. — Неужели же никто не даст мне ножа?

Однако большое число нападавших и повредило им. Они мешали друг другу, а Волк Ларсен, руководимый единой волей, достиг своей цели. Этой целью было пробраться к лестнице. Несмотря на полную темноту, я по звукам мог следить за его маневром. Только такой гигант, как Ларсен, мог сделать то, что сделал он, добравшись, наконец, до лестницы. Шаг за шагом он поднимался по ступеням лестницы, сопротивляясь всей куче людей, пытавшихся стянуть его назад, пока напоследок не выпрямился во весь рост.

Конец этой сцены я видел потому, что Латимер принес фонарь и стал светить им вниз через люк. Волк Ларсен почти добрался до верха, хотя он и был скрыт от меня массой уцепившихся за него тел. Эта гроздь людей извивалась, как паук, и ритмично качалась взад и вперед в такт качке судна. И, несмотря ни на что, шаг за шагом, с долгими промежутками, вся эта гроздь все-таки поднималась вместе с Ларсеном наверх. Один раз она заколебалась, готовая упасть, затем опять вцепилась в Волка Ларсена, и подъем продолжался по-прежнему.

— Кто это? — закричал сверху Латимер.

При свете фонаря я увидел его изумленное лицо.

— Я, Ларсен, — раздался придушенный голос из середины кучи.

Латимер протянул к нему свободную руку. Я увидел, что чья-то рука вырвалась из кучи тел к ней навстречу. Латимер потянул за нее, и следующие две ступеньки были уже взяты одним прыжком.

Потом поднялась и другая рука Волка Ларсена и ухватила за край люка. Кучка людей отделилась от лестницы, все еще держась за своего ускользавшего врага. Постепенно они стали отваливаться, по мере того как Ларсен ударял их об острый край люка, а затем стал сбрасывать ногами, которыми он теперь получил возможность действовать. Последним отделился Лич, упав навзничь с самого верха лестницы прямо на своих распростертых внизу товарищей. Волк Ларсен и фонарь исчезли. Мы остались в темноте.

ГЛАВА XV

Со стонами и проклятиями матросы стали подниматься на ноги.

— Зажгите спичку, у меня большой палец вывихнут! — крикнул матрос Парсонс, смуглый, мрачный рулевой с лодки Стэндиша, на которой гребцом был Гаррисон.

— Поищи на бимсах¹, они там лежали! — сказал Лич, садясь на край той койки, где я притаился.

Послышалось чирканье спички, затем зажгли маленькую лампу, и она тускло осветила кучку босых людей, осматривавших свои ушибы и раны. Уфти-Уфти взялся за палец Парсонаса, резко потянул его и вправил на место. В то же самое время я заметил, что пальцы у самого Уфти-Уфти разрезаны до кости. Он показывал всем свои раны, оскалив при этом в улыбке великолепные белые зубы, и объяснял, что рана произошла от того, что он изо всех сил ударил Волка Ларсена прямо по зубам.

— Так это ты сделал, черномазый? — воинственно спросил Келли, ирландец, первый раз отправившийся в дальнее плавание и бывший гребцом у Керфута. При этих словах он выплюнул изо рта вместе с кровью несколько зубов и вплотную приблизил к Уфти-Уфти свое разъяренное лицо. Канак прыгнул к своей койке и тотчас же обернулся, размахивая длинным ножом.

— Ах, да укладывайтесь же, наконец, спать! Честное слово, надоели вы мне, — вмешался Лич. Несмотря на молодость и неопытность, он, очевидно, был здесь коноводом. — Будет тебе, Келли! Оставь Уфти в покое! Как, черт побери, он мог узнать в этой адской темноте, что это был ты, а не Волк Ларсен?

Проворчав что-то, Келли подчинился, а Уфти-Уфти оскалил белые зубы в благодарной улыбке. Он был очень красивым существом: в мягких чертах его лица было что-то почти женское, а в больших глазах светилась задушевность, совершенно противоречащая его вполне заслуженной репутации яростного драчуна.

— Как ему удалось от нас удрать? — задал вопрос Джонсон.

Он сидел теперь на краю своей койки. Вся его фигура выражала крайнее уныние и безнадежность. Он все еще тяжело дышал. Во время схватки с него была сорвана рубашка; кровь из раны на щеке струилась на обнаженную грудь и сбегала по ноге на пол.

— Потому что это сам дьявол, как я вам уже не раз говорил, — ответил Лич.

При этих словах он вскочил на ноги и в отчаянии заметался по каюте. Следы подступили ему к горлу. Он то и дело жалобно повторял:

— И ни один из вас не мог протянуть мне нож!

Но в остальных проснулся страх возможных последствий, и они не обращали на Лича никакого внимания.

— Но как он узнает, кто из нас нападал на него? — спросил Келли, подозрительно оглядывая всех вокруг. — Конечно, если только никто из нас не донесет...

— Он узнает это с первого взгляда, — ответил Парсонс. — Одного взгляда на тебя будет достаточно!

— Скажи ему, что доска на палубе поднялась одним концом и выбила тебе зубы, — засмеялся Луис.

¹ Бимсы — поперечные брусья, соединяющие шпангоуты (*ребра корабельного остова*). На бимсы настилается палуба.

Он был единственным остававшимся все время на койке и теперь ликовал, что у него не было ранений, которые выставили бы напоказ его участие в ночной схватке.

— Вот только подождите, он всему вашему каторжному сброду завтра сделает осмотр! — загоготал он.

— Скажем, что приняли его за штурмана, — предложил один.

— Я уже знаю, что сказать, — решил другой, — я скажу, что услышал во сне драку, вскочил с койки, получил тотчас же затрещину по челюсти и тогда разошелся и сам. Тут уж я не разбирал в темноте, кто кого и за что, а только бил напрапалую.

— И что затрещину ты дал именно мне! — обрадовался Келли, и его лицо сразу просветлело.

Лич и Джонсон не принимали участия в разговоре, и было ясно, что товарищи смотрели на них как на обреченных, для которых нет более надежды. Некоторое время Лич терпеливо слушал, но, наконец, его взорвало.

— Надоели вы мне все! — закричал он. — Разини вы этикие! Меньше бы мололи языками да побольше бы работали руками, и все бы теперь было кончено. Ну, почему ни один из вас не мог сунуть мне в руку нож, когда я вопил о том, чтобы мне его дали? Тошно от вас! Дурака валяете, боитесь, что он убьет вас, если подвернетесь ему под руку? Сами хорошо знаете, что не убьет. Откуда ему достать других матросов? Что он, дурак, что ли? Где он наберет команду? Разве каких-нибудь поселенцев с необитаемых островов, что ли? Вы ему нужны для дела, и нужны до зарезу. Кто будет грести или править на лодках и на шхуне, если вас не будет? Вот нам с Джонсоном действительно придется выносить на себе всю музыку. Ну, залезайте на койки и дрыхните! Я хочу тоже отдохнуть!

— Ладно, ладно, — ответил Парсонс, — может быть, он нас и не прикончит, но помяните мое слово, он с сегодняшней ночи будет хуже ледяной глыбы для всего экипажа.

Все это время я с тревогой ждал, как решится моя собственная судьба. Что со мной будет, когда мое присутствие откроется? Я, разумеется, не сумел бы выбраться отсюда, как это сделал Волк Ларсен. В это мгновение вдруг раздался голос Латимера:

— Сутулый! Старик зовет тебя.

— Его здесь нету, — отозвался Парсонс.

— Нет, я здесь, — сказал я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу такое выражение, точно ничего и не случилось.

Матросы в смущении посмотрели на меня. На их лицах изобразились страх и та злоба, которая рождается от страха.

— Иду! — крикнул я Латимеру.

— Нет, не идешь! — завопил Келли, выступая вперед и становясь между мной и лестницей. Правая рука его в это время сжалась, как бы готовясь души. — Проклятый змееныш! Я заткну тебе глотку.

— Пусти его, — приказал Лич.

— Ни за что на свете! — последовал яростный ответ.

Лич на своей койке не шелохнулся.

— Говорю же тебе, пусти его! — повторил он.

На этот раз его голос был более решителен и зазвучал как металлический.

Ирландец заколебался. Я шагнул мимо него, и он отодвинулся. Подойдя к лестнице, я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на эти жестокие и злые лица, смотревшие на меня из полумрака. Во мне проснулось глубокое сочувствие к ним. Я вспомнил то, что говорил мне когда-то повар. Как Бог должен был всех их ненавидеть, если обрек их на такую жизнь!

— Поверьте, — спокойно сказал я, — я ничего не видел и ничего не слышал.

— Я же говорил, что он хороший парень, — услышал я, поднимаясь по лестнице, слова Лича. — Он терпеть не может капитана, так же как и мы с тобой.

Я нашел Волка Ларсена в каюте исцарапанным и окровавленным. Он ожидал меня и встретил своей странной улыбкой.

— Приступайте к работе, доктор, — сказал он. — Есть благоприятные признаки большой практики для вас во время этого плавания. Я, право, не знаю, как бы обходился без вас «Призрак», и если бы я мог найти в себе хоть какие-нибудь благородные чувства, то непременно сказал бы, что его капитан вам глубоко благодарен.

Я знал, как надо было пользоваться незатейливыми лекарствами и перевязочными средствами, имевшимися на «Призраке», и пока я грел воду на каютной печке и приготовлял все необходимое для перевязки, Ларсен все время ходил, смеясь, болтая и поглядывая на свои раны. До сих пор я не видел его обнаженным, и теперь был поражен его сложением. Культ тела никогда не был моей слабостью, но все-таки во мне было достаточно художественного чутья, чтобы оценить его пластическое телосложение.

Я был очарован линиями фигуры Волка Ларсена, его жуткой красотой. Я видел хорошо сложенных матросов на баке. Несмотря на могучую мускулатуру некоторых из них, у всех все-таки находился какой-нибудь недостаток. Здесь проглядывало недостаточное развитие, там чрезмерное; какое-нибудь искривление, нарушавшее симметрию; ноги были то слишком длинные, то короткие; то чрезмерно выдавалось какое-нибудь сухожилие или кость. Единственно, у кого линии тела обладали идеальной пропорциональностью, это у Уфти-Уфти, но его фигура была слишком женственна.

Волк Ларсен был воплощением мужественности. Он был почти божественно совершенен. При каждом движении мускулы его двигались и напрягались под атласной кожей. Я забыл упомянуть, что его бронзовый загар спускался только до плеч. Его тело — как у всех скандинавов — было бело, как у самой красивой женщины. Когда он поднял руку для того, чтобы пощупать рану на голове, я мог наблюдать движение его бицепса¹, — он был похож на живое су-

¹ Бицепс — двуглавая мышца руки.

щество, спрятавшееся под белоснежным покровом. Это был тот самый бицепс, который чуть не выдавил из меня жизнь и раздавал направо и налево столько уничтожающих ударов. Я не мог оторвать от него глаз. Я стоял неподвижно и смотрел на него; антисептический¹ бинт разворачивался в это время в моей руке, и кольца его падали на пол.

Ларсен заметил, что я смотрю на него.

— Бог хорошо вас вылепил, — сказал я.

— Разве? — ответил он. — Я сам часто об этом думал и дивился, к чему это?

— Цель... — начал я.

— Нет, полезность, — перебил он. — В этом теле все создано для пользы. Эти мускулы для того, чтобы хватать, терзать и разрушать те живые существа, которые попадутся мне на дороге. Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже мускулы, чтобы хватать, терзать и разрушать, но когда они становятся на моем пути, то именно я хватаю, рву и уничтожаю их. Вот этого нельзя объяснить целесообразностью, а принципом пользы для себя можно.

— Нельзя сказать, чтобы такое понимание было прекрасным, — протестовал я.

— Сама жизнь не прекрасна, — улыбнулся он. — Однако вы сказали, что я хорошо сложен. Теперь посмотрите вот на это.

Он крепко стал на ноги и уперся пальцами в пол каюты так, точно вцепился в него. Все мускулы на ногах напряглись: узлы, бугры, шары задвигались под кожей.

— Вот пощупайте, — сказал он.

Мускулы были тверды как сталь. В то же время я заметил, что все тело его напряглось. Мускулы мягко обозначились на бедрах, спине и вдоль плеч; руки слегка поднялись; их мускулы сократились; он согнул пальцы так, что они стали походить на когти. Даже выражение глаз вдруг изменилось: они приобрели зоркость, пристальность и тот огонек, с которым вступают в бой.

— Устойчивость, равновесие, — сказал он, мгновенно ослабляя напряжение и приходя в состояние покоя. — Ступни, чтобы цепляться ими за землю, ноги, чтобы твердо стоять, ну а что касается рук, ногтей и зубов, то они должны помогать в борьбе, чтобы убить и не быть самому убитым. Вы говорите: целесообразность. Нет, выгода, — это лучшее определение!

Я не стал с ним спорить. Я только что наблюдал в нем механизм борющегося примитивного зверя; это производило на меня столь же сильное впечатление, как и машины броненосца или трансатлантического парохода.

Принимая во внимание всю жестокость схватки на баке, я был удивлен незначительностью его ранений. Я горжусь, однако, тем, что ловко перевязал их. Кроме нескольких действительно серьезных ран, все остальное было не более как ссадины и царапины. Удар, полученный им перед тем, как он перелетел через борт, раскроил ему голову; рана была в несколько дюймов. Согласно его

¹ Антисептический — противогнилостный.

указаниям, я промыл и зашил эту рану, предварительно сбрив волосы около нее. Сильно пострадала и одна из его икр — казалось, будто она побывала в зубах у бульдога. Ларсен сообщил, что какой-то матрос ухватился за нее зубами в самом начале драки, да так и висел до тех пор, пока Ларсен не сбил его на самой верхней ступени лестницы.

— А вы ловкий парень, Сутулый, я убедился в этом, — начал Волк Ларсен, когда я закончил свою работу. — Как вы знаете, я опять остался без штурмана. Отныне вы будете стоять на вахте, получать семьдесят пять долларов в месяц, и все должны будут называть вас мистер Ван-Вейден.

— Я... я... ничего не понимаю в навигации, — пробормотал я. — Ведь вам это известно...

— Этого и не нужно.

— Право, я не претендую на такой высокий пост, — возразил я. — Я нахожу, что и в теперешнем моем скромном положении моя жизнь достаточно надежна. У меня нет опыта. Посредственность тоже имеет свои преимущества.

Он улыбнулся, как бы находя, что все уже покончено.

— Я не хочу быть штурманом на этом проклятом судне! — крикнул я с вызовом.

Его лицо приняло суровое выражение, и беспощадный огонек заиграл в глазах. Он подошел к двери каюты и сказал:

— А теперь, мистер Ван-Вейден, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мистер Ларсен, — ответил я едва слышно.

ГЛАВА XVI

Не могу сказать, чтобы положение помощника капитана доставляло мне много удовольствия, если не считать того, что я освободился от мытья грязной посуды. Я не знал самых простых обязанностей штурмана, и дела мои шли бы совсем плохо, если бы не сочувствие матросов. Я ничего не знал о снастях и о том, как ставить паруса, но матросы прилагали все усилия, чтобы научить меня. Особенно хорошим учителем был Луис, и у меня не было неприятностей с подчиненными.

Иначе обстояло дело с охотниками. В большей или меньшей степени знакомые с морем, они приняли мое новое назначение как нечто вроде шутки. По правде сказать, и мне казалось шуткой, что я, самый что ни на есть сухопутный житель, и вдруг исполнял обязанности штурмана; но быть посмешищем в глазах других мне не хотелось. Я не жаловался, но Волк Ларсен требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета, гораздо большего, чем было при бедном Иогансене, и ценой нескольких столкновений, угроз и ворчания он образумил и охотников. Я был теперь мистер Ван-Вейден, одинаково и на баке и на корме, и сам Волк Ларсен, только неофициально, изредка называл меня по-прежнему Сутулый.

Это было забавно. Иной раз, например, случалось, что ветер во время обеда на несколько градусов изменял направление. И вот когда я покидал стол, то он говорил: «Мистер Ван-Вейден, будьте добры повернуть на левый галс¹». И я шел на палубу, подзывал к себе Луиса и узнавал от него, что надо сделать. Получив от него инструкции и сообразив, в чем состоит необходимый маневр, я отдавал приказание матросам. Я помню, например, случай, когда Волк Ларсен появился на палубе как раз тогда, когда я начал отдавать приказания. Он покурил сигару и спокойно посматривал на меня, пока дело не было закончено, а затем вместе со мной прошел на корму по наветренной стороне.

— Сутулый, — сказал он мне, — виноват, мистер Ван-Вейден. Поздравляю. Я думаю, что вы теперь можете отправить ноги вашего отца обратно в могилу. Вы нашли свои собственные и научились стоять на них. Еще немного работы со снастями, парусами да некоторый опыт со штормами, и к концу плавания вы сможете управлять любой каботажной шхуной.

Этот период между смертью Иогансена и нашим прибытием на промыслы был для меня самым приятным временем на «Призраке». Волк Ларсен не был строг, матросы помогали мне, и я больше не был в противном обществе Томаса Магриджа. Должен признаться, что, по мере того как проходило время, я втайне начинал ощущать некоторую гордость.

При всей фантастичности моего положения, — сухопутнейший человек в качестве первого штурмана, — я тем не менее хорошо справлялся со своим делом. Я гордился собой и даже полюбил плавную качку «Призрака», опускавшегося и поднимавшегося под моими ногами, в то время как мы шли по тропическому морю на северо-запад, к тому островку, где должны были пополнить запас воды.

Но мое счастье не было безмятежным. Это было время относительного благополучия, промежуток между большими несчастьями в прошлом и в будущем. «Призрак» все-таки оставался ужасным, дьявольским судном. На нем не было ни минуты отдыха и покоя. Волк Ларсен не простил матросам покушения на свою жизнь и той трепки, которую он получил от них на баке. Он употреблял все усилия, чтобы сделать для них жизнь невыносимой. Отлично зная психологию мелочей, именно мелочами-то он и доводил команду до того, что она работала до изнеможения. Я видел, как он поднял с койки Гаррисона только затем, чтобы тот убрал забытую малярную кисть, а двое вахтенных были разбужены, чтобы сопровождать Гаррисона и удостовериться в том, что тот действительно это сделал. Это, конечно, пустяк, но Ларсен изобретал их тысячи, и можно себе представить, в каком состоянии непрестанно находились люди на баке.

Конечно, все это возбуждало ропот, и постоянно происходили небольшие вспышки. Капитан избивал матросов, и ежедневно двое или трое из них лечили у меня свои раны, нанесенные руками их хозяина-зверя. Но общее объединенное выступление было невозможно ввиду огромного запаса оружия, имевше-

¹ Галс — движение судна относительно ветра.

гося в кают-компании. Лич и Джонсон были главными жертвами дьявольского настроения капитана. То выражение глубокой меланхолии, которое иногда появлялось на лице и в глазах Джонсона, заставляло сжиматься мое сердце.

У Лича настроение было иное. В нем самом упорно жил бунтующий зверь. Казалось, он был одушевлен ненасытной злобой, которая уже не оставляла места для скорби. На губах его застыла злобная усмешка, и при виде Волка Ларсена с них срывалось почти бессознательно угрожающее рычание. Я часто видел, как он следил глазами за Ларсеном, точь-в-точь как животное следит за своим укротителем, и сжатые зубы задерживали свирепый звериный рык.

Вспоминаю, как однажды на палубе, в один из ясных дней я случайно дотронулся до его плеча, желая отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной и при первом же прикосновении вздрогнул и отскочил от меня, зарывав и оскалив зубы. Очевидно, он на одно мгновение принял меня за того человека, которого так глубоко ненавидел.

И он и Джонсон убили бы Волка Ларсена при малейшей к тому возможности, но эта возможность им не предоставлялась. Волк Ларсен был слишком хитер, и они не были так вооружены, как он. Они не справились бы с ним. На свои кулаки они мало надеялись. Время от времени капитан избивал Лича, который всегда защищался, как дикая кошка, пуская в ход зубы, ногти и кулаки, пока, наконец, весь измученный и без сознания не сваливался на палубу. Но это не останавливало Лича от борьбы при следующей схватке. Сидевший в нем дьявол всегда вызывал на бой дьявола, сидевшего в Вульфе Ларсене. Им достаточно было встретиться на палубе, чтобы немедленно начать драку. Я неоднократно видел, как Лич бросался на Волка Ларсена без всякого вызова или предупреждения с его стороны. Однажды он бросил в него свой тяжелый нож, пролетевший только на дюйм от его горла. В другой раз Лич бросил на капитана с бизань-мачты стальной драек¹. При качке корабля попасть было почти невозможно, но острый конец тяжелого драйка, просвистев семьдесят пять футов по воздуху, чуть-чуть не задел Волка Ларсена и вонзился на два дюйма в толстые доски палубы. Наконец, в третий раз, он пробрался в каюту, выкрал оттуда заряженную винтовку и уже выбежал на палубу, когда был пойман и обезоружен Керфутом.

Я часто удивлялся, отчего Волк Ларсен не убьет его и не положит конец всему. Но он только посмеивался и точно находил удовольствие в этой борьбе. Видимо, при всякой опасности ему нравилась острота переживания, примерно такая же, какую чувствуют люди, приручающие диких животных.

— Жизнь получает особый вкус, — объяснил он мне, — когда она висит на волоске. Человек по природе своей игрок, а жизнь — самая большая ставка, какая может быть на свете. Чем больше риска, тем больше наслаждения.

Почему я должен отказаться от удовольствия доводить душу Лича до точки кипения? Если хотите, я даже оказываю ему этим услугу. Сила переживания

¹ Драек — инструмент, употребляемый при такелажной работе.

обоюдна. Он живет более полной жизнью, чем кто бы то ни был другой на баке, хотя сам и не сознает этого. Он обладает тем, чего у остальных нет, а именно целью, всепоглощающей задачей, чем-то таким, что требует исполнения и что должно быть исполнено непременно. Желание убить меня, надежда, что я все-таки рано или поздно буду им убит, — право, Сутулый, он живет глубоко и ярко. Я сомневаюсь, жил ли он когда-нибудь так остро и напряженно, как теперь, и я самым искренним образом завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и иступления.

— Но это трусость, трусость! — закричал я. — Ведь на вашей стороне все преимущества.

— Кто же из нас двоих больший трус? — серьезно спросил он. — Если положение это неприятно, то почему вы миритесь с ним? Вы заключаете компромисс со своей совестью. Будь вы действительно сильным человеком, подлинно верным самому себе, вы бы объединились с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, трусите. Вы хотите жить. Жизнь кричит в вас; она хочет жить во что бы то ни стало, и вы влачите жалкое существование, изменяя своим лучшим идеалам, греша против всего вашего жалкого нравственного кодекса, и если существует ад, прямехонько ведете туда свою душу. Ха-ха! У меня более достойная роль. Я не грешу, потому что я верен велениям той жизни, которая во мне; я по крайней мере правдив по отношению к самому себе, а вы нет.

В его словах была своя правда. Может быть, я действительно играл трусливую роль. И чем больше я думал об этом, тем яснее становилось мне, что мой долг — присоединиться к Джонсону и Личу и сделать все, чтобы погиб Волк Ларсен. Тут, я думаю, сказалось во мне наследие моих предков-пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершалось для благой цели. Я остановился на этой мысли. Освободить мир от чудовища было бы актом вполне нравственным. Человечество стало бы от этого лучше и счастливее, а жизнь протекала бы легче и покойнее.

Я долго взвешивал эти соображения, лежа без сна на своей койке, раздумывая о бесконечной веренице злодейств Ларсена. Как-то ночью на вахте я заговорил с Джонсоном и Личем, в то время как Волк Ларсен был внизу. Они оба потеряли всякую надежду: Джонсон — вследствие своего мрачного характера, а Лич потому, что уже истощился в тщетной борьбе. Он в пламенном порыве схватил мою руку и сказал:

— Вы настоящий человек, мистер Ван-Вейден. Оставайтесь на своем месте и молчите. Мы уже погибшие люди, я хорошо это знаю, но, может быть, вам придется когда-нибудь помочь нам в трудную минуту!

На следующий день, когда показался с наветренной стороны остров Уэйн-райт, Волк Ларсен произнес пророческие слова. Он придрался к Джонсону, за Джонсона вступился Лич, и кончилось дело тем, что оба они были избиты.

— Лич, — сказал Ларсен, — ты ведь знаешь, что я тебя рано или поздно убью?

В ответ послышалось рычание.

— А что касается тебя, Джонсон, то тебе так надоест жизнь, что ты сам бросишься за борт. Вот увидишь. Это внушение, — добавил он, обратившись ко мне. — Держу пари на месячное жалованье, что он это сделает.

Я питал надежду, что его жертвы найдут возможность ударить, пока мы будем запасаться водой, но Волк Ларсен хорошо выбрал стоянку. «Призрак» оставался в полумиле от прибоя, окаймлявшего пустынную песчаную отмель. Ее окружали со всех сторон, точно стены, крутые горы вулканического происхождения, на которые не мог бы вскарабкаться ни один человек. И тут-то, под его непосредственным наблюдением — он сам спустился на берег, — Лич и Джонсон должны были наполнять водой небольшие бочонки и скатывать их к берегу. Им так и не представилось случая вырваться на свободу ни на одной из лодок.

Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. Они составляли команду одной из лодок, совершавших рейсы между шхуной и берегом, отвозя каждый раз по одному бочонку. Перед обедом, отправившись на берег с пустым бочонком, они изменили курс и помчались налево за мыс, отделявший их от свободы. За пенившимися у его подножия бурунами находилась живописная деревушка японских колонистов и тянулись смеющиеся долины, заходившие далеко в глубь острова. Если бы им удалось достигнуть этого безопасного убежища, то им уже не нужно было бы бояться Волка Ларсена.

Утром я видел, что Гендерсон и Смок бродили по палубе как будто без дела, и только теперь понял, зачем они это делали. Достав винтовки, они открыли огонь по беглецам. Это было хладнокровное упражнение в стрельбе. Сперва их пули запрыгали по поверхности воды, по обеим сторонам лодки, но скоро стали попадать в самую лодку все точнее и точнее.

— Теперь я ударю в правое весло Келли, — сказал Смок, прицеливаясь более уверенно.

Я смотрел в бинокль и видел, как лопасть весла разлетелась вдребезги. Гендерсон выбрал затем правое весло Гаррисона. Лодка повернулась. Скоро были разбиты и два других весла. Матросы попробовали грести обломками весел, но и те были выбиты у них из рук. Келли оторвал доску со дна лодки, и тотчас же с криком боли выпустил ее, так как и она разлетелась на куски, ободрав ему руку. Тогда они перестали бороться и предоставили лодке плыть по воле волн, пока, наконец, другая лодка, отправленная с берега Волком Ларсеном в погоню, не взяла их на буксир.

Под вечер того же дня мы снялись с якоря. Нам предстояла трехмесячная охота на котиков. Мрачная перспектива, и я работал с тяжелым сердцем. Похоронное настроение царило на «Призраке». Волк Ларсен опять слег от припадка своей странной мучительной головной боли. Гаррисон рассеянно стоял у руля, наполовину навалившись на него, как бы истомленный невыносимой тяжестью своего тела. Остальная команда вела себя сдержанно и молчаливо. Я случайно наткнулся на Келли. Он сидел сгорбившись у правого борта, склонив голову на колени и обхватив ее руками, в позе невыразимого отчаяния.



Матросы попробовали грести обломками весел, но и те были выбиты у них из рук.

Джонсон лежал, растянувшись во всю длину на носу, и глядел, как пена вздымается у форштевня. Я с ужасом вспомнил о пророчестве Волка Ларсена. Казалось, что его внушение начинает действовать. Я пытался отвлечь Джонсона от его мыслей и окликнул его, но он грустно улыбнулся и не тронулся с места.

Когда я вернулся на корму, ко мне подошел Лич.

— Я хочу попросить об одном одолжении, мистер Ван-Вейден, — сказал он. — Если вам повезет и вы когда-нибудь опять вернетесь в Сан-Франциско, не отыщите ли вы там Матта Мак-Карти. Это мой отец. Он живет на горе, за булочной Мейфера, у него сапожная мастерская, которую все знают. Вам нетрудно будет ее найти. Скажите ему, что я сожалею о том горе, которое доставил ему... и скажите ему от меня: «Да хранит тебя Бог».

Я кивнул ему и попробовал успокоить его:

— Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич. И мы с вами вместе пойдем в гости к Мак-Карти.

— Хотелось бы верить в это, — ответил он, крепко стискивая мою руку, — но не могу. Волк Ларсен разделается со мной, я знаю это; хотел бы только, чтобы это было скорее.

Когда он ушел, я почувствовал то же, что и он. Раз это должно было совершиться, пусть совершится как можно скорее. Общее угнетение и отчаяние захватили и меня. Самое худшее казалось неизбежным, и, шагая по палубе, час за часом, я заметил, что мной овладевают ужасные мысли Волка Ларсена. В самом деле, к чему было все это? Разве был у жизни какой-нибудь смысл, если возможно такое уничтожение человеческой личности по простому капризу? Жизнь представлялась мне теперь дешевой и глупой шуткой, и чем скорее ее конец, тем лучше. Я прислонился к борту и стал смотреть в море с уверенностью, что рано или поздно и я буду опускаться, погружаясь в холодные зеленые пучины забвения.

ГЛАВА XVII

Странно сказать, но, несмотря на мрачные предчувствия, ничего особенного на «Призраке» все еще не произошло. Мы быстро шли на северо-запад, пока не показались берега Японии. Здесь мы встретили то большое стадо котиков, которое, неведомо откуда, из недр безграничного Тихого океана, ежегодно переселяется на север, к скалистым берегам Берингова моря. Вместе с котиками пошли на север и мы, хищнически истребляя их, бросая их голые ободранные трупы акулам и засаливая их шкуры, предназначенные для украшения прелестных плеч городских жительниц. Да, эти безумные убийства совершались для женщин; ведь никто не ест китового мяса и жира.

К вечеру, после дня удачной охоты, наша палуба, загроможденная шкурками и телами котиков, была скользка от их жира и крови. Мачты, снасти и борта

пестрели кровавыми пятнами. А люди, как хорошие мясники, засучив рукава, с окровавленными до плеч руками, усердно работали особыми ножами, распарывая животы красивых морских животных.

Мне было поручено принимать туши по мере их поступления и наблюдать за снятием шкур, за уборкой палубы и приведением всего в прежний вид. Невеселое дело! И душа, и желудок возмущались во мне. Но в некотором отношении мне было полезно командовать столькими людьми — это развивало мои административные способности, которых у меня было немного: я все еще был слишком мягок. Теперь я чувствовал, как я грубею и понимаю, что никогда уже не буду прежним человеком. Хотя вера в человека сохранилась во мне, несмотря на разрушительную критику Волка Ларсена, но под его влиянием мои взгляды на многие вопросы жизни изменились. Он открыл мне реальный мир, которого я до сего времени не знал и которого чуждался; я научился ближе присматриваться к жизни, какова она на самом деле, и признавать, что на свете есть нечто, называемое фактами. Теперь, когда началась охота, я проводил с Волком Ларсеном больше времени, чем когда-либо. При хорошей погоде, когда мы оказывались среди стада котиков, вся команда была занята на лодках, на шхуне оставались только Ларсен и я, да еще Томас Магридж, который, впрочем, в счет не шел. Дел было много. С утра все шесть лодок всею расходились от шхуны, пока расстояние между крайней правой и крайней левой лодками не достигало десяти или двадцати миль. Они уплывали вперед, и только ночь или дурная погода заставляли их возвращаться на «Призрак». Мы же должны были направлять шхуну на подветренную сторону крайней лодки так, чтобы в случае шквала или угрожающей погоды все лодки могли с попутным ветром направляться к нам.

Нелегкое это было дело — двоим управлять таким судном, как «Призрак», в особенности при сильном ветре: стоять у руля, следить за лодками, ставить и убирать паруса. Я принужден был учиться всему этому и делал быстрые успехи. Управление рулем далось мне легко, но взлетать на реи и висеть на руках, когда я поднимался еще выше, было труднее. Но и этому я научился, потому что у меня было какое-то необъяснимое желание возвысить себя в глазах Волка Ларсена и доказать ему свое умение жить не одной только умственной жизнью. Настало даже такое время, когда я находил удовольствие в том, чтобы, взобравшись на верхушку мачты и зацепившись ногами, наблюдать за лодками.

Помню один прекрасный день, когда лодки вышли рано и выстрелы охотников слышались все глуше, пока не замолкли совсем в широкой дали океана. С запада дул чуть заметный ветерок. Мы едва успели воспользоваться им, чтобы стать на подветренную сторону крайней лодки, как ветер совсем упал. Я был на верхушке мачты и видел, что все шесть лодок, следуя за котиками на запад, исчезли одна за другой за горизонтом. Мы не могли идти за ними и стояли на месте, слегка покачиваясь на гладкой поверхности моря.

Волк Ларсен встревожился. Восточная половина неба ему не нравилась, и он тщательно ее изучал. Барометр стоял низко.

— Если буря придет оттуда, — говорил он, — и нагрянет по-настоящему, то она отнесет нас от лодок, и тогда опустеют койки в кубрике¹ и на баке.

К одиннадцати часам море было гладким как стекло. К полудню, несмотря на то что мы находились в северных широтах, стало невыносимо жарко. В воздухе не было никакого веяния. Тяжелая, удушливая жара напоминала мне ту погоду, которую в Калифорнии называют «погодой землетрясения». В этой жаре было что-то зловещее; чувствовалось, что в ней таится опасность. По-немногу восточная половина неба покрывалась темными тучами, нависшими над нами точно гигантские мрачные горы. Так ясно были видны в них долины, ущелья, пропасти и черные тени, что глаз невольно искал белую линию прибоя у этих гор. А мы все еще тихо покачивались, и ветра не было.

— Это к нам идет не простой шквал, — сказал Волк Ларсен. — Природа собирается встать на дыбы и завывать вовсю. Нам, Сутулый, придется попрыгать и, пожалуй, потерять половину лодок. Полезайте-ка наверх и отдайте марселя.

— Как же нам быть, если буря действительно разыграется? — спросил я, и нотка протеста прозвучала в моем вопросе. — Ведь нас только двое!

— Так что же? — сказал Волк Ларсен. — Прежде всего мы сделаем все, что можем. Пока паруса не сорваны, постараемся добраться до наших лодок. Затем я ни за что не ручаюсь. Наши мачты выдержат, и нам самим придется выдерживать, но, конечно, будет нелегко.

Штиль продолжался. Мы пообедали. Я ел волнуясь и спеша, зная, что восемнадцать человек сейчас в море, далеко за горизонтом, и что на нас медленно надвигается небесная горная цепь из грозных туч.

Казалось, все это не очень тревожило Волка Ларсена, хотя я и заметил, когда мы вернулись на палубу, что ноздри его слегка раздувались и движения были быстрее, чем обыкновенно. Его лицо было сурово, черты сделались резкими, и в то же время в его голубых глазах — особенно голубых в этот день — был странный мерцающий блеск. Меня поразило, что он был весел какой-то свирепой веселостью; он, видимо, был рад предстоящей битве; настроение его было приподнято от сознания, что стихия жизни готовится обрушиться на него.

Один раз, не заметив того, что я наблюдаю за ним, он громко и вызывающе рассмеялся в лицо надвигающейся буре. Я и сейчас вижу его стоящим на палубе, как пигмей перед злым духом из арабских сказок. Он бросал вызов судьбе и не боялся.

Он зашел на кухню.

— Повар, когда кончишь работу с кастрюлями, ты будешь нужен на палубе, — сказал он. — Будь готов, тебя позовут.

— Сутулый, — обратился он ко мне, заметив мой изумленный взгляд, — это лучше виски, и ваш Омар этого не понимал. В конце концов я думаю, что он не очень-то умел пользоваться жизнью.

¹ Жилое помещение на судах для команды.

Тучи закрыли и западную часть неба. Солнце померкло и скрылось из глаз. Было два часа дня, а на нас спустился жуткий полумрак, изредка прорезываемый беглыми багровыми лучами. В этом багровом свете лицо Волка Ларсена разгоралось все больше и больше, и мне казалось, что он окружен сиянием.

Мы лежали в дрейфе¹ среди сверхъестественной тишины, в то время как вокруг нас веяли предвестники приближавшей бури. Духота становилась все невыносимее. На лбу у меня выступила испарина, и я чувствовал, как пот течет по моему носу. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок, и я хватался за борт, чтобы удержаться.

И вдруг пронесся нежный, едва ощутимый вздох ветерка. Он шел с востока, появился и исчез, как легкий шепот. Пониженные паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило движение воздуха и несколько освежилось.

— Повар! — позвал Волк Ларсен. Томас Магридж повернул к нам жалкое, испуганное лицо. — Отдай лисель², перебрось его, и как дойдешь до конца, отпусти парус и опять закрепи. Если перепутаешь, то это будет твоей последней ошибкой. Понял? Мистер Ван-Вейден, будьте готовы перебросить грот. Потом вернитесь к марселям и отдайте их как можно скорее, чем быстрее вы будете работать, тем легче вы это сделаете. Если повар будет мешкать, дайте ему в переносицу.

Я понял скрытую в этих словах похвалу себе и почувствовал удовольствие, что его указания не сопровождалось угрозами. Мы стояли теперь носом к северо-западу, и намерением капитана было перекинуть при первом же порыве ветра все паруса на другую сторону.

— Ветер будет с нашей стороны, — объяснил он мне. — По последним сигналам думаю, что лодки наши идут по направлению к югу.

Он повернулся и пошел на корму к штурвалу. Я занял свое место у кливеров. Снова пронесся легкий шепот ветерка. Парус лениво заполоскал.

— Наше счастье, мистер Ван-Вейден, что буря налетела не сразу! — крикнул Ларсен.

Я тоже был рад этому, так как понял, какое несчастье грозило бы нам, если бы все паруса были поставлены.

Легкий ветерок сменился сильными порывами, паруса надулись, «Призрак» двинулся. Волк Ларсен круто повернул шхуну влево, и мы пошли быстрее. Ветер дул теперь прямо с кормы, свистя и гудя все сильнее и сильнее, и передние паруса весело надувались.

Я не видел, что происходило на других частях судна, хотя и ощутил внезапный крен шхуны, когда ветер надул грот и фок.

¹ Дрейф — угол между носом корабля и направлением движения судна. Лежать в дрейфе — значит оставаться почти без движения, что достигается обычно соответствующим расположением парусов, взаимно уравновешивающих действие ветра. В данном случае ветра вовсе нет.

² Лиселя — дополнительные косые паруса, присоединяемые в помощь прямым парусам на фок- и грот-мачте.

Я был занят исключительно кливером, бом-кливером и стакселем¹, и когда эта часть моей работы была закончена, «Призрак» уже метнулся на юго-запад. Не успев перевести дух, хотя сердце стучало у меня как молоток, я бросился к марселям и успел вовремя отдать их.

Тогда я направился на корму за приказаниями.

Волк Ларсен в знак одобрения кивнул и передал мне штурвал. Ветер усиливался, поднималось волнение.

Я управлял рулем около часа, причем с каждой минутой это становилось труднее. У меня не было еще опыта управлять при таком быстром ходе.

— Теперь сбегайте за биноклем, взгляните, не видно ли лодок? Мы делаем по крайней мере по десять узлов, а сейчас идем по двенадцати или даже по тринадцати. Моя старушка быстро бегает!

Мне пришлось влезать на мачту, на высоту около семидесяти футов над палубой.

Осматривая громадное пространство воды, лежавшее передо мной, я понимал, что нам необходимо спешить, если мы хотим спасти нашу команду. Глядя на бушующие волны, я стал сомневаться, может ли удержаться на них лодка. Казалось невозможным, чтобы утлое суденышко могло сопротивляться такой силе ветра и волн.

Я не мог чувствовать всей силы ветра, потому что мы мчались по его направлению. На моем высоком наблюдательном пункте мне иногда казалось, что я нахожусь вне «Призрака» и от него не завишу. Я видел, как контуры шхуны резко выделялись на фоне пенившегося моря.

Время от времени судно поднималось на огромную волну, накрываясь правым бортом, и тогда вся палуба заливалась кипящими волнами до самых люков. В такие минуты я описывал в воздухе дугу с головокружительной быстротой, словно был прицеплен к концу громадного маятника, амплитуда² качания которого равнялась семидесяти футам. Меня охватывал ужас от этого жуткого полета, и несколько мгновений я висел в воздухе, дрожа всем телом, и не искал уже пропавших лодок, не мог видеть ничего, кроме того куска моря, где бушевали внизу волны и пытались поглотить наше судно.

Но мысль о людях, борющихся с этой разъяренной стихией, снова приводила меня в себя, и в тревоге за них я забывал о самом себе. Целый час я не видел ничего, кроме пустынного бушующего моря. Но затем, когда случайный луч солнца осветил океан и покрыл его поверхность сверкавшим серебром, я увидел черную точку, взметнувшуюся к небу и вновь поглощенную океаном. Я терпеливо ждал. И опять крохотная черная точка была выброшена гневной стихией на поверхность, на несколько градусов слева от курса нашего судна. Я не пытался кричать, но сообщил Волку Ларсену, что я видел, махнув ему рукой. Он изменил курс, и я опять просигналил ему, когда точка показалась.

¹ Бом-кливер — верхний косой парус между бушпритом и фок-мачтой. Стакселя — косые паруса, протягиваемые между мачтами.

² Размах, величина колебания между крайними положениями.

Она стала расти, и настолько быстро, что я тут впервые мог учесть всю скорость нашего бега. Волк Ларсен подал мне знак спуститься, и когда я сошел вниз и стал рядом с ним у штурвала, он дал мне необходимые инструкции, как положить шхуну в дрейф.

— Теперь весь ад ополчится на нас, — предупредил он меня, — но не обращайтесь на это внимания. Ваше дело — исполнять свои обязанности и следить за тем, чтобы поваришка стоял у фока.

Я ухитрился пробраться на нос, хотя волны то и дело заливали его. Дав указания Томасу Магриджу, я взобрался на фок-ванты. Лодка была совсем близко, и я мог разглядеть, что она идет против ветра и тянет за собой мачту и паруса, которые были перекинuty через борт и теперь служили своего рода якорем. Три находившихся на ней матроса усиленно вычерпывали воду. Каждая водяная гора скрывала их из глаз, и я с томительной напряженностью ждал, когда они снова вынырнут, боясь, что они больше не покажутся. Иногда я видел, как лодка мчалась прямо сквозь пенящиеся гребни, с носом, поднятым к небу, с обнаженным, мокрым и темным килем. Казалось, что ей пришел конец. На одно мгновение вырисовывались три человека, лихорадочно выкачивающие воду, а затем лодка низвергалась в зияющий провал, вниз носом. Каждое новое появление лодки было чудом.

«Призрак» внезапно изменил курс, отдаляясь от лодки, и я подумал, что Волк Ларсен признал спасение лодки невозможным. Но затем я сообразил, что он хочет лечь в дрейф, и прыгнул на палубу, чтобы быть наготове. Мы теперь шли прямо против ветра, а лодка осталась далеко позади нас. Я почувствовал, что «Призрак» на мгновение утратил всю сопротивляемость своих парусов, а скорость его чрезвычайно возросла. Он стал быстро поворачиваться. Поворот достиг прямого угла по отношению к волнам, и вся сила ветра, от которого мы до сих пор убежали, теперь обрушилась на нас. К сожалению, я по своей неопытности повернулся лицом к нему. Ветер стоял передо мной как стена, наполняя мои легкие воздухом, который я был бессилен выдохнуть обратно. Я захлебывался и задыхался, а «Призрак» в это время повернулся и накренился, качаясь и ныряя, и вдруг я увидел, что над моей головой поднимается огромная волна. Я повернулся спиной к ветру, вздохнул и снова взглянул на волну. Она заливала «Призрак», и теперь я уже смотрел сквозь волну. Солнечный луч заиграл на ее гребне, и я увидел мчавшуюся прозрачную зеленую массу воды, увенчанную молочно-белой пеной. Волна обрушилась, и началось светопреставление. Сокрушающий удар сбил меня с ног, и я очутился под водой. В сознании промелькнула мысль, заставившая похолодеть мою кровь, что сейчас случится самое страшное, о чем я слышал: я буду смыт в море.

Меня подбросило и понесло. Я не мог больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие соленой воды. И несмотря на все это, во мне была одна мысль: я должен во что бы то ни стало перекинуть кливер на наветренную сторону. Смерти я не боялся. Я почему-то не сомневался, что так или иначе выбе-

русь. И в то время как мысль о необходимости исполнить приказание Волка Ларсена властвовала над моим сознанием, мне казалось, что я уже вижу его, стоящего у штурвала среди дикого разгула стихии и бросающего буре гордый вызов.

Меня сильно ударило обо что-то, я подумал, что это борт, и глубоко втянул в себя воздух. Попробовал подняться, но снова ударился головой, и стал на корточки. Карабкаясь, я натолкнулся на Томаса Магриджа, который лежал ничком и стонал. У меня не было времени осмотреть его. Я должен был перекинуть кливер.

Выбравшись наконец на палубу, я понял, что приходит конец всему. Со всех сторон слышался треск дерева и рвущегося холста. «Призрак» ломало на части; паруса трещали, разрывались, а тяжелая рея раскололась вдоль. В воздухе носились обломки; обрывки снастей свистели и извивались, как змеи, и все это вдруг покрыл собой шум сломавшегося гафеля. Деревянный брус пролетел мимо меня всего в нескольких дюймах; он не задел меня, но заставил действовать. Быть может, положение еще не было безнадежным. Я вспомнил предупреждение Волка Ларсена. Он говорил, что на нас ополчится целый ад, — так оно и вышло.

Да где же, наконец, он сам? Я увидел его работавшим над гротом, который он натягивал изо всех своих сил; корма судна высоко поднималась в воздухе, и весь корпус резко выделялся на фоне налетающих серых пенистых гребней.

Целый мир хаоса и разрушения я увидел, услышал и осознал в течение каких-нибудь пятнадцати секунд.

Даже не остановившись, чтобы посмотреть, что случилось с лодкой, я бросился прямо к кливеру. Он хлопал и рвался, то наполняясь ветром, то пустея. Напрягая всю свою силу, я с трудом поставил его на место. Я сделал все, что мог. Я тянул шкот¹ до тех пор, пока не содрал всей кожи с пальцев, а пока я тянул, бом-кливер и стаксель оторвались и грохнулись в море. Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами все, что удавалось вытянуть. Затем парус пошел легче, и в это время Волк Ларсен оказался около меня и стал натягивать его один, а я был занят уборкой освобожденного каната.

— Торопитесь, — скомандовал он. — А потом идите сюда.

Я последовал за ним и заметил, что, несмотря на разрушение, у нас сохранился некоторый порядок. «Призрак» лег в дрейф. Он все еще подчинялся своему капитану и мог еще бороться. Хотя почти все паруса были сорваны, кливер и спущенный грот уцелели и помогали шхуне держаться носом к разъяренным волнам.

Я стал искать глазами лодку, пока Волк Ларсен приводил в порядок тали, и увидел ее на вершине большой волны, футах в двадцати от нас, в стороне, защищенной от напора ветра нашим кораблем. Волк Ларсен так правильно рас-

¹ Шкоты — снасти, предназначенные для растягивания нижних (*шкотовых*) углов парусов.

считал, что «Призрак» подошел прямо к ней по ветру, и оставалось только прикрепить тали к обоим концам лодки и поднять ее на палубу. Но сделать это было не так легко, как написать.

На носу лодки сидел Керфут, у руля — Уфти-Уфти и Келли посередине. По мере того как мы подходили ближе, лодка каждый раз поднималась на волне, когда мы опускались в промежутки между волнами, и я не раз видел над собой головы трех человек, перегнувшихся через борт и смотревших на меня сверху. В следующий момент поднимались и взлетали вверх мы, а они ниспадали куда-то глубоко в бездну. Всякий раз казалось невероятным, чтобы при таком взлете маленькая скорлупка могла уцелеть и не разбиться о «Призрак».

Но как раз в нужный момент я бросил канат Уфти-Уфти, а Волк Ларсен — Керфуту. Тали были благополучно закреплены, и все трое, ловко выждав момент, одновременно перепрыгнули на шхуну. «Призрак» поднялся одним бортом из воды, лодку тесно прижало к его борту, и, прежде чем вернулась волна, мы втянули лодку через борт и положили ее вверх дном на палубе. Я заметил, что кровь лилась из левой руки Керфута. Его средний палец на левой руке был разможжен, но он, не подавая виду, что ему больно, одной правой рукой помогал укрепить лодку на месте.

— Поверни кливер, Уфти, — приказал Волк Ларсен, как только мы покончили с лодкой. — Келли, марш на нос и отдай грот! Керфут, идите на бак и посмотрите, что случилось там с поваром. Мистер Ван-Вейден, полезайте опять наверх и отрежьте все лишние лохмотья.

Отдав приказания, он прыжком тигра бросился к штурвалу. Пока я возился со снастями, «Призрак» медленно вышел из дрейфа. На этот раз волнение было слишком сильно, мы не могли идти по ветру: у нас не было парусов. Я сидел на рее, прижатый к снастям всей силой ветра, так что не мог упасть. «Призрак» качало, как скорлупку, и его мачты часто ложились почти параллельно волнам. Глядя на палубу, я теперь смотрел уже не вниз, а почти под прямым углом к перпендикуляру, опущенному на поверхность корабля. Но, в сущности, я видел не палубу, а то место, где она должна была находиться, так как все кругом было залито потоком воды. Я видел только, как из воды вырастали две мачты, и больше ничего. Часто судно почти исчезало под волнами. Поворачиваясь все больше и избегая бокового ветра, «Призрак» наконец выпрямился и поднял свою палубу на поверхность океана, точно кит свою спину.

Затем мы помчались по бушующему морю, а я продолжал цепляться за рею, как муха, и искать глазами остальные лодки. Через полчаса я увидел вторую лодку, перевернувшуюся вверх дном; за нее отчаянно цеплялись Джок Хорнер, толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не пришлось спускаться вниз. Волку Ларсену удалось благополучно лечь в дрейф. Как и в прошлый раз, мы понеслись по воле волн навстречу лодке. Тали были снова закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обезьяны. Лодка сильно пострадала, ударившись о борт корабля, но ее втянули на палубу, так как она все-таки могла быть исправлена.

Снова «Призрак» понесся, гонимый штормом, и на этот раз так зарылся в воду, что мне одно мгновение казалось, что он больше не вынырнет на поверхность. Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я странным образом чувствовал себя наедине с Богом, как бы наблюдая вместе с ним весь этот хаос, порожденный его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся, показывались широкие плечи Волка Ларсена и его руки, хватавшиеся за спицы и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной Бог, властвуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели. Но какое чудо! Чудо из чудес!..

Крохотные люди — и вдруг осмеливаются жить, дышать и направлять через бешеную свистопляску стихии утлую скорлупку из дерева и холста.

Как и раньше, «Призрак» вдруг вынырнул из волн, палуба опять показалась над водной поверхностью, и мы помчались дальше по ветру, это было в половине шестого, и через полчаса, когда остатки дневного света почти померкли в мутной и яростной полумгле, я увидел третью лодку. Она тоже плыла килем вверх, и никаких признаков ее команды около нее не было. Волк Ларсен повторил прежний маневр, но на этот раз он ошибся футов на сорок, и лодка оказалась за кормой «Призрака».

— Лодка номер четыре! — прочел Уфти-Уфти в ту секунду, когда лодка на мгновение вынырнула из пены и опять исчезла.

Это была лодка Гендерсона, и вместе с ним на ней погибли Холиок и Вильямс, один из опытных матросов. Их гибель была несомненна, но сама лодка была цела, и Волк Ларсен сделал отчаянное усилие, чтобы вытащить ее из воды. Я спустился на палубу и заметил, что Хорнер и Керфут тщетно протестовали против этой попытки.

— Клянусь честью, я не допущу, чтобы даже самая ужасная буря отняла у меня лодку! — заорал Волк Ларсен, и хотя мы стояли около него, его голос слышался слабо и невнятно, точно отдаленный от нас громадным пространством.

— Мистер Ван-Вейден! — кричал он, а до меня донесся слабый шепот. — Стойте у кливера с Джонсоном и Уфти! Остальные на корму и к гроту! Поворачивайтесь! Или я вас мигом спроважу на тот свет! Поняли?

И когда он решительным движением повернул штурвал, так что нос «Призрака» подскочил кверху, охотникам не оставалось ничего другого, как послушаться и принять участие в его рискованном предприятии. Как велика была опасность, я понял уже по одному тому, что я снова был совершенно затоплен ревущей волной и едва успел ухватиться за поручни у фок-мачты. Мои пальцы вдруг оторвало от поручней, и волна смыла меня через борт и бросила в море. Я не умел плавать. Но прежде чем я успел погрузиться, меня выбросило обратно на палубу. Сильная рука подхватила меня, и когда наконец «Призрак» вынырнул из воды, я узнал, что моим спасителем был Джонсон. Я заметил, что он тревожно оглядывается кругом, и понял, что Келли, который недавно проходил вдоль судна на бак, смыт волной.

И на этот раз не поймав лодки, Волк Ларсен не мог уже повторить прежний маневр, так как нас отнесло в сторону. Он изобрел новый прием. Мчась по ветру со всем, что еще оставалось на штирборте¹, он повернул судно и поставил его так, чтобы поймать шлюпку.

— Ловко! — крикнул мне в ухо Джонсон, когда мы пошли через соответствующее повороту очередное наводнение, и я понял, что его замечание относилось не столько к искусству Волка Ларсена, сколько к самой шхуне и ее подвижности.

Однако теперь было так темно, что разглядеть лодку было невозможно. Но Волк Ларсен шел по взятому им курсу, несмотря на бешеный разгул стихии, как бы движимый никогда не обманывавшим его инстинктом. На этот раз, хоть нас все время и заливало водой, мы все-таки поплыли прямо на перевернутую лодку и сильно помяли ее, когда втаскивали на борт.

Затем последовали часы ужасной работы, в которой должны были принять участие все находившиеся на шхуне: двое охотников, трое матросов, Волк Ларсен и я. Мы последовательно взяли рифы у кливера и грота. При небольшой парусности наша палуба была теперь сравнительно свободна от воды, и «Призрак» мчался и нырял среди гребней волн, как пробка. Я с самого начала ободрал себе кожу на пальцах и теперь работал буквально со слезами от острой боли. Когда все было выполнено, я разрыдался, как женщина, и свалился на палубу в полном изнеможении.

Тем временем вытащили из закоулка у бака Томаса Магриджа, мокрого как мышь, — он забился туда от страха. Я видел, как его протаскили на корму, и тут же, к удивлению своему, заметил, что кухня исчезла. Там, где она помещалась, теперь на палубе было пустое место.

Мы все собрались в кают-компанию, включая и матросов, и пока кипятился кофе на маленькой печке, пили виски и грызли сухари. Никогда в жизни я не ел с таким наслаждением. И никогда еще горячий кофе не казался мне таким вкусным. «Призрак» так кидало и бросало, что даже привычным матросам было не под силу ходить, не придерживаясь за что-нибудь, и как только раздавался крик: «Берегись, волна!» — всех нас отбрасывало к одной из стен каюты — стене, принимавшей горизонтальное положение.

— К черту вахтенного! — воскликнул Волк Ларсен, когда мы наелись и напились досыта. — На палубе делать нечего! Если даже кому-нибудь и придет охота налететь на нас, то мы все равно свернуть не сможем. Итак, вся команда спать!

Матросы пробрались на бак, погасив по пути бортовые огни, а двое охотников остались спать в каюте, так как было опасно открывать люк в помещение на корме. Мы с Волком Ларсеном отрезали у Керфута разможенный палец и зашили рану. Магридж, которому все это время приходилось варить, подавать кофе и поддерживать огонь, жаловался на боль в груди и клялся, что у него

¹ Правый борт.

переломаны ребра. При исследовании выяснилось, что у него было сломано четыре ребра. Но лечение его было отложено до следующего дня, главным образом потому, что я ничего не знал о переломах ребер и должен был об этом прочесть в учебнике.

— Думаю, что за разбитую лодку не стоило жертвовать жизнью Келли, — сказал я Волку Ларсену.

— Но и Келли не много стоил, — ответил капитан. — Спокойной ночи!

После всего, что произошло, страдая от невыносимой боли в пальцах, тревожась за судьбу трех лодок, пропавших в океане, я думал, что не усну ни на минуту. Но оказалось, что мои глаза сомкнулись тотчас же, как только голова прикоснулась к подушке, и в полном изнеможении я проспал всю ночь, в то время как одинокий и никем не управляемый «Призрак» пробивал себе дорогу через бушующий океан.

ГЛАВА XVIII

На следующий день, пока буря на время затихла, Волк Ларсен и я занялись хирургией и лечили Магриджа. Когда же буря разразилась вновь, Волк Ларсен стал крейсировать взад и вперед по той части океана, где мы были застигнуты ураганом, держась западного направления. Лодки тем временем чинились, и на них ставились новые паруса. Мы встречали по пути много других промысловых шхун, которые тоже искали свои потерянные лодки и иногда подходили к нам. Многие из них подобрали лодки и экипажи, им не принадлежавшие. Большая часть лодок находилась к западу от нас. Они были рассеяны на большом пространстве и, как только наступила буря, бросились искать спасения на первой ближайшей шхуне.

Две наши лодки мы сняли с «Сиско» вместе с экипажем, а на другой шхуне, «Сан-Диего», мы нашли, к великой радости Волка Ларсена, а к моему горю, Смока с Нильсоном и Лича. К концу пятого дня выяснилось, что мы потеряли четырех человек, а именно: Гендерсона, Холиока, Вильямса и Келли, и могли возобновить охоту.

Следуя за стадом котиков на север, мы стали встречать опасные морские туманы. День за днем лодки, едва только их спускали, поглощались туманом, прежде чем успевали коснуться воды; на судне непрерывно гудела сирена, и каждые четверть часа стреляли из судовой пушки. Лодки постоянно то терялись, то снова находились. Было обычаем, чтобы люди в туманные дни охотились под прикрытием первой попавшейся шхуны, которая потом возвращала их владельцам. Но Волк Ларсен, как это и можно было ожидать, недосчитываясь одной лодки, заменил ее чужой и заставил экипаж ее охотиться для «Призрака», не позволив им вернуться на свою шхуну, когда она поравнялась с нами. Я помню, как он заставил охотника и его двух сподручных, приставив ружье к груди охотника, спрятаться в каюту, в то время как

их шхуна проходила рядом и подавала сигналы, спрашивая о своих пропавших матросах.

Томас Магридж, так странно и настойчиво цеплявшийся за жизнь, уже ковылял по судну и исполнял двойные обязанности — повара и каютного юнги. Джонсон и Лич были более измучены и разбиты, чем когда-либо, и предчувствовали, что конец их наступит с концом охоты. Остальная часть команды жила собачьей жизнью и работала, как собаки, у своего безжалостного хозяина. Что касается отношений между Волком Ларсеном и мной, то они были сравнительно хороши. Тем не менее я никак не мог отделаться от мысли, что убить его составляет мой долг. Он очаровывал меня чем-то, и в то же время я безгранично боялся его. Мне трудно было представить его на смертном одре: в нем было что-то вечно юное, не позволявшее верить в его смерть. Он представлялся мне вечно живущим и вечно властвующим, борющимся, мучающим других и в то же время остающимся невредимым.

Когда мы входили в самую середину стада, то одним из его любимых развлечений было самому отправляться на охоту, причем он делал это в самую бурную погоду, когда даже спускать лодки было невозможно, и выходил с двумя гребцами и рулевым; будучи отличным стрелком, он привозил много шкурок, добытых им при самых невозможных условиях.

Казалось, что рисковать жизнью и бороться с сильным противником для него так же необходимо, как дышать.

Я делал большие успехи в морском деле. Однажды в ясный день — что было теперь очень редко — я получил большое удовлетворение, самостоятельно управляя «Призраком» и подбирая лодки. Волк Ларсен лежал с обычным припадком головной боли, а я стоял у штурвала с утра до вечера, рыская по океану за последней лодкой, которую я затем благополучно и подобрал, — как перед этим пять других, — без особых указаний или советов капитана. Со штормами мы теперь встречались постоянно: море в этих местах было всегда беспокойно. В середине июня мы были настигнуты тайфуном¹; он остался навсегда памятным для меня, так как был причиной важной перемены в моей жизни. Должно быть, мы попали в самый центр этого шторма, и Волку Ларсену едва удалось выскочить из него на юг, сперва под двойными рифами, а под конец с голыми мачтами. Никогда раньше я не представлял себе моря таким величественным. Все, что я видел прежде, казалось мне в сравнении с тайфуном легкой зыбью. От гребня до гребня было не менее полумили расстояния, и я сам видел, как волны поднимались выше мачт. Буря была так сильна, что даже сам Волк Ларсен не смел лечь в дрейф, хотя его и уносило на юг все дальше и дальше от котиков.

Мы уже были на пути тихоокеанских пароходов, когда тайфун вдруг затих, и тут, к великому удивлению охотников, мы вдруг оказались среди массы ко-

¹ Так называются сильные бури Китайского моря и его берегов (*по-китайски «тай» — сильный, «фун» или «фын» — ветер*).

тиков — среди второго стада, чего-то вроде арьергарда¹ как мне объяснили. Охотники считали это большой и редкой удачей для данного места. Раздалась команда: «Лодки на воду!» — и целый день затем слышалась ружейная пальба и шло безжалостное избиение животных.

Как раз в этот день ко мне подошел Лич. Я только что закончил прием шкурок с последней лодки, когда он в темноте приблизился ко мне и прошептал:

— Можете ли вы мне сказать, мистер Ван-Вейден, как далеко мы от берега и какова ширина и долгота Июкогамы?

Сердце радостно забилося во мне, потому что я сразу понял, что у него было в голове, и я тотчас же определил ему местоположение: «западо-северо-запад», и расстояние — «пятьсот миль от нас».

— Благодарю вас, сэр, — сказал он, исчезая в темноте. На следующее утро недосчитались лодки номер три, Джонсона и Лича. Исчезли также со всех лодок запасы воды и пищи, постели и дорожные мешки беглецов. Волк Ларсен пришел в ярость. Он поставил паруса и взял направление «западо-западо-север». Два охотника постоянно сидели на верхушках мачт и наблюдали за морем в бинокль. Сам капитан бегал по палубе, как разъяренный лев. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать меня на дозор. Ветер был крепкий, но изменчивый. Найти маленькую лодку на голубом просторе было так же трудно, как иглу в стоге сена. Тем не менее он пустил «Призрак» полным ходом, чтобы перерезать дезертирам путь к берегу. Затем он начал крейсировать взад и вперед по их предполагаемому пути.

На третий день утром, вскоре после восьмой склянки, с мачты послышался крик Смока, что лодка видна. Вся команда высыпала на палубу; сильный ветер дул с запада и предвещал шторм, а там, с подветренной стороны, в жидком серебре восходящего солнца, появлялось и исчезало темное пятнышко.

Мы помчались за ним. У меня на душе лежала свинцовая тяжесть. Я почувствовал, что мне делается дурно от мрачных предчувствий. При виде торжествующего блеска в глазах Волка Ларсена, когда он проходил мимо меня, у меня появилось неудержимое желание ринуться на него. Почти не сознавая, что делаю, я скользнул вниз в кормовую каюту. И собиравшись уже подняться на палубу с заряженным ружьем, как вдруг услышал неожиданный крик:

— В лодке пять человек!

Дрожа всем телом, я подошел к трапу и прислушался к разговору команды. Мои колени подогнулись, и я почти лишился чувств. Только теперь я осознал, что хотел сделать. Я не знал, как благодарить судьбу, и, бросив ружье, вышел на палубу.

Никто не заметил моего отсутствия. Лодка была довольно близко, и можно было видеть, что она гораздо больше охотничьей лодки и иначе оснащена. Когда мы подошли к ней, ее парус был спущен и мачта снята.

¹ Арьергард — часть войск, охраняющих тыл; имеет большое значение при отступлении.

Люди на лодке, видимо, ждали, что мы их возьмем к себе на борт.

Смок, спустившийся с мачты и теперь стоявший рядом со мной, многозначительно хихикнул. Я посмотрел на него с недоумением.

— Вот так штука! — заржал он.

— А что случилось? — спросил я.

Он снова хихикнул.

— Разве вы не видите, — спросил он, — кто там лежит на корме на парусах? Пусть я больше никогда не убью ни одного котика, если это не баба!

Я стал всматриваться и убедился, что он прав. В лодке находилось четверо мужчин, а пятым пассажиром действительно была женщина. Мы все были взволнованы неожиданным происшествием, не исключая и самого Волка Ларсена, который был заметно разочарован тем, что это оказалась не его лодка с двумя жертвами его злобы.

Мы убрали кливер и стали по ветру. Весла коснулись воды, и в несколько ударов лодка пристала к нашему борту. Я взглянул на женщину. Она была закутана в длинный шерстяной плащ, так как утро было холодное. Я видел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под матросской шапки. У нее были большие блестящие карие глаза, мягко очерченный нежный рот и изящный овал лица. Солнце и ветер докрасна обожгли ее лицо.

Она показалась мне существом из другого мира, и я смотрел на нее, как голодный смотрит на хлеб. Ведь я так долго не видел ни одной женщины! Я был поражен, почти ошеломлен. Неужели это на самом деле женщина? Я был так поглощен ее созерцанием, что забыл о своих обязанностях штурмана и даже не помог вновь прибывшим взойти на палубу. Когда же один из матросов поднял ее и передал Волку Ларсену, то она посмотрела на наши любопытные лица и очаровательно улыбнулась, как может улыбаться только женщина. Я так давно не видел таких улыбок, что даже позабыл о самой возможности их существования.

— Мистер Ван-Вейден!

Голос Волка Ларсена привел меня в чувство.

— Пожалуйста, сведите леди вниз и позаботьтесь о ней! Приготовьте запасную каюту. Заставьте поваришку устроить все, что нужно, и подумайте, чем вы можете помочь нашей гостье: у нее обожжено лицо.

Он резко отвернулся от нас и стал задавать вопросы вновь прибывшим мужчинам. Лодка была брошена на произвол волн, один из спасенных возмущался этим, потому что Йокогама была очень близко.

Я испытал непонятный страх перед этой женщиной, которую сопровождал. Я был неловок. Мне казалось, что я в первый раз понял, какое нежное и хрупкое существо — женщина. Когда я взял ее за руку, чтобы помочь ей сойти вниз, то был поражен, как мала и нежна была ее рука. Вся она — тонкая и хрупкая — казалась мне настолько эфирной, что я боялся, как бы не раздавить ей руку своей громадной ручищей; я говорю откровенно, что я думал тогда о женщинах вообще и о Мод Брустер в частности, после долгого периода, проведенного мной исключительно в мужском обществе.

— Не стоит особенно возиться со мной, — сказала она, когда я ее посадил в кресло Волка Ларсена, которое я наскоро притащил из его каюты. — Мы ожидали увидеть берег с минуты на минуту, и я думаю, что ваше судно уже к ночи должно дойти до порта. Не так ли?

Меня поразила ее спокойная вера в будущее. Как мог я ей объяснить положение на нашей шхуне и познакомить ее с тем странным человеком, который точно злой рок носился по морю. Я сам понял это лишь после того, как прожил здесь целый месяц. И я честно ей ответил:

— Если бы у нас был другой капитан, то я бы вам сказал, что вы будете в Иокогаме завтра утром, но наш капитан очень странный человек, и я прошу вас быть готовой ко всему. Понимаете — ко всему.

— Я... я... Признаюсь, я вас не совсем понимаю, — сказала она смущенно, но без малейшего страха. — Мне казалось, что людям, потерпевшим кораблекрушение, всегда оказывают полное внимание. Ведь, в сущности, это такие пустяки. Мы так близко от берега.

— Откровенно говоря, я ничего не знаю, — попытался я несколько ободрить ее. — Я хочу только подготовить вас к худшему, если худшее должно случиться. Наш капитан — прямо изверг, демон. Никто никогда не может предсказать, как он поступит завтра или через час.

Я все более волновался, но она прервала меня словами:

— Так, понимаю! — И голос ее прозвучал слабо. Ей приходилось делать усилие, чтобы соображать. Ясно было, что она находилась в полном изнеможении.

Дальнейших вопросов она мне не задавала, а я предпочел не говорить больше ничего, а заняться исполнением приказаний Волка Ларсена — устроить ее возможно удобнее. Я суетился около нее, как заботливая хозяйка: добывал смягчающую мазь для ее ожога, обыскивал частные запасы Волка Ларсена, чтобы найти бутылку портвейна, и давал указания Томасу Магриджу, как приспособить для нее отдельную каюту.

Ветер свежел, «Призрак» шел все быстрее, и к тому времени, как каюта была готова, судно несло по морю. Я совсем забыл о существовании Лича и Джонсона, когда внезапный крик: «Лодка!» — долетел до меня через открытый трап в кают-компанию. Это, несомненно, кричал Смок с верхушки мачты. Я взглянул на даму, но она уже сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. Видимо, она страшно устала. Я сомневался даже в том, что она слышала этот крик, и решил помешать ей видеть ту жестокую сцену, которая, как я знал, неизбежно должна была последовать за поимкой беглецов. Она устала. Прекрасно. Пусть спит.

На палубе раздалась быстрая команда, послышался топот ног и хлопанье парусов: все указывало на то, что «Призрак» вошел в полосу ветра и поворачивал на другой галс¹. Когда паруса снова наполнились, кресло покатилося на колесиках вдоль каюты, и я едва успел остановить его и спасти сидевшую в кресле от неизбежного падения.

¹ То есть поворачивал корпус и паруса так, что ветер дул уже с другого борта.

Дама раскрыла глаза и сонно посмотрела на меня. Я повел ее в приготовленную каюту, она еле передвигала ноги. Магридж подмигнул мне. Я отстранил его и велел ему продолжать работу на кухне. За это он отомстил мне тем, что рассказал охотникам, как хорошо выполнял я обязанности горничной. Когда я вел нашу гостью, она тяжело опиралась на мою руку, и я увидел, что она опять заснула на полдороге от кресла к каюте. Я окончательно убедился в том, что она спала на ходу, когда увидел, как при внезапном толчке судна она повалилась на койку. Затем она приподнялась, сонно улыбнулась и тотчас же опять заснула; я так ее и оставил: спавшей под двумя тяжелыми матросскими одеялами, подложив ей под голову подушку с койки Волка Ларсена.

ГЛАВА XIX

Выйдя на палубу, я увидел, что «Призрак» обходил с подветренной стороны знакомую мне шлюпку, шедшую тем же курсом, что и мы. Все матросы и охотники были на палубе, так как знали, что должно будет произойти нечто интересное, когда на судно втащат Лича и Джонсона. Пробило четыре склянки. Луис пошел на корму, чтобы сменить рулевого. В воздухе чувствовалась сырость, и я заметил, что он надел на себя непромокаемое пальто.

— Какая будет погода? — спросил я его.

— Будет приятный здоровый ветерок, — ответил он, — и пошумит дождичек, чтобы смочить нам жабры. Больше ничего.

— Как жаль, что мы увидели их, — сказал я, в то время как большая волна подняла корму «Призрака» и лодка на мгновение появилась в нашем поле зрения за кливером.

Луис, немного помедлив, ответил:

— Им все равно не добраться до берега.

— Вы думаете?

— Да, сэр. Разве не чувствуете?

Порыв ветра ударил в шхуну, и Луис должен был быстро повернуть штурвал, чтобы дать ей нужное направление.

— В такую погоду на яичной скорлупе далеко не уплывешь, — продолжал он. — На их счастье, мы оказались невядалеке и можем их подобрать.

Поговорив на средней палубе со спасенными, Волк Ларсен прошел на корму. Кошачья упругость его походки была заметнее, чем обыкновенно; его хищные глаза блестели.

— Три смазчика и механик, — сказал он. — Но мы сделаем из них матросов, или, во всяком случае, гребцов. А что слышно про даму?

Когда он заговорил о даме, то меня как будто пронзили ножом. Я подумал, что во мне сказала моя глупая строптивость, но я не мог побороть ее в себе и в ответ пожал плечами.

Волк Ларсен насмешливо засвистел.

— А как ее зовут? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — Она спит: очень устала. Я рассчитывал узнать кое-что от вас. С какого она судна?

— С почтового парохода, — кратко ответил он. — «Город Токио» из Сан-Франциско, курс на Йокогаму. Потерпел крушение при тайфуне. Старое корыто. Они носились по морю четыре дня. Так вы, значит, не знаете, кто она, — девушка, замужняя или вдова? Ну-ну!

Он снисходительно покачал головой и посмотрел на меня с насмешкой.

— А вы... — начал я. На кончике моего языка вертелся вопрос о том, доставит ли он потерпевших кораблекрушение в Йокогаму.

— Что я? — спросил он.

— Как вы думаете поступить с Личем и Джонсоном?

Он покачал головой:

— Право не знаю, Сутулый. Видите ли, с прибавкой этих новых людей у меня стало народа более чем достаточно.

— А они более чем достаточно настрадались от своей попытки убежать, — сказал я. — Отчего вы не измените с ними обращения? Возьмите их на борт, но будьте с ними помягче. Что бы они ни сделали, они были доведены до этого собачьим обращением!

— Кто же это с ними обращался по-собачьи?

— Вы, — твердо ответил я. — И я вас предупреждаю, Волк Ларсен, что я могу забыть все и убить вас, если вы далеко зайдете в истязании этих несчастных.

— Браво! — воскликнул он. — Я горжусь вами, Сутулый. Желание жить ставит вас на ноги. Вы теперь настоящая личность. Ваше несчастье состояло в том, что жизнь вам давалась слишком легко, но вы развиваетесь, и теперь вы мне нравитесь все больше и больше.

Его голос изменился. Выражение лица стало серьезным.

— Верите ли вы в обещания? — спросил он. — Считаете ли вы, что следует свято исполнять обещанное?

— Конечно, — ответил я.

— Так заключим договор, — продолжал хитрый актер. — Если я обещаю вам и пальцем не тронуть ни Лича, ни Джонсона, обещаете ли вы, в свою очередь, не покушаться убить меня? Не думайте, что я боюсь, — я не боюсь вас, — поспешил он прибавить.

Я еле верил своим ушам. Что случилось с этим человеком?

— Идет? — нетерпеливо спросил он.

— Идет, — ответил я.

Мы пожали друг другу руку, но когда я искренно отвечал на его пожатие, я готов был поклясться, что в его глазах на мгновение сверкнул дьявольский огонек.

Мы прошли на подветренную сторону кормы. Лодка была уже близко и в отчаянном положении. Джонсон был на руле, Лич вычерпывал воду. Мы

шли вдвое быстрее, чем они. Волк Ларсен сделал Луису знак, чтобы он держал курс немного в сторону, и мы промчались мимо лодки всего в нескольких футах с наветренной стороны. Лодка закачалась на набежавших за «Призраком» волнах, а затем скользнула вниз, в то время как мы поднялись на огромную высоту.

В этот момент Лич и Джонсон взглянули в лицо своим товарищам, столпившимся у борта. Но приветствий не последовало. Для матросов Джонсон и Лич были уже мертвецами — между теми, кто сидел в лодке, и теми, кто оставался на шхуне, лежала пропасть, отделяющая живых от мертвых.

В следующую затем минуту лодка была уже против кормы, где стояли мы с Волком Ларсеном. Теперь мы опускались, а лодка поднималась. Джонсон взглянул на меня, и я увидел, что лицо у него измученное и мрачное. Я махнул ему рукой, и он ответил мне тем же, но его ответ был безнадежен и полон отчаяния. Он как бы прощался со мной навеки. Я не мог поймать взор Лича, потому что он упорно смотрел на Волка Ларсена, и лицо его выражало все ту же непреклонную ненависть, как и всегда.

Но вот они очутились за кормой.

Парус наполнился ветром, накренив утлое суденышко настолько, что оно чуть не перевернулось. Белоснежный гребень волны разбился как раз над ним. Потом лодка вынырнула, она была полна воды, которую вычерпывал Лич, в то время как Джонсон с бледным и встревоженным лицом хватался за рулевое весло.

Волк Ларсен коротко рассмеялся и перешел на другую сторону кормы. Я ожидал, что он отдаст приказание положить «Призрак» в дрейф, но судно все шло вперед, а Волк Ларсен не произносил никакой команды.

Луис как ни в чем не бывало стоял у штурвала, но я заметил, что группа матросов поворачивала в нашу сторону смущенные лица.

«Призрак» все шел вперед и вперед, пока лодка не превратилась снова в черную точку. Тогда зазвенел, отдавая команду, голос Волка Ларсена, и сам он перешел к правому борту.

Мы находились в двух или более милях с наветренной стороны от боровшейся в волнах скорлупки, когда убрали стаксель, и шхуна легла в дрейф. Промысловые лодки не так устроены, чтобы долго идти против ветра. При охоте они всегда стараются идти по ветру на свою шхуну, как только ветер начинает свежеть. Но на всем пространстве водной пустыни для Лича и Джонсона не было иного убежища, кроме «Призрака», и они вступили в отчаянную борьбу против ветра. Это была тяжелая задача при бурном море. Каждую минуту их могло захлестнуть одним из пенившихся валов. Мы видели, как лодка ныряла в волнах и как ее отбрасывало назад, точно пробку.

Джонсон был отчаянным моряком и так же хорошо управлял лодками, как большими судами, и часа через полтора он опять подошел к нам, на этот раз почти вплотную, видимо, надеясь пристать к нам со следующим взмахом весла.

— Так вы теперь переменили ваше решение? Да? — крикнул Волк Ларсен по адресу бывших на лодке людей, словно думал, что они могут его услышать.

— Теперь вы хотите вернуться на «Призрак»? Да? Ну, так вот, извольте! Только догоните нас!

— Поворачивай штурвал! — приказал он Уфти-Уфти, который успел сменить Луиса на руле.

Приказание следовало за приказанием, и мы вновь понеслись по волнам, уходя от лодки. Они были от нас в каких-нибудь ста футах. Волк Ларсен опять усмехнулся и сделал Джонсону и Личу знак рукой, чтобы они следовали за нами. Видно было, что он хотел поиграть с ними, как кошка с мышью, и я понял, что этим он собирался дать им, вместо обычной жестокой взбучки, урок, хотя и очень опасный для них, так как их утлое суденышко каждую минуту могло исчезнуть.

Джонсон быстро повернул лодку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось делать. Смерть подстерегала со всех сторон, и было только вопросом времени, когда именно один из этих огромных валов окончательно zalьет лодку и пустит их ко дну.

— Вот когда у них скребет на сердце, — пробормотал мне на ухо Луис, когда я проходил вперед, чтобы выправить кливер.

— Ничего! — весело ответил я. — Немного погодя он все-таки возьмет их! Он только хочет проучить их немного, вот и все.

Луис пристально посмотрел на меня.

— Вы так думаете? — спросил он.

— Конечно, — ответил я. — А разве нет, вы этого не думаете?

— Я думаю только о собственной шкуре, — сказал он. — Удивляюсь, как складывается судьба. Признаюсь, в хорошенькую лужу меня посадил выпитый виски во Фриско! И вот помяните мое слово, еще в лучшую лужу вас посадит эта бабенка! Знаю я вас!

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил я, но он уже отошел.

— Что я хочу сказать? — крикнул он издали. — И вы еще спрашиваете меня? Дело не в том, что я хочу сказать, а в том, что захочет сказать Волк. Поняли? Волк!

— Если заварится каша, то, надеюсь, ты поможешь мне? — невольно спросил я: его слова были отзвуком моих собственных страхов.

— Помогу? Я только одному толстому Луису помогаю. И этого с меня вполне довольно. Дело только еще начинается, и я вас предупреждаю.

— Я не думал, что ты такой трус, — засмеялся я.

Он удостоил меня презрительным взглядом.

— Если я пальцем не шевельнул для тех несчастных болванов, — он указал на лодку Джонсона и Лича, едва видневшуюся, — так неужели вы думали, что я дам проломить себе голову из-за какой-то бабенки, которую я до сего дня ни разу не видел?

Мне было противно слушать все это, и я отправился на корму.

— Уберите-ка марсея, мистер Ван-Вейден, — крикнул Волк Ларсен, когда я поднялся на мостик.

Я почувствовал облегчение. Было ясно, что он все-таки решил не отходить далеко от этих несчастных.

Во мне снова проснулась надежда, и я быстро исполнил его приказание. На этот раз мы почти остановились в ожидании лодки, которая была от нас в нескольких милях расстояния. Вся команда следила за ее приближением. Смотрел и Волк Ларсен, но он один из всех не был смущен.

Лодка подходила ближе и ближе, проталкиваясь, как живое существо, среди зеленых волн, то поднимаясь и взлетая на широкие спины валов, то исчезая, чтобы снова показаться на поверхности и снова взлететь к небу. Казалось невозможным, чтобы она могла продолжать борьбу, и все-таки она осуществляла невозможное. Позади нас промчался дождевой шквал, и лодка вдруг выскочила из водяной завесы и оказалась у самого нашего борта.

— Вперед! — командовал Волк Ларсен, сам подскочил и штурвалу и резко повернул его.

И снова «Призрак» взметнулся и помчался по ветру вперед, и в течение целых двух часов бедные Лич и Джонсон продолжали гнаться за нами. Мы все убегали и убегали от них, а позади нас все еще маячил обрывок паруса, то исчезая в волнах, то взлетая ввысь. Наконец, когда лодка была от нас всего в четверти мили, снова налетел тяжелый дождевой шквал и скрыл ее из виду навсегда. Больше она не показывалась. Ветер разогнал тучи, но парус не появился на бурной поверхности океана. На миг мне показалось, будто на гребне волны я увидел дно перевернувшейся лодки. Это было все.

Для Лича и Джонсона труд их жизни был окончен.

Команда все еще толпилась посреди шхуны. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди избегали смотреть друг на друга. Каждый точно онемел и погрузился в самосозерцание, стараясь объяснить себе, что произошло. Но Волк Ларсен не дал им много времени для размышлений. Он сразу же направил «Призрак» к промыслам, а не к Йокогаме. Теперь матросы лениво тянули снасти, в них уже не было ни малейшего усердия. Я слышал, как среди них раздавались глухие проклятия.

Но не так обстояло дело с охотниками. Невозмутимый Смок уже рассказывал какой-то анекдот, и они спустились в каюту, покатываясь от смеха.

Когда я проходил на корму, ко мне подошел спасенный механик. Его лицо было бледно и губы дрожали.

— Ради создателя, сэр, что это за судно? — воскликнул он.

— У вас есть глаза, и вы сами видите, — ответил я почти грубо, так велики были боль и страх в моем сердце.

— Где же ваше обещание? — обратился я потом к Волку Ларсену.

— Да я вовсе и не собирался брать их к себе на борт, когда давал вам обещание, — ответил он. — И, кроме того, вы согласитесь, что я действительно не тронул их пальцем. Нисколько, совсем не тронул, — засмеялся он через минуту.

Я ничего не ответил. Я не мог говорить: я был слишком ошеломлен происшедшим. На мне теперь лежала ответственность за эту женщину, которая

спала в каюте. Я должен был взвесить всю серьезность этой ответственности. А пока единственной разумной мыслью, пронесшейся через мое сознание, было не спешить ни с каким решением, если я хочу когда-нибудь прийти ей на помощь.

ГЛАВА XX

Остаток дня прошел без событий. Легкий шквал, налетевший на нас, начал стихать. Механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Волком Ларсеном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным лодкам. Всем назначены были вахты на шхуне. Помещение им было отведено на баке. Они ушли туда протестуя, однако не очень громко, — они уже успели понять характер Волка Ларсена. А рассказы о капитане, которые им немедленно были преподнесены на баке, окончательно отбили у них желание бунтовать.

Мисс Брюстер — мы узнали ее имя от механика — все еще спала. За ужином я попросил охотников не кричать, чтобы не тревожить ее. Она вышла из каюты только на следующее утро. Я хотел было устроить так, чтобы она получала пищу отдельно, но Волк Ларсен запротестовал.

— Кто она такая, — сказал он, — чтобы считать унижительным для себя сесть за общий стол и войти в наше общество?

Но выход ее к обеду вызвал все-таки некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Только Джок Хорнер и Смок держали себя развязно, с любопытством поглядывали на нее и даже вмешивались в разговор. Остальные четверо, уткнувшись в свои тарелки, громко и глубокомысленно жевали, и уши их двигались в такт с челюстями.

Волк Ларсен вначале был неразговорчив и только отвечал на вопросы, которые ему задавали. И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет. Но эта женщина была для него новым типом, она не была похожа на женщин, которых он знал, и потому он был заинтересован. Он изучал ее, и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч. Я тоже изучал ее, и хотя я один только и поддерживал разговор, все же чувствовал себя немножко неловко и не совсем владел собой. Наоборот, Волк Ларсен держал себя вполне спокойно, с полной уверенностью в себе: он не боялся женщин так же, как бурь и битв.

— Когда же мы придем в Йокогаму? — спросила она, обратившись к нему и доверчиво глядя ему в глаза.

Вопрос требовал прямого ответа. Челюсти прервали свою работу, уши перестали двигаться, и, хотя глаза были устремлены в тарелки, все присутствующие насторожились.

— Месяца через четыре, а может быть, и через три, если сезон закончится рано, — ответил Волк Ларсен.

У нее перехватило дыхание.

— А мне сказали... — пролепетала она, — я думала, что до Йокогамы всего один день пути. Вы...

Она не закончила и обвела взором равнодушные лица, все еще упорно смотревшие в тарелки.

— Вы не имеете права, — закончила она.

— Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Ван-Вейденом, — возразил он, насмешливо посмотрев в мою сторону. — Мистер Ван-Вейден у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас — несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье.

Он с улыбкой посмотрел на нее. Под его взглядом она опустила глаза, но затем снова подняла их и вызывающе поглядела на меня. Я прочел в глазах ее молчаливый вопрос: «Вы считаете это справедливым?» Но я решил соблюдать строгий нейтралитет и ничего не ответил.

— Что вы думаете обо всем этом? — спросила она.

— Это очень грустно, — ответил я, — в особенности если за эти три-четыре месяца могут пострадать какие-либо ваши неотложные дела. Но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья, в таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь так, как на борту «Призрака».

Я увидел, как ее глаза, упорно смотревшие на меня, вспыхнули от негодования, и потупился под ее взглядом; краска залила мне лицо. Я поступил как трус, но мог ли я поступить иначе?

— Мистер Ван-Вейден имеет право так говорить, — усмехнулся Волк Ларсен.

Я кивнул, а она, овладев собой, ожидала разъяснений.

— Он и теперь не очень-то крепок, — продолжал Волк Ларсен, — но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было представить себе. Не правда ли, Керфут?

При таком прямом обращении Керфут смутился, уронил нож на пол и промышал что-то, по-видимому, подтверждая слова Ларсена.

— Чистка картофеля и мытье посуды укрепили его. Правда, Керфут?

Тот снова промышал утвердительно.

— А посмотрите-ка на него теперь. Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развились с тех пор, как он попал на судно. По крайней мере на своих ногах научился стоять. Теперь при взгляде на него этому трудно поверить, а тогда он положительно был неспособен стоять на своих ногах без посторонней помощи.

Охотники фыркнули, но она посмотрела на меня с таким сочувствием, что это вознаградило меня за все издевательства Волка Ларсена. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что оно сразу тронуло меня, и с этой минуты я стал ее рабом. Но я был зол на Волка Ларсена. Своими насмешками

он унижал мое человеческое и мужское достоинство; он унижал мою самостоятельность, которую сам же похвалил; ведь он сказал, что я «стою на своих ногах».

— Возможно, что я научился стоять на своих ногах, — сказал я, — но мне нужно еще научиться наступать на ноги других.

Он вызывающе посмотрел на меня.

— Значит, ваше воспитание проделано только наполовину, — сухо ответил он и обратился к мисс Брюстер. — Мы очень гостеприимны на «Призраке», — сказал он, — мистер Ван-Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван-Вейден?

— Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду, — ответил я, — не говоря уже о хватании за горло, в знак дружбы.

— Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас по словам мистера Ван-Вейдена, — вмешался Ларсен с притворным беспокойством. — Заметьте, мисс Брюстер, что у него на поясе висит кортик — вещь... гм... довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван-Вейден и очень почтенная личность, однако... как бы это сказать... бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Когда же он спокоен, то не станет отрицать, что только вчера грозил убить меня.

Я задышался от гнева, и мои глаза, конечно, стали не особенно ласковы. Он указал на меня:

— Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу.

Он печально покачал головой, повторяя:

— Нехорошо, нехорошо!

Охотники покатались со смеху.

Грубые голоса этих людей и раскаты их хохота в тесной каюте производили дикое впечатление. Все было нелепо. Глядя на случайно попавшую сюда женщину, столь чуждую этой среде, я впервые почувствовал, насколько сам слился уже с этими людьми. Я сжился с ними и с их умственным кругозором, я был частью команды охотничьей шхуны, жил общей жизнью со всеми ними, питался, как они, и думал, как они. Для меня уже не было ничего странного ни в окружающей обстановке, ни в грязных одеждах, ни в грубых лицах, ни в громком смехе, ни в стенах каюты, принимающих то вертикальное, то горизонтальное положение, ни в раскачивающейся лампе.

Намазывая масло на хлеб, я взглянул случайно на свои руки. Кожа на пальцах ободрана, пальцы распухли, под ногтями грязь. Я знал, что борода выросла у меня густой щетиной, что рукав куртки разорван, у ворота синей рубахи давно уже нет пуговиц. Кортик, о котором упоминал Волк Ларсен, действительно болтался у меня на поясе. Я считал все это вполне естественным, но, взглянув сейчас на окружающее ее глазами, я понял, какое странное впечатление должна была она испытывать.

Мисс Брюстер поняла, что слова Ларсена были насмешкой, и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но в ее взгляде была и тревога. Именно эта насмешка заставила ее задуматься более серьезно над своим положением.

— Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход, — сказала она.

— Здесь не проходят никакие суда, — ответил Волк Ларсен, — за исключением таких же охотничьих шхун, как наша.

— У меня нет одежды, нет ничего, — возразила она. — По-видимому, вы не представляете себе, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники.

— Чем скорее вы привыкнете к ней, тем будет лучше, — последовал ответ.

А затем Ларсен прибавил:

— Я дам вам материю, иголки и нитки. Надеюсь, что для вас не будет слишком тяжелым трудом сшить себе одно или два платья.

Она сделала гримасу, и можно было понять, что искусство шить было ей незнакомо. Я видел, что она напугана и удивлена, но старался этого не показывать.

— Я полагаю, что вы, по примеру мистера Ван-Вейдена, скоро привыкнете делать для себя все сама. Это будет вам на пользу. Кстати, чем вы зарабатываете себе на жизнь?

Она поглядела на него с нескрываемым удивлением.

— Я не желаю оскорблять вас, поверьте мне. Люди хотят есть и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить; я управляю шхуной; мистер Ван-Вейден — по крайней мере, в настоящее время — зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы?

Она пожала плечами.

— Вы сами себя кормите, или это делает кто-нибудь другой?

— Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие, — засмеялась она, храбро стараясь войти в шуточный тон Ларсена.

Однако я видел, что в ее глазах все чаще появлялось выражение ужаса, когда она смотрела на этого человека.

— Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?

— Случалось делать это и самой, — ответила она.

— И часто?

С насмешливым раскаянием она отрицательно покачала головой.

— А вы знаете, что в Соединенных Штатах делают с бедными людьми, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?

— Я очень невежественна, — оправдалась она. — А что же делают там с бедными людьми, которые живут, как я?

— Их отправляют в тюрьму. Преступление, состоящее в том, что человек не зарабатывает на свое пропитание, называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван-Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас: какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь?

— Но так как вы не мистер Ван-Вейден, то я не обязана отвечать вам. Не так ли?

Она улыбнулась ему испуганными глазами. И этот взгляд поразил меня в самое сердце. Я должен был переменить разговор и направить его в другое русло.

— Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом? — спросил Ларсен, заранее уверенный в ответе и уже торжествуя победу.

— Да, заработала, — тихо ответила она, и я чуть не расхохотался, увидев, как вытянулось его лицо. — Я помню, как однажды в детстве, когда мне было девять лет, папа подарил мне один доллар за то, что я просидела спокойно пять минут.

Он снисходительно улыбнулся.

— Но это было давно, — продолжала она, — и вы едва ли стали бы требовать от девочки девяти лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Но сейчас, — добавила она после коротенькой паузы, — я зарабатываю около тысячи восьмисот долларов в год.

В одно мгновение, точно по команде, глаза всех оторвались от тарелок и устремились на нее. Действительно, на женщину, зарабатывавшую тысячу восьмисот долларов в год, стоило посмотреть. Даже Волк Ларсен не мог скрыть своего удивления.

— Жалованье или сдельная работа? — спросил он.

— Сдельная, — быстро ответила она.

— Тысяча восьмисот, — высчитывал он. — Это значит полтораста долларов в месяц. Ну, что же, мисс Брюстер, это не разорит «Призрак». Считайте себя на жалованье все время, пока вы останетесь с нами.

Она не ответила. Она еще не свыклась с причудами этого человека и не могла принимать их равнодушно.

— Я забыл спросить, — продолжал он вкрадчиво, — относительно рода ваших занятий. Какие полезные предметы вы выделяете? Какие орудия производства и материалы вам понадобятся?

— Бумага и чернила, — засмеялась она. — Ах да! Еще пишущая машинка.

— Так вы — Мод Брюстер, — сказал я медленно и уверенно, как будто обвиняя ее в каком-нибудь преступлении.

Она с любопытством посмотрела на меня.

— А вы откуда знаете?

— А разве нет? — спросил я.

Она кивнула головой. Теперь пришла очередь Волку Ларсену удивляться. Это имя для него ничего не значило. Но я был горд тем, что знал его, и в первый раз чувствовал свое превосходство над Ларсеном.

— Я помню, что писал рецензию на тоненький маленький томик... — начал я, но она прервала меня.

— А вы? — воскликнула она. — Вы...

Она смотрела на меня широко раскрытыми от удивления глазами.

Я, в свою очередь, кивнул.

— Вы — Хэмфри Ван-Вейден, — закончила она и прибавила со вздохом облегчения, не заметив, что этот вздох кольнул Волка Ларсена. — Я так рада! Я помню вашу статью, — поспешно прибавила она, поняв неловкость своего восклицания, — статью, слишком лестную для меня.

— Нисколько, — возразил я галантно. — Этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного мнения со мной. Разве Лэнг не включил ваш «Вынужденный поцелуй» в число четырех самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке?

— Но ведь вы назвали меня американской миссис Мейнелъ!

— А разве это не правда?

— Нет, это неверно... Это меня задело.

— Мы можем судить о неизвестном только по известному, — ответил я с обычной моей академической манерой. — Как критик я должен был дать вам известное место в литературе. Теперь же вы сами определили его. Семь тоненьких томиков ваших стихов стоят у меня на полке; а рядом — два потолще, это статьи, которые не уступают стихам. Я думаю, недалеко то время, когда при появлении новой неизвестной писательницы в Англии критики назовут ее «английской Мод Брюстер».

— Вы слишком любезны, благодарю вас, — прошептала она, и изысканность ее тона вызвала в моей душе целый сонм ассоциаций. Передо мной вдруг воскресла вся моя прежняя жизнь на другом конце мира, и я почувствовал острую боль — щемящую тоску по родине.

— Итак, вы — Мод Брюстер, — торжественно сказал я, смотря на нее.

— Итак, вы — Хэмфри Ван-Вейден, — ответила она, глядя на меня с такой же торжественностью. — Как все это странно! Я не понимаю. Мы никогда не ожидали от вашего серьезного пера какой-нибудь романтической истории из жизни моряков!

— Да я и не собираю здесь никаких материалов, уверяю вас, — ответил я. — У меня нет ни склонности, ни способности к беллетристике.

— Скажите, почему вы всегда прятались у себя в Калифорнии? — спросила она. — Это нелюбезно с вашей стороны. Мы, на Востоке, почти не видели вас. Я поклоном поблагодарил ее за приветливые слова.

— Однажды я едва не встретила с вами в Филадельфии, — вы должны были читать лекцию, кажется, о Браунинге? Но, к сожалению, мой поезд опоздал на четыре часа.

Мы оба позабыли, где находимся, забыли о Волке Ларсене, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Остался один Волк Ларсен. Вдруг я вспомнил о нем и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чуждого для него мира.

Я оборвал нашу беседу на полуслове. Настоящее со всеми его опасностями и тревожениями снова обрушилось на меня. Это передалось и мисс Брюстер.

И при взгляде на Волка Ларсена в ее глазах отразился странный, непреодолимый ужас.

Волк Ларсен медленно встал и неловко засмеялся металлическим смехом.

— Не обращайтесь на меня внимания, — сказал он с притворным самоунижением. — Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте.

Но наш разговор оборвался, и мы тоже встали из-за стола с неловким смехом.

ГЛАВА XXI

Досада Волка Ларсена на то, что мы с мисс Брюстер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода, и жертвой ее оказался Томас Магридж. Он не переменял ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил, однако вид ее опровергал его слова, а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности.

— Я предостерегал тебя, поваришка! — крикнул Волк Ларсен. — Теперь придется тебе полечиться у меня.

Лицо Магриджа побледнело под густым слоем сажи, а когда Волк Ларсен позвал двух матросов с веревкой, бедный повар выскочил из своей дыры и с ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его зубоскаливших матросов. Трудно было доставить им большее удовольствие. Повар именно им, матросам, посылал на бак самую отвратительную стряпню.

Обстоятельства благоприятствовали купанию. «Призрак» едва скользил по поверхности моря, со скоростью не более трех миль в час, и море было совершенно спокойно. Но Магридж не был расположен купаться. Вероятно, он видел раньше, как это происходит. Кроме того, вода была страшно холодна, а здоровьем он не мог похвалиться.

По обыкновению, подвахтенные и охотники бросились наверх, чтобы присутствовать при забавном зрелище. Магридж безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Загнанный в правый угол на корме, он, как кошка, прыгнул на крышу рубки и побежал по ней; его преследователи бросились ему наперерез, он вернулся по той же крыше и соскочил на палубу; затем снова вскарабкался наверх. За ним пустился вдогонку матрос Гаррисон и почти догнал его. Но Магридж, внезапно подпрыгнув, ухватился за снасти и повис. Это произошло в одно мгновение. Вися в воздухе, он отбивался ногами. Подбежавший к нему Гаррисон получил удар в живот, застонал от боли и свалился на палубу.

Охотники приветствовали этот эпизод рукоплесканиями и смехом, а Магридж, ускользнув от своих преследователей около фок-мачты, мчался снова по корме, точно игрок на футбольной площадке. Он бегал таким образом от кормы к носу, от носа к корме. Наконец, поскользнулся и упал. Нильсон стоял в это время у штурвала, и Магридж при своем падении сбил его с ног. Оба покати-



Он карабкался все выше и выше, на верхушку мачты.

лись по палубе, но встал один Магридж. Как это ни странно, но его тщедушное тело, стукнувшись о ногу сильного матроса, переломило ее.

У руля встал Парсонс, и преследование продолжалось. Магридж с искаженным от страха лицом носился по палубе. Матросы с гиканьем бегали за ним; охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа напали сразу три матроса, но он выскользнул из-под них, как угорь, с окровавленным ртом, в разорванной рубашке, и стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше, на верхушку мачты.

Несколько матросов стали взбираться вслед за ним; они засели на реях и стали выжидать, пока двое из них — Уфти-Уфти и Блэк — не взобрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около ста футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищать свои головы от ног Магриджа. А он в это время бешено размахивал ими, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил другой рукой его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил повара за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки своих товарищей, поджавших их внизу.

Борьба была закончена, и Томас Магридж, со стонами, с кровавой пеной у рта, был доставлен к капитану. Волк Ларсен расплел на отдельные части конец каната и обвязал Магриджа под мышками. Затем его схватили и выбросили в море. Сорок, пятьдесят, шестьдесят футов каната разматалось, пока Волк Ларсен не командовал: «Довольно!» Уфти-Уфти намотал канат на якорный ворот, и «Призрак», в своем движении вперед, натянул канат и вытащил повара на поверхность океана.

Это было жалкое зрелище. Повар не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. «Призрак» шел очень медленно, и только когда волна поднимала его корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, канат ослабевал, и повар снова тонул.

Я забыл о существовании Мод Брюстер и вспомнил о ней только в ту минуту, когда она внезапно появилась около меня. Это был ее первый выход на палубу с тех пор, как она попала к нам на шхуну. Ее встретили мертвым молчанием.

— Почему здесь такое веселье? — спросила она.

— Спросите у капитана Ларсена, — ответил я холодно и спокойно, хотя во мне закипела кровь при мысли, что она будет свидетельницей такого зверства.

Она собиралась последовать моему совету, как вдруг глаза ее задержались на Уфти-Уфти, стоявшем около нее и державшем канат, грациозно нагнувшись над бортом.

— Вы ловите рыбу? — обратилась она к нему.

Он не ответил. Его глаза, внимательно устремленные на морскую поверхность, вдруг заблестели.

— Акула, сэр! — закричал он.

— Тащи скорее! Живо! Все за дело! — скомандовал Волк Ларсен, и сам подбежал к канату, чтобы ускорить работу.

Магридж услышал предостережение Уфти-Уфти и заорал как сумасшедший. Теперь я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы: вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Почти также проворен был и Волк Ларсен. Он напряг все свои силы и рванул веревку. Тело повара показалось над водой, а за ним акула. Повар поджал ноги, страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Но в момент этого прикосновения Томас Магридж громко закричал. Еще через мгновение он упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка, и забился на палубе, вертясь на локтях и коленях.

Брызнул фонтан крови: правая нога была откушена, точно отрезана, по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брюстер. Она была бледна, в глазах ее светился ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на Волка Ларсена, и он почувствовал это, потому что со своим обычным коротким смешком сказал:

— Игра в человека, мисс Брюстер. Согласен, что она несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все-таки это игра. Акула не входила в наши расчеты. Она...

При этих словах Магридж поднял голову; убедившись в своей потере, он пополз по палубе и вдруг вцепился зубами в ногу Волка Ларсена. Тот спокойно наклонился к повару и большим и указательным пальцами сдавил ему челюсть около уха. Челюсти медленно разжались, и Волк Ларсен высвободил ногу.

— Как я сказал, — продолжал он с таким спокойствием, точно ничего не случилось, — акула не входила в наши расчеты. Это было... хм... может быть, само провидение.

Мисс Брюстер не подавала вида, что слышала эти слова, но в глазах ее мелькнуло негодование, когда она круто повернулась, чтобы уйти прочь. Едва она сделала первые шаги, как вдруг закачалась и слабо повернулась ко мне. Я успел подхватить ее и не дал ей упасть. Я усадил ее и боялся, что она потеряет сознание, но она скоро овладела собой.

— Мистер Ван-Вейден! — крикнул мне Волк Ларсен. — Достаньте турникет¹.

Я медлил, но ее губы беззвучно зашевелились, и она взглядом приказала мне поспешить на помощь к пострадавшему.

¹ Турникет — хирургический инструмент, которым зажимают артерии для прекращения кровотечения.

— Пожалуйста, — прошептала она наконец, и я повиновался.

К этому времени я уже настолько напрактиковался в хирургии, что Волк Ларсен, ограничившись несколькими указаниями и дав в помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. Он же решил отомстить акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины, и к тому времени, как я зажал все вены и артерии, матросы уже вытаскивали с веселыми криками провинившееся чудовище. Я не видел его, но мои помощники, сперва один, а потом другой, на несколько минут покидали меня, чтобы посмотреть на акулу. Шестнадцатифутовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обоих концов, так что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытасчен, и акулу, живую, выбросили в море. Она, полная сил, была теперь беспомощна и обречена на медленную голодную смерть. Она заслуживала ее, однако меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.

ГЛАВА XXII

Когда мисс Брюстер подошла ко мне, я уже знал, о чем будет разговор. Перед этим она минут десять серьезно разговаривала с механиком. Я дал ей знак молчать и отвел ее от рулевого настолько, чтобы он не мог нас слышать. Ее лицо было бледно и печально, большие глаза, сделавшиеся еще больше от волнения, пристально смотрели на меня. Я чувствовал некоторую робость: ее глаза заглядывали в душу Хэмфри Ван-Вейдена, а Хэмфри Ван-Вейден мало чем мог гордиться с тех пор, как попал на «Призрак».

Мы отправились на корму. Здесь она обернулась и посмотрела мне в лицо. Я огляделся вокруг, чтобы убедиться, что нас не могут слышать.

— В чем дело? — мягко спросил я, но выражение суровости на ее лице не смягчилось.

— Я могу допустить, — начала она, — что это утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я говорила с мистером Хэскинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, в то время, когда я находилась в каюте, двоих утопили, умышленно утопили, то есть попросту убили.

Голос ее дрожал, и она смотрела так, точно обвиняла меня в этом преступлении или, по крайней мере, в соучастии.

— Вам сообщили правду, — ответил я. — Два человека действительно были убиты.

— И вы допустили это? — воскликнула она.

— Вернее было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому, — ответил я все так же мягко.

— Но вы пытались помешать?

Она сделала ударение на слове «пытались», и в голосе ее слышалось желание услышать утвердительный ответ.

— О, я вижу, вы и не пытались, — быстро продолжала она, догадавшись, каков будет мой ответ. — Но почему же?

Я пожал плечами.

— Вы должны помнить, мисс Брюстер, что вы здесь новое лицо и не знаете законов, которые руководят здешней жизнью. Вы явились сюда с определенным запасом понятий о гуманности, мужестве, благородстве, но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом, — добавил я с невольным вздохом.

Она недоверчиво покачала головой.

— Так что же вы посоветуете? — спросил я. — Схватить нож, или ружье, или топор и убить этого человека?

Она отступила на один шаг.

— Нет, нет, только не это! — воскликнула она.

— Тогда что же я должен сделать? Убить себя?

— Вы говорите как материалист, — возразила она. — Есть же на свете нравственное мужество, а разве оно может не оказать влияния?

— Ах, — улыбнулся я, — вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня!

Движением руки я помешал ей возражать.

— Нравственное мужество, — продолжал я, — в этом маленьком плавучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. То же можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это не принесло им пользы. Наоборот, это погубило их. То же случится и со мной, если я решусь проявлять даже то маленькое нравственное мужество, которое еще осталось во мне. Вы должны понять, мисс Брюстер, твердо понять, что это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого, он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не предпринимаю и ничего не могу предпринять, потому что я — раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня; потому что я еще хочу жить, так же, как и вы хотите жить; потому что я не могу бороться с ним и победить его, так же, как и вы не можете бороться и победить.

Она ожидала, что я скажу дальше.

— Что же остается? У меня роль слабого. Я молчу и переношу унижения, как будете молчать и переносить их и вы. И это хорошо. Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. Победа не всегда остается за сильным. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступать именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас: ваше — еще опаснее.

Мы должны действовать сообща, не показывая этого; мы должны заключить тайный союз. Я не смогу открыто держать вашу сторону, и, каким бы я ни подвергался унижениям, вы тоже должны молчать. Нужно избегать столкновений с этим человеком и не противоречить его воле. Все время мы должны улыбаться и заискивать, как бы противен он нам ни был.

Она в недоумении провела рукой по лбу.

— И все-таки я не понимаю... — сказала она.

— Вы должны делать так, как я говорю, — властно прервал я ее, потому что заметил, что Волк Ларсен следит за нами, гуляя по палубе с Латимером. — Поступайте, как я говорю, и вы скоро поймете, что я прав.

— Что же я должна делать? — спросила она, заметив тревожный взгляд, брошенный мной на объект нашего разговора, и, по-видимому, — как я не без гордости понял, — побежденная серьезностью моих слов.

— Оставьте мысль о «нравственном мужестве», — быстро заговорил я, — не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески, разговаривайте с ним о литературе и искусстве, — он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя. Для вашей же собственной пользы рекомендую вам избегать диких сцен на корабле. Вам тогда будет легче играть свою роль.

— Значит, мне придется лгать? — возмущенно воскликнула она. — Лгать и поступками и словами?

Волк Ларсен отошел от Латимера и направился к нам. Мной овладело отчаяние.

— Прошу вас, поймите же меня, — сказал я, понизив голос. — Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, я вижу это, вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их тем, что вы называете нравственным мужеством. Вы покорили меня. Но не пробуйте этого с Волком Ларсеном. Скорее вы покорите льва. Он только посмеется над вами же... Но вот и он... Я всегда гордился тем, что открыл этого писателя... — сразу переменяя я разговор, как только Волк Ларсен подошел к нам. — Издатели боялись его. Но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное отмщение, когда он выступил со своей «Кузницей».

— Но ведь это появилось в газете, — без запинки ответила она.

— Да, но это только случайность, что «Кузница» появилась в газете. Он сам не хотел отдавать ее в журнал. Мы говорим о Гаррисе, — сказал я, обращаясь к Ларсену.

— О да, — согласился он. — Я помню его «Кузницу». Много милых сентиментальностей и несокрушимая вера в человеческие иллюзии. Кстати, мистер Ван-Вейден, вы бы навестили нашего повара. Он стонет и не может успокоиться.

Таким образом меня выпроводили с палубы. А Магридж спал глубоким сном от морфия, который я же сам дал ему перед этим. Я не спешил возвращаться на палубу; когда же я вышел, то, к своему удовольствию, увидел, что мисс Брюстер вела с Волком Ларсеном оживленный разговор. Повторяю, я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она делала именно то, о чем я просил, хотя это и было правильно для нее.

ГЛАВА XXIII

Попутный ветер быстро гнал «Призрак» к северу, прямо на стада котов. Мы встретили их у сорок четвертой параллели, среди яростно-бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца и не могли сделать вычислений; наконец, однажды ветер согнал с океана туман, волны успокоились, появилось солнце, и мы получили возможность определить место, где мы находились. Ясная погода продолжалась два-три дня, а потом опять нас окутал туман, еще более густой, чем в предыдущие дни.

Охотиться было опасно; каждый день, когда спускали лодки, туман немедленно поглощал их, и мы не видели их до самой ночи, когда они выползали наконец из мрака, одна за другой, точно морские чудовища. Охотник Уэйнрайт, которого Волк Ларсен захватил в плен вместе со шляпкой и матросами, воспользовался туманом и убежал. В одно туманное утро он отплыл на охоту со своими двумя товарищами, и с тех пор никто из нас их больше не видел. Мы узнали впоследствии, что они переходили со шхуны на шхуну, пока, наконец, не добрались до своей собственной.

О побеге подумывал и я, но мне не представлялось удобного случая. Штурману не полагалось отправляться на охоту на лодках, и хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, но Волк Ларсен всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если б мне удалось убежать со шхуны, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брюстер. Для нее создавалось на шхуне такое положение, о котором я боялся и думать. Я гнал от себя мысль о нем, но она постоянно появлялась в моем мозгу как навязчивое представление.

В свое время я прочитал много романов о морских приключениях, где всегда фигурировала одинокая женщина, попавшая в среду грубых матросов, но теперь я узнал по опыту, что я не понимал всей опасности подобного приключения. А романисты расписывали об этом целые тома! Теперь я стоял лицом к лицу с таким положением, и героиней была именно мисс Брюстер, которая очаровала меня теперь как личность, также как раньше очаровывала своими произведениями.

Трудно было представить существо, более неподходящее для этой грубой среды, чем она: деликатная, хрупкая и тоненькая как тростинка, с легкими и грациозными движениями. Мне иногда казалось, что она и не ходит, или, по крайней мере, ходит не так, как все мы, смертные, а скользит с поразительной легкостью, с какой-то особенной воздушностью, точно плывет или бесшумно летит. Она походила на фигурку из дрезденского фарфора, и мне казалось, что вот-вот ее кто-нибудь разобьет. Я никогда не видел, чтобы дух и тело человека находились между собой в такой гармонии. Ее стихи критики называли возвышенными и одухотворенными, и то же можно было сказать и о ней самой. Ее тело казалось частью ее души, и оно тонкими нитями связывало ее

душу с жизнью. Действительно, она едва касалась земли, и во всей ее фигуре была воздушная легкость.

Она представляла собой яркий контраст Волку Ларсену. В одном не было того, что было в другой, и то, что составляло сущность одной, совершенно отсутствовало в другом. Однажды утром я увидел, как они гуляли вместе по палубе, и я понял, что они стоят на противоположных концах лестницы человеческой эволюции: он воплощал собой первобытную дикость, а она — всю утонченность современной цивилизации. Правда, у Волка Ларсена был необыкновенно развит интеллект, но он направлен был исключительно на удовлетворение диких инстинктов, что делало этого дикаря еще более опасным. При всей его развитой мускулатуре и твердости его поступи двигался он чрезвычайно легко. Мы вспоминали невольно девственный лес и джунгли, когда смотрели на его походку. В ней было что-то кошачье, что-то эластичное и в то же время полное силы. Он напоминал мне огромного тигра — хищного, смелого зверя. И, действительно, он был хищным зверем. Огненный блеск, который иногда вспыхивал в его глазах, был точь-в-точь такой же, какой я видел в глазах посаженных в клетку леопардов и других хищников.

Когда я увидел Волка Ларсена и Мод Брюстер гуляющими взад и вперед по палубе, я тотчас решил, что на эту прогулку вызвала Ларсена она сама. Они проходили мимо меня, когда я стоял у входа в кают-компанию. Хотя она ни малейшим жестом не выдала себя, но я все-таки почувствовал, что она смущена. Взглянув на меня, она сделала какое-то замечание и непринужденно засмеялась, но я видел, что ее глаза, словно повинувшись какой-то силе, обратились на Ларсена и тотчас опустились: в них застыл ужас.

Причину ее тревоги я понял, взглянув в его глаза. Обыкновенно серые, холодные и суровые, они теперь светились теплым, мягким, золотистым блеском, в них прыгали легкие огоньки, которые то вспыхивали, то потухали, пока, наконец, весь зрачок не наполнился ярким светом. Быть может, причиной этого был золотой колорит дня, все может быть! Они притягивали и повелевали, манили и соблазняли, говорили о желании и о волнении в крови, чего не могла не понять ни одна женщина, а тем более Мод Брюстер.

Ее ужас передался мне, и в этот миг страха — самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина — я вдруг понял, как она стала дорога мне. Сознание, что я полюбил ее, наполнило меня ужасом. Сердце мое сжалось от странного двойственного чувства; кровь и холодела и пылала в одно и то же время. Какая-то неведомая сила увлекала меня куда-то. Против воли я снова заглянул в глаза Волка Ларсена. Но он уже овладел собой. Золотистый свет исчез, глаза его снова были серы, холодны и жестоки. Он сухо поклонился и ушел.

— Я боюсь, — прошептала она с дрожью в голосе. — Мне страшно!

Мне тоже было страшно. Я знал теперь, как она дорога мне, и это заставляло мою голову кружиться. Но я сделал усилие над собой и ответил спокойно:

— Все обойдется, мисс Брюстер. Поверьте мне, все обойдется!

Она ответила мне благодарной улыбкой, от которой затрепетало мое сердце, и ушла в кают-компанию.

Долго я стоял там, где она оставила меня. Мне было необходимо проверить себя, осознать значение происшедшей во мне перемены. Итак, значит, свершилось. Любовь пришла. И это в то самое время, когда я менее всего ожидал ее, пришла при таких страшных обстоятельствах. Конечно, моя философия всегда признавала, что рано или поздно любовь придет, но долгое уединение, проведенное среди книг, мало подготовило меня к этому.

И вот любовь пришла! Мод Брюстер! Я вспомнил ее первый тоненький томик у себя на письменном столе и ясно увидел перед собой ряд ее других тоненьких книг на полке в моей библиотеке. Как я приветствовал появление каждой из них! Ежегодно она выпускала в свет по одному томику, и каждый из них служил для меня олицетворением нового года. В них я находил родственный мне дух, а теперь они заняли место и в моем сердце.

Мое сердце! Мною овладело странное состояние. Я с недоверием смотрел на себя со стороны Мод Брюстер! Хэмфри Ван-Вейден, — эта «рыба», «бесчувственное чудовище», «демон анализа», как меня называл Чарли Фэрасет, — влюблен! А затем без всякой связи мне пришла вдруг на ум маленькая биографическая заметка, помещенная в красной справочной книжке о писателях, и я сказал себе: «Она родилась в Кембридже, ей двадцать семь лет». И вдруг воскликнул: «Двадцать семь лет, и она еще свободна и никого не любит!» Но как я мог знать, что она никого не любит? Охватившая меня вдруг ревность положила конец колебаниям. Сомнения не оставалось: я ревновал, значит, я любил! И женщина, которую я любил, была Мод Брюстер!

Я, Хэмфри Ван-Вейден, был влюблен! И опять сомнение овладело мной. И не потому, что я боялся этого или неохотно это встретил. Наоборот, я всегда был неисправимым идеалистом, и моя философия признавала любовь, считала ее величайшим благом на свете, целью и венцом жизни, высшей радостью и высшим счастьем, которое нужно благоговейно и бережно хранить в сердце. Но теперь, когда это случилось, я боялся этому поверить. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня в памяти зазвучали стихи Саймонса:

Года все шли и шли, а я блуждал один,
Одну тебя ища среди мира женщин...

И я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Фэрасет был прав: я был анормален, я был «бесчувственное чудовище», «книгоед», я жил исключительно разумом. И хотя я всю свою жизнь был окружен женщинами, но я ценил их только эстетически. Иногда я и сам себе казался бледным монахом, отрекшимся от вечных законов природы и от страстей, которые я так хорошо видел и понимал в других людях. И вот любовь пришла! То, о чем я даже не мечтал, случилось. Охваченный

восторгом, медленно шел я по палубе, бормоча про себя прекрасные строки Элизабет Браунинг¹:

Я годы жил среди моих видений,
А не среди мятущихся людей,
И я не знал товарищей милей
И музыки прекраснее их пенья.

А теперь более прекрасная музыка зазвучала у меня в ушах, и я сразу же стал слеп и глух ко всему, что происходило вокруг меня.

Резкий окрик Волка Ларсена привел меня в себя.

— Какого дьявола вы лезете сюда?! — заорал он.

Я забрел на нос, где матросы красили борт шхуны, и едва не опрокинул ведро с краской.

— Что у вас, припадок безумия или солнечный удар? — проворчал он.

— Нет, несварение желудка, — ответил я и, точно ничего не случилось, продолжал свою прогулку.

ГЛАВА XXIV

То, что произошло затем на «Призраке» в течение ближайших сорока часов после того момента, как я открыл, что влюблен в Мод Брюстер, я считаю самыми яркими событиями в моей жизни. Я, проживший всю свою жизнь в спокойной обстановке и теперь в тридцать пять лет попавший в полосу самых нелепых приключений, никогда не мог себе представить, чтобы в сорок часов можно было пережить столько волнений. И мне кажется, что голос некоторой гордости, который шепчет мне, что я вел себя тогда не совсем плохо, говорит правду.

Началось с того, что за обедом Волк Ларсен сообщил охотникам о перемене в нашем обиходе: они будут впредь обедать отдельно, у себя в каюте. Это была неслыханная вещь на промысловой шхуне, где охотники, согласно обычаю, приравниваются к офицерам. Ларсен не сообщил, почему изменяется порядок, но его мотивы были ясны. Хорнер и Смок позволили себе ухаживать за Мод Брюстер. Это было только смешно, нисколько не оскорбительно для нее, но, очевидно, ему не понравилось.

Распоряжение было встречено гробовым молчанием, хотя остальные четверо многозначительно посмотрели на двоих, бывших причиной изгнания. Джок Хорнер, человек спокойный, ничем не выказал своего недовольства, но Смок

¹ Поэтесса (1806—1861), жена Роберта Браунинга (1812—1889), одного из выдающихся английских поэтов, принадлежавшего к так называемой школе прерафаэлитов, явившейся на смену реализма. Браунинги пользуются широкой популярностью не только в Англии, но и в Америке.

побагровел и хотел было заговорить. Волк Ларсен вызывающе посмотрел на него стальным взглядом. Смок закрыл рот и не сказал ни слова.

— Вы хотели что-то сказать? — грозно спросил Ларсен.

Это был вызов, но Смок отказался принять его.

— О чем? — спросил он с таким невинным видом, что даже Волк Ларсен сразу не нашелся, а остальные улыбнулись.

— Так, ни о чем! — проворчал Волк Ларсен. — Я думал, что вы хотите получить пинка.

— За что? — так же невозмутимо спросил Смок.

Теперь товарищи Смока смеялись уже открыто. Я не сомневаюсь, что капитан уложил бы Смока на месте и пролилась бы кровь, если бы здесь не присутствовала Мод Брюстер. Да и Смока сдержало ее присутствие. Он был достаточно благоразумен и осторожен, чтобы не разжигать гнева Волка Ларсена в такую минуту, когда этот гнев мог бы вылиться в более резкие формы, чем простые слова. Но я все же боялся, что вот-вот разразится гроза, как вдруг сверху донесся крик рулевого, который спас положение.

— Виден дым! — кричал рулевой через открытую дверь в кают-компанию.

— В каком направлении? — крикнул ему Волк Ларсен.

— С кормы, сэр!

— Не русское ли судно? — высказал предположение Латимер.

Его слова вызвали тревогу на лицах других охотников. Русское судно могло быть только военным крейсером, а охотники отлично знали, что мы находились недалеко от запретной полосы: Волк Ларсен был известным браконьером¹. Все глаза устремились на него.

— Ерунда! — воскликнул он со смехом. — На этот раз, Смок, вам не придется попасть в соляные копи. Но вот что я хочу предложить вам: я ставлю пять против одного, что это «Македония».

Никто не принял его пари, и он продолжал:

— Если это так, то ставлю десять против одного, что нам не избежать хлопот.

— Нет, благодарю вас, — ответил Латимер. — Я не возражаю против проигрыша, но не хотел бы проигрывать наверняка. Еще ни разу не случилось, чтобы дело обошлось благополучно при вашей встрече в море с братцем. Ставлю двадцать против одного, что и теперь произойдет то же.

Все усмехнулись, в том числе и сам Волк Ларсен, и обед прошел гладко благодаря мне, потому что все остальное время он возмутительно издевался надо мной, то вышучивая меня, то принимая покровительственный тон, заставлявший меня задышаться от сдерживаемого гнева. Но я знал, что ради Мод Брюстер я должен сдержаться, за что и получил награду, когда глаза наши встретились на секунду. Ее взгляд яснее слов сказал мне: «Бодритесь! Не падайте духом!»

¹ Браконьер — охотник, тайком проникающий в запретные для открытой охоты места (*заповедники или частные угодья*).

Прямо из-за стола мы все вышли на палубу, так как в нашей монотонной жизни среди моря каждый пароход был развлечением, а уверенность, что это должна быть именно «Македония» с братом Волка Ларсена, прозванным Смерть Ларсен, усиливала наше любопытство. Море постепенно утихло, так что можно было спустить после обеда лодки и начать охоту. Она обещала быть удачной. С самого рассвета мы не встретили ни единого котика, а теперь натолкнулись на целое стадо.

Дым виднелся в нескольких милях позади нас, но, пока мы спускали лодки, он опередил нас. Лодки рассеялись по океану и взяли курс на север. Мы видели, как они то и дело убирали паруса, затем раздавались ружейные залпы, и паруса ставились опять. Котики шли большим стадом; ветер совершенно стих, и все предвещало богатую добычу. Когда мы опередили последнюю нашу лодку, мы увидели, что океан точно ковром покрыт спавшими котиками. Они были всюду вокруг нас, и я никогда еще не видел такой их массы. Они по двое, по трое и целыми группами, вытянувшись во всю свою длину на поверхности моря, сладко спали как ленивые щенята.

Пароход был теперь хорошо виден. Это действительно была «Македония», я прочитал ее название в бинокль. Волк Ларсен злобно смотрел на судно, а Мод Брюстер была охвачена любопытством.

— А где же беда, которую вы предсказывали, капитан Ларсен? — весело спросила она.

Он взглянул на нее, и его лицо на миг смягчилось.

— А вы чего же ожидали? — спросил он. — Что они возьмут нас на abordаж и перережут нам глотки?

— Да, чего-нибудь в этом роде, — созналась она. — Обычаи охотников на котиков так новы и странны для меня, что я готова ожидать всего, чего угодно.

Он кивнул.

— Вы правы, — сказал он. — Ошибка только в том, что вы не ожидали самого худшего.

— Как? Что может быть хуже того, если нам станут резать глотки? — возразила она с наивным и забавным удивлением.

— Когда станут резать кошельки — это будет хуже, — продолжал он. — Так уж создан современный человек, что его жизнеспособность зависит от тех денег, которые у него есть.

— «Кто ворует мой кошелек, тот ничего у меня не ворует», — процитировала она.

— «Кто ворует мой кошелек, тот ворует у меня право на жизнь», — возразил он. — Потому что тот, кто крадет у меня мой хлеб, мясо и постель, подвергает опасности мою жизнь. Кухмистерские и булочные, как вам известно, не вырастают прямо из земли, и когда у человека пуст кошелек, то он обыкновенно умирает, и умирает самым жалким образом, если ему не представится возможность вновь наполнить свой кошелек.

— Но я все еще не вижу, каким именно образом этот пароход может посягать на ваш кошелек!

— Подождите и увидите, — ответил он угрюмо.

Нам не пришлось долго ждать. Отойдя на несколько миль от линии наших лодок, «Македония» стала спускать свои. Мы знали, что у нее четырнадцать лодок против наших пяти (шестой мы лишились вследствие побега Уэйнрайта), и она, став на подветренную сторону к нашей последней лодке, спустила все свои лодки. Маневр «Македонии» испортил нам охоту. Позади нас не было ни одного котика, а впереди нас линия из четырнадцати лодок точно огромная метла сметала находившееся там стадо.

Наши лодки могли охотиться только на пространстве двух или трех миль и скоро вернулись на «Призрак». Ветер упал, океан становился все спокойнее. Такая погода при наличии большого стада могла бы сделать охоту очень удачной; такие счастливые условия охоты бывают очень редко. Гребцы, рулевые и охотники кипели от злобы. Каждый чувствовал себя ограбленным, и со всех лодок неслись ругань и проклятия. Если бы проклятие имело силу, то Смерть Ларсен был бы обречен на верную гибель.

— Будь он проклят навеки, разрази его на месте! — ворчал Луис, убирая парус на своей лодке и сверкая глазами.

— Прислушайтесь к ним, и вам нетрудно будет решить, что больше всего волнует их души, — сказал Волк Ларсен. — Вера? Любовь? Высокие идеалы? Добро? Красота? Справедливость?

— В них оскорблено врожденное человеку чувство права, — сказала Мод Брюстер, присоединяясь к разговору.

Она стояла в нескольких шагах от нас, держась рукой за ванты, мягко покачиваясь в такт легкой качке шхуны. Она не повысила голоса, но меня поразила его ясность и звучность. Как он ласкал мой слух! Боясь выдать себя, я едва смел глядеть на нее. Она была в мальчишеской фуражке, и ее светло-каштановые волосы, собранные в слабый, пушистый узел, на котором отражалось солнце, подходили на сияние вокруг нежного овала ее лица. Она была очаровательна и вместе с тем казалась какой-то неземной, бесплотной женщиной, почти святой. Все мое прежнее преклонение перед жизнью возвратилось ко мне при одном взгляде на это дивное воплощение ее, а холодное объяснение смысла жизни, которое делал Волк Ларсен, показалось бледным и смешным.

— Вы сентиментальны, как мистер Ван-Вейден, — сказал он с презрительной улыбкой. — Эти люди раздражаются проклятиями только потому, что не исполняются их желания. Вот и все. А чего они желают? Вкусно поесть и мягко поспать на берегу, что возможно только при кругленькой сумме в кармане. Они хотят вина и женщин, разгула и животных удовольствий. Вот и все их высшие стремления, их «идеалы», если хотите. То, что они так ярко проявляют свои чувства, — не особенно трогательное зрелище. Они задеты за живое потому, что затронуты их кошельки: наложить руки на их кошельки, значит, наложить руки на их души.

— Но по вашему поведению мало заметно, что на ваш кошелек наложили руки, — сказала она с улыбкой.

— Ну, это случайно, я веду себя несколько иначе, но мой кошелек очень задет, а значит, задета и душа. Принимая во внимание цены шкур на лондонском рынке и высчитывая, сколько котиков мы могли бы убить, если бы не подвернулась «Македония», мы должны определить потери «Призрака» в полторы тысячи долларов.

— Вы говорите это так спокойно... — начала она.

— Нет, я не чувствую себя спокойным, — перебил он ее. — Я убил бы этого человека, который грабит меня. Да, да, я знаю, что этот человек мой брат, но это только сантименты! Это не для меня!

Его лицо внезапно изменилось. Голос стал менее резким, и в нем зазвучала искренность.

— Вы, сентиментальные люди, должны быть счастливы, глубоко счастливы, думая, что все на свете хорошо. А находя все хорошим, вы считаете хорошими и себя. Ну, скажите мне вы оба: считаете ли вы меня хорошим человеком?

— На вас приятно смотреть, — отвечал я.

— В вас все задатки, чтобы быть хорошим человеком, — сказала Мод Брюстер.

— Вот ваш ответ! — сердито крикнул он. — Ваши слова — пустой звук для меня. В том, что вы сказали, нет ни ясности, ни остроты, ни определенности. Вашу мысль нельзя ухватить. По правде говоря, это даже и не мысль. Это просто чувство, сантименты, нечто основанное на иллюзии, а вовсе не продукт интеллекта.

Но по мере того, как он говорил, голос его снова сделался мягким, и в нем послышались нотки доверия.

— Знаете, — продолжал он, — я иногда ловлю себя на желании стать таким же, как и вы, быть слепым к фактам жизни, поверить в иллюзии и фантазии. Они глут, конечно, все глут, и противны рассудку, но все же рассудок мой говорит мне, что мечтать и жить иллюзиями большее наслаждение, чем жить без иллюзий. А наслаждение, в конце концов, — единственная награда жизни. Без наслаждения жизнь ничего не стоит. Взять на себя труд жить и не получить за это платы — хуже, чем смерть. Кто умеет получать наибольшее количество наслаждений, тот и живет лучше всех, а ваши мечты и фантазии менее нарушают ваш покой и более вознаграждают вас, чем меня мои факты.

В раздумье он медленно покачал головой.

— Я часто сомневаюсь в ценности разума. Мечты дают больше удовлетворения. Эмоциональное наслаждение более наполняет жизнь и более продолжительно, чем интеллектуальное; кроме того, за момент интеллектуального наслаждения платишь разочарованием. За эмоциональным же наслаждением следует только некоторая усталость, которая быстро исчезает. Я завидую вам! Я завидую вам!

Он остановился, и на его губах появилась вдруг одна из его странных насмешливых улыбок.

— Но я завидую вам рассудком, — добавил он, — а не сердцем, заметьте это. Мне диктует это разум. Зависть — продукт интеллекта. Я похож в этом отношении на трезвого человека, который смотрит на пьяницу и, будучи страшно утомлен, жалеет, что он сам не пьян.

— Или на умного человека, — засмеялся я, — который глядит на толпу дураков и тоже желает быть дураком.

— Пожалуй, что и так, — ответил он. — Вы двое — блаженные обанкротившиеся дураки. В вашем бумажнике нет реальных ценностей.

— Однако мы тратим не меньше вас, — вставила Мод Брюстер.

— И даже больше меня, потому что это вам ничего не стоит.

— И потому что мы рассчитываем на вечность, — добавила она.

— Поступая так, вы получаете большую ценность, тратя то, чего у вас нет, чем я, тратя добытое мной в поте лица.

— Тогда почему же вы не перемените основы вашей денежной системы? — спросила она насмешливо.

Он взглянул на нее как будто с надеждой, а затем с грустью ответил:

— Слишком поздно. И хотел бы, да не могу. Мой кошелек набит монетой старой чеканки, а это упрямая вещь. Я никогда не смогу признать какую-нибудь другую монету за настоящую.

Он замолк, и его взгляд, безучастно скользнув по Мод Брюстер, потерялся на поверхности спокойного моря. Его первобытная меланхолия снова ожила в нем. Он довел себя своими размышлениями до хандры, и теперь можно было ждать, что в него вселится бес и станет бунтовать. Я вспомнил Чарли Фэрасета и понял, что мрачность этого человека есть кара, которую каждый материалист несет за свое материалистическое мировоззрение.

ГЛАВА XXV

— Вы были на палубе, мистер Ван-Вейден, — обратился ко мне на следующее утро за завтраком Волк Ларсен. — Ну что, какова погода?

— Довольно ясно, — ответил я, поглядев на солнечные лучи, врывавшиеся в кают-компанию через открытый иллюминатор. — Свежий западный ветер, обещающий окрепнуть, если предсказание Луиса оправдается.

Он не без удовольствия кивнул.

— А как туман?

— На севере и северо-западе густая полоса тумана.

Он снова кивнул, с еще более удовлетворенным видом.

— А что «Македония»?

— Ее не видно.

Я готов был поклясться, что его лицо сразу омрачилось от этого известия, но почему именно он был так разочарован, я не мог догадаться.

Но скоро я узнал и это.

— Дым! — донесся голос с палубы.

И лицо его вдруг прояснилось.

— Отлично! — воскликнул он, выскочил из-за стола и побежал на палубу, туда, где на баке завтракали в своем изгнании охотники.

Мод Брюстер и я почти не прикоснулись к еде и с тревогой глядели друг на друга, прислушиваясь к голосу Волка Ларсена, долетавшему до нас сквозь перегородку. Он говорил долго. Перегородка была слишком толста, и мы не могли расслышать его слов, но они задели охотников за живое, потому что вслед за ними раздались радостные возгласы.

По долетавшим с палубы звукам я догадался, что матросы вызваны наверх и готовятся спускать лодки. Мод Брюстер вышла со мной на палубу, но я оставил ее на мостике у кормы, откуда она могла видеть все и не быть замеченной. Матросы, очевидно, уже знали о том, что им предстояло делать, и энергия, с которой они работали, говорила об их энтузиазме. Охотники толпой высыпали на палубу с ружьями и патронами и, что всего страннее, еще и с винтовками. Винтовки берутся в лодки редко, потому что котики, убитые на далеком расстоянии из винтовок, тонут раньше, чем лодки успевают подойти к ним. Но в этот день каждый из охотников имел при себе винтовку и полный патронташ зарядов. Я заметил, что охотники злорадно ухмылялись каждый раз, как появлялся дымок «Македонии», становившийся все заметнее и поднимавшийся все выше по мере того, как она приближалась к нам.

Все пять лодок были быстро спущены с одного и того же борта, развернулись всеором и, как и накануне, взяли курс на север. Я некоторое время с любопытством наблюдал за ними, но в их действиях не было ничего необычайного. Убирали паруса, стреляли в котиков, ставили паруса вновь и вообще делали все то, к чему я уже привык. «Македония» повторила вчерашний маневр, вытянув опять все свои лодки в линию перед нашими, «выметая» море перед нами. Четырнадцать лодок вообще требуют для охоты значительного пространства на океане, и пароход, отрезав путь нашим лодкам, направился на северо-восток и по пути спустил еще несколько лодок.

— В чем дело? — спросил я у Волка Ларсена, не в силах более скрывать свое любопытство.

— Это вас не касается, — ответил он угрюмо. — Не тысячу лет будете ждать, узнаете! А пока молитесь, чтобы дул хороший ветер. Впрочем, извольте, я скажу вам. Я собираюсь полечить своего братца его же собственным лекарством. Одним словом, я хочу ему преподнести свинство сам, и не на один только день, а на весь остаток сезона. Конечно, если повезет.

— А если нет? — задал я вопрос.

— Этого не может быть, — усмехнулся он. — Нам должно повезти, или же мы погибли.

Он стал на руль, а я отправился в свой лазарет на баке, где у меня лежали двое калек — Нильсон был счастлив и весел, потому что его сломанная нога хорошо рассталась, а повар находился в черной меланхолии, и я почувствовал

к нему искреннее сострадание. Меня поражало, что он все еще жив и цепляется за жизнь. Ужасные пережитые им муки сделали из его слабого тела какие-то жалкие обломки, точно после кораблекрушения, и все-таки в нем упрямо горела искра жизни.

— С искусственной ногой, — теперь их делают очень хорошо, — вы до конца ваших дней сможете ковылять по палубе, — сказал я ему весело.

Но ответ его был серьезен и даже, я сказал бы, торжественен:

— Я не знаю, о чем вы говорите, мистер Ван-Вейден, — я знаю одно: я буду счастлив только тогда, когда издохнет этот проклятый кровожадный пес. Он не должен пережить меня. Он не имеет права оставаться в живых. Как говорит Священное Писание, «он умрет позорной смертью». А я прибавлю: аминь, и проклятие его душе.

Когда я вернулся на палубу, то увидел, что Волк Ларсен правит одной рукой, а в другой держит бинокль и изучает расположение лодок и, главным образом, маневры «Македонии». Единственной заметной переменной было то, что наши лодки круто повернули к ветру и взяли курс на северо-запад. Однако я не мог понять целесообразность этого маневра, потому что открытое море все еще было загорожено пятью лодками с «Македонии». Они медленно делали диверсию на запад, удаляясь от остальных своих лодок. Наши лодки шли на веслах и под парусами; они быстро приближались к лодкам «Македонии».

Дым с «Македонии» теперь казался туманным пятнышком на северо-восточной части горизонта, самого же судна не было видно. До сих пор мы продвигались вперед не спеша, убрав часть парусов, и раза два на короткое время даже ложились в дрейф. Теперь все изменилось. Все паруса были поставлены, и Волк Ларсен пустил «Призрак» полным ходом. Мы прошли мимо наших лодок и направились к ближайшей лодке враждебной линии.

— Уберите кливер, мистер Ван-Вейден, — скомандовал Ларсен.

Я побежал исполнять приказание, и мы пронеслись мимо лодок в каких-нибудь ста футах. Сидевшие в лодке три человека подозрительно посмотрели на нас. Это были уже бывалые моряки, они знали свою вину и знали Волка Ларсена, хотя бы понаслышке. Я заметил, что у одного охотника, громадного скандинава, сидевшего на носу, лежала на коленях винтовка. Казалось бы, что место ей было скорее на скамье, чем на коленях. Когда же наша команда поравнялась с ними, Волк Ларсен послал им приветствие рукой и закричал:

— Идите к нам на шхуну поболтать!

Такие посещения очень приняты среди моряков промысловых судов. «Призрак» описал дугу и повернул к ветру.

— Пожалуйста, останьтесь на палубе, мисс Брюстер, — сказал Волк Ларсен, направляясь навстречу к своим гостям. — И вы тоже, мистер Ван-Вейден.

Лодка убрала парус и пошла рядом с нами. Золотобородый великан-охотник перепрыгнул через борт к нам на палубу. При всем своем богатырском сложении он держался несколько тревожно, сомнение и недоверие ясно читались на его лице. Лицо у него было открытое, и на нем сразу появилось успокоение,

как только он убедился, что нас на палубе только двое — Волк Ларсен и я. Затем он многозначительно посмотрел на своих двух товарищей, которые явились к нам вслед за ним. В сущности, ему нечего было бояться. В сравнении с Волком Ларсеном он казался Голиафом¹. Ростом он был, вероятно, в шесть футов и восемь или девять дюймов и весил, как я впоследствии узнал, двести сорок фунтов. И при этом совсем не было жира: кости да мускулы.

Когда у входа в кают-компанию Волк Ларсен пригласил его вниз, то на лице у него вновь появилось выражение недоверия. Однако, оглядев своего хозяина, тоже крупного человека, но казавшегося в сравнении с ним карликом, он перестал колебаться и спустился вниз за капитаном. Тем временем два его матроса, как это обыкновенно водится на судах, отправились на бак.

Вдруг из каюты послышался страшный рев, сопровождавшийся звуками яростной борьбы. Это сцепились лев и леопард. Ревел лев. Волк Ларсен был леопардом.

— Вы видите, как священно у нас гостеприимство? — с горечью обратился я к Мод Брюстер.

Она утвердительно кивнула, и я заметил на ее лице признаки той же дурноты, которая мучила меня в первые недели моего пребывания на «Призраке» при виде физического насилия.

— Не лучше ли вам уйти на нос, — посоветовал я, — ну хотя бы в каюту для команды, пока все это кончится?

Она отрицательно покачала головой и грустно посмотрела на меня. Она не испытывала страха, но была ошеломлена этими зверскими нравами.

— Я прошу вас понять, — сказал я, воспользовавшись случаем, — что какую бы роль мне ни пришлось играть в том, что здесь происходит или должно еще произойти, я принужден буду выполнить ее до конца, — я не могу поступить иначе, если только мы с вами хотим спастись. Это очень тяжело для меня, — прибавил я.

— Я понимаю вас, — ответила она каким-то слабым, далеким голосом, и по ее глазам я понял, что она действительно поняла меня.

Доносившиеся снизу крики скоро замолкли. Затем Волк Ларсен вышел на палубу один. На его бронзовом лице горел легкий румянец, но каких-либо других признаков борьбы видно не было.

— Пошлите сюда тех двух людей, мистер Ван-Вейден, — обратился он ко мне.

Я повиновался, и через минуту они стояли перед ним.

— Поднимите вашу лодку сюда, — приказал он им. — Ваш охотник решил остаться на некоторое время и не желает, чтобы она зря колотилась о борт.

Они не решались исполнить его приказание.

— Поднять лодку, говорю я! — повторил он строго.

Они медленно принялись за дело.

¹ Библейский великан, павший в единоборстве с Давидом, убившим его из пращи.

— Кто знает, — продолжал он ласковым голосом, но с затаенной угрозой, — может быть, вы будете плавать теперь со мной! Так уж лучше давайте будем друзьями. Ну, живо! Смерть Ларсен заставляет вас работать живее, вы это знаете.

Под его командой их движения стали быстрее, и как только лодка была поднята на шхуну, он послал меня на нос, а сам стал у руля и направил «Призрак» ко второй лодке «Македонии».

По пути, пользуясь свободной минутой, я посмотрел на море, желая узнать, что происходит теперь с лодками. Третья лодка «Македонии» была атакована двумя нашими лодками; четвертая — остальными тремя; пятая, сделав поворот, шла на выручку к своим. На широком пространстве шло сражение: слышалась резкая трескотня винтовок; поднявшийся ветер развел быструю мелкую волну — это мешало метко стрелять. То и дело, лавируя, мы видели, как пули со свистом прыгали с волны на волну.

Лодка, которую мы преследовали, ринулась против ветра, стараясь спастись от нас, и тоже приняла участие в перестрелке.

Наблюдение за парусами все же давало мне время следить за происходившим: Волк Ларсен приказал двум чужим матросам идти на бак. Они угрюмо подчинились. Затем он распорядился, чтобы мисс Брюстер сошла вниз, и улыбнулся, когда в ее глазах вспыхнул ужас.

— Ничего страшного вы там не найдете, — сказал он, — за исключением невинного человека, для безопасности привязанного к основанию мачты. Пули будут прилетать на борт, а я не желаю, чтобы вы были убиты.

И действительно, в этот самый момент одна из пуль, ударившись о спину штурвала, между руками Ларсена, отлетела от нее рикошетом.

— Вот видите! — обратился он к ней. — Возьмите штурвал, мистер Ван-Вейден, — прибавил он, повернувшись ко мне.

Мод Брюстер спустилась по трапу на несколько ступенек вниз, но остановилась так, что голова ее была видна. Волк Ларсен достал винтовку и зарядил ее. Я взглядом просил мисс Брюстер сойти вниз, но она с улыбкой сказала:

— Может быть, мы, слабые обитатели суши, и не умеем стоять на собственных ногах, но нам не трудно доказать капитану Ларсену, что мы так же храбры, как и он.

Он бросил на нее быстрый взгляд, полный удивления.

— Вы нравитесь мне за эти слова на сто процентов больше, — сказал он. — Писательница, умница, да еще и храбрая. Вы хоть и синий чулок, но достойны стать женой вождя пиратов. Впрочем, поговорим об этом позже, — улыбнулся он, когда пуля вдруг звонко ударила о стенку рубки.

Я увидел снова золотистый цвет в его глазах и ужас в глазах Мод Брюстер.

— Ну, мы храбрее, — поспешил я вмешаться в разговор. — По крайней мере, говоря о себе, я могу утверждать, что я храбрее, чем капитан Ларсен.

Теперь он удостоил меня своим быстрым взглядом. По-видимому, он еще не мог отдать себе отчета, шучу я или нет. Я повернул штурвал на три или четы-

ре румба, чтобы поставить парус под ветер и дать устойчивость «Призраку». Волк Ларсен ожидал разъяснения, и я указал ему на свои колени.

— Вы можете заметить здесь небольшую дрожь, — сказал я. — Это потому, что я боюсь, боится во мне моя плоть; боюсь я и рассудком, потому что не хочу еще умирать. Но мой дух властвует над дрожащей плотью и над изнеможенным рассудком. Я более чем храбр. Я мужествен. Ваша плоть не боится. Вас нельзя испугать. Встретиться лицом к лицу с опасностью для вас только радость. Быть может, вы не знаете страха, мистер Ларсен, но вы должны согласиться, что настоящая храбрость — на моей стороне.

— Вы правы, — согласился он. — Я никогда не думал об этом. Поставим обратный вопрос. Если вы храбрее, чем я, то следует ли отсюда, что я трусливее вас?

Мы оба засмеялись над этим абсурдом. Он спустился на палубу и положил винтовку на перила. Мы теперь находились в полумиле от стрелявших в нас лодок. Он тщательно прицелился и дал три выстрела. Первая пуля упала в пятидесяти футах от носа лодки, вторая пролетела у самого борта, а после третьей рулевой выпустил руль и повалился на дно.

— Ну, это немножко вразумит их, — сказал Волк Ларсен, вставая. — Я не хочу ранить охотника; гребец, надеюсь, не умеет править, а охотник не в состоянии будет в одно и то же время и отстреливаться, и править.

Его соображение скоро подтвердилось, так как в эту самую минуту ветер подхватил лодку и охотнику пришлось перепрыгнуть на корму и взяться за руль. С этой лодки стрельбы уже не было, хотя с других лодок все еще звонко трещали винтовки.

Охотнику удалось снова направить лодку по ветру, но мы быстро догоняли его, делая, по крайней мере, по два фута на каждый его один. Когда мы были друг от друга в каких-нибудь двадцати футах, я увидел, как гребец передал охотнику винтовку. Волк Ларсен отошел на середину палубы и взял бухту каната. Затем он перегнулся через перила, все еще держа винтовку наперевес. Дважды я видел, как охотник, управляя рулем одной рукой, тянулся за винтовкой другой и не решался взять ее. Мы шли теперь бок о бок.

— Эй, ты! — вдруг крикнул Волк Ларсен гребцу. — Принимай конец!

И он бросил им канат. Канат шлепнулся всей тяжестью и чуть не сбил с борта гребца, но тот не исполнил приказа. Вместо того чтобы принять канат, он смотрел на охотника. Охотник сам не знал, что ему делать. Винтовка лежала у него на коленях, но если бы он даже и бросил руль, чтобы иметь возможность стрелять, то его лодка повернулась бы и столкнулась со шхуной. К тому же он видел, что Волк Ларсен целился в него, и знал, что если только возьмется за свою винтовку, то тотчас же будет им убит.

— Прими! Чего уж тут!.. — тихо сказал он гребцу.

Гребец повиновался и привязал конец каната к передней скамье, а когда канат натянулся, стал травить его. Лодка отошла, и охотник дал ей курс, параллельный с «Призраком», в расстоянии всего каких-нибудь двадцати футов.



Он видел, что Волк Ларсен целился в него, и знал, что тотчас же будет им убит.

— Теперь убирайте парус и подходите к борту! — командовал Волк Ларсен.

Он все еще не выпускал из руки винтовки и сам бросил им другой рукой тали. Когда оба уцелевших моряка приготовились подняться к нам на борт, охотник вдруг взял в руки свою винтовку, делая вид, что желает спрятать ее.

— Бросьте! — крикнул ему Волк Ларсен.

И охотник отшвырнул ее, точно она обожгла его.

Очутившись на шхуне, оба пленника подняли свою лодку на палубу и, по распоряжению Волка Ларсена, отнесли раненого на бак.

— Если бы все наши пять лодок обработали дело так, как я и вы, — обратился ко мне Волк Ларсен, — то у нас оказалась бы большая команда.

— Ну а человек, в которого вы стреляли? — с дрожью в голосе спросила Мод Брюстер. — Что он? Надеюсь...

— В плечо!.. — ответил Ларсен. — Ничего серьезного. Мистер Ван-Вейден поставит его на ноги в три-четыре недели. Но едва ли он поставит на ноги вон тех парней, — добавил он, указывая на третью лодку «Македонии». — Это работа Хорнера и Смока. Я ведь говорил им, что нам нужны живые люди, а не трупы! Но удовольствие пострелять в живую цель, оказывается, очень захватывающая вещь для хорошего стрелка. Вы когда-нибудь испытывали это, мистер Ван-Вейден?

Я покачал головой и посмотрел на «работу» охотников.

Лодка беспомощно качалась, точно пьяная, переваливаясь по волнам с гребня на гребень, с парусом, прикрепленным к мачте за правые углы. Охотник и гребец лежали на дне, а рулевой поперек лодки, бороздя руками воду; его голова моталась из стороны в сторону.

— Не смотрите, мисс Брюстер, отвернитесь, пожалуйста! — стал я упрямить ее и был рад, что она послушалась.

— Держите прямо в центр сражения, мистер Ван-Вейден! — командовал Волк Ларсен.

Как только мы подошли к лодкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские лодки были захвачены нашими пятью, и все семь ждали, когда мы их подберем.

— Смотрите сюда! — невольно воскликнул я, указывая на северо-восток.

На горизонте показался дым; это была «Македония».

— Да, я слежу за ней, — спокойно ответил Волк Ларсен.

Он измерил глазами расстояние до границы тумана и постоял минуту, чтобы определить силу ветра.

— Ладно, сойдет! — продолжал он. — Но вы можете биться об заклад, что мой проклятый братец догадался, в чем дело, и собирается дать нам реванш. Смотрите, смотрите!

Дымок вдруг стал расти и сделался густо-черным.

— Ну, я тебя проведу, дорогой братец, — проговорил Ларсен сквозь зубы. — Достанется тебе на орехи! Я доведу тебя до того, что все твои старые машины взлетят на воздух.

Мы легли в дрейф, и началась общая суэта. Матросы поднимали лодки на палубу. Как только пленники появлялись на шхуне, их немедленно отводили на бак, под конвоем наших охотников. Матросы размещали лодки на палубе. Мы шли уже полным ходом, когда последняя лодка была поднята.

И действительно, нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, «Македония» мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие лодки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь. Наши курсы представляли как бы стороны треугольника, вершина которого касалась тумана. Именно здесь, у самого тумана, «Македония» и надеялась нас поймать. Тактика же «Призрака» сводилась к тому, чтобы достигнуть этой точки раньше «Македонии».

Волк Ларсен стоял на руле и блестящими глазами следил за подробностями гонки. Он изучал бег «Македонии», осматривал море, улавливал признаки ослабления или усиления ветра, наблюдал за парусами, отдавал приказания, пока, наконец, не довел «Призрака» до предельной скорости. Все ссоры и злоба были забыты, и я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие его за его жестокость, исполняли малейшее его приказание.

И, странно сказать, я почему-то вспомнил несчастного Джонсона в то время, как мы прыгали по волнам; я пожалел, что он не может полюбоваться нами. Он любил «Призрака» и всегда восхищался его быстротой.

— Запаситесь-ка винтовками, ребята! — обратился Волк Ларсен к охотникам.

И все пять человек, с ружьями в руках, выстроились на подветренной стороне и стали ожидать команды.

«Македония» была теперь в одной миле от нас. Черный дым стлался из ее трубы под прямым углом, она неслась, развивая скорость до семнадцати узлов. Мы же делали не более девяти узлов, но стена тумана была уже близка.

Вдруг на палубе «Македонии» показался дымок, мы услышали выстрел, и посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая, как мы раньше слышали, находилась у них на борту. Наши матросы, столпившиеся на палубе, замахали шапками и весело закричали. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало футах в двадцати от нашей кормы. Но ружейного огня не было, вероятно, потому, что все охотники «Македонии» находились на лодках или у нас в плену. Когда между обоими судами расстояние сократилось до полумили, грянул третий выстрел, и ядро снова пробило дыру в нашем парусе. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой, влажной пеленой и скрыв нас от «Македонии».

Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете, над нами было голубое небо, море колыхалось и сверкало до самого горизонта, и пароход, извергавший дым, огонь и губительные снаряды, бешено гнался за нами. И вдруг, точно по мановению вол-



Мы услышали выстрел, и посреди нашего гюта образовалась круглая дыра.

шебного жезла, солнце исчезло, небо скрылось, исчезли даже верхушки наших мачт. Седой туман осел на нас, как капли дождя. Каждая шерстинка на наших одеждах, каждый волосок на наших головах и бородах украсился, точно драгоценным камнем, хрустальной капелькой. Снасти были влажны, вода с них капала на наши головы. Я испытывал стеснение в груди. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон. Весь мир, вся вселенная сосредоточилась здесь, вокруг нас, и пределы мира были так близки, что, казалось, их можно было раздвинуть руками. Все за этой серой стеной было сном, воспоминанием сна.

Это было колдовство, странное колдовство. Я посмотрел на Мод Брюстер и понял, что и она испытывала то же, что и я. Затем я перевел глаза на Волка Ларсена, но в нем не произошло никакой перемены. Он был всецело поглощен своей задачей. Твердо держал он рулевое колесо, и мне вдруг представилось, что это — олицетворенное время, отсчитывающее минуты вместе с движением «Призрака».

— Ступайте на нос и возьмите круто под ветер, но без малейшего шума, — сказал он мне, понизив голос. — Следите за марселем в первую очередь. Пошлите людей к парусам. Но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина, — понимаете, — абсолютная тишина!

Приказ был выполнен, и «Призрак» помчался, накренившись левым бортом, в полной тишине. А то небольшое, что ее нарушало, а именно случайное похлопывание рифов и поскрипывание шкивов¹ на блоках, казалось как бы исходившим от привидения, блуждавшего под плотной, непроницаемой мантией, за которой мы скрывались.

Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом, на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая «Македония» не бороздила его поверхности, и ее черный дым не копил неба.

Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход глупо последовал за ним туда же в туман, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. При удачном исходе такого маневра брату Волка Ларсена было бы найти нас труднее, чем иголку в стоге сена.

Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Я бросил взгляд на Волка Ларсена. Мы уже потонули в густом тумане, но он кивнул мне. Он тоже видел. «Македония» догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас. Не могло быть никакого сомнения, что мы ускользнули незамеченными.

¹ Колеса в блоках.

— Братцу долго не выдержать, — сказал Волк Ларсен. — Ему придется вернуться к остальным своим лодкам. Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван-Вейден, все время держитесь этого же курса и назначьте вахту, потому что нам не придется отдыхать сегодня всю ночь. Я бы дал сто долларов, чтобы побывать на «Македонии» хоть пять минут и послушать, как ругается мой братец.

— А теперь, мистер Ван-Вейден, — обратился он ко мне, передав штурвал назначенному мною матросу, — нам нужно угостить наших новых гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок на бак. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с Волком Ларсеном с таким же рвением, с каким они охотились с его братом Смертью Ларсеном.

— А они не убегут от нас, как Уэйнрайт?

Он хитро улыбнулся.

— Не убегут, этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по доллару с каждой шкуры, добытой нашими новыми охотниками. По крайней мере, половина их сегодняшнего энтузиазма основывалась именно на этом. А теперь отправляйтесь-ка в наш лазарет. Там, должно быть, вас поджидает много раненых.

ГЛАВА XXVI

Волк Ларсен освободил меня от обязанности раздавать виски и занялся этим сам. Когда я возился на баке с новыми ранеными, бутылки уже заходили между командой. Я видел раньше, как пьют виски в клубе — обыкновенно виски с содовой водой, — но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди: из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок; одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух глотках, — они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись на баке.

Пили все, пили даже раненые; Уфти-Уфти, который помогал мне, тоже был пьян. Только один Луис воздерживался, всего раз осторожно прикоснулся губами к стакану, хотя в веселости не уступал другим. Это была настоящая оргия. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители икали на плечах друг у друга и клялись в глубоком уважении и преданности. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой Волка Ларсена. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость.

Это было странное и страшное зрелище: небольшая каюта с койками по стенам, качающийся пол, скрипящие стены, тусклое освещение, то удлиняющее, то чудовищно укорачивающее тени, тяжелый воздух, пропитанный та-

бачным дымом и запахом йодоформа и человеческих тел, искаженные лица людей, я бы сказал, полулюдей. Я обратил внимание на Уфти-Уфти: он держал конец бинта и глядел на эту сцену бархатными и лучистыми, как у оленя, глазами, но я знал, что в нем таится жестокий дикарь, несмотря на всю его женственность. Заметил я также и мальчишеское лицо Гаррисона — прежде добродушное, а теперь перекосившееся от злобы, когда он стал рассказывать гостям о дьявольской шхуне, на которую они попали, и призывал проклятия на голову Ларсена.

Они говорили о Вульфe Ларсене, и только о Вульфe Ларсене, этом порабителе и мучителе людей, об этой Цирце¹ в образе мужчины, превратившей всех их в свиней; за глаза и в пьяном виде они его ругали и возмущались. И я подумал: «Неужели же и я стал такой же свиньей? И Мод Брюстер! Нет!» Я гневно заскрежетал зубами, так что матрос, которого я перевязывал, вздрогнул, а Уфти-Уфти посмотрел на меня с любопытством. Я почувствовал в себе прилив новых сил. Моя любовь делала меня гигантом. Теперь я не боялся ничего. Я решил проявлять свою волю во всем до конца, вопреки Волку Ларсену и прожитым среди книг тридцати пяти годам моей жизни. Все кончится хорошо. Я добьюсь того, что все кончится хорошо. И, полный энтузиазма и решимости, я вышел из этого ада и поднялся на палубу, окутанную призрачным ночным туманом. Здесь воздух был чист и спокоен.

В лазарете, где лежали два раненых охотника, было повторение того, что происходило на баке, хотя тут не проклинали Волка Ларсена, но и отсюда я выскочил на палубу с большим облегчением и отправился в кают-компанию. Ужин был готов, и Волк Ларсен с Мод поджидали меня.

В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Он не решался пить при создавшихся условиях, так как мог полагаться только на меня и Луиса, который стоял теперь у руля. Мы пробирались сквозь туман наудачу и погасив огни. Меня очень удивило, что Волк Ларсен устроил для экипажа такое пиршество, но, очевидно, он знал хорошо их психологию и способы превратить в дружбу то, что началось кровопролитием.

Победа над Смертью Ларсеном, казалось, произвела на него большое впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии, и я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно, и он находился в превосходном настроении. Возможно, что обычная реакция не наступила только потому, что ему удалось захватить в плен так много охотников. Во всяком случае, меланхолия прошла, а дьявол не просыпался. Так я думал в ту минуту, но — увы! — как мало я знал его! Уже тогда он замышлял нападение еще более ужасное, чем предыдущее.

Как я сказал, он был в отличном расположении духа, когда я вошел в каюту. У него не было головной боли уже несколько недель, в голубых глазах его свети-

¹ Цирцея, по греческой мифологии, обратила в свиней спутников Одиссея, сошедших на остров.

лось небо, от его бронзового лица веяло цветущим здоровьем. Жизнь мощным потоком струилась по его жилам. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мод. Темой их разговора был соблазн, и из немногих слов, которые я успел услышать, я сделал заключение, что он признавал настоящим соблазном лишь такой, когда человек окончательно поддался ему и пал.

— Судите сами, — говорил он, — каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания — избежать страданий, другие — получить удовольствие. Но как бы он ни поступал, он всегда действует согласно своим желаниям.

— А если у него появятся вдруг два совершенно противоположных желания, — возразила Мод, — и одно из них мешает удовлетворению другого?

— Вот к этому-то я и клоню разговор, — ответил он.

— Между двумя такими желаниями и должна проявиться душа человека, — продолжала она. — Если это благородная душа, она последует хорошему побуждению, а если нет, то это низменная душа. Все решает душа.

— Вздор и чепуха! — нетерпеливо воскликнул он. — Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он — раб своих желаний и, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее, — вот и все. Его душа здесь ни при чем. Не может быть двух одинаково сильных желаний. Если в нем победит желание остаться трезвым, то, значит, это желание было в нем сильнее. Соблазн здесь не играл никакой роли, если только... — он остановился, точно его осенила вдруг новая мысль, — если только он не испытывает соблазна остаться трезвым. Ха-ха! А что вы думаете об этом, мистер Ван-Вейден?

— Что оба вы спорите о пустяках, — ответил я. — Душа человека — это его желание. Или лучше: сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба не правы. Вы говорите об одних желаниях, независимо от души, а на самом деле душа и желания — одно и то же. Тем не менее мисс Брюстер права в том, что соблазн есть всегда соблазн, побеждает ли его человек или подпадает под его власть. Ветер раздувает огонь и пламя. Желание подобно огню. Как ветром, оно раздувается от одного только вида того, что составляет его предмет, или даже от яркого описания или представления этого предмета. Тут-то и ищите соблазн. Соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном и, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.

Я чувствовал гордость, садясь за стол. Мои слова звучали решительно. Они положили конец спору.

Волк Ларсен был необычайно разговорчив. Такого желания говорить я еще никогда не видел в нем. Точно из него рвалась на свет энергия, которая искала себе выхода. Через минуту он начал разговор о любви. По обыкновению, он был и здесь материалистом. Мод отстаивала идеалистическую точку зрения.

Что касается меня, то я не принимал участия в этом разговоре, а только иногда вставлял несколько слов или вносил поправку.

Волк Ларсен был блестящ в споре, но Мод не уступала ему. Иногда я терял разговор, залюбовавшись ее лицом. Почти всегда она была бледна, но теперь лицо ее покрылось румянцем и оживилось. Она была очень остроумна, и спор, по-видимому, доставлял ей наслаждение. Наслаждался им и Волк Ларсен. По какому-то случаю, хотя я и не знаю, по какому именно, так как загляделся на один из каштановых локонов Мод, он стал цитировать слова Изольды к Тентажилю из поэмы Суинберна¹:

Благословенна я средь жен других во всем,
Мне суждено идти всегда своим путем,
И грех прекрасен мой...

Как раньше он сумел подчеркнуть пессимизм у Омара, так теперь он прочел восторг и ликование в строках Суинберна. Читал он стихи правильно и хорошо. И не успел он их окончить, как Луис просунул голову в кают-компанию и зашептал:

— Тише, тише... Туман рассеялся, и впереди виден пароход, виден левый бортовой огонь. Он хочет срезать нам нос, будь он трижды проклят!

Волк Ларсен выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда несло пьяное гоготанье. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красный и белый огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была «Македония».

Волк Ларсен вернулся на корму, и мы все трое молча глядели на огни, которые быстро приближались к нам.

— Счастье еще, что он не зажег прожектора! — проговорил Волк Ларсен.

— А что, если бы я вдруг громко крикнул? — спросил я шепотом.

— Тогда все было бы потеряно, — ответил он. — Но подумали ли вы о том, что произошло бы прежде всего?

И прежде чем я успел его спросить, что бы это было, он, как горилла, схватил меня за горло и едва заметным движением мускулов дал мне понять, что ему ничего не стоит свернуть мне шею. Он тотчас же отпустил меня, и мы снова стали следить за огнями «Македонии».

— А если бы крикнула я? — спросила Мод. — Что тогда?

— Вы мне слишком нравитесь, чтобы я мог причинить вам вред, — сказал он мягко, даже почти нежно, с лаской в голосе, от которой я содрогнулся. — Но вы все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван-Вейдена.

¹ Суинберн, Алджернон Чарлз — английский поэт, писатель, литературный критик.

— В таком случае я позволю ей кричать, — сказал я вызывающе.

— Сомневаюсь, чтобы вы так романтически пожертвовали собой, — про-
бурчал он.

Больше мы не разговаривали, но мы уже настолько привыкли друг к другу, что не чувствовали неловкости от молчания. И когда красный и белый огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин.

Опять они стали цитировать стихи, и на этот раз Мод прочла «*Impenitentia Ultima*» Доусона. Она передала их превосходно, но я наблюдал не за ней, а за Волком Ларсеном. Меня поразила его взгляд, устремленный на Мод. Он положительно был вне себя, и я заметил бессознательное движение его губ, старавшихся слово в слово повторять то, что она читала. Он прервал ее, когда она продекламировала следующие строки:

Ее глаза будут моим светом, если для меня
погаснет солнце,
И скрипки милого голоса будут последним
звуком для моих ушей.

— В вашем голосе тоже поют скрипки, — сказал он смело, и глаза его за-
сверкали золотом.

Я был в восторге от того, как она владела собой. Спокойно закончила она стихотворение и затем незаметно перевела разговор на другие, менее опасные темы. И все время я сидел в каком-то полубессознательном состоянии, в обществе человека, которого боялся, и женщины, которую любил, а пьяные голоса матросов доносились к нам через перегородку. Стол оставался неубранным. Матрос, заменивший Магриджа, очевидно, отправился к своим товарищам на бак.

Если Волк Ларсен достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера, и то остроумие, с которым Волк Ларсен анализировал характер Люцифера, было для меня откровением его скрытого гения. Он напомнил мне Тэна, хотя я уверен, что Ларсен никогда и не слышал об этом блестящем, хотя и опасном мыслителе.

— Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел Бога, — говорил Волк Ларсен. — Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Третью ангелов он увел за собой от Бога, возмутил против Бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем Бог, менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет! Бог был более могуществен, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он

предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни Богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.

— Первый анархист! — засмеялась Мод, поднимаясь и собираясь идти к себе в каюту.

— А разве плохо быть анархистом?! — воскликнул Ларсен.

Он тоже поднялся с места и, когда она замешкалась немного у своей двери, встал перед нею и продекламировал:

...Здесь, по крайней мере,
Свободны мы. Всемогуший
Прогнать отсюда нас не сможет.
Здесь мы будем царствовать спокойно.
А властвовать, хотя бы и в аду,
На выбор мой, достойней подчиненья,
И лучше быть властителем в аду,
Чем на небе рабом!

Это был смелый, вызывающий вопль могучего духа. В каюте все еще звучал его голос, он стоял в величественной позе, бронзовое лицо его сияло, голова была гордо поднята, и глаза с золотистым блеском, дерзкие и в то же время ласковые, смотрели на Мод, стоявшую у двери.

И опять неопиcуемый страх появился у нее в глазах, и почти шепотом она сказала:

— Вы — Люцифер.

Дверь закрылась, и она исчезла. С минуту он глядел ей вслед, затем пришел в себя и повернулся ко мне.

— Я пойду сменить Луиса у руля, — сказал он отрывисто, — а вы смените меня в полночь. Я позову вас. А теперь идите и поспите немного.

Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх, а я последовал его совету и отправился спать. По какой-то непонятной причине, под влиянием странного предчувствия, я не разделся и лег спать не раздеваясь. Некоторое время я прислушивался к долетавшему ко мне шуму голосов и думал о своей любви к Мод, но на «Призраке» я давно научился спать крепко при всяких условиях: скоро я уже не слышал пьяных песен и гула голосов, глаза мои сомкнулись, и сознание расплылось в глубоком, полумертвом сне.

Я не знаю, что разбудило меня, но я быстро вскочил на ноги, с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В каюте слабо мерцал свет. Я увидел Мод, мою Мод, в объятиях Волка Ларсена. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я видел напрасные усилия, с какими она отбивалась от него, упершись головой ему в грудь, чтобы вырваться из его объятий. Все это я увидел в один момент и бросился вперед.

Я ударил его кулаком по лицу, когда он поднял голову, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел, как мячик, ударился о дверь каюты, в которой раньше помещался Макридж, и дверь разлетелась на куски. Я с трудом поднялся на ноги. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли, я громко закричал, вытащил кортик и вторично бросился на Ларсена.

Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мод. Я подскочил к нему с поднятым ножом, но задержал удар. Меня поразила в нем странная перемена. Мод стояла, опершись о стену каюты и протянув руку вперед, точно ища поддержки, а он шатался, прижимая левую руку ко лбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Он нащупал стену, и, по-видимому, сознание найденной опоры доставило ему облегчение.

Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения, все обиды, перенесенные мной от этого человека, все, что выстрадал от него я сам и другие, и я представил ужас того, что он существует. Я бросился на него, у меня помутилось в глазах, и я вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану, — сталь скользнула вдоль лопатки, — и я вытащил кортик, чтобы нанести ему второй удар.

Но Мод видела мой первый удар и закричала:

— Не надо! Умоляю вас, не надо!

На миг я опустил руку, но только на один миг. Опять сверкнул нож, и Волк Ларсен был бы убит, если бы Мод вдруг не встала между нами. Ее руки обвили меня, ее волосы защекотали мне лицо. Возбуждение все еще не покидало меня, и ярость подступила мне к горлу. Мод храбро посмотрела мне в глаза.

— Ради меня... — умоляла она.

— Ради вас я и убью его! — воскликнул я, стараясь высвободить руку, чтобы не поранить случайно Мод.

— Тсс... — прошептала она и закрыла мне рот рукой. Я мог бы расцеловать ее пальчики. Даже в эту минуту страшного гнева их прикосновение было для меня необыкновенно сладостно.

— Прошу вас! Ну пожалуйста!

Она обезоружила меня одним своим словом. Я понял, что своей просьбой она будет всегда покорять меня.

Я отступил, вложил кортик в ножны и взглянул на Волка Ларсена. Он все еще стоял, прижимая левую руку ко лбу и прикрывая глаза. Голова его была опущена. Казалось, у него отнялись ноги. Его тело как-то вдруг осело, широкие плечи согнулись.

— Ван-Вейден, — позвал он хрипло и с тревогой в голосе. — Ван-Вейден, где вы?

Я посмотрел на Мод. Она не сказала ни слова, но сделала мне знак головой.

— Я здесь, — ответил я, подходя к нему. — Что с вами?

— Помогите мне сесть, — продолжал он все тем же хриплым, испуганным голосом. — Я болен, я очень болен, Сутулый, — сказал он, когда я усадил его.

Голова его упала на стол, и он обхватил ее руками. Время от времени он встряхивал ею, точно стараясь стряхнуть боль. Один раз, когда он приподнял ее, я увидел у него на лбу, меж прядей волос, крупные капли пота.

— Я болен, я очень болен, — повторял он.

— Что случилось? — спросил я, положив ему руку на плечо. — Чем я могу помочь вам?

Но он с раздражением отстранил мою руку, и я долго стоял около него молча. Мод смотрела на нас, и ее лицо было искажено страхом. Мы не могли понять, что с ним случилось.

— Сутулый, — сказал он наконец. — Мне нужно лечь в постель. Дайте мне руку. Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить! Помогите мне лечь в постель.

Но когда я довел его до койки, он опять закрыл лицо руками, и, уходя, я слышал, как он бормотал:

— Я болен. Я очень болен...

Мод вопросительно посмотрела на меня, когда я возвратился. Я в недоумении пожал плечами.

— Что-то случилось с ним, — сказал я. — Что именно, не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае, мой удар ножом здесь неповинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы сами видели.

Она покачала головой.

— Я ничего не видела, — сказала она. — Для меня все это сплошная тайна. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. Но что теперь мы должны предпринять? Что я должна делать?

— Подождите, — ответил я. — Я сейчас вернусь.

Я вышел на палубу. Луис по-прежнему стоял у штурвала.

— Можешь уходить, — сказал я ему. — Отправляйся к товарищам на бак.

Он ушел, и на всей палубе «Призрака» остался я один. Как можно тише убрал я марселя и кливер, подтянул грот. Затем я вернулся к Мод. Приложив палец к губам, чтобы показать ей, что она должна молчать, я вошел в каюту к Волку Ларсену. Он сидел все в том же положении, в каком я оставил его, с опущенной головой.

— Не могу ли я что-нибудь сделать для вас? — обратился я к нему.

Он сначала не ответил мне, но, когда я повторил вопрос, сказал:

— Нет, не надо ничего... Оставьте меня одного до утра.

Уходя, я заметил, что голова его снова раскачивалась из стороны в сторону. Мод терпеливо ждала моего возвращения, и я с радостью увидел ее изящную головку и спокойный свет ее глаз. Они были также спокойны, как и ее душа...

— Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие в шестьсот миль или около того?

— Что вы хотите сказать?.. — в свою очередь спросила она, но я знал, что она догадывается, о чем я думаю.

— Вы понимаете меня, — ответил я. — Нам больше ничего не остается, как бежать на простой шлюпке.

— Это вы затеваете для меня?.. Ведь вы здесь в полной безопасности!

— Нет, для нас обоих не остается ничего, кроме лодки, — продолжал я. — Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге. И, пожалуйста, как можно скорее!

Она немедленно отправилась к себе в каюту.

Кладовая помещалась как раз под кают-компанией, и, приподняв люк и захватив с собой свечу, я спустился вниз и стал обшаривать полки. Я обратил внимание, главным образом, на консервы, и, когда я все подготовил, сверху протянулись ручки, явившиеся мне на подмогу.

Мы работали молча. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. Нелегким предприятием было пускаться в путь по бурному, суровому океану, на утлой лодке, и потому запастись теплой непромокаемой одеждой было для нас необходимо.

С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах¹. Мод скоро утомилась и несколько раз присаживалась, а затем легла на спину прямо на палубе, раскинув руки. То же, бывало, я помню, делала моя сестра, и я знал, что это скоро поможет Мод. Необходимо было запастись еще и оружием, и я возвратился в каюту к Волку Ларсену, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье. Я окликнул его, но он не ответил, хотя все еще не спал и раскачивался из стороны в сторону.

— Прощай, Люцифер, — шепнул я, тихонько запирая за собой дверь.

Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя я и должен был для этого отправиться на бак. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого носа у них — они уже храпели — я унес два ящика.

Теперь надо было спускать лодку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Справившись с этим, я удостоверился, что весла, уключины и парус были на месте. Вода также играла немалую роль, и я обыскал каждую лодку. Всех лодок, как я упоминал выше, было девять, так что воды в них нашлось для нас вполне достаточное количество. То же было и с балластом, хотя можно было наверное сказать, что наша лодка будет перегружена теми запасами, которые я брал с собой.

Пока Мод передавала мне провизию и я укладывал ее в лодку, на палубу с бака вышел матрос. Он постоял некоторое время с наветренной стороны

¹ Шканцы — верхняя палуба от грот-мачты до бизань-мачты (то есть площадь на палубе между второй и третьей мачтами).

(мы находились на подветренной) и медленно направился прямо к нашим вещам, здесь он опять остановился, стал лицом к ветру, спиной к нам. Я слышал, как забилося мое сердце, и нагнулся еще ниже к лодке. Мод растянута на полу и лежала неподвижно в тени от борта. Но матрос не обернулся и, громко зевнув, побрел обратно к себе на бак.

Двух-трех минут было достаточно, чтобы закончить погрузку, и я спустил лодку на воду. Когда я помогал Мод перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле мог сдерживать себя, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» «Да, Хэмфри Ван-Вейден безнадежно влюблен», — думал я, когда спускал Мод в лодку и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мод за талию и гордился этим подвигом. Такой силы у меня не было несколько месяцев назад, когда я простился с Чарли Фэрасетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном «Мартинесе».

Лодка покачнулась, и ножки Мод коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от «Призрака». Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что они делали в две минуты, у меня потребовало двадцати, но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил лодку по ветру.

— Япония там, — указал я, — прямо против нас!

— Хэмфри Ван-Вейден, — обратилась Мод ко мне, — вы смелый человек.

— Нет, — ответил я, — это вы смелая женщина!

Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на «Призрак». Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо со скрипом повертывалось всякий раз, как по рулю ударяла волна. Затем очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели, и мы остались одни на мрачном просторе моря.

ГЛАВА XXVII

Настало утро, серое и холодное. Лодка шла по ветру, и компас показывал, что мы держались именно того курса, который ведет нас к Японии.

Несмотря на теплые перчатки, пальцы у меня окоченели, и я едва мог держать руль. Ноги застыли. Я страстно желал, чтобы наконец выглянуло солнце.

Передо мной на дне лодки лежала Мод. К счастью, ей было тепло. Она была укутана толстыми одеялами. Концом одного одеяла я прикрыл ей лицо, чтобы защитить от ночного холода, и мог видеть только неясные очертания ее фигуры и светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под одеяла и точно бриллиантами покрытые росой.

Долго я смотрел на прядь ее волос, как смотрит человек на самую дорогую для него вещь. Настолько пристален был мой взгляд, что она задвигалась, наконец, под одеялами, открыла лицо и улыбнулась мне сонными глазами.

— Доброе утро, мистер Ван-Вейден, — сказала она. — Не видно ли берега?

— Нет, — ответил я, — но мы приближаемся к нему со скоростью шесть миль в час.

Она сделала разочарованную гримаску.

— Это составит сто сорок четыре мили в сутки, — старался я ее подбодрить.

Лицо ее просияло.

— А еще далеко? — спросила она.

— Вон в той стороне — Сибирь, — указал я ей на запад, — а вот здесь, на юго-западе, в шестистах милях от нас — Япония. При таком ветре мы будем там через пять дней.

— А если будет шторм? Мы сможем его выдержать?

Она имела обыкновение смотреть в глаза так, что ей нужно было говорить правду.

— Да, — ответил я не сразу, — но нам придется тяжелеенько.

— А если будет настоящий шторм?

Я покачал головой.

— Надеюсь, что тогда нас подберут промысловые суда, — сказал я. — В этой части океана их бывает много.

— Но вы страшно продрогли! — воскликнула она. — Смотрите! Вы дрожите. Нет, нет! Не спорьте! А я спокойно лежу здесь в тепле, как в печке!

— Я не думаю, — усмехнулся я, — что было бы лучше, если бы мы зябли оба.

— Но было бы лучше, если бы я умела управлять рулем. И я научусь!

Мод села и занялась своим несложным туалетом. Она распустила волосы, и они каштановым облаком окутали ее, скрыв лицо и плечи. Милые каштановые волосы! Мне хотелось поцеловать их, пропустить сквозь пальцы, спрятать в них свое лицо. Я смотрел в восхищении, пока изменившая свой курс лодка и заполоскавший парус не дали мне понять, что я позабыл о своих обязанностях. Идеалист и романтик, каковым я всегда был, несмотря на свою склонность к постоянному анализу, я мало интересовался физической стороной любви. Я думал, что любовь мужчины и женщины была чем-то возвышенным, основанным на той духовной связи, которая соединяла и влекла их души одну к другой. Физическая сторона любви не играла для меня большой роли. Но я понял теперь, что душа выявляется через телесную оболочку, что смотреть, ощущать запах и прикасаться к волосам любимого существа — это то же, что постигать сущность его духа; мысли человека выявляются не только в словах, но и в улыбке и в блеске очей. Чистый дух непознаваем, а вещь только осязается, и той или другой стороне одних своих средств для выражения недостаточно. Иегова¹ принимал человеческий образ, потому что ему нужно было, чтобы его понимали евреи именно на их языке, а не на его. Поэтому они и понимали его только в доступных им, евреям, образах, как, например, тогда, когда он появлялся перед ними в виде облака или огненного столба.

¹ Божество еврейской религии.

Итак, я смотрел на светло-каштановые волосы Мод, любил их и узнал о любви больше, чем могли мне рассказать поэты и певцы всего мира своими песнями и сонетами.

Вдруг Мод привычным жестом отбросила волосы назад и открыла свое улыбающееся лицо.

— Почему женщины не носят распущенных волос всегда? — спросил я. — Это так красиво!

— Да, если бы они не путались так страшно, — засмеялась она. — Ну вот! Потеряла одну из своих драгоценных шпилек!

Я совсем позабыл о лодке и бросил на произвол судьбы парус, с восхищением следя за каждым движением Мод, пока она искала шпильку. Меня удивляло и радовало, что она была истинной женщиной и каждое ее движение, каждый поступок были типично женскими; это заставляло радостно биться мое сердце, так как в своих представлениях о ней я ставил ее на недостижимую высоту, считал ее выше всех людей в мире, а себя слишком от нее далеким. В своем воображении я представлял ее себе богиней, чем-то неземным. И теперь я радовался, заметив в ней женские черты, — это движение головой, чтобы откинуть назад волосы, и эти поиски потерянной шпильки. Она была просто женщиной, как я был просто мужчиной. Она обитала не на небесах, а тут, на земле, рядом со мной.

С радостным возгласом она нашла свою шпильку, и я сосредоточил теперь все свое внимание на руле. Я сделал опыт: привязал рулевое весло так, чтобы лодка могла идти по ветру без моего содействия. Результат оказался удачным — лодка шла правильно.

— Теперь давайте завтракать, — сказал я. — Но прежде вы должны одеться потеплее.

Я достал толстую фуфайку, совершенно новую, сшитую из плотной байки. Я нарочно захватил такую толстую, из плотной ткани: она могла хорошо защищать от дождя и не пропускать влаги в течение нескольких часов подряд. Когда она натянула ее через голову, я дал ей вязаную матросскую шапку, закрывшую волосы, а когда я опустил еще и поля, то шапка закрыла ей шею и уши. Мод была очаровательна и в этом уборе. Ее лицо было из тех, какие никогда не теряют своей привлекательности. Ничто не испортило бы его изысканных очертаний, классически прекрасных линий, тонко очерченных бровей и больших карих глаз, ясных и удивительно спокойных.

Резкий порыв ветра вдруг сбил нас с курса; лодку подхватило и понесло по волнам. Она накренилась и зачерпнула с ведро воды. Я вскрывал в это время жестянку с консервированным языком; бросившись к парусу, я едва успел отпустить его. Парус захлопал, и лодка выправилась. Через несколько минут мне удалось поставить ее на правильный курс, и я вновь занялся приготовлением завтрака.

— Кажется, дело у вас идет на лад, — сказала она, склонив головку в знак одобрения моего умения обращаться с рулем. — Впрочем, я ровно ничего не понимаю в морских делах.

— Да, оно идет на лад, когда приходится идти по ветру, — объяснил я. — А когда ветер вдруг задует прямо в лицо или в бок, то тогда без управления рулем не обойтись.

— Все это я плохо понимаю, — сказала она, — но я поняла ваши опасения, и они мне не нравятся. Ведь не можете же вы сидеть у руля и дни и ночи! А потому после завтрака извольте дать мне первый урок. А затем вы ляжете спать. Мы установим вахты, как это делается на судах.

— Как же я буду вас учить, — запротестовал я, — когда я сам учусь? Вы не подумали о том, как мало опытен я в управлении самой простой лодкой, когда доверялись мне. Это мой первый опыт.

— Тогда, сэр, мы будем учиться вместе. А так как вы управляли лодкой уже целую ночь, то научите меня тому, что постигли за это время. Но давайте завтракать! На воздухе разыгрывается аппетит.

— Нет кофе, — сказал я жалобно, передавая ей морской сухарь с маслом и ломтиком языка. — Не будет теперь у нас ни чая, ни супа, ничего горячего, пока мы не пристанем куда-нибудь к берегу.

После завтрака мы выпили по чашке воды, и Мод стала учиться править рулем. Уча ее, я учился и сам, хотя кое-что и знал уже из моего опыта на «Призраке». Мод оказалась способной ученицей и скоро поняла, как надо держать курс и управлять парусом при неожиданных порывах ветра.

Она скоро устала и передала весло мне. Я уже свернул одеяла, но она снова разостлала их на дне. Устроив все, она сказала:

— Ну, сэр, постель готова. Вы должны спать до второго завтрака, нет, до обеда, — поправилась она, вспомнив порядок дня на «Призраке».

Что мне оставалось делать? Она настаивала и повторяла: «Нет, пожалуйста! Будьте добры!» Я передал ей рулевое весло и подчинился. И испытал необычайное наслаждение, когда улегся в приготовленную ее руками постель. Спокойствие и самообладание, которыми она отличалась, казалось, передались от нее этим одеялам, и я долго смотрел на овал ее лица в рамке матросской шапки и карие глаза, не отрывавшиеся от горизонта, то прятавшегося за мрачные облака, то скрывавшегося за серые волны, а потом... очнулся с сознанием, что спал.

Я посмотрел на часы. Был час дня. Неужели я проспал семь часов? И все эти семь часов она правила! Когда я принимал от нее рулевое весло, мне пришлось насильно разжать ее оочевневшие пальцы. Она была совершенно без сил и не могла двинуться с места. Пришлось спустить парус, чтобы иметь возможность уложить ее в гнездышко из одеял и дать отогреться рукам и ногам.

— Я устала! — сказала она с глубоким вздохом, в бессилии поникнув головой.

Но сейчас же выпрямилась.

— Не смейте бранить меня! — крикнула она с шутливым вызовом.

— Да я и не думаю вовсе сердиться, — серьезно возразил я. — Уверю вас, я не могу на вас сердиться.

— Н-нет... — задумчиво произнесла она. — Но на вашем лице упрек.

— Значит, у меня честное лицо, потому что оно выражает именно то, что я чувствую. Вы нехорошо себя ведете и по отношению к себе самой, и по отношению ко мне. Ну как я могу теперь доверять вам?

Она виновато посмотрела на меня.

— Ну, я исправлюсь, — сказала она тоном капризного ребенка. — Я постараюсь...

— Повиноваться, как матрос капитану?

— Да, — ответила она. — Сознаюсь, что я глупо поступила...

— Обещайте мне еще кое-что!

— Извольте.

— Обещайте не повторять «пожалуйста» да «прошу вас», а то вы быстро подчините меня себе.

Она рассмеялась. Она тоже заметила, какую силу имело надо мной это слово «пожалуйста».

— Это хорошее слово, — начал я, — но...

— Но я не должна злоупотреблять им, — перебила она меня.

Она слабо улыбнулась и уронила голову на одеяло. Я оставил руль, чтобы закутать ей ноги и прикрыть лицо. Увы, она была такая слабенькая. Я с тоской поглядел на юго-восток и подумал о тех полных страданий и лишений шести-стах милях, которые нам предстояло пройти. Я сказал — «полных лишений», чтобы не сказать большего. В этих местах мы могли ожидать шторма каждую минуту, и он мог погубить нас. И все-таки я не боялся. Я не был спокоен за будущее, оно представлялось мне весьма сомнительным, и все-таки я не испытывал страха. «Все обойдется, — повторял я себе, — все обойдется».

С полудня ветер посвежел, поднялись волны, и мне пришлось бороться с ними. Однако большое количество съестных припасов и девять бочонков воды служили хорошим балластом: лодка обладала устойчивостью и я шел под парусом, пока это не стало опасным. Тогда я убрал его.

Под вечер я заметил на горизонте дымок парохода. Это мог быть русский крейсер или «Македония», которая разыскивала «Призрак». Солнце не показывалось весь день, и было очень холодно. А когда настала ночь, то облака сгустились еще больше и ветер стал еще свежее: мы с Мод ужинали в перчатках. Я не оставлял рулевого весла ни на минуту и управлялся с ужином одной рукой.

Когда стемнело, море и ветер были уже не под силу нашей лодке, и я с горьким сожалением должен был снять парус и сделать из него плавучий якорь. Я слышал, как это делается, от матросов, и это оказалось нетрудным. Свернув парус и крепко связав его с мачтой, реей и двумя парами запасных весел, я бросил все это за борт. Линем¹ это приспособление было привязано к корме. Оно задерживало ход лодки и направляло ее нос против ветра. Такое положение лодки является самым безопасным при бурном море.

¹ Линь — тонкая крепкая веревка (*трехрядная*).

— А теперь? — весело спросила Мод, когда я закончил эту работу.

— А теперь, — ответил я, — мы уже не плывем с вами в Японию. Нас влечет на юго-восток, и наша скорость не более двух миль в час.

— Это значит — до утра проплывем всего двадцать четыре мили, и то если ветер продержится всю ночь?

— Да, но это составит сто сорок миль, если ветер будет нас гнать трое суток.

— Но он не будет дуть, — сказала она, стараясь себя утешить. — Он переменится и станет попутным.

— Море — великий предатель.

— А ветер? Я слышала, как вы воспевали пассат!

— Жаль, что я не захватил с собой хронометра и секстанта Волка Ларсена, — сказал я мрачно. — Ветер и течение так часто меняются, что нельзя определить без инструментов наше направление. Мы легко сможем ошибиться на пятьсот миль.

Но затем я просил прощения за эти слова и обещал не пугать ее больше. По ее настоянию я оставил ее на вахте до полуночи (это было в девять часов вечера), но окутал ее одеялами и укрыл сверху брезентом. А затем лег спать. Я спал урывками. Лодку подбрасывало, я слышал рев моря, то и дело меня обдавало брызгами. И все-таки эта ночь не казалась мне плохой, она была для меня пустяком в сравнении с теми, которые я проводил на «Призраке», и с теми, которые нам предстояло еще провести на этой скорлупе. Ее обшивка была всего толщиной в три четверти дюйма. От морского дна нас отделял только слой дерева тоньше одного дюйма.

И все-таки, — я утверждаю это и буду утверждать всегда, — я вовсе не боялся. Страх смерти, который я испытывал от угроз Ларсена и даже Томаса Магриджа, теперь оставил меня. Появление в моей жизни Мод Брюстер, казалось, переродило меня. Я думал, что любить лучше и прекраснее, чем быть любимым, и только это чувство заставляет человека дорожить жизнью и ненавидеть смерть. В любви к другой жизни я забыл о своей собственной, и хотя это может показаться парадоксом, но никогда еще я не хотел так жить, как теперь, когда менее всего стал ценить свою жизнь. И я пришел к заключению, что никогда не было у меня столько причин желать жить, как именно теперь.

Я лежал, дремал и был доволен тем, что видел сквозь темноту Мод, низко согнувшуюся над рулем, со взором, устремленным в пенящееся море, и готовую каждую минуту, если потребуется, позвать меня на помощь.

ГЛАВА XXVIII

Нет нужды подробно описывать те страдания, которые мы пережили на маленьком суденышке в течение долгих дней, когда нас бросало по бесконечному океану. Неистовый северо-западный ветер дул целые сутки; когда же он затих, то поднялся юго-западный. Это было для нас самое худшее, и я принялся за

свой якорь, высвободил парус, поставил его и старался держать лодку хотя бы в юго-восточном направлении.

Через три часа — это было уже в полночь, в самый темный час на море — поднялся свирепый юго-западный ветер, и я принужден был опять снять парус и сделать из него плавучий якорь.

Когда настало утро, я сидел с опухшими глазами и смотрел на побелевший океан, который грозил проглотить нашу скорлупку. Брызги и пена так заливали нас, что я не успевал вычерпывать воду. Все одеяла промокли. Все было мокро, за исключением Мод, которая под своими брезентами, в резиновых сапогах и в толстой фуфайке оставалась сухой; только руки, лицо и волосы ее были мокры. Время от времени она сменяла меня и храбро вычерпывала воду или наблюдала за ветром. Все на свете относительно. Это было небольшое волнение, а не буря, но для нас, боровшихся за свою жизнь в нашей утлой ладье, оно казалось страшным штормом.

Озябшие и измученные, мы весь день боролись с ветром, хлеставшим нас по лицам, и с бесновавшимся морем, белым от пенистых гребней. Пришла ночь, но мы не ложились спать. Настал день, и все еще дул прямо в лицо ветер и ревело море. В следующую ночь Мод заснула от изнеможения. Я укрыл ее непромокаемым плащом и брезентом. Она окоченела от холода. Я боялся за ее жизнь. Следующий день тоже был холодный и неприветливый, с тем же завывавшим ветром и ревелившим морем.

Я не спал уже сорок восемь часов; промок и продрог до костей и был полумертв от утомления. Я ослабел столько же от усталости, сколько и от холода. Мои болевшие мускулы причиняли мне невыносимые страдания, когда я начинал работать. А работать мне приходилось безостановочно. И все время нас гнало на северо-восток, в противоположную сторону от Японии, прямо к неприветливому Берингову морю.

И все еще мы были живы, жива была и наша лодка, а ветер все дул, точно сорвавшись с цепи. К вечеру третьего дня он стал еще сильнее и злее. Нос нашей лодки то и дело погружался в море, и вода в ней поднималась на целую четверть. Я вычерпывал ее как сумасшедший. Нам грозила большая опасность: вода придавала лодке излишний вес, и она стала терять равновесие. Еще одна огромная волна — и мы погибнем. Когда мне удалось вычерпать всю воду, я снял с Мод брезент и накрыл им нос шлюпки. И хорошо сделал, потому что его хватило на целую треть лодки, и три раза подряд в течение следующих часов он отражал низвергавшиеся на него волны.

Мод была в жалком состоянии. Она сидела на дне лодки, съежившись комочком, с посиневшими губами и серым, измученным лицом. Но в глазах у нее светилась бодрость и губы ее шептали ободряющие слова.

Самый сильный взрыв бури был именно в эту ночь, хотя я его и не заметил: я окончательно выбился из сил и заснул, сидя на запасных парусах. К утру четвертого дня ветер вдруг затих, море успокоилось, и выглянуло солнце. О, благословенное солнышко! Мы купались в его благодатных лучах, отогревали

наши бедные тела, оживая, как букашки, после бури. Мы снова улыбались, шутили и старались бодро смотреть в будущее. На самом деле положение было хуже, чем раньше. Мы теперь были дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули «Призрак», хотя я и не мог точно определить ни долготы, ни широты. Судя по тому, что нас относило течением на две мили каждый час и что буря продолжалась более семидесяти часов, нас должно было отнести к северо-востоку не менее как на сто сорок миль. Но и это вычисление было только приблизительное.

Где мы были теперь, я не мог определить: было весьма возможно, что мы находились где-нибудь вблизи «Призрака». Нам попадались на пути нашем котики, и я ожидал, что в любую минуту мы можем встретить какое-нибудь промысловое судно. И действительно, в полдень, когда опять с новой силой задул юго-западный бриз, мы увидели на горизонте шхуну, но она скоро исчезла из виду, и снова мы остались одни.

Случались туманные дни, когда даже Мод падала духом и я не слышал от нее ободряющих слов; бывали дни полного штиля, когда мы качались на пустынной, необъятной поверхности океана, подавленные его величием, и когда нам казалось чудом из чудес, что мы все еще живы и боремся за жизнь; случались дни изморози, ветра и мокрого снега, когда мы никак не могли согреться, или дни проливного дождя, когда нам удавалось наполнить наши бочонки пресной водой, выжимая промокшие паруса.

Моя любовь к Мод все возрастала. Мод была такой разносторонней, такой многогранной, богато одаренной натурой! Я мысленно называл ее разными нежными именами. Я тысячи раз готов был признаться ей в любви, но понимал, что было еще не время для такого объяснения. Не время просить от женщины любви, когда взялся помочь ей спасти ее жизнь. Мне казалось, что я умело скрывал свои чувства и не выдавал себя ни взглядом, ни жестом. Мы были добрыми товарищами, и с каждым днем наша дружба становилась все крепче.

Больше всего меня удивляло в ней полное отсутствие робости и страха. Ужасное море, утлая ладя, бури, испытания, полное наше одиночество и странность положения — одним словом, все то, что испугало бы даже самую храбрую женщину, по-видимому, не оказывало никакого впечатления на нее, воспитанную в обстановке изнеженности и комфорта. Нет, впрочем, я не вполне прав. Она была в то же время и робка. Ее телесная оболочка знала страх, но дух ее царил над плотью. Она вся была дух, всегда и прежде всего дух, составляющий сущность жизнь; всегда спокойная, как были спокойны ее глаза, и уверенная в постоянстве и вечности законов, при всей видимой изменчивости природы.

Опять настали бурные дни, дни и ночи штормов, когда океан терзал нас своим зловещим ревом и грозил поглотить нашу борющуюся с волнами лодку. И всякий раз нас относило все дальше и дальше к северо-востоку. В одну из таких бурь, самую злейшую из всех нами испытанных, я взглянул на горизонт. Я ничего не искал, а скорее — просто молил стихию прекратить, наконец, свою

ярость и пощадить нас. Я не решался поверить тому, что увидел. Дни и ночи, проведенные без сна, в непрерывной тревоге, вероятно, помрачили мой рассудок. Я посмотрел на Мод, чтобы проверить себя. Вид ее милых мокрых щек, уже давно не чесанных волос и карих глаз, все еще полных бодрости, убедили меня, что я хорошо вижу, что зрение мое нормально. Я стал смотреть вдаль и опять увидел далеко врезавшийся в море мыс, черный, высокий и голый, у его края пену прибоя и черную, неприветливую линию берега, уходящую на юго-восток.

— Мод! — воскликнул я. — Мод!

Она повернула голову.

— Это не Аляска? — вскрикнула она.

— Увы, нет! — ответил я. — Вы умеете плавать?

Она покачала головой.

— И я тоже не умею, — сказал я. — В таком случае мы должны добраться до берега не вплавь, а войти в какую-нибудь бухточку между скал и выбраться на берег. Но нам необходимо спешить, очень спешить...

Я говорил спокойным и уверенным тоном, хотя в душе у меня никакого спокойствия не было. Мод поняла это и пристально посмотрела на меня.

— Я еще не поблагодарила вас, — сказала она, — за все, что вы для меня сделали, но...

Она не договорила, точно подыскивая слова для выражения благодарности.

— Что же дальше? — спросил я угрюмо, так как мне не нравилось, что она стала меня благодарить.

— Помогите же мне! — улыбнулась она.

— Сделать распоряжение на случай вашей смерти? Нет уж, извините, мы еще не собираемся умирать. Мы должны высадиться на берег и найти там приют, прежде чем начнет темнеть.

Я говорил решительно, не веря ни одному своему слову. Я не чувствовал никакого страха, хотя был уверен, что мы погибнем в этой кипящей пучине и разобьемся о скалы, к которым нас быстро несло. Подходить к берегу с парусом было невозможно: ветер немедленно перевернул бы лодку и волны залили бы ее. К тому же и самый парус с запасными веслами тащился теперь позади нас в воде.

Как я сказал, я не боялся смерти, но у меня замирало сердце при мысли, что должна умереть Мод. Мое проклятое воображение уже представляло ее разбитой и изуродованной о прибрежные скалы, и это терзало меня. Я нарочно заставил себя думать о том, где бы найти наиболее безопасное место для высадки, говорил об этом Мод, но не верил себе, хотя и очень хотел бы поверить.

Я ужаснулся при мысли о страшной гибели, и на один миг мной вдруг овладело дикое желание схватить Мод на руки и вместе с нею броситься в волны. Затем я решил подождать и только в последнюю минуту, когда мы окажемся у самых скал, взять ее на руки, сказать ей о моей любви и, прижав ее к себе, броситься вместе с нею навстречу неминуемой гибели.

Инстинктивно мы прижались друг к другу на дне лодки. Я почувствовал, как ее рука коснулась моей. И так без слов мы ждали конца. Мы были недалеко от западного края мыса, где ветер был тише, и я надеялся, что нас пронесет мимо скал раньше, чем мы попадем в полосу прибоя.

— Мы все-таки должны высадиться на берег, — заявил я с уверенностью, которой, в сущности, у меня не было. — И мы высадимся, клянусь Богом! — воскликнул я пятью минутами позже.

Я побоялся, вероятно в первый раз в жизни, и смутился.

— Простите меня... — сказал я.

— Вы этим только еще больше убедили меня в своей искренности, — ответила она с радостной улыбкой. — Теперь я уверена, что мы действительно высадимся.

Я увидел, как за мысом постепенно вырастали отдаленные холмы, и перед нами открылись береговая линия и глубокая бухта. В ту же самую минуту до нашего слуха донесся непрерывный и мощный рев. Он был похож на отдаленный гром и слышался с подветренной стороны, заглушая шум прибоя. Когда мы обогнули мыс, перед нами открылась бухта с широким песчаным пляжем, который был покрыт миллионами котиков. Их рев и доносился до нас.

— Лежище! — воскликнул я. — Теперь мы спасены! Здесь, наверное, есть и люди, и крейсера для защиты животных от браконьеров. А может быть, здесь есть и стоянка.

Продолжая изучать линию прибоя, я сказал:

— Плохо, но не так, как было раньше. Теперь, если боги будут к нам милостивы, мы обогнем ближайший мыс, подойдем к хорошо защищенному берегу и сможем высадиться на песчаный пляж, даже не замочив себе ног.

И боги были милостивы к нам. И первый, и второй мысы оказались с подветренной стороны. Мы обогнули оба мыса в опасной к ним близости, и перед нами открылась бухта. Она глубоко вдавалась в остров, и начавшийся прилив внес нас туда под защиту мыса. Здесь море было спокойно, за исключением мягкого берегового прибоя, и я вытащил из воды свой плавучий якорь. Берег изгибался все дальше на юго-запад, пока, наконец, не показалась маленькая бухта, где вода стояла неподвижно, точно в пруду, и лишь изредка подергивалась легкой рябью, когда дыхание шторма врвалось сюда через окружающие бухту скалистые стены.

Здесь не было котиков. Киль лодки коснулся дна, покрытого галькой. Я выскочил и протянул руку Мод. Через мгновение она была рядом со мной. Но как только мои пальцы разжались, она вдруг ухватилась за меня. Я тоже покачнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Мы так долго пробыли на вечно волновавшемся, беспокойном море, что теперь твердая земля вырывалась у нас из-под ног. Нам казалось, что песок под нами то поднимался, то опускался и что скалы прыгали вокруг нас, точно борта корабля.

— Я должна сесть, — сказала Мод, нервно смеясь, и опустилась на песок.

Я с трудом поставил лодку в безопасное место и присел к Мод.
Так мы высадились на Остров Усильи, больные «земной» болезнью после продолжительного пребывания на море.

ГЛАВА XXIX

— Дурак! — выбранил я себя с досады.

Я разгрузил лодку и перенес на берег все наши пожитки к тому месту, где решил расположиться лагерем. На берегу нашлось небольшое количество выброшенной морем щепы, и взгляд на жестянку с кофе, которую я захватил с собой с «Призрака», навел меня на мысль об огне.

— Подлинный идиот! — продолжал я.

— Ну, перестаньте! — ласково остановила меня Мод и осведомилась, почему именно я был подлинный идиот.

— Да я не захватил спичек, — проворчал я в ответ. — Понимаете, ни одной спичечки! Теперь бы приготовить горячего кофе, сварить супу, чаю, а на чем?

— А вы вспомните Робинзона! Он тер одну палку о другую!

— Я читал много воспоминаний, написанных потерпевшими крушение: все они пробовали этот способ — безуспешно. Припоминаю Винтерса, газетного корреспондента, путешествовавшего по Аляске и Сибири. Я однажды встретил его у знакомых, и он рассказывал нам, как пытался добыть огонь именно трением палки о палку. Это было очень забавно. Он неподражаемо рассказывал о своем неудачном опыте. Помню, как в заключение, сверкнув своими черными глазами, он сказал: «Джентльмены, островитянин южных морей, быть может, сумеет это сделать, может быть, сделает и малаец, но это превышает способности белого человека».

— Но ведь мы же прожили столько времени без огня, — весело сказала Мод. — Почему мы не можем жить без него и дальше?

— Но кофе, кофе! Вы только подумайте о кофе! — воскликнул я. — И какой превосходный кофе! Я взял его из собственной кладовой Волка Ларсена. И кругом отличные дрова!..

Признаюсь, я безумно хотел кофе, и, как я впоследствии узнал, Мод также питала слабость к этому напитку. Кроме того, мы столько времени сидели на холодной пище, что застыли внутри так же, как и снаружи. Горячая пища была бы нам очень полезна. Но я больше не жаловался и принялся за устройство для Мод палатки из паруса.

Я думал, что это очень простое дело. Были под руками и весла, и мачты, и веревки. Но без знания дела, когда каждая деталь являлась опытом и каждый успешный опыт целым открытием, это оказалось очень трудно.

Целый день проработал я над сооружением палатки. В первую же ночь пошел дождь, палатка промокла, и Мод принуждена была возвратиться в лодку.

На следующее утро я выкопал вокруг палатки глубокую канаву, а через какой-нибудь час после этого внезапным порывом ветра палатку сорвало и бросило на песок ярдах в тридцати от места, где она находилась.

Увидев мою физиономию, Мод подняла меня на смех. Я сказал ей:

— Как только спадет ветер, я на лодке отправлюсь исследовать остров. Здесь обязательно должны быть люди или какая-нибудь стоянка. Шхуны должны посещать этот остров, и он должен принадлежать какой-нибудь стране. Но мне хотелось бы устроить вас поудобнее, раньше чем я отправлюсь.

— Я тоже отправлюсь с вами, — ответила она.

— Было бы лучше, если бы вы остались. Вы и так много перенесли. А плыть на лодке и грести в такую отчаянную погоду не очень-то приятно. Вам крайне необходимо отдохнуть, и я просил бы вас остаться.

Что-то подозрительно похожее на влагу вдруг заволокло ее глаза, прежде чем она успела отвернуться.

— Я все-таки отправлюсь с вами, — сказала она тихо, и в ее голосе послышалась мольба. — Я смогла бы вам чем-нибудь помочь...

Голос ее дрогнул.

— Если что-нибудь вдруг случится с вами, — продолжала она, — как я останусь здесь без вас одна? Подумайте об этом!

— О, не беспокойтесь, я буду очень осторожен! — ответил я. — К тому же я не пойду далеко и вернусь к вечеру. Да, дело решенное! Вам будет лучше остаться здесь, постараться ничего не делать, отдохнуть и хорошенько выспаться.

Она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был тверд, но спокоен.

— Пожалуйста! — сказала она. — Прошу вас!

Я попробовал было настоять на своем. Но она упорно смотрела на меня. Я хотел было говорить — и не смог. И я тотчас же заметил, как радостный огонек блеснул у нее в глазах, и понял, что моя ставка бита. Ей невозможно было отказать.

В полдень ветер прекратился, и мы решили отправиться в путь на следующее утро вместе. Проникнуть внутрь острова из нашей бухты не представлялось никакой возможности, потому что скалы отвесно поднимались у самого пляжа, а с другой стороны бухты они вырастали прямо из воды.

Настало утро, серое и угрюмое, но спокойное. Я поднялся рано, чтобы успеть снарядить лодку.

— Дурак! Идиот! Скотина! — бормотал я, когда наступило время будить Мод. Но на этот раз я чуть не подскакивал от радости.

Она приподняла край паруса, высунула голову и спросила полусонным голосом:

— Кого это вы так честите?

— Кофе! — крикнул я. — Понимаете? Кофе! Что сказали бы вы о чашке горячего кофе!

— Вы испугали меня, — проговорила она, — и к тому же вы слишком жестоки. Я уже приучила себя к мысли обходиться без него, а вы опять мучаете меня своими напоминаниями!

— Ну так смотрите!

Я набрал среди камней сухих щепок, настругал стружек и сложил все это в маленький костер, затем вырвал из записной книжки листок и достал из коробки патрон. Удалив из него кончиком ножа пыж, я высыпал порох на гладкий камень, затем вынул из патрона пистон и положил его тоже на камень, среди пороха. Все было готово. Мод глядела из своей палатки. Держа в левой руке бумагу, я взял в правую руку камень и ударил им по пистону. Вырвался клуб дыма, блеснул огонь, и бумага загорелась.

Мод радостно захлопала в ладоши.

— Прометей! — воскликнула она.

Но я был слишком занят, чтобы отвечать ей. Слабый огонек требовал ухода. И я подкладывал стружки и щепочку за щепочкой, пока, наконец, он не превратился в целый костер и огонь с треском не охватил сучья и палки.

Быть выброшенным на необитаемый остров не входило раньше в мои расчеты, и потому я не захватил с собой ни кастрюли, ни вообще каких-либо кухонных принадлежностей. Я воспользовался ковшом для вычерпывания воды из лодки, а когда мы съели часть наших консервов, то у нас получился целый ряд блестящих импровизированных кастрюль.

Я вскипятил воду, но кофе заварила сама Мод. И какой это был вкусный кофе! Моей обязанностью было поджарить консервированное мясо с толчеными морскими сухарями. Завтрак вышел на славу, мы уселись около огня и, попивая кофе, разговаривали о нашем положении. За завтраком мы просидели гораздо дольше, чем это полагается у обыкновенных путешественников-исследователей.

Я был убежден, что мы найдем на острове стоянку. Я знал, что все промыслы на Беринговом море охраняются, но Мод высказала предположение, решив подготовить меня к разочарованию, что этот остров мог быть никому не известным островом, не попавшим ни под чью охрану. Но и эта возможность не испугала ее: она была в очень хорошем настроении.

— Если вы правы, — сказал я, — то нам следовало бы подготовиться здесь к зиме. Наши запасы не вечны, но ведь здесь есть котики. Они могут уйти отсюда куда-нибудь в другое место, поэтому я должен как можно скорее заготовить достаточное количество мяса. Затем необходимо соорудить хижину и запастись топливом, натопить котикового жира для освещения. Во всяком случае, работы у нас будет немало, если этот остров действительно необитаем. Однако я все еще надеюсь, что мы найдем людей.

Но Мод оказалась права. Мы осмотрели остров с моря в бинокль, побывали на лодке во всех его бухтах и иногда даже высаживались на берег, но не нашли нигде и следа людей. Кстати, мы убедились, что были не первыми, попавшими на этот остров. Высоко на песке, у второй от нас бухты, мы наткнулись на разбитую лодку, на которой еще уцелела надпись белыми буквами: «Газель. № 2». Лодка лежала здесь, видимо, давно: она наполовину была занесена песком, и разбитый бок ее, высунувшийся из-под песка, носил на себе признаки

продолжительного действия непогоды. На корме лодки я нашел заржавленное охотничье ружье и матросский нож, сломанный пополам и до того заржавленный, что едва можно было признать в нем нож.

— Пойдемте отсюда, — сказал я ласково, но я чувствовал, как билось мое сердце, и мне казалось, что где-нибудь, здесь же на берегу, я увижу и побелевшие человеческие кости.

Я не желал, чтобы душа Мод омрачилась такой находкой. Мы уселись в нашу лодку и отправились к северо-восточной части острова. На южном берегу не встречалось песчаных отмелей, и мы обогнули черный мыс и тем закончили объезд всего острова. По моему мнению, он в окружности имел около двадцати миль, при ширине от трех до пяти миль. На его отмелях, по самому скромному моему вычислению, находилось до двухсот тысяч котиков. Остров был выше всего в своей юго-западной части и постепенно понижался к северо-востоку. Возвышался остров над морем всего на каких-нибудь пять футов. За исключением нашей маленькой бухты, все остальные глубоко входили в самый остров; их окружали песчаные отмели, поднимавшиеся постепенно на целую милю или около того. Затем шли довольно каменистые долины, на которых там и сям рос мох. Сюда выходили котики; старые самцы стерегли свои гаремы, а молодые держались особняком.

Более подробного описания наш остров не заслуживает. Скалистый, мрачный, открытый морю и ветрам, потрясаемый ревом двухсот тысяч котиков, он представлял жалкое и унылое место. Мод, подготовившая меня к разочарованию и бывшая весь день в самом великолепном настроении, все-таки не выдержала и, когда мы высадились у себя в бухте, разрыдалась. Она храбро старалась скрыть это от меня, но когда я снова добывал огонь, я слышал, как она плакала у себя в палатке, уткнувшись в одеяла.

Теперь настала моя очередь казаться веселым, и я разыгрывал свою роль так старательно и с таким успехом, что в конце концов заставил ее смеяться и даже петь. Она спела для меня перед тем, как идти спать. В первый раз я услышал ее пение и, лежа у огня, слушал и восхищался, потому что она оказалась настоящей артисткой, как и во всем, что ей приходилось делать. Ее голос был не сильный, но удивительно красивый и выразительный.

Я все еще спал в лодке. В эту ночь я лежал с широко открытыми глазами, смотря на первые звезды, которые уже столько раз видел, и обдумывал свое положение. Теперь я понимал лежавшую на мне ответственность; такого рода ответственность была нова для меня. Волк Ларсен совершенно прав. Я не стоял на собственных ногах, а жил за счет своего отца. Мои банкиры и поверенные заботились о моих деньгах вместо меня. Я не нес ответственности ни за что. И теперь, первый раз в жизни, я почувствовал ответственность за другого, и это была великая ответственность, потому что она касалась самой дорогой для меня женщины на всем земном шаре, единственной, которую я безумно любил, — моей «маленькой женщины», как я мысленно называл ее.

ГЛАВА XXX

Мы справедливо называли наш остров Островом Усилий.

Две недели мы упорно трудились над постройкой хижины. Мод настояла на том, чтобы помогать мне, и я чуть не плакал при виде ее рук, исцарапанных в кровь. Но я гордился ею. Было что-то героическое в этой женщине, получившей изнеженное воспитание и теперь бодро переносившей тяжкие испытания и исполнявшей самую черную работу. Она подавала мне камни, из которых я строил стены, и не хотела слушать моих увещаний не делать этого. Наконец она согласилась взять на себя более легкий труд — варить пищу и собирать на зиму топливо и мох.

Стены, в общем, было выводить нетрудно, и все шло как по маслу до тех пор, пока не встал передо мной вопрос о крыше. Какая польза от стен без крыши? А из чего мы могли ее сделать? Правда, у нас были запасные весла. Они могли служить нам стропилами. Но чем их покрыть? Трава для этого не годилась, мох тоже не годился. Парус нам нужен был для лодки, а брезент весь изорвался.

— Винтерс употреблял для своей крыши шкуры моржей, — сказал я.

— А разве здесь нет котиков? — подсказала она.

На следующий же день мы принялись за охоту. Я совершенно не умел стрелять, но рассчитывал, что научусь. Однако когда я истратил тридцать патронов на трех котиков, то решил, что все наши огнестрельные запасы иссякнут раньше, чем я приобрету необходимый навык. Восемь патронов я уже испортил на добывание огня, прежде чем догадался прикрывать уголья сырым мхом. Таким образом, у меня оставалось не более сотни патронов.

— Мы должны бить котиков дубинками, — объявил я, убедившись в своей неспособности метко стрелять. — Я слышал, как матросы говорили, что их обыкновенно так и бьют.

— Но они такие славные!.. — возразила Мод. — Нет, я и думать об этом не хочу! Это просто зверство. Стрелять — совсем другое дело...

— Но крыша нам нужна! — воскликнул я. — Зима-то на носу! Или мы, или они. Очень жаль, что мы так мало захватили с собой патронов, но не все ли равно, как им придется расставаться с жизнью: от выстрелов или же от ударов дубинкой? Во всяком случае, я отправлюсь бить их дубинкой один.

— Неужели вы способны на это? — спросила она и смутилась.

— Конечно, — ответил я. — Но если вы предпочитаете...

— Что же я буду здесь делать одна? — прервала она меня с той мягкостью, перед которой я в бессилии опускал руки.

— Собирать топливо и варить обед, — ответил я быстро.

Она покачала головой.

— Слишком опасно для вас отправляться на охоту одному, — сказала она.

— Я знаю, знаю! Вы боитесь, что я слабая женщина и не сумею оказать вам поддержку в минуту опасности.



Две недели мы упорно трудились над постройкой хижины.

— Но ведь бить дубинками...

— Конечно, это вы будете делать... я буду визжать, но я буду отворачиваться всякий раз, как...

— Когда это будет опасно, — рассмеялся я.

— Я сама решу, когда смотреть и когда не смотреть, — с важным видом ответила она.

Дело кончилось тем, что на следующее же утро она отправилась со мной. Я направил лодку прямо в соседнюю бухту, на самую отмель. Котики были здесь повсюду, они плавали в воде и тысячами ревели на берегу так громко, что мы должны были кричать, чтобы расслышать друг друга.

— Я знаю, что их бьют дубинками, — сказал я, стараясь подбодрить себя и с сомнением глядя на большого самца, который в тридцати футах от нас поднялся на передние лапы и уставился на меня в упор. — Но вот вопрос: как это делать?

— Нет, уж давайте-ка лучше наберем травы, — предложила Мод, — и сделаем крышу из нее.

Она испугалась так же, как и я, когда вдруг оскалились блестящие зубы, сверкнули глаза и раскрылись пасти котиков.

— А я думал, что они боятся людей! — сказал я. — А впрочем, почему я решил, что они не боятся? — проговорил я, гребя вдоль песчаной отмели. — Может быть, если бы я похрабрее вышел на берег, то они испугались бы, удрали, и все равно я не убил бы ни одного! — И все-таки я медлил.

— Я слышала об одном человеке, — начала Мод, — который сделал набег на гнезда диких гусей, и они заклевали его до смерти.

— Гуси?

— Да, гуси. Мой брат рассказывал мне об этом, когда я была маленькой девочкой.

— Но я знаю, котиков бьют дубинками, — настаивал я.

— Все-таки мне кажется, что из травы вышла бы отличная крыша! — в свою очередь повторила она.

Ее слова подзадорили меня. Ведь не мог же я разыграть труса на ее глазах!

— Ну, за дело! — решил я наконец и, гребя одним веслом, стал причаливать к берегу.

Я высадился и храбро направился к котiku-самцу, растянувшемуся среди своих самок. У меня была в руках обыкновенная палка, которой промышленники добивают раненых охотниками котиков на палубе судна. Она была длиной всего в полтора фута, и при своем невежестве я не подозревал, что для охоты за котиками на суше необходимо иметь дубинку данной, по крайней мере, фута в четыре или в пять. Самки тотчас же разбежались при моем появлении, и пространство между мной и самцом все уменьшалось и уменьшалось. Он обозлился и поднялся на передние лапы. Теперь между нами оставалось всего футов двенадцать, не больше. Я продолжал идти, ожидая, что вот-вот он повернется ко мне хвостом и убежит.

В шести футах от него на меня вдруг напал страх: а вдруг он не убежит? «Тогда я его убью!» — ответил я сам себе. В своем страхе я забыл, что пришел сюда, чтобы убить его, а не для того, чтобы спугнуть. В эту минуту он зафыркал, зарычал и бросился ко мне. Глаза его сверкали, пасть была широко открыта, белые зубы оскалены. Позабыв всякий стыд, я бросился со всех ног назад. Он бежал за мной, правда, довольно неуклюже, но все-таки очень быстро. И когда я вскарабкался в лодку, он был всего в двух шагах от меня и злобно ухватился зубами за весло, когда я стал им отпихиваться от берега. Крепкое дерево разлетелось в мелкие щепки, точно яичная скорлупа. Это нас поразило. А затем он нырнул под лодку, ухватился зубами за киль и стал свирепо ее раскачивать.

— Ай какой ужас! — вскрикнула Мод. — Вернемся лучше!

Я покачал головой.

— Я должен делать то, что делали другие, а я знаю, что именно дубинками бьют котиков. Но теперь я не буду нападать на самца.

— Да, лучше не надо, — сказала она.

— Только не говорите этих «пожалуйста, пожалуйста», — с некоторой досадой сказал я.

Она не ответила, и я понял, что ее обидел мой тон.

— Простите меня! — сказал или, вернее, прокричал я, чтобы она расслышала меня, так как котики страшно ревели. — Если вы желаете, мы вернемся сейчас же. Я хотел бы остаться здесь.

— Но только не говорите: «Вот что значит брать с собой женщину», — ответила она.

Она лукаво улыбнулась; очевидно, она простила меня. Проплыв вдоль берега футов двести, чтобы успокоить свои нервы, я снова вышел на берег.

— Будьте осторожны! — крикнула она из лодки.

Я кивнул и побежал, чтобы напасть на первое же стадо самок, которое попадется мне на пути. Все шло хорошо до тех пор, пока я не нацелился в голову одной из них и не нанес ей удара. Она завизжала и бросилась в сторону. Я бежал рядом с ней и наносил ей удары, но попадал не по голове, а по плечу.

— Берегитесь! — взвизгнула Мод.

В своем возбуждении я не заметил, что происходит вокруг. А в это время владыка гарема шел прямо на меня. И опять мне пришлось спасаться бегством от яростного преследования. Но теперь и Мод не хотела возвращаться.

— Мне думается, — сказала она, — что лучше вам не трогать гаремов, а обратить внимание на безобидных одиночек! Что-то такое я читала у доктора Джордана. Одиночки — это молодые животные, не успевшие обзавестись гаремами. Он называет их «холостяками». Если бы нам удалось найти их!

— Кажется, в вас проснулся охотничий инстинкт, — усмехнулся я.

Она мило вспыхнула.

— Я не люблю неудач не менее, чем вы, — ответила она, — хотя мне и противна мысль убивать таких красивых, безобидных животных.

— Ну уж и красивых! — не согласился я. — Я не нахожу ровно ничего красивого в этих слюнявых мордах, которые упорно гоняются за мной.

— Это только ваша точка зрения, — улыбнулась она. — У вас не хватает объективности. Вот если бы и вы тоже глядели на них издали...

— Это верно! Мне нужна более длинная дубинка. Кажется, у нас есть сломанное весло?

— Подождите, я припоминаю что-то... Да, да!.. Капитан Ларсен как-то рассказывал мне, как его матросы охотятся на котиков. Они угоняют их маленькими стадами внутри острова и там убивают их.

— Я не берусь угнать ни одного из таких гаремов, — возразил я.

— Да, но остаются еще «холостяки». Они держатся особняком, и доктор Джордан говорит, что между гаремами всегда остаются свободные пространства и, пока «холостяки» держатся на этих пространствах, их не трогают владыки гаремов.

— А вот и один из них! — указал я на молодого котика, плывшего мимо нас. — Давайте проследим за ним и узнаем, где он выйдет на сушу.

Он подплыл прямо к отмели и вышел в промежутке между двумя гаремами, владыки которых заворчали, но не тронули его. Мы проследили, как он медленно направился в глубину, ковыляя между другими гаремами по проторенной тропе.

— Вперед! — крикнул я, выскакивая из лодки.

Но я должен сознаться, что все-таки испытывал страх при одной мысли, что мне придется идти между этими ужасными гаремами.

— Не лучше ли было бы лодку привязать? — спросила Мод.

Она вышла на берег вслед за мной, и я с изумлением поглядел на нее.

Она решительно кивнула.

— Да, я пойду с вами, — сказала она. — И советовала бы вам подумать о лодке и вооружить меня дубинкой.

— Давайте лучше вернемся назад, — сказал я жалобно. — Можно сделать крышу из травы.

— Вы же сами говорили, что нельзя, — последовал ответ. — Может быть, мне пойти вперед?

Я пожал плечами, но в душе был восхищен смелостью этой женщины. Я вооружил ее обломком весла, а другой обломок оставил себе. Не без некоторой нервной дрожи мы совершили эту нашу первую экспедицию. Один раз Мод вскрикнула от страха, когда самка из любопытства ткнулась носом к ней в ноги. Я тоже несколько раз ускорял шаг по той же причине. Но если не считать некоторого недовольного ворчания, то никаких других признаков вражды котика не проявляли. Это был остров, которого ни разу не посещал ни один охотник, и потому котики на нем были кротки и не боялись человека.

В самом центре стада шум был ужасен. От него кружилась голова. Я остановился и ободрающе улыбнулся Мод, так как освоился с положением скорее, чем она. Мод все еще безумно боялась. Она близко подошла ко мне и прокричала:

— Мне очень страшно!

А мне уже не было страшно. Мирное поведение котиков успокоило мою тревогу. Но Мод дрожала от страха.

— Я боюсь и не боюсь, — бормотала она, стуча зубами. — Виновато мое слабое тело, а сама я не боюсь.

— Ну конечно, — старался я ее ободрить и покровительственно обнял ее.

Я никогда не забуду, какой прилив мужества я ощутил в этот момент. Я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом. А самое главное, почувствовал себя защитником той, которую я любил. Она опиралась на меня, легкая и хрупкая, и, по мере того как она переставала дрожать, я начинал чувствовать в себе чудовищную силу. Я почувствовал, что готов был немедленно же вступить в бой с самым яростным самцом из всего стада и, напади сейчас такой самец на меня, я бы встретил его совершенно спокойно и в конце концов убил бы его.

— Теперь мне лучше, — сказала она, глядя на меня с благодарностью. — Идем!

Таким образом, моя сила успокоила ее, дала ей уверенность и наполнила меня самого неизъяснимой радостью. Самая ранняя эпоха моей расы вдруг вернулась ко мне, сверхцивилизованному человеку, и я стал жить доисторическими интересами дней, проведенных на охоте, и ночей, прожитых в дремучих лесах, как мои отдаленные и забытые предки. «Мне есть за что благодарить Волка Ларсена», — подумал я, пробираясь по тропинке между стадами котиков.

Четверть мили мы шли внутрь острова за «холостяками» — этими гладкошерстыми молодыми самцами, живущими в одиночку и набиравшими сил, чтобы затем вступить в драку с другими самцами и завоевать себе почетное место в ряду обладателей гаремов.

Все шло как по маслу. Теперь я уже знал, что делать и как делать. Громко крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже давая пинка особо ленивым из них, я отбил несколько холостяков от их сотоварищей. Если какой-нибудь из них пытался бежать к воде, то я бил его по голове. Мод принимала деятельное участие в этой охоте, крича и размахивая обломком весла. При этом я заметил, что всякий раз, как она видела, что какой-нибудь котик начинал уставать, она щадила его. Но если какой-нибудь из них скалил зубы, то ее глаза вспыхивали, и она била зверя своей дубинкой.

— Это, оказывается, увлекает! — воскликнула она, остановившись, чтобы перевести дыхание. — Я посижу немного.

Я погнал перед собой небольшое стадо котиков вперед, и, пока она отдыхала, я покончил с ними и стал сдирать с них шкуры. А час спустя мы гордо шли по тропинке между гаремами назад. И дважды мы проходили мимо них, сгибаясь под тяжестью шкур, пока я не нашел, наконец, что на крышу нам достаточно. Тогда я поставил парус, и мы отправились обратно.

— Мы точно возвращаемся к себе домой, — сказала Мод, когда я вытащил лодку на песок.

Я с трепетом услышал ее слова, они были сказаны просто и задушевно.

— Мне кажется, будто я жил здесь всегда, — ответил я. — Все книги и их читатели в сравнении с этой действительностью кажутся мне далеким, туманным сном. Точно я охотился, совершал набеги и сражался всю свою жизнь. И точно вы тоже всегда разделяли эту жизнь со мной. Вы... — и уже готовы были сорваться с моего языка слова «моя жена, моя подруга», но я сдержался и быстро заменил их другими, — вы тоже отлично переносите все трудности.

Но ее ухо почувствовало фальшь. Она поняла, что я не то хотел сказать, и бросила на меня быстрый взгляд.

— Вы хотели сказать что-то другое?

— Что вы, американская миссис Мейнелл, живете жизнью дикарки и отлично приспособились к ней, — ответил я непринужденно.

— О! — сказала она, и я готов был поклясться, что в ее голосе звучала нота разочарования.

Слова «моя жена, моя подруга» звучали в моих ушах весь остаток этого дня и в следующие дни. Но никогда они не звучали для меня так громко, как в тот вечер, когда она снимала мох с тлеющих угольев, раздувала огонь и готовила ужин. Должно быть, во мне тогда проснулся старый дикарь, с которым я искони был связан целым рядом последовательных рождений, составлявших мою расу. Старые, древние слова «жена, подруга» наполняли меня трепетом, и, тихо повторяя их снова и снова, я блаженно уснул.

ГЛАВА XXXI

— Она будет пахивать, — сказал я, — но зато не будет пропускать тепла и защитит нас от дождя и снега.

Мы закончили, наконец, крышу из котиковых шкур.

— Она неказиста, но отвечает цели, а это главное, — продолжал я, напращиваясь на похвалу.

Она захлопала в ладоши и объявила, что крыша ей очень нравится.

— Но внутри темно, — сказала она в следующую минуту, пожав плечами, точно от невольной дрожи.

— Отчего же вы не напомнили мне об окне, когда я выводил стены? — спросил я. — Я строил для вас, и, кажется, вы должны были бы сказать, что окошко необходимо!

— Да, я недогадливая, — усмехнулась она. — Впрочем, вы можете пробить и теперь окно в стене.

— Совершенно верно, я не подумал об этом, — ответил я. — А вы не забыли заказать стекла? Позвоните по телефону фирме Ред, телефон № 44—51, — кажется, так, — и спросите, есть ли у них стекла по вашему вкусу.

— Это значит...

— ...Что окна не будет.

В хижине было темно и неприглядно; она была не лучше, чем свинарник в цивилизованной стране. Но для нас, не забывших испытаний, пережитых на море в маленькой лодке, она казалась довольно уютной. Отпраздновав новоселье при ярком освещении с помощью котикового жира, в который были вставлены фитили из шерсти, мы стали усиленно охотиться, чтобы запастись мясом на зиму, и строить другую хижину — для меня. Теперь это было уже легко: мы отправлялись утром и к полудню возвращались с полной лодкой. А затем, пока я строил хижину, Мод топила жир и коптила мясо. Я слышал однажды, как производится копчение ветчины, и наши котики, разрезанные на куски, висели над дымком и отлично прокапчивались.

Вторую хижину было строить гораздо легче, так как я пристраивал ее к первой, и нужно было выводить только три стены, а не четыре. Но все-таки это было не легким делом. Мы с Мод работали не покладая рук, с рассвета и до поздней ночи, до полного изнеможения, и когда доползали до своих постелей, то моментально засыпали мертвым сном. Мод заявила, что никогда не чувствовала себя так хорошо, как в это время. Я знал это по себе, но ведь она была такая слабенькая, что я часто побаивался, как бы она не надорвалась. Очень часто она падала, обессиленная, на спину, на песок, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть и набраться сил. А затем она снова поднималась и принималась за дело с еще большей энергией. Как у нее хватало сил — было для меня загадкой.

— Будем отдыхать всю зиму, — отвечала она на мои наставления. — Не стоит говорить о таких пустяках.

Второе новоселье мы справили в тот вечер, как была покрыта моя хижина. Только что окончился жесточайший трехдневный шторм, который шел с юго-востока на северо-запад и всей своей тяжестью обрушился на нас. Прибой на песчаном берегу внешней бухты ревел как гром, и даже в нашей совершенно замкнутой бухточке море сильно волновалось. Ни одна скала не защищала нас от ветра, и он свистел и гудел вокруг наших хижин так, что я боялся, как бы они не развалились. Крыша из шкур, натянутая мной, казалось, очень туго, ходила вверх и вниз при каждом порыве ветра. Трещины в стенах, заткнутые мхом не так плотно, как рассчитывала Мод, открылись. Но котиковый жир весело горел, и нам было тепло и уютно.

Это был приятный вечер. Мы чувствовали себя спокойно. Мы могли встретить самую жестокую зиму; были вполне готовы к ней. Котики могли теперь плыть на юг в свой таинственный приют, нас это не страшило, да и штормы уже не пугали нас. Теперь мы не только могли рассчитывать на то, что отныне будем сухи, в тепле и в убежище, но у нас, кроме того, были мягкие постели, сделанные из мха. Это было изобретением Мод, и она сама собирала для них мох. В эту ночь мне предстояло впервые спать крепче и слаще, потому что он был сделан ее руками.

— Что-то должно случиться. Уже надвигается. Я чувствую это. Что-то идет прямо на нас, сюда. И случится скоро. Я не знаю, что именно, но непременно случится.

— Хорошее или дурное? — спросил я.

Она покачала головой.

— Не знаю, — ответила она. — Но оно уже там, идет...

Она указала на море, волновавшееся от ветра.

— Это подветренный берег, — усмехнулся я. — И я предпочел бы быть на нем, чем приближаться к нему в такую ночь. Вы не боитесь? — спросил я, отворяя ей дверь.

Она храбро поглядела на меня.

— Значит, вы боитесь? Вы чувствуете себя хорошо?

— Как нельзя лучше, — ответила она.

Мы поговорили еще немного, и она ушла.

— Спокойной ночи, Мод! — сказал я.

— Спокойной ночи, Хэмфри! — ответила она.

Итак, мы стали звать друг друга по имени, и это случилось само собой, не преднамеренно. В эту минуту я мог бы обнять ее и привлечь к себе. Я сделал бы это, если бы мы находились в обычных для нас условиях жизни. Но здесь я не мог об этом и думать. Оставшись один в моей лачуге, я почувствовал, как меня охватывает радость: теперь я знал, что между мной и Мод появились какие-то связующие нити, которых еще недавно не было.

ГЛАВА XXXII

Я проснулся с каким-то странным ощущением. Будто мне чего-то не доставало. Но это странное угнетенное состояние скоро прошло, когда я понял, что мне не хватало ветра. Я заснул при напряжении нервной системы от постоянных порывов ветра, а проснулся при полной тишине, что и поразило меня.

Это была моя первая ночь за много месяцев, проведенная мною в закрытом помещении. Я позволил себе несколько минут понежиться под одеялом, не промокшим от тумана или росы, стараясь дать себе отчет, во-первых, в том, какое впечатление производит на меня отсутствие ветра, и, во-вторых, какую радость ощущаю я, нежась на матрасе, сделанном руками Мод. Одевшись и открыв дверь, я услышал, что волны все еще с шумом бьются о берег: доказательство, какая яростная буря была ночью. День был ясный и солнечный. Я проспал и, выйдя из хижины, решил наверстать потерянное время.

Но, оглянувшись, я вдруг остановился как вкопанный. Я не мог не верить своим глазам, но был ошеломлен тем, что увидел. В каких-нибудь пятидесяти футах от меня, носом вперед, со сломанными мачтами, лежало на берегу какое-то судно. Перепутанные мачты и реи с разорванными снастями свисали, покачиваясь, с его борта. Я стал протирать глаза. Вот самодельная наша судовая кухня, знакомый выступ кормы, низкая крыша кают-компаний, едва видная из-за борта. Это был «Призрак»!

Какая прихоть судьбы занесла его сюда — именно сюда, когда было столько других мест на океане? Какое чудесное совпадение? Я посмотрел на черные отвесные скалы, совершенно неприступные, которые окружали нас со всех сторон, и пришел в полное отчаяние. В самом деле, куда было теперь деваться? Я подумал о Мод, которая все еще спала в нами же построенной хижине; я вспомнил ее: «Спокойной ночи, Хэмфри»; у меня все еще звучало в ушах: «моя жена, моя подруга», но теперь — увы! — это было уже похоронным звоном. А затем все помутилось у меня в глазах. Возможно, что это продолжалось всего с полсекунды, но я совершенно не знаю, как долго я не приходил в себя. Передо мной лежал «Призрак», врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху; снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринимать, что-то нужно было делать? Но что?

Вдруг меня странно поразило то, что на судне не было никакого движения. Вероятно, экипаж, устав за ночь бороться с бурей, еще спал. Затем я стал обдумывать, как бы мне убежать с Мод. Что, если бы мы сели сейчас в нашу лодку и, пока все там спали, спрятались бы поскорее за мыс? Я должен был немедленно же разбудить ее и попытаться бежать. И я уже протянул руку, чтобы постучать к ней, как вспомнил о ничтожных размерах нашего острова. Мы нигде на нем не могли бы скрыться. Перед нами было одно только спасение — безбрежный океан.

И мне сразу же пришли на ум наши уютные хижины, наши запасы мяса и жира, мха и топлива, и я понял, что без них, если бы мы даже и пустились в море, никогда не смогли бы пережить зимы и жестоких бурь.

Так я стоял в нерешительности у дверей Мод. Остаться более на острове было невозможно. Невозможно! Дикая мысль — сейчас ворваться к ней и убить ее — появилась у меня, но тотчас же сменилась другим решением, более разумным. На шхуне теперь все спали. Что, если я взберусь сейчас на «Призрак», прокрадусь в каюту к Волку Ларсену и убью его? Он, вероятно, спит! А что будет потом — мы посмотрим. Если его не будет в живых, то можно будет подготовиться к дальнейшему. Хуже, чем теперь, быть не могло.

Мой нож был при мне. Я вернулся к себе в хижину за ружьем, осмотрел его и отправился на «Призрак». С большим трудом и промокнув по пояс, я взобрался на палубу. Люк на баке оказался открытым. Я остановился и прислушался, не донесется ли до меня храп команды, но не было слышно ни малейшего звука. Я был настолько удивлен, что мне в голову пришла мысль: «Уж не покинут ли «Призрак» совсем?» Я стал прислушиваться еще внимательнее. Тишина полная. Тогда я спустился по лестнице вниз. Везде было пусто, и чувствовался такой запах, какой обыкновенно бывает в давно необитаемых помещениях. Везде полный беспорядок: валялась брошенная одежда, какие-то лохмотья, старые сапоги, рваные брезенты — одним словом, не имевший ровно никакой цены старый матросский хлам.

Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Ко мне возвратилась надежда, и я стал чувствовать себя

бодрее. Я заметил, что не осталось ни одной лодки. На корме была та же картина, как и на баке. Охотники, по-видимому, укладывались так же поспешно, как и матросы. «Призрак» был покинут. Теперь он принадлежал Мод и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают-компанией и решил сделать для Мод сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного.

Реакция после пережитого страха и сознание, что страшное преступление, для которого я сюда пришел, теперь не нужно, наполнили меня чисто детской радостью. И я стал спускаться в кают-компанию, шагая сразу через две ступеньки. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах, которыми теперь мы можем воспользоваться. Я взбежал на корму — и вдруг увидел... Волка Ларсена. По инерции или от неожиданности я пробежал еще три-четыре шага, прежде чем заставил себя остановиться. Ларсен стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину, и упорно смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел.

Я задрожал. Появилось обычное чувство дурноты. Чтобы не упасть, я ухватился одной рукой за край рубки. Губы сразу пересохли, и я несколько раз облизнул их. Но я ни на одну минуту не спускал с него глаз. Мы оба молчали. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности.

Мой прежний страх перед ним возвратился с удесyтеренной силой... Так мы стояли и смотрели друг на друга.

Я чувствовал, что должен что-то сделать, но я беспомощно ждал, что примет он. И так как время шло, то мое положение стало казаться мне похожим на то, какое я испытал недавно, когда подошел близко к громадному котику-самцу и вместо того, чтобы начать бить его, стал подумывать о том, как бы заставить его убежать. Я вдруг понял, что инициатива здесь должна принадлежать не Волку Ларсену, а мне.

Я взвел оба курка и навел ружье. Если бы он шевельнулся или попытался спуститься вниз, я непременно выстрелил бы в него. Но он стоял неподвижно и смотрел на меня. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины. И мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное, и не только их выражение, но и внешний вид; казалось, что в них было какое-то напряжение и они слегка косили.

Все это я видел, и в моем мозгу пронеслись тысячи мыслей. И все-таки я не мог спустить курок. Я подошел к углу рубки, чтобы дать своим нервам успокоиться. Затем я снова поднял ружье. Теперь он находился от меня так близко, что я мог бы достать до него рукой. Для него не оставалось надежды. Я решился. И тем не менее я все еще не мог спустить курок.

— Ну? — спросил он нетерпеливо.

Напрасно я старался заставить мои пальцы нажать собачку и напрасно хотел выговорить хоть одно слово.

— Почему вы не стреляете? — спросил он.

Я откашлялся, чтобы начать говорить.

— Сутулый, — начал он медленно, — вы все равно не сделали бы этого. И это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову, вы всосали его вместе с молоком матери, и вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, они не позволили бы вам убить безоружного и неоказывающего сопротивления человека.

— Я знаю, — ответил я хрипло.

— И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару, — продолжал он. — Вы знаете и мою цену в мире, по вашим понятиям.

Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем и Калибаном. И все-таки вы тряпичная кукла, эхо чужих мнений! Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу, и только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как и вы. Э, да что говорить! Я был о вас лучшего мнения, Сутулый.

Он вылез из люка и подошел ко мне.

— Опустите ружье, — сказал он. — Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении «Призрак»? Почему вы так мокры? Где Мод? То есть, виноват, мисс Брюстер... или я теперь должен сказать — миссис Ван-Вейден?

Я отступил от него, чуть не плача, что не смог убить его, но все еще не выпуская ружья. В отчаянии я надеялся, что он позволит себе какой-нибудь враждебный поступок по отношению ко мне. Если бы он попытался задушить или ударить меня! Я знал, что только тогда я действительно смог бы в него выстрелить.

— Это Остров Усилий, — ответил я.

— Никогда не слышал о таком... — буркнул он.

— По крайней мере, мы дали ему такое название.

— Мы? — переспросил он. — Кто это «мы»?

— Мисс Брюстер и я. А «Призрак», как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок.

— Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом, а то я спал бы до сих пор. Я слышал их еще ночью, когда меня ветром прибило сюда. И я понял по этому реву, что буду в безопасности. Здесь их, должно быть, несметное количество. Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. Это все по его милости. А каково географическое положение острова?

— Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения?

Он как-то странно улыбнулся, но не ответил.

— А где ваша команда? — спросил я. — Как это случилось, что вы остались один?

Я уже приготовился к тому, что он и на этот раз мне не ответит, как вдруг, к удивлению моему, он с готовностью заговорил.

— Мой братец покончил со мной меньше чем в двое суток, и не по моей вине, — сказал он. — Он схватил меня на бордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я. Я сам слышал, как он с ними торговался. Он сделал это у меня под носом. Конечно, и команда последовала примеру охотников и бросила меня. Впрочем, этого надо было ожидать. Одним словом, все до единого человека перешли к моему брату, и я остался на своем же собственном судне, как на необитаемом острове. Это все штуки моего братца, он одержал верх.

— Как же вы потеряли мачты?

— Обойдите кругом и посмотрите, — ответил он, указав на те места, где прикреплялись снасти бизань-мачты.

— Они были обрезаны ножом! — воскликнул я.

— Не совсем, — усмехнулся он. — Шутка оказалась более забавной. Осмотрите снова!

Я посмотрел. Все веревки оказались надрезанными до половины, так что мачты могли слегка держаться до первой серьезной непогоды.

— Это дело рук повара, — засмеялся Ларсен. — Я знаю это, хотя и не поймал его ни разу на месте преступления. Способ сводить со мной старые счета.

— Ай да Магридж! — воскликнул я. — Что же вы делали, когда все это происходило?

— Можете быть уверены, что все, что от меня зависело, хотя и не слишком много, судя по результатам.

Я принялся опять рассматривать работу Магриджа.

— Я полагаю, — сказал Волк Ларсен, — что могу сесть и погреться на солнышке?

В его голосе слышался намек, легкий намек на физическую слабость, и это показалось мне настолько странным, что я бросил на него быстрый взгляд. Он нервно проводил рукою по лицу, точно старался смахнуть с него паутину. Я был в недоумении. Он не походил на прежнего Волка Ларсена!

— А как ваши головные боли? — спросил я.

— Плохо, — ответил он. — Кажется, опять начинается припадок.

Он опустился на палубу и лег. Затем повернулся на бок, положил голову на руку, а другой рукой защитил глаза от солнца. Я стоял и с удивлением смотрел на него.

— Теперь очередь за вами, Сутулый... — сказал он. — Действуйте!

— Я вас не понимаю, — солгал я, хотя отлично понял, на что он намекал.

— Ну ничего, — тихо проговорил он, точно в дремоте. — Я здесь к вашим услугам, вы этого хотели.

— Нет, — возразил я. — Я желал бы, чтобы вы были сейчас отсюда за тридевять земель.

Он усмехнулся и больше не сказал ни слова. Теперь он был совершенно равнодушен к тому, что я прошел мимо него и спустился в каюту. Я открыл люк,

но все-таки не без некоторого боязливого сомнения заглянул в зиявшую темноту. Я не решался спуститься. Что, если его лежание там на солнышке только хитрость? Тогда попадешься как крыса в западню. И я снова поднялся наверх и украдкой посмотрел на него. Он лежал в том же положении. Опять я сошел вниз, но прежде чем спуститься в кладовую, я из предосторожности далеко отбросил крышку люка. По крайней мере теперь ловушка осталась без крышки. Я принес в каюту изрядный запас ветчины, бисквитов, консервов в жестянках и выгрузил их на пол около входа в кладовую.

Волк Ларсен лежал все в том же положении. И вдруг меня озарила блестящая мысль. Я пробрался в его каюту и взял все его револьверы. Другого оружия я не нашел, хотя обшарил остальные каюты. Чтобы обезопасить себя еще более, я снова поднялся наверх и, пройдя всю шхуну от носа до кормы, зашел в кухню и забрал все кухонные ножи. Вспомнил я и о том громадном ноже, который он всегда носил при себе, и, подойдя к нему вплотную, окликнул его, сперва тихонько, а потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я нагнулся и вытащил у него из кармана этот нож. Теперь я мог вздохнуть свободно. При нем не осталось никакого оружия, которым он мог бы повредить мне на расстоянии, а если бы ему опять захотелось схватить меня, как горилла, своими ужасными руками за горло, то я, вооруженный, мог бы всегда оказать ему сопротивление.

Дополнив свою добычу кофейником и громадной сковородой, я захватил из буфета немного чайной посуды и оставил Волка Ларсена лежать на солнышке. Когда я возвратился на берег, Мод все еще спала. Я разложил костер (мы еще не обзавелись зимней кухней) и с лихорадочной быстротой принялся за приготовление завтрака. Когда я заканчивал, то услышал, что Мод встала. Все было готово и кофе налит, когда дверь открылась и она вышла.

— Это нечестно, — весело упрекнула она меня. — Вы узурпируете одну из моих прерогатив. Ведь мы же с вами условились, готовить буду я, и вдруг...

— Ну, это только один раз, — оправдался я.

— Смотрите у меня! Не нарушать обещания! Конечно, если вам не надоела еще моя стряпня!

К моему удовольствию, она ни разу не взглянула на морской берег, а я постарался отвлечь ее внимание шутками и сделал это с таким успехом, что она бессознательно выпила из фарфоровой чашечки кофе, съела сваренный на пару картофель и намазала мармелад на бисквит. Но это не могло долго продолжаться. Я заметил, какое удивление появилось у нее на лице. По фарфоровой тарелке, на которой была пища, она догадалась, в чем дело, и, покончив с завтраком, стала рассматривать каждый предмет отдельно. Она посмотрела на меня и медленно перевела взгляд на морской берег.

— Хэмфри! — воскликнула она.

Ужас исказил ее лицо.

— Это он? — спросила она с дрожью в голосе. — Он... здесь?

Я молча кивнул.

ГЛАВА XXXIII

Целый день мы ожидали, что вот-вот Волк Ларсен сойдет на берег. Это было время ужасной тревоги. Мы поминутно бросали взгляды в сторону «Призрака», но Ларсен не показывался на палубе.

— Может быть, у него болит голова, — сказал я. — Я оставил его лежащим на корме. Возможно, что он пролежал там целую ночь. Надо бы пойти взглянуть.

Мод умоляюще посмотрела на меня.

— Вы не беспокойтесь за меня, — продолжал я. — Я возьму с собой револьвер. Я ведь захватил с собой решительно все оружие со шхуны.

— Но у него остались руки, эти ужасные, ужасные руки! — возразила она и затем громко воскликнула: — Нет, Хэмфри, я боюсь его! Пожалуйста, не ходите туда!

Она с мольбой коснулась моей руки, и сердце мое быстро забилося. Вероятно, глаза мои выдали меня. Дорогая, любимая женщина! Она была так женственна в своей мольбе! Я готов был обвить ее стан рукой, как и тогда, когда мы шли с ней через стадо котиков, но заставил себя сдержаться.

— Я ничем не рискую, — сказал я. — Я просто вскарабкаюсь на нос и посмотрю.

Она крепко пожала мне руку и отпустила меня. Но на том месте, где я оставил Ларсена вчера, его уже не было.

Очевидно, он сошел вниз. И мы должны были всю ночь дежурить по очереди и спать по очереди, так как нельзя было предвидеть, на что решится Волк Ларсен. Он был способен на все.

Мы прождали день и еще день — о нем не было ни слуху ни духу.

— Это приступы головной боли у него... — сказала Мод на четвертый день, после обеда. — Может быть, он болен, и даже очень болен. А может быть, уже и умер... Или умирает, — добавила она задумчиво, видя, что я не отвечаю.

— Весьма возможно, — согласился я.

— Подумайте, Хэмфри, один — и при последнем издыхании!..

— Может быть...

— И очень может быть. Но как узнать это? Будет ужасно, если он действительно умирает теперь... Я никогда себе этого не прощу. Мы должны что-нибудь сделать.

— Может быть, — повторил я.

Я слушал и думал с улыбкой о ее женской душе, заставлявшей ее жалеть даже Волка Ларсена. «Куда же девалось сострадание ко мне? — думал я. — Еще вчера она боялась отпустить меня даже посмотреть на “Призрак”».

Она была слишком чутка, чтобы не понять моего молчания... Она была так же пряма, как и чутка.

— Вы должны идти на судно, Хэмфри, и посмотреть, что с ним, — сказала она. — А если вы хотите посмеяться надо мной, то я разрешаю вам и заранее вас прощаю.

Я послушно отправился на берег.

— Только будьте осторожнее! — крикнула она мне вслед.

Я помахал ей рукой с носа шхуны и спрыгнул на палубу. Затем я прошел до кормы, спустился в кают-компанию и стал звать Ларсена. Он мне ответил, и когда я услышал, что он поднимается вверх, я взвел курок револьвера. Я открыто размахивал им во время нашего разговора, но Ларсен не обратил на это никакого внимания. С внешней стороны он казался мне таким же, каким я его видел в последний раз, но был угрюмее и молчаливее. Да и те несколько слов, которыми мы с ним перекинулись, едва ли можно было назвать разговором. Я не спрашивал его, почему он не сходил на берег, а он со своей стороны не задавал мне вопроса, почему я не приходил на шхуну. Он сказал, что чувствует себя хорошо, и без дальнейших разговоров я отправился домой.

Мод выслушала мой доклад с заметным облегчением, а когда из трубы корабельной кухни поднялся дымок, то она совсем успокоилась. Дым шел из трубы и в следующие дни, и несколько раз мы видели самого Волка Ларсена на корме. Он не делал никаких попыток сойти на берег. Это мы знали точно, потому что все еще поочередно дежурили по ночам. Все-таки мы ожидали, что он чем-нибудь проявит себя, и его бездействие удивляло и угнетало нас.

Прошла неделя. Нас интересовал в это время только Волк Ларсен. Его присутствие тяготило нас и мешало нам заниматься обычными делами.

К концу недели дым перестал подниматься из кухонной трубы, и сам он не показывался больше на корме. Мод опять забеспокоилась, хотя и не повторяла — может быть, из гордости — своей просьбы навестить Ларсена. Да и в самом деле, как можно было упрекать ее? Она была настоящей альтруисткой — и в то же время женщиной. Я и сам испытывал некоторое болезненное чувство при мысли, что этот человек, которого я хотел убить, умирает теперь один, тогда как мы двое находимся от него так близко. Он был прав. Кодекс моральных правил того круга, к которому я принадлежал, был сильнее меня. Сам факт, что у него были такие же руки, ноги и такое же тело, как у меня, предъявлял ко мне свои требования, которых я не мог игнорировать.

Поэтому я не стал ждать, когда Мод попросит меня. К тому же у нас вышло все сгущенное молоко и мармелад, и я объявил, что отправляюсь на судно. Я видел, как Мод вздрогнула. Она стала меня уверять, что молоко и мармелад не так уж нужны и что поэтому моя экспедиция на «Призрак» не является необходимой. А так как она умела понимать меня без слов, то мне не нужно было ей объяснять, что я отправляюсь не за молоком и не за мармеладом, а только для того, чтобы избавить ее от беспокойства, которое она тщетно старалась от меня скрыть.

Взобравшись на бак, я снял сапоги и в одних чулках бесшумно отправился на корму. На этот раз я не стал звать Волка Ларсена через вход в кают-компанию, но осторожно сошел вниз. Каюта была пуста. Дверь в его личную каюту оказалась запертой. Сперва я думал постучать, но затем вспомнил, зачем я сюда пришел, и решил пополнить сперва наши запасы. Тщательно избегая



— Боже мой! — простонал он, и сжатые кулаки поднялись кверху в отчаянии.

шума, я открыл люк и крышку от него отставил в сторону. Одежда и провизия хранились в одной кладовой, и я имел возможность запастись и некоторым количеством белья.

Когда я вылез из кладовой, я услышал звуки, долетавшие до меня из каюты Волка Ларсена. Я притаился и стал слушать. Ручка на двери зашевелилась. Инстинктивно я спрятался за стол, взял револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и он вошел. Никогда еще я не видел такого глубокого отчаяния, какое было теперь на лице у Волка Ларсена, этого сильного, непобедимого человека. Он ломал руки, как женщина, потрясал кулаками и стонал. Один кулак у него разжался, и открытой ладонью он провел по глазам так, точно хотел стереть с них пугину.

— Боже мой, Боже мой! — простонал он, и сжатые кулаки снова поднялись кверху в безграничном отчаянии.

Это было ужасно, и я почувствовал, как дрожь прошла у меня по спине и холодный пот выступил на лбу. Я не знаю, может ли быть на свете что-нибудь более ужасное, чем вид человека-богатыря в момент его крайней слабости и бессилия.

Но Волк Ларсен овладел собой, сделав страшное усилие воли. Все его существо находилось в борьбе. Он походил теперь на человека, которому грозит удар. Его лицо исказилось от напряжения. Снова он сжал кулаки, потряс ими и застонал. Раза два он глубоко, судорожно вздохнул. А затем вдруг успокоился. Снова я узнавал в нем прежнего Волка Ларсена, хотя в его движениях оставалась некоторая слабость и нерешительность.

Теперь я стал бояться уже за себя. Открытый в подполье люк находился как раз у него на пути, и если бы он обратил на него внимание, то, значит, обратил бы внимание и на меня. И я досадовал на себя за то, что меня могут застать в такой трусливой позе, скорчившимся на полу. Но время еще не ушло.

Я быстро поднялся на ноги и совершенно бессознательно принял вызывающую позу. Но он не заметил меня. Не заметил он также и открытого люка. И прежде чем я мог сообразить или что-нибудь предпринять, он ступил прямо в открытый люк. Одна нога уже опустилась в отверстие, в то время как другая готова была подняться, чтобы сделать шаг. Но как только опустившаяся нога потеряла точку опоры и ощутила под собой пустоту, в нем вдруг проснулся прежний Волк Ларсен, который, как тигр, напрягши мускулы, перепрыгнул вдруг через люк. Но он потерял равновесие и упал по ту сторону люка, растянувшись на полу, ударившись грудью и животом и вытянув вперед руки. А затем он подобрал под себя ноги и пополз ощупью. Он полз прямо на мой мармелад, на белье и на крышку от люка, валявшуюся в стороне.

По выражению его лица было видно, что он понял все. Но прежде чем я мог догадаться, что он понял, он закрыл отверстие люка крышкой и таким образом запер выход из кладовой. Тогда понял и я. Он предположил, что я остался внизу. Значит, он был слеп, слеп, как летучая мышь! Я наблюдал за ним, затаив дыхание и боясь, как бы он меня не услышал. Он направился прямо к своей

каюте. Я заметил, что он не сразу нашел ручку от двери, а шарил рукой по самой двери и затем уже схватился за ручку. Пока он шарил, я на цыпочках прошел через каюту к выходу. Он возвратился, притащив с собой тяжелый сундук, и завалил им вход в кладовую. Не удовлетворившись этим, он достал второй сундук и взвалил его на первый. Затем он собрал с полу мармелад и белье и положил их на стол. Когда же он стал подниматься по трапу наверх, я отступил, тихонько перебравшись через крышу каюты.

Ларсен откинул назад крышку этого люка и положил на нее руки. Он пристально смотрел вдоль судна немигающими глазами. Я находился в пяти футах от него, и взгляд его был направлен на меня. Мне стало жутко. Я почувствовал себя бесплотным духом или под шапкой-невидимкой. Я помахал ему рукой, но без результата. Однако, когда тень от моей руки упала ему на лицо, я заметил, что это произвело на него впечатление. На лице у него появилось выражение ожидания и внимания, как будто он желал проанализировать и дать определение этому впечатлению. Его задело что-то находившееся тут, вблизи, но что именно, он понять не мог. Тогда я перестал махать рукой, и тень оставалась на лице без движения. Он стал медленно отводить голову то назад, то вперед, наклонять ее то на один бок, то на другой, стараясь высвободиться из-под тени, и попадал то на яркое солнце, то опять в тень, точно хотел этим проверить ощущение.

Я тоже весь был поглощен желанием уяснить себе, каким именно образом он мог почувствовать на себе такую неуловимую вещь, как тень. Если бы его глазные нервы не были поражены — это было бы понятно. Но он был слеп, и нервы были атрофированы¹, значит, кожа у него на лице была так чувствительна, что он мог ощущать даже легкую тень. А может быть — кто знает? — это было у него шестым чувством, о котором так много теперь говорят.

Покончив с попытками определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошел вперед с такой уверенностью, что я был поражен. И все-таки в его походке была какая-то настороженность слепца. Теперь я понял, почему он так ходит.

К моему горю и удивлению, он наткнулся на мои сапоги, стоявшие на носу, взял их и унес с собой в кухню. Затем я увидел, что он развел огонь и стал готовить себе пищу. А я пробрался опять в кают-компанию за мармеладом и бельем, незаметно проскользнул мимо кухни, спрыгнул на берег и босой явился с рапортом о происшедшем.

ГЛАВА XXXIV

— Как жаль, — сказала Мод, — что «Призрак» потерял свои мачты. А то бы мы могли воспользоваться им и уплыть. Как вы думаете, Хэмфри?

¹ То есть потеряли способность выполнять свое назначение.

В волнении я вскочил.

— В самом деле! В самом деле! — стал я повторять, шагая взад и вперед.

Глаза Мод с ожиданием следили за мной. Она верила в меня! А это, в свою очередь, придавало мне силы, и я вспомнил изречение Мишле: «Женщина для мужчины — это то же, что земля для ее легендарного сына: ему достаточно было прикоснуться к ней и поцеловать ее, чтобы он вновь почувствовал себя сильным». Первый раз в жизни я ощутил на себе всю правду этого изречения. Да, я теперь переживал это сам. Мод была для меня всем, она была для меня неиссякаемым источником бодрости и силы.

Достаточно было для меня взглянуть на нее или подумать о ней — и я снова чувствовал себя сильным.

— Надо попробовать, надо попробовать, — думал я вслух. — Ведь пробуют же другие, почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удаться и мне?

— Что? Что именно? — умоляла Мод. — Не мучьте меня. Что должно удаться и вам?

— Мы выполним это! — продолжал я разговаривать сам с собой. — Мы поставим на «Призраке» мачты и уплывем!

— Хэмфри! — воскликнула она.

И я вдруг почувствовал в себе гордость от этой мысли, точно она была уже приведена в исполнение.

— Но неужели это возможно сделать? — спрашивала Мод.

— Не знаю, — ответил я. — Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас. — Я самоуверенно улыбнулся ей, так самоуверенно, что она опустила глаза и на минуту смолкла.

— Но ведь там сейчас Волк Ларсен, — возразила она наконец.

— Слепой и беспомощный, — ответил я быстро, отбрасывая это препятствие, точно соломинку.

— Но у него остались его ужасные руки. Его сила! Ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк.

— Я рассказывал вам также и то, как я увертывался от Ларсена и как улизнул от него.

— За что и остались без сапог.

— Да, сапогам не удалось убежать от Волка Ларсена без моего содействия.

Мы оба засмеялись, а потом с серьезным видом принялись за обсуждение плана, как поставить мачты на «Призраке» и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив столько месяцев на шхуне. Должен сказать при этом, что когда мы оба отправились к «Призраку», чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. С чего же начать? Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта, к которой мы могли бы прикрепить блок и веревки! Но у нас не было ничего.

Это мне напомнило сказку о том человеке, который поднял себя на воздух за шнурок от собственного башмака. Я понимал механику подъемов, но где было взять точку опоры?

Грот-мачта в тупом конце была пятнадцати дюймов в диаметре; длина ее была шестьдесят пять футов, и, по моим расчетам, весить она могла никак не менее трех тысяч фунтов. Фок-мачта была еще тяжелее. Мод в безмолвии стояла рядом со мной, а я все еще старался что-нибудь придумать. Скрестив и связав между собой концы двух бревен и подняв их на воздух в виде перевернутой вверх ногами буквы V, я получил бы над палубой точку, к которой мог прикрепить подъемный блок. К этому блоку, в случае надобности, я мог бы прикрепить еще и второй блок, и таким образом у меня получился бы подъемный кран.

Заметив, что я пришел к определенному решению, Мод ободряюще посмотрела на меня.

— Что же вы собираетесь делать? — спросила она.

— Разобраться сперва во всей этой путанице, — ответил я, указав на целый узел снастей, болтавшихся сбоку корабля в воде.

Ах, с какой решительностью я это сказал и как гордо прозвучали мои слова! «Разобраться в путанице»! Вы только подумайте! Ведь эта самонадеянная фраза слетела с губ самого Хэмфри Ван-Вейдена!

Вероятно, у меня и в голосе и в позе было что-то мелодраматическое, потому что Мод улыбнулась. Способность оценивать смешное была в ней развита в высокой степени, и она безошибочно подмечала все комичное. Это была ее характерная черта, очень важная для нее как литературного критика. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда и неизбежно будет направлять жизнь общества, и всегда оно будет прислушиваться к его словам. Так было и с ней: она направляла.

— Я, кажется, слышала это выражение где-то раньше, — весело сказала она. — Или знаю его из книг, — добавила она, улыбаясь.

Я понял, над чем она смеется, и сконфузился.

— Ну, не обижайтесь, — прибавила она.

— Я и не обижаюсь, — ответил я. — Это мне только на пользу. Во мне еще много мальчишеского. Но все это к делу не относится. Нам действительно нужно «разобраться в путанице». Если вы согласны сесть со мной в лодку, то давайте подплывем к снастям и распутаем их.

Весь остаток дня мы провели за работой. Ее обязанностью было удерживать лодку на месте, в то время как я распутывал снасти. И какая это была путаница! Я разрезал только там, где это было крайне необходимо, и, подсовывая длинные веревки под мачты и реи и выбирая их опять из воды, я растягивал их в длину, складывал кругами в лодку и скоро промок до костей.

Мелкие паруса все-таки пришлось отрезать, а большие, отяжелевшие от воды, потребовали крайнего напряжения сил. Но я тем не менее еще до наступления ночи успел снять их все и разостлать для просушки на берегу.

Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу, хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной.

На следующее утро с Мод в качестве помощницы я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот-мачты. Едва только мы начали работу, как на звуки топора и молотка явился Волк Ларсен.

— Эй, кто там? — крикнул он сверху в открытый люк. Услышав его голос, Мод тотчас же прижалась ко мне, точно ища защиты, и все время, пока я с ним разговаривал, не снимала руки с моего плеча.

— Здравствуйте! — ответил я. — Доброе утро!

— Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?

— Наоборот. Я почию ее.

— Но, черт возьми, что вы чините там? — спросил он уже с тревогой в голосе.

— Хочу подготовить все для установки мачт, — ответил я так просто, будто это было самым легким делом на свете.

— Кажется, вы и впрямь встали на ноги, Сутулый! — донесся до нас его голос сверху.

Некоторое время он молчал.

— Вы не сумеете сделать это, Сутулый, — опять слышался его голос. — Слышите?

— Нет, сделаю, — возразил я. — Я уже работаю!

— Но это моя шхуна, моя собственность. Я вам запрещаю!

— Напрасно. Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже «съесть меня», как вы говорили, но с тех пор многое переменялось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись.

Он отрывисто и неприятно засмеялся.

— Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию, — сказал он. — Но вам это не удастся: вы ошиблись, недооценив меня. Для вашей же пользы говорю вам: перестаньте!

— С каких это пор вы стали филантропом? — допытывался я. — Сознайтесь, что вы очень непоследовательны, если стараетесь убедить меня для моей же собственной пользы.

Он не обратил внимания на мой сарказм.

— А если я захопну над вами люк? — крикнул он. — Что тогда? Теперь уж я не буду таким дураком, как тогда, когда вы лазили в кладовую.

— Волк Ларсен, — сказал я грозно, в первый раз за все это время назвав его по имени, — я не могу стрелять в беспомощного, безоружного человека. Вы мне это доказали, к моему и вашему удовольствию. Но я предупреждаю вас — и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной, — что я убью вас немедленно при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите, и если это вам нравится, то пожалуйста! Можете закрывать люк сколько вам будет угодно!

— Тем не менее я запрещаю вам, категорически запрещаю прикасаться к моей шхуне!

— Перестаньте, — упрекнул я его. — Вы утверждаете, что это судно ваше, точно имеете на это моральное право. А сами-то позабыли, что в отношении ко всем другим вы никогда не считались с этим правом! Неужели же вы воображаете, что я буду церемониться с вами и буду применять это право к вам?

Я подошел к открытому люку, чтобы лучше видеть его. Его лицо страшно изменилось: оно было лишено всякого выражения; немигавшие, уставившиеся в одну точку глаза уродовали его. На него неприятно было смотреть.

— Все перестали меня уважать, — проговорил он насмешливо, — даже Сутулый!

Его голос звучал презрением, но лицо оставалось по-прежнему бесстрастным.

— Как поживаете, мисс Брюстер? — неожиданно проговорил он после паузы.

Я вздрогнул. Она до сих пор не издала ни звука, даже не шевельнулась. Как он мог догадаться, что она была со мной? Неужели в нем еще остались слабые признаки зрения? А может быть, зрение к нему вернулось?

— Здравствуйте, капитан Ларсен! — ответила она. — Как вы узнали, что я здесь?

— Услышал ваше дыхание. А ведь Сутулый сделал большие успехи! Как вы думаете?

— Не знаю, — ответила она с улыбкой. — Я никогда не знала его другим.

— Ну, нет! Посмотрели бы вы, каким он был раньше!

— За это время я принимал Волка Ларсена, — пробурчал я, — и в больших дозах.

— Я предупреждаю вас, Сутулый, — сказал он с угрозой. — Оставьте шхуну в покое!

— А разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам? — спросил я его недоверчиво.

— Нет, — последовал ответ. — Я хочу умереть здесь.

— А мы этого не хотим, — ответил я решительно и снова застучал молотком.

ГЛАВА XXXV

На следующий день, расчистив гнезда для мачт и приведя все в порядок, мы решили втянуть на борт две стеньги. Грот-стеньга была длиною свыше тридцати футов, фок-стеньга¹ — около тридцати, и из них-то я и собирался соорудить стрелы для подъемного крана. Это была нелегкая работа. Прикрепив

¹ Грот-стеньга и фок-стеньга — продолжение грот-мачты и фок-мачты (большие мачты делаются составными).

один конец толстой веревки к вороту на шхуне, а другой привязав к основанию фок-стенги, я начал тянуть. Мод помогала мне вертеть ворот и укладывала в бухту канат.

Мы удивились, как легко оказалось втянуть такой груз на судно. Ворот был усовершенствованной системы и развивал огромную силу. Конечно, то, что мы выигрывали в силе, мы теряли в расстоянии: моя сила была обратно пропорциональна длине веревки, за которую я тянул. Канат медленно полз через борт, и, по мере того как брус выходил из воды, вертеть рукоятку становилось все труднее. Когда же конец стеньги поравнялся с перилами, дело застопорилось.

— Я должен был предвидеть это, — сказал я нетерпеливо. — Теперь нам надо начинать все сначала.

— А почему бы не привязать канат ближе к середине мачты, — посоветовала Мод.

— Об этом-то и надо было раньше подумать, — ответил я, крайне недовольный собой.

Я опустил стеньгу снова в воду и привязал к ней веревку на треть дальше от толстого конца. Через час я опять поднял ее, но она снова уперлась в борт. Я сел и стал обдумывать положение. Я просидел недолго. Вскоре я с торжеством вскочил на ноги.

— Нашел! — воскликнул я. — Надо прикрепить канат у центра тяжести! И так нужно будет поступать со всеми предметами, которые нам придется поднимать на судно.

И опять пришлось все начинать сначала и спустить стеньгу обратно в воду. Но все-таки и теперь я плохо рассчитал место центра тяжести: на этот раз верхушка стеньги. Мод следила за работой с отчаянием, а я посмеивался и говорил, что все обойдется хорошо.

Указав ей, как надо вертеть ворот и как остановиться, когда я крикну ей, я стал руками направлять движение стеньги, и когда мне показалось, что стеньга достаточно поднялась, я дал сигнал Мод остановиться. Но, вопреки моим ожиданиям, брус стал опять сползать в воду.

В разгар нашей работы появился Волк Ларсен. Мы обменялись с ним приветствием, и хотя он ничего не видел, он сел на ступеньку и по долетавшим до него звукам стал следить за нами. Теперь я применил другую систему. Я устроил блок и стал тянуть веревку через него. Стеньга медленно поднималась, пока, наконец, не повисла в воздухе над бортом; тогда я, к своему удивлению, заметил, что работа Мод оказалась ненужной. Укрепив неподвижно блок, я сам вертел ворот и мало-помалу вытаскивал стеньгу. Ее верхняя часть наклонилась к палубе, и вся стеньга наконец-то повалилась на палубу.

Я посмотрел на часы. Было двенадцать. Болела спина, я устал и был голоден, а на палубе лежала всего одна стеньга в результате упорной работы в течение всего утра. Теперь только я стал убеждаться, как непосильна была для нас эта работа. Но я учился. Послеобеденная работа должна была показать, чего я мог

добиться, и она показала это. Мы возвратились через час, немножко отдохнув и подкрепившись сытным обедом.

Меньше чем за час я благополучно поднял на судно и грот-стенгу и стал устраивать подъемный кран. Связав крест-накрест верхушки обоих брусьев, причем один конец был несколько длиннее, так как размеры их были неодинаковы, я к точке их пересечения прикрепил двойной блок и перекинул через оба его колеса веревку для подъема. Чтобы воспрепятствовать основаниям стеньги скользить по палубе, я набил на ней толстые планки. Окончив эту работу, я прикрепил веревку к верхушкам стрел и провел ее на ворот. Теперь все мои надежды возлагались на этот ворот. По-прежнему Мод вертела, а я направлял движение.

Спустились сумерки, когда я закончил работу. Волк Ларсен, который все время сидел и слушал, но ни разу не открыл рта, отправился в кухню и стал готовить себе ужин. У меня так болела спина, что я едва мог разогнуться. Но я гордо смотрел на свою работу. Я сгорал от желания поднять что-нибудь с помощью моего крана; я радовался точно ребенок, получивший новую игрушку.

— Жаль, что уже поздно, — сказал я. — А то бы я попробовал, как он будет работать.

— Не будьте жадным, Хэмфри, — упрекнула меня Мод. — Утро вечера мудренее, к тому же вы устали так, что едва стоите на ногах.

— А вы? — ответил я участливо. — Вы тоже устали. Вы работали не за страх, а за совесть. Я горжусь вами, Мод.

— Наполовину меньше, чем я вами, и с наполовину меньшим на то основанием, — отвечала она, посмотрев мне в лицо с каким-то особенным выражением; мелькнувший в ее глазах огонек, какого я не видел в них еще ни разу, какую-то сладкой болью отозвался у меня в сердце, но я не понял его значения. Она опустила глаза, а затем подняла их вновь и засмеялась.

— А что, если бы нас теперь увидели наши знакомые? — сказала она. — Посмотреть бы на нас со стороны! Знаете, на кого вы стали похожи?

— Знаю, — ответил я, — я частенько посматриваю и на вас.

Я все еще продолжал думать о том, что заметил в ее глазах, и меня удивила эта быстрая перемена нашего разговора.

— Благодарю вас! — воскликнула она. — На кого же я стала похожа?

— Почти на гороховое пугало, — ответил я. — Взгляните, например, хотя бы на эту вашу изорванную в клочья юбку, на эти лохмотья! А блузка! Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что вы стряпаете над костром и вытапливаете жир из котиков. А шляпа? Вот так шляпа! И это женщина, перу которой принадлежит «Вынужденный поцелуй»...

Она сделала мне глубокий реверанс и сказала:

— А что касается вас, сэр...

В течение пяти минут мы весело болтали, но под этими шутками скрывалось что-то серьезное, и я поставил это в связь с тем выражением, которое подметил в ее глазах. Но что это могло быть? Значило ли это, что мы стали разговаривать

нашими взглядами более красноречиво, чем словами? Я знаю, что мои глаза несколько раз выдавали меня, но я заставлял их молчать. Неужели она все-таки заметила и поняла? И отвечали ли ее глаза мне? Что бы ни означало выражение ее глаз, тот трепетный огонек выражал больше, чем слова. А может быть, и не так! Я был неопытен в разговоре глазами. Я был просто Хэмфри Ван-Вейден, писатель, который был влюблен. Я все время думал об этом, когда мы подтрунивали друг над другом, пока, наконец, не добрались до берега, где уж и без того было о чем подумать.

— Какая досада, — пожаловался я после ужина. — Работаешь целый день не покладая рук и не можешь поспать как следует ночь, не прерывая сна.

— А разве он все еще опасен? — задала она вопрос. — Слепой человек!

— Я никогда ему не доверял, — заявил я, — а тем более теперь, когда он слеп. Эта его беспомощность заставит его озлобиться еще больше. Но я знаю, что делать. Прежде всего я завтра же утром захвачу легкий якорь и отведу судно подальше от берега. Таким образом, каждый вечер, когда мы будем уплывать на остров на лодке, Волк Ларсен будет оставаться там в плену. Поэтому эта ночь последняя, когда мы будем чередоваться и не спать. Одна мысль эта — уже утешение.

Мы поднялись на другой день очень рано и позавтракали до рассвета.

— О, Хэмфри!.. — в отчаянии воскликнула Мод и смолкла.

Она смотрела на «Призрак». Я взглянул по тому же направлению, но не заметил ничего необыкновенного. Она перевела взор на меня, и я снова вопросительно поглядел на нее.

— Наш кран! — сказала она, и голос ее задрожал.

Я забыл о его существовании. Я вгляделся опять: крана не было.

— Неужели это он? — проговорил я вне себя от злости.

Она с участием коснулась моей руки.

— Но ведь вы сможете это сделать снова! — сказала она, чтобы меня утешить.

— О, поверьте мне, — горько ответил я, — мой гнев ровно ничего не стоит, — я ведь не способен обидеть муху, — но хуже всего то, что ему это известно. Вы правы. Если это он уничтожил наш подъемный кран, то мне действительно не остается больше ничего, как вновь приняться за работу. Но теперь уж я буду сам дежурить на шхуне. И если он вмешается...

— Неужели же вы думаете, что я смогу остаться на берегу одна? — возразила Мод. — Не будет ли лучше и его привлечь к работе, чтобы он нам помогал? Тогда мы отлично могли бы жить на «Призраке» втроем.

— Пожалуй, — согласился я, все еще злясь, потому что никак не мог примириться с тем, что мой кран был разрушен. — То есть я хочу сказать, что если мы с вами перейдем на жительство на судно, то будем ли мы там жить с Волком Ларсеном в мире или нет, — это безразлично. Впрочем, это ребячество, — заметил я, — он делает просто глупости; я на него не сержусь.

Но мое сердце сжалось, когда мы опять взобрались на шхуну и увидели, какое опустошение произвел на ней Ларсен. Мой кран исчез. Блоки были раз-

рублены пополам, а Ларсен знал, что я не сумею исправить их. Я вспомнил о воротах и побежал к нему. Оказалось, что и ворот перестал работать: Волк Ларсен сломал его. Мы с Мод посмотрели друг на друга с сокрушением. Затем я выглянул за борт. Мачты, реи и гафеля, которые я с таким трудом выпутал из снастей, исчезли бесследно. Он разрезал веревки, которыми они были привязаны к судну, и пустил их по морю.

Слезы выступили у Мод на глазах, и я понял, что это из сочувствия ко мне. Я сам готов был плакать. Куда теперь девались все наши планы вновь оснастить «Призрак»?! Волк Ларсен нас доконал. Я опустил на люк и задумался в мрачном отчаянии.

— Он заслуживает смерти! — воскликнул я. — Пусть простится мне то, что у меня не хватает мужества быть его палачом.

Но около меня стояла Мод и проводила рукой по моим волосам, точно я был малый ребенок.

— Не надо, не надо... — говорила она. — Все обойдется. Право на нашей стороне, и все будет хорошо.

Я вспомнил афоризм Мишле и коснулся головой ее плеча; и подлинно, я вдруг почувствовал в себе новый прилив сил. Эта благословенная женщина была для меня неиссякаемым источником энергии. Да и в самом деле, что за важность! Только простая неудача, отсрочка на несколько дней. Мачты не могло отнести далеко в море: ветра не было. Значит, найти их большого труда не составит. А кроме того, это был нам урок. Теперь я знал, чего ожидать от Ларсена. Если бы он выждал до конца нашей работы и уничтожил бы ее тогда, это было бы хуже.

— Вот он идет, — шепнула Мод.

Я посмотрел. Он тихонько шел по корме вдоль борта.

— Не обращайтесь на него внимания, — шепнул я ей. — Он хочет узнать, как мы к этому отнеслись. Делайте вид, что мы не знаем. Лишим его этого удовольствия. Снимите башмаки, вот так, и держите их в руках.

И мы сыграли со слепцом в кошку и мышку. Когда он шел по левой стороне, мы перебегали на правую и, взобравшись на ют, смотрели, как он то поворачивал назад, то шел вперед по нашему следу.

Все-таки каким-то образом он узнал, что мы на шхуне, потому что очень уверенно сказал: «Доброе утро!» — и ожидал нашего ответа. Затем он ушел на корму, а мы прошли на нос.

— О, я знаю, что вы здесь! — закричал он издали.

И я видел, как он внимательно прислушивался, не ответим ли мы ему.

Это мне напомнило большую сову, которая после каждого своего крика прислушивается, не отзовется ли испуганная добыча. Но мы не отзывались и двигались только тогда, когда двигался он. И так мы бежали по палубе, как дети, увертываясь от злого великана, пока, наконец, это не надоело самому Волку Ларсену и он не сошел с палубы в каюту. Тогда мы надели наши сапоги и с беззвучным смехом перелезли через борт в лодку.

Когда я посмотрел в ясные карие глаза Мод, я забыл все на свете и знал только то, что я ее люблю и что только благодаря ей я буду способен проложить ей и мне обратный путь в мир.

ГЛАВА XXXVI

Два дня мы с Мод плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня, уже в темноте, мы вернулись наконец без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Мы должны были грести все время, так как стоял мертвый штиль¹.

Еще день тяжелой работы — и мы поймали две стеньги. В следующий за тем день мы добыли фок-мачту, две реи и оба гафеля. Ветер был попутный, и я предполагал, что мы пойдем под парусом, но ветер упал, а затем прекратился совсем, и нам пришлось взяться за весла. Мы продвигались вперед как черепаха. Я был в отчаянии.

Стала спускаться ночь, и в довершение всего поднялся противный ветер. Мы не только не двигались к шхуне, но нас даже стало уносить в открытое море. Я греб изо всех сил. Бедная Мод, которую я никак не мог убедить, чтобы она не работала, наконец так ослабела, что растянулась в лодке на спине. Я больше не мог грести.

Мои израненные пальцы уже не удерживали весел. Плечи болели невыносимо, и, хотя я в двенадцать часов хорошо позавтракал, я теперь умирал с голоду.

Я убрал весла и наклонился над канатом, к которому были привязаны наши мачты. Но Мод протянула руку и удержала меня.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она слабым, разбитым голосом.

— Бросить все это! — ответил я.

Ее пальцы вцепились в мои.

— Не делайте этого! — попросила она.

— Это необходимо, — ответил я. — Уже ночь, и ветер относит нас в открытое море.

— Только подумайте, Хэмфри! Если нам не удастся уплыть отсюда на «Призраке», то мы останемся на этом острове на целые годы, быть может, даже на всю нашу жизнь. Если его не открыли мореплаватели до сих пор, то он может так и остаться неоткрытым.

— А вы забываете о той лодке, которую мы нашли на берегу?

— Это была промысловая лодка, и вы отлично знаете, что если бы промышленники избежали гибели, то они обязательно вернулись бы сюда за котиками. Но вы сами убеждены, что они не спаслись.

В нерешительности я молчал.

¹ Полное безветрие.

— Кроме того, — добавила она несмело, — ведь это ваша идея, и мне хотелось бы, чтобы вы довели ее до конца!

Теперь, когда она перевела вопрос на личную почву, мне легче было оспаривать ее.

— Лучше всю жизнь прожить на этом острове, — возразил я, — чем умереть сегодня ночью или завтра утром в этой самой лодке. Мы не приготовились к борьбе с морем. Мы не захватили с собой ни пищи, ни воды, ни одеял, ничего! Ведь вы не переживете ночи без одеял! Я ведь знаю, какая вы сильная. Вы уже дрожите!

— Это только нервы, — ответила она. — Ведь вы сейчас отрежете мачты назло мне! Умоляю вас, Хэмфри, не делайте этого! Прошу вас! Пожалуйста!

И она залилась слезами.

Таким образом, все закончилось фразой, которая всегда одерживала надо мной верх. Мы продрожали всю ночь. То и дело я засыпал, но сейчас же просыпался от холода. Как могла держаться Мод — для меня непостижимо и теперь. Я был так слаб, что не мог даже похлопать руками, чтобы согреться. Но я все же нашел в себе силы растереть ей руки и ноги и восстановить в них кровообращение. Все время она умоляла не бросать мачт. В три часа утра она окончательно окоченела от холода, и мои растирания не помогали. Я испугался. Я усадил ее за весла и заставил ее грести, хотя она была так слаба, что при каждом взмахе могла лишиться чувств.

Наступило утро, и мы долго искали в серой мгле очертания нашего острова. Наконец он показался, маленький и черный, на горизонте, милях в пятнадцати от нас. Я оглядел море в бинокль. Далеко на юго-востоке я заметил темную полосу на воде, которая становилась все темнее и шире.

— Попутный ветер! — воскликнул я, и сам не узнал своего голоса.

Мод хотела что-то ответить и не смогла. Ее губы посинели от холода, но как бодро смотрели на меня ее глаза! Как бодро и в то же время жалостно!

Опять я принялся согревать ее руки, пока, наконец, она не была в состоянии растирать их сама. Затем я принудил ее встать на ноги, и, хотя она немедленно упала бы, если бы я ее не поддержал, я заставил ее насильно сделать по лодке несколько шагов взад и вперед и даже попрыгать.

— О, вы храбрая, храбрая женщина! — воскликнул я, заметив, как по ее лицу стала разливаться краска. — Знаете ли вы, какая вы сильная!

— Я никогда не была сильной, — ответила она. — Я стала такой, только познакомившись с вами. Это вы сделали меня храброй!

— Нет, вы меня! — возразил я.

Она бросила на меня взгляд, и я снова заметил в нем трепетный огонек. Но было и еще что-то в ее глазах. Это продолжалось всего одно мгновение. Затем она улыбнулась.

— Впрочем, все это относительно, — сказала она.

Но я знал, что она что-то скрывала от меня, и задавал себе вопрос: догадается ли, в свою очередь, она о том, что испытываю к ней я?

Поднялся ветер, резкий и холодный, и лодке пришлось сильно бороться с волнами, направляясь к острову. Только в половине четвертого мы обогнули юго-восточный мыс. Теперь уж мы не только были голодны, но нас томила еще и жажда; губы у нас высохли и стали трескаться. Затем ветер стал медленно спадать. К вечеру он стих совершенно, и нам снова пришлось приналегать на весла. В два часа ночи лодка наконец коснулась своим носом берега нашей бухты, и я с трудом вылез из лодки, чтобы закрепить канат. Мод не могла стоять на ногах, а нести ее у меня не было сил. И мы оба повалились на песок. Придя в себя, я взял ее за плечи и потащил по песку в хижину.

Весь следующий день мы не могли работать, потому что спали до трех часов дня, по крайней мере, в это время проснулся я и увидел, что Мод готовила обед. Способность быстро восстанавливать свои силы у нее была поразительная. В ее слабом, хрупком теле было что-то необыкновенно живучее, о чем никогда нельзя было бы догадаться, глядя на ее внешность.

— Ведь я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья, — сказала она, когда мы после обеда расположились около огня и наслаждались покоем. — Я никогда не отличалась хорошим здоровьем. Положительно никогда. Доктора посоветовали мне морское путешествие, и я нарочно выбрала путешествие подлиннее.

— Если бы знали, — пошутил я, — то, наверное, не выбрали бы.

— Наоборот, я стала совсем другим человеком, сильной и здоровой женщиной! Я стала гораздо лучше, я узнала настоящую жизнь.

А затем, в сумерки, так как дни стали короче, мы разговаривали о слепоте Волка Ларсена. Она для обоих нас была непонятна. Он был тяжело болен, это я мог вывести из того, что он собирался умереть на нашем острове. Если он, такой сильный человек и так любящий жизнь, спокойно ожидал своего конца, то из этого следовало, что, кроме слепоты, его мучило еще что-то другое. Вероятно, это были его ужасные головные боли, и мы остановились на том, что у него произошло кровоизлияние в мозг, причинявшее ему мучительные боли.

Я заметил, что, пока мы говорили о здоровье Волка Ларсена, сочувствие к нему Мод возрастало, но я любил ее за это еще больше, так как в этом сказывалась вся ее нежная женская натура. К тому же в ее чувствах не было ничего напускного. Она соглашалась на самые строгие меры, если бы Ларсен помешал нашему побегу, но в то же время противилась всякому насилию, какое я мог бы применить к нему для ограждения ее собственной жизни.

— Нашей жизни, — поправила она меня.

На следующее утро мы позавтракали и принялись за работу с самого рассвета. Я нашел на корме небольшой якорь и с некоторыми усилиями втащил его на палубу и затем погрузил в лодку. С длинным канатом, свернутым в кольца, я возвратился на веслах в бухту и бросил здесь якорь в воду. Ветра не было, высокий прилив приподнял шхуну. Возвратившись на судно, я стал вытягивать руками (ворот был сломан) канат от этого якоря до тех пор, пока судно не подошло к самому якорю. Разумеется, он был слишком мал для того, чтобы удер-

жать судно на месте во время ветра. Поэтому я спустил главный якорь и после полудня принялся за починку ворот.

Три дня я возился с воротом. Я был очень плохим механиком и за этот промежуток времени сделал то, что обыкновенный механик сделал бы в три часа. Мне пришлось изучать даже сами инструменты, которыми я работал, и каждый самый простенький прием мне приходилось отыскивать на практике. Тем не менее к концу третьего дня я осилил свою задачу, хотя и починил ворот весьма грубо. Он действовал не так хорошо, как раньше, но все-таки действовал и давал возможность продолжать мою работу.

За утро я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мод наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Волк Ларсен все время просидел около меня, прислушиваясь к моей работе над воротом и перекидываясь со мной и с Мод незначительными словами. Никто не упоминал о произведенных им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я все-таки боялся его, хотя он был слеп и беспомощен, и старался не подпускать его близко к моей работе.

В эту ночь, когда я спал около своего бесценного крана, я вдруг проснулся от звука его шагов по палубе. Светили звезды, и я мог рассмотреть, как двигалась его темная фигура. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно, в одних чулках, последовал за ним. Он вооружился большим кухонным ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стеньгам. Он ощупал канат руками и понял, что я его еще не натянул. Так как поэтому его трудно было разрезать ножом, то Ларсен натянул канат и поднял нож.

— На вашем месте я не делал бы этого! — спокойно сказал я.

Он услышал, как я взвел курок, и засмеялся.

— Это вы, Сутулый? — сказал он. — Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух.

— Неправда, Волк Ларсен! — ответил я быстро. — Но я жажду убить вас, поэтому идите и режьте.

— У вас всегда была эта возможность, — усмехнулся он.

— Идите и режьте! — крикнул я с угрозой.

— Мне приятнее разочаровать вас, — засмеялся он и, повернувшись на каблуках, ушел на корму.

— Что-нибудь нужно предпринять, Хэмфри, — сказала Мод, когда я рассказал ей об этом ночном приключении. — Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его. Да и мало ли что он сможет сделать! Надо лишить его свободы.

— Но как? — спросил я, безнадежно пожав плечами. — Я все-таки не желал бы попасться ему в руки, и он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе сил выстрелить в него.

— Надо что-нибудь предпринять, — настаивала она. — Я подумаю.

— Только одно и остается, — заметил я угрюмо.

Она вопросительно поглядела на меня.

Я поднял с земли дубину для котиков.

— Этим нельзя его убить, — сказал я. — Но прежде чем он мог бы прийти в себя, я успел бы его схватить и связать.

Она вздрогнула и покачала головой.

— Нет, не то! — сказала она. — Нужно выбрать что-нибудь не такое жестокое. Давайте подумаем!

Но нам не пришлось долго ждать, и задача разрешилась сама собой. Утром, после нескольких бесплодных попыток, я нашел наконец центр тяжести фок-мачты и прикрепил в нескольких футах над ним мой подъемный блок. Мод вертела ворот и травила канат, когда я поднимал мачту. Будь ворот в порядке, это было бы не так трудно, но так как он был испорчен, мне приходилось напрягать всю свою силу. Поэтому я то и дело останавливался для отдыха. По правде говоря, эти промежутки для отдыха были гораздо длиннее, чем сама работа. В те минуты, когда, несмотря на все мои усилия, мачта не шла вверх, Мод принуждена была помогать мне изо всех своих слабых сил.

Через час подвижный и неподвижный блоки сошлись на верхушке моего крана. Выше нельзя было поднять, а мачта еще не поравнялась с бортом. Оказалось, что мой кран был слишком короток. Вся моя работа, таким образом, сводилась на нет. Но я не отчаивался, как это было раньше. Я стал увереннее и больше доверял всем этим воротам, кранам и блокам.

Пока я обдумывал выход из положения, на палубе появился Волк Ларсен. Мы сразу заметили в нем что-то неладное. Какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросились нам в глаза. Он шатался, когда пробирался вдоль борта к каюте. У выступа кормы он вдруг провел рукой по лицу обычным своим движением, точно хотел смахнуть с себя паутину, и свалился со ступеней на нижнюю палубу, по которой он заковылял, пошатываясь и протягивая вперед руки, точно разыскивая, за что бы ухватиться. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, по-видимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились и он повалился на палубу.

— Один из его припадков, — шепнул я Мод.

Она молча кивнула. Сострадание светилось у нее в глазах.

Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело, прерывисто дышал. Мод занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я попробовал его пульс. Он был хорошего наполнения и казался совершенно нормальным. Это удивило меня и возбудило во мне подозрение.

— А что, если он притворяется? — обратился я к Мод, все еще держа его руку в своей.

Мод покачала головой и посмотрела на меня с упреком. Вдруг его рука выскользнула из моей и он крепко, точно сталь, схватил меня. В безумном страхе я громко вскрикнул, а на его лице появилось вдруг злобное, торжествующее выражение, он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал как в тисках.

Свободной рукой он схватил меня за горло, и в один момент передо мной предстала смерть, и по моей собственной вине. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Я почувствовал на своем горле еще другие руки. Это были руки Мод, тщетно старавшиеся разжать душившие меня пальцы. Она разжимала их, и вдруг я услышал крик, от которого похолодело мое сердце, потому что это был крик женщины, полный ужаса и глубокого отчаяния. Я уже слышал его однажды, когда погибал пароход «Мартинес».

Мое лицо было прижато к его груди, я ничего не мог видеть и только слышал, как Мод вдруг оставила нас и побежала куда-то. Я еще не потерял сознания, но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело Волка Ларсена ослабело. Он перестал дышать, и его грудь не поднималась под тяжестью моего тела. Рука, сжавшая мое горло, разжалась. Я вздохнул. Рука его опять попробовала сжать меня. Но даже его громадная сила воли не смогла на этот раз взять верх над его слабостью. Сломилась наконец и она. Он потерял сознание.

Как только освободилось мое горло, я откатился в сторону и, лежа на спине, тяжело дышал. Мод была бледна, но владела собой: она смотрела на меня и с тревогой и с радостью. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание, и, следуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. Она была моей настоящей женой, моим настоящим другом, она сражалась вместе со мной и за меня, точно женщина в пещерный период, в ней вдруг воскресли все первобытные инстинкты, она позабыла о своей культуре.

— Милая маленькая женщина! — воскликнул я, поднимаясь на ноги.

В следующее мгновение она была в моих объятиях, конвульсивно рыдая на моем плече, а я крепко прижимал ее к себе. Я смотрел на ее каштановые волосы, сверкавшие как драгоценные камни на солнце и казавшиеся мне дороже всех сокровищ. Я наклонил голову и тихонько поцеловал ее в волосы, так тихо, что она этого не заметила.

А затем я опомнился. В сущности, это были лишь слезы облегчения оттого, что опасность миновала. Будь я ее братом или отцом, положение от этого не изменилось бы нисколько. К тому же здесь было не место и не время для объяснений, я хотел иметь большее право для признания в любви, а потому еще раз тихонько поцеловал ее волосы и выпустил ее из объятий.

— На этот раз — настоящий припадок, — сказал я, — точь-в-точь такой же, от какого он слеп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле...

Мод поправила под Ларсеном подушку.

— Нет, — ответила она. — Еще нет. Но теперь, раз уж он оказывается таким беспомощным, он должен таким оставаться и впредь. С этого дня мы переселяемся сюда в каюту. Волк Ларсен будет помещаться на баке.

Я взял его за плечи и потащил ко входу в общую каюту на баке. Мод принесла веревку. Я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз. Я не в силах

был поднять его, чтобы положить на койку. Мод мне помогала, и мы кое-как водрузили его на место.

Но это было не все. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсена и которые он любил надевать на руки строптивым матросам. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и по ногам. В первый раз за много дней я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость, точно гора свалилась с моих плеч. Я сознавал также, что я и Мод стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это, спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок о бок взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном.

ГЛАВА XXXVII

Мы переселились на «Призрак» и заняли в нем свои прежние каюты. Готовить стали в кухне. Заключение Волка Ларсена случилось как раз вовремя. Бабье лето быстро окончилось и сменилось дождливой и бурной осенью.

Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран, со свешивавшейся с него мачтой, придавал шхуне деловой вид, а нам давал надежду на скорое отправление.

Мы сковали Волка Ларсена, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыла Мод, когда в полдень пришла накормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы Мод не ответил. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею. Она побежала за мной.

Зажав ему подушкой левое ухо, я спросил его, слышит ли он меня. Ответа не последовало. Тогда я отодвинул подушку и повторил вопрос. Он ответил, что слышит.

— Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо? — спросил я.

— Да, — ответил он тихо, но твердо, — у меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой.

— Опять притворяетесь? — брезгливо спросил я.

Он покачал головой, и его губы перекосились странной судорожной улыбкой. Улыбка была кривой, так как мускулы на правой стороне лица не двигались.

— Волк проиграл свою последнюю ставку, — сказал он. — У меня паралич. Я никогда не встану с постели! Нет, пока с одной стороны! — добавил он, как бы заметив мой подозрительный взгляд, брошенный на его ногу, которую он высвободил из-под одеяла и пытался спустить.

— Какое несчастье! — продолжал он. — А мне хотелось сначала расправиться с вами, Сутуый! Я думал, у меня остались силенки на это.

— Но почему? — спросил я со страхом и с любопытством.

— О, чтобы чувствовать себя живым, двигаться и действовать, быть до конца сильнейшим куском дрожей и сожрать вас! А вот приходится умирать!

Он пожал плечами, то есть одним плечом, так как другое у него не двигалось.

— Но как вы объясняете все ваши припадки? — спросил я. — Что вы считаете причиной вашей болезни?

— Мозг, — ответил он без запинки. — От него и эти проклятые головные боли.

— Головные боли — это симптомы, — сказал я.

— А не все ли равно? — ответил он. — За всю свою жизнь я никогда не болел. И вдруг что-то случилось в мозгу. Рак, опухоль, что ли, или что-нибудь в этом роде. Разрастается и разрушает. Давит на нервные центры и по кусочку, клеточку за клеточкой, съедает.

— Давит на двигательные центры, — прибавил я.

— Ну, пусть будет так. Но проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь, в полном сознании, с ясным умом, и знать, что ниточки все обрываются и обрываются и с каждой секундой все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу, слух и другие чувства покидают меня; скоро я лишусь и языка. И все время я буду здесь лежать, живой, мыслящий, но уже бессильный.

— Значит, вместо вас здесь будет ваша душа.

— Чепуха! Это будет значить только то, что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать — вот и все. Действуют они — действую и я. Когда кончится и это — меня не станет. Какая там душа!

Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен.

Мы с Мод принялись за работу, подавленные его страшной судьбой. Ужасное возмездие уже протянуло к нему свои руки. Нас охватило торжественное настроение, и мы разговаривали вполголоса.

В тот же вечер, когда мы опять навестили его, он сказал:

— Вы можете снять с меня наручники. Теперь они не нужны. Я весь парализован. Скоро будут пролежни.

Он улыбнулся своей кривой улыбкой, а Мод, с широкими от страха глазами, отвернулась.

— Вам известно, что у вас кривая улыбка? — спросил я его.

Я знал, что ухаживать за ним придется Мод, и хотел по возможности избавить ее от неприятного зрелища.

— Тогда я не буду улыбаться, — ответил он спокойно. — Я чувствую, что со мной что-то произошло. Правая щека онемела. Уже три дня, как я ощущаю в себе предвестников: то и дело немеет то правая нога, то рука... Может быть, поэтому и улыбка стала односторонней. Ну ладно, я буду улыбаться вам внутренне, в душе! Слышите, — в душе! Вообразите, что я сейчас улыбаюсь.

И он пролежал несколько минут молча, довольный своей странной выдумкой.

Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный Волк Ларсен, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. Больше он не мог спрятать во всех наклонениях и во всех временах глагол «делать». Все, что теперь оставалось для него, — это только «быть», «желать», но не иметь возможности исполнить; думать и мыслить, но обладать уже мертвым, разлагающимся телом.

И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством.

Я разрешил задачу, возникшую вследствие недостаточной длины стрел кра-на. Два дня понадобилось на предварительную работу, и, наконец, на третий день утром мне удалось поднять мачту над палубой и поставить ее нижний конец над гнездом. Здесь мне особенно пришлось потрудиться. Я пилил, рубил и строгал сухое дерево до тех пор, пока оно не стало так гладко, точно его обточили гигантские мыши. И мачта была готова.

— Она будет хорошо служить! — воскликнул я. — Теперь уж я это знаю!

— А вы знаете, как доктор Джордан учит проверять истину? — спросила Мод.

Я покачал головой и перестал стряхивать стружки, сыпавшиеся мне на шею.

— Он ставит вопрос: может ли данная вещь функционировать, и если может, то сможем ли мы доверить ей свою жизнь?

— Он ваш любимый писатель? — спросил я.

— Когда я развенчала своих старых кумиров, — серьезно ответила она, — и рассталась навсегда с Наполеоном, Цезарем и им подобными, то я создала для себя новый Пантеон, и первое место в нем занял доктор Джордан.

— Герой современности.

— И величайший, потому что современный, — добавила она. — Разве древние герои могут сравняться с современными?

Я кивнул. Мы были слишком похожи друг на друга, чтобы спорить. Наши точки зрения и взгляды на жизнь были совершенно одинаковы.

— Как критики, — засмеялся я, — мы удивительно сходимся.

— И как корабельный плотник и его подмастерье — тоже, — засмеялась она.

Мы редко смеялись в те дни: нас одолевала тяжелая, невыносимая работа и думы о живом трупе — Вульфе Ларсене.

С ним случился новый удар. Он почти лишился языка и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Но случалось, что он говорил своим обыкновенным голосом, только очень медленно. Затем вдруг лишился языка, всякий раз в середине разговора, и иногда по целым часам мы ожидали, когда он закончит начатую фразу. Он жаловался на нестерпимые головные боли, и имен-

но в это время он изобрел способ разговора с нами на случай, если бы он совсем лишился языка, а именно: одно давление рукой — это «да», а два — это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. Движением руки он отвечал на наши вопросы, а когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой.

Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. Назло плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до глубокой ночи, проводил на палубе.

Пока я возился с оснасткой фок-мачты, Мод шила паруса, готовая бросить все и бежать ко мне на помощь всякий раз, когда требовались при моей работе четыре руки, а не две. Парусина была тяжелая и толстая. Мод сшивала ее мастерски, как настоящий матрос, большой трехгранной иглой. Ее руки скоро оказались в царапинах, но она храбро преодолевала боль, и вдобавок еще варила пищу и ухаживала за больным.

— Забудем о предрассудках, — сказал я в пятницу утром, — и поставим фок-мачту сегодня. Все готово и прилажено для установки.

С помощью блока и ворота я без особых усилий поставил мачту в вертикальное положение. Как только Мод могла бросить рукоятку ворота, она захлопала в ладоши и закричала:

— Дело идет на лад! Мачта готова, и мы можем вручить ей нашу жизнь!

И вдруг на лице у нее появилось озабоченное выражение.

— Но она не попала в отверстие, — сказала она. — Придется начинать все сначала.

Я снисходительно улыбнулся и с помощью блока подтянул мачту. И все-таки она не попала в отверстие. Опять на лице Мод озабоченное выражение, и опять моя снисходительная улыбка. Я вновь направил мачту в отверстие, и на этот раз мне это удалось. Тогда я дал Мод самые подробные инструкции, как спустить мачту, а сам пошел в трюм, на самое дно корабля, где находилось гнездо.

Я крикнул Мод, и мачта стала правильно и легко спускаться. Ее квадратный шип как раз приходился теперь над квадратным отверстием гнезда. Но когда она спустилась до самого конца, то все-таки не вошла в гнездо: квадратный шип не совпал с гнездом. Но я не растерялся. Я поднялся на палубу и исправил все, что было нужно. Затем я опять сошел вниз, оставив Мод наверху. При свете лампы я увидел, что теперь дело пошло на лад, и шип вошел в гнездо. Мачта встала на свое место. Я радостно закричал. Мод сбегала вниз посмотреть. При желтом свете лампы мы с любопытством осматривали нашу работу. Затем мы взглянули друг на друга, и руки наши встретились. На глаза навернулись слезы радости от достигнутого успеха.

— В сущности, это было нетрудно, — заметил я. — Вся задача заключалась в подготовительных работах.

— А все удовольствие в окончании, — добавила она. — Я все еще не верю своим глазам, что фок-мачта на месте, что вы сами подняли ее из воды и поставили в гнездо. Это — титаническая работа.

— И мы оказались неплохими изобретателями, — начал я весело и остановился.

Я понюхал воздух и подозрительно посмотрел на лампу. Она не коптила. Я опять втянул носом воздух.

— Что-то горит!.. — сказала Мод уверенно.

Мы вместе бросились к лестнице, но я выскочил на палубу после нее. Густое облако дыма поднималось из входа в каюту.

— Волк еще не издох!.. — пробормотал я и кинулся вниз. Дым был так густ, что я должен был пробираться ощупью, и так еще страшен был в моем воображении образ Волка Ларсена, что я не был бы удивлен, если бы беспомощный гигант схватил меня за горло своей железной рукой. Поэтому я медлил. Мной овладевало желание бросить все и выскочить обратно на палубу. И вдруг я вспомнил о Мод. Мне представилась она в том виде, в каком я видел ее в трюме, при тусклом освещении лампы, с большими карими глазами, полными радостных слез, — и я понял, что не могу бежать.

Я задыхался и от страха, и от дыма, когда добрался, наконец, до койки Волка Ларсена. Я протянул вперед руку и нащупал его. Он лежал без движения, но слегка вздрогнул, когда я прикоснулся к нему. Я провел рукой по одеялу и под ним, но не ощутил ни теплоты, ни огня. А дым шел откуда-то, ослеплял меня и заставлял кашлять; где-то был источник его. Я терял голову и неистово стал метаться по баку, но, ударившись об угол стола, пришел в себя. Я сообразил, что если это был поджог, то его следовало искать только около больного.

Я вернулся к койке Волка Ларсена. Там я встретил Мод. Сколько времени она провела в такой удушливой атмосфере, я не знал.

— Идите наверх! — сказал я ей самым решительным тоном.

— Но, Хэмфри... — возразила она слабым, дрожащим голосом.

— Немедленно! — крикнул я сурово.

Она послушно направилась ощупью к выходу.

И вдруг мне пришла в голову мысль: «Что, если она не найдет выхода?»

Я бросился вслед за ней, добежал до выхода, но ее не было. Быть может, она уже поднялась наверх? Когда я стоял так в нерешительности и не знал, что мне предпринять, я вдруг услышал ее задыхавшийся голос:

— Я не нахожу выхода, Хэмфри... Я заблудилась...

Я нашел ее прислонившейся к перегородке и наполовину повел, наполовину понес к выходу. Свежий воздух показался нам дивным нектаром¹. Мод была в полубоморочном состоянии, я оставил ее лежать на палубе, а сам опять бросился вниз.

¹ Баснословный напиток древнегреческих богов, будто бы дававший юность и силы тем, кто пил его.

Источник дыма должен был находиться около больного. Так говорил мне мой разум. И я прямо направился к его койке. Когда я опять стал обшаривать его одеяло, что-то горячее свалилось вдруг мне на руку и обожгло так, что я ее отдернул. Тогда я понял. Через щели верхней койки вырывался из матраца огонь. Волк Ларсен поджег его. Он мог это сделать левой рукой. Сухая солома в матраце, зажженная снизу и не получавшая доступа воздуха, все время тлела и дымилась.

Когда я стащил матрац с койки, солома рассыпалась и пламя запылало. Я смахнул с койки пылавшие остатки соломы и, задыхаясь, выбежал наверх.

Нескольких ведер воды было достаточно, чтобы залить тут же, в каюте на полу, пылавший матрац, а минут десять спустя, когда дым рассеялся, я разрешил Мод сойти вниз. Волк Ларсен лежал без сознания, но свежий воздух привел его в себя. Он потребовал себе бумагу и карандаш.

«Не мешайте мне, — написал он, — я улыбаюсь. Как вы видите, я все еще представляю собой частицу закваски».

— Я рад, — перебил я его, — что вы теперь ничтожная частичка.

«Благодарю вас, — написал он в ответ. — Но мне нужно еще уменьшить-ся, чтобы умереть... И все-таки я весь здесь, — написал он потом. — Я могу мыслить сейчас гораздо яснее, чем когда-либо. Ничто не мешает мне сосредоточиться. В этой молекуле я весь, я все еще существую».

Это было как бы его посланием из могильного мрака. Его тело служило ему мавзолеем, и там, в этом страшном гробу, все еще трепетал и жил его дух.

Он будет жить и трепетать, пока не порвется последняя связь с внешним миром. И кто знает, не будет ли он жить и трепетать и после этого?

ГЛАВА XXXVIII

«Кажется, у меня отнимается и левая сторона, — написал Волк Ларсен на другой день после покушения на поджог шхуны. — Онемение увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити».

— Вам больно? — спросил я.

Нужно было повторить этот вопрос еще громче, и только тогда он ответил мне:

«Не все время».

Левая рука слабо и с видимым усилием чертила по бумаге. Мы с трудом могли разбирать его каракули. Они стали похожи на письма «духов», которые показывают на спиритических сеансах, взимая за вход по доллару.

«Но я все еще сознаю себя, — нацарапала медленно его рука. — Я все еще здесь».

Карандаш вывалился у него из рук, и нужно было снова вложить его в ослабевшие пальцы.

«Когда не бывает боли, мне совсем хорошо. И я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти, как индусский мудрец».

— И о бессмертии? — громко спросила Мод, наклонясь над ухом.

Три раза он пытался написать ей ответ, и всякий раз карандаш вываливался из его руки. Напрасно мы старались вложить карандаш. Его пальцы отказывались держать. Тогда Мод втиснула карандаш насильно и стала придерживать своими пальцами, и Ларсен написал громадными буквами и так медленно, что на каждую букву потребовалось чуть не по минуте.

Это было последним словом Волка Ларсена, неисправимого скептика до конца. Рука опустилась как плеть. Все тело вытянулось. Он больше не двигался. Мод расправила его пальцы. Они раздвинулись и снова сжались от собственной упругости, и карандаш упал.

— Вы еще слышите? — крикнул я ему, взяв его за пальцы, и ждал, пока он мне ответит «да», надавив на мою руку один раз. Но ответа не последовало. Рука была мертва.

— Его губы двигаются, — сказала Мод.

Я повторил вопрос. Губы действительно задвигались. Она положила на них кончик пальцев. Я вновь повторил. Мод торжественно произнесла: «Да». Мы вопросительно посмотрели друг на друга.

— Впрочем, к чему это? — спросил я. — О чем его спрашивать еще?

— Спросите его...

Она не решалась.

— Спросите его о чем-нибудь таком, — предложил я, — на что он должен ответить «нет». Тогда мы будем знать наверное...

— Хотите есть? — крикнула она.

Губы зашевелились под ее пальцами. Он ответил: «Да».

— Мясa?

— Нет.

— Бульону?

— Да.

— Он хочет бульону, — сказала Мод спокойно и поглядела на меня. — Пока он еще слышит, мы можем объясняться с ним. А затем...

Она как-то странно посмотрела на меня. Ее губы задрожали, и слезы навернулись ей на глаза. Она склонилась ко мне, и я заключил ее в объятия.

— О, Хэмфри, — зарыдала она. — Когда же всему этому будет конец? Я так устала, так устала!..

Она положила голову ко мне на плечо, и ее слабое тело сотрясало от рыданий. Она была на моих руках, точно перышко, хрупкая, эфирная.

«Она совершенно разбита, — подумал я. — Что я буду делать без ее помощи?» Я стал ее утешать, пока она не овладела собой.

— Как мне стыдно за себя! — сказала она. А затем со своей чисто детской улыбкой, которая так мне нравилась, добавила: — Но ведь я только «маленькая женщина»!

Эти слова подействовали на меня как электрическая искра. Ведь это мое название, мое заветное, дорогое имя, которым я так любил называть ее про себя.

— Где вы подслушали эти слова? — спросил я ее так неожиданно, что она вздрогнула.

— Какие слова? — спросила она.

— Что вы «маленькая женщина».

— А разве они ваши?

— Да, мои. Это я придумал...

— Значит, вы говорили их во сне!

Она улыбнулась. Шаловливые огоньки запрыгали у нее в глазах. Я наклонился над ней. Я сделал это невольно, как дерево, сломанное ветром. Ах, как мы были близки в этот момент друг к другу! Но она встряхнула головой, точно пробудившись от сна, и сказала:

— Я знала их всю жизнь. Так обыкновенно мой отец называл мою мать.

— Это также и мое выражение! — стоял я на своем.

— Так называли вашу мать?

— Нет, — ответил я.

Она больше не допытывалась, но я мог бы поклясться, что у нее в глазах все еще оставалось насмешливое, вызывающее выражение.

Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место, и снасти натянуты; затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса: кливер, фок и грот, заплатанные, короткие и безобразные; они до смешного не подходили к такому красивому судну, как «Призрак».

— Но они будут работать! — с торжеством воскликнула Мод. — Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь!

Из всех моих работ самой неудачной были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом «Призраке», к тому же к моим услугам была звездная карта Волка Ларсена, настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок.

Что касается изобретателя ее, то глухота его усиливалась, губы шевелились все слабее и слабее. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно, и его губы больше не шевелились. Последним моим вопросом было: «Вы все еще здесь?» — и губы его ответили: «Да».

Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании и во мраке. Для него не нужно было тела. Он не нуждался в нем. Он не нуждался во внешнем мире. Он признавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака.

ГЛАВА XXXIX

Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели запла-

таннные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя и топорна. Но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы: «И все это сделал я! Все это сделано вот этими руками».

Я и Мод давно привыкли читать мысли друг друга, и, когда мы подняли наконец наш грот, она сказала:

— И подумать только, Хэмфри, что все это сделали вы сами, своими руками!

— Но были еще и другие ручки, — ответил я. — Две маленькие ручки, а далее я уже не скажу тех слов, какие говорил ваш отец.

Она засмеялась и покачала головой, а я взял ее руки и стал их осматривать.

— Они никогда не отмоются, — вздохнула она, — и никогда больше не будут мягкими!..

— Зато эта грязь и шероховатость всегда будут вам делать честь, — ответил я, все еще не выпуская ее рук.

И как я ни крепился, я непременно кончил бы тем, что расцеловал бы эти дорогие для меня руки, если бы она не вырвала их поспешно.

Нашей дружбе приходил конец. Я все время упорно работал над собой, стараясь победить свою любовь, но в конце концов она победила меня. До сих пор меня выдавали только мои глаза, а теперь это стал делать и мой язык, и не один язык, а и губы, потому что они до безумия хотели целовать эти маленькие ручки, которые так преданно и с таким напряжением работали. Да и сам я стал каким-то безумным. Меня неудержимо влекло к ней. И она чувствовала это. Она не могла об этом не знать и всякий раз быстро вырывала свои руки из моих, но в то же время и сама не могла удержаться, чтобы не бросить на меня взгляд, прежде чем отвести от меня свои глаза.

— Нам никогда не поднять якоря в таком узком месте, — сказал я. — Мы можем наскочить на скалы.

— Что же вы намерены делать? — спросила она.

— Оставить его, — ответил я. — Как только я разделаюсь с ним, вы немедленно же приналяжете на ворот, а я тотчас же примусь за штурвал; тем временем вы поднимете кливер.

Этот маневр я отлично изучил, несколько раз выполнял на практике во время путешествия на «Призраке» и знал, что если Мод перекинёт от кливера веревку через ворот и завертит его, то ей удастся поднять этот необходимый для нас парус. В нашу бухту врывался легкий ветерок, и хотя море было спокойно, все-таки от нас требовалась самая быстрая работа, чтобы мы успели выбраться невредимо.

Когда я разрубил якорную цепь, она выскользнула через носовой клюз¹ и с шумом грохнулась в море. Со всех ног я бросился к рулю и повернул его. Казалось, «Призрак» ожил, как только надулись паруса. Взвился кверху и кливер. Когда наполнился и он, «Призрак» повернул свой нос, и шхуна тронулась.

¹ Клюзы — отверстия в бортах для прохода якорной цепи или каната.

Мод, успешно выполнив свою задачу, пришла на палубу и стала рядом со мной. В глазах светилось что-то неукротимое, чего я не видел у нее еще ни разу; губы ее раскрылись, и она, затаив дыхание, следила, как «Призрак», обойдя прибрежные скалы и миновав узкий выход из бухты, надул свои паруса и вдруг вырвался в открытое море на свободу.

День был облачный и хмурый, но как раз в этот самый момент проглянуло сквозь облака солнышко, и мы приняли это за счастливое предзнаменование. Весь наш остров вдруг засиял на солнце. Даже угрюмый юго-западный мыс показался нам менее угрюмым, когда на нем запрыгали вдруг яркие пятна солнечного света.

— Я всегда буду вспоминать об этом месте, — с гордостью обратился я к Мод.

Она высоко подняла голову.

— Милый наш остров! — сказала она. — Я всегда буду любить тебя!

— Я тоже, — быстро добавил я.

И наши глаза готовы были встретиться во взаимном понимании, но — увы! — мы оба сделали над собой усилие, и они не встретились.

Наступило неловкое молчание.

— Посмотрите вон на те темные облака, — сказал я, чтобы нарушить его. — Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?

— И солнце уже скрылось, — ответила она, все еще не сводя глаз с нашего островка, где мы научились быть хозяевами положения и узнали, какие простые товарищеские отношения возможны между женщиной и мужчиной.

— И паруса мчат нас в Японию! — весело воскликнул я. Бросив штурвал, я побежал на нос, ослабил кливер и фок и приспособил все, что требовалось, чтобы использовать кормовой ветер. Он все крепчал и крепчал, но я решил продвигаться вперед до тех пор, пока это было возможно. К несчастью, у нас не хватило балласта и не было возможности надолго закрепить штурвал, и потому я всю ночь простоял на вахте. Мод настаивала на том, чтобы сменить меня, но у нее все равно не хватило бы силы управлять рулем в открытом море, даже если бы она и умела обращаться со штурвалом. Она очень огорчилась, когда убедилась в этом, но утешилась, занявшись укладыванием канатов в бухту, к тому же ей надо было готовить обед, ухаживать за Волком Ларсеном, — и она закончила свой день генеральной уборкой кают-компаний и помещений для матросов.

Всю ночь я простоял у руля без отдыха; ветер крепчал, и море становилось бурным. В пять часов утра Мод принесла мне кофе и лепешек, которые она испекла, а в семь часов я уже ел горячий завтрак, вливший в меня новые силы.

Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец он стал дуть с неистовой силой. «Призрак» бодро бежал вперед. Я определил, что мы делаем одиннадцать узлов. Было очень приятно идти с такой быстротой, но к вечеру я совершенно выбился из сил. Хотя я физически очень окреп, но тридцать шесть часов дежурства у штурвала превысили мою выносливость. Мод умоляла

меня положить шхуну в дрейф, и я знал, что если волнение за ночь усилится, то потом мне не удастся это сделать. Поэтому, как только спустились сумерки, я стал поворачивать «Призрак» к ветру.

Но я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, я не представлял себе всей его силы, но когда мы изменили направление, то, к своему огорчению, — а в полночь даже к своему отчаянию, — я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в десять минут. В восемь часов вечера мне удалось взять только второй риф. К одиннадцати — я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. От боли и от изнеможения я плакал в темноте, но так, чтобы об этом не могла узнать Мод.

Затем, в отчаянии, я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. Три часа я проработал над этим новым маневром, и в два часа утра, полуживой, добился наконец успеха. «Призрак» пошел ближе к ветру и не стал выказывать намерения срываться в сторону и зарываться носом в волны.

Я был очень голоден, но Мод напрасно старалась заставить меня съесть что-нибудь. Я засыпал с куском во рту, и Мод должна была поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула.

Как я дошел до каюты, я потом не помнил. Вообще я ничего не помнил, пока не проснулся на своей койке, одетый, но без сапог. Я не мог себе представить, сколько времени я проспал, было темно, когда мои израненные пальцы прикасались к одеялу. Очевидно, утро еще не наступило, и, закрыв глаза, я снова заснул. Я не знал, что проспал целый день и что это была уже вторая ночь. Я снова проснулся, недовольный тем, что мало спал. Зажег спичку и посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы около трех часов. Это меня озадачило, пока, наконец, я не догадался, в чем дело. Недаром же я так часто стал просыпаться! Я проспал двадцать один час! Некоторое время я прислушивался к ударам волн в шхуну и к реву ветра на палубе, а затем повернулся на другой бок и мирно проспал до утра.

Когда я встал в семь часов и не нашел Мод внизу, я решил, что она в кухне готовит завтрак. На палубе все было благополучно, и «Призрак» хорошо держался против волн. Я заглянул в кухню: в плите горел огонь, а на ней кипела вода, но Мод там не было.

Я нашел ее на баке, у койки Волка Ларсена. Я взглянул на него — на человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Мод посмотрела на меня. Я понял все.

— Его жизнь угасла во время шторма, — прошептал я.

— Но он все же жив, — ответила она с непоколебимой верой в голосе.

— В нем было слишком много сил.



— Муж мой!.. — сказала она, и прижалась головой к моей груди.

— Да, — сказала она, — но они больше не терзают его... Теперь он освободился!

— Это верно, — подтвердил я и, взяв ее за руку, вывел на палубу.

За ночь буря утихла, то есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело Волка Ларсена на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер и море было в волнении. Волны перекатывались через борт и заливали палубу. Мы стояли по колено в воде.

Я снял шапку.

— Я помню только одну часть похоронного церемониала, — сказал я. — «Тело должно быть выброшено в море».

Мод посмотрела на меня с выражением крайнего изумления. Но воспоминание о том, что я видел на этом судне, требовало от меня, чтобы я похоронил самого Волка Ларсена, как он похоронил своего штурмана. Я приподнял доску, на которой лежал он, и зашитое в парусину тело, ногами вперед, соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, — и оно исчезло.

— Прощай, Люцифер, гордый дух! — пролепетала Мод так тихо, что за порывом ветра ее почти не было слышно.

Когда, цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент «Призрак» высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в двух или трех милях от нас небольшой пароход. То ныряя, то поднимаясь на гребни волн, он шел прямо на нас. Он был выкрашен в черный цвет, и, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Я указал на него Мод и поспешил довести ее до безопасного места на корме.

Затем я бросился вниз за флагом и тут только вспомнил, что, починая снасти, я не позаботился о флаг-фалах¹.

— Нам не нужно давать им сигнал о бедствии, — сказала Мод. — Им достаточно посмотреть на наше судно.

— Мы спасены!.. — сказал я торжественно. — И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне? — прибавил я, взглянув на нее.

Теперь наши глаза смело встретились. Мы склонились друг к другу, и прежде чем я понял это, я уже держал ее в своих объятиях.

— Говорить ли? — спросил я ее.

Она ответила:

— Нет, не нужно, хотя услышать это было бы хорошо!

Наши уста слились, и по какой-то странной игре воображения мне вспомнилась сцена, которая произошла в кают-компании «Призрака», когда она приложила свои пальцы к моим губам и сказала: «Не надо!.. Не надо!..»

— Моя жена, моя маленькая женушка! — сказал я, обнимая ее за плечи свободной рукой, как это умеют делать все влюбленные мужчины, хотя никто не учит их этому в школе.

¹ Флаг-фалы — снасти, поднимающие флаг.

— Муж мой!.. — сказала она, и ресницы ее затрепетали, когда она опустила глаза и прижалась головой к моей груди со счастливым вздохом.

Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку.

— Один поцелуй, дорогая моя, — прошептал я. — Один поцелуй, прежде чем они подойдут!..

— И спасут нас от самих себя, — добавила она со своей самой очаровательной улыбкой, которой я раньше у нее не замечал, — улыбкой, полной лукавства любви.



РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

БЕЛЫЕ И ЖЕЛТЫЕ

Залив Сан Франциско так огромен, что штормы, которые на нем свирепствуют, для океанского судна подчас страшнее, чем самая яростная непогода на океане. Какой только рыбы нет в этом заливе, и какие только рыбацьи суденышки с командой из лихих удалцов на борту не бороздят его воды! Существует много разумных законов, призванных оберегать рыбу от этого пестрого сброда, и специальный рыбацкий патруль следит, чтобы законы эти неукоснительно соблюдались. Бурная и переменчивая судьба выпала на долю патрульных: часто терпят они поражение и отступают, не досчитавшись кого-нибудь из своих, но еще чаще возвращаются с победой, уложив браконьера на месте преступления — там, где он незаконно закинул свои сети.

Самыми отчаянными среди рыбаков были, пожалуй, китайские ловцы креветок. Креветки обычно ползают по дну моря несметными полчищами, но, добравшись до пресной воды, сразу поворачивают назад. Китайцы, пользуясь промежутками между приливом и отливом, забрасывают на дно ставной кошельковый невод, креветки заползают в него, а оттуда попадают прямехонько в котел с кипящей водой. Собственно говоря, ничего плохого в этом нет, да вот беда: ячейки у сетей до того мелкие, что даже крошечные, едва вылупившиеся мальки, длиной меньше четверти дюйма, и те не могут сквозь них пролезть. К чудесным берегам мыса Педро и мыса Пабло, где стоят поселки китайских рыбаков, просто невозможно было подступиться: там горами валялась гниющая рыба, и воздух был отравлен ее зловонием. Против такого бессмысленного истребления рыбы и призван был бороться рыбацкий патруль.

Мне было шестнадцать лет, я отлично умел управлять парусным судном и знал залив как свои пять пальцев, когда мой шлюп «Северный олень» зафрахтовала рыболовная компания и я должен был временно стать одним из помощников патрульных. Немало повозившись в Верхней бухте и впадающих в нее реках с греческими рыбаками, которые чуть что пускают в ход ножи и дают себя арестовать только под дулом револьвера, мы были рады отправить-ся в Нижнюю бухту на усмирение бесчинствующих ловцов креветок.



Мы, чтобы не продрогнуть вконец, пили горячий кофе.

Нас было шестеро на двух судах, и, чтобы не вызвать подозрений, мы вышли с вечера и бросили якорь под прикрытием крутого берега мыса Пиноль. Едва на востоке забрезжил рассвет, мы снялись с якоря и, взяв круто к береговому бризу, пересекли залив, держа на мыс Педро. Вокруг не было видно ни зги, над самой водой стлался холодный утренний туман, и мы, чтобы не продрогнуть вконец, пили горячий кофе. Кроме того, нам приходилось заниматься пренеприятным делом — вычерпывать воду, так как «Северный олень» по непонятной причине дал порядочную течь. Мы провозились чуть ли не всю ночь, перетаскивая балласт и осматривая пазы, но, сколько ни бились, ничего не нашли. А вода все прибывала, и мы волей-неволей принялись ее вычерпывать, согнувшись в три погибели в тесном кокпите.

Напившись кофе, трое из нас перешли на другой парусник с реки Колумбия — на нем раньше ловили лососей, — а трое остались на «Северном олене». Оба судна шли борт о борт, пока из-за горизонта не показалось солнце. Его горячие лучи разогнали непроглядный туман, и перед нашими глазами, словно на картине, предстала целая флотилия китайских джонок, растянувшаяся широким полукругом, между концами которого насчитывалось добрых три мили, причем каждая джонка была пришвартована к буйку ставного невода. Но на джонках — ни души, ни малейших признаков жизни.

Мы сразу смекнули, в чем дело. Дождаясь отлива, когда будет легче поднять со дна тяжелые сети, китайцы улеглись спать в своих джонках. Это было нам на руку, и мы живо разработали план нападения.

— Пусть каждый из твоих ребят прыгнет в джонку, — шепнул мне Ле Грант с речного парусника. — А к третьей джонке пришвартуйся ты сам. Мы поступим точно так же, и провалиться мне на этом месте, если мы не захватим по крайней мере шесть джонок.

Мы разделились. Я положил «Северного оленя» на другой галс, обогнул одну из джонок с подветренного борта, взял грот к ветру и, теряя скорость, прошел мимо кормы джонки, почти вплотную к ней и притом так медленно, что один из патрульных без труда спрыгнул в нее. Тогда я отвел «Северного оленя» в сторону, забрал ветер и направил шлюп к соседней джонке.

До сих пор все было тихо, но вот на первой джонке, захваченной парусником с реки Колумбия, поднялся шум. Кто-то пронзительно закричал, грянул пистолетный выстрел, потом снова послышался крик.

— Все пропало! Это они предупреждают своих, — сказал Джордж, стоявший рядом со мной в кокпите.

Мы были уже в самой гуще джонок, где тревога распространялась с непостижимой быстротой. На палубы выскакивали сонные полуголые китайцы. Над тихой водой понеслись предостерегающие крики и проклятия, кто-то громко затрубил в раковину. Я видел, как справа от нас главный на джонке обрубил топором швартовы и бросился помогать команде ставить огромный, диковинный парус. Но слева, на другой джонке, китайцы еще только высовы-



Я видел, как справа от нас главный на джонке обрубил топором швартовы.

вали головы наружу, и я, повернув шлюп, подошел к ней так, чтобы Джордж мог спрыгнуть на палубу.

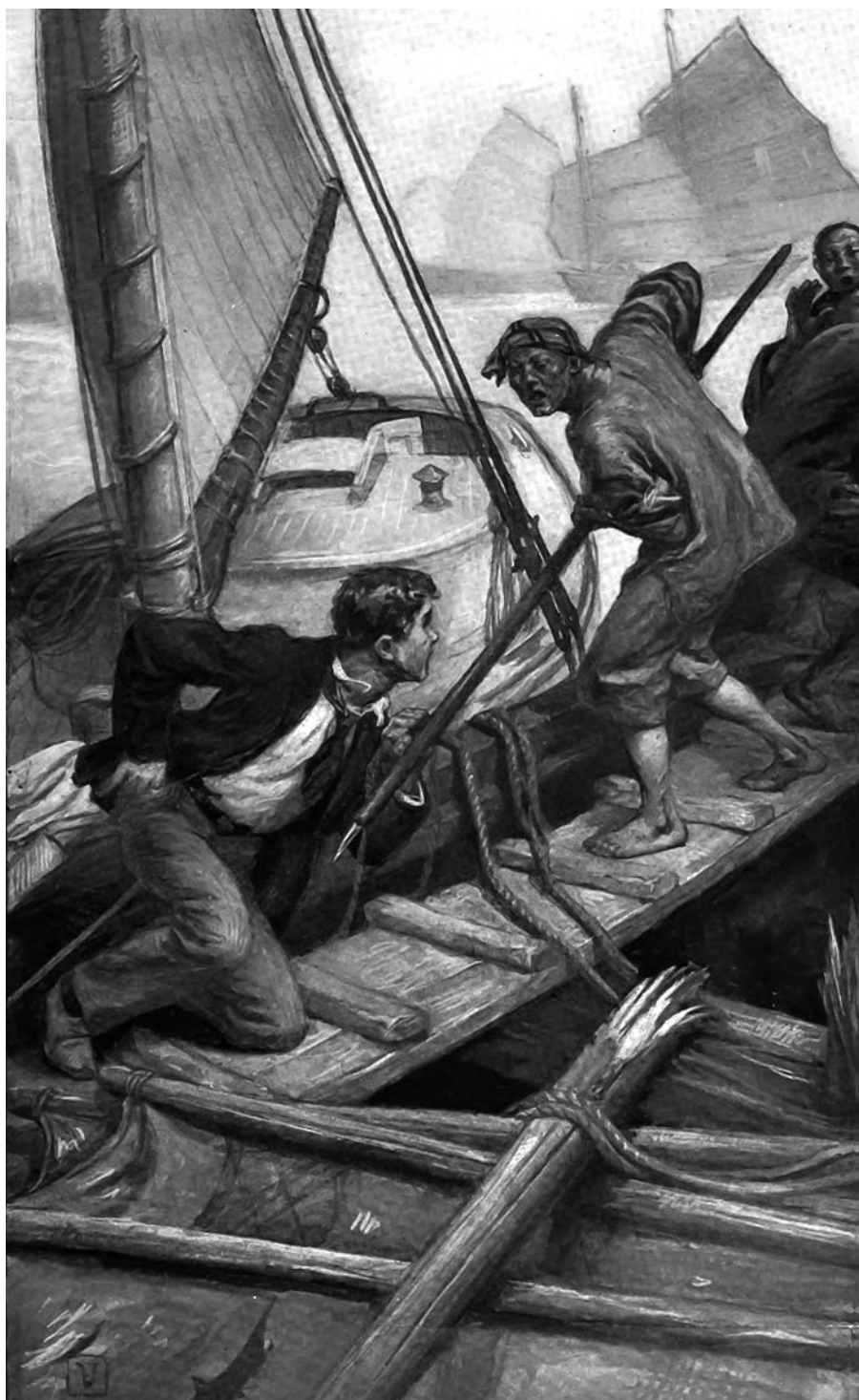
Теперь уже все джонки обратились в бегство. Кроме парусов, они пустили в ход длинные весла и рассыпались по всему заливу. Я остался один на «Северном олене» и лихорадочно высматривал добычу. Первая моя попытка оказалась очень неудачной, потому что китайцы выбрали шкоты, и джонка быстро оставила меня за кормой. При этом она встала к ветру на целых пол румба круче, чем «Северный олень», так что я невольно почувствовал уважение к суденышку, которое казалось мне таким неуклюжим. Махнув на нее рукой, я переменял галс, вытравил грота-шкот и пошел фордевинд прямо на джонки, которые были у меня с подветренного борта, чтобы использовать таким образом свое преимущество.

Джонка, на которую я нацелился, беспорядочно заметалась, но когда я описал плавную дугу, чтобы взять ее на бордаж, избежав резкого столкновения, она вдруг переменяла галс и, забрав ветер, ринулась прочь, а хитрые азиаты, налегая на весла, подбодряли себя дружными криками. Однако я был готов к этому маневру: не теряя ни секунды, я привел шлюп к ветру, положил руль на наветренный борт и навалился на румпель всем телом, на ходу выбирая обеими руками грота-шкот, чтобы по возможности ослабить удар. Два весла с правого борта джонки переломились, и наши суда столкнулись с громким треском. Бушприт «Северного оленя», словно гигантская рука, протянувшись вперед, сорвал с джонки неуклюжую мачту вместе с пузатым парусом.

На джонке раздался яростный вопль, от которого кровь застыла у меня в жилах. Здоровенный китаец, чья голова была повязана желтым шелковым платком, а злобное лицо усеяно оспинами, уперся багром в нос моего шлюпа, чтобы оттолкнуться от него. Я отдал кливер-фал и, выждав, пока «Северного оленя» отнесло немного назад, спрыгнул на джонку с концом в руках и пришвартовался к ней. Щербатый китаец с желтым платком на голове угрожающе шагнул ко мне, но я сунул руку в карман брюк, и он остановился в нерешительности. Оружия у меня не было, но китайцы, наученные горьким опытом, опасаются этого кармана, и я надеялся таким образом удержать самого главаря и его отчаянных людей на почтительном расстоянии.

Я приказал ему отдать носовой якорь, на что он ответил: «Моя не поймай». То же самое твердили все остальные, и хотя я объяснил им знаками, что нужно сделать, они упорно отказывались меня понимать. Видя, что пререкаться бесполезно, я сам пошел на нос, размотал канат и отдал якорь.

— Вот вы, четверо, марш на шлюп! — крикнул я и объяснил на пальцах, что четверо должны последовать за мной, а пятый останется на джонке. Желтый Платок колебался, но я повторил приказ свирепым тоном (хотя на самом деле я не так уж сильно рассвирепел) и снова сунул руку в карман. Желтый Платок струхнул и, бросая на меня злобные взгляды, повел трех своих людей на «Северного оленя». Я тотчас отдал швартовы и, не поднимая кливера, направил шлюп к джонке, на которую спрыгнул Джордж. Подойдя к ней, я вздохнул сво-



Щербатый китаец с желтым платком на голове угрожающе шагнул ко мне.

боднее, потому что теперь нас стало двое, да к тому же у Джорджа на крайний случай был револьвер. С этой джонкой мы поступили точно так же, как и с первой, — четверых китайцев взяли на шлюп, а одного оставили стеречь судно.

Затем мы взяли еще четверых китайцев с третьей джонки. К этому времени речной парусник тоже захватил двенадцать пленников и, перегруженный, подошел к нам. Как на грех, суденышко было такое маленькое, что патрульные, зажатые в толпе китайцев, едва могли шевельнуться и в случае бунта оказались бы бессильны против своих пленников.

— Выручайте, друзья, — сказал Ле Грант.

Я оглядел своих пленников, которые сгрудились в каюте или залезли на крышу рубки.

— Трех мы, пожалуй, можем взять, — сказал я.

— Бери уж четверых для ровного счета, — попросил Ле Грант. — А мне отдай Билла. (Билл — это третий патрульный с «Северного оленя».) Нам тут повернуться негде, так что ежели случится попасть в переделку, один патрульный против двух китайцев будет в самый раз.

Так мы и сделали, после чего Ле Грант поднял парус, и его судно пошло по заливу к устью заболоченной реки Сан-Рафаэль. Я поставил кливер и двинулся следом. Город Сан-Рафаэль, где мы должны были сдать пленников властям, был связан с заливом длинной и извилистой рекой, судоходной только во время прилива. Теперь прилив кончался, близился отлив, и нужно было спешить, чтобы не дожидаться целых полдня следующего прилива.

Но чем выше поднималось солнце, тем слабее дул береговой бриз — теперь он налетал лишь слабыми, замирающими порывами. Судно Ле Гранта шло на веслах и вскоре оставило нас далеко позади. Несколько китайцев стояли в кокпите, у люка каюты, и один раз, перегнувшись через поручни кокпита, чтобы выбрать кливер-шкот, я почувствовал, как кто-то быстро ощупал мой карман. Я и вида не подал, что обратил на это внимание, но уголком глаза заметил, как на лице у Желтого Платка промелькнуло злорадство: он убедился, что пугавший его карман пуст.

А тут еще на беду, гоняясь за джонками, мы позабыли вычерпать из шлюпа воду, и теперь она начала заливать кокпит. Китайцы указывали на воду пальцами и вопросительно поглядывали на меня.

— Да, — сказал я. — Наша скоро пойдет ко дну, если твоя не черпай воду. Понимай?

Нет, они «не понимают», во всяком случае, они энергично трясли головами, хотя при этом весьма красноречиво переговаривались на своем тарабарском языке. Я поднял три или четыре доски, достал из рундука пару ведер и с помощью самых недвусмысленных жестов велел китайцам приниматься за дело. Но они, рассмеявшись мне в лицо, преспокойно вернулись в каюту или снова полезли на крышу рубки.

Смех китайцев не предвещал ничего хорошего. В нем звучала угроза, подкрепляемая их злобными взглядами. Желтый Платок, убедившись, что я безо-

ружен, совсем обнаглел и расхаживал среди пленников, настойчиво подбивая их на что-то.

Скрывая свою досаду, я спустился в кокпит и сам стал вычерпывать воду. Но едва я взялся за ведро, как у меня над головой просвистел гик, судно резко легло на другой галс, грот наполнился ветром и шлюп дал крен. Это задул морской бриз. Джордж был самой настоящей сухопутной крысой, так что мне пришлось бросить ведро и снова взяться за румпель. Ветер дул прямо со стороны замкнутого высокими горами мыса Педро и поэтому был шквалистый и коварный: паруса то наполнялись, то без толку полоскались на реях.

От Джорджа не было никакого толку — в жизни я еще не встречал более беспомощного человека. Кроме всего прочего, у него была еще чахотка, и я знал, что, если заставить его вычерпывать воду, у него может пойти горлом кровь. А вода все прибывала, медлить было нельзя. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Они дерзко расхохотались, и те, что стояли в каюте по щиколотку в воде, начали громко переговариваться со своими соплеменниками, сидевшими на крыше.

— Вынь-ка свою пушку да заставь их поработать, — сказал я Джорджу.

Но он только покачал головой, и мне стало ясно, что он струсил. Китайцы не хуже меня поняли это, и наглость их стала просто невыносимой. Они взломали в каюте ящики с провизией, а те, что сидели на крыше рубки, спрыгнули вниз, и все вместе они стали лакомиться нашими галетами и консервами.

— Наплевать нам на это, — сказал Джордж дрожащим голосом.

Меня душил бессильный гнев.

— Если они выйдут из повиновения, будет поздно. Лучше сразу поставить их на место.

А вода все поднималась, и порывы ветра — первые вестники устойчивого бриза — становились все сильнее и сильнее. Наши пленники, покончив с недельным запасом провизии, едва затихал ветер, дружно перебежали от одного борта к другому, шлюп раскачивался и прыгал по воде, как яичная скорлупка. Желтый Платок подошел ко мне и, указывая на берег мыса Педро, где находилась его деревня, объяснил, что, если я поверну туда и высажу их на берег, они готовы вычерпывать воду. В каюте вода уже поднялась до уровня коек, простыни намокли. В кокпите глубина ее достигла целого фута. И все же я отказался наотрез. На лице Джорджа отразилось разочарование.

— Будь же мужчиной, не то они выбросят нас за борт, — сказал я ему. — Дай-ка сюда револьвер, так оно вернее.

— Вернее всего было бы посадить их на берег, — малодушно отозвался он. — Право, у меня нет никакой охоты утонуть из-за горстки паршивых китайцев.

— А у меня, право, нет никакой охоты сдаваться на милость горстки паршивых китайцев, только бы не утонуть! — с жаром воскликнул я.

— Но ведь ты пустишь «Северного оленя» ко дну, а вместе с ним и нас, — заскулил он. — Не понимаю, что тут хорошего...

— На вкус, на цвет товарища нет! — отрезал я.



*Желтый Платок развязно подошел ко мне,
вода в кокпите лизала ему ноги.
Мне не нравился его вид.
Я так грозно приказал ему остановиться,
что он повиновался.*

Он промолчал, но я видел, что его бьет дрожь. Угрозы китайцев и неуклонно прибывавшая вода лишили его последних остатков мужества, и я знал, что под влиянием страха он не остановится ни перед чем, лишь бы спасти свою шкуру. Я перехватил тоскливый взгляд, брошенный им на маленький ялик, который шел на буксире за кормой шлюпа, и как только утих очередной порыв ветра, подтянул ялик к борту. В глазах Джорджа блеснула надежда: но прежде, чем он угадал мое намерение, я проломил тонкое дно топором, и ялик осел глубоко в воду.

— Уж если тонуть, так вместе, — сказал я. — Давай сюда револьвер, и я живо заставлю их вычерпать воду.

— Но ведь их так много! — захныкал он. — Нам с ними не справиться.

Я с негодованием повернулся к нему спиной. Парусник Ле Гранта давно уже скрылся за маленьким архипелагом, известным под названием архипелага Марин, и ждать от него помощи было нечего. Желтый Платок развязно подошел ко мне, вода в кокпите лизала ему ноги. Мне не нравился его вид. Под приятной улыбкой, которую он старался изобразить на лице, я угадывал недобрый умысел. Я так грозно приказал ему остановиться, что он повиновался.

— Ни шагу дальше! — крикнул я. — Не смей подходить ко мне.

— Почему так говоришь? — недовольно спросил он. — Моя знает по-английский много-много.

— Знает по-английский! — воскликнул я с горечью. Ясное дело, он прекрасно понял все, что произошло между Джорджем и мной. — Врешь, ничего ты не знаешь!

Он осклабился во весь рот.

— Нет, моя знает много-много. Моя — честный китаец.

— Ладно, — сказал я. — Знаешь, так знай. Давай вычерпывай воду, а потом будем разговаривать.

Он покачал головой и кивнул на своих товарищей.

— Никак нельзя. Плохой люди, очень плохой. Да, да...

— Ни с места! — крикнул я, заметив, что он сунул руку за пазуху и изготавился к прыжку.

Обескураженный, он вернулся в каюту и стал там что-то лопотать: видно, держал совет со своими. «Северный олень» глубоко осел в воду, отяжелел и почти не слушался руля. При малейшем волнении он неизбежно пошел бы ко дну; но ветер был слабый, он едва морщил водную гладь.

— Послушай, нам лучше бы вернуться к берегу, — заявил вдруг Джордж, и по его тону я понял, что страх придал ему решимости.

— Ни за что! — отозвался я.

— Я тебе приказываю! — сказал он с угрозой в голосе.

— Мне приказано доставить пленников в Сан-Рафаэль, — отозвался я.

— Повернешь ты к берегу или нет?

С этими словами Джордж направил на меня револьвер, — этот трус побоялся пустить его в ход против китайцев, а теперь грозил им товарищу!

Словно молния вспыхнула в ночном мраке — так ясно увидел я все, что ожидает меня из-за постыдной трусости Джорджа: позорное возвращение без пленников, встреча с Ле Грантом и другими товарищами, жалкие оправдания... Преследуя браконьеров, мы рисковали жизнью, и вот теперь добытая с таким трудом победа ускользает прямо из рук. Краешком глаза я видел, что китайцы столпились у люка и бросают на нас торжествующие взгляды. Врете, не бывать по-вашему!

Я быстро присел и рукой резко отвел вверх дуло револьвера, так, что пуля просвистела у меня высоко над головой. Стиснув одной рукой запястье Джорджа, я другой вцепился в револьвер. Желтый Платок со своими людьми бросился на меня. Наступил решительный момент. Собрав все силы, я резко толкнул Джорджа и, вырвав револьвер, отшвырнул Джорджа от себя. Он упал под ноги Желтому Платку, тот споткнулся, и оба они провалились в дыру там, где я поднял доски. В то же мгновение я направил на китайцев револьвер, и обезумевшие пленники сразу съжились и отступили.

Но вскоре я понял, что одно дело — стрелять в нападающих и совсем другое — в людей, которые просто-напросто отказываются повиноваться. А повиноваться они и не думали, хотя я настойчиво указывал им на ведра. Я грозил им револьвером, а они молча сидели в затопленной каюте и на крыше рубки, не двигаясь с места.

Так прошло минут пятнадцать. «Северный олень» оседал все глубже и глубже, ветра не было, и грот беспомощно полоскал. А потом я увидел, как со стороны мыса Педро на нас двинулась какая-то темная полоса. Это подул устойчивый бриз, которого я так ждал. Я окликнул китайцев и указал им на темную полосу. Они ответили мне радостными воплями. Тогда я указал им на парус и на воду, затопившую шлюп, и знаками объяснил, что когда ветер наполнит парус, мы опрокинемся. Но они нагло скалили зубы, прекрасно зная, что я могу привести шлюп к ветру и вытравить грота шкот, чтобы обезветрить паруса и избежать катастрофы.

Но я уже принял решение. Выбрав фут или два грота шкота, я навалился на румпель спиной. Теперь я мог одной рукой управлять парусом, а в другой держать револьвер. Темная полоса все надвигалась, и я видел, как китайцы с плохо скрытой тревогой поглядывают то на нее, то на меня. Сейчас должно было решиться, у кого достанет разума, воли и упорства не дрогнуть перед лицом смерти.

Вот ветер налетел на шлюп. Грота-шкот натянулся, блоки затрещали, гик изогнулся, парус наполнился ветром, и «Северный олень» стал крениться все круче и круче. Вот уже в воду погрузились поручни подветренного борта, затем иллюминаторы каюты, и вода хлынула в кокпит. Шлюп накренился так сильно, что людей в каюте швырнуло вповалку на подветренную койку, они корчились там в воде, и те, кто оказался внизу, едва не захлебнулись.

А ветер все свежел, и «Северный олень» почти лег на бок. Я уже думал было, что спасения нет: еще один такой порыв — и шлюп опрокинется. Пока

я, не отпуская гота-шкот, колебался, не прекратить ли борьбу, китайцы сами запросили пощады. Их крики прозвучали для меня сладостной музыкой. Только теперь, но ни секундой раньше я привел шлюп к ветру и вытравил гота-шкот. «Северный олень» медленно выпрямился, однако сидел он так глубоко, что я слабо верил в возможность его спасти.

Китайцы ринулись в кокпит и рьяно принялись вычерпывать воду ведрами, горшками, кастрюлями — всем, что подвернулось под руку. Какое это было чудесное зрелище — вода, стекающая за борт! Наконец «Северный олень», подгоняемый ветром, вновь гордо и величественно заскользил по воде, и в самый последний миг, проскочив илистую отмель, вошел в устье реки.

*Китайцы ринулись в кокпит
и рьяно принялись вычерпывать
воду ведрами, горшками,
кастрюлями.*



Дух китайцев был сломлен, они стали такими шелковыми, что, завидев Сан-Рафаэль, сами высыпали на палубу, держа наготове швартовы, и впереди всех — Желтый Платок. Ну а что касается Джорджа, то это была его последняя облава. Такая работа ему не по нутру, объяснил он нам, куда лучше служить в какой-нибудь конторе на берегу. И мы вполне с ним согласились.

КОРОЛЬ ГРЕКОВ

Большой Алек долго не попадался в руки рыбацкому патрулю. Алек хвастливо заявлял, что никто не возьмет его живым, и прибавлял при этом, что многие пытались взять его мертвым, но безуспешно. Молва поясняла, что двое патрульных, которые пытались захватить его мертвым, сами нашли свою смерть. А между тем никто так систематически и дерзко не нарушал законов о рыбной ловле, как Большой Алек.

Его прозвали Большим Алеком за его крупную фигуру. Ростом он был шести футов трех дюймов, и в соответствии с ростом были его широкие плечи и могучая грудь. Великолепные мускулы, твердые, как сталь, дополняли его богатырскую наружность, и среди рыбаков рассказывались бесконечные истории о его необычайной силе. Он был так же дерзок и неукротим духом, как могуч телом, и благодаря этому его называли еще «королем греков».

Рыбачье население состояло главным образом из греков; они почитали Большого Алека и повиновались ему, как своему вождю. В качестве их главы он защищал и спасал их, если они попадались в лапы закона, а когда нужно было сообща бороться, — объединял их.

Рыбачий патруль не раз пытался поймать его, но все эти попытки кончались неудачно, и теперь от мысли захватить Алека окончательно отказались; поэтому, когда пронесся слух, что Большой Алек приехал в Бенишию, я очень хотел увидеть его. Но мне не пришлось гоняться за ним. Со своей обычной дерзостью первое, что он сделал по приезде, это явился сам в рыбачий патруль. Чарли Ле Грант и я служили под начальством патрульного Карминтела, и мы все трое находились на «Северном олене», готовясь к маленькому путешествию, когда Большой Алек появился на борту. Карминтел, по-видимому, знал его; при встрече они пожали друг другу руки; на меня и на Чарли Большой Алек не обратил никакого внимания.

— Я приехал сюда половить осетров месяца два, — сказал он Карминтелу. Глаза Алека при этом вызывающе блеснули.

— Хорошо, Алек, — сказал Карминтел тихим голосом, — я не стану беспокоить вас. Пойдемте в каюту, потолкуем обо всем, — добавил он.

Когда они ушли и дверь каюты закрылась за ними, Чарли многозначительно подмигнул мне. Но я был в то время еще очень юн, не знал людей и ничего не понял. Чарли не счел нужным объяснять мне, но я все же почувствовал, что происходит что-то неладное.

Оставив их совещаться, мы, по предложению Чарли, сели в нашу шлюпку и поплыли к Старой паровой пристани, где стоял ковчег Большого Алека. Ковчег — это небольшое судно, превращенное в дом, поместительный и удобный; он так же необходим рыбаку в заливе Сан-Франциско, как сети и лодки. Нам очень хотелось взглянуть на ковчег Большого Алека, так как история говорила, что он не раз служил ареной битвы и весь изрешечен пулями. Мы нашли дыры от пуль (забитые деревянными закрашенными втулками), но их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Чарли заметил мое разочарование и расхохотался; чтобы утешить меня, он тут же рассказал доподлинную историю об одной экспедиции, которая отправилась в плавающий дом Большого Алека, чтобы там захватить его живым, а в крайнем случае хотя бы мертвым. В конце концов после битвы, длившейся полдня, патрульные спаслись бегством на поврежденных лодках; у них было трое раненых и один убитый. А когда на следующее утро они вернулись с подкреплениями, они нашли только колья ковчега Большого Алека. Сам же ковчег исчез на несколько месяцев в густых Сьюисанских камышах.

— Но почему же его не повесили за убийство? — спросил я. — Соединенные Штаты, я думаю, довольно сильны для того, чтобы осуществить правосудие над таким человеком.

— Он сам отдался в руки властей и потребовал суда, — ответил Чарли. — Ему стоило пятьдесят тысяч долларов выиграть дело. Его защищали лучшие адвокаты страны. Каждый грек-рыболов внес свою долю в эту сумму. Большой Алек распределял и собирал налог, как самый настоящий король. Соединенные Штаты, может быть, и всемогущи, а все же, паренек, остается несомненным, что Большой Алек — король внутри Соединенных Штатов, король со своей страной и своими подданными.

— Ну а что вы сделаете, если он начнет теперь ловить осетров? Он будет ловить их, конечно, «китайской лесой».

Чарли пожал плечами.

— Ну, там будет видно, — произнес он загадочно.

«Китайская леса» — искусное изобретение, выдуманное народом, имя которого она носит. С помощью простой системы поплавков, грузил и якорей тысячи крючков — каждый на отдельной лесе — свешиваются над дном на высоте от шести дюймов до одного фута; главная суть здесь в крючке: он с длинным конусообразным концом, острым, как иголка. Эти крючки висят на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, и когда они, точно бахромы, тысячами свешиваются над дном на протяжении двухсот фатомов¹, то являются непреодолимым препятствием для рыбы, которая идет глубоко вниз над самым дном.

¹ Фатом — мера длины, равная 6 футам, равна 1,829 м.

Осетр, например, всегда идет у самого дна, взрывая ил точно свинья, и его часто называют «водяной свиньей». Наколовшись на первый крючок, осетр в испуге делает прыжок и насккивает на десяток других крючков. Тогда он начинает отчаянно метаться и крючки, прикрепленные к множеству отдельных лес, один за другим вонзаются в нежное мясо осетра и крепко держат несчастную рыбу, пока ее не вытащат. Ввиду того, что ни один осетр не может пройти сквозь «китайскую лесу», это изобретение в законах о рыбной ловле называется западней, а так как такой способ ловли ведет к полному истреблению осетров, он признан противозаконным. Такой-то лесой — мы были в этом уверены — и намеревался Большой Алек ловить осетров, открыто и дерзко нарушая закон.

Прошло несколько дней после визита к нам Большого Алека. Мы с Чарли все время зорко следили за ним. Он протащил на буксире свой ковчег мимо Соланской пристани в большую бухту у Тернерской верфи. Мы знали, что эта бухта — излюбленное место осетров, и не сомневались, что Король греков намерен здесь начать свою охоту. Во время приливов и отливов вода в бухте бурлила точно на мельнице, и поднять, спустить или установить «китайскую лесу» можно было только в промежуток между приливом и отливом, когда в бухте было спокойно. Поэтому мы с Чарли и решили наблюдать около этого времени за бухтой с Соланской пристани.

На четвертый день я, лежа на солнце на краю пристани, увидел шляпку, идущую к бухте. Мгновенно бинокль был у моих глаз, и я стал следить за каждым движением ялика, за каждым взмахом его весел. В ялике плыло двое, и, хотя нас разделяла добрая миля, я узнал в одном из них Большого Алека, и, прежде чем шляпка повернула к берегу, я понял, что грек поставил лесу.

— Большой Алек поставил «китайскую лесу» в бухте Тернерской верфи, — сказал в тот же день Чарли Ле Грант Карминтелу.

Выражение досады мелькнуло на лице патрульного.

— Да? — сказал он рассеянно, и это было все.

Чарли закусил губу, сдерживая раздражение, и вышел.

— А что, ты не боишься рискнуть? — обратился он ко мне в тот же вечер, когда мы кончили мыть палубу «Северного оленя» и приготавливались спать.

У меня сдавило горло от волнения, и я мог только кивнуть.

— Ну, в таком случае, — глаза Чарли заблестели решимостью, — мы с тобой притиснем Большого Алека, что бы там ни думал Карминтел. Согласен ты помочь мне? Это трудная штука, но мы справимся, — прибавил он после паузы.

— Конечно справимся! — восторженно подтвердил я.

Мы пожали друг другу руки и пошли спать.

Нелегкую задачу поставили мы себе. Чтобы обвинить человека в незаконной рыбной ловле, нужно было поймать его на месте преступления со всеми вещественными доказательствами: крючками, лесами, рыбой и тут же захватить рыболова. Значит, мы должны были захватить Большого Алека в открытых водах, где он мог легко заметить наше приближение и приготовить нам одну из тех теплых встреч, которые прославили его.

— Ничего другого тут не придумаешь, — сказал Чарли однажды утром. — Если мы сумеем подойти к нему борт о борт, силы наши будут равны; значит, у нас только одно и есть — попытаться подойти к нему борт о борт. Попробуем, паренек!

Мы были в колумбийской лодке для ловли лососей, в той самой, в которой охотились за китайскими рыбаками. Наступило затишье между приливом и отливом, и мы, обогнув Соланскую пристань, увидели Большого Алека за работой: он обходил свою лесу и выбирал рыбу.

— Поменяемся местами, — скомандовал Чарли, — правь прямо ему в корму, как будто мы идем к верфи.

Я сел за руль, а Чарли поместился на средней скамье и положил возле себя револьвер.

— Если Алек начнет стрелять, — предостерег он, — ложись на дно и правь оттуда так, чтобы высовывалась одна только рука.

Я кивнул, и мы замолчали. Лодка скользила по воде. Мы подходили к Большому Алеку ближе и ближе. Мы хорошо видели его: он вылавливал осетров и бросал их в лодку, а его товарищ очищал крючки и снова опускал их в воду. Тем не менее, когда мы были на расстоянии ярдов пятисот от них, Алек заметил нас.

— Эй, вы! Чего вам надо? — крикнул он.

— Продолжай править, будто ты ничего не слышишь, — прошептал Чарли.

Это были тревожные минуты. Рыбак пристально рассматривал нас, а мы все приближались и приближались к нему.

— Убирайтесь отсюда, если желаете себе добра! — крикнул он вдруг, точно сообразив, кто мы такие. — Если не уйдете, я покажу вам дорогу.

Он приложил винтовку к плечу и стал целиться в меня.

— Уберетесь вы теперь? — спросил он.

Я услышал, как Чарли зарычал от досады.

— Идем назад, — шепнул он. — На этот раз дело сорвалось.

Я повернул руль, отдал парус, и наша лодка сразу отошла на пять-шесть румбов¹. Большой Алек следил за нами, пока мы не отошли довольно далеко, потом вернулся к своей работе.

— Оставьте Большого Алека в покое, — сказал нам Карминтел довольно сердито в тот же вечер.

— Значит, он вам жаловался, так, что ли? — многозначительно заметил Чарли.

Карминтел покраснел.

— Говорю вам, оставьте его в покое, — повторил он. — Это опасный человек; и нам не очень-то много заплатят за преследование его.

— Да, — тихо ответил Чарли, — я слышал, будто платят гораздо лучше, если не трогать его.

¹ Румб — одно из делений на компасе (1/32 круга горизонта).

Это было прямым вызовом Карминтелу, и мы увидели по выражению его лица, что удар попал в цель. Все знали, что Большой Алек так же охотно давал взятки, как и вступал в драку, и что за последние годы почти никто из патрульных не отказывался от денег богатого рыболова.

— Вы хотите сказать... — начал Карминтел резким тоном.

Чарли оборвал его:

— Я ничего не хочу сказать. Вы слышали, что я сказал, и если на вас шапка горит...

Он пожал плечами. Карминтел молча бросил на него яростный взгляд.

— Не хватает нам выдумки и сообразительности, — сказал мне однажды Чарли, когда мы сделали попытку подкрасться к Большому Алеку на рассвете и снова были прогнаны им.

После этого в течение многих дней я ломал себе голову, пытаясь изобрести способ, с помощью которого два человека могли бы схватить третьего, хорошо владеющего винтовкой и никогда не расстающегося с ней. И это нужно было проделать в открытом море. В тихий промежуток между приливом и отливом постоянно можно было видеть Большого Алека, который средь бела дня открыто и дерзко работал со своей «китайской лесой». И было обиднее всего, что каждый рыбак от Бенишии до Валлехо прекрасно знал, как Алек смеется над нами. Карминтел тоже мешал нам, посылая нас наблюдать за рыбаками в Сан-Пабло, и мы, таким образом, могли уделить Королю греков очень немного времени. Но так как жена и дети Чарли жили в Бенишии, то мы сделали этот пункт своей штаб-квартирой и постоянно бывали там.

— Знаете, что мы должны сделать? — сказал я по прошествии нескольких бесплодных недель. — Когда Большой Алек отправится с рыбой на берег, мы захватим его лесу. Это заставит его потратить время и деньги на новую лесу, а мы постараемся придумать, как захватить вторую. Если мы не можем поймать его, будем устраивать ему, по крайней мере, всякие неприятности.

Чарли подумал и сказал, что мысль неплоха. Мы стали ждать удобного случая, и однажды, когда настало время между приливом и отливом, Большой Алек, собрав рыбу с лесы, вернулся на берег, мы вышли в залив на нашей лодке. Мы были уверены, что определим положение лесы по береговым знакам. Прилив только что начался, когда мы подплыли к тому месту, где, по нашим предположениям, находилась леса, и бросили рыбачий якорь. Мы спустили его на коротком канате, так что он едва касался дна, и медленно потащили его за собой, пока он не задержался и лодка вдруг не остановилась.

— Готово! — воскликнул Чарли. — Помоги мне вытянуть.

Вместе мы потянули веревку, пока не показался якорь, а за ним и осетровая леса, зацепившаяся за один из его рогов. Множество смертоносных крючков заблестело перед нами, когда мы освобождали якорь. Затем мы двинулись вдоль лесы, как вдруг удар по лодке заставил нас вздрогнуть. Мы оглянулись, но ничего не увидели, и снова вернулись к работе. Через мгновение раздался второй удар, и планшир между Чарли и мной разлетелся в щепки.

— Совсем похоже на пулю, парнишка,
— сказал Чарли задумчиво.



— Совсем похоже на пулю, парнишка, — сказал Чарли задумчиво. — И далеко же стреляет этот Большой Алек! Он употребляет бездымный порох, — объявил он, осмотрев берег, находившийся на расстоянии мили от нас. — Вот почему не слышно выстрела.

Я взглянул на берег, но не увидел там никаких признаков Большого Алека; очевидно, он прятался за каким-нибудь утесом, и мы были в его власти. Третья пуля со свистом пролетела над нашими головами и упала в воду.

— Пожалуй, лучше нам убраться отсюда, — хладнокровно заметил Чарли.
— Как ты думаешь, парень?

Я думал так же, как и он, и сказал, что леса совсем не нужна нам.

Мы подняли якорь и поставили парус. Стрельба прекратилась, и мы уплыли восвояси с неприятным сознанием, что Большой Алек смеется над нашим бегством.

На следующий день, когда мы были на рыболовной пристани и проверяли сети, Алек начал издеваться над нами перед толпой рыбаков. Лицо Чарли потемнело от гнева, но он пообещал только Большому Алеку посадить его в конце концов за решетку и больше ничего не отвечал на все насмешки. Король греков начал хвастаться, что ни одному патрулю не удавалось еще поймать его да никогда и не удастся, а рыбаки поддерживали его и клялись, что это истинная правда. Рыбаки от насмешек перешли к ругани, но Алек успокоил своих «подданных», и они оставили нас в покое.

Карминтел тоже смеялся над Чарли, отпускал иронические замечания и колкости. Но Чарли не подавал виду, что это злит его, хотя по секрету сказал мне, что он решил изловить Большого Алека, хотя бы ему пришлось посвятить на это дело весь остаток жизни.

— Не знаю, как это я устрою, — говорил он, — но я сделаю что хочу. Это так же верно, как то, что я Чарли Ле Грант. Не бойся, мне придет в голову хорошая мысль, когда нужно будет.

И когда стало нужно, мысль действительно пришла к нему, и совершенно неожиданно.

Прошел месяц, в течение которого мы постоянно ходили вверх и вниз по реке и по заливу по всяким поручениям, и у нас не было ни минуты, чтобы заняться нашим рыбаком; он все это время ловил рыбу «китайской лесой» в бухте Тернерской верфи. Как-то раз нас вызвали по патрульному делу в Селби на верфь, и вот тут-то нам на помощь пришел долгожданный случай. Он явился под видом беспомощной яхты, наполненной людьми, страдавшими морской болезнью, и мы с большим трудом признали в этой яхте тот благоприятный случай, которого мы все время ждали. Это была большая яхта-шлюп, находившаяся в отчаянном положении, потому что ветер переходил в шторм, а на борту ее не было ни одного настоящего моряка.

С пристани Селби мы с беспечным любопытством следили за неумелыми маневрами поставить яхту на якорь и за такими же неумелыми попытками отправить ялик к берегу. Жалкого вида человек в парусиновой грязной одежде, едва не потопив ялик в огромных волнах, бросил нам конец и вылез на берег. Он так раскачивался из стороны в сторону, точно пристань опускалась и поднималась под ним. Он рассказал нам о своих злоключениях, которые были и злоключениями яхты. На яхте был единственный опытный моряк, от которого зависели все бывшие на яхте. Он был вызван телеграммой обратно в Сан-Франциско, а они попробовали продолжать путь без него. Сильный ветер и волнение в бухте Сан-Пабло сразу сломили их



Я увидел, как Большой Алек прыгнул через борт, а его компаньон ухватился за наш бушприт. Затем раздался треск в тот момент, когда мы разбили лодку, и ряд толчков, когда она прошла под нашим дном.

энергию: все заболели морской болезнью, и никто не знает, что и как нужно делать. Они подошли к верфи, чтобы оставить здесь яхту или отыскать кого-нибудь, кто отвел бы ее в Бенишию. Коротко говоря, не знаем ли мы матросов, которые согласились бы доставить яхту в Бенишию. Чарли посмотрел на меня. «Северный олень» спокойно стоял на якоре. Мы были свободны до полуночи. При этом ветре мы легко могли дойти до Бенишии часа за два, пробыть несколько часов на берегу и вернуться с вечерним поездом в Селби на верфь.

— Хорошо, мы согласны, капитан, — сказал Чарли приунывшему туристу, грустно улыбнувшемуся при слове «капитан».

— Я только владелец яхты, — сказал он.

Мы доставили его на яхту в яликe лучше и быстрее, чем сделал это он, переправляясь с яхты на берег, и убедились собственными глазами в беспомощности пассажиров. Их было двенадцать человек мужчин и женщин, и все они так страдали, что не могли даже порадоваться нашему появлению. Яхта неистово качалась, и владелец, не успев ступить на нее, тотчас же свалился, как и все другие. Никто из них не мог ничем помочь нам, так что мне и Чарли пришлось вдвоем поставить парус и поднять якорь.

Это был тяжелый переход, хотя и недолгий. Каркинезский пролив кипел, как вулкан, и мы стремительно прошли его на фордевинде, причем большой грот во время этого отчаянного бега попеременно то опускал, то вздымал к небу свой гик¹. Но пассажиры ни на что не обращали внимания и оставались равнодушными ко всему. Двое или трое, в том числе и владелец, мелькали в кубрике, вздрагивая каждый раз, когда яхта взлетала на гребень волны или падала стремительно вниз, и бросая тоскующие взгляды на берег. Остальные растянулись на полу в каюте на подушках. Время от времени раздавался чей-нибудь стон, но многие больные лежали молча.

Когда показалась Тернерская верфь, Чарли направил яхту в бухту, так как там было спокойно. Бенишия уже виднелась перед нами; мы шли по сравнительно спокойным водам и вдруг увидели перед собой силуэт лодки, танцевавшей на волнах; лодка шла в том же направлении, что и наша яхта. Мы с Чарли переглянулись. Не было произнесено ни единого слова, но яхта вдруг начала проделывать удивительные маневры, меняя каждую минуту направление и кружась по воле ветра, как будто на руле ее сидел самый отъявленный любитель. Было на что посмотреть моряку. Казалось, будто яхта сама, без участия человека, безумно носилась по бухте. Иногда казалось, что чья-то воля делает усилия направить ее в Бенишию, но тщетно.

Владелец яхты забыл свою болезнь и со страхом смотрел на нас. Пятно лодки становилось все больше и больше, и мы разглядели, наконец, Большого Алека и его товарища с петлей осетровой лесы вокруг катушки; они, оставив

¹ Косой парус, прикрепленный сверху к гафелю, имеет снизу другое дерево, — когда парус выходит за пределы борта, — называемое гиком.



Но в это время товарищ Большого Алека приполз с бушприта на корму.

работу, смеялись над нами. Чарли надвинул на глаза свою шапку, и я последовал его примеру, хотя не мог угадать его мысли, которую он, очевидно, решил привести в исполнение.

Мы подошли к лодке так близко, что даже сквозь ветер слышали слова Большого Алека и его помощника; они ругали нас со всем презрением профессиональных моряков к любителям, особенно когда любители разыгрывают таких дураков.

Мы с грохотом пронеслись мимо рыбаков, и ничего не произошло. Чарли усмехнулся при виде разочарования, отразившегося на моем лице, и закричал:

— Стой на шкотах¹ для поворота!

Он круто повернул руль, и яхта послушно повернулась. Грот ослаб, спустился, пронесся над нашими головами вслед за гиком и с треском закрепился на бутеле². Яхта сильно накренилась, и больные пассажиры покатались по полу каюты, свалившись все в одну грудку у коек левого борта. Но у нас не было времени заниматься ими. Яхта, выполнив маневр, понеслась прямо на лодку. Я увидел, как Большой Алек прыгнул через борт, а его компаньон ухватился за наш бушприт. Затем раздался треск в тот момент, когда мы разбили лодку, и ряд толчков, когда она прошла под нашим дном.

— Конец его винтовке, — пробормотал Чарли и выскочил на палубу, чтобы посмотреть, нет ли Большого Алека где-нибудь на корме.

Ветер и волны скоро остановили наше движение вперед, и мы были отнесены к тому месту, где столкнулись с лодкой. Черная голова и смуглое лицо Алека показались на поверхности близко от нас. Ничего не подозревавший и страшно возмущенный тем, что он принимал за неловкость любителей, грек был вытасчен нами на борт. Он с трудом переводил дыхание: так глубоко пришлось ему нырнуть и так долго пришлось оставаться под водой, чтобы избежать нашего кия.

В следующий момент, к великому изумлению и ужасу владельца яхты, Чарли сидел верхом на Большом Алеке, и я помогал ему связывать Короля греков веревками. Владелец взволнованно прыгал вокруг нас и требовал объяснений. Но в это время товарищ Большого Алека приполз с бушприта на корму и со страхом заглянул через перила в кубрик. Чарли схватил его за шею, и тот растянулся на спине рядом с Большим Алеком.

— Еще веревок! — крикнул Чарли, и я поспешил притащить их. Разбитый ялик вяло покачивался неподалеку от нас; я наставил паруса, а Чарли взялся за руль и направил яхту к ему.

— Эти люди — закоренелые преступники, — объяснил Чарли рассерженному владельцу, — это дерзкие нарушители закона о рыбной ловле. Вы видели, что мы накрыли этих молодцов на их преступном деле, и вы должны приготовиться, что вас вызовут свидетелем в суд.

¹ Шкоты — снасти, предназначенные для растягивания нижних углов парусов.

² Бутель — железный обруч для связывания частей корабля.



*А в кубрике лежал крепко связанный Король греков, первый раз в жизни
попавший в руки рыбачьего патруля.*

Чарли подошел к ялику, за которым волочилась оборвавшаяся леса. Он вытащил сорок или пятьдесят футов лесы вместе с молодым осетром, прочно запутавшимся в ее острых крючках. Чарли отрезал ножом этот кусок лесы и бросил его в кубрик рядом с пленником.

— Это будет вещественным доказательством, улика номер один, — продолжал Чарли, — присмотритесь к ней хорошенько, чтобы вы могли узнать ее на суде, да запомните также место и время, где преступники были пойманы.

И затем, перестав кружить и вилять, мы с триумфом пошли прямо в Бенишию, а в кубрике лежал крепко связанный Король греков, первый раз в жизни попавший в руки рыбацкого патруля.

НАБЕГ НА УСТРИЧНЫХ ПИРАТОВ

Из всех начальников рыбацкого патруля, под командой которых нам приходилось служить в разное время, самым лучшим был Нейл Партингтон; в этом Чарли Ле Грант был, я думаю, согласен со мной.

Партингтон не был ни лгуном, ни трусом, и хотя он требовал от нас полного повиновения при исполнении его приказаний, но в то же время наши отношения были совершенно товарищескими, и он предоставлял нам такую свободу, к которой мы не всегда бывали подготовлены, как это покажет настоящий рассказ.

Семья Нейла жила в Окленде, на Нижней бухте, в шести милях по воде от Сан-Франциско. Однажды, когда мы делали рекогносцировку среди китайцев, занимавшихся ловлей креветок у мыса Педро, Партингтон получил письмо, что жена его тяжело больна, и через час «Северный олень» при свежем попутном ветре уже шел в Окленд. В Оклендском лимане мы бросили якорь, и в следующие дни, когда Нейл находился на берегу, мы с Чарли подтянули снасти, перебрали балласт, почистились — словом, привели шлюпку в порядок.

Покончив с этой работой, мы заскучали: время тянулось очень медленно. Жена Нейла была опасно больна, и нам предстояло простоять на якоре целую неделю в ожидании кризиса. Мы с Чарли разгуливали по докам, стараясь найти какое-нибудь занятие, и случайно набрали на устричную флотилию у оклендской городской пристани. По большей части это были славные оснащенные лодочки, быстроходные и прочные, и мы с небрежным видом уселись на краю пристани, чтобы рассмотреть их получше.

— Недурный улов, кажется, — сказал Чарли, указывая на груды устриц, разложенных на палубе одного из судов; устрицы были рассортированы по их величине, всего три сорта.

Разносчики со своими тележками останавливались на самом краю пристани, и из их переговоров и споров я узнал рыночную цену устриц.

— На этом судне по меньшей мере на двести долларов устриц, — высчитал я. — Интересно бы знать, сколько времени они потратили на такой улов?



— Я не пожалел бы тысячи долларов, чтобы упрятать вас в тюрьму! — воскликнул он.

— Три-четыре дня, — ответил Чарли. — Недурный заработок для двух рыбаков: по двадцать пять долларов в день на человека.

Эта лодка называлась «Призрак» и стояла прямо под нами. Команда ее состояла из двух человек. Один был приземистый, коренастый парень с необычайно длинными, точно у гориллы, руками, а другой — высокого роста, хорошо сложенный, с ясными голубыми глазами и гладкими черными волосами. Этот контраст между цветом волос и глаз был так необычен и так резко бросался в глаза, что мы с Чарли задержались на пристани дольше, чем предполагали.

И хорошо сделали. Мы увидели, как к краю пристани подошел толстый пожилой человек — по виду и костюму зажиточный купец — и остановился рядом с нами, глядя вниз на палубу «Призрака». Он, по-видимому, был чем-то рассержен, и чем дольше смотрел на судно, тем больше раздражался.

— Это мои устрицы, — произнес он наконец. — Сегодня ночью эти разбойники сделали набег на мои устричные отмели и ограбили меня.

Высокий рыбак и низенький рыбак посмотрели вверх со своей палубы.

— Алло, Тафт! — крикнул низенький человек с наглой развязностью (среди рыбаков и матросов бухты он был известен под кличкой Сороконожка, которую получил за свои длинные руки). — Алло, Тафт! — повторил он с той же развязностью. — Чего это вы там разворчались?

— Это мои устрицы, вот что я говорю. Вы украли их с моих отмелей.

— Уж больно вы умны, а, как вы думаете? — насмешливо ответил Сороконожка. — Как же вы узнаете их, ваших устриц? Что они, отмечены чем-нибудь, что ли?

— По-моему, — вмешался высокий человек, — устрицы всегда устрицы, где бы вы их ни выловили, они одинаковы во всем заливе, да и на всем свете, уж если на то пошло. Мы не желаем ссориться с вами, мистер Тафт, но и не хотим, чтобы вы оскорбляли нас, утверждая, что это ваши устрицы и что мы воры и грабители, пока вы не докажете, что это ваш товар.

— Я знаю, что это мои устрицы, — прорычал мистер Тафт, — жизнь свою прозакладываю!

— Докажите! — вызывающе сказал высокий, которого, как мы узнали после, все называли Дельфином за его замечательное умение плавать.

Мистер Тафт беспомощно пожал плечами. Разумеется, он не мог доказать, что это его устрицы, как бы он ни был в этом уверен.

— Я не пожалел бы тысячи долларов, чтобы упрятать вас в тюрьму! — воскликнул он. — И готов заплатить пятьдесят долларов за каждую вашу голову тому, кто уличит и схватит вас обоих!

Со всех лодок раздались взрывы смеха, так как другие пираты прислушались к разговору.

— Ну, устрицы стоят подороже, — язвительно заметил Дельфин.

Мистер Тафт нетерпеливо повернулся и отошел. Чарли незаметно проследил, куда он пошел, и через несколько минут, когда мистер Тафт скрылся

за углом, Чарли лениво поднялся и медленно двинулся. Я последовал за ним, и мы побрели в противоположную сторону.

— Ну, теперь скорее идем, — прошептал Чарли, когда мы скрылись из глаз устричной флотилии.

Мы немедленно переменили направление и помчались, кружа по боковым улицам, вдогонку за мистером Тафтом, пока не увидели впереди тучную фигуру.

— С ним нужно переговорить насчет вознаграждения, — объяснял Чарли, пока мы догоняли владельца устричных отмелей. — Нейл задержится здесь не меньше недели, и мы могли бы за это время заработать кое-что. Как ты скажешь?

— Хорошо, очень хорошо, — сказал мистер Тафт, когда Чарли представился и объяснил ему свой план. — Эти грабители ежегодно обкрадывают меня на тысячи долларов, и я готов заплатить какую угодно цену, лишь бы избавиться от них; да, сэр, какую угодно. Как я сказал, я дам вам по пятидесяти долларов за каждого и буду считать, что и это еще дешево. Они ограбили мои отмели, сорвали значки, терроризировали моих сторожей, а в прошлом году убили одного из них. Доказать это я не мог. Улик против них не было. Все было сделано темной ночью. Сыщики ничего не нашли. Никто не может ничего поделать с этими людьми; нам ни разу не удалось задержать хоть одного из них. И я говорю теперь, мистер, — как, вы сказали, ваша фамилия?

— Ле Грант, — ответил Чарли.

— Так вот, я и говорю, мистер Ле Грант, я очень буду обязан вам за помощь, которую вы мне предлагаете. И буду рад, очень рад всячески содействовать вам. Мои сторожа и лодка в вашем распоряжении. Вы можете всегда найти меня в Сан-Франциско в моей конторе или протелефонировать туда за мой счет. Я вообще покрою ваши издержки, если, разумеется, они будут потребны и необходимы. Положение стало отчаянным, необходимо принять решительные меры и выяснить, наконец, кому принадлежат устричные отмели: мне или этой шайке разбойников?

— Теперь отправимся к Нейлу, — сказал Чарли, когда мы проводили мистера Тафта на поезд в Сан-Франциско.

Нейл Партингтон не только ничего не стал возражать против этого предприятия, но, напротив, выразил готовность помочь нам. Ни я, ни Чарли ничего не знали об устричном промысле, а голова Нейла была настоящей энциклопедией по этой части. Он повел нас к одному греку, юноше лет семнадцати или восемнадцати, который досконально знал приемы устричных пиратов.

Считаю нужным пояснить, что мы с Чарли были в патруле на положении добровольцев, тогда как Нейл Партингтон считался штатным патрульным и получал определенное жалованье. Чарли и я были как бы его сверхштатными помощниками и получали только то, что зарабатывали, то есть известный процент со штрафов, налагавшихся на уличенных нами нарушителей законов о рыбной ловле. Таким образом, мы считали, что имеем право на всякое случайно подвернувшееся вознаграждение. Мы предложили Партингтону поделиться с ним тем, что получим от мистера Тафта, но патрульный и слышать не хотел об этом.

Он заявил, что очень рад оказать услугу людям, которые хорошо и много помогали ему.

Устроив нечто вроде военного совета, мы выработали следующий план действий.

Нас почти никто не знал в Нижней бухте, но «Северный олень» был всем известен как патрульное судно, и мы решили поэтому, что я вместе с молодым греком Николасом отправлюсь на каком-нибудь невинного вида суденышке к острову Аспаргус и присоединюсь к флотилии устричных пиратов. Там, судя по описанию Николаса, мы легко могли накрыть пиратов во время поимки устриц и арестовать их. Чарли же должен был остаться на берегу со сторожами мистера Тафта и нарядом полицейских, чтобы в нужную минуту прийти нам на помощь.

— Я знаю, где есть подходящая лодка, — сказал

Нейл в конце нашего совещания. — Старый, негодный шлюп, он стоит теперь в Тибулоне. Вы с Николасом можете переправиться туда на пароме, нанять его за какие-нибудь гроши и плыть прямо к отмелям.

— Желаю вам успеха, — сказал он через два дня, прощаясь с нами. — Помните только — это опасные люди, будьте осторожны.

Мы заарендовали шлюп очень дешево. Он оказался еще невзрачнее и хуже, чем нам его описывали. Это было большое плоскодонное судно с четырехугольной кормой, оснащенное, как шлюп, с треснувшей мачтой, никуда не годным такелажем¹ и ржавым приводом; оно было очень неповоротливо и плохо



Николас.

¹ Такелаж — вся корабельная оснастка.

слушалось руля; от него отвратительно пахло угольной смолой, так как все оно было вымазано этим вонючим составом от носа до кормы и от крыши каюты до киля. Во всю длину каждого борта тянулась большими буквами надпись «Каменноугольная смола Мэгги». Наш переход от Тибурона до Аспарагуса был спокоен и очень забавен. Мы все время смеялись.

К острову подошли на следующий день. Флотилия устричных пиратов — около дюжины судов — стояла на якоре у так называемых «Заброшенных отмелей». «Каменноугольная смола Мэгги», подгоняемая легким ветерком, медленно вошла в середину флотилии, и все пираты высыпали на палубу, чтобы посмотреть на нас. Мы с Николасом, хорошо ознакомившись за время путешествия с нашим ветхим корветом¹, управляли им самым неуклюжим образом.

— Что это такое? — спросил кто-то из пиратов.

— А попробуй-ка, угадай, ну, как ты думаешь, назови-ка, если можешь, — отозвался другой.

— Будь я проклят, если это не сам Ноев ковчег! — воскликнул Сороконожка с палубы «Призрака».

— Эй, кто у вас капитан? — крикнул другой шутник. — Откуда вы, из какого порта?

Мы не обращали внимания на шутки и продолжали править с ловкостью самых зеленых новичков, притворяясь, что «Каменноугольная смола Мэгги» требует всего нашего внимания. Я повернул ее к ветру и поставил повыше «Призрака», а Николас побежал вперед, чтобы спустить якорь. Он сделал это, так должно было казаться, очень неумело, потому что цепь запуталась, и якорь не достал до дна.

Мы с Николасом изобразили ужасное волнение, стараясь распутать цепь. Мы обманули ловко пиратов, и они принялись издеваться над нашей неловкостью.

Цепь не желала распутываться, и мы, осыпаемые насмешками и всевозможными язвительными советами, стали дрейфовать, пока не наскочили на «Призрака»; его бушприт проткнул наш грот, оставив в нем дыру величиной с ворота. Сороконожка и Дельфин корчились от смеха, нисколько не намереваясь оказать нам помощь в беде. После долгих усилий нам, наконец, удалось распутать якорную цепь, и мы отдали около трехсот футов ее. Под нами было не больше десяти футов глубины, и длина каната давала «Каменноугольной смоле Мэгги» возможность передвигаться по кругу в шестьсот футов в диаметре; в этом кругу она могла прийти в соприкосновение по меньшей мере с половиной флотилии.

Устричные пираты стояли близко друг от друга на коротких канатах, так как погода была тихая. Они громко запротестовали, видя, что мы выбросили длинную якорную цепь по нашему невежеству. И они заставили нас подобрать цепь и выбросить только тридцать футов ее.

¹ Корвет — старинное военное трехмачтовое судно.

Таким образом, убедив их в своей глупости и неловкости, мы спустились вниз, чтобы поздравить друг друга и приготовить ужин. Только что мы закончили нашу еду и принялись мыть посуду, как к борту «Каменноугольной смолы Мэгги» подошел ялик и на палубе раздались тяжелые шаги. Затем в двери показалось грубое лицо Сороконожки, и он вошел в каюту в сопровождении Дельфина. Не успели они сесть, к борту подошел другой ялик, а за ним еще и еще, пока, наконец, в нашей каюте не собрались представители всей флотилии.

— Где это вы стянули такую старую посудину? — спросил приземистый волосатый человек с острыми, злыми глазами, с резкими чертами мексиканца.

— Мы ее не стянули, — ответил Николас, стараясь своим ленивым возражением укрепить предположение, что мы действительно украли «Каменноугольную смолу Мэгги». — А если бы стянули, что из того?

— Мне-то все равно, я не восхищаюсь вашим вкусом — вот и все, — насмешливо ответил мексиканец. — Я лучше сгнил бы на берегу, чем взял такую лохань. Ее, верно, и не повернешь никак.

— А как нам было знать это, покуда мы ее не испробовали? — спросил Николас так невинно, что это вызвало новый взрыв смеха. — А как вы ловите устриц? — поспешно спросил он. — Нам их нужно много — для них-то мы и забрались сюда.

— А на что они вам? — спросил Дельфин.

— На то, чтобы приятелям раздавать, разумеется, — ехидно ответил Николас, — ведь и вы так делаете, конечно.

Новый взрыв смеха. Наши гости становились все веселее, а мы все больше убеждались, что у них нет ни малейшего подозрения относительно нас и наших намерений.

— Не тебя ли я видел в Оклендских доках? — спросил меня вдруг Сороконожка.

— Да, — смело ответил я, решив идти напролом. — Я тогда сидел, смотрел на вас и соображал, стоит нам заняться устрицами или нет. И решил, что это выгодное дело. Вот мы и явились сюда. Конечно, — поспешно добавил я, — если вы не возражаете.

— Я скажу вам одно, — ответил Сороконожка, — придется вам раздобыть себе судно получше этого. Мы не желаем срамиться с таким ящиком. Поняли?

— Понял, — ответил я. — Как только продадим устрицы, сейчас же найдем другое суденышко.

— А если вы окажетесь подходящими партнерами, — продолжал он, — что же, работайте с нами. Но если нет (в голосе его послышалась угроза), ну, тогда придется вам пережить плохие деньки. Поняли?

— Конечно, — ответил я.

После таких советов и предупреждений разговор сделался общим, и мы узнали, что в эту же ночь предполагается совершить набег на отмели. Гости просидели у нас около часа и, когда садились в лодки, предложили нам принять участие в набеге, так как «чем больше народа, тем веселее».

— Заметил ты этого низенького малого, что похож на мексиканца? — спросил Николас, когда они отчалили. — Это Берчи из «Спортивной банды», а тот, который приплыл в его лодке, — Скиллинг. Они оба выпущены из тюрьмы под залог в пять тысяч долларов.

Я много слышал о «Спортивной банде». Это был отряд хулиганов и преступников, которые терроризировали нижние кварталы Окленда. Две трети этой шайки постоянно пребывали в государственных тюрьмах за разные преступления, начиная с лжесвидетельства и мошенничества при выборах и кончая убийством.

— Они не всегда занимаются устричной ловлей, — продолжал Николас. — Они торчат здесь, чтобы поозорничать да, кстати, подработать пока несколько долларов. Нам нужно следить за ними.

Мы сидели в кубрике, обсуждая подробности нашего плана, как вдруг около одиннадцати часов со стороны «Призрака» до нас донесся шум весел. Мы подтянули наш ялик, бросили в него несколько мешков и направились к «Призраку». Все ялики находились в сборе, так как решено было сделать набег сообща.

Я был очень удивлен, увидев, что глубина воды едва достигала одного фута, а когда мы бросали якорь в этом месте, было не менее десяти футов глубины. Это был большой июньский отлив во время полнолуния, и так как он должен был продолжаться еще полтора часа, то можно было ожидать, что место, где мы стояли на якоре, под конец совсем высохнет.

Отмели мистера Тафта находились в трех милях от места нашей стоянки, и мы долго гребли в полном молчании вслед за другими лодками. Время от времени наша лодка садилась на мель, весла почти непрерывно задевали дно. Наконец мы вошли в полосу мягкой тины, которую вода покрывала на каких-нибудь два дюйма. Дальше лодки не могли идти. Пираты выскочили и потащили волоком свои плоскодонные ялики. Мы двинулись вслед за ними.

Круглая луна временами скрывалась за быстро бегущими облаками, но наши спутники двигались с уверенностью, выработанной долгой практикой. Полоса тины тянулась приблизительно с полмили, затем мы вошли в глубокий канал и снова сели в лодки. По обеим сторонам пролива тянулись отмели; на них виднелись груды мертвых устриц. Наконец мы достигли места, где собирали устриц. Два сторожа на одной из отмелей окликнули нас и приказали нам удалиться. Но Сороконожка, Дельфин, Берчи и Спиллинг все же двинулись вперед, за ними последовали все остальные, и, таким образом, тридцать человек, занимавших по меньшей мере пятнадцать лодок, стали грести прямо на сторожей.

— Эй, убирайтесь-ка лучше отсюда, — угрожающе крикнул Берчи, — или мы поделаем столько дыр в ваших лодках, что они и в патоке потонут.

Сторожа отступили перед такой бандой и направились по каналу к берегу. Ничего другого от них и не требовалось.

Мы вытащили лодки на край большой отмели, рассыпались во все стороны и стали собирать устриц в мешки. Луна по временам выходила из-за облаков, и тогда мы совершенно ясно видели перед собой множество больших устриц.

Когда мешки наполнялись, их относили в лодки и брали оттуда другие. Мы с Николасом часто в тревоге возвращались к лодке с полупустыми мешками, но всегда натыкались на какого-нибудь пирата, который относил полный мешок или возвращался с пустым.



Пираты выскочили и потащили волоком свои плоскдонные ялики.

— Не беспокойтесь, — сказал Николас, — торопиться нечего. Они будут уходить все дальше и дальше; им скоро потребуется очень много времени, чтобы доносить мешки до лодок. Тогда они начнут ставить наполненные мешки стоймя на краю отмелей, чтобы собрать их во время прилива, когда можно будет подойти на яликах.

Прошло полчаса и прилив уже начинался, когда вдруг произошло следующее. Оставив пиратов за работой, мы украдкой вернулись к лодкам; одну за другой мы бесшумно оттолкнули их от берега и связали все вместе в одну нескладную флотилию. Как раз когда мы сталкивали последнюю лодку, нашу собственную, подошел один из хищников. Это был Берчи. Он моментально сообразил, в чем дело, и кинулся на нас, но мы сильно оттолкнулись, и он очутился в воде, которая покрыла его с головой. Выбравшись снова на отмель, он тотчас же поднял крик, предупреждая товарищей об опасности.

Мы гребли изо всех сил, но флотилия, которую мы тащили за собой, сильно замедляла движение. С отмели донесся револьверный выстрел, за ним второй и третий; затем начался правильный обстрел. Пули шлепались вокруг нас. Но густые облака закрыли луну, и в наступившей темноте стрельба продолжалась уже наугад. В нас могли попасть только случайно.

— Хорошо бы теперь очутиться на паровом катере, — сказал я.

— А еще бы лучше, если бы луна больше не показывалась, — ответил мне, задыхаясь, Николас.

Это была трудная и медлительная работа, но каждый взмах весел отдалял нас от отмели и приближал к берегу, пока, наконец, стрельба не замерла вдали. И когда луна выплыла снова, мы были вне опасности. Нас окликнули с берега, и две полицейские лодки с тремя гребцами в каждой подошли к нам. Чарли улыбался нам; он пожимал нам руки, восклицая:

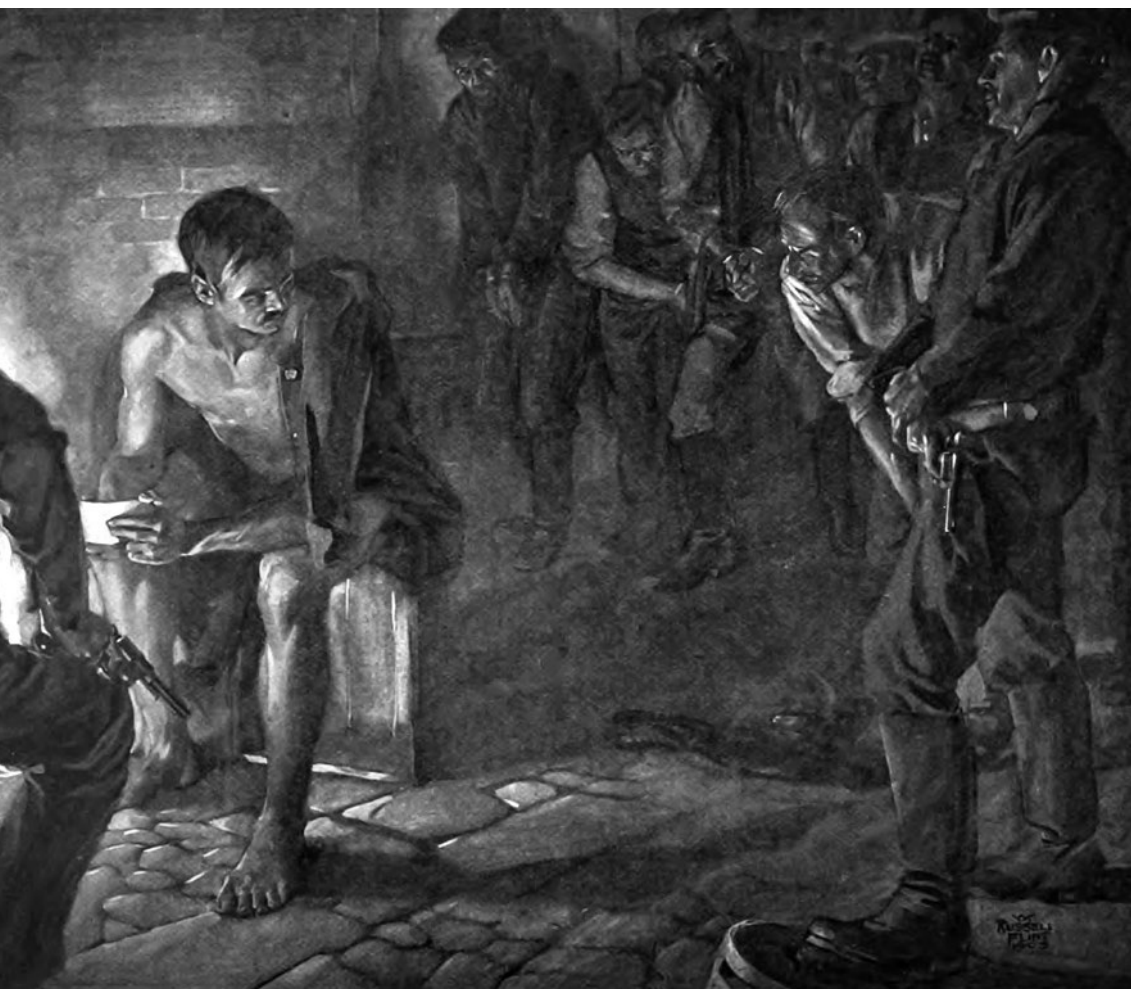
— Вот так молодцы! Молодцы оба!

Когда флотилия причалила к берегу, мы с Николасом и одним из сторожей пересели на весла в одну из полицейских лодок, а Чарли стал у руля. Две другие лодки следовали за нами, и так как луна светила теперь очень ярко, то мы легко разыскали пиратов на отмелях. Как только мы приблизились, они открыли стрельбу из своих револьверов, и мы быстро отступили.

— У нас много времени, — сказал Чарли. — Вода быстро прибывает, и когда она дойдет им до шеи, им не захочется стрелять больше.

Мы сидели на веслах, ожидая, чтобы прилив сделал свое дело. После большого отлива вода стремительно бежала обратно, и самый лучший пловец не одолел бы против течения трех миль, которые отделяли пиратов от их шлюпок, а между ними и берегом были мы, преграждая бегство в этом направлении. Вода быстро заливала отмели и через несколько часов должна была покрыть с головой всех оставшихся на отмелях. Ночь была поразительно тихая, и луна светила





А там у огня уже сидел Дельфин с кружкой дымящегося кофе в руках.

ровным светом. Мы наблюдали за пиратами в бинокль и рассказывали Чарли о нашем плавании на «Каменноугольной смоле Мэгги». Наступил час, затем два часа ночи, пираты столпились на самой высокой отмели, стоя по пояс в воде.

— Вот доказательство, как важна сообразительность, — говорил Чарли. — Тафт целые годы старался поймать пиратов, но он шел на них открыто, грубой силой, и терпел неудачу. А вот мы — поломали головы...

В эту минуту я различил едва слышный плеск воды и поднял руку в знак молчания. Обернувшись, я указал товарищам на круги, медленно расходившиеся по воде футах в пятидесяти от нас. Мы ждали, затаив дыхание. Через минуту вода в шести футах от нас расступилась, и на поверхности в лунном свете показались черная голова и белое плечо. Послышался звук, как будто человек

не то фыркнул от удивления, не то просто с шумом выпустил дыхание, затем голова и плечо скрылись.

— Это Дельфин, — сказал Николас. — Его и днем-то не поймаешь.

Около трех часов пираты подали первые признаки своей слабости. Мы услышали крик о помощи и безошибочно узнали голос Сороконожки. На этот раз, когда мы приблизились, мы уже не были обстреляны. Сороконожка действительно находился в опасном положении. Над водой поднимались головы и плечи его товарищей-пиратов, которые связались вместе, чтобы лучше устоять против течения, но ноги Сороконожки не доставали до дна, так что товарищи должны были поддерживать его над водой.

— Ну, ребята, — весело сказал Чарли. — Теперь мы держим вас, уйти вам некуда. Если вы будете сопротивляться, мы вас оставим здесь и скоро вам будет какую. Но если вы будете вести себя хорошо, мы переведем вас поодиночке на борт и спасем всех. Что вы на это скажете?

— Скажем «да», — ответили они хором, выбивая зубами мелкую дробь.

— Подходите поодиночке; первым пусть идет самый малорослый.

Первым попал на борт Сороконожка, и он полез в лодку очень охотно, хотя считал нужным запротестовать, когда констебль надел на него наручники. Вслед за ним подняли Берчи, совершенно размякшего и смирившегося после долгого сидения в воде. Когда в нашу лодку набралось десять человек, мы отошли, и вслед за нами стала нагружаться вторая лодка. Третьей лодке досталось девять пленников. Оказалось, что мы захватили двадцать девять пиратов.

— А Дельфина-то не поймали, — сказал Сороконожка с торжеством, словно побег его товарища уменьшал цену нашей победы.

Чарли рассмеялся:

— Да, не поймали, но видели, как он фыркал и пыхтел, точно свинья, когда плыл к берегу.

Мы привели в устричный домик смиренную и дрожащую от холода банду хищников. На стук Чарли дверь распахнулась, и нас обдало приятной волной теплого воздуха.

— Вы можете здесь высушить свое платье и выпить горячего кофе, — сказал Чарли, когда все пираты вошли в дом.

А там у огня уже сидел Дельфин с кружкой дымящегося кофе в руках. Мы с Николасом одновременно посмотрели на Чарли. Он расхохотался.

— Тоже помогла хитрость, — сказал он, — хитрость и сообразительность. Уж если ты взялся что-нибудь разглядывать, так разгляди со всех сторон, а то и смотреть не стоит. Я осмотрел берег и оставил там двух констеблей. Вот и вся штука.

ОСАДА «ЛАНКАШИРСКОЙ КОРОЛЕВЫ»

Возможно, что самым отчаянным приключением за все время нашей службы в рыбачьем патруле была та осада большого четырехмачтового судна, которую я и Чарли Ле Грант вели в течение двух недель.

Дело это представляло нелегкую задачу; только по счастливой случайности удалось нам найти способ ее решить, приведя дело к счастливому концу.

После набега на устричных пиратов мы вернулись в Окленд. Прошло еще две недели, прежде чем жена Нейла Партингтона оказалась вне опасности и начала выздоравливать. Таким образом, мы только после месячного отсутствия повернули нос «Северного оленя» к Бенишии. Когда кошка отлучается, мыши решаются пошалить; за четыре недели нашего отсутствия рыбаки привыкли с особенной дерзостью нарушать законы о рыбной ловле. Обогнув мыс Педро, мы заметили, что ловцы креветок работают усердно, а войдя в залив Сан-Пабло, увидели в Верхней бухте широко раскинувшуюся флотилию рыбачьих лодок. Рыбаки, завидев нас, стали торопливо вытаскивать сети и поднимать паруса.

Это одно уже было подозрительно, и мы тотчас же пустились вслед за ними. Действительно, на первой и единственной лодке, которую нам удалось поймать, мы нашли незаконную сеть. По закону в сетях для ловли сельдей расстояние между петлями должно быть не меньше семи с половиной дюймов от узла до узла, а в захваченной нами сети расстояние между петлями было не больше трех дюймов. Это было явное нарушение закона, и мы задержали обоих рыбаков. Одного Нейл Партингтон взял с собой, чтобы тот помогал ему управлять «Северным оленем», а ко второму рыбаку мы с Чарли перешли в захваченную лодку.

Флотилия мчалась на всех парусах к Петалумскому берегу, и за весь остальной путь по заливу Сан-Пабло мы не встретили ни одного рыбака. Наш пленник — бронзовый от загара бородатый грек — мрачно сидел на своей сети, в то время как мы правили его судном. Это была новая лодка с реки Колумбии для ловли лососей; она, по-видимому, совершала свой первый рейс и шла вели-

колепно. Чарли похвалил судно, но наш пленник продолжал утрюмо молчать, делая вид, что не обращает на нас никакого внимания, и мы вскоре пришли к заключению, что это на редкость необщительный малый.

Мы прошли Каркинезский пролив и зашли в бухту у Тернерской верфи, где вода была значительно спокойнее. Там стояло несколько английских парусных судов, ожидавших груза пшеницы, и там же, на том самом месте, где был захвачен Большой Алек, мы неожиданно наткнулись на ялик с двумя итальянцами; у них оказалась вполне оборудованная «китайская леса» для ловли осетров. Это явилось полной неожиданностью как для нас, так и для них; мы налетели на их ялик прежде, чем они успели что-нибудь сообразить. Чарли едва успел вовремя привести лодку к ветру, чтобы подойти к ним. Я же побежал на нос, бросил им конец и приказал закрепить его.

Чарли пошел вперед, чтобы перевести добычу в нашу лодку, но, когда я начал подтягивать ялик к борту, итальянцы отпустили конец. Нас тотчас же стало относить, между тем как они, схватившись за две пары весел, погнали свое легкое суденышко против ветра. Этот маневр привел нас в некоторое замешательство: мы не могли рассчитывать догнать их на своей тяжелой и сильно нагруженной лодке. Но тут неожиданную помощь оказал наш пленник. Его черные глаза вдруг засверкали, а лицо загорелось от сдерживаемого возбуждения; он одним прыжком очутился на носу и поставил парус.

— Я слышал, что греки ненавидят итальянцев, — смеясь, сказал Чарли, направляясь к рулю.

Никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы один человек так страстно желал поймать другого, как это было с нашим пленником во время погони за яликом итальянцев. Глаза его метали искры, ноздри трепетали и расширялись. Чарли правил рулем, а он парусом; и хотя Чарли был проворен и ловок, как кошка, грек едва сдерживал свое нетерпение.

Итальянцы были отрезаны от берега; ближайшее расстояние до него равнялось доброй миле. Если бы итальянцы попытались направиться к берегу, то мы, идя под полным ветром, догнали бы их прежде, чем они успели бы пройти одну восьмую этого расстояния. Но они были слишком умны, чтобы сделать подобную попытку, и продолжали грести изо всех сил против ветра вдоль правого борта большого корабля «Ланкаширская королева». За судном находилась открытая полоса воды, отделенная от берега двумя милями; туда они также не решались войти, потому что мы нагнали бы их прежде, чем они прошли бы это расстояние. Поэтому, когда они очутились у носа «Ланкаширской королевы», им оставалось только обойти ее и пойти вдоль другой стороны судна к корме, что опять-таки значило пойти по ветру и дать нам таким образом преимущество.

Мы же на своей лодке для ловли лососей, держа круто к ветру, повернули оверштаг¹ и срезали нос кораблю. Затем Чарли повернул руль и направил нашу лодку вдоль левого борта корабля, а грек, распустив шкот, осклабился от удо-

¹ Оверштаг — морской термин, поворот корабля против ветра.



Они осыпали нас и итальянцев шутками и советами.

вольствия. Итальянцы успели пройти половину длины корабля, но сильный ветер подгонял нас сзади гораздо быстрее, чем они могли двигаться на веслах. Мы настигали их, и я, лежа на носу, уже готовился схватить ялик, как вдруг он совершенно неожиданно юркнул под огромную корму «Ланкаширской королевы».

Погоня вернулась к своему началу. Итальянцы гребли вдоль правого борта корабля, а мы медленно продвигались вслед за ними, борясь против ветра. Затем они снова обогнули нос и начали грести вдоль левого борта, а мы перешли на другой галс, срезали нос и погнались за ними по ветру. И снова, как только я нацелился, чтобы зацепить ялик, он увернулся под корму судна и таким образом опять очутился вне опасности. Мы продолжали делать круг за кругом, и каждый раз ялик в последнюю минуту спасался, исчезая за кормой.

Судовая команда заметила, что происходит что-то необыкновенное, и мы увидели над собой целый ряд голов, смотревших через борт на наше состязание. Всякий раз, как ялик ускользал от нас под корму, они издавали радостные крики одобрения и перебегали на другую сторону «Ланкаширской королевы», чтобы следить, как будет идти погоня против ветра. Они осыпали нас и итальянцев шутками и советами и так разозлили нашего грека, что он каждый раз, проходя мимо, поднимал кулак и яростно грозил команде. Они приветствовали его жест шумным весельем.

— Точно цирк! — воскликнул кто-то.

— А еще спорят о морских ипподромах; хотел бы я знать, чем это не ипподром, — подтвердил другой.

— Шестидневные бега! Пожалуйте! — объявил третий. — Кто держит пари за итальянцев?

На следующем галсе против ветра грек предложил Чарли поменяться местами.

— Пустите меня править лодкой, — попросил он, — я догоню их, поймаю их, даю слово!

Это был удар профессиональной чести Чарли, так как он очень гордился умением управлять парусной лодкой, он все же передал руль пленнику и занял его место у паруса. Мы сделали еще три круга, и грек убедился, что не может достигнуть на этом судне большей скорости, чем Чарли.

— Бросьте-ка лучше это дело, — посоветовал сверху один из матросов.

Грек свирепо нахмурил брови и, по обыкновению, погрозил кулаком. Тем временем умишко мой тоже не оставался праздным, и я в конце концов выработал свой план.

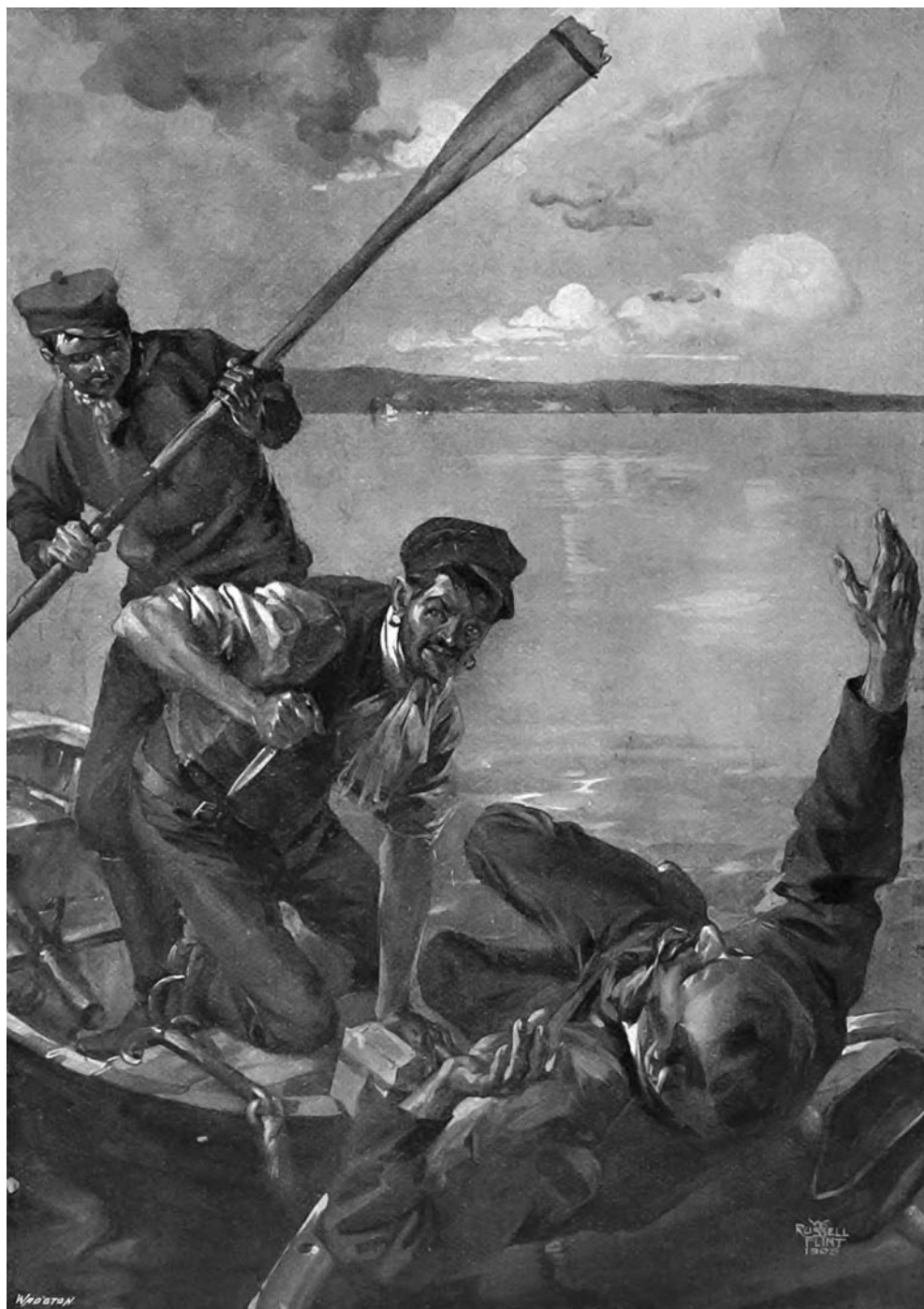
— Сделаем еще один круг, Чарли, — сказал я.

И когда мы снова пошли против ветра, я прикрепил к канату небольшой крюк — кошку, как его называют матросы. Другой конец каната я привязал к концу на носу и, устроив кошку так, что ее не было видно, стал ждать удобного случая, чтобы воспользоваться ею. Еще раз пошли они вдоль левого борта «Ланкаширской королевы», и мы погнались за ними, подгоняемые ветром. Мы все больше нагоняли ялик, и я притворился, что хочу поймать его так же, как раньше. Корма ялика была меньше чем в шести футах от нас, и итальянцы вызывающе смеялись, собираясь снова юркнуть под корму корабля. Но в эту минуту я неожиданно выпрямился и бросил крюк. Он вцепился в борт ялика, канат натянулся, и наше судно приблизилось.

Наверху среди столпившихся моряков раздались возгласы сожаления, которые сменились ликованием, когда один из итальянцев, вынув длинный складной нож, перерезал канат. Но мы уже успели оттянуть их с безопасного места. Чарли перегнулся и ухватил ялик за корму. Все это произошло в одну секунду: в тот момент, когда первый итальянец перерезал веревку, а Чарли уцепился за корму, второй итальянец ударил Чарли веслом по голове. Чарли выпустил ялик и без чувств упал на дно лодки, оглушенный ударом. А итальянцы налегли на весла и снова ускользнули под корму судна.

Грек стал у руля и, управляя в то же время парусом, пустился в погоню за итальянцами вокруг «Ланкаширской королевы», а я занялся Чарли, на голове которого быстро выростала огромная шишка. Наши зрители — матросы — были в диком восторге, и все, как один человек, приветствовали удиравших итальянцев. Чарли сел, держась одной рукой за голову и тупо оглядываясь кругом.

— Ну, теперь уж им не уйти, — сказал он, вытаскивая свой револьвер.



*Чарли уцепился за корму, второй итальянец ударил Чарли веслом по голове.
Чарли выпустил ялик и без чувств упал на дно лодки, оглушенный ударом.*



— Остановитесь, или я буду стрелять! — угрожающе крикнул Чарли.

Когда мы делали следующий круг, он пригрозил итальянцам оружием, но они упорно продолжали грести, не обращая на угрозу никакого внимания.

— Остановитесь, или я буду стрелять! — угрожающе крикнул Чарли.

Но и это не произвело никакого впечатления. Итальянцы не испугались и тогда, когда Чарли дал несколько выстрелов, едва не задев их. Но, разумеется, нельзя было думать, что он станет убивать безоружных людей; итальянцы знали это так же хорошо, как и мы. Поэтому они продолжали упрямо снова и снова уходить от нас и кружиться вокруг судна.

— Хорошо же, мы закрутим их! — воскликнул Чарли. — Посмотрим, надолго ли у них хватит сил.

Охота продолжалась. Раз двадцать обогнули мы «Ланкаширскую королеву» и наконец заметили, что даже железные мускулы итальянцев начинают уставать. Вопрос был в нескольких кругах, как вдруг игра приняла новый оборот. Пока погоня шла против ветра, итальянцам удавалось обычно выиграть большое расстояние у нас, так что ялик обыкновенно находился уже у середины подветренного борта, когда мы огибали нос судна. Но в этот последний раз, огибая нос, мы увидели, что итальянцы быстро поднимаются по трапу, который им мгновенно спустили с судна. Это было организовано матросами, очевидно с согласия капитана. Когда мы подошли к тому месту, где итальянцы были взяты на борт, трап был уже поднят, а ялик качался на судовых баканцах¹ и был для нас недосягаем.

Разговор, который произошел с капитаном, был короток и резок. Капитан категорически запретил нам взойти на борт «Ланкаширской королевы» и отказался выдать двух рыбаков. К этому времени Чарли так же разъярился, как и наш грек. Он не только испытал в этой долгой и смешной погоне полный провал, но вдобавок еще был побит до потери сознания людьми, которые улизнули от него.

— Голову свою даю на отсечение, — горячо заявил он, всаживая кулак одной руки в ладонь другой, — что этим парням не удастся ускользнуть от меня! Я останусь стеречь их здесь, хотя бы мне пришлось прождать их до конца положенного мне естественного срока моей жизни, а если не поймаю, то обещаю прожить неестественно долго, пока не сцапаю их, не будь я Чарли Ле Грант!

Затем началась осада «Ланкаширской королевы», осада, памятная в анналах рыбаков и рыбацкого патруля.

Когда «Северный олень», отказавшись от бесплодного преследования рыбацкой флотилии, подошел к нам, Чарли поручил Партингтону прислать его собственную лодку с одеялами, провизией и рыбацкой угольной печкой. На закате мы обменялись лодками и распрощались с нашим греком; он должен был отправиться в Бенишию и сесть в тюрьму за собственный проступок: за незаконную рыбную ловлю. После ужина мы с Чарли распределили свои дежурства — по четыре часа до рассвета. В эту ночь рыбаки не делали попыток

¹ Баканцы — места на судне для закрепления шлюпок.

к бегству, хотя с «Ланкаширской королевы» была спущена шлюпка — по-видимому, для разведки.

На следующий день мы увидели, что нам придется вести правильную осаду, и усовершенствовали наши планы, принимая во внимание свое удобное положение. Док вблизи Бенишии, известный под именем Соланской пристани, сослужил нам хорошую службу. Оказалось, что «Ланкаширская королева», берег Тернерской верфи и Соланская пристань занимают вершины трех углов большого равностороннего треугольника. Расстояние от «Ланкаширской королевы» до берега, то есть сторона, по которой только и могли бежать итальянцы, равнялась стороне треугольника от Соланской пристани до берега, и это расстояние нам нужно было пройти скорее итальянцев и достигнуть берега раньше их. Но так как мы на парусах двигались значительно быстрее, чем они на веслах, то мы могли позволить им пройти половину их стороны треугольника, прежде чем погнаться за ними. Если бы мы дали им пройти больше половины этого расстояния, то они достигли бы берега раньше нас, а если бы мы тронулись в путь прежде, чем итальянцы дошли до середины этой линии, то они успели бы спастись назад на судно.

Мы определили, что воображаемая линия, проведенная от конца пристани до ветряной мельницы на берегу, перерезает как раз пополам ту сторону треугольника, по которой должны были бежать на берег итальянцы. Эта линия давала нам возможность определить, до какого пункта мы могли позволить доплыть нашим итальянцам, прежде чем начать преследовать их. День за днем мы следили в бинокль, как они не спеша гребли по направлению к пункту на полпути, и когда они становились на одну линию с мельницей, мы тотчас же бросались в лодку и наставляли паруса. При виде наших приготовлений они поворачивали и медленно плыли назад к «Ланкаширской королеве», зная, что мы не могли догнать их.

Чтобы обеспечить себя на случай штиля, когда наше парусное судно было бы бесполезно, мы держали наготове легкий ялик с веслами. Но в те дни, когда наступал штиль, мы должны были отчаливать в то же мгновение, как отчаливали итальянцы. Ночью необходимо было стоять вблизи «Ланкаширской королевы» и неотступно следить за итальянцами, что мы и делали с Чарли. Однако итальянцы предпочитали, видимо, для своих вылазок дневное время, и наши ночные бдения были напрасны.

— Меня больше всего бесит, — говорил Чарли, — что мы не можем честно отдохнуть в своих постелях, а эти плуты и мошенники спокойно спят по ночам. Но они мне заплатят за это, — угрожал он. — Я продержу их на этом судне, пока капитан не потребует с них за стол и помещение. Это так же верно, как то, что осетр не треска.

Мы терзались над разрешением задачи. Пока мы бодрствовали, итальянцы не могли убежать, но, с другой стороны, мы не могли поймать их, пока они были осторожны. Чарли непрерывно ломал себе голову над этим, но сообразительность на этот раз изменила ему. Задача могла быть, по-видимому, решена только



— Когда люди начинают браниться, значит, они теряют терпение.

терпением. Это была игра в ожидание: кто сумеет дольше ждать, тот и выиграет. Прибавилась к тому еще одна причина для усиления нашего бешенства: мы увидели, что друзья наших итальянцев установили целую сигнализацию, при помощи которой они переговаривались с ними с берега. Таким образом, мы ни на минуту не могли ослабить осаду. Кроме того, вокруг Соланской пристани всегда разгуливали два-три подозрительных рыбака, следивших за всем, что мы делали. Нам не оставалось ничего иного, как «сжать зубы и терпеть», как сказал Чарли, а между тем осада эта отнимала у нас время и не давала возможности заняться чем-нибудь другим.

Дни шли, а положение не менялось, хотя итальянцы и делали попытки изменить его. Раз ночью их друзья отчалили от берега в ялике, пытаясь обмануть нас и дать возможность своим приятелям спастись. Их план не удался потому, что баканцы «Ланкаширской королевы» были плохо смазаны. Услыхав скрип баканцев, мы перестали преследовать чужую лодку и пошли к «Ланкаширской королеве» как раз в тот момент, когда итальянцы спускали ялик. В другой раз, тоже ночью, штук шесть яликов сновали вокруг нас в темноте, но мы на своей лодке, точно пиявки, держались у борта «Ланкаширской королевы» и разрушили их план; они разозлились и стали осыпать нас бранью. Чарли тихо смеялся, сидя на дне лодки.

— Это хороший знак, — сказал он мне. — Когда люди начинают браниться, значит, они теряют терпение. А как только они потеряют терпение, они потеряют и голову. Запомни мои слова! Если мы сумеем проявить выдержку, то они в один прекрасный день перестанут быть осторожными, и мы словим их.

Но они не перестали быть осторожными, и Чарли должен был признать, что это один из тех случаев, когда все приметы врут. Их терпение, казалось, было равно нашему; вторая неделя осады тянулась так же медленно и однообразно, как и первая. Однако утомленное воображение Чарли снова оживилось, и он выдумал новую хитрость. В Бенишию приехал новый патрульный — Питер Бойлен, которого не знал никто из рыбаков, и мы втянули его в наш план. Мы держали это по возможности в тайне, но каким-то непостижимым путем друзья с берега предупредили осажденных итальянцев, чтобы те были настороже.

В ту ночь, когда мы решили выполнить нашу хитрость, Чарли и я заняли свой обычный пост в ялике у борта «Ланкаширской королевы». При наступлении темноты Питер Бойлен вышел в море на ветхой, утлой лодочке, одной из тех, которые можно поднять и унести одной рукой. Когда мы услышали, что он плывет, шумно ударяя веслами по воде, мы отошли на некоторое расстояние и подняли весла. Поравнявшись с трапом, Питер весело окликнул якорного вахтенного «Ланкаширской королевы» и спросил его, где стоит «Шотландский вождь», другое судно с грузом пшеницы. И вдруг лодка опрокинулась, и он очутился в воде. Вахтенный сбежал по трапу и вытащил Питера из воды. Ему это и нужно было, — попасть на борт судна; он надеялся, что ему позволят подняться на палубу, а затем разрешат согреться и обсушиться внизу. Но капитан весьма негостеприимно задержал его на нижней ступеньке трапа, где он

дрожал и раскачивался, а ноги его болтались в воде. Мы не выдержали, вышли из темноты и взяли его в лодку.

Шутки и насмешки проснувшейся команды прозвучали совсем не сладко в наших ушах. Даже оба итальянца, взобравшись на борт, долго и зло высмеивали нас.

— Хорошо, — сказал Чарли таким тихим голосом, что только я расслышал его, — я рад, что мы не смеемся первыми. Мы приберегаем наш смех к концу. Правда, мальчик?

Он похлопал меня по плечу, но мне показалось, что в его голосе больше решимости, чем надежды.

Можно было бы, конечно, обратиться к властям Соединенных Штатов и войти на английское судно по приказу правительства. Но в инструкциях рыболовной комиссии было сказано, что патрульные должны избегать осложнений, а наш случай, если бы мы обратились к высшим властям, мог бы окончиться международным конфликтом.

Вторая неделя осады подходила к концу, а перемен никаких не было. Утром четырнадцатого дня перемена произошла неожиданно для нас и для тех, кого мы хотели поймать — повод к этому был очень странный.

Мы с Чарли плыли к Соланской пристани после обычного ночного бдения у борта «Ланкаширской королевы».

— Алло! — воскликнул Чарли в изумлении. — Во имя разума и здравого смысла, что это такое? Силы небесные! Видал ты когда-нибудь что-либо подобное?

У него было полное основание удивляться: у пристани стоял баркас самого необычайного вида. Его нельзя было, в сущности, назвать баркасом, но он все же скорее напоминал баркас, чем что-либо другое. Судно это имело семьдесят футов в длину, но было очень узко и лишено всяких надстроек, отчего и казалось гораздо меньше своей настоящей величины. Баркас этот был весь сделан из стали и выкрашен в черный цвет. Посередине его, несколько отклоняясь к корме, поднимались три трубы на значительном расстоянии друг от друга; нос, длинный и острый, как нож, ясно говорил о том, что судно очень быстроходно. Проходя под кормой, мы прочли написанное мелкими белыми буквами слово «Молния» — название судна.

Чарли хотел немедленно все разузнать, и мы через несколько минут были уже на борту и разговаривали с механиком, который наблюдал с палубы восход солнца. Он охотно удовлетворил наше любопытство, и мы узнали спустя несколько минут, что «Молния» пришла из Сан-Франциско вечером, что это было, так сказать, ее пробное плавание, что яхта принадлежит Сайлесу Тэйту, молодому угольному калифорнийскому миллионеру, у которого была страсть к быстроходным яхтам. Затем разговор коснулся турбины, прямого применения пара, назначения рычагов, кранов. Во всем этом я ровно ничего не понимал, так как был знаком только с парусными судами. Но последние слова механика привлекли мое внимание.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час, хотя вы, может быть, и не поверите этому, — закончил он с гордостью.

— Скажите-ка ещё раз! — взволнованно воскликнул Чарли.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час, — повторил механик, добродушно усмехаясь.

— А где владеец яхты? — было следующим вопросом Чарли. — Могу я переговорить с ним?

Механик покачал головой:

— Боюсь, что нет. Он спит теперь.

В этот момент на палубу вышел молодой человек в синей куртке, прошел на корму и стал смотреть на восход солнца.

— Вот это и есть мистер Тэйт, — сказал механик.

Чарли подошел к владельцу яхты и стал что-то с жаром рассказывать молодому человеку; тот с интересом слушал Чарли; мистер Тэйт, вероятно, спросил о глубине у берега близ Тернерской верфи, потому что я видел, как Чарли объяснял ему это жестами. Через несколько минут Чарли вернулся к нам в очень возбужденном настроении.

— Ну, пойдем, — сказал он, — пойдем прямо в доки. Теперь наши разбойники попались.

Хорошо, что мы вовремя покинули «Молнию»: вскоре около нее появился один из шпионивших рыбаков. Мы с Чарли заняли наши обычные места на конце пристани, немного впереди «Молнии», над нашей собственной лодкой, откуда мы могли с полным комфортом наблюдать за «Ланкаширской королевой». До девяти часов все было спокойно, затем мы увидели, что итальянцы отъехали от парохода и направились по своей стороне треугольника к берегу. Чарли принял равнодушный вид, но, прежде чем они покрыли четверть расстояния, он шепнул мне:

— Сорок пять миль в час... Ничто не спасет их... Они наши!

Итальянцы медленно гребли и находились уже почти на одной линии с ветряной мельницей. В этот момент мы всегда вскакивали в нашу лодку и поднимали паруса; итальянцы, ожидавшие этого маневра, были, по-видимому, очень удивлены, когда мы не подали и признаков жизни.

Когда они были на одной линии с мельницей, на одинаковом расстоянии от берега и от судна и несколько ближе к берегу, чем мы позволяли это до сих пор, они стали подозревать что-то. Мы наблюдали за ними в бинокль и видели, как они встали в ялик, пытаясь понять, что мы хотим делать. Шпион, сидевший рядом с нами на пристани, тоже был удивлен. Он не понимал нашего поведения. Итальянцы стали грести к берегу, но затем опять остановились и начали внимательно оглядываться. Но какой-то человек на берегу замахал платком в знак того, что на берегу все благополучно. Это заставило итальянцев решиться. Они налегли на весла, но Чарли все еще ждал. Только когда они прошли три четверти пути от «Ланкаширской королевы» и от берега их отделяла четверть всего расстояния, он хлопнул меня по плечу и крикнул:

— Они наши! Они наши!

Мы пробежали несколько шагов и вскочили на борт «Молнии». В одно мгновение носовые и кормовые концы были отданы, и «Молния» стремительно двинулась вперед. Шпионивший рыбак, которого мы оставили на пристани, вынул револьвер и быстро выстрелил пять раз в воздух. Итальянцы поняли предостережение и начали грести, как сумасшедшие.

Но если они гребли, как сумасшедшие, то как назвать наше движение? Это был настоящий полет. Мы с такой страшной быстротой разрезали воду, что по обе стороны носа яхты вздымались огромные пенящиеся волны, а с кормы нас преследовал огромный вал, готовый, казалось, каждую минуту обрушиться на борт и уничтожить нас. «Молния» вся дрожала, трепетала и гудела, точно живое существо. Ветер, который мы поднимали своим движением, напоминал настоящий ураган — ураган, летевший со скоростью сорока пяти миль в час. Мы не могли устоять против него и едва переводили дыхание, задыхаясь и кашляя. Он относил дым, выходивший из труб, назад под прямым углом к нам. Мы мчались со скоростью экспресса.

— Мы действительно молнией налетели на них, — говорил Чарли, рассказывая об этом приключении. — Это самое точное выражение, какое я могу придумать.

Мне кажется, что не успели мы тронуться в путь, как уже настигли итальянцев. Нам пришлось, конечно, замедлить ход задолго до того, как мы нагнали ялик, но, несмотря на это, мы все же вихрем промчались мимо них и должны были повернуть обратно и описать дугу между ними и берегом. Они продолжали сильно грести, пока не увидели на промчавшейся яхте Чарли и меня. Это отняло у них последнюю энергию. Они сложили свои весла и мрачно позволили арестовать себя.

— Ну, Чарли, — сказал Нейл Партингтон, когда мы рассказывали об этом на пристани, — не вижу я, в чем проявилась на этот раз ваша сообразительность, которой вы хвастаетесь?

Но Чарли был верен своему коньку.

— Сообразительность? — спросил он, указывая на «Молнию». — Посмотрите на яхту. Уж если изобретение такой яхты не сообразительность, то, я хотел бы знать, что же такое сообразительность? Конечно, — прибавил он, — сообразительность и воображение в этом случае проявил другой, но все равно действие было то же самое.

УЛОВКА ЧАРЛИ

Быть может, свой самый смешной и в то же время самый опасный подвиг наш рыбачий патруль совершил в тот день, когда мы одним махом захватили целую ораву разъяренных рыбаков.

Чарли называл эту победу богатым уловом, и хотя Нейл Партингтон говорил о хитрой уловке, я думаю, Чарли не видел тут разницы, считая, что оба слова означают «выловить», «захватить». Но будь то уловка или улов, а эта схватка с рыбаками стала для них настоящим Ватерлоо, ибо то было самое тяжелое поражение, какое когда-либо нанес им рыбачий патруль, — и поделом: ведь они открыто и нагло нарушили закон.

Во время так называемого «открытого сезона» рыбаки имеют право ловить столько лососей, сколько им посчастливится встретить или сколько влезет в их лодки. Однако с одним существенным ограничением. С заката солнца в субботу и до восхода в понедельник ставить сети не разрешается. Таково мудрое постановление Рыболовной комиссии, ибо во время нереста необходимо дать лососям возможность подниматься в реку, где они мечут икру. И этот закон, кроме одного единственного раза, всегда строго соблюдался греческими рыбаками, ловившими лососей для консервных заводов и продажи на рынке.

Как-то в воскресное утро приятель Чарли сообщил нам по телефону из Коллинсвилля, что весь рыбачий поселок вышел в море и ставит сети. Мы с Чарли тотчас вскочили в лодку и отправились на место происшествия. С легким попутным ветерком мы прошли Каркинезский пролив, пересекли Сьюисанскую бухту, обогнули маяк Шип Айленд и увидели всю рыболовецкую флотилию за работой.

Но прежде всего позвольте мне объяснить, каким способом они ловили рыбу. Они ставили так называемые «жаберные сети». Это простые сети с ромбовидными петлями, в которых расстояние между узлами должно быть не больше семи с половиной дюймов. Такие сети бывают от пятисот до семисот и даже восьмисот футов длины, а ширина их всего несколько футов. Они

не закрепляются на одном месте, а плывут по течению, причем верхний край держится на воде с помощью поплавков, а нижний тянут ко дну свинцовые грузила.

Благодаря такому устройству сеть стоит вертикально поперек течения и пропускает в реку только самую мелкую рыбешку. Лососи плывут обычно поверху и попадают головой в петли, но из-за своей толщины они не могут проскользнуть сквозь сеть, а назад их не пускают жабры, которые цепляются за петли. Чтобы поставить такую сеть, нужны всего два рыбака: один гребет, а другой, стоя на корме, осторожно закидывает сеть в воду. Растянув всю сеть поперек реки, рыбаки привязывают один ее конец к лодке и плывут вместе с ней по течению.

Когда мы приблизились к нарушившим закон рыболовам — их сети были заброшены на расстоянии двухсот — трехсот ярдов друг от друга, а река, насколько хватал глаз, была сплошь усеяна лодками, — Чарли сказал:

— Одно досадно, парень, что у меня не тысяча рук, чтобы захватить их всех сразу. А так больше одной лодки нам не поймать: пока мы будем с ней возиться, остальные выберут сети и удерут.

Мы подошли поближе, но не заметили ни беспокойства, ни суматохи, которые неизменно вызывало наше появление. Напротив, все лодки спокойно оставались возле своих сетей, и рыбаки не обращали на нас ни малейшего внимания.

— Странно, — пробормотал Чарли. — Может, они нас не узнали?

Я ответил, что этого быть не может, и Чарли согласился со мной. Перед нами растянулась целая флотилия, которой управляли люди, как нельзя лучше знавшие нас, а между тем они смотрели на нашу лодку так равнодушно, как будто мы были какой-нибудь шаландой с сеном или увеселительной яхтой.

Однако картина несколько изменилась, когда мы направились к ближайшей сети: ее владельцы отвязали свою лодку и стали потихоньку грести к берегу. Но остальные рыбаки по-прежнему не проявляли никаких признаков беспокойства.

— Право, забавно, — заметил Чарли. — Во всяком случае, мы можем конфисковать сеть.

Мы убрали парус, схватили конец сети и принялись тянуть ее в лодку. Но стоило нам взяться за сеть, как мимо нас просвистела пуля и щелкнула по воде, а вдали прокатился ружейный выстрел. Уплывшие на берег рыбаки стреляли в нас. Мы снова взяли за сеть, и снова просвистела пуля, на этот раз угрожающе близко. Чарли зацепил конец сети за уключину и сел. Выстрелы прекратились. Но только он взялся за сеть, опять началась стрельба.

Вам, ребята, видно, сеть нужна больше, чем нам, так получайте ее.

И мы поплыли к следующей лодке. Чарли хотел выяснить, действительно ли перед нами организованное нарушение закона.

Когда мы подошли поближе, сидевшие в лодке рыбаки тоже отвязали свою сеть и двинулись к берегу, а первые двое вернулись и привязали лодку к брошенной нами сети. Но только мы взяли за вторую сеть, на нас опять посыпа-

лись пули, и стрельба прекратилась, лишь когда мы отступили; у третьей лодки повторилась та же история.

Потерпев полное поражение, мы прекратили свои попытки, поставили парус, легли на длинный наветренный галс и двинулись обратно в Бенишию. Прошло еще несколько воскресений, и каждый раз рыбаки открыто нарушали закон. Без помощи вооруженных солдат мы ничего не могли с ними поделать. Рыбакам пришлось по душе их новая выдумка, и они пользовались ею вовсю, а мы не знали, как справиться с ними.

К этому времени Нейл Партингтон вернулся из Нижней бухты, где пробыл несколько недель. С ним был и Николас, юноша-грек, который участвовал в набеге на устричных пиратов, и они оба решили помочь нам. Мы тщательно обдумали план действий и договорились, что они устроят засаду на берегу и, когда мы с Чарли начнем вытаскивать сети, захватят рыбаков, которые выйдут из лодки и начнут нас обстреливать.

План был очень хорош. Даже Чарли его одобрил. Однако греки оказались куда хитрее, чем мы думали. Они нас опередили, устроили сами засаду на берегу и захватили в плен Нейла и Николаса, а когда мы с Чарли попытались забрать сети, вокруг нас засвистели пули, как и в прошлый раз. Нам снова пришлось отступить, и тогда рыбаки тотчас отпустили Нейла и Николаса. Они вернулись к нам очень сконфуженные, и Чарли безжалостно высмеял их. Но Нейл тоже не остался в долгу и язвительно спрашивал у Чарли, куда девалась его хваленая смекалка и как это он до сих пор ничего не придумал.

— Дай срок, придумаю, — обещал Чарли.

— Все может быть, — соглашался Нейл, — но боюсь, что к тому времени лососей совсем не останется и твоя смекалка будет ни к чему.

Нейл Партингтон, весьма раздосадованный происшедшим, снова отправился в Нижнюю бухту, прихватив с собой и Николаса, а мы с Чарли снова остались одни. Это значило, что воскресная ловля будет идти своим чередом, по крайней мере до тех пор, пока Чарли не осенит какая-нибудь счастливая идея. Я тоже ломал себе голову, стараясь придумать, как бы изловить греков, и мы составляли тысячу планов, которые на поверку никуда не годились.

Греки же ходили задрав нос, хвастались направо и налево своей победой, и это еще больше унижало нас. Вскоре мы заметили, что среди рыбацкого населения наш авторитет явно упал. Мы были побеждены, и рыбаки потеряли к нам уважение. А с потерей уважения начались и дерзости. Чарли прозвали «Старой бабой», а меня окрестили «Сосунком». Положение становилось невыносимым, и мы чувствовали, что должны нанести грекам решительный удар, дабы вновь поднять свой авторитет на прежнюю высоту.

Как-то утром нам наконец пришла в голову счастливая мысль. Мы были на пристани, где останавливаются речные пароходы, и увидели толпу грузчиков и зевак, теснившихся вокруг какого-то парня с заспанным лицом, в высоких морских сапогах, который развлекал их, рассказывая о своих злоключениях. Этот рыболов-любитель, по его словам, ловил возле Беркли рыбу для



— Ну, валяйте, разрази вас гром! — сказал он, стукнув огромным кулачищем себя по ладони.

продажи на местном рынке. Беркли находится в Нижней бухте, за тридцать миль от Бенишии. Прошлой ночью он закинул сеть и незаметно задремал на дне своей лодки. Проснулся он уже утром и, когда продрал глаза, увидел, что его лодка тихонько стучается о причал пароходной пристани в Бенишии, а перед ним торчит пароход «Апаш», и двое матросов снимают обрывки его сети с пароходного колеса. Словом, когда он заснул, фонарь на его лодке потух, и «Апаш» прошел прямо по его сети. Хотя сеть и разорвалась в клочья, однако она накрепко зацепилась за колесо и тридцать миль тащила лодку за собой.

Чарли подтолкнул меня локтем в бок. Я сразу понял его мысль, но возразил:

— Мы не можем нанять пароход.

— Я и не собираюсь, — ответил он. — Но давай ка сходим на Тернерскую верфь. У меня есть одна мыслишка, авось, она нам пригодится.

И мы отправились на верфь, а там Чарли повел меня к «Мэри Ребекке», вытасченной из воды на слип для чистки и ремонта. Мы оба хорошо знали эту плоскодонную посудину, она поднимала сто сорок тонн груза, а такой большой парусности не было ни у одной шхуны во всем заливе.

— Как дела, Оле? — крикнул Чарли здоровенному шведу в синей рубашке, который смазывал усы грота-гафеля свиным жиром.

Оле что-то промычал и продолжал дымить трубкой, не отрываясь от работы. Капитану шхуны, которая ходит по заливу, приходится работать не покладая рук, не меньше своих матросов.

Оле Эриксен подтвердил догадку Чарли: как только ремонт будет закончен, «Мэри Ребекка» отправится вверх по реке Сан Хоакин в Стоктон за грузом пшеницы. Тогда Чарли высказал свою просьбу, но Оле Эриксен решительно покачал головой.

— Всего один крюк, один крепкий крюк, — уговаривал Чарли.

— Нет, это я не могу, — отвечал Оле Эриксен. — «Мэри Ребекка» с такой крюк будет цеплять каждый чертов мель. Я не желал потерять «Мэри Ребекка». Это все, что я имел.

— Да нет же, нет, — уверял его Чарли. — Мы просунем конец крюка сквозь дно и закрепим его внутри гайкой. Когда мы покончим с нашим делом, нам останется только спуститься в трюм, вывинтить гайку и вытолкнуть крюк. Потом мы вставим в отверстие деревянную затычку, и твоя шхуна будет в полном порядке.

Оле Эриксен долго упирался, но мы угостили его хорошим обедом и в конце концов уломали.

— Ну, валяйте, разрази вас гром! — сказал он, стукнув огромным кулачком себя по ладони. — Но поторопитесь с этот крюк. «Мэри Ребекка» пошел на воду сегодня в ночь.

Была суббота, и Чарли следовало поспешить. Мы отправились в кузницу при верфи, где по указанию Чарли нам выковали огромный, сильно изогнутый стальной крюк. Затем мы поскорее вернулись к «Мэри Ребекке». Чуть поза-



*Мы отправились в кузницу при верфи,
где по указанию Чарли нам выковали
огромный, изогнутый стальной крюк.*

ди большого килевого колодца, через который проходит выдвижной киль, мы пробуравили дыру. Я вставил в нее снаружи крюк, а Чарли изнутри прочно закрепил его гайкой. Когда мы кончили работу, крюк торчал на фут из днища шхуны. Он был изогнут в виде серпа, но еще круче.

К вечеру «Мэри Ребекка» была спущена на воду, и все приготовления к отплытию закончены. Чарли и Оле пристально всматривались в вечернее небо, стараясь угадать, будет ли завтра ветер: без хорошего бриза наш план был обречен на провал. Они оба пришли к заключению, что все приметы предсказывают сильный западный ветер — не обычный дневной бриз, а почти шторм, который уже начал разыгрываться.

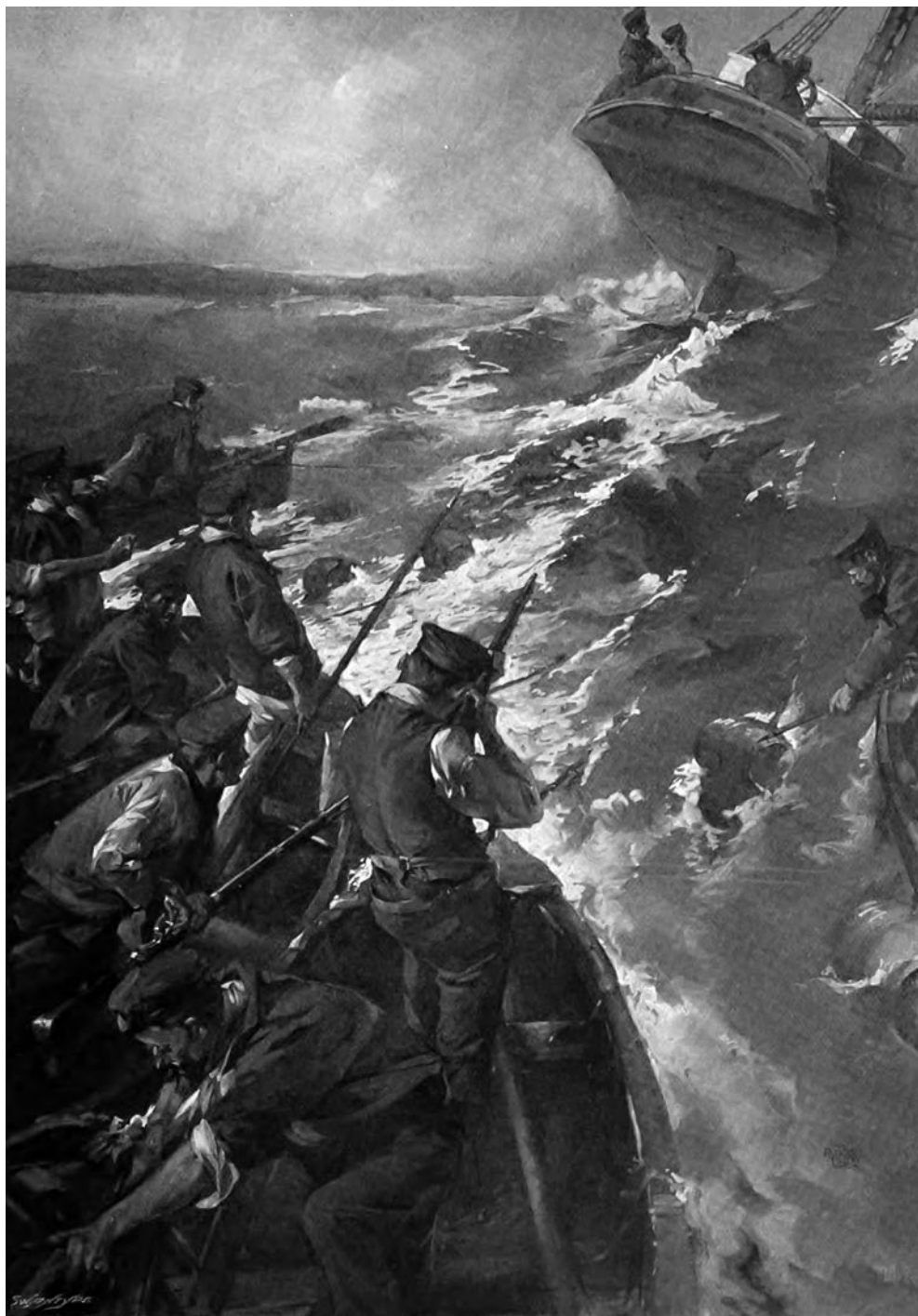
Наутро их предсказания подтвердились. Солнце ярко сияло, но в Каркинеском проливе завывал штормовой ветер, и «Мэри Ребекка» вышла под двумя рифами на гроте и одним на фокке. В проливе и в Сьюисанской бухте нас сильно потрепало, но вскоре мы вошли в более защищенное место, и стало тише, хотя ветер по-прежнему хорошо наполнял паруса.

Миновав маяк Шип Айленд, мы отдали рифы; по распоряжению Чарли большой рыбачий стаксель был изготовлен к подъему, а грота-топсель, прищипурованный у топа мачты, был разобран так, что мы могли поставить его в любую минуту.

Мы быстро шли фордевинд, неся паруса бабочкой, стаксель на правом борту и грот на левом, и вскоре увидели впереди флотилию рыбаков. Как и в то воскресенье, когда им удалось впервые провести нас, вся река, насколько хватало глаз, была усеяна их лодками и сетями. У правого берега они оставили узкий проход для судов, а вся остальная поверхность воды была сплошь покрыта широко растянутыми сетями. Нам, конечно, следовало бы войти в этот проход, но Чарли, стоявший у руля, направил «Мэри Ребекку» прямо на сети. Однако это не вызвало тревоги среди рыбаков, ибо суда, идущие вверх по реке, ставят обычно на конце киля так называемые «башмаки», которые скользят по сетям, не зацепляя их.

— Готово дело! — крикнул Чарли, когда мы быстро пересекли длинный ряд поплавков, отмечавших край сети. На одном конце этого ряда плавал маленький бочонок — буюк, а на другом была лодка с двумя рыбаками. Бочонок и лодка вдруг начали быстро сближаться, а рыбаки, увидев, что мы тащим их за собой, принялись громко кричать. Две-три минуты спустя мы зацепили вторую сеть, за ней третью и, двигаясь посредине флотилии, цепляли на крюк одну сеть за другой.

Потрясенные рыбаки смотрели на нас в полном смятении. Как только мы цепляли сеть, оба ее конца, буюк и лодка, сближались и неслись за нашей кормой; и вся эта стая лодок и буюков мчалась за нами с такой головокружительной быстротой, что рыбаки едва успевали управлять с лодками, стараясь не разбиться друг о друга. Греки орали что есть мочи, требуя, чтобы мы остановили судно; они думали, что это веселая шутка подвыпивших матросов, им и в голову не приходило, что на шхуне рыбачий патруль.



*У всех рыбаков были ружья, и теперь они принялись палить все разом.
Мы попрятались кто куда, даже Чарли пришлось бросить штурвал.*



Двое матросов, Оле и я осторожно притащили тяжелый стальной лист наверх, а затем поставили его на корме, как щит, загородив штурвал от рыбаков.

Даже одну сеть тащить нелегко, и Чарли с Оле Эриксоном решили, что, несмотря на попутный ветер, «Мэри Ребекке» не справиться больше чем с десятком сетями. Поэтому, подцепив десяток сетей и волоча за собой десять лодок с двадцатью рыбаками, мы свернули влево, оставив позади флотилию, и направились в Коллинсвилль.

Мы ликовали. Чарли так гордо стоял у руля, как будто вел домой победившую на гонках яхту. Два матроса, составлявшие весь экипаж «Мэри Ребекки», потешались и скалили зубы. Оле Эриксен потирал свои ручищи с детской радостью.

— Я думал, ваш рыбачий патруль никогда не имел такой удача, как на шхуне Оле Эриксена, — сказал он, как вдруг за кормой хлопнул выстрел, прожужжала пуля, чиркнула по свежерыкрашенной обшивке каюты и, ударившись о гвоздь, со свистом отскочила в сторону.

Для Оле Эриксена это было уж слишком. Увидев, что ему испортили новенькую обшивку, он вскочил и погрозил рыбакам кулаком; но тут вторая пуля угодила в стенку каюты, в шести дюймах от его головы, и он поскорей растянулся на палубе, укрывшись за бортом.

У всех рыбаков были ружья, и теперь они принялись палить все разом. Мы попрятались кто куда, даже Чарли пришлось бросить штурвал. Если бы не тяжелые сети за кормой, мы наверняка попали бы в руки разъяренных рыбаков. Но сети, прочно зацепившиеся за днище «Мэри Ребекки», тащили ее корму на ветер, и она по-прежнему держала курс, хотя и не очень точно.

Лежа на палубе, Чарли мог дотянуться до нижних спиц рулевого колеса, но управлять шхунуой таким способом было крайне неудобно. Тут Оле Эриксен припомнил, что в трюме у него лежит большой стальной лист. Это был кусок бортовой обшивки «Нью Джерси»: пароход недавно потерпел крушение возле Золотых Ворот, и «Мэри Ребекка» принимала участие в его спасении.

Двое матросов, Оле и я осторожно проползли по палубе и притащили тяжелый стальной лист наверх, а затем поставили его на корме, как щит, загородив штурвал от рыбаков. Пули щелкали и звенели, ударяясь о гудевший, как колокол, щит, но Чарли только посмеивался в своем укрытии и спокойно правил рулем. И так мы мчались вперед: за кормой — орава вопивших от ярости греков, впереди — Коллинсвилль, а вокруг рой свистевших пуль.

— Оле, — сказал вдруг Чарли упавшим голосом, — я не знаю, что нам теперь делать.

Оле лежал на спине у самого борта и усмехался, глядя в небо; он повернулся на бок и взглянул на Чарли.

— Я думал, мы будем идти в Коллинсвилль, как хотел раньше, — ответил он.

— Но мы не можем там остановиться, — простонал Чарли. — Я никак не ожидал, что мы не сможем остановиться.

Широкое лицо Оле Эриксена выразило полную растерянность.

Увы, это была правда. За спиной у нас осиное гнездо, а остановиться в Коллинсвиле — значит сунуть в это гнездо голову.

— У каждого чертова грека ружье, — весело сказал один из матросов.

— Да еще нож в придачу, — отозвался второй.

Теперь уж застонал Оле Эриксен.

— И зачем только шведский человек, как я, совать свой нос в чужие дела, будто обезьяна! — пробормотал он про себя.

Пуля щелкнула по корме и пролетела над правым бортом, жужжа, как разозленная пчела.

— Остается только пристать к берегу, бросить «Мэри Ребекку» и удрать, — сказал веселый матрос.

— Бросать «Мэри Ребекку»? — воскликнул Оле Эриксен с непередаваемым ужасом в голосе.

— Дело ваше, — отозвался тот. — Только я хотел бы оказаться за тысячу миль отсюда, когда эти парни взберутся на борт. — И он указал на беснующихся греков, которых мы продолжали тащить за собой.

Мы как раз поравнялись с Коллинсвилем и, вспенивая воду, прошли так близко от пристани, что до нее можно было добросить камень.

— У меня одна надежда, что ветер продержится, — сказал Чарли, украдкой поглядывая на наших пленников.

— А что нам ветер? — уныло спросил Оле. — Скоро по реке нельзя пройти, и тогда... тогда...

— Тогда мы заберемся в глухие места и попадем в лапы грекам, — добавил веселый матрос, пока Оле раздумывал над тем, что случится, когда мы дойдем до истока реки.

Мы подошли к тому месту, где река расходилась на два рукава. Налево было устье реки Сакраменто, а направо устье реки Сан Хоакин. Веселый матрос прополз вперед и перебросил фок, а Чарли взял право руля, и мы свернули направо — в устье реки Сан Хоакин. Попутный ветер, который гнал нас вперед на ровный киль, теперь задул справа по борту, и «Мэри Ребекка» так резко накренилась влево, что казалось, вот-вот опрокинется.

Но мы все так же мчались вперед, а рыбаки неслись за нами. Стоимость их сетей была значительно выше штрафов, которые с них брали за нарушение законов о рыбной ловле, и потому, хотя им ничего не стоило отвязать свои лодки и удрать, они на этом ничего бы не выгадали. Кроме того, они не бросали своих сетей инстинктивно, как моряк не бросает своего корабля. Но главное, в них все росла жажда мести, и мы могли быть уверены, что они последуют за нами хоть на край света, если нам вздумается тащить их в такую даль.

Стрельба прекратилась, и мы отважились выглянуть за корму, посмотреть, что делают наши пленники. Их лодки следовали за нами на разных расстояниях друг от друга, но четыре передние выровнялись и шли рядом. Передняя лодка, видно, бросила с кормы конец той, что шла за ней. Лодки ловили концы, отделялись от своих сетей и подтягивались друг к другу, пока не стали в одну линию. Однако мы шли с такой скоростью, что произвести этот маневр было

очень нелегко. Порой, несмотря на все усилия, им не удавалось подтянуться ни на дюйм, но иногда они двигались довольно быстро.

Когда четыре лодки сблизились настолько, что из одной в другую мог перебраться человек, из трех задних лодок перешло в переднюю по одному греку, и каждый захватил с собой ружье. Таким образом в передней лодке собралось пять человек, и мы сразу поняли, что они намереваются взять нас на абордаж. Но, чтобы осуществить свое намерение, им надо было изрядно потрудиться: приходилось подтягиваться за веревку с поплавками, все время перехватывая руки. И все же, хотя они двигались очень медленно и часто останавливались передохнуть, им удавалось потихоньку подбираться к нам все ближе и ближе.

Чарли улыбался, глядя на их усилия.

— Поставь-ка топсель, Оле! — сказал он.

Под свист пуль шнуровка на топе мачты была разорвана, шкот и галс оттянуты втугую, и «Мэри Ребекка», сильно накренившись, понеслась еще быстрее.

Но греки не сдавались. Не в силах при такой скорости подтягивать лодку вручную, они сняли блоки со своих парусов и соорудили то, что моряки называют «хват тали». Один из рыбаков, лежа на носу лодки, свешивался как можно дальше за борт и, пока товарищи держали его за ноги, прикреплял блок к натянутому краю сети. Затем они все вместе тянули за тали, пока блоки не сходились, и снова повторяли этот маневр.

— Придется отдать стаксель! — сказал Чарли.

Оле Эриксен посмотрел на дрожавшую от напряжения «Мэри Ребекку» и покачал головой.

— Тогда вылетят мачты, — сказал он.

— А иначе мы вылетим со шхуны, — возразил Чарли.

Оле с тревогой взглянул на мачты, потом на лодку с вооруженными греками и согласился.

Пятеро греков столпились на носу — место опасное, когда лодка идет на буксире. Я наблюдал, что станет с их лодкой, когда мы поставим большой рыбачий стаксель: он несравненно больше марселя и ставится только при легком бризе. Когда «Мэри Ребекка» стремительно рванулась вперед, лодка зарылась носом в воду, а люди, цепляясь друг за друга как безумные, бросились на корму, спасая лодку от гибели.

— Это охладит их пыл! — заметил Чарли, но я видел, что он с тревогой следит за ходом «Мэри Ребекки», которая несла гораздо больше парусов, чем ей было под силу.

— Следующая остановка — Антиох! — возвестил веселый матрос на манер железнодорожного кондуктора. — А за ней Мериуэзер.

— Поди ка сюда поскорей, — позвал меня Чарли.

Я подполз к нему и стал рядом под защитой стального листа.

— Засунь руку мне в карман и достань записную книжку, — сказал он. — Так. Теперь вырви чистый листок и напиши то, что я скажу.

И я написал:



*Не убавляя хода, мы подошли
так близко к берегу, что любой
из нас мог бы прыгнуть на
пристань. Тут Чарли дал мне
знак, и я бросил свайку.*

«Позвоните в Мериуэзер шерифу, констеблю или судье. Сообщите, что мы идем к ним. Пусть они поднимут на ноги весь город и вооружат людей. Пусть приведут всех на пристань и встречают нас, иначе нам какую».

— Теперь сложи бумажку, привяжи к свайке и стой тут наготове, чтобы бросить ее на берег.

Я сделал все, как он сказал. Тем временем мы подошли к Антиоху. Ветер был в наших снастях, и «Мэри Ребекка», почти опрокинувшись на бок, неслась вперед, как быстроходное океанское судно. Моряки на берегу Антиоха, увидев, что мы поставили марсель и стаксель — безрассудный маневр при таком ветре, — поспешили на пристань и стояли у причала, стараясь понять, в чем дело.

Не убавляя хода, мы подошли так близко к берегу, что любой из нас мог бы спрыгнуть на пристань. Тут Чарли дал мне знак, и я бросил свайку. Она громко стукнулась о дощатый настил, отскочила на пятнадцать — двадцать футов и была подхвачена пораженными зрителями.

Все это произошло в мгновение ока, в следующий миг Антиох остался позади, а мы уже неслись по Сан Хоакину к Мериуэзеру, лежавшему в шести милях вверх по течению. Река повернула на восток, и мы снова мчались по ветру, поставив паруса бабочкой и перекинув стаксель на правый борт.

Оле Эриксен, казалось, погрузился в глубокое отчаяние. Чарли и двое матросов, напротив, не теряли надежды и, видимо, не без основания. В Мериуэзере жили главным образом углекопы, и можно было ожидать, что в воскресный день все они в городе. К тому же углекопы никогда не питали особой любви к греческим рыбакам, и мы могли быть уверены, что они окажут нам горячую поддержку.

Мы напряженно всматривались вдаль, стараясь разглядеть город, и, как только увидели его, почувствовали огромное облегчение. Причалы были черны от народа. Подойдя поближе, мы увидели, что люди все прибывают, спускаясь бегом по главной улице, с ружьями в руках или за плечом. Чарли оглянулся на рыбаков, и в глазах его мелькнуло самодовольство победителя, какого я прежде у него не замечал. Греки были ошеломлены, увидев вооруженную толпу, и попрятали свои ружья.

Мы убрали топсель и стаксель, потравили грота-фал и, поравнявшись с главной пристанью, перекинули грот. «Мэри Ребекка» повернулась к ветру, лодки пленных рыбаков описали за ней широкую дугу и, когда мы, замедлив ход, отдали концы и пришвартовались к пристани, догнали нас. Мы причалили под радостные крики возбужденных углекопов.

У Оле Эриксена вырвался вздох облегчения.

— Я уже думал, никогда не увижу своя жена, — сознался он.

— Почему? Нам не грозила никакая опасность, — возразил Чарли.

Оле недоверчиво поглядел на него.

— Конечно, не грозила, — подтвердил Чарли. — Мы могли в любую минуту выбросить крюк, что я сейчас и сделаю, и греки забрали бы свои сети.

Он спустился в трюм с гаечным ключом, отвинтил гайку, и крюк выпал в воду. Когда греки вытащили сети и привели лодки в порядок, мы передали их с рук на руки отряду вооруженных граждан, и они проследовали в тюрьму.

— Я, кажется, валял большой дурак, — сказал Оле Эриксен.

Но он изменил свое мнение, когда восхищенные жители города столпились на борту, чтобы пожать ему руку, а несколько бойких репортеров принялись фотографировать «Мэри Ребекку» и ее капитана

ДЕМЕТРИОС КОНТОС

Не нужно думать на основании моих рассказов о греческих рыбаках, что все они дурные люди. Совсем нет. Но это были люди грубые, жившие замкнуто в своих поселках и жестоко боровшиеся со стихиями за свою жизнь. Они жили вне всяких законов, не понимали их и считали всякий закон ненужным угнетением. Особенно тираническими им казались, разумеется, законы о рыбной ловле, а поэтому они смотрели и на служащих в рыбацком патруле как на своих природных врагов.

Мы отнимали у них жизнь, то есть, вернее, их средства к жизни, что, в сущности, одно и то же. Мы отбирали у них незаконные приспособления и сети, которые стоили им больших денег и изготовление которых требовало много времени и труда. Мы мешали им ловить рыбу в известные времена года и лишали их хорошего заработка. А когда мы арестовывали их, то за этим следовал суд и большие штрафы. В результате все они, конечно, смертельно ненавидели нас. Подобно тому, как собака является естественным врагом кошки, а змея — человека, так и мы, рыбацкий патруль, являлись естественным врагом рыбаков.

Но чтобы доказать вам, что они были в такой же мере способны на великодушие, как и на ненависть, я расскажу о Деметриосе Контосе. Деметриос Контос жил в Валлехо. После Большого Алека это был самый сильный, храбрый и влиятельный человек среди греков. Он не доставлял рыбацкому патрулю никаких хлопот, и нам, пожалуй, так и не пришлось бы никогда столкнуться с ним, если бы он не приобрел новой лодки для ловли лососей. Эта лодка и послужила причиной всех бед. Он построил ее по собственной модели, которая несколько отличалась по внешнему виду от обыкновенных лодок этого типа.

К великой его радости, судно оказалось очень быстроходным — быстроходнее всех лодок в заливе и на реках. Это обстоятельство и сделало Контоса необыкновенно гордым и чванным. Услышав про наше приключение на «Мэри Ребекке», испугавшее всех рыбаков, он послал нам в Бенишию вызов. Один из местных рыбаков передал его нам. Деметриос Контос заявил, что в ближайшее



Это обстоятельство и сделало Контоса необыкновенно гордым и чванным.

воскресенье он выйдет из Валлехо, поставит свою сеть на виду у всей Бенишии и будет ловить лососей; пусть-ка Чарли Ле Грант поймает его, если сможет. Конечно, мы с Чарли ничего не знали о качествах его новой лодки. Наша лодка была очень быстроходна, и мы не боялись состязания ни с каким парусным судном.

Настало воскресенье. Слух о вызове распространился повсюду, так что все рыбаки и моряки Бенишии, как один человек, высыпали на пароходную пристань, точно на большое футбольное состязание. Мы с Чарли были спокойны, но вид этой толпы убедил нас в том, что Деметриос Контос что-то подготавливает.

После полудня, когда морской ветер подул сильнее, вдали показался его парус и лодка, идущая под парусом. Футы в двадцати от пристани грек переменил галс и сделал театральный жест, словно рыцарь, выходящий на поединок. В ответ ему понеслись с пристани дружеские приветствия, и Деметриос Контос бросил якорь в проливе в двухстах ярдах от нас. Затем он спустил парус и, поставив лодку по ветру, начал забрасывать сеть. Он выбросил немного, не больше пятидесяти футов; однако дерзость этого человека поразила нас с Чарли. Мы не знали в то время, что сеть эта была старая и негодная. Только впоследствии нам стало это известно: она могла удержать несколько рыб, но сколько-нибудь значительный улов изорвал бы ее в клочки.

Чарли покачал головой и сказал:

— Сознаюсь, я ничего не понимаю. Он, правда, выбросил только пятьдесят футов, но все равно он не успеет собрать сеть, если мы теперь же двинемся к нему. Чего ради он явился сюда? Похвастаться перед нами, что он может нарушать закон в нашем же городке?

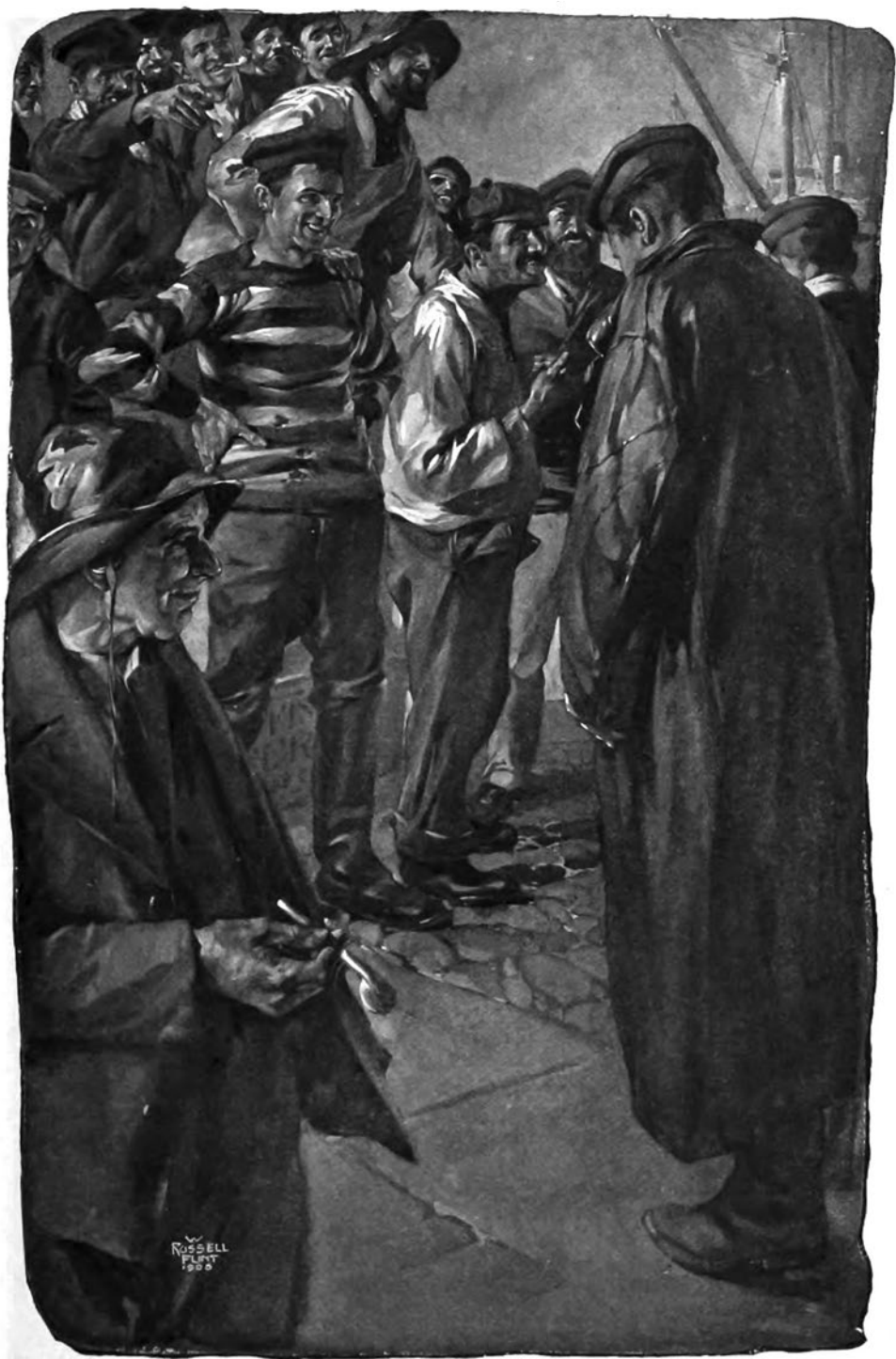
В голосе Чарли зазвучала обида, и он долго возмущался нахальством Деметриоса Контоса.

А герой этого происшествия, небрежно развалившись на корме, следил за поплавком своей сети. Когда в сеть попадает крупная рыба, поплавки дергаются и предупреждают рыбака. По-видимому, это как раз и случилось. Деметриос вытащил футов двенадцати сеть и, продержав ее минуту в воздухе, бросил на дно лодки большого блестящего лосося. Толпа, стоявшая на пристани, встретила его улов громкими восторженными криками. Такой дерзости Чарли не мог вынести.

— Идем, мальчуган, — позвал он меня, и мы немедленно прыгнули в лодку и поставили парус.

Толпа криком предупредила Деметриоса, и пока мы отчаливали от пристани, он успел быстро отрезать ножом свою негодную сеть; его парус был наготове и затрепетал на солнце. Деметриос мигом перебежал на корму и во весь дух помчался по направлению к холмам Контра Косты.

В это время мы находились не больше чем в тридцати футах от него. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна и что в умении управлять парусом с ним мало кто может поспорить. Он не сомневался, что мы догоним Деметриоса, и я разделял его уверенность.



Рыбаки, стоявшие на паровой пристани, осыпали нас градом насмешек.

Дул хороший попутный ветер. Мы быстро скользили по воде, а Деметриос оказывался все дальше и дальше. Он не только шел быстрее, но и круче к ветру. Это особенно поразило нас, когда, огибая холмы Контра Косты, он перешел на другой галс и оставил нас позади, обогнав футов на сто.

— Фью, — свистнул Чарли, — не то у его лодки крылья выросли, не то к нашему килю¹ прицепили пятигаллонную жестянку дегтя.

И действительно было похоже на то. Когда Деметриос проходил мимо Сономских холмов по другую сторону пролива, мы оказались так далеко от него, что Чарли приказал мне спустить шкот, и мы повернули назад в Бенишию. Рыбаки, стоявшие на пароходной пристани, осыпали нас градом насмешек, пока мы причаливали и привязывали лодку. Мы поспешили уйти с пристани. Чарли чувствовал, что попал в глупое положение. Он гордился своей лодкой и своим умением управлять парусами, а теперь вдруг другой человек обставил его на состязании.

Чарли был печален дня два. Затем нам передали, как и в первый раз, что в следующее воскресенье Деметриос Контос повторит свой опыт. Чарли встрепнулся. Он вытащил лодку из воды, вычистил ее, заново выкрасил дно, сделал какое-то изменение в ее киле, перебрал привод и просидел почти всю ночь под воскресенье за шитьем нового паруса, который был значительно больше прежнего. Парус этот был так велик, что нам пришлось прибавить балласта и уложить на дно лодки около пятисот фунтов старых рельсов.

Наступило воскресенье, и снова Деметриос Контос явился, чтобы дерзко нарушить закон среди белого дня. Так же, как и в прошлое воскресенье, после полудня поднялся свежий ветер, и Деметриос снова отрезал футов сорок гнилой сети, наставил парус и умчался из-под нашего носа. Но он угадал намерение Чарли: парус его поднялся выше обыкновенного, а к заднему лику был пришит кусок холста.

Пока мы гнались друг за другом по направлению к холмам Контра Косты, никто из нас не выиграл ни ярда расстояния. Но у Сономских холмов мы заметили, что Деметриос взял круче к ветру и идет быстрее нас. Однако Чарли правил нашей лодкой так ловко и искусно, что, казалось, лучше нельзя было править, и мы мчались быстрее, чем когда-либо.

Конечно, Чарли мог вытащить свой револьвер и выстрелить в Деметриоса, но мы давно уже убедились, что все наше существо протестует против стрельбы в убегающего человека, виновного в незначительном проступке. Между рыбаками и патрульными существовало на этот счет как бы молчаливое соглашение. Если мы не стреляли по ним, когда они убегали, то и они в свою очередь не сопротивлялись, если нам удавалось их настигнуть. Точно так же и в этот раз Деметриос Контос убегал от нас, а мы только гнались за ним, стараясь захватить его. Но если бы наша лодка оказалась быстроходнее, если бы мы настигли его, он не стал бы сопротивляться и дал бы арестовать себя.

¹ Киль — продольный брус, лежащий в основании корпуса судна.



Он вытащил лодку из воды, вычистил ее, заново выкрасил дно, сделал какое-то изменение в ее киле, перебрал привод и просидел почти всю ночь под воскресенье за шитьем нового паруса, который был значительно больше прежнего.

Благодаря широкому парусу и сильному ветру наше положение в Каркинесском проливе оказалось совсем невкусным, как говорится. Нам приходилось все время следить за лодкой, как бы она не перевернулась; в то время как Чарли управлял рулем, я держал шкот в руке, готовый каждую минуту отпустить его. У Деметриоса же работы было полные руки: он должен был один и править, и следить за парусами.

Но поймать его мы не могли. Его лодка действительно была быстроходнее нашей. И хотя Чарли правил не хуже, если не лучше его, наша лодка все же не могла сравниться с лодкой грека.

— Отдай шкот! — скомандовал Чарли, и, когда мы пошли против ветра, к нам донесся насмешливый хохот Деметриоса.

Чарли покачал головой.

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — У Деметриоса лодка лучше нашей. Если он захочет повторить еще раз свое представление, нам нужно будет придумать что-нибудь новенькое.

Тут на помощь явилась моя изобретательность.

— А что, если в следующее воскресенье я погонюсь на лодке за Деметриосом, а ты подождешь его на пристани в Валлехо да и сцапашь, как только он высадится там?

Чарли подумал с минуту и хлопнул себя по колену.

— Ну что ж, хорошая мысль! Ты начинаешь, брат, пускать в ход свои мозги. Честь твоему учителю, могу я сказать. Только не следует загонять его слишком далеко, — продолжал он через минуту, — иначе он пойдет в Сан-Пабло вместо того, чтобы вернуться домой в Валлехо, и я только зря простою на пристани, поджидая его.

В четверг Чарли высказал некоторое сомнение насчет нашего плана.

— Всем будет известно, что я отправился в Валлехо, и, конечно, Деметриос тотчас узнает об этом. Боюсь, что нам придется отказаться от твоей выдумки.

Возражение было основательное, и весь остаток дня я ходил разочарованным. Но ночью передо мной открылся новый план, и я в нетерпении разбудил крепко спящего Чарли.

— Ну, — проворчал он, — в чем дело? Дом горит?

— Нет, — ответил я, — не дом, а моя голова. Послушай-ка, что я придумал. В воскресенье мы оба останемся на берегу, пока не увидим Деметриоса. Это успокоит подозрение у всех рыбаков. Затем, когда на горизонте покажется его парус, ты не спеша отправишься в город. Все рыбаки решат, что тебе стыдно оставаться на пристани и что ты заранее уверен, что потерпишь поражение.

— Пока недурно, — согласился Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дыхание.

— Все это очень хорошо, — гордо продолжал я. — Итак, ты небрежной походкой отправишься в город, но лишь только пристань скроется из виду, беги со всех ног к Дэну Мелони. Бери его лошадку и кати по проселочной дороге

в Валлехо. Дорога превосходная, и ты успеешь домчаться до Валлехо, пока Деметриос будет бороться с ветром.

— Ну относительно лошади поговорим завтра утром, — сказал Чарли, утверждая мой измененный план.

— Послушай-ка, — сказал он немного спустя, в свою очередь расталкивая меня, когда я уже спал как убитый.

Я слышал, как он посмеивался в темноте.

— Послушай, мальчуган, а не кажется ли тебе, что это совсем новость — рыбачий патруль верхом на лошади!

— Изобретательность, — ответил я. — Как раз то, что ты постоянно проповедуешь: опережай мысль твоего противника и ты победишь его.

— Хе-хе, — смеялся он. — А если к мысли прибавить резвую лошадку, тут противнику совсем плохо придется, не будь я твой покорный слуга Чарли Ле Грант.

— Только справишься ли ты один с лодкой? — спросил он в пятницу. — Не забывай, что мы наладим большой парус.

Я с таким жаром стал защищать свое умение править, что он перестал говорить об этом. Но в субботу он предложил мне снять с заднего лика целый холст. Разочарование, отразившееся на моем лице, заставило его передумать — я тоже гордился своим умением управлять парусной лодкой и страстно желал выйти один под большим парусом и пуститься по Каркинезскому заливу в погоню за убегающим греком.

Настало воскресенье, появился, конечно, и Деметриос Контос. Воскресенье и Деметриос были неразлучны. У рыбаков вошло в привычку появляться на пароходной пристани, приветствовать Деметриоса и насмехаться над нашим поражением. Деметриос, как всегда, спустил парус в двухстах ярдах от пристани и выбросил пятьдесят футов гнилой сети.

— Я думаю, что эта глупость будет продолжаться до тех пор, пока у него не кончится старая сеть, — пробормотал Чарли с намерением, чтобы его услышали греки.

— Тогда ми давать ему мой старый сетка, — быстро и насмешливо сказал один из греков.

— А мне все равно, — ответил Чарли. — У меня тоже есть где-то старая сеть. Если он придет и попросит, я могу дать ему.

Все расхохотались, так как думали, что могут позволить себе добродушно пошутить с человеком, так глупо попавшимся, как Чарли.

— Ну, прощай, мальчуган, — крикнул мне Чарли минуту спустя. — Я пойду в город к Мелони.

— А я могу выйти в лодке? — спросил я.

— Если хочешь, ступай, — ответил он, повернулся и медленно направился к городу.

Деметриос вынул из своей сети двух больших лососей, и я прыгнул в лодку. Рыбаки с шутками толпились вокруг, и когда я начал поднимать парус, на меня

посыпались коварные советы. Они предлагали друг другу самые смелые пари, утверждая, что я обязательно поймаю Деметриоса, а двое из них, войдя в роль судей, торжественно попросили разрешения отправиться со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю.

Но я не торопился, чтобы дать Чарли побольше времени, и только тогда, когда я был уже уверен, что Чарли сидит верхом на маленькой лошадке Дэна Мелони, я отчалил от пристани и поднял большой парус. Порыв ветра сразу наполнил его, и лодка, накренившись на правый борт, зачерпнула ведра два воды. Это случается и с самыми хорошими матросами на маленьких лодках. Меня все же осыпали саркастическими замечаниями, точно я оказался повинен невесте в чем.

Когда Деметриос увидел, что в патрульной лодке только один человек и что это мальчишка, он решил поиграть со мной. Подпустив меня футов на пятнадцать, он сделал короткий галс и вернулся к пароходной пристани кружить и лавировать, к великому удовольствию своих друзей. Я ни на шаг не отставал от него и повторял все его маневры, хотя для меня это было очень опасно при таком ветре и с таким парусом, как мой.

Он рассчитывал, что ветер, отлив и сильное волнение погубят меня. Но я был в приподнятом настроении и никогда в жизни не управлял лодкой так хорошо, как в этот день. Меня охватило возбуждение, ум мой быстро работал, руки ни разу не дрогнули, и я чутьем угадывал те тысячи мелочей, о которых хороший лодочный матрос должен думать ежесекундно.

Вместо меня сам Деметриос чуть не потерпел крушение. Что-то случилось у него со снастями, и я быстро нагнал его. Очевидно, какая-то неожиданность встревожила его. Деметриос перестал играть со мной и пошел по пути в Вальехо. К большой моей радости, я заметил, что могу идти немного круче к ветру, чем он. Ему, очевидно, был теперь необходим помощник. Зная, что нас разделяет всего несколько футов, он не решался оставить руль и пройти на середину лодки и спустить гафель.

Опасаясь на этот раз взять круто к ветру, как делал он это раньше, Деметриос стал понемногу отдавать шкот и полегоньку травить его, чтобы уйти от меня. Я позволил ему опередить себя, пока шел против ветра, но затем стал нагонять его. Когда я приблизился, он притворился, что переходит на другой галс. Тогда я отдал шкот, чтобы обогнать его. Но это была только хитрая уловка, и он тотчас же снова перешел на прежний курс, а я поспешно стал наверстывать потерянное расстояние.

Разумеется, Деметриос управлял лодкой гораздо искуснее меня. Мне часто казалось, что я вот-вот настигну его, но он проделывал ловкий маневр и ускользал от меня из-под носа. Ветер становился все сильнее, и мы оба должны были внимательно следить за тем, чтобы не перевернуться. Моя лодка держалась только благодаря лишнему балласту. Я сидел скорчившись у наветренного борта и держал в одной руке руль, а в другой — шкот; так как шкот был только один раз обернут вокруг шпиля, то при сильных порывах ветра мне часто приходи-

лось отдавать его. Из-за этого парус выводился из ветра, и я отставал от грека. Единственным утешением было то, что и Деметриосу приходилось прибегать часто к тому же маневру.

Сильный отлив, мчавшийся по Каркинезскому проливу против ветра, поднимал огромные свирепые волны, и они постоянно перекатывались через мою лодку. Я промок насквозь, и даже парус был подмочен. Один раз мне удалось перехитрить Деметриоса, и нос моей лодки ударился в середину его судна. Если бы у меня был теперь в лодке товарищ! Прежде чем я успел перебраться на нос, грек оттолкнул мою лодку веслом и насмешливо смотрел на меня.

Мы находились как раз у выхода из пролива, где море всегда бывает особенно бурно. Здесь смешиваются воды Каркинезского и Валлехского проливов, как бы набегая друг на друга. Первый несет весь бассейн реки Напа, а во второй впадают все воды Сьюисанской бухты и рек Сакраменто и Святого Иоакима. Там, где сталкиваются эти огромные массы воды, всегда происходит сильное волнение. К тому же на этот раз в заливе Сан-Пабло, на расстоянии пятнадцати миль отсюда, бушевал сильный шторм. Неслись огромные волны, образуя водовороты и кипучие бездны. Волны вздымались со всех сторон, обрушиваясь на нас одинаково часто как с подветренной, так и с наветренной стороны. И, врываясь в это безумие расхопившихся стихий, гремели огромные дымящиеся валы из залива Сан-Пабло.

Я был в таком же диком возбуждении, как и воды, плясавшие вокруг меня. Лодка шла великолепно, поднимаясь и опускаясь на волнах, точно беговая лошадь. Я с трудом сдерживал радость, властно охватывавшую меня. Огромный парус, воющий ветер, бушующие волны, ныряющая лодка, и я, пигмей среди всего этого, управлял стихиями, мчался среди них и над ними, торжествующий, как победитель.

И вот тогда, когда я несся, словно герой, моя лодка получила страшный удар и сразу остановилась. Меня бросило вперед, а затем на дно. Когда я вскочил на ноги, я увидел мелькнувший в волнах зеленоватый, покрытый раковинами предмет и узнал в нем чудовище всех моряков — затонувшую сваю. От нее нет спасения. Размокшая свая плывет как раз под поверхностью, и заметить ее своевременно при сильном волнении невозможно.

Весь нос лодки был, очевидно, раздавлен, потому что через несколько секунд лодка наполнилась водой. Затем нахлынули две-три волны, и лодка стала тонуть, увлекаемая на дно тяжелым балластом. Все это произошло так быстро, что я запутался в парусе и очутился под водой. Когда, едва не задохнувшись, я вынырнул на поверхность, от весел не было и следа: их, должно быть, унесло бурным течением. Я увидел, что Деметриос Контос смотрит на меня, и услышал его насмешливый голос, кричавший мне что-то. Он продолжал держаться своего курса, оставляя меня на гибель. Мне осталось только пуститься вплавь, но я могу продержаться, конечно, не больше нескольких минут. Задерживая дыхание и работая руками, я ухитрился стащить с себя в воде тяжелые морские сапоги и куртку. Но и сбросив с себя лиш-



*Я увидел, что Деметриос Контос смотрит на меня, и услышал
его насмешливый голос, кричавший мне что-то.
Он продолжал держаться своего курса, оставляя меня на гибель.*

нюю тяжесть, я продолжал задышаться и скоро сообразил, что самое трудное не плыть, а дышать во время бури.

Волны били, кидали меня, покрывали с головой, душили, захлестывая глаза, нос и рот. Какие-то странные тиски сжимали мне ноги и тянули вниз, чтобы снова выбросить наверх в кипящем водовороте; и когда, напрягая все силы, я готовился перевести дыхание, огромный вал вдруг обрушивался на меня, и я глотал вместо воздуха соленую воду.

Я не мог дольше держаться. Я уже дышал водой, а не воздухом, я тонул. Сознание покидало меня, голова кружилась. Я судорожно боролся, побуждаемый инстинктом, и барахтался в полубессознательном состоянии, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за плечо через борт лодки.

Некоторое время я лежал поперек скамьи, на которую меня бросили лицом вниз, и изо рта моего выливалась вода. Немного погодя, все еще чувствуя себя слабым, я повернул голову, чтобы посмотреть, кто был моим спасителем. И тут я увидел, что на корме со шкотом в одной руке и румпелем в другой сидит собственной персоной Деметриос Контос и, усмехаясь, кивает мне. Он хотел было оставить меня тонуть — как он сам рассказывал после, — но лучшая часть его существа одержала победу и послала назад ко мне.

— Как твое дело, хорошо? — спросил он.

Я попытался изобразить губами «да» — голосом я не мог издать ни звука.

— Ты хорошо правил лодка, — сказал он, — хорошо, как мужчина.

Комплимент Деметриоса Контоса был большой похвалой, и я очень оценил это, хотя в ответ мог только наклонить голову.

Больше мы не разговаривали, потому что я старался прийти в себя, а Деметриос Контос был занят лодкой. Он причалил к Валлехской пристани, привязал лодку и помог мне выйти. Когда мы оба стояли на пристани, из-за колеб, на которых сушились сети, вышел Чарли и опустил руку на плечо Деметриоса Контоса.

— Он спас мне жизнь, Чарли, — запротестовал я, — его нельзя теперь арестовывать.

На лице Чарли появилось ненадолго выражение нерешительности, но тотчас же исчезло; так бывало всегда, когда он принимал какое-нибудь решение.

— Не могу ничем помочь тут, — сказал он ласково, — я не могу отступить от своего долга, а мой долг арестовать его. Сегодня воскресенье, а в его лодке два лосося, которых он поймал. Как же мне поступить?

— Но он спас мне жизнь, — настаивал я, не находя другого довода.

Лицо Деметриоса Контоса потемнело от гнева, когда он понял решение Чарли. По его разумению, с ним поступили несправедливо. Лучшая часть его простой натуры восторжествовала, он совершил великодушный поступок, спас беспомощного врага, и в благодарность за это враг тащил его теперь в тюрьму.

Когда мы с Чарли возвращались в Бенишию, мы оба были в дурном настроении. Я стоял за дух закона, а не за букву его, а Чарли стоял за букву. Он считал, что иначе он поступить не мог. Закон говорил, что в воскресенье нельзя ловить

лососей. Он был патрульным, и его долг следить за исполнением закона. Он должен это делать. Он исполняет свой долг, и совесть его чиста. А мне его поступок казался несправедливым, и я чувствовал жалость к Деметриосу Контосу.

Через два дня мы отправились в Валлехо на суд. Я должен был явиться в качестве свидетеля. Это была самая отвратительная минута, какую мне когда-либо в жизни приходилось испытывать. Я показал, стоя на месте свидетеля, что видел, как Деметриос поймал двух лососей, с которыми его задержал Чарли.

Деметриос взял адвоката, но дело его было безнадежно. Присяжные совещались четверть часа и вынесли ему обвинительный вердикт. Судья приговорил его к уплате штрафа в сто долларов или к тюремному заключению на пятьдесят дней. Тогда Чарли подошел к секретарю суда.

— Я хочу уплатить этот штраф, — сказал он, кладя на стол пять золотых монет по двадцать долларов. — Это... это одно, что можно сделать, мальчуган, — пробормотал он, обращаясь ко мне.

Глаза у меня стали влажными, и я схватил его за руку.

— Я хочу заплатить... — начал я.

— Заплатить половину? — прервал он. — Конечно, я так и думал, что ты заплатишь свою половину.

Между тем адвокат сообщил Деметриосу, что Чарли помимо штрафа уплатил также и следуемое адвокату вознаграждение.

Деметриос подошел к Чарли и пожал ему руку, причем вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы мы превзошли его в великодушии, он сказал, что хочет сам заплатить и штраф, и адвокату, и едва не вспылал, когда Чарли не согласился на это.

Этот поступок Чарли, как мне кажется, больше, чем что-либо другое, внушил рыбакам уважение к закону. Чарли высоко поднялся в их уважении, и я получил свою долю славы, как мальчик, который умеет управлять лодкой. Деметриос Контос не только никогда больше не нарушал закона, но сделался нашим приятелем и при случае часто посещал Бенишию, чтобы поболтать с нами.

ЖЕЛТЫЙ ПЛАТОК

— Не хочу приказывать тебе, мальчуган, — сказал Чарли, — но я против того, чтобы ты принимал участие в этом последнем набеге. Ты вышел невредимым из всех тяжелых дел с грубыми парнями, и для нас будет стыдно, если с тобой что-нибудь случится под конец.

— Но как же мне не участвовать в последнем набеге? — возразил я с молодым задором. — Какой-нибудь из набегов должен же быть последним, ты сам знаешь!

Чарли скрестил ноги, откинулся назад и стал обдумывать этот вопрос.

— Так, верно. Но почему бы нам не назвать концом арест Деметриоса Контоса? Ты вышел из этого приключения целым, здоровым и веселым, хотя и промок изрядно, и... и... — Его голос оборвался, и он замолчал на несколько секунд. — И я никогда не простил бы себе, если бы с тобой что-нибудь случилось.

Я посмеялся над страхом Чарли, но его тревога за меня растрогала меня, и я согласился считать, что последний набег уже сделан. Мы провели вместе два года, и теперь я уходил со службы в рыбачьем патруле, чтобы закончить свое образование. Я скопил из своего заработка достаточную сумму, чтобы пробыть три года в высшей школе, и так как я мог поступить в школу только через несколько месяцев, я собирался основательно подготовиться к вступительным экзаменам.

Мои пожитки были аккуратно уложены в морской сундук, и я хотел уже купить билет и отправиться по железной дороге в Окленд, когда в Бенишию явился Нейл Партингтон. «Северный олень» должен был немедленно идти по патрульному делу в Нижнюю бухту, и Нейл заявил, что намерен затем отправиться прямо в Окленд. В Окленде жила семья Нейла, где я должен был поселиться на время учения в высшей школе; поэтому он решил, что мне лучше всего поставить свой сундук на борт «Северного оленя» и поехать вместе с ним.

Сундук был перенесен, и часа в два-три пополудни мы подняли большой парус «Северного оленя» и отчалили. Стояла отвратительная осенняя погода.

Ветер, дувший с моря все лето, теперь затих, и его заменили капризные береговые ветры. Небо хмурилось, и мы были не в силах определить, сколько времени займет переход. Мы отчалили при самом начале отлива. Когда «Северный олень» вошел в Каркинесский пролив, я бросил последний взгляд на Бенишию и на бухту Тернерской верфи, где мы вели осаду «Ланкаширской королевы» и поймали Большого Алека, Короля греков. У устья пролива я оглянулся на то место, где я тонул и где, несомненно, утонул бы, если бы доброта в натуре Деметриоса Контоса не победила.

Густая стена тумана двигалась по заливу Сан-Пабло нам навстречу, и через несколько минут «Северный олень» пробирался ощупью среди серой сетки из мелких капель. Чарли, сидевший на руле, казалось, был одарен особым инстинктом к такого рода работе. Он сам сознавался, что не знает, как это ему удастся, он как-то учитывал силу ветра, течение, расстояние, время, дрейф; можно было только удивляться ему.

— Как будто немного рассеивается, — сказал Нейл Партингтон через два часа после того, как мы вошли в полосу тумана. — Где мы теперь находимся, Чарли, можете вы определить?

Чарли взглянул на часы.

— Шесть часов, отлив будет еще продолжаться три часа, — заметил он как будто некстати.

— Но вы не сказали, где мы находимся, — повторил настойчиво Нейл.

Чарли подумал с минуту и ответил:

— Отлив немного отклонил нас от курса, но если туман сейчас рассеется — а он, как будто, поднимается, — вы увидите, что мы находимся не дальше чем на тысячу миль от Мак-Нирской пристани.

— Вы могли бы быть точнее на несколько миль, — проворчал Нейл, показывая своим тоном, что он недоволен шуткой.

— Хорошо, — сказал решительно Чарли, — до пристани не меньше четверти мили и не больше полумили.

Ветер посвежел, и туман стал заметно редеть.

— Вот там Мак-Нир, — сказал Чарли, указывая прямо в туман, окружавший нас с подветренной стороны.

Мы пристально вглядывались по указанному направлению, как вдруг «Северный олень» глухо ударился обо что-то и остановился. Мы бросились вперед и увидали, что наш бушприт¹ запутался в оснастке короткой, грубо сделанной мачты. Мы столкнулись с китайской джонкой, стоявшей на якоре.

В ту же минуту, как мы очутились на носу, пять заспанных китайцев, точно пчелы, гудя, высыпали из каюты.

Впереди всех шел высокий, сильный человек; его изрытое оспой лицо и желтый шелковый платок, повязанный вокруг головы, сразу бросились мне в глаза. Это был Желтый Платок, китаец, которого мы арестовывали год на-

¹ Бушприт — наклонная мачта на носу корабля.

зад за незаконную ловлю креветок; в тот раз он едва не потопил «Северного оленя», и теперь снова чуть-чуть не пустил его ко дну, нарушив правила навигации.

— Что вы это стали на фарватере и не подаете никаких сигналов? — сердито закричал Чарли.

— Вы спрашиваете, почему они стоят здесь без сигналов? — спокойно ответил Нейл. — Посмотрите — и поймете.

Мы взглянули по направлению, указанному Нейлом, и увидели, что открытый трюм джонки почти доверху заполнен только что наловленными креветками. Тут же вместе с креветками лежали мириады рыбешек величиной от четверти дюйма.

Желтый Платок поднял сеть после прилива и, пользуясь туманом,



Команда его угрюмо натянула фалы, и странный, чужеземный парус, косой, выкрашенный в темно-коричневый цвет, затрепетал в воздухе.

дерзко стал на фарватере, приготавливаясь, очевидно, еще раз поднять сеть после отлива.

— Так, — сказал Нейл сквозь зубы, — за всю мою разнообразную и большую практику в качестве начальника рыбацкого патруля мне ни разу не удавалось — должен сказать это — так врасплох накрыть рыбаков. Что же нам теперь делать с ними, Чарли?

— Отведем джонку на буксире в Сан-Рафаэль, — ответил Чарли. Обернувшись ко мне, он сказал: — Ты, мальчуган, переходи в джонку, а я брошу тебе буксирный канат. Если ветер не помешает, мы успеем пройти реку до отлива, переночуем в Сан-Рафаэле и завтра к полудню будем в Окленде.

Сделав это распоряжение, Чарли с Нейлом занялись «Северным оленем» и двинулись в путь, взяв джонку на буксир. Я перешел на джонку и принял на себя обязанность следить за пленниками. Усевшись на корме джонки, я начал управлять ею с помощью допотопного руля с широкими отверстиями в форме ромба, через которые непрерывно переливалась вода.

Туман понемногу рассеялся, и расчеты Чарли подтвердила показавшаяся в полумгле пристань Мак-Нира. Пройдя вдоль западного берега, мы обогнули мыс Педро на виду у рыбацких поселков, где жили китайцы, занимавшиеся ловлей креветок. Увидев, что одна из их джонок тянется на буксире за хорошо знакомым патрульным судном, они подняли страшный шум.

С берега дул неровный, порывистый ветер, для нас же было бы гораздо лучше, если бы он дул сильнее и устойчивее. Речка Сан-Рафаэль, по которой нам нужно было плыть, чтобы добраться до города и передать там наших пленников властям, протекала через обширные топи, и по ней было трудно идти при убывающей воде, а при низкой она становилась совсем несудоходной. Вода быстро убывала, и нам нужно было спешить. Но тяжелая джонка, тащившаяся позади, задерживала ход «Северного оленя».

— Прикажи-ка своим кули, чтобы они подняли парус! — крикнул мне наконец Чарли. — Не сидеть же нам, в самом деле, из-за них целую ночь в боте!

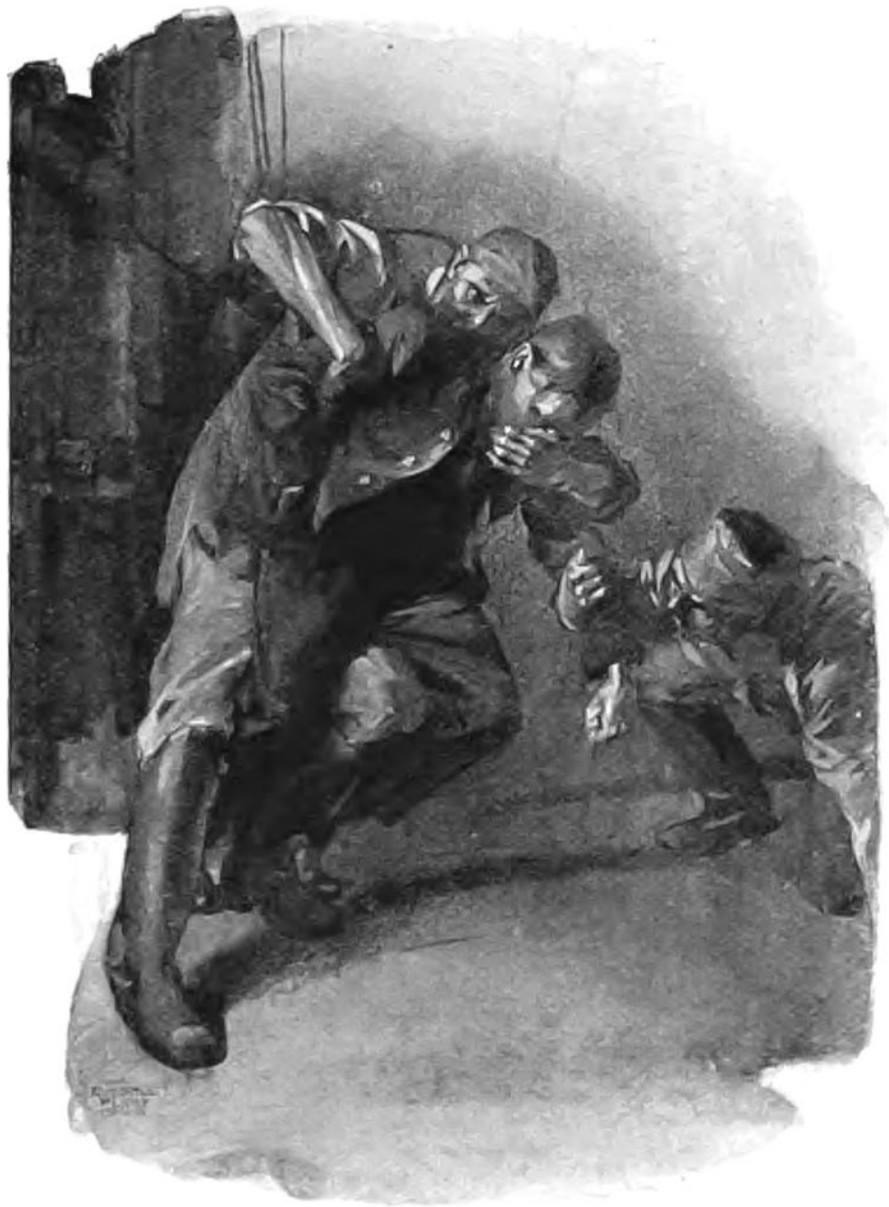
Я повторил приказание Желтому Платку, который хриплым голосом неохотно передал его своим товарищам. Он был сильно простужен и корчился от приступов кашля; глаза его были воспалены и налиты кровью. Когда он бросил на меня злобный взгляд, я с ужасом вспомнил стычку, которая произошла между нами при его аресте в прошлом году.

Команда его угрюмо натянула фалы, и странный, чужеземный парус, косой, выкрашенный в темно-коричневый цвет, затрепетал в воздухе. Мы шли с хорошим ветром, и, когда Желтый Платок натянул шкот, джонка пошла быстрее и буксир ослабел. Как ни быстро шел «Северный олень», джонка догоняла его, и, чтобы избежать столкновения, я взял немного круче к ветру. Но джонка продолжала приближаться, и через несколько минут я очутился у борта «Северного оленя». Теперь оба буксирных каната натянулись под прямыми углами к обоим лодкам. Положение получалось очень забавное.

— Отдай канат! — крикнул я.

Чарли колебался.

— Да не бойся, — прибавил я, — ничего не случится. Мы пройдем реку на этом галсе, а вы будете все время сзади до самого Сан-Рафаэля.



*Как вдруг чья-то грузная фигура прыгнула на меня с другой стороны
и одним ударом сбила с ног.*

Чарли отдал канат, и Желтый Платок послал одного из китайцев на нос, чтобы выбрать канат. Я едва разглядел в сгущавшихся сумерках устье Сан-Рафаэля и, когда джонка вошла в реку, с трудом мог различить берега. «Северный олень» находился в пяти минутах хода позади нас, но мы все сильнее опережали его, быстро двигаясь по узкой, извилистой реке. Зная, что позади находится Чарли, я не боялся своих пятерых пленников, но темнота мешала мне следить за ними, и я переложил револьвер из заднего кармана брюк в боковой карман куртки, откуда мне было легче достать его.

Я боялся только Желтого Платка. Он прекрасно понимал это и, как покажут дальнейшие события, воспользовался этим в свое время. Он сидел в нескольких футах от меня. Я едва различал очертания его фигуры, но тем не менее заметил, что он медленно подвигается ко мне. Я стал внимательно следить за ним. Держа левую руку на румпеле, я засунул правую в карман куртки и нащупал револьвер.

Я увидел, что китаец придвинулся ко мне еще на несколько дюймов, и только собрался крикнуть ему: «Назад!» — как вдруг чья-то грузная фигура прыгнула на меня с другой стороны и одним ударом сбила с ног. Это был китаец из команды джонки. Он вцепился в мою правую руку так, что я не мог уже вытащить ее из кармана, и в то же время другой рукой зажал мне рот. Я сумел бы вырваться и освободить руку или рот и поднять тревогу, но в этот момент на меня навалился и Желтый Платок.

Я тщетно барахтался на дне джонки. Мои руки и ноги были крепко скручены, а рот завязан, как оказалось потом, чьей-то ситцевой рубашкой. Желтый Платок взял румпель и стал шепотом отдавать приказания. По положению своего тела и по перестановке паруса, который смутно вырисовывался надо мной при свете звезд, я понял, что джонка направляется в устье маленькой болотистой речонки, которая впадала в Сан-Рафаэль.

Через несколько минут мы тихо подошли к берегу и бесшумно спустили парус. Все китайцы соблюдали полную тишину. Желтый Платок присел на дно рядом со мной, и я слышал, как он старался подавить свой резкий, отрывистый кашель. Прошло, должно быть, минут семь-восемь. Затем я услышал голос Чарли, когда «Северный олень» проходил мимо устья речонки.

— Не могу сказать вам, как я рад, что наш мальчуган благополучно покончил с рыбацким патрулем, — услышал я слова Чарли.

Тут Нейл сказал что-то, чего я не расслышал, а затем голос Чарли продолжал:

— У мальчугана большие способности к морскому делу, и если он, окончив школу, изучит навигацию и отправится в дальнее плавание, то из него выйдет прекрасный моряк.

Все это было очень лестно; но, лежа связанным, в плену у моих же пленников, я не испытывал никакой радости, с тревогой прислушиваясь, как замирают вдали голоса на «Северном олене», удалявшемся по направлению к Сан-Рафаэлю. С «Северным оленем» исчезла моя последняя надежда. Я не мог

и вообразить себе, что ожидает меня. Китайцы были для меня людьми чужой расы, и я не мог предвидеть, как они поступят в данном случае.

Прождав еще несколько минут, команда подняла косой парус, и Желтый Платок направил лодку к устью Сан-Рафаэля. Вода все убывала, и ему с трудом удавалось огибать илистые мели. Я надеялся, что джонка сядет на мель, но Желтый Платок вывел ее из залива без всяких несчастий.

Когда мы вышли из реки, между китайцами загорелся страшный спор; я догадался, что спор шел обо мне. Желтый Платок что-то горячо доказывал, но остальные четверо не менее горячо возражали ему. Было очевидно, что он предлагал покончить со мной, а они боялись последствий. Но я никак не мог понять, что они предлагают вместо жестокого плана Желтого Платка.

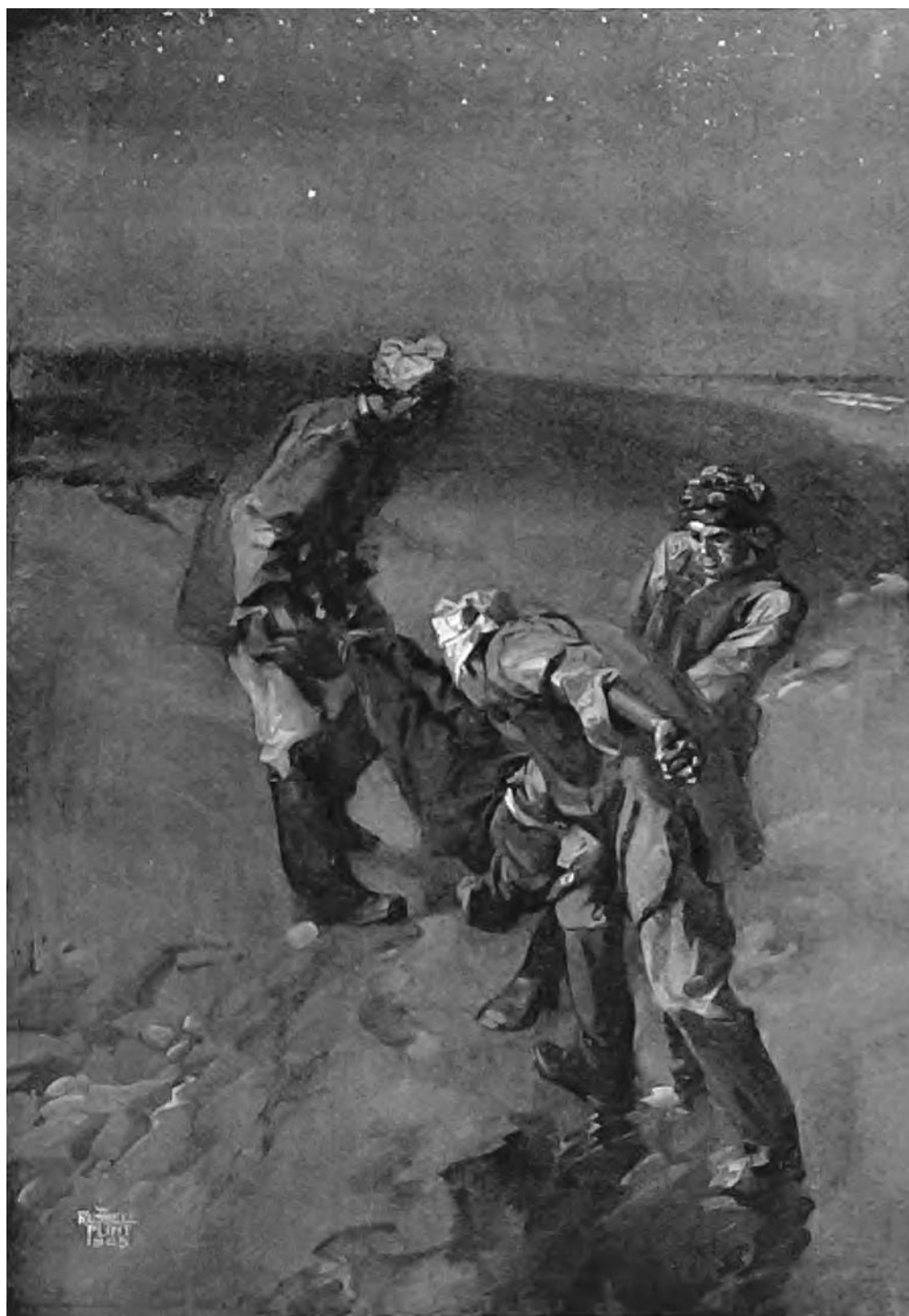
Легко представить, что я испытывал в то время, когда жизнь моя висела на волоске. Спор перешел в ссору, и в разгаре ее Желтый Платок, выхватив тяжелый румпель, прыгнул ко мне. Но его четыре товарища схватили его, и между ними завязалась борьба из-за румпеля. Наконец Желтый Платок уступил и угрюмо вернулся на свое место к рулю, между тем как остальные стали упрекать его.

Парус спустили, и джонка медленно продвигалась на веслах. Я чувствовал, как она тихо врезается в мягкую тину. Трое китайцев — все они были в высоких морских сапогах — прыгнули через борт, а двое других подняли меня и передали высадившимся товарищам. Желтый Платок взял меня за ноги, двое других китайцев за плечи, и процессия двинулась, поминутно увязая в топкой тине. Затем они зашагали по более твердой почве, и я понял, что меня выносят на берег. Я знал, где мы находились. Это мог быть только один из скалистых островков архипелага, так называемых Морских Островов.

Добравшись до твердой песчаной полосы, китайцы бросили меня — не особенно нежно — на землю. Желтый Платок злобно толкнул меня в бок, и затем все они, шлепая по тине, отправились назад к джонке. Через минуту я услышал, что они подняли парус, который запылоскался от ветра. Затем наступила тишина, и мне оставалось рассчитывать только на собственную изобретательность, чтобы освободиться от связывавших меня пут.

Я вспомнил, как фокусники в цирке, извиваясь и корчась, освобождались от связывавших их веревок. Но как я ни барахтался, как ни изворачивался, узлы нисколько не становились слабее. Между тем, барахтаясь, я докатился до кучи двустворчатых раковин, которые, очевидно, остались там после какой-нибудь увеселительной прогулки на яхте. Это подало мне счастливую мысль. Руки мои были скручены за спиной; я схватил ими раковину и покатился по берегу к скалам: я знал, что здесь их много.

Я долго катился, ища подходящей щели. Наконец я нашел ее и засунул туда раковину. Затем я стал тереться веревкой, которая связывала мои руки, об острый край раковины. Но хрупкий край сломался, так как я слишком сильно надавил на него. Я покатился обратно к куче и взял столько раковин, сколько мог захватить в обе руки. Много раковин я поломал, много раз цара-



Затем они зашагали по более твердой почве, и я понял, что меня выносят на берег.

пал и разрезал себе руки, и от напряжения у меня начались судороги в ногах. Когда я лежал в мучительных судорогах, со стороны моря раздался знакомый голос — голос Чарли, — который окликал меня. Но я не мог ответить и только беспомощно пыхтел, а лодка проходила мимо острова, и голос постепенно замирал вдалеке.

Я принялся пилить мои путы, и мне удалось наконец перетереть их. Остальное было легко. Как только руки стали свободны, развязать веревки, связывавшие ноги, и вынуть кляп изо рта было делом одной минуты. Я обежал кругом острова, чтобы убедиться, что это действительно остров, а не часть материка. Да, это был остров из группы Морских Островов, окаймленный песчаными отмелями и кольцом тины. Нужно было ждать рассвета и как-нибудь согреться. Ночь была необычайно холодная и сырая для Калифорнии, и ветер пронизывал меня до костей.

Чтобы согреться, я обежал много раз вокруг острова через его скалистый хребет, и это, как оказалось потом, сослужило мне большую службу не только тем, что помогло согреться. Среди этих упражнений я вспомнил, что легко мог выронить свои вещи из карманов, пока катался по песку. Обыскав карманы, я убедился, что у меня нет револьвера и перочинного ножа. Револьвер взял Желтый Платок, но нож я, должно быть, потерял в песке. Я принялся искать его, как вдруг услышал скрип уключин. Сперва я подумал о Чарли, но потом сообразил, что Чарли, несомненно, звал бы меня. Меня вдруг охватило предчувствие опасности. Эти острова — пустынное место, и трудно ожидать, чтобы случайные посетители причаливали к ним среди глубокой ночи. А что, если это Желтый Платок? Скрип уключин становился все явственнее. Я скорчился на песке и стал напряженно прислушиваться. Лодка (судя по частым ударам весел, — маленький ялик) остановилась в тине ярдах в пятидесяти от берега, и я услышал сухой, скрипучий кашель. Сердце мое остановилось: это был Желтый Платок. Чтобы совершить мщение, которому помешали его товарищи, он тайком ускользнул из поселка и вернулся ко мне один.

Что делать? Что мне делать? Я был безоружен и беспомощен на этом островке, а Желтый Платок, которого я не напрасно боялся, явился сюда за мной. Любое место будет для меня безопаснее, чем остров, и я инстинктивно бросился к воде, или, вернее, к тине. Когда Желтый Платок зашлепал по воде, направляясь к берегу, я вошел в тину и побежал, спотыкаясь, по тому же направлению, которого держались китайцы, когда высаживали меня на берег и возвращались обратно в джонку.

Желтый Платок, думая, что я лежу крепко связанный на берегу, не соблюдал осторожности и шумно шлепал по воде. Это помогало мне, и я под этот шум, стараясь двигаться как можно тише, успел пройти шагов пятьдесят, пока он добрался до берега. Затем я лег в тину и стал ждать. Тина была липкая и холодная. Я весь дрожал, но не рисковал подняться и побежать, боясь, как бы зоркие глаза Желтого Платка не увидели меня.

Выйдя на берег, китаец зашагал прямо к тому месту, где меня оставили связанным, и я даже пожалел, что не могу видеть его изумленного лица. Но сожаление было очень мимолетным, так как зубы мои стучали от холода.

Я мог только догадываться, что он делал, так как едва различал его при свете звезд. Но я не сомневался, что он первым делом обойдет берег, чтобы посмотреть, не пристали ли к острову другие лодки. Узнать это было очень легко по следам в тине.

Убедившись, что за мной не приплывала лодка, он должен был постараться выяснить, что случилось со мной. Он наткнулся на кучу раковин и пошел по моим следам, освещая себе путь спичками. Каждый раз, как спичка вспыхивала, я видел его лицо, когда же сера от спичек раздражала его легкие, он начинал кашлять. Признаюсь, в эти минуты я, лежа в липкой тине, начинал дрожать ещё сильнее.

Обилие моих следов смущало его. Поэтому ему, очевидно, пришлось в голову, что я лежу где-нибудь в тине, потому что он сделал несколько шагов по направлению ко мне и, остановившись, долго и тщательно осматривал темную поверхность. Желтый Платок был не более чем в пятнадцати футах от меня, и если бы он в эту минуту зажег спичку, то непременно увидел бы меня.

Он вернулся на берег, и, вскарабкавшись на скалистый хребет, отправился искать меня, освещая себе путь спичками. Близость опасности заставила меня бежать дальше. Не решаясь встать и пойти, так как тина шумно захлюпала бы под ногами, я стал передвигаться по ней ползком на руках. Держась все время следов, оставленных китайцами, когда они шли с джонки на берег и обратно, я дополз наконец до воды. Здесь я дошел вброд до глубины в три фута и, свернув в сторону, поплыл почти параллельно берегу.



Он наткнулся на кучу раковин и пошел по моим следам, освещая себе путь спичками.

У меня мелькнула мысль захватить ялик Желтого Платка и удрать на нем, но в этот момент китаец вернулся на берег и, словно угадав мое намерение, зашлепал по тине, чтобы проверить, цел ли его ялик. Это заставило меня повернуть в обратную сторону. Полуплывя, полуидя, высунув из воды одну только голову и стараясь не плескаться, я кое-как отошел футов на сто от того места, где китайцы высаживались из своей джонки. Я снова забрался в тину и растянулся на ней плашмя.

Желтый Платок вернулся на берег, обыскал весь остров и еще раз подошел к куче раковин. Я прекрасно понимал, о чем он думает. Никто не мог уйти с острова или подойти к нему, не оставив следов в тине, а между тем единственные имевшиеся следы шли от его ялика и от того места, где останавливалась первая джонка. Меня не было на острове, значит, я ушел по одному из этих следов. Он только что побывал у своего ялика и убедился, что я не ушел этим путем. Значит, я мог уйти только по тем следам, которые вели к джонке. И, чтобы проверить это, он сам направился по следу, оставленному китайцами, минутно чиркая спички.

Дойдя до того места, где я лежал первый раз, он открыл мои следы. Я понял это по тому, что он долго стоял там и жег много спичек. Он пошел по этим следам до самой воды, но на глубине трех футов Желтый Платок не мог больше различить их. С другой стороны, так как отлив все еще продолжался, то он легко заметил бы след, оставленный носом какой-нибудь джонки, точно так же, как и всякой другой лодки, если бы она пристала в этом месте. Но такого отпечатка не было, и китаец, как я понимал, был убежден в том, что я скрываюсь где-нибудь в тине.

Но искать в темноте в тине мальчика было все равно, что искать иголку в стоге сена, и он даже не пытался делать это. Он опять вернулся на берег и некоторое время побродил там. Я надеялся, что он откажется от своих поисков и уплывет. Я очень хотел этого, ах, как я страдал от холода! Наконец он зашлепал к своему ялику и отчалил. А что, если это только уловка? Что если он сделал это, чтобы заставить меня выйти на берег?

Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось подозрительным, что он так громко шумел веслами, когда отчаливал. Я остался лежать и дрожать в тине. Я так дрожал, что у меня заболели мускулы спины, и боль эта была еще мучительнее озноба. Мне нужно было напрячь всю мою волю, все самообладание, чтобы остаться в этом убежище.

И хорошо, что я сделал это, потому что через час на берегу что-то задвигалось. Я стал всматриваться в темноту, но уши предупредили меня раньше глаз; я услышал знакомый кашель. Желтый Платок высадился на остров, подплыв к нему с другой стороны, чтобы захватить меня на нем врасплох, если бы я вернулся туда.

После этого прошло несколько часов без всяких признаков присутствия Желтого Платка, а я все еще боялся выйти на берег. С другой стороны, меня в такой же мере пугала мысль, что я не выдержу этого испытания и умру. Я ни-



*Золотой глаз солнца, показавшись над горизонтом, нашел меня
лежащим беспомощно и неподвижно среди раковин.*

когда не представлял себе, что можно так страдать. Я до такой степени застыл и окоченел, что перестал дрожать. Вместо этого мои мускулы и кости начали невыносимо болеть: я думал, что это агония. Прилив давно начался, и меня мало-помалу стало относить к берегу. Высшей точки прилив достиг в три часа, и в три часа я вылез на берег, полуживой и настолько беспомощный, что я не мог бы оказать никакого сопротивления, если бы Желтый Платок набросился на меня.

Желтый Платок не явился. Он отказался от меня и вернулся на мыс Педро. Но и без него положение мое было весьма плачевно. Я не мог ни стоять, ни ходить. Промокшее грязное платье сковывало меня точно ледяной панцирь. Казалось, что мне никогда не удастся снять его. Мои пальцы так онемели и сам я был так слаб, что провозился не меньше часа над тем, чтобы стащить сапоги. У меня не было сил разорвать кожаные шнурки, а узлы приводили меня в отчаяние. Я колотил руками о землю, чтобы оживить их. Минутами мне казалось, что я умираю. Но в конце концов, спустя несколько столетий, по-моему, я ос-

вободился от мокрого платья. Вода была теперь близко, и я с мучительными усилиями добрался до нее ползком и смыл тину со своего обнаженного тела. Я все еще был не в силах подняться на ноги и пойти, а между тем лежать я боялся. И мне не оставалось ничего другого, как медленно ползать взад и вперед по песку вроде улитки, и это требовало огромных усилий и вызывало мучительное, болезненное ощущение во всем теле. Я продолжал это занятие, пока хватило сил, но когда восток побледнел, я начал при первых проблесках зари слабеть. Небо загорелось розово-красным огнем, и золотой глаз солнца, показавшись над горизонтом, нашел меня лежащим беспомощно и неподвижно среди раковин.

Точно во сне, я увидел знакомый грот «Северного оленя», выскользнувший из речки Сан-Рафаэль при легком утреннем ветерке. Это видение несколько раз обрывалось, и были промежутки, которых я никак не могу восстановить в памяти. Однако три вещи я помню отчетливо: первое появление грота «Северного оленя»; момент, когда он бросил якорь в нескольких сотнях футов от меня и спустил маленькую шлюпку, и, наконец, гудящую, раскаленную докрасна печь каюты и самого себя, закутанного в одеяла. Открытыми оставались плечи и грудь, и Чарли немилосердно растирал их и колотил, а Нейл Партингтон обжигал мне рот и горло слишком горячим кофе. Но обжигал он или нет, надо сознаться, что это было приятно. К тому времени как мы пришли в Окленд, я был уже здоров и силен по-прежнему, хотя Чарли и Нейл Партингтон боялись, как бы у меня не началось воспаление легких, а миссис Партингтон в течение первых шести месяцев не переставала за мной озабоченно следить, не появятся ли у меня во время моего пребывания в школе симптомы чахотки.

Время летит. Мне кажется, что я вчера был шестнадцатилетним мальчиком, служащим в рыбацьем патруле. Однако я знаю, что я только сегодня утром пришел из Китая на купеческом корабле «Гарвестер», капитаном которого я состою. И знаю, что завтра утром я отправляюсь в Окленд повидать Нейла Партингтона и его жену, а оттуда загляну в Бенишию к Чарли Ле Гранту, и мы поболтаем с ним о старых временах. Нет, в Бенишию я не поеду. Мне скоро придется присутствовать в качестве очень заинтересованной стороны на одной свадьбе. Имя невесты — Алиса Партингтон, а так как Чарли обещал быть шафером, то он должен приехать в Окленд и мне незачем ехать к нему.

СОДЕРЖАНИЕ

МОРСКИЕ ГАНГСТЕРЫ (перевод М. Шишмаревой)	7
МОРСКОЙ ВОЛК (перевод З. Вершининой).	297

РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

БЕЛЫЕ И ЖЕЛТЫЕ (пер. В. Хинкиса).	515
КОРОЛЬ ГРЕКОВ (пер. З. Вершининой).	528
НАБЕГ НА УСТРИЧНЫХ ПИРАТОВ (пер. З. Вершининой).	541
ОСАДА «ЛАНКАШИРСКОЙ КОРОЛЕВЫ» (пер. З. Вершининой).	553
УЛОВКА ЧАРЛИ (пер. Е. Шишмаревой).	566
ДЕМЕТРИОС КОНТОС (пер. З. Вершининой).	581
ЖЕЛТЫЙ ПЛАТОК (пер. З. Вершининой).	594

Джек Лондон

МОРСКИЕ ГАНГСТЕРЫ • МОРСКОЙ ВОЛК

РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 201

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую,
художественную и культурную ценность для общества

Верстка и работа с иллюстрациями
Д. Петерфельд

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Гарнитура Гарамонд Премьер Про
12 кегль

Сдано в печать 19.10.2023
Объем 38 печ. листов.
Тираж 3000 экз.
Заказ № 26607

Бумага
Сыктывкарская книжная кремовая офсетная 60 г/м²



ООО СЗКЭО
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.szko.spb.ru

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»,
196643, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Сапёрный,
ш. Петрозаводское, д. 61, строение 6,
тел. (812) 462-83-83, e-mail: office@ldprint.ru.



Все произведения Джека Лондона, включенные в этот сборник, объединяет морская тематика. Море занимало важное место в жизни писателя. Еще в юности он приобрел небольшую подержанную шхуну, занялся нелегальной добычей устриц в бухте Сан-Франциско и быстро стал своеобразным лидером местных «устричных пиратов». Вскоре властям удалось переманить Лондона на свою сторону, и он с не меньшим энтузиазмом принялся ловить своих бывших компаньонов. Впечатления от этого периода жизни Лондон отразил в «Рассказах рыбацкого патруля». В 1893 году Джек нанялся матросом на промысловую шхуну, которая отправлялась к берегам Японии для добычи морских котиков. Приобретенный опыт суровой морской жизни позже

помог Лондону при работе над романом «Морской волк». Любопытно, что литературная карьера Лондона началась с очерка «Тайфун у берегов Японии», который был посвящен событиям на море. Морская стихия влекла писателя на протяжении всей его жизни. В 1906 году Лондон, уже будучи признанным писателем, начал строить по собственным чертежам парусное судно «Снарк». На нем он намеревался совершить кругосветное плавание. Плавание продлилось два года, и свои новые впечатления Лондон, как часто бывало в его жизни, снова перелил в очередную книгу.

Сборник украшают рисунки двух художников: Антона Отто Фишера и Уильяма Рассела Флинта. Фишер появился на свет в Германии. В самом конце XIX века он стал моряком торгового флота и не раз пересекал Атлантику. Неудивительно, что морская тематика занимала особое место в его рисунках. Азы художественного образования Фишер получил у известного американского иллюстратора Артура Фроста. Потом была учеба во Франции, где его наставником в парижской Академии Жулиана стал живописец Жан-Поль Лоренс. Вернувшись в США, Фишер открыл собственную студию. Он начал сотрудничать с различными журналами и книжными издательствами, создав множество иллюстраций к произведениям Роберта Стивенсона, Жюль Верна, Германа Мелвилла и Джека Лондона.

Шотландец Уильям Рассел Флинт получил художественное образование в Королевской школе искусств Эдинбурга. Он стал великолепным мастером акварельного рисунка, хотя также уверенно занимался масляной и темперной живописью. С 1903 по 1920 год Флинт создал целую серию иллюстраций для книг, среди которых были «Копи царя Соломона» Г. Хаггарда, «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, «Одиссея» Гомера. Иллюстрировал он и произведения Лондона. Флинт стал президентом Британского Королевского общества художников-акварелистов и за заслуги перед искусством в 1947 году был посвящен в рыцари.

